



ОЛЬГА
КОЖУХОВА
РАННИЙ
СНЕГ



ОЛЬГА
КОЖУХОВА

РАННИЙ
СЧЕТ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

1973

Р 2
К 58

Предисловие
В. СЕВРУКА

Оформление художника
Б. КОСУЛЬНИКОВА

© Издательство «Художественная
литература», 1973 г.

К $\frac{0732-145}{028(01)-73}$ 75-73

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Вначале у них была война, а книги появились позже, спустя годы, когда, казалось бы, события военных лет, уйдя в прошлое, должны поблекнуть, утратить свою остроту. Но нет, память не остыла, пережитое на войне стало их определяющей судьбой, их сущностью, и без выстраданного в те суровые годы они не мыслят ни себя, ни своих повестей и романов. Речь идет о произведениях, написанных теми, кто шагнул в огненный сорок первый, едва успев расстаться со школьными тетрадями или институтскими конспектами. Эти книги — исповедь поколения 30-х годов, у которого война отняла юность, радость мирной жизни, лишила многого из того, без чего человеку невыносимо, как без света и воздуха; но это поколение обладало защищенностью даже от таких испытаний и поэтому не сломилось.

Раскрывая духовный мир первого послереволюционного поколения, эти книги показали сегодняшним восемнадцатилетним подлинные ценности и идеалы эпохи, которые никогда не были утрачены, и выявили то общее, что неразрывно связывает наших молодых современников с их одногодками предвоенных лет и старшим поколением борцов за коммунизм. «Мое поколение, — писала сверстница Ольги Кожуховой Юлия Друнина, — росло, овеянное романтикой революции и гражданской войны. Любимой нашей песней была «Каховка», любимым фильмом — «Чапаев», любимой книгой — «Как закалялась сталь». Не они ли — светловская девушка в походной шинели, отчаянный легендарный комдив, суровый, неистовый Павка Корчагин — привели нас в сорок первом году в райкомы и военкоматы с требованием отправить на фронт?

А разве молодежь 60-х годов не должна быть влюбленной в героев Великой Отечественной войны так же, как мы, мальчики и девочки, родившиеся в 20-х, были влюблены в героев гражданской войны?

Разве наша молодежь не должна почувствовать красоту фронтовой дружбы и задуматься над природой той особой высокой настроенности души, которая бросала человека на вражескую амбразуру?

Ведь освободительная война — это не только смерть, кровь и страдания. Это еще и гигантские взлеты человеческого духа — бескорыстия, самоотверженности, героизма».

Революционная устремленность была для поколения духовным стержнем, не позволявшим ему сгибаться, когда удары

судьбы были не только беспощадными, но и не сразу постижимыми для разума. На войне не все было таким, каким представлялось раньше. Но это касалось главным образом жесточайших деталей окопного бытия и неожиданных превратностей военной судьбы. У юного поколения, воспитанного в годы строительства социализма, война не разрушала, а укрепляла идеалы, унаследованные от отцов и старших братьев, потому что она была борьбой за их утверждение. Вот почему в литературе о войне, если взять ее в целом, нет приземленности чувств, напротив — в ней многообразно и богато выражена романтическая приподнятость, одухотворенность личности, глубина мыслей и переживаний героев.

К этому поколению принадлежит и Ольга Константиновна Кожухова. Родилась она 20 июня 1922 года в Воронеже в семье агронома. Писать начала еще школьницей. Первые стихи были опубликованы в четырнадцать лет.

За день до начала войны Ольга Кожухова получила аттестат об окончании десятилетки. Подала документы на филологический факультет, но первым университетом стали курсы медсестер. После курсов Ольга Кожухова добровольно вступает в ряды Красной Армии. С 6 декабря 1941 года участвует в контрнаступлении под Москвой. Мужество будущей писательницы в те дни отмечено медалью «За боевые заслуги». В рядах действующей армии, как политработник, а затем военный журналист, прошла Ольга Кожухова по фронтовым дорогам Смоленщины, Белоруссии, Польши и закончила войну на Эльбе. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями. На фронте, в 1942 году, вступила в Коммунистическую партию.

Демобилизовавшись из армии, Ольга Кожухова поступает в Литературный институт имени А. М. Горького. Занимается в семинарах под руководством таких выдающихся советских поэтов, как Владимир Луговской и Михаил Светлов. Одновременно пробует свои силы в прозе. Рассказы Ольги Кожуховой появляются в журнале «Смена». Она посещает семинары Константина Георгиевича Паустовского. Уроки большого мастера способствовали творческому росту будущей писательницы. Постепенно Ольга Кожухова обретала свой голос, свое видение мира, училась работать в литературе так, чтобы быть полезной своей стране, своему народу.

О годах студенческих писательница рассказала в повести «Не бросай слов на ветер...», где острое ощущение радости мирного бытия, озорная беспешанность учащейся молодежи пере-

межаются с размышлениями о нравственном долге и тайнах мастерства художника слова.

В повести как бы два плана: бытовой и эпический. Скучное студенческое житье изображено здесь без прикрас, с деталями и подробностями, фокусирующими пережитые невзгоды. Но уже сам факт, что после опустошительной войны страна наравне с заботой о хлебе насущном пеклась о будущих книгах и поэмах, о том, чтобы каждый, в ком есть искра таланта, смог бы прийти в большое искусство, говорит о многом. Сознание достижимости будущего, несмотря на черствый пайковый хлеб, придает повести особое звучание.

Лишения первых послевоенных лет, неустроенность быта, сложность вживания вчерашних фронтовиков в новую мирную обстановку — через все это надо было пройти, не утратив главного — стремления осмыслить прожитое и доверить хрупким бумажным листам людское слово, правдивое, честное, которое бы в конечном счете превратилось в силу, окрыляющую человека.

Не ради красного словца, не ради эффектного литературного пассажа звучит в повести этот диалог:

«— Скажи мне, кто твой литературный учитель, и я скажу тебе, кто ты!

— Ну, ну, скажи!

— Так кто твой учитель?

— Комбат Павлик Манюшин. Он ходил в атаку, не пригибаясь.

— Нет, серьезно...

— Куда серьезней! Жизни своей не жалел... Разве кто-нибудь этим шутит?»

В приведенном диалоге — смысл рассуждений о литературном учительстве. Трудясь в литературе, нельзя ни шутить, ни кокетничать своим нелегким ремеслом, и глядеть на мир нужно, не пригибаясь перед обстоятельствами моды или бытия, а выпрямившись во весь рост — и честными, открытыми глазами. Наверное, поэтому с такой благодарностью вспоминает писательница институтские занятия в семинаре у К. Паустовского, учившего, по ее словам, что «нельзя полюбить книгу, автор которой подсматривает за жизнью с наблюдательностью злобного невоспитанного ребенка: этаким чеховский «злой мальчик»!

Из раздумий о прошлом и будущем, из осмысления настоящего выкристаллизовывается в повести ответ на вопрос, как писать о войне; как до конца выполнить долг перед погибшими товарищами, перед безымянными, но великими героями эпохи,

И тут уже не об избирательности взгляда идет речь, не о дистилляции жизненных впечатлений в том смысле, что нужно от них отслаивать «трудные» моменты истины, а о позиции писателя, о его отношении к изображаемому. Ольга Кожухова пишет: «Они мертвы. Погибли в неравном бою. И теперь уж ни бог и ни врач не помогут их воскресить. Только единственно лишь писатель силой слова может заставить их встать живыми с земли, утереть кровь с лица, досказать недосказанное, доллюбить недолюбленное, завершить начатое.

Но для этого надо быть правдивым, хорошим писателем. Точно таким же, какими они были солдатами.

Для этого нужна благодарная память о мертвых.

Я смотрю наши многие послевоенные фильмы о войне, и мне кажется: нет, не похоже. Те, погибшие люди, были честнее, и выше, и лучше: ведь они погибали за счастье Отчизны. А поэтому все обычные недостатки, неровности, мелочи в свете этого главного не важны. Там, на фронте, в окопах, не спорили, не рассуждали: страшно мне или не страшно. Идти или не идти в бой. Жить или не жить. Там делали свое солдатское дело. И вот в этом-то и состоит священная правота бойцов и великая правда, которой нам пока еще не хватает».

Здесь, разумеется, многое полемически заострено, но это идет от жизни, вызвано теми крайностями в изображении войны, которые приводили к растворению пафоса освободительной борьбы в мотивах жертвенности и безысходности, а еще хуже — к забвению исторической правды.

Можно по-разному судить о деталях и частностях того, что написано Ольгой Кожуховой. Но, если говорить о главном, ее работа — это поиск наиболее верного и емкого выражения правды времени. Писательница воплотила эту правду в образах героев романа «Ранний снег», ставшего впечатляющей страницей в художественной летописи народного подвига.

Всю страсть таланта, весь жар души отдала Ольга Кожухова скромным и незаметным труженикам большой войны. Обаятельны медсестра Шура Угланцева, комиссар Митя Шубаров, командир медсанбата Иван Петряков. Неодинаковые по своим характерам, жизненному опыту, вместе с тем эти герои — натуры цельные, их объединяет не только общность целеустремлений, но и глубокая осознанность поведения на войне, понимание происходящего вокруг. В этом — одна из особенностей романа Ольги Кожуховой: герой раскрывается не только как активно действующая, но и как мыслящая, полнокровно живущая личность.

В последней, реденькой цепи лежит командир медсанбата Иван Григорьевич Петряков, прикрывая огнем товарищей. «Жить! — кричало в груди у него. — Хорошо жить на свете, люди!.. И уж если когда-нибудь вам придется платить за свое недолгое счастье, как мне, то платите! Честно, щедро платите, и сердцем и кровью. Жизнь стоит этого!..» Серо-зеленые фигурки фашистов были уже близко... Петряков резко махнул рукой:

— Вперед! За Родину! — и подумал: «Вот эта минута... Ради этой минуты я жил». И крикнул хрипло: — Ура-а!..»

У комдива Маковца нет этой открытости. Он весь подчинен своему командирскому и одновременно солдатскому ремеслу. Но и у него есть о чем подумать. Ведь не всегда понятие долга соизмерял он с чувством человечности по отношению к людям, которые шли на смерть не только по приказу, но и по велению своего сердца. Конечно, тяжела ноша на войне у тех, кто волен распоряжаться не только собственной, но и чужими жизнями. Потому выше и моральная ответственность Маковца за принятые решения. Долг, приказ и вера в людей, в боевых товарищей своих не противоречат, а дополняют друг друга. Об этом, осуждая себя прошлого, скупого на проявление чувств, размышляет перед прорывом Маковец. Но не откровений в данную минуту ждут от него бойцы, а того единственно верного шага, который если и не принесет спасения, то позволит до конца выполнить ратный долг каждому, хоть на мгновение приблизив такую далекую тогда еще, весной сорок второго года, победу. «То, что случилось с его дивизией — не глупость командования и не ошибка, не предательство, как кричал струсивший в бою командир батальона капитан Гончарук, а трагическая случайность, каких много на всякой, даже самой удачной войне. И чем спокойнее и честнее человек в подобных безвыходных обстоятельствах, чем меньше он думает о себе, чем лучше делает доверенное ему дело, тем скорее приходит победа. Ведь победа складывается не только из подвигов в наступлении, но и из внутренней стойкости каждого в отступлении, в беде».

Главы, посвященные судьбе дивизии генерала Маковца, три месяца дравшейся в окружении, захватывают не столько событиями, сколько той интенсивностью духовной жизни героев, которая порой уплотнена до предсмертного и смертного часа. Вот здесь-то, на этой предельной черте, и происходит самораскрытие характеров, когда нельзя сфальшивить и сразу видно, кто есть кто.

Когда перечитываешь роман, как-то неотвязно живут в памяти строки: «Печаль моя светла...» Да, в книге много печаль-

ных страниц. Уходят из жизни ее герои, которых ты успел полюбить или только узнал, только почувствовал их обаяние, начал распознавать их непростые характеры. Что ж, так оно было. На то война...

Но горестные страницы романа озарены светом подвига. Люди знали, за что они шли на смерть. Красивые, добрые то были люди. Такими их видела, такими они помнятся сейчас главной героине романа Шуре Угланцевой, пришедшей на фронт сразу после окончания десятилетки.

На войне ее первая школа жизни, первые и главные испытания. Писательница в судьбе своей героини, в ее размышлениях также высвечивает неодолимую связь времен нашей советской жизни. Да, война противоестественна всему живому, но все-таки жизнь и именно наша, советская жизнь продолжалась и на этой войне. Поэтому не от парадокса идут, а от выстраданного эти слова: «Я войне благодарна: война меня сделала человеком. Если бы не война, никогда бы я не встретила столько самых разных людей...

Но если негодяи в общем-то все на одно лицо, то хорошие люди были хорошими все по-разному. И у каждого я научилась чему-нибудь. Как жизнь понимать. Как прощать. Как не трусить. Как держать данное слово. Как помочь в горе более слабому духом. Как самому сохранить бодрость и не ныть, если худо.

...Да, мертвые остаются молодыми, это так. Но они остаются и верящими, убежденными... И в этой упорной их вере, в их цельности и убежденности есть какая-то скрытая сила. Может быть, сама сущность победы. Я так думаю: мы в войну победили только благодаря им, этим людям. Поэтому они и мертвые меня судят как честные беспристрастные судьи: меня и мои поступки. Поэтому я и сейчас еще примеряюсь к ним, к мертвым, как к самым живым».

Тема нравственной преемственности поколений, их неразрывного единства проходит через всю книгу, многими своими страницами обращенную к современнику, и в первую очередь к нашему юношеству. Писательница ведет прямой разговор с ровесниками Победы. Это к ним обращены откровенные и справедливые слова Шуры Угланцевой: «Я хочу твердо знать, что они из себя представляют... Ведь они мои товарищи по окопу. Мир... еще разделен невидимой линией фронта. И я хочу твердо знать, что у этой девчонки... такое же преданное Родине сердце, как у моих товарищей по войне...»

Дорогой ценой была добыта победа, счастье жить на мирной земле. Но и сейчас на планете неспокойно. Пока существу-

ют силы, для которых кровавая война только средство умножить свои барыши, задержать исторический прогресс, продлить существование мира эксплуатации и наживы, мы все должны быть в единой цепи, одинаково чувствовать ответственность за судьбу нашей советской земли, за ее настоящее и будущее. Эта мысль неотступно волнует героя повести Ольги Кожуховой «Фонарики, плывущие по реке» Николая Николаевича Ушакова. Бывший десантник, а ныне детский врач, он в составе делегации сторонников мира посещает Хиросиму и Нагасаки. Увиденное и услышанное заставляет содрогнуться его закаленное в пекле войны сердце. Но не ужас, не растерянность возникают в его душе, а обостренное ощущение своей личной ответственности за то, чтобы трагедия не повторилась.

Социальное чувство, столь ярко выраженное в характерах героев многих произведений Ольги Кожуховой, питается из многих источников, потому оно живо, его биение угадывается в самых трепетных движениях души. И как здесь не сказать о любви к отчему краю, которая согревает своей искренностью многие страницы книг писательницы, и особенно «Донника».

Это чувство было выстрадано поколениями тружеников, его уродовал мир собственничества и эксплуатации, но оно жило, несмотря ни на что, и вдохновляло человека на борьбу за новую, лучшую долю, чтобы хлеб и красота были доступны каждому. Рушился старый мир, и трудовой человек завоевывал право творить добро.

Победа социалистической революции стала торжеством человечности, и земля для человека становилась другой.

Так возникало в душе ощущение слитности с отчим краем, тебе принадлежащим, у собственнического мира отвоеванным, а поэтому бесконечно родным. Только социальная гармония новых отношений между людьми способна вызвать к жизни глубинные чувства и движения души, и тогда-то и приходит к тебе сознание того, что «земля для меня — та единственная драгоценность, которую нельзя ни продать никому, ни дружки, просто так, подарить, ни на спор проиграть, ни в бою сдать врагу. Велика она и прекрасна потому, что стояла нам в нашей истории слишком много прекрасных и радостных жизней».

Добрая книга как надежный спутник на дорогах, которые мы торим. И тот читатель, который обратится к произведениям, написанным Ольгой Кожуховой, станет зреее и богаче духовно, испытает волнующее чувство сопричастности к тому, что выстрадано и пережито писательницей и ее героями.

В. Севрук

*Вокруг меня лежат
Моих товарищей группы,
Но — победили мы.*

*Мы победили,
Но лежат вокруг
Моих товарищей группы.*

Генрих Гейне

РАННИЙ СЧЕТ

РОМАН





ЧАСТЬ I

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Рано утром у нас в квартире зазвонил телефон.

Сонная, еще досматривая что-то ускользящее, я сняла телефонную трубку:

— Да. Слушаю.

Говорила Марьяна, моя подруга по школе и фронту. Много лет мы с Марьяной не виделись, почти с самого возвращения из Германии после победы, и не слышали ничего друг о друге. И вдруг как-то столкнулись лицом к лицу возле метро и долго стояли, потрясенные встречей. И поплакали, вспоминая. И посмеялись. И решили, что «старый друг лучше новых двух», и даже не двух, не трех — десяти, а поэтому еще раз крепко обнялись, пролили слезу и обменялись адресами и телефонами. С той поры мы, как прежде, с Марьяной опять неразлучны, вместе делим и радость и горе.

Сейчас Марьяна осторожно подышала в трубку и сказала негромко:

— Аленький, я тебя разбудила? — волнуясь, она назвала меня моим детским именем. — Ты хорошо меня слышишь?

— Да.

— Ты знаешь, Женя в Москве.

Мой сон, еще таившийся где-то в клеточках тела,

теперь отлетел совсем. Я, наверное, слишком долго молчу, потому что Марьяна кричит мне в трубку:

— Алло! Алло! Ты где? Ты меня слышишь?

— Да, да. Я здесь,— отвечаю я ей наконец.

Марьяна волнуется, я это чувствую по ее дыханию.

— Я хочу вот что сказать,— говорит она.— Женя очень больна. Ее положили в больницу. Ты могла бы поехать со мною ее навестить?

Женя Мамонова тоже наша бывшая фронтовичка.

Тот, кто думает, что фронтовое братство — одни лишь красивые слова и ничего больше, глубоко заблуждается. Оно существует, это странное чувство родства по опасности, по пролитой крови, существует — и объединяет самых разных людей на долгие годы.

Правда, за эти долгие годы — и на фронте, и после войны — мы узнали все слабости и все недостатки друг друга, все смешные и жалкие стороны, но это, однако, не разучило видеть в каждом из нас и то самое главное, самое лучшее, что проявилось тогда, на войне. Священное право давности, о котором сказал великий поэт, теперь уже не может не влиять на наши отношения и оценку поступков.

Женька Мамонова здесь, в Москве. Больная!..

Кажется, после всего, что между нами произошло, какое мне дело, что Женька больна и страдает? Я не из тех, кого можно ударить по одной щеке и кто тут же подставит другую. Как я ни старалась, я не выучилась прощать.

Но ведь было же время, когда мы с Женькой ели из одного котелка, спали рядом, укрываясь одной шинелью. По тревоге вместе вскакивали в темноте, хватали винтовки и ползли меж колючих, заплетенных ежевикой кустарников, по шершавым коровьим шлепкам, мимо пахнувших известью и аммиаком уборных. Мы с ней всматривались в густой летний мрак и прислушивались к каждому шороху или звуку. Смерть могла одинаково подстеречь и ее и меня, и само ожидание это сближало.

На ночных занятиях по тактике мы всегда были рядом. Мы лежали с Женькой, притихшие, на росистой траве, среди белых, рассыпанных, словно звезды, ромашек и смотрели в ту сторону, где Москва и где на фоне чернильно-лилового неба маршировали длинные бледные ноги прожекторов. Небо ревело, качалось, ве-

тер колебал цветные нитки трассирующих. И мы всем своим занемевшим от напряжения телом ощущали, как земля под боком у нас недовольно и глухо вздрагивает.

А потом...

Но потом столько случилось всякого, и хорошего и дурного, что во всем этом не разобраться, пока не пересчитаешь по пальцам военные годы.

Чернобровая, черноглазая Женька в больших сапогах, в пилоточке набекрень, перетянутая ремнями. На рукаве гимнастерки — красная, обшитая золотом суконная звезда. «Душа роты»!

Мы тогда учились на командирских армейских курсах и разделялись по родам войск, по специальностям. У каждого рода войск было свое прозвище. Говорилось: «Штаб — мозг части». И когда строем шли штабники, мы кричали: «Мозги идут! Бараньи мозги с горошком!» Или: «Разведчик — глаза и уши армии». И тут мы, политсоставские, изощрались и насчет длинных ушей, и насчет слепых глаз, и не очень-то тонкого нюха.

Сами мы были в некотором роде неуязвимы: «Политрук — душа роты». Ну и что? Не подкопаешься; душа есть душа. Это что-то возвышенное. А кроме того, мы — девчата. Нас «десять штук». Всего десять девушек-политруков на целую армию. Поэтому обращение с нами, в общем-то, бережное, осторожное.

В память тех тревожных военных ночей, ради той чернобровой, отчаянной Женьки я сейчас и не обрываю Марьяну.

Я спрашиваю:

— С ней что-нибудь серьезное?

— Да. Ты знаешь... — Марьяна на миг смолкает, раздумывая. — Это долго рассказывать, — и торопливо говорит: — Приезжай к пяти часам прямо к больнице, я буду ждать тебя у ворот. С ней плохо. Очень плохо. Хуже некуда.

2

Ровно в пять часов я подхожу к воротам больницы.

Марьяна уже стоит в своем сером пальто и голубой пуховой шапочке, машет издали. Мы обнялись, коснулись друг друга щеками: у Марьяны накрашены губы, и теперь мы не целуемся при встречах, а только нежно прикасаемся щеками.

— Ты давно меня ждешь?

— Только что пришла.

— Ну, славно...

И обе вздыхаем. Чего уж славного в том, что встречаемся возле больницы!

— Ну, рассказывай,— говорю я.— Что с ней?

— Я не стала говорить тебе по телефону. Ну, в общем, сама понимаешь... Лейкемия!

Я не сразу нахожусь что сказать. И первая мысль, что это — неправда. Это может случиться с кем угодно другим, с любым незнакомым мне человеком, но только не с Женькой. Такого я ей никогда не желала!

— Ты же знаешь ее,— замечает Марьяна.— Как всегда, загорелась идеей... Очень важный, опасный эксперимент. Другие, может быть, высиживали бы годами. В грамм добыча, в год труды. А она так не может. Ей подайте все сразу. Ну вот, эксперимент ей, как видишь, удался...

— Она знает, что ждет ее?

— Да. Представляет!

Марьяна молчит, пытаюсь рассмотреть какую-то царапину на кончике узконосого мехового ботинка, и страхивает незаметно мизинцем слезу.

— Ну, пошли,— говорит она.

Голые апрельские деревья в больничном саду роняют редкие стеклянные капли, как будто отмеривают лекарство. Даже вялая прошлогодняя листва на земле, показалось мне, тоже пахнет лакаством.

Мы проходим по пропуску, предъявленному Марьяной.

В дверях, обернувшись, она мне говорит:

— Ты ей старое не поминай...

— Хорошо.

— Она сама попросила, чтобы ты к ней пришла. Поэтому — не поминай...

— Да. Ладно.

— Пока у нее латентный период¹. Пусть тебя это не обманывает.

Женя вышла к нам в коридор. Ей уже не разрешают вставать, она попросту удрала из палаты.

Щеки ее полыхают багровым румянцем.

¹ Латентный период — период мнимого благополучия.

Целуя ее, я пошутила:

— Ишь ты, симулянтка... Смотри, какая красавица! А говоришь — больная. Женька, милая, как я рада тебя видеть! Сколько лет!..

Она коснулась руками своих пылающих щек, лба и сморщила губы.

— Это мне опять сделали переливание крови.

— Да? Тебе нужна кровь? Возьми мою, у меня первая группа. Ты же знаешь, я — абсолютный донор.

— Спасибо!

— Нет, в самом деле...

— Хватит пить твою кровь! — пошутила не очень-то ловко Женья и взглянула с надеждой в мои глаза: засмеюсь я или нет.

Мы все засмеялись. Ледяная река, разделявшая нас, пришедших со свежего воздуха, из жизни, в этот душный, умирающий мир, была пройдена. Форсировать ее оказалось не менее трудно, чем весною сорок второго Угрю.

Мы острым, вспоминаем армейские шуточки. Сейчас, в этих стенах, они звучат весьма неуклюже.

— Ну-с, а какие у тебя анализы?

— В том-то и дело, что анализы от меня прячут. После переливания крови количество лейкоцитов близко к норме, а потом опять катастрофически падает...

— Это, видимо, реакция организма на переливание, — говорю я. — Так частенько бывает. Главное, чтобы ты сама не хандрила и чувствовала себя веселой и бодрой.

Перебивая друг друга, мы с Марьяной советуем Женьке пить коньяк, есть лимоны и плевать на всякую хворь. Ну, уж если что-нибудь заболит, глотнуть аспиричку. И Марьяна при этом смущенно глядит на меня. Ей, хирургу, врачу, не очень-то, видимо, ловко участвовать в этой комедии, но что поделаешь! Надо как-то себя обмануть!

Мы сидим в коридоре, сдвинув кресла, тяжелые, словно танки. Очень поздно. Дежурная медсестра ходит мимо нас и смотрит в нашу сторону укоризненно, но сказать ничего не решается. Здесь все уже знают, каково Женькино положение. Женька тоже знает. Я это вижу по ее глазам. Она говорит мне, пока не слышит Марьяна:

— Я, конечно, отсюда уже не выйду... Все! — и отводит вдруг в сторону замерцавшие в полумраке большие глаза.

— Не болтай ерунду! Тебя вылечат, — говорю я спокойно. Мне хочется чем-то Женьку утешить. Но я вижу, мои утешения ей ни к чему.

Она держится мужественно, старый солдат.

— Жень, скажи, чего тебе хочется? Ну, чего принести? Соленых огурчиков? Яблок? Может быть, ананасов в шампанском? Хочешь... птичьего молока?

— Разве птичьего?... — отвечает задумчиво Женька. — Только не порошкового, — и смеется растерянно, угловато.

Через какое-то мгновение она снова становится грустной:

— Нет. Мне не нужно теперь ничего.

3

Мы уходим в ночь, пахнущую банной сыростью ранней весны, в водянистую, туманную муть. Огни фонарей, фары автомобилей, цветные рекламы — все плывет, качается в тумане, словно весь город смотрит сквозь Женькины набежавшие слезы.

Если в течении болезни не произойдет какого-то чуда, — а почему оно может произойти? — то Женьке предстоит пройти через многие муки, а там, дальше, — смерть.

Знаешь, Женька, в самом деле, бери мою кровь и живи! Я с радостью дам тебе целый литр своей крови. Ну хочешь, по капельке, всю, до конца?

...В сорок первом, в Воронеже, когда я училась на курсах медицинских сестер, к нам на занятия пришли из горкома партии и сказали: «Фронту нужна свежая кровь». И вызвали добровольцев. Тогда поднялась вся наша аудитория, все четыреста человек.

Честно сказать: ненавижу всякое стояние в очередях. За хлебом. За керосином. За картошкой. На троллейбус. В кино. В этом есть что-то унижающее человеческое достоинство. Но тогда, в сорок первом, я гордилась той длинной, нескончаемой очередью на донорский пункт. Мою кровь взяли очень поздно, уже на рассвете. Двести граммов горячей, богатой гемоглоби-

ном, молодой моей крови. Целый стакан жидкости, похожей по цвету на вино.

Чтобы скоротать ночь в той очереди, мы пели:

Прости-прощай, страна моя родная,
На бой с врагами уезжаю я!

Но тогда мы еще никуда не уезжали. Хотя сделали все для того, чтобы уехать на фронт. Немцы приближались к Смоленску, к Москве. Наш Воронеж стал похожим на молоденького солдата, у которого на ремнях и в мешке слишком много военного снаряжения и всяких ненужных вещей, а в бою пригодится одна лишь винтовка. В Кольцовском сквере, на клумбах с левкоями,—зияющие трещины траншей. На кладбище, рядом с распятым, готовым взлететь, как истребитель, Христом,—крупнокалиберные зенитные пулеметы. Витрины универмага под «Утюжком» заложены мешками с песком, забиты наглухо шершавыми досками. На окнах домов — крест-накрест длинные белые полосы.

Потом, спустя три года, я ходила по каменным развалинам города и смотрела. Никого не спасли ни распятый Христос, ни траншеи Кольцовского сквера, ни белые бумажные полосы на окнах. От нашего дома — один мелкий щебень. От соседнего — воронка пятисоткилограммовой бомбы.

4

Я иду засыпающей, поздней Москвой. Мои мысли перескакивают с предмета на предмет. Я думаю о Женьке, о белых кровяных тельцах, о войне...

Человек ко всему привыкает. Но особенно беззаботно, легко привыкает он к миру, к спокойствию, к своей собственной безопасности, к отсутствию страха за жизнь. В этом он, как дитя, простодушен. «Гром не грянет — мужик не перекрестится». А когда опасность приближается вплотную, он отмахивается от нее, как от назойливой мухи. Она кажется ему несерьезной, случайной.

Но опасность была и тогда, двадцать с лишним лет назад, когда мы очень весело пели: «Если завтра война...» Она есть и сейчас. И мы не можем от нее отмахнуться. Твердо знаю: не дремлют на раутах диплома-

ты, не спят на постах часовые. Но и мы не должны беспечно зевать. Нас ведь это тоже касается. Тем более что опасность каждый раз меняет обличье. Сегодня она совсем не такая, какая была в сорок первом. Сегодня, например, она может и не взорваться снарядом, а подкрасться, как тать. Раствориться не торопясь в этих капельках влаги, реющих в воздухе, осесть на траве. Притаиться в перламутровом облаке. В нежных завязях розы. В теплом хлебе и молоке. Она может войти в твою кровь — и притихнуть, и творить свое грязное дело, как сейчас творит она в Женькиной.

Может быть, правду говорят — все повторяется? Как во сне: все это с тобой когда-то уже было, было! На Земле много раз возникали и гибли цивилизации. Говорят, человечество уже достигало сегодняшних рубежей, а может быть, даже и более высоких. Оно воздвигало Баальбекские плиты, добывало и обрабатывало металл, мечтало о полетах в далекое небо, а потом всякий раз — обыденное самоубийство. На нервной почве. Случайно или нарочно расщепился какой-то атом. И снова — белок, протоплазма, динозавры, птеродактили, обезьяна, зацепившаяся хвостом за ветку.

Смешно? А может быть, и не смешно. Я, по крайней мере, не хочу начинать все сначала. Я хочу жить сегодня, сейчас.

Помню белое от мороза Можайское шоссе. Ночной перекресток. Крепко сцепив пальцы, мы идем по обочине к головной машине. Там, впереди, во мраке возник какой-то затор, и командир батальона Иван Григорьевич Петряков послал меня вместе с Марьяной выяснить, что случилось. Потом он догнал нас сам, запыхавшийся, в заиндевелой шинели, держа руку в рукавице на ухе. Белый пар клубами вылетал у него изо рта.

— Я тоже пойду погляжу, — сказал он.

Но мне показалось, он просто не хотел отпускать от себя Марьяну одну.

Сначала мы идем медленно, не торопясь, потом прибавляем шаг, потом бежим. Толпа густеет, разрастаясь возле головной машины. В белом свечении сугробов, на фоне низкого зимнего неба люди сгрудились вокруг какого-то темного предмета, лежащего на обочине на снегу.

Мы со смехом подбежали и стали протискиваться в середину круга, расталкивая стоящих. Бойцы, молча

смотревшие куда-то себе под ноги, недовольно оглянулись на наши быстрые шаги, на смех.

— Что здесь такое? Что случилось? — спросил Петряков.

Никто ему не ответил. Но люди посторонились, освобождая дорогу. Иван Григорьевич щелкнул карманным фонариком, и мы увидели на снегу мертвую женщину. Она лежала голая, с вывернутыми руками, в безобразной, бесстыдной позе. Ее груди были отрезаны, и вместо них темнели два плоских круга. Лицо, шея, плечи, глаза — все было истыкано не то кинжалом, не то плоским острым немецким штыком. Восковая мерзлая плоть на вид была твердой как камень. Сейчас даже трудно было угадать, какие муки вынесла эта женщина, прежде чем стать такой плоской и твердой каменной плотью.

Командир батальона постоял, недоумевая. Он словно не понимал, что так могли обойтись с живым человеком. Потом оглянулся на нас с Марьяной. Грубо крикнул:

— Идите! Идите назад! Чего глаза пялить?! Чего тут еще не видали?!

Но мы не двинулись с места.

До этого на войне мы не видели мертвых женщин. Мы видели одних только мертвых мужчин.

Петряков постоял, помолчал. Затем медленным движением стащил с себя шапку. Люди тоже сняли шапки один за другим. Несколько мгновений царил тишина. Было слышно тяжелое, застуженное на морозе дыхание. Потом все пошло в разные стороны, молчаливые, каменнолицые.

— По машина-а-ааааа!..

Заскрипев десятками, сотнями визгливых колес, колонна наконец стронулась с места и двинулась дальше.

Сидя в тесном неосвещенном автобусе, мы долго молчим, все еще находясь под впечатлением только что увиденного. Марьяна толкает меня в бок и спрашивает тихонько, так, чтобы Иван Григорьевич не услышал:

— Ты все видела? Разглядела?

— Да.

— Ну и что? — Она сердится. — Чего ж ты молчишь?

— Ничего. Просто так, размышляю.

— О чем?

Я пожала плечами — дурная привычка, от которой ни в школе, ни дома не могли отучить.

Как я могу ей в двух словах рассказать о том, что мне вдруг пришло в голову? Объяснить это было бы очень непросто.

Мне кажется: ужасна не эта мертвая женщина, лежащая там, на снегу, на обочине, в безобразной позе, и не ее смерть в страшных муках.

Ужасны мы, живые, стоящие с нею рядом.

Человеческий мозг, эта умная и все понимающая машина, помимо других своих свойств, по-видимому, имеет еще и какие-то неизвестные нам защитные, охранные свойства. А иначе почему так поверхностны и торопливы наши мысли о смерти? Почему так назойливо, так бессовестно-лучезарно во мне ощущение счастья оттого, что это не я лежу на снегу истерзанной, желтой, каменной плотью, а она, незнакомая мне, чужая женщина? Почему я смотрю на нее — и не плачу? Почему я забуду о ней, очень скоро забуду? И все люди, смотревшие на нее, очень скоро забудут?! А ведь забывать об этом нельзя.

Почему человек вообще забывает? Почему каждый раз ему обязательно надо напоминать, давать крепкую взбучку, чтобы он наконец запомнил, заучил, зазубрил?

Люди с помощью счетно-электронных машин сумели расшифровать письма народности майя, изобрели синераму, предпочли Венере Милосской Брижит Бардо, создали музыку, которая в сочетании с пляшущими на экране разноцветными бликами заставляет тебя то засмеяться, а то загрустить, они танцуют твист или мэдисон вместо устаревшего вальса. Но забывают они все тем же старинным, испытанным способом, как и древние наши предки: просто выбрасывают из головы и забывают. Человек — это самое несовершенное запоминающее устройство.

Кто-то где-то сказал: человечество в целом, мол, все помнит. Весь нажитый миллионами поколений опыт. Это только отдельный индивид забывает. Уж такая у него дырявая память! Он один-одинешенек. Он слабое существо и поэтому имеет право не помнить.

Но я-то знаю: старается забыть тот, кто не хочет помнить, кому нет выгоды что-либо помнить. У таких всегда короткая память. Такой всегда себя бережет.

Тяжелые воспоминания ему действуют, видите ли, на нервы. Он потом не может долго уснуть. Ему снятся кошмары. Ему снится, что он тоже может вдруг умереть, а это, видите ли, для него невозможно. Он к этому еще не готов. Поэтому утром, просыпаясь, он в плохом настроении и готов на уступки: ах, пожалуйста, пусть гибнет все что угодно, только не я! Только не я и не мое драгоценное здоровье. И не здоровье моей драгоценной супруги. Только не мой текущий счет в банке.

Кто-то очень бережет себя — и Гитлер приходит к власти. Кто-то жалеет, что убьют его нежную, теплую плоть, — и без боя сдана фашистам цветущая Франция. Кто-то, вместо того чтобы стрелять, прячет голову — и бежит из Голландии, из Дюнкерка, из Греции, отступает в песках Северной Африки перед Роммелем, — и теперь фашисты убивают нас. Убивают не только мужчин, но и женщин, детей...

Человек не имеет права жалеть и беречь себя одного! За время существования на Земле он победил в себе столько мрачных инстинктов, столько выработал в своем сознании высокой ответственности и чувства долга, что он может и должен побороть в своей душе и эту живучую черствость к чужому страданию, доставшуюся в наследство от диких зверей, воспитать в себе твердость и мужество всеобъемлющей мысли, не забывающей, не прощающей ничего.

Человек на войне погибает от пули. Но не пуля причина его гибели. Причина его смерти всегда одна: кто-то слишком себя берег. Кто-то ради того, чтобы жить, уступил, даже сподличал, переждал, пока враг ломился в твой дом. Он подглядывал из-за ставни, укрывшись трусливо, вместо того чтобы взять в руки оружие и, объединившись вместе с тобою, идти и стрелять в этого общего врага.

Причина всегда в том, что кто-то кому-то развязал уже однажды обгаренные руки и, забывая о прошлом, сказал: «Иди! Грабь соседа. Меня же не трожь!»

Мы все перед мертвыми виноваты...

Я иду по спящей Москве. Столица теперь засыпает рано, совсем как ребенок. Лишь изредка пробежит запоздалый троллейбус, хлопнет дверцами на остановке

и снова помчится дальше, торопясь с линии в парк. Одно за другим гаснут окна домов. Все грубее, темней становятся контуры зданий: город гасит огни уличных фонарей и реклам. Спят солидные учреждения и министерства. Спят таинственные лаборатории и институты. Спят проектные и конструкторские бюро. Размечтавшись о звездных дорогах, спят наши мирные космонавты — парни и девушки. Спят простые служащие и рабочие, отдыхая от будничных, мелких забот.

Мимо меня прошла парочка. Он в коротком светлом пальто, в узких брюках. У нее — надменный профиль египетской царицы, короткая челка, узкие, подрисованные синим глаза. На ногах туфли на шпильке.

Интересно, если вдруг начнется война, что они будут делать, эти двое? Куда побегут? С чего начнут свою военную жизнь? Ну, положим, его призовут, этим он будет избавлен от каких-либо самостоятельных решений. А она, египетская царица? Захочет ли она сама, добровольно повторить тот тяжкий путь, по которому прошли мы: Женька, Марьяна, я, все наши девчата «образца 1941 года»?..

Помню, у нас в медсанбате была симпатичнейшая деваха с румянцем во всю щеку. Звали ее Галя Пяти-тонка. Так вот, надевая утром огромный кирзовый сапог, Галя топнет ногой, поглядит на свои толстенные икры и скажет:

— Ну, социализм на таких ногах будет прочно стоять!

Интересно, что бы Галя сказала об импортной шпильке?

Я не хочу строить домыслы об этих двоих. Я хочу твердо знать, что они из себя представляют. Это мое солдатское право: ведь они мои товарищи по окопу. Пока пушки и танки не переплавлены на плуги, пока есть угнетатели и угнетенные, пока не сброшены в море ракеты и водородные бомбы, мир живет в постоянной тревоге: он еще разделен невидимой линией фронта. И я хочу твердо знать, что у этой девчонки с египетскими глазами такое же преданное Родине сердце, как у моих товарищей по войне: у Марьяны, у Женьки.

Женька, Женька, что же это ты подкачала, а?! ,
Держись! Ты же храбрая, смелая.

Ты ведь помнишь, как мы воевали?!

Петряков выскочил на крыльцо, в темноту. Отряхнулся брезгливо. Там, внутри него, еще все клокотало. «Зачем? Почему я обязан?! Кто сказал? Исходя из чего? А на кой черт мне это?»

Ему хотелось заплакать, выматериться. Но он только тяжело перевел дыхание. Постоял, остывая. Потом с осторожностью — рана в ноге все еще давала себя знать — заковылял по ступенькам вниз, в сырую и темную прохладу каменного двора.

Ощупью нашел Ястреба, отвязал его от коновязи. Ощупью вскочил в седло.

— Но! Пошел...

Ястреб чутко прислушался.

Прежде чем сделать первый шаг за ворота, Ястреб теперь всегда чутко прислушивался. Конь был беженец. Он отступал с женами и детьми командиров от самой границы, от Буга, и, добравшись наконец до глубокого тыла, приобрел все повадки большого, напуганного войной, осторожного зверя.

Петряков тоже прислушался.

Где-то на большой высоте противно нудил самолет. За три месяца войны этот нудный, ноющий звук хорошо уже знали все: и животные и люди. Воздух мелко дрожал, отзываясь на голос чужого мотора.

Воздушная тревога здесь, в Старой Елани? В самой глубине, в самой тишине страны? Что это значит?

Петряков вскинул голову. Кровь в висках начала в ответ тоже мелко дрожать, убыстряя свой гон.

Он хотел успокоить себя: «Ерунда! Это просто случайность. Не может быть, чтобы у немцев так работала разведка! Просто фриц залетел сюда сдуру. Ну откуда ему известно, что тут делается, у нас в городе?!» — недоумевал Петряков, глядя вверх, в лиловое небо, по которому уже протянулись белесые полосы прожекторов.

За рекою, во мгле, передернувшись, бухнули зенитки. Гул мотора стал медленно удаляться в сторону запада. Вскоре он смолк совсем.

Город спал.

Все так же в тихих улочках, в садах зрели яблоки. Все так же за окнами дышало теплом русской печи мирное тыловое житье. Стук подков Ястреба по булыжнику был единственным будоражащим город звуком, и он теперь отдавался в груди Петрякова слепой, гулкой болью.

«Нет, ведь это не случайно, что фашист залетел сюда, за тысячу верст от переднего края,— размышлял Петряков.— Не случайно. И именно в тот день, когда на станции разгружаются эшелоны! Разве это случайность, что там, на границе, в самые первые дни войны немцы уничтожили многие наши аэродромы, нашу новую технику, запасы горючего?!»

Он поморщился от воспоминаний.

Петряков успел побывать в переделке. Уже на четвертый день войны он работал военным хирургом в полку: оперировал раненых при свете коптилки. Ел ржавые сухари, пахнущие мышами. Спал на дне окопа, не раздеваясь и не снимая сапог. Вместе с полком ходил врукопашную, был ранен и потом три с лишним недели отвалился на жесткой госпитальной койке. Теперь он хорошо знал, чем расплачиваются за беспечность.

Услышав голос чужого мотора здесь, над Старой Еланью, Иван Григорьевич хмуро задумался и долго глядел в осеннее низкое небо с белыми ниточками падающих звезд. Что там происходит сейчас, на войне? Почему сюда залетел самолет? Не иначе, ожидай еще новую какую беду...

Когда-то война рисовалась Петрякову существом довольно порядочным: вот это можно делать на войне, а этого нельзя, не полагается. Нельзя, например, убивать стариков и детей. Или женщину. Или пленного. Нельзя бросать бомбы на лазареты, тем более если на их крышах отчетливо прорисован большой красный крест.

Но то, что он увидел там, на западе, оказалось ни на что не похожим. Теперь Петрякову представлялось: мир треснул по швам, а люди — на грани безумия. Слово болт в гигантской машине сорвался с нарезки — и вот бешено крутится огромное черное колесо, дробя и ломая все, что встретится на пути: дерево так дерево, город так город, женщину так женщину! Теперь в ночных длинных кошмарах ему виделись одни и те же распяленные в крике сухие рты, обгоревшие, скрючен-

ные в суставах пальцы, дом в одну стену, лестница, ведущая в пропасть, ребенок с оторванной головой. Каждую ночь набегали, как в кинокадре, чьи-то расширенные, обезумевшие глаза. И Петряков задыхался от своих повторяющихся липких снов. Просыпался с грохочущим, скачущим сердцем. Вместо гулкого, летящего обломками неба над ним мирно белел госпитальный, с лепниною потолок.

— Что, военврач? — шептал белый от гипса сосед. — Все воюешь? В атаку, ура?

— Да, — растерянно отвечал Петряков. — Все воюю, ура...

Он знал: у него теперь только один путь. Снова в полк, на передовую. Чтобы никто не бросил упрека: «А где был ты, когда мы умирали?» Он хотел отомстить за все: за себя, за смерть товарищей, за ту сельскую, «простейшую, как амеба», больничку, в которой накануне войны начинал работать врачом. В больничке теперь нет ничего: все разгромлено, уничтожено гитлеровцами — одни черные трубы. Но он сотни раз во сне возвращался на этот порог, входил в эти палаты, распахивал эти окна с видом на речку и выгон и слушал, как старшая медсестра докладывает о прошедшем дежурстве.

Всю жизнь собирался он прожить мирно в сельской глуши. Жениться на сельской учительнице и нажить с ней полдюжины белоголовых ребятишек. На рассвете вставать, на закате ложиться. Кружка свежего, парного молока и шершавый ломоть еще теплого хлеба, сеновал, тяжелые вздохи коровы, жующей свою вечную жвачку... О чем ему было еще и мечтать, молодому врачу?

Ради этой простой, мирной жизни, возвращения в эту больничку он и пошел добровольцем на фронт на четвертый день войны. Ради близкой, скорой победы.

Однако тяжелое ранение, госпитальная койка и сводки по радио очень скоро избавили Петрякова от иллюзий. Он понял: близкой, скорой победы ему не видать. За победу еще нужно бороться и бороться. А сейчас там, на фронте, на счету каждый штык — и он метался по госпиталю на костылях, врываясь без стука в кабинеты начальства, грозя, бранясь и строго упрямивая.

Поскольку рана хорошо заживала, госпитальное начальство охотно пошло навстречу желанию молодого

хирурга. Его выписали досрочно. Но не в действующую армию, не на фронт, не в старый полк, где он начинал свою военную службу и где был ранен, а в «довольно-таки глубокий тыл», как с усмешечкой объяснили в штабе округа, оформляя его начальником санитарной части полка, в стрелковую дивизию. Огорченный, измученный ожиданием и несбывшимися надеждами, Петряков отмахнулся от того факта, что дивизия существовала пока только лишь на бумаге. Он знал: в военное время стрелковые дивизии формируются быстро, месяц-два — и на фронт!.. Главное было в том, что его назначили врачом не в тыловой госпиталь и даже не в медсанбат, а снова в полк, в знакомую обстановку.

Так он попал сюда, в Старую Елань, на берег реки.

Дивизия с трехзначным порядковым номером действительно существовала пока лишь на бумаге. Еще не было ни людей, ни оружия. Еще только выходили из пунктов отправления эшелоны с мобилизованными. Еще только выписывались со складов винтовки и боеприпасы, продовольствие и снаряжение. Еще только сходили с конвейеров оборонных заводов минометы и пушки. Но здесь, в густых лесах, вокруг небольшого районного центра в глубине Черноземья, уже шла своя напряженная армейская жизнь.

Каждый день в полк прибывали со станции ротные и взводные командиры. Это были и старые, опытные кадровики, побывавшие в самом пекле и, подобно Ивану Григорьевичу, успевшие отлежать свой срок в медсанбатах и госпиталях; и совсем новички, еще «не обстружанные» лейтенантики, только-только из военных училищ; и лобастые бородатые «запасные», бог весть из каких резервных глубин: агрономы, прорабы, учителя, неумело натянувшие на себя военную форму и еще не отвыкшие от вольготных штатских привычек.

Петряков очень быстро освоился на новом месте, свыкся с порядками и считал себя старожилом в отличие от новичков. За какие-нибудь две недели он успел дочерна загореть на позднем солнце бабьего лета, полюбить неумолчное бормотание близкой реки, голоса левчих птиц в чащобах и запахи гнилых, перезрелых ягод малины и ежевики на лесных ослепительно желтых от кленов прогалах.

Он не знал, что и это придется терять.

Плотно слившись в единое целое, конь и всадник двигались неторопливо, каждый думая о своем. Под копытами Ястреба на дороге чуть похрустывали мелкие острые камни: это был еще город.

Вскоре Петряков миновал большое колхозное поле картофеля, еще не убранное, и свернул с шоссе на лесную тропу. Здесь была уже глухомань, бурелом. Лес тянулся на многие километры.

Ястреб фыркнул, наткнувшись мордой на низкие влажные ветки кустарника: там что-то коротко зашеле-стело. Может, вышел на ночную охоту еж, может, просто сорвался с ветки сухой лист, но конь вдруг вздрогнул всем телом и пошел как-то нервно, сторожко, заносясь правым боком. Петряков дернул поводья.

— Но, балуй! — крикнул он и занес плеть, чтобы ударить. Но не ударил.

Он любил это рыжее существо с белой челкой и в белых чулках, с длинной гривой. С ним легко было молчать, легко разговаривать, даже грустить. В такие минуты лошадь становилась особенно чуткой.

Иван Григорьевич ехал ночными опушками леса. Где-то близко темнела река. Дыхание ее ощущалось в терпком запахе ила, лягушек и лиственного гнилья. Сейчас будет дамба, обсаженная длинноствольными серебристыми тополями. Потом крутой спуск к реке и грубо сколоченный саперами мост. За ним, сразу же наизволок, — землянки второго стрелкового полка. Там, в санчасти, Петряков должен взять свои вещи и проститься с друзьями, чтобы завтра уже, на рассвете, быть в городе.

Да, недолго он пожил здесь. Не пришлось...

Всего два часа назад Ивана Григорьевича с нарочным вызвали в штаб дивизии к генералу Осипу Федоровичу Маковцу, человеку суровому и недоступному, — и разговор был коротким. Пришлось подчиниться приказу.

Теперь он возвращался в полк лишь затем, чтобы взять вещи и продовольственный и вещевой аттестаты.

Ястреб хрустнул срубленной веткой, тихонько, обрадованно заржал. Ветер прошел по верхушкам деревьев, донес запах полковой походной кухни: смолистого дым-

ка от углей, пригорелой гречневой каши. Меж сосновых стволов мелькнул синеватый луч штабного фонарика.

— Стой! Кто идет?

— Свои...

Петряков усмехнулся: здесь уже было теперь не свое, здесь теперь все было чужое.

Иван Григорьевич бросил поводья дневальному и, откинув брезентовый полог в дверях, вошел в штабную землянку.

3

Они не ужинали. Ждали его. На столе стояли тарелки, миски, щербатые чарки из литого стекла, солонка и хлеб, нарезанный большими ломтями. Тускло светил фонарь, подвешенный над столом на помятом крюке. В приземистой печке из заржавленного гофрированного железа потрескивали березовые дрова.

Заслышав прихрамывающие шаги Петрякова, командир полка майор Матвей Железнов порывисто обернулся, сощурился. Это был высокий, богатырского сложения человек, стриженный ежиком, темноглазый, с неожиданно нежной, застенчивой улыбкой на смуглом массивном лице. Туго перетянутый ремнями, широкоплечий и ловкий, Матвей был бы очень красив, неотяжеляя его профиля квадратный подбородок. Мохнатые, кустистые брови, нависая над глазами, придавали его лицу угрюмость, даже свирепость.

Железнов выжидающе молчал.

Комиссар полка Дмитрий Иванович Шубаров лежал на нарах, подложив под голову руку, и читал вслух. Заметив, что вошел Петряков, Дмитрий Иванович отложил в сторону книгу. Ладонью пригладил белокурый хохолок на затылке.

— А-а, это ты, эскулап? Ну как, хорошо прогулялся? — спросил он, подмигивая. — Все нормально?

— Да, — сказал Петряков. — Прогулялся. Все нормально.

Иван Григорьевич швырнул на нары планшет и фуражку, грузно рухнул за стол, уткнул лицо в ладони. Долго сидел неподвижно.

Всю дорогу он думал об этой минуте и не предполагал, что расставание будет еще тяжелей. Так близко, как

с этими двумя, он ни с кем еще не сживался, даже в том своем первом полку.

— Что случилось, Иван? Говори, не томи...

Петряков наконец поднял голову, протер пальцами воспаленные от напряжения, сухие глаза. Помедлив, ответил:

— Ну вот... Ухожу от вас. Все... Неужели не ясно?

— Та-а-ак...— озадаченно протянул Железнов, и на его освещенном отблесками пламени смуглом лице обозначились резкие складки.— Та-ак,— повторил он су-рово.— И куда же... ежели не секрет?

— Медсанбат принимать! — Голос Петрякова зазвучал с неожиданной обидой.— На рассвете быть там...

Матвей Железнов дернулся как от боли, крикнул. Крупной сильной рукой грохнул по столу так, что солонка подпрыгнула на месте. Вскочил, сердито зашагал, заметался на «пяточке» между нарами и печкой, расшвыривая по пути ногой табуреты.

— На рассвете быть там. Ишь как быстро! — заговорил он со сдержанной силой.— А мне-то тут как жить? Мне-то с кем идти воевать? Они обо мне там помнят или нет?! Я им кто? Вчера начальника штаба взяли, сегодня тебя. Это что еще за манера: боевые, проверенные кадры в тыл перекачивать. Нашли тоже метод... дивизию комплектовать!

Шубаров спокойно обернулся к Железнову:

— Слушай, Мотя. Он прав: приказ есть приказ.

— А-а, не трожь меня! — отстранился Матвей.— Тоже ангел-хранитель! Я знаю, что говорю. Мне, мне воевать! — Железнов гневно отмахнулся от комиссара.

Но, потоптавшись и взглянув Мите в лицо, снова сел за стол, молча стал рассматривать свой огромный, с курчавыми рыжими волосками кулак. Так же быстро, как вспыхнул, он вдруг успокоился, выжидающе кашлянул. Дотянулся до фляги, разлил по чаркам водку и, пододвинув каждому, сухо, все еще сердясь, сказал:

— Ну, на то... воля божия — и Осипа Федоровича Маковца. Будем здоровы!

Они в мрачном молчании выпили.

Красноармеец принес с кухни закопченный котелок с дымящейся разварной картошкой, миску малосольных огурцов в укропе, в листьях черной смородины и разрезанный полосатый арбуз. В землянке сразу остро запахло морозцем.

Выплевывая арбузные семечки в тарелку, Железнов покосился на Петрякова и вдруг обнажил в недоброй усмешке свои крепкие ровные зубы:

— Ну, а ты небось рад, что вырвался? А?

— Ну, ты это брось! — спокойно ответил Иван Григорьевич. — А то ведь я могу...

— Ну что? Что ты можешь?! — оживился Матвей.

Разглядывая Петрякова из-под нависших бровей в упор, как будто увидев его впервые, он вдруг мрачно и горестно улыбнулся. Голос его зазвучал с неожиданной нежностью:

— А ведь я о нас с тобой, Ваня, знаешь, какую думку-то думал? Эх!.. Не сбылось... А ведь хочешь небось знать, чего я ждал от тебя? А? — Железнов рассмеялся каким-то несвойственным ему заискивающим смешком. — Ну, сказать или же не сказать? — спросил он, осторожно изучая выражение лица Петрякова. Тихо произнес, как бы про себя и не глядя на Ивана Григорьевича: — Я ведь так запланировал, чтобы и лишку не мучиться... Как другу небось... Э-эх, Ваня! Лишил меня... Зачем легкой смерти лишил?! — Он снова хватил по столу кулаком.

— Хватит! Будет тебе! — спокойно заметил Шубаров.

Но, щурясь острыми голубыми глазами на желтый, прыгающий в печке огонь, он и сам на мгновение застыл, погруженный в раздумье. Как будто и перед ним, обдав вечным мертвенным холодом, промелькнуло какое-то странное, слепящее душу видение; пронеслось — и исчезло. Он резко потряхнул головой, отгоняя его от себя.

— Какая-то ерунда у тебя нынче в башке, Матвей! Для того он и существует, медсанбат, чтобы раненых принимать.

— Да я не о том... — Железнов вздохнул. — Эх, Иван, — обратился он к Петрякову, — все! Кончилась наша дружба...

— За дружбу! — сказал Шубаров и поднял чарку. Стекло скупно звякнуло о стекло.

Петряков выпил, повертел чарку в руках. В старинной, хорошо отшлифованной грани отсвечивали огоньки.

Он больше Моти и Мити знал об этой войне. И о жизни, и о смерти. Он-то знает, что нет ее, легкой

смерти. Ни для кого. И даже для самого лучшего друга. А есть та, какая придется. Может быть, что и в муках. И никто не в силах эту муку прервать прежде времени, отвести.

Он долго сидел задумавшись, молча. Потом медленно, не торопясь раскурил свою трубку.

В мыслях Петряков уже был далеко отсюда, в Старой Елани. Он не стал здесь рассказывать о том, что сразу же, как только получил назначение, помчался к себе в батальон.

Медсанбат в городе пользовался дурной славой, и новый его командир должен был сам первым все увидеть и узнать, по известному принципу: «Лучше в откушенном яблоке найти целого червяка, чем половину».

И вот этот-то обнаруженный в спелом яблоке червяк сейчас и точил ему сердце.

4

Там все было сложно, непросто, в его батальоне.

Петряков шел один из комнаты в комнату, никому не известный, никем не спрошенный — у них даже не было часовых в воротах, — и с удивлением рассматривал низкие потолки, узкие, душные переходы, деревянные скрипучие лестницы, коридоры, прихожие, тупички. Казалось, сам воздух старого дома, в котором расположились медрота и штаб, до отказа был насыщен тревогой, грозovým электричеством: тяжело, душно, темно. Большие трехстворчатые венецианские окна, самой конструкцией своей обязанные давать много света, сверху донизу заплетены лиловым вьюнком, и от этого в комнатах — зеленоватая мгла, а в ней странные шорохи, тени, грудной женский смех, шаги босиком...

Он ходил из комнаты в комнату — и никто этому не удивлялся, не вставал при виде командира.

В женских спальнях зеленой спиралью кружил ядовитый махорочный дым. Кто-то спал на полу, на соломе, в смазных сапогах. Тут же рядом, в углу, — шелуха от подсолнечных семечек, чешуя от воблы, окурки.

До сих пор Петряков представлял себе: батальон — это роты, командиры взводов, старшины. Развод караулов. В шесть — подъем, в двенадцать — отбой. Это утренние и вечерние поверки. Это запах холодной стали и

смазки. Это четкий грохот сапог по булыжнику: «Вставай, страна огромная...» Это белоснежные тугие халаты, крахмальные шапочки — на самую бровь. Тихий говор. Блеск начищенных инструментов. Острый запах эфира и йода. Это ритм, безупречный, как у хронометра. А здесь?..

В коридоре накрашенная девица с прической а-ля Карла Доннер повела в его сторону русалочьими глазами: «Вы ко мне?..»

Он шарахнулся в сторону, скрипнул зубами. В темноте услышал злой женский голос:

— По Женевской конвенции ни врач, ни сестра не имеют права стрелять. А нас обучают: стебель, гребень, рукоятка... «А мулек? Где мулек?» Ну, я завтра ему, рыжему черту, скажу!..

Командир батальона злобно хмыкнул.

Пробираясь из-под Бреста через болота, лесами, он с товарищем по полку наткнулся в березовой чаще на разгромленный немцами медсанбат. Брезентовые палатки были, как лапша, исполосованы ножами. Раненые, добитые выстрелами в лицо, лежали черной, обугленной грудой на залитой солнцем поляне. Их сложили в костер, как дрова, и облили бензином. Но сгорели они не все: наверное, помешал дождь. Медицинские сестры лежали голые, растерзанные, с выколотыми глазами.

Почему-то в том лесу никто из фашистов не вспомнил о Женевской конвенции!

— А мы ее, кажется, эту конвенцию, не подписывали, — сказал другой женский голос. — И потом... как ты можешь так равнодушно: стрелять — не стрелять? А я непременно буду стрелять. Они сами сюда пришли. Мы их не звали. От меня, например, им не будет пощады.

А рядом в темноте — звонкая пощечина, глухой девичий вскрик:

— Ах ты, сволочь! У своих воровать?

Петряков кинулся по лестнице вниз, в темноту. Поставил на крыльце, отдышался. Взял в руки повод, прижался лбом к мохнатому круглому боку Ястреба: «Вот ты, Ястреб, разумное существо, ответь мне, скажи: что здесь от бога и что от... дьявола?! А? Не знаешь? А мне каково?..»

Сейчас Петряков хмуро сидел за столом, молчал, хрустел пальцами. Надо ехать.

Все равно уже ничего не изменить.

Лесная счастливая его жизнь кончилась. Что там ждет впереди — и цыганка не угадает.

— Распутье да раздумье — сколько ни стоять, а на-двое не разорваться, — рассудительно посоветовал Железнов. — Если хочешь к утру поспеть, скажи писарям, чтоб документы заготовили. А то не управятся...

— Да, сейчас. — Петряков кивнул головой и не двинулся с места.

Он набил свежим табаком свою черную трубку. Уж где-где, а здесь, в полку, он всегда был как дома. Ему ли спешить покидать этот дом!

Вытянув раненую ногу, он сел поудобнее, чтобы дать ей перед дорогой отдохнуть.

Шубаров, бросив беглый взгляд на Петрякова, негромко спросил командира полка:

— Моть, а Моть? Слушай!.. Отдадим ему Ястреба, а? Ну куда ему... пешим? — Комиссар кивнул на негнущуюся в колене ногу Ивана Григорьевича. — Пропадет ни за грош! Совершеннейший ведь инвалид.

— О чем речь! Ястреб его. Пусть берет.

— Бери, Ваня, — сказал Шубаров. — Может, все лишний раз к нам сюда занесет... По знакомой дорожке!

Петряков помолчал. Потом коротко кашлянул. Ответил отрывисто:

— Спасибо. Возьму! — и грузно поднялся с табурета.

Чтобы скрыть нахлынувшее волнение, он отвернулся, стал шарить в углу, в общей куче плащей и шинелей свою шинель. Нашел, накинул ее на плечо и направился к выходу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Мне всегда почему-то жаль людей, оберегающих себя. Жить им боязно, скучно. Всю жизнь спать под крышей, пить одну лишь кипяченую воду и хранить свои деньги в сберегательной кассе — вот их идеал.

Я всегда завидовала сильным и смелым: летчикам, морякам, водолазам, открывателям новых земель. У них, презирающих опасность, наверное, другая кровь в жилах, другая душа в теле.

Поэтому, когда началась война, я обрадовалась. Да, да, в ту самую первую минуту, когда по радио объявили, что война началась, я обрадовалась, засмеялась. Я подумала о себе: «Ну вот, теперь наконец я узнаю, что я за человек! И вообще, человек я или же просто так... дрожание воздуха!»

Почему-то в тот день я ни секунды не колебалась, хотя понимала, что пользы от меня, как от солдата, на войне будет ноль.

Впоследствии так оно и случилось: за четыре года пребывания на переднем крае я не сбила ни одного самолета, не подбила ни одного танка, не убила ни одного вражеского солдата. Я только перевязывала раненых. И все. И это была от меня, пожалуй, единственная польза. Но я знала: пока я на фронте, моя совесть чиста. Все, что выпадет мне на долю, я выполню честно.

В то время я была молода. И, как все молодые, жестока.

Всякого едущего не в сторону фронта, а в тыл я презирала. Я вообще тогда всех невоенных глубоко презирала.

Шли лекции, веселые или скучные. Пахло марлей, картонными муляжами. После лекций, несмотря на комендантский час, мы еще успевали сбежать в кино. Профессор торжественно объявлял: «Неизлечимые у меня теряют жизнь, но не надежду на выздоровление». И мы все смеялись, потому что слушать это было смешно: большего, чем он, добряка и педанта трудно было сыскать.

Мы записывали: «К лекарственным растениям, известным человеку с древнейших времен и лечащим наши недуги, относится также ландыш: *Convallaria majalis*».

— Запишите рецепт,— говорил профессор.— Всегда пригодится.

И мы записывали: «*Detur tales doses... tales doses...*». А я думала о ландышах, о весне, о Борисе и о том, что война — это что-то еще весьма отдаленное. Она где-то на западе, в сотнях верст от Воронежа, и нет повода беспокоиться и думать о ней, пока солнце так радужно блещет в золотистой листве, отражается в стеклах окон, на колбочках лаборатории и на круглой лиловой, словно луковица, лысине профессора фармакологии.

Каждый раз старик опаздывает на лекции. Он поспешно врывается в аудиторию, с разбегу пихает пузатый портфель в кафедру и вдруг наклоняется и смеется густым, торжествующим, жирным смешком.

Потом медленно, с осторожностью извлекает из кафедры измятый портфелем букетик анютиных глазок, таких свежих и крупных, какие цветут только на клумбе перед университетом, и рассматривает, обнюхивает их плотоядно, затем складывает щепотью толстые красные пальцы, посылает аудитории воздушный поцелуй.

— Благодарю... Благодарю... Оч-чень, оч-чень приятно! — И еще долго раскланивается перед нами, вдевая букетик в петличку, а Женька фыркает и больно толкает меня под столом ногой.

— Лысый черт! Небось сам приносит в портфеле эти цветы, а потом здесь раскланивается. Как ты думаешь, кто ему кладет? Неужели есть дуры?

— А что ж... Конечно, есть, — говорит вдруг беспечно Марьяна. — Честно сказать: кладу я.

— Ты?.. — У Женьки округляются ее неправдоподобные, похожие на два черных махровых цветка глаза. Она хлопает ресницами. — Не понимаю. Зачем? Старику?!

— Так, низачем! — отвечает Марьяна. — Посмотреть, что из этого выйдет. Ты же видишь: ему приятно. А мне весело. И потом... не вечно ж ему болтать о касторке!

— Убей меня бог, не понимаю! — говорю, в свою очередь, я.

— Ну, есть люди, которые и дважды два не понимают... Они только стесняются об этом говорить вслух!

Мы с Женькой молча пожимаем плечами.

К войне мы относимся очень серьезно: как к войне. Не то что Марьяна.

На практические занятия по хирургии мы ходим в областную больницу, превращенную в госпиталь. Нас здесь учат ухаживать за ранеными, перевязывать, делать инъекции. Мы работаем палатными сестрами. Конечно, под присмотром врачей и старших медицинских сестер, но все же палатными сестрами. А эта работа, оказывается, требует не только больших знаний и про-

фессионального навыка, но и очень много тепла. В сущности, она вся состоит из расхода твоих душевных калорий. Можно что-то и не уметь, тебе это простят. Но недоброму, нечуткому человеку здесь работать нельзя. Это было бы уже полным отсутствием квалификации.

Среди самых тяжелых больных у нас есть подшефные. Мы их навещаем даже в те дни, когда нет дежурства.

Я выбрала себе подшефного, пока шла от дверей. Он лежал как раз против входа и бросился мне в глаза своей бледностью, своими короткими рыжими волосами и густыми веснушками, всей своей ужасающей некрасивостью. Дурной запах гниющего тела я почувствовала, когда уже подошла и положила на тумбочку подарок: два больших красных яблока и конфеты.

Смесь ликования: «А я здорова, здорова!» — и стыда: «Какие вы все здесь измученные, больные!» — несла меня к нему от кровати к кровати, и все мое существо мучительно сопротивлялось, с отчаянием преодолевая брезгливость и страх. Я, наверное, не сумела этого скрыть от него, от его зоркого взгляда. Он лежал молчаливый, угрюмый и одинокий, с таким выражением на лице, как будто бы хорошо знал то, чего не хотят знать другие. В его светлых, холодных глазах я ясно прочла, что он нисколько не осчастливлен моим посещением. И что всякое показное милосердие — ложь.

Он сражался за Родину — и вот ранен. Ранен ужасно — неловко и тяжело, так, что, сильный, крепкий мужчина, он не может сам сесть на кровати, взять в руки кусок хлеба, ложку с супом, стакан с молоком, теперь он должен неподвижно лежать и ждать терпеливо, когда кто-нибудь удосужится и подойдет, подаст судно, поможет умыться, даст поесть. Он храбро дрался на фронте, может быть, так же храбро, как и раненный в руку его сосед по палате, чернобровый красавчик. Но к тому то и дело подходят молоденькие врачихи и смешливые, бойкие сестры, а мимо него стараются поскорее пройти, стыдливо опуская глаза.

Да, к такому не каждая подойдет...

Я бы тоже, наверное, не подошла. Но я хотела проверить себя, свою силу воли, на что я годна. И я подошла.

«Ну да, какая из меня медицинская сестра! — думала я, идя к нему по палате мимо коек. — Разве этим ко-

го-нибудь проведешь? Вот он, например, наверное, сразу увидел, еще из дверей, как я шла и как мне было стыдно, противно. Сестра милосердия!.. Так, кажется, раньше нас называли? Милосердие. А с чем это нынче едят? Какое тут, к черту, милосердие, когда там, на западе, все завязалось железным узлом и еще неизвестно, чем это кончится! Когда не веселость нужна людям, не сопливенькая доброта, а жестокость, жестокость и еще раз жестокость!.. Одна лишь жестокость и месть до последней капли крови! Разве это не ясно?!»

Я склонилась над ним, ожидая всего, что угодно.

Но он радостно и доверчиво рванулся ко мне всем телом навстречу. Зеленые, в редких рыжих ресницах глаза распахнулись с такой несдержанной лаской, что мне на миг стало жарко.

— Что, сестрица, нелегкая служба, а? — спросил он, с трудом поворачиваясь для умывания. — Вот возни тебе с нами...

Я засмеялась как-то очень поспешно.

— Ничего... Это в жизни не самое трудное!

И словно в подтверждение моих слов с треском хлопнула дверь. Завыли сирены. Железным клетотом подавились зенитки. Кто-то, стремительно пробегая коридором, успел крикнуть:

— Тревога! Сестра, тревога! Выноси скорей раненых!..

Ничего нет страшнее тревоги в госпитале. Среди лежачих. Сорок коек в палате. Сорок пар беззащитных, умоляющих глаз устремлены на тебя. Ждут спасения сорок жизней! А ты одна. Сорок маленьких ужасов в черных зрачках. Сорок тяжестей для твоих неопытных, еще слабых рук. Двенадцать лестничных пролетов: вниз — вверх, вверх — вниз, сорок раз это самое вниз — вверх, и еще двадцать темных ступенек в подвал бомбоубежища, где горят тусклые, серые лампы!

— Женька, милая, спасибо, что ты пришла! Дерки скорее носилки. Взяли!..

Вот где истинное милосердие. В поддержке товарища!..

3

А потом мы шли и прощались с Воронежем.

Голубой вечеряющий проспект Революции удивительно красив в эти часы. Он словно в подсвеченном

снизу искристом тумане. Кто-то из прохожих обронил папиросу, и я тотчас поспешила наступить на тлеющий на сером асфальте малиновый уголек, загадав при этом желание. Это наш давнишний обычай: наступить на горящую папиросу и задумать желание. Какое угодно. Какое в эту минуту приходит в голову.

У меня желание всегда одно.

— Ну, как? Нет вестей от Бориса? — спрашивает Женька, устремив на меня свой мерцающий загадочным блеском взгляд.

— Нет.

— Странно!..

— Что ж тут странного! Он на фронте. Там сейчас не до писем.

— Нет, это странно. Я думала, он тебе пишет...

— Ничего, он напишет. Он на фронт мне напишет!

Не стану же, в самом деле, я ей объяснять, что мы с ним в ссоре. Что он теперь никогда уже мне не напишет, даже если жив и здоров.

Мы проходим вдвоем по проспекту, и встречные мужчины сперва смотрят почему-то на меня, потом переводят взгляд на Женьку, на ее черные, как сапожная щетка, ресницы, на длинные ноги, потом, искоса, на высокую грудь Марьяны, на ее белокурую толстую косу — и опять на меня.

Женька гордо вскидывает свою точеную голову, ревниво косится:

— Чего это они пялят глаза на тебя?

— А я почем знаю? Наверное, нравится мое платье!

Да, мои растоптанные башмаки и линялое, с расплывшимися разводами бумазейное платье рядом с Женькиным черным свитером и Марьяниной белой шелковой блузкой, я так полагаю, не могут не привлекать внимания проходящих.

А мне наплевать!

Мы идем и прощаемся с Воронежем.

До свиданья, Дворец пионеров и сад ДКА! До свиданья, бронзовый поэт Никитин! До свиданья, кинотеатр «Спартак»! В мирные дни нашей юности ты был прекрасен!

До свиданья, фонтаны Кольцовского сквера и плакучие вавилонские ивы. Вы не плачьте, ивы! Мы скоро вернемся. (Кто знает, когда мы вернемся?!)

Ты красив, наш Воронеж.

Здесь я выросла и повзрослела, на твоих Стрелецких, Ямских и Гусиновках. Здесь я встретила Борьку. Здесь мы с ним вместе ходили из школы. Может быть, поэтому я и запомнила тебя, мой южнорусский город, не летом, а снежной, буйной зимой?!

После январской метели улицы в белом мохнатом снегу. Деревья стоят таинственные, словно призраки. Хлопнет дверь подъезда, с ветки сорвется ком снега, обрушится за воротник — и еще долго будут покалывать кожу ледяные иголки. Воздух пахнет свежестью, хвоей, мандариновой коркой.

Мы идем по городу вместе с Борисом Баниным. Каждый вечер теперь он провожает меня из школы домой. Мы лениво бредем по сугробистой Комиссаржевской, сворачиваем на проспект — под белые, словно клубы фабричного дыма, заиндевелые тополя. В свете желтой луны, набежавшей на город, хорошо видны белые папоротники на стеклах витрин магазинов, ветвистые рога оленя на афише, белый пушок дыхания у Борьки над верхней губой.

Я гляжу на Борьку искоса. Что-то нездешнее, чудесное видится мне в этом белом его дыхании, в том, что он рядом со мной.

Подняв воротник старой куртки, я молчу.

— Ты чего сегодня такая... колючая?

— Ничего...

Как сказать ему, что наш город как сон, что в нем, наверное, легко исполняются все желания и отгадываются все загадки — на сто лет наперед? Но я для себя хочу слишком многого. Мне — не сбывается!

Борька лепит снежок.

Мы с ним дружим давно.

Вернее, это для меня началось все давно. Со школьного драмкружка. Когда Женька еще увлекалась театром и я вместе с нею ходила на все спектакли областного драматического театра, а потом — на все занятия школьного драмкружка. Там я и увидела Борьку Банина. Он был на два года старше нас и играл Самозванца. А Женьке, поскольку она всего «Бориса Годунова» шпарила наизусть, была доверена роль Марины Мнишек. Сейчас трудно сказать, хорошо ли она играла, но я помню, что, главное, она не сбивалась с текста и была

с Самозванцем надменной и злой. Особенно когда отвечала Димитрию:

...Не мнишь ли ты коленопреклонением,
Как девочки доверчивой и слабой,
Тщеславное мне сердце умилишь?
Ошибся, друг...

И он вдруг горячился, краснел, забывая слова. А суфлер начинал громко подсказывать:

Не презирай младого самозванца...

И опять:

Не презирай младого самозванца;
В нем доблести таятся, может быть,
Достойные московского престола,
Достойные руки твоей бесценной...

Я сидела в пустом, темном зале на последней скамье, у самого входа, и глупо, отчаянно переживала. Я ведь тоже знала всего «Годунова» наизусть и могла бы подсказывать Борьке решительно всю роль Самозванца, все его выпады против гордой польской панны. Но он, видимо, в них не нуждался. Он просто упивался своей униженностью перед Женькой. Нежно брал ее за руку, с тревогой заглядывал в ее мерцающие из-под темных ресниц цыганистые глаза.

А потом и мне в драмкружке дали какую-то роль, конечно, не в «Годунове», а в какой-то формалистической пьесе, где по ходу действия я спиной к публике должна была в натуральном грязном корыте стирать грязное натуральное белье. Так в пьесе изображалось угнетение пролетариата. Но корыто почему-то не способствовало улучшению моих отношений с Борькой, и я вскоре перестала ходить на кружок. Пусть они там сами угнетаются, без меня! Так решила я — и больше не ходила ни разу.

А вскоре Банина исключили из школы за какую-то проделку с украденным Женькиным дневником. И он уехал из Воронежа совсем, навсегда. Говорили, подался в военные авиаторы.

Борька Банин вернулся неожиданно, в отпуск, зимой. Мы встретились с ним как раз возле школы: я шла на занятия. Он был в летной форме — темно-синяя шинель, голубые петлицы, крылышки, золотые шевроны. И все тот же легкий пушок на верхней губе. И все те же пушистые темные брови. Лишь глаза стали более яркими, серыми.

По своей обычной привычке, я, конечно, не удержалась, чтобы не съехидничать по его адресу: уж больно мне не понравился этот знающий себе цену, отважный красавчик.

— Ба!.. Вот это, я понимаю, серость! — воскликнула я, глядя ему прямо в глаза. — Прямо круглая серота!

Но Борис почему-то не ответил мне подобной же гадостью. Он удивленно молчал и разглядывал меня, словно не узнавая. Как будто перед ним стояло совершенно незнакомое ему существо.

А поздно вечером Борис ждал меня у крыльца. И пошел провожать домой через весь город: я жила далеко на окраине. И сколько дней пробыл в отпуске, столько вечеров и простоял возле школы, под деревом, ожидая, когда кончатся занятия в моем 8-м «А» классе.

К полуночи город темнел. Прохожие нам попадались все реже и реже. Затихал шум машин. Лишь изредка с грохотом обгонял запоздалый трамвай. Он обдавал нас снопами яркого света и сыпал с проводов целый фейерверк фиолетовых и зеленых электрических искр. Потом снова все затихало, темнело.

Мы молча шли по сугробам. Зачем говорить? Того, что подумалось, не скажешь словами.

Тем же самым путем, по которому я когда-то ходила с Борисом, мы идем и сейчас, после выпускного вечера на медицинских курсах при Воронежском государственном университете, — я, Марьяна и Женька. Три новенькие медсестры. И прощаемся с городом.

На площади перед зданием обкома я расстаюсь с Марьяной и Женькой: до завтра. До шести часов утра. Завтра в шесть часов утра мы встретимся в военкомате (кружка, ложка, две смены белья, сухари). Марьяна и Женька уже сказали своим родителям, а я еще не сказала. Мне еще предстоит сообщить матери эту новость. Со дня на день я все откладывала с ней этот нелегкий «мужской» разговор — и вот осталась последняя ночь, а я все еще не решаюсь.

— Знаешь, правильно Карл Маркс сказал, — замечает мне Женька. — Дети обязаны воспитывать своих родителей! Если мать будет плакать, ты ей так и скажи.

— Да. Я скажу, — отвечаю я довольно смущенно.

Мы прощаемся и расходимся в разные стороны. Женьке нужно налево, к ограде Митрофаниевского монастыря, — она там живет. Марьяне — по Плехановской,

направо, к заводу имени Коминтерна. Мне — по Кировской, прямо. Совсем как в былые три русских богатыря: «Налево пойдешь — женату быть. Направо пойдешь — богату быть. Прямо пойдешь — убиту быть».

Мы не верим, что нас можно убить.

4

Телефонный звонок Марьяны Поповой и свидание с Женькой в больнице что-то сдвинули внутри меня с места. В памяти стронулась заржавленная защелка — и вот какие-то тени, полузабытые, полужнакомые, панибратски подмигивают мне издали, кривляются и делают смешные, как при замедленной киносъемке, манящие жесты.

А зачем они мне?..

Я давно войну от себя отодвинула. И Женьку. И все, что было у нас с ней хорошего и плохого. Но сейчас Женька лежит в этой мрачной больнице, ее положение хуже некуда, и у меня на душе так же смутно и горько, как если бы это не она болела, а я.

Мы с Марьяной сидим в вестибюле больницы. Она с кулками конфет, с цветами. Я с книгой. Сейчас нам выдадут два белых халата, и мы снова окажемся лицом к лицу с Женькиным горем, с ее черной бедой.

— Я рада, что вы помирились, — говорит мне Марьяна. Она сидит на кончике стула, вся ожидание.

— А мы с ней не ссорились.

Марьяна досадливо морщит брови:

— Я знаю, что вы не ссорились. Но я рада, что вы помирились. У меня все время на душе был какой-то неприятный осадок. Но она, честное слово, перед тобой не виновата....

— Я знаю, — говорю я.

Да, я знаю! Бывают такие истории, когда нет виноватых. Все правы. И все несчастливы от своей правоты.

— Виноват во всем Борька.

— Да, знаю.

Тот самый Борька!

Очень мило с его стороны.

— Здравствуй, Женя, — говорю я, наклоняясь над Женькой. Она побледнела, осунулась. — Я тебе принесла стихи Блока. Мне кажется, тебе будет приятно. Ты помнишь?..

Ее глаза смотрят на меня пристально, два черных вянущих цветка,— и вдруг медленно до краев наполняются влагой. Две огромные слезищи летят Женьке на грудь, расплываются на одеяле.

Она молча кивает, чтобы я положила книгу с нею рядом, на тумбочку. Эта книга «та самая»... Она ее сразу узнала.

Нас так многое с Женькой связывает, что мы обе долго молчим. Молчит и Марьяна. Она стоит одна у окна и смотрит в мутное от мокрого снега стекло. Весна затянулась. Нет, не весна. Весна пусть тянется хоть бесконечность, кто ей не рад! Затянулась зима, унылая, долгая, ледяная, с пронизывающими ветрами на Ленинских горах, с мокрыми хлопьями апрельского снега над городом. Даже мимоза, привезенная с юга, в этом году какая-то чахлая, мерзлая.

— Женья,— говорю я, глядя в ее изменившееся от болезни лицо,— мне обещали в Праге достать лекарство. Там наш собственный корреспондент. Он звонил в Париж, в Лондон. Если он обещал, то, значит, достанет, понимаешь?

— Да, понимаю,— отвечает она, прикрывая рукой на одеяле два мокрых пятна, говорит виновато: — «Мартышка к старости слаба глазами стала»,— и улыбается мне сквозь слезы.— Не обращай, пожалуйста, внимания...

— А я и не обращаю,— говорю я.
Мне тоже хочется плакать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Рабочий день Петрякова теперь начинается задолго до рассвета.

Он встает до побудки и сразу идет к конюшням, где дневальные чистят лошадей, засыпают в кормушки овес, несут охапками душистое, свежее сено.

Терпкий запах животных, хруст соломы под ногами, негромкие, словно спросонок, разговоры о хомутах, о махорке, о дегте, скрип колодезного журавля и синие, нежные, в длинных ресницах, скошенные в его сторону глаза Ястреба — все это каждый раз почему-то напоми-

нает Ивану Григорьевичу его прежнюю, так быстро оборванную мирную жизнь: деревню, больничку, поездки по вызову, охоту на диких уток. Он и раньше любил эти ранние вставания, еще до восхода солнца, и сизую хмарь осеннего утра, эту бодрость и ясные, свежие мысли, когда, стоя возле конюшни и глядя на теплых, сонных животных, можно все обдумать заранее, весь предстоящий трудовой день. Но особенно это важно теперь, когда каждый шаг требует напряжения или, как Петряков сам говорит, «десяти литров крови и двадцати километров нервов».

Потом дневальный льет ему из ковша на крепкие руки ледяную, пузыристую, как нарзан, воду, подает мохнатое полотенце. И Петряков крикает от удовольствия, растирая до кирпичного цвета загорелую шею и грудь.

Двор казармы к этому времени уже живет полной жизнью.

Походные кухни дымят и пыхают вкусным паром. На плите на больших сковородах что-то жарко потрескивает, скворчит. По каменным плитам двора гулко бухают в лад сапоги бойцов хоззвода, выстраивающихся на зарядку, и старший лейтенант Агабеков, черный и тонконогий, издали похожий на грача, гортанным голосом командует: «Выше нэжку! Нэжку! Эз-двэ!.. Отстэвить!»

После завтрака по всему батальону гремит стук топоров. Слышится лязганье и визжание пил. Волнами плывет по комнатам смолистый здоровый запах сосновой стружки, столярного клея, олифы, масляной краски. Рабочие перестилают заново в доме полы, ладят новые рамы и двери. В побеленных свежей известкой казармах сквозной ветер, как на палубе корабля, рябые солнечные зайчики. На железных койках топорщатся набитые свежей соломой матрацы. Кажется, в них навалом насыпаны и теперь спят, притаившись, живые ежи. Из гнилых тупичков, закоулков и переходов тщательно выветрены махорочный дух и запах одеколона и ваксы. И от всей этой строительной суеты, от пахнущих мирным временем стружек, от мелькания женских рук, моющих стекла, от песни про Галю — «Пидманулы Галю, забрали с собою...» — на душе у Петрякова смятение и праздник. Черт возьми, так вот он каков, его батальон!

После утренней зарядки, умывания и завтрака в медицинской роте начинаются обычные занятия: строевая подготовка, изучение материальной части оружия, боевого устава пехоты, устава караульной службы, политинформация, а Петряков поднимается к себе в штаб, на второй этаж, и с этой минуты весь его долгий рабочий день сливается в одно летящее стремглав, блистающее колесо.

Отдав необходимые приказания хозяйственникам и командирам, приняв рапорт дежурного по части, Иван Григорьевич садится за свой письменный стол, заваленный бумагами: здесь и списки личного состава взводов на сегодняшний день, и анкеты, и справки, и дипломы, и папки с ведомостями, продовольственные и денежно-вещевые аттестаты, и приказы, и выписки из приказов, и копии распоряжений, и напоминания, и пакеты с надписью «срочно», и прочая ерунда, о существовании которой он ранее и не подозревал. Все это он должен просмотреть, подписать. Но смотрит Петряков все эти бумаги вполглаза, потому что поминутно звонит телефон и Петрякова то и дело к нему подзывают. Бесперывно в штаб входят люди — это прибывают новые командиры взводов, врачи, какие-товеряющие из политотдела дивизии, появляется нарочный с пакетом от начсандива, а затем старшина, который докладывает, что на станцию прибыли срочные грузы и что надо ехать скорей их получать. Кто-то рядом хохочет, рассказывая только что услышанный анекдот. Кто-то курит на подоконнике, ожидая минуты, когда Петряков останется совершенно один, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Кто-то просто стоит без дела, слушая всю эту разноголосицу и жарко блестя глазами от удовольствия. Жизнь кипит вокруг Петрякова.

А он сам, хмурый, сгорбленный, перелистывает папки с бумагами и думает: «Экое бесиво заварил мой предшественник! Кто-то будет расхлебывать эту кашу!.. Нет, с этим надо кончать!» И кивает головой Николаю Гурьянову, смешливому, розовощекому комиссару батальона:

- Давай, Коля!
- Я готов.
- Зови адъютанта старшего...

И пока Петрякова не вызывают ни в штаб дивизии, ни на станцию, не отрывают от дела, он до вечера сидит с Колей Гурьяновым и седым, коротко стриженным, с колючими баронскими усиками адъютантом старшим, капитаном Державиным, и вершит в батальоне суд и расправу.

— Как фамилия? Имя? Год рождения? Где родились? Опыт работы? Мобилизованы каким военкоматом? Ах, добровольно... Гм... Да... Хорошо. Комсомолка? Оставить.

— А вы можете идти. Вот ваши документы. В резерв округа. Да.

— Откомандировать.

— Оставить.

— Откомандировать.

И вдруг обиженный девичий голос. Взгляд исподлобья:

— А я никуда отсюда не уйду! Вот что хотите, то и делайте со мной! Не уйду, и все! Я хочу работать здесь, в медсанбате!

Петряков чешет карандашом переносицу, хмуро косится на стоящую перед столом девушку. Лицо как лицо. Курносое, круглое. Все в веснушках. Военная гимнастерка. Вместо юбки — ситцевый сарафан. На ногах — разбитые башмаки.

— Так у вас же нет никакой специальности! Что вы будете делать? Вы ж совсем ничего не умеете...

— Родину любить умею! Разве этого мало?!

— Гм! Да... Маловато. Надо еще и уметь ее защищать.

— Научусь. Я способная.

Молчание. Три столба дыма вверх. Николай Гурьянов и Державин вертят новые самокрутки, Петряков заново набивает табаком трубку, уминает табачную стружку прокуренным, желтым пальцем.

— Что ж, оставить? Ты как, товарищ Гурьянов?

— Оставить, — говорит Коля.

— Хорошо. Остаётся.

— А вы, товарищ, отправляйтесь в штаб округа. В резерв.

— Следующий!

— Откомандировать.

— Я просил бы оставить, — это Коля Гурьянов.

— Гм. Оставить? Ну что ж. Испытаем. Ну так вот.

Оставляем вас в батальоне. До первого замечания. Только первое нарушение дисциплины — и пеняйте тогда на себя...

Многих Петряков уже знает в лицо, по фамилиям. Одним он незаметно подмигивает, другим вежливо улыбается, третьим хмурится. Иногда молчит, ничего не спрашивает, и глаза его становятся ледяными, мгlistыми, как декабрьская ночь. Тогда капитан Державин начинает грызть ногти и ерзать на табурете. В «междущарствие», до прихода нового командира батальона, он людей принимал сам, единолично, не вникая в подробности, торопясь, — лишь бы «кадры».

3

Сейчас мимо их стола — бесконечный людской поток. Все, что всплыло на волнах огромного отступления с Украины и Белоруссии, из Прибалтики и Смоленщины, все, что призвано, мобилизовано и пришло добровольно из тылов, попеременно: хорошее и плохое, здоровое и гнилье, настоящее советское и подонки, отбросы. Все, что осело в маленьком городке и, по мнению капитана Державина, может оказаться полезным на фронте: медицинские сестры, больничные и скороспелки военного времени, санитарные городские врачи, зубные протезисты, психиатры, акушерки, патронажные сестры, студенты медвузов, аттестованные «зауряд-врачами», нечто вроде врачей третьего сорта, лаборантки из клиник, аптекарши, рентгенологи. Все они, безусловно, пригодились бы, будь это госпиталь, да еще тыловой, с хорошим стационаром, оборудованный по последнему слову техники. А в тех жестких условиях, в каких будет работать медсанбат на фронте, нужны лишь хирурги, и притом высшего класса. Нужны опытные медицинские сестры. Нужен только тот, кто способен выдерживать бессонные ночи, обходиться подолгу без еды и питья; кто может часами стоять в полутьме над операционным столом, по локти в крови; кто сможет сменить скальпель на автомат и отстреливаться, а если придется — занимать круговую оборону; кто сумеет пройти пешком пятьдесят километров, а потом расчищать снег под палатки, рыть окопы и щели — и снова, без отдыха, стать к столу: ампутировать и перевязывать, рассекать

рванные раны и выискивать в тончайшем переплетении нервных волокон засевшие там пули и зазубренные осколки.

Поэтому Петряков так безжалостен, тверд:

— Откомандировать.

— Па-азвольте, товарищ военврач третьего ранга! А с кем мы останемся? Зачем разбазаривать персонал?! Так можно и на мели оказаться! — Капитан Державин прыгающей рукой пытается пригладить серые взъерошенные усики, за один день побелевшие, словно их присыпали мелом.

— Не позволю! — грохнул по столу кулаком Петряков. Уронил на бумаги зажженную трубку, сдунул облако табачного пепла. Вскочил с табурета. Длинным пальцем покачал перед самым носом начальника штаба. — Не позво-лю! И уж вы извините, это вы виноваты, что нам сейчас здесь приходится чистить авгиевы конюшни! Это ваша вина. Чего вы мне все время тычете в глаза: батальон? Его еще нет, батальона!.. У нас нет еще самого главного, без чего мы вообще не имеем права называть себя батальоном! У нас еще нет коллектива, понимаете? Кол-лектива! Вы когда-нибудь думали, что и вы, как коммунист, несете ответственность за жизнь и здоровье многих сотен людей?! Эти ваши ошибки, они человеческих жизней стоят!

Петряков вдруг умолк, разъяренный. Упал щекой на кулак: а, да что ему толковать!.. Что он знает, Державин, о том разговоре, который был у него там, в полку, с Мотей и Митей, о легкой смерти и о легкой руке? Каждый человек на фронте, наверно, мечтает о легкой руке врача. И теперь от них — от Державина, от Гурьянова, от Петрякова — зависит, как много хороших людей останется в живых на земле, скольких они сумеют оградить от безвременной смерти.

Начальник штаба хрустнул бледными пальцами.

— Простите... Вы не поняли... Если я виноват... Я хотел бы... Я очень прошу...

Петряков осторожно, но твердо отодвинул его ребром ладони:

— Вы должны были это знать с самого начала, как здесь находитесь! Да! Знать! С первого дня! — И вдруг опять закипел, сверкнул гневно глазами. — Для чего, например, здесь торчит эта баба в танкистской шинели, ответьте?! От Бреста идет. Из танковой части! А под

Брестом и сроду-то не было такой танковой части, с таким номером! Я сам проверял. А она, смотри, уже научила наших сестричек, кого помоложе, водку пить, ругается матом. Это ваше дело — знать, откуда она.

Петряков метался по комнате, прихрамывая; кидал в лицо начальнику штаба обидные, злые слова. А тот, покорно склонясь, сидел, слушал и только время от времени откидывал голову.

— Вам ясно?

— Ясно!

— А ясно, так исполняйте!

— Хорошо, откомандировать...

Петряков махнул рукой, замолчал. Какое тут «хорошо»!.. Разве это так просто: откомандировать?! Разве это выход из положения, когда посредине формирования батальона кого-то приходится отчислять, а кого-то искать поспешно взамен?! Таких вот вновь формирующихся стрелковых дивизий сейчас, наверное, сотни по стране, и всем нужен комбат для медико-санитарного батальона, всем нужен хороший ведущий хирург и молодые, здоровые, ничего не боящиеся, опытные сестры. Всем нужен сплоченный, сдружившийся коллектив, готовый к любым испытаниям.

Петряков с горечью усмехнулся. Он один из них троих знал, что такое война. Подготовишь, сколотишь крепкий коллектив, соберешь самых сильных и смелых, самых здоровых, цвет страны, а потом, как сказал бы Матвей Железнов, санитары соберут «некомплектные руки и ноги». И все! Начинай все сначала.

Он прошелся по комнате, встал у окна, прислонился щекой к косяку, загляделся на улицу.

Прямо под окнами казармы — площадь, базар, разноголосый воскресный гомон. Три вяза, роняющих жесткие, словно вырезанные из жести, ржавые листья. Через площадь наискосок церковь с бледными луковками куполов. Рядом с церковью почта. На дверях синий ящик с белыми молниями.

Можно жизнь прожить и не знать, что есть такой город, Старая Елань, в самом сердце России, в ее хлебной, васильковой глуши. А вот есть, и теперь его не забудешь.

Петряков не заметил, как улица вдруг потускнела. Листья деревьев вывернулись наизнанку и все как

по команде устремились в одну сторону, туда же, куда кинулись и мелкая пыль, и песок, и обрывки бумаги. Первые капли легли на землю острым углом.

Ливень хлещет все резче. Его длинные белые пальцы чертят серое небо в косую линейку. Площадь сразу же обезлюдела. Редкие запоздалые прохожие с трудом бегут наперекор ветру. Волны холодного воздуха, налетая, пригибают их книзу за плечи, заставляют клониться то вправо, то влево. Рот, ноздри, уши — все, видать, забито тугим, влажным ветром.

Три промокшие фигурки, подбежав к железным воротам медсанбата, прижались к калитке, затарабанили:

— Эй, откройте!

— Кто там? Чего надо?

Часовому лень выходить на ливень из-под козырька будки, лень протягивать руку к щеколде, проверять документы. Он мнетя.

— Открывай, тебе говорят!

Наконец дождь притих на минуту, и часовой приотворил железную дверь.

— Чего надо? Новенькие? А где документ? — недоверчиво пересчитал вошедших глазами. Проверил по списку. — Одна, — рукою отвел одну в сторону. — Две, — вторую подтолкнул туда же. — Три. Есть. Принял! — Козырнул и щелкнул тяжелым замком.

Железные створки ворот лязгнули, словно челюсть. Каменные плиты двора повторили, отбросили возглас:

— Эй, чего встали?! Наверх, в канцелярию ша-гом марш!..

А когда вошедшие, осторожно оглядываясь, вошли на крыльцо, часовой позади них усмехнулся, крикнул в кулак:

— Ишь ты!.. Какие к нам симпатявочки!

Глядя на эту сцену, Петряков только хмыкнул сердито и отвернулся. Прихрамывая, пошел к столу. Устало зевнул, закрывая пальцами набрякшие веки. Откуда ему было знать, что там, у калитки, сейчас постучалась его судьба. А впрочем, и знал бы, все равно, наверное, не сделал и шагу навстречу.

— Следующий! Кто там следующий! — крикнул он в коридор.

За послевоенные годы я много раз была в непосредственной близости от этого города, почти рядом. Иной раз, может, стоило только сесть на утренний рабочий поезд — и через полчаса я уже там, на площади с многолюдным воскресным базаром или субботним, не менее людным подторжием. Перед старинной церковкой с бледными луковками куполов. Перед почтой с синим ящиком на дверях, перечеркнутым белыми молниями — символом мгновенной немедленной связи. Перед зданием райисполкома, где когда-то размещался штаб нашей дивизии. Перед клубом, где некогда был политотдел.

Но странное дело: я боюсь туда ехать. Что-то держит меня, не дает ступить шагу. Я боюсь, что по этим улицам, по которым когда-то ходили мои товарищи, нынче я не пройду без спазмы в горле. Что-то сдавит мне грудь, перехватит дыхание, и я, может, заплачу. А мне стыдно плакать. Да это, наверное, было бы смешно: приехала в чужой город незнакомая женщина — и вот разлилась горячей рекой.

А здесь своя река, рядом. Чистая, голубоватая среди черно-зеленых и белоствольных лесов. На промытом, как лебяжий пух, белом песке. На бережных, теплых ладонях русской древней земли.

Я уверена: бурная жизнь середины XX века коснулась и этого города.

Может быть, там теперь уже нет ни церкви, ни площади, ни базара, а есть наподобие московского свой Юго-Запад, а тогда его не было. И трамвай, а тогда мы ходили пешком. И широкоэкранный кинотеатр, а тогда была грязная, заплеванная подсолнечной шелухой конюшня. Может, там нынче сплошь асфальт, а тогда был булыжник, да и то не везде. И я, приехав туда и увидев все это, порадовалась бы переменам, как и всякий гражданин нашей рвущейся к звездам страны. Но я хорошо помню и то, другое, несовершенное, старое время, такое суровое и неподкупное, и тех людей, суровых и неподкупных, которые жили здесь и были полны искренней веры в грядущее, энтузиазма и радости

жизни. И мне станет больно, что я уцелела, а они нет.

Впервые этот город я увидела в сентябре 1941 года.

Нас выгрузили на закате на маленькой, никому не ведомой станции и построили длинной колонной среди темных составов с пушками и грузовиками, чуть прикрытыми вялой листвой берез. Над путями, над осыпшими паровозами поднималась степная малиновая луна. Небо было темно. Лишь изредка трассирующей пулей пролетал метеор: Земля выходила из хаоса и сумятицы Персеид.

Справа и слева от дороги тянулось жнивье с горбатыми, словно спящие звери, копнами. В походной колонне кашель, сопение, хмурые голоса.

— Во, сказали — на фронт, а загнали куда?

— Мда-а, непонятно!

— Какая-то, говорят, Елань. А на дьявола мне она! Я в действующую армию ехал, на фронт!

Кто-то глухо вздохнул:

— Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут!

— А я спешу.

— Ну спеши, спеши! Еще нахлебаешься армейской-то похлебки...

Я слушаю их. Что-то взвешиваю, принимаю, а что-то начисто отвергаю, отметаю от себя навсегда.

Может быть, для кого-нибудь из идущих рядом со мною армия — это только тупая муштра, грубый сержант, допекающий дисциплиной, безграмотный старшина, от которого ты зависишь во всем, в самом жизненном, главном: в работе, в еде, в спокойном отдыхе после тяжелого дня учений, в чистой одежде, в уважении к самому себе как к личности, к человеку. И — все! Словом, в армии для него ничего нет хорошего.

А я сама себя в армию призвала.

И не в каком-либо переносном, поэтическом смысле, а в самом прямом.

Я не только вступила в армию добровольно, то есть вполне сознательно отсеклась от себя, от своей личной жизни, от свободы, от своих надежд и желаний, исполнив по отношению к себе священную роль судьбы, но еще и чисто технически выполнила это «своею собственной рукой». Сидя за столом в военкомате, я сама написала себе повестку. Писарям в то время было явно не до меня. Измочаленные суетой всеобщей мобилиза-

ции, с онемевшими от непрерывной писарской работы руками, они просто не управлялись. Они дали мне бланк, перо и чернильницу, и я торжественно сама себе предписала: «Гражданке такой-то... явиться туда-то... В случае неявки... суду военного трибунала».

Перечитавши и раз и другой эти столь суровые и столь многозначачие для меня слова, я, признаться, весело посмеялась и положила повестку в карман: до назначенного часа и дня.

Поэтому, слушая разговоры в ночной походной колонне от станции к Старой Елани, я размышляю. Человек рождается один только раз. Он приходит на землю в одном экземпляре. Никто никогда не заменит меня. Если родится кто-либо лучше, умнее, чем я, то это и будет уже кто-то другой. А такая, со всеми моими достоинствами и недостатками, я одна в целом свете. Единственная и неповторимая. Сама себе эталон. Поэтому я и должна себя всячески оберегать, как некую редкую драгоценность. Но все-таки почему? Почему именно я должна уцелеть на войне, в то время когда самые сильные, смелые люди, украшение земли, идут в бой не раздумывая? Почему именно я должна себя пожалеть, уберечь — для чего?! Умереть на войне?! Да, действительно это ужасно. Но разве лучше умереть от несварения желудка, от камней в печени, от заворота кишок, от холеры? Разве существует вообще красивая смерть? Я не животное, не цветок и не бабочка, чтобы жить бездумно, растительной жизнью, с единственной целью — жить. Я человек. А человека от ящерицы или букашки отличает его стремление что-то сделать, оставить свой добрый след на земле. Когда нужно — трудиться и этим прославить свою страну. Когда нужно — погибнуть и этим спасти свою Родину.

Ноги вязнут в глубоком, растоптанном песке полевой дороги.

Кто-то рассказывает:

— Дочка у мэне дома осталась. Така малесенька!

Женька вдруг окликает меня:

— Ты где? Ты чего отстаешь?

Я молчу. Догоняю ее и, тяжело ступая, шагаю с ней рядом.

А у меня мать осталась. Одна. У калитки стояла такая растерянная, одинокая и долго, пока я шла

с вещмешком за плечами, смотрела мне вслед, пока я не свернула за угол на Кольцовскую.

И вот часовой. И калитка. И двор, мощный большими плитами из камня.

В этот двор мы вошли с Марьяной и Женькой втроем. Все шедшие с нами в колонне остались на площади, зачисленные кто куда: кто в полк, к «стрелкачам», кто к артиллеристам, кто в комендантский взвод, кто в автороту. Только мы трое — в медсанбат. К Петрякову.

А кто такой Петряков, что собой представляет, мы не знаем. Да и не все ли равно?

2

Тяжела солдатская служба!

На завтрак — в строю. На занятия — в строю. В баню — в строю. На речку, белье постирать, — тоже в строю. Ни шагу вне строя. И с рассвета и дотемна звучат в ушах отрывистые команды: «В грудь четвертого человека — р-равняйсь! Не ходи головой... Кру-гом! На месте... А-а-тставить!»

В шесть утра дверь в нашу комнату приотворяется. — Подъе-о-ом!

Дежурный по части стоит в желтом веере света. Он не глядит на нас: это не разрешается. А может быть, как у нас говорят в батальоне, боится ослепнуть. Для верности он даже зажмурил один хитрый глаз. Нам тоже видны с постелей лишь часть его головы и повязка на рукаве.

На постелях, однако, никто не пошевелился.

— Подъем! Кому говорят?! — И через минуту со злостью: — Вы что, черти драповые, оглохли?!

Вот теперь все койки на миг глухо колебнулись. Как будто их подбросило подземным толчком. Это мы еще плотнее втискиваемся в подушки. Никому неохота нарушать сладкий сон, покидать теплоту нагретой молодым телом постели. Да и как вставать, если вчера почти за полночь ты рухнула на койку совершенно без сил, а и сейчас за откинутой маскировочной занавеской еще самая настоящая ночь, если не ночь, так туман или дождь, и усталость разламывает еще не отдохнувшие спину и плечи!

В 6.10 — утренняя зарядка. «Заряжаемся» мы в

одних брюках и мужских нижних рубашках на улице, перед казармой.

В 6.30 — завтрак. Под открытым небом, во дворе, за грубым, из неструганых досок столом.

— Рота-аа, сесть! Начи-най!

— Рота-аа, встать! Выходи-и!

После завтрака старшина Финяк выстраивает нас во дворе.

— Р-равняйся!

Он неторопливо проходит вдоль строя, щурит узкий маленький глаз, смотрит, хорошо ли стоим, добродушно тычет пальцем в живот зазевавшегося бойца.

— Равняйся, равняйся,— шепчет ему. И вдруг рявкает трубно, лихо — так, что у всех в ушах звенит: — Смир-rrrr-на! — Опять тихо: — Отставить.— И еще раз: — Смир-рна!

Старшина у нас из тех, о ком ходят по армии анекдоты. В столовой он сокрушенно вздыхает: «Зажрались, сволочи, лавровый лист не едят!» В казарме перед вечерней поверкой может гаркнуть: «Красноармеец Петров, что читаешь?» — «Роман Гончарова «Обломов», товарищ старшина!» — «Ну вот... Читать читаешь, а в жизнь не претворяешь...»

Финяк — круглый, пшеничный, как только что выпеченный деревенский хлеб. Пшеничные усы, присыпанные муницей, мохнатые брови. Возле глаз, как пшеничные остья, морщины. Пшеничного цвета кудри из-под лакированного козырька фуражки. Взгляд рассеянный и как будто в сторону. Но он очень обманчив, этот рассеянный взгляд. На самом деле он все замечает, наш старшина. Как будто рассматривает и нас, стоящих возле него рядом, и лес за Казачьим бугром в фантастическую стереотрубу: «Видишь, вон на той березе комар левой ногой чешет правую ногу?»

Ни один промах, ни одно неуставное движение не укроется от острых, зорких глаз Финяка. Но не каждое лыко в строку. Бывает, увидит — и промолчит. В таком случае чувствуешь себя еще виноватей. Уж лучше бы наказал тебя по всей строгости, что ли, справедливей бы было. Тогда можно и повторить озорство. А так уж стараешься избежать своей прежней промашки.

К нам, девчатам, Финяк благоволит. Он чаще, чем прочим, нам прощает — «бо девчатки», «бо ще такэ нерозумни, як диты».

Кажется, можно вокруг пальца обвести Финяка.

Но не так-то прост наш «пшеничный».

Как-то утром с грохотом, с дроботом тяжелых кованых сапог мчимся по лестнице вниз, на завтрак, чтобы не опоздать. Женька быстро, в лад дроботу, подстукивает костяшками пальцев в дно котелка: «Спешите, девушки, на грозном поле боя красноармеец ранен молодой».

И вдруг позади суровый бас Финяка:

— А если он старый, тот раненый красноармеец, спешить не нужно?.. Да?..

Мы оглядываемся, пожимаем плечами. Он повторяет:

— А ежели он такой старый, как я, спешить не нужно? Так выходит, по-вашему? — И укоризненно усмехается: — Эх вы, тараканы!

3

Но зато нам ничего не прощает командир взвода лейтенант Федор Марчик. По утрам он стоит перед строем краснолицый, напудренный, с подбритыми бровями; весь скрипит желтой, новенькой кожей: на нем портупея, подсумок, планшет, кобура пистолета, короткие и длинные ремешки для компаса, для часов, для свистка, противогаза, какие-то хлястики, лямки. Марчик очень гордится своим снаряжением и собственной выправкой.

— Ста-ать! Как стоишь! Где заправочка?!

Выстроив нас по ранжиру, выпевает протяжно:

— Угля-анце-ва-аа!..

— Есть Углянцева! — выхожу из строя.

— Почему на зарядку опоздала?

— У меня болит голова, товарищ лейтенант!

Марчик вдруг презрительно тянет:

— Кого-оо?

— Что: кого?

— Кого это интересует: болит голова?! Вы обязаны стать в строй. А уж тут я без вас разберусь, болит у вас голова или нет.

И опять:

— Ста-ать! Как стоишь! Где заправочка?!

Ничего! Пустяки. Перемелется — мука будет.

Я ведь Марчика сама для себя избрала, по доброй воле. Я его избрала вместе с красной звездочкой на моей пилотке, с армейскими сапогами не по размеру, с узкой железной коечкой в казарме, с криками отделенных на плацу и маханием усталых махальщиков на полигоне, с тяжестью скатки и винтовки на марше.

Я ведь заранее знала, что будут какие-то трудности. Правда, я не знала, что это будет именно он, Федор Марчик. Но вот он есть. И что ж, неужели я должна перед ним отступить?

Сегодня он нам объясняет:

— Кавалерию взвод должен встречать ружейным огнем с колена.

Хм... Кавалерию! Ружейным огнем. Прекрасно! Но только где она, кавалерия, у немцев? Об авиации я слыхала. О танках слыхала. О мотопехоте тоже слыхала. А вот о кавалерии — почти ничего. Очень мало. Наверное, и есть, да в ней ли вся соль? Я думаю так: немцы конской колбасы не едят.

Я спрашиваю у Марчика:

— А что взводу делать, если немцы пойдут против нас с арбалетами?

— Чего-ooo?!

Марчик высоко вскидывает свои тонкие, подбритые брови. Он сейчас похож на нашего школьного военрука. Тот тоже не любил, когда мы задавали ему вопросы. Начинал сразу прокашливаться, сморкаться, а потом делал вид, что забыл, — и опять о своем: о том, какой будет новая, предстоящая нам война. Тут он сразу воодушевлялся. Поднимал кверху длинную темную руку и кричал: «Приказ! И — рынулись частя».

Да, так он и рисовал нам это грозное, боевое начало.

Мне кажется, Марчик тоже представляет себе это просто: «частя рунутся», и все будет в порядке. А различные военные хитрости, обходы, обхваты, обманный маневр — это все от лукавого.

Федор только что кончил пехотное училище, он полон познаний, которыми часто делится с нами.

Это, во-первых: «Мы — пехотинцы». За что так его и прозвали у нас: Федька Пехотинец. Во-вторых: «Для пехоты вообще не существует препятствий». В-третьих: «Ну, мы им, конечно, дадим прикурить!» И в-четвертых: «Ваше дело не рассуждать, а исполнять приказание!»

Сейчас, чтобы его больше ни о чем не спрашивали, Федька Пехотинец лихо командует:

— Цепью... бего-оом!

Когда мы наконец останавливаемся, перестраиваемся и снова затихаем послушным военным строем, он продолжает как ни в чем не бывало:

— Кавалерию взвод встречает ружейным огнем с колена... Вот так! — И назидательно глядит в мою сторону.

4

Вечером тихо, пусто в казарме.

Все расходятся в увольнение, кто куда. Женька ушла на свидание с Рештаком, лейтенантом из второго полка. Марьяна — в дивизионный клуб на танцы. Военфельдшер Аллочка Рыбакова — в кино. Ирина Ивановна Рыжова, молодая врачиха с белой прядью в смоляных волосах, — на свидание с собственным мужем в арtpолк. Остальные — на репетицию кружка художественной самодеятельности. Остаемся: умная, с тонким насмешливым лицом, горбатенькая Наташа Глызина, украинка Оля Кузь, Пятитонка и я.

Наташа целый вечер лежит одетая на постели и читает какую-то толстую книгу. В армии она добровольно. Взяли ее, несмотря на тяжелый физический недостаток, только потому, что Наташа прекрасная, опытная хирургическая сестра. Сейчас она лихорадочно листает страницы и вдруг вскрикивает, как от боли:

— О-ооо-ой!

Мы все кидаемся к ней на помощь:

— Наташа, Наташечка, что с тобой?!

— Нет, вы только подумайте, что они ели, а?... — Наташа задумчиво поднимает на нас свои зеленовато-серые глаза и читает вслух: — «За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом с теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем...» — И она опять вдруг стонет, словно от боли: — О-оой, девочки, умираю! Хочу ватрушек! С тво-рогом. Хоть бы одну такую сюда!.. Или нет. Лучше индюка. Впрочем, бараний бок с гречневой кашей тоже неплохо.

— А рожна не хочешь? — говорит укоризненно Пя-

титонка, прибежавшая на вопль прежде всех. Фамилия Пятитонки — Боркулова. Галя Боркулова. Но так в батальоне ее давно уже никто не зовет, даже комбат. Галя толстая, с объемистой грудью, очень громоздкая. Лицо у нее круглое, румяное, с веселыми ямочками. Губы алые, сложены сердечком. В ней все избыточно, несоразмерно: и «удельный вес», и обидчивость, и доброта. Опекает она Наташу Глызину с влюбленной заботливостью неопытной мамки.

Сейчас Галя лезет к себе под кровать и вытаскивает огромный туристский рюкзак. А из рюкзака, из бесчисленных свертков, — какую-то творожную окаменелость. Ватрушка! Действительно, настоящая ватрушка, как у Собакевича, величиною с тарелку. Наверное, припасена еще из дому.

Галя гордо говорит Глызиной:

— На!

Та брезгливо, как бы нехотя, морщит бледные губы.

— Не нравится? Ну, тогда не знаю, чего тебе надо, какого рожна! — И Пятитонка обиженно замирает с ватрушкой в руках.

— Спасибо, Галочка, я пошутила. — Наташа смотрит на Галю задумчивыми огромными глазами. В них всегда какой-то скорбный, неразрешенный вопрос. — Правда, правда, не надо. Я не хотела обидеть тебя.

Они мирятся, целуются.

А мне грустно.

Я сижу в полумраке на подоконнике. Мне хочется к Борьке. Отсюда, издали, все наши с ним ссоры кажутся таким пустяком. Отчего он молчит? Может, ранен?

Я достаю из планшета его фотографию. Банин в роли Димитрия Самозванца. Когда-то я выкрала ее у него из портфеля там же, на занятиях драмкружка. А потом, когда мы с ним подружились, Борис сам мне ее надписал: «Musa gloriam coronat, gloriaque musam».

Пятитонка наваливается грудью мне на колени, разглядывает фотографию.

— Твой? Красивый парень. А что это написано не по-нашему?

Я перевожу:

— Муза венчает славу, слава — музу...

Галя вздыхает:

— Нынче все больше невенчанные живут!

Я спрашиваю у Гали:

— Ты кем была до войны?

— Я? Никем. Просто жена. Жена пограничника. Сидела у окна, вышивала салфеточки, красила губы, смотрела в лес. И все. Потом приходил мой Вася с обхода границы. Мы обедали. Он опять уходил, иной раз на всю ночь, до утра. А то и два-три дня подряд его нету. Мало ли что случается на границе!.. А я опять с вышиванием к окну. Ждать...

— Тебя где застала война?

— У окна. Снаряд разорвался как раз в цветнике. Знаешь,— Галя растерянно разводит руками,— почему-то я совсем не испугалась. Схватила подушки с кровати, одеяла, начала их увязывать. Потом кинулась к фикусу. Выносить фикус. А тут боец прибегает: «Бегите! Лейтенант приказал. Бегите скорей на восток!» И я побежала. Все бросила и побежала. А надо бы было не бежать. Да разве тогда можно было подумать? Если б я сразу сообразила, разве б я от Васи ушла? Никогда б не оставила его одного. Я ведь не хуже Марьяны или Женьки стреляю.

— А ты, Наташа?

— А я работала в клинике у Боброва, в Воронеже. Как сейчас, так и тогда: за операционным столом.

— А ты, Оля?

Наша Оля совсем притихла. Она у нас застенчивая, робкая, ясноглазая, с тихим, ласковым голосом. Сама она из Диканьки, но война застала ее где-то в Западной Украине.

— А я занималась ликвидацией неграмотности среди взрослых. Я — советка.

— Вас ист дас?

— Это так звали нас там, советских девчат. Советка — советская девушка. «Вот идет советка».

— А что, хорошее имя!

— Да, а когда мы уходили, нам в спину стреляли. И нам, и тем, кто с нами ушел, комсомолкам... Меня ведь там проклинали в местных костелах.

Я удивляюсь: такая застенчивая, с голубыми глазами, тихая Оля — и против кулачья и могущественных ксендзов.

Оля долго молчит. Она лежит на спине на кровати

и смотрит куда-то вверх, в потолок. Я не знаю, о чем она думает, но она вдруг тихонько запевает:

Йихав козак на вийно-о-ооньку-у,
Сказав, прощай, дивчино-оо-онько...

Галя Пятитонка прислушивается, начинает ей подпевать. Потом в песню вступает Наташа. У них очень хорошие голоса, но сейчас, рядом с Олиным, они в чем-то проигрывают, теряются. Голос Оли, нежный, льющийся как бы с неба, здесь, в душной казарме, звучит очень странно, почти неземно.

Дверь в комнату приотворяется, кто-то спрашивает:
— Девчата, к вам можно послушать?

Темная фигура прокрадывается к столу. За нею другая, третья. Потом люди уже не спрашивают разрешения. Они молча пробираются в комнату. Здесь слушатели постепенно смелеют, рассаживаются кто куда, где место найдется. Начинают подпевать. От мужских басов песня становится объемнее, шире, но ведет ее по-прежнему Оля: все тот же застенчивый, звенящий, как старинное, темное серебро, нежный девичий голос.

Да-ала дивчина хусты-и-ину,
Козак у бою заги-и-ину-уу-ув...
Темные ночи закрыли очи —
Вже вин в могиле спочинув...

Я не пою.

Я только слушаю. .

Мне видится побуревшая степь в пучках ковыля, зарево над рекою, глинистые стены окопов. Где-то там идет бой, а мы — здесь, в этой чертовой Старой Елани...

Кто-то глухо вздыхает:

— Господи, когда же на фронт?!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Петряков возвращался со станции ночью.

Он ехал один оцетинившимся бурым жнивьем и время от времени поднимал голову, всматривался в осеннее звездное небо: не летит ли опять? За последнюю неделю на станцию фашист прилетал уже дважды.

Один раз даже бросил бомбы, но, к счастью, не было жертв: попал в лес и болото. В другой раз и вовсе был отогнан огнем зенитной артиллерии. Но каждый такой налет оставлял в душе Петрякова неприятный осадок: недобрый это был знак, очень недобрый. А главное зло Петряков видел в том, что люди и здесь, в Старой Елани, привыкают к налетам, что это считается будничным делом, когда ночью за тысячу километров от линии фронта в тылы нашей страны летит вражеский самолет.

«Все войны начинаются одинаково: когда их не ждут,— размышлял Петряков.— А иначе откуда вся эта неразбериха с людским составом? Никто не знает, когда придут основные командные кадры, и где брать опытных специалистов, и к какому сроку должна быть готова дивизия, и куда двинут нас — под Одессу или в Ленинград. Бойцам уже роздали русско-румынские разговорники на предмет изучения. Так что, видимо, где-то планируют — под Одессу. А сегодня уже и ребенку ясно, что Одессы нам не видать как своих ушей».

Со смятением и тревогой глядел он в эти дни на суету происходящего. Как отхлынули от прифронтовой полосы эшелоны с демонтированным оборудованием многих сотен фабрик и заводов, как потекли на восток нескончаемые потоки людей, именуемых в сводках «живой силой». Как суставчатыми красными гусеницами потянулись в сторону фронта товарняки, а на платформах — снарядные ящики, составленные штабелями, пушки разных калибров, минометы, прикрытые листовкой, фуры с задранными сверху оглоблями, самоходки и танки под пятнистым брезентом, тупорылые счетверенные пулеметы с устремленными в небо дулами. А из пульманов — стук копыт и ржание лошадей, песни, хохот и визг пляшущих под гармошку молоденьких красноармейцев.

«Почему мы сдаем города? Что ж, выходит, не укрепились? Или мало у нас честных, смелых людей?.. Нет, не то! — повторял про себя Петряков.— И не так. Людей, преданных Родине, у нас много. Это что-то другое!»

За какие-то две недели работы в медсанбате Петряков осунулся и почернел, как будто переболел тяжелой болезнью. Он охрип от споров и ругани с железнодорожным станционным начальством, ослеп от табачного дыма на бесчисленных совещаниях в штабе, одурел от

приходящих всегда с запозданием и порою противоречивых приказаний; извечная гонка: «Скорей, скорей! Все бросить, все отложить, а делать именно это — и только!»

Да проще все отложить!

Петряков усмехнулся: он уже научился делать все сразу, как фокусник, одновременно, но, однако же, не поспешая в угоду начальству и не бросая того, что требуется довести до конца ради истинной пользы дела.

Он верил в себя, в свои силы, как в жизнь, как в эту сухую, звенящую под копытами Ястреба землю. Он знал, что его батальон всегда будет первым. Во всем! А иначе его, Петрякова, тогда незачем было и назначать командиром.

Он знал: в созидательно-разрушительном хаосе формирования уже есть этот новенький, вышколенный, надраенный до слепящего блеска его батальон. Именно такой, каким он и должен быть: боеспособный, идущий в огонь по первому же приказу.

Ради этого батальона Петряков готов теперь на все.

Никогда прежде Иван Григорьевич не позволил бы себе накричать на старшего по опыту и по возрасту, а недавно не выдержал и накричал на Державина, и за дело.

Никогда он не был женоненавистником, а сегодня выгнал из батальона двух самых красивых и в общем-то нравящихся ему девушек. И только за то, что они, по его мнению, недостаточно дисциплинированные и выносливые солдаты.

Никогда прежде Петряков не был внимательным и терпеливым, а сегодня он стал таким, потому что комиссар Коля Гурьянов чересчур смешлив и забывчив, а Державин злопамятен и скор на расправу, и кто-то же должен из них троих стать золотой серединой.

Никогда прежде Петряков не был барышником и доставалой, а сейчас неожиданно для себя стал им и готов менять двух молоденьких сандружинниц на опытного хирурга, венеролога — на зубного врача, лишний ящик тушенки — на ящик медикаментов. Он, как Плюшкин, теперь ходит, выискивает по дивизионным складам и пристанционным закоулкам любое бесхозное, приглянувшееся ему имущество, все, что может пригодиться в хозяйстве: неисправный автоклав так неисправный автоклав, его можно исправить; повозку без

колес так повозку, к ней можно приделать колеса; стог сена так стог сена, на нем не написано, чей он!

Петряков и сегодня целый день протолкался на станции, получая адресованные медсанбату грузы, и теперь у него уже мельтешило в глазах от мечущихся по перрону измученных интендантов, от бесчисленных накладных и квитанций, от ящиков и тюков с хирургическим и хозяйственным оборудованием. Они и сейчас перед ним во мраке плясали, все эти рефлекторы, автоклавы, тазы, умывальники, большие и малые брезентовые палатки, патроны, винтовки, пачки с гороховым и гречневым концентратами, меховые и стеганые одеяла, сапоги, пилотки, снаряжение и конская сбруя и тысячи прочих других вещей, необходимых медицинской воинской части. И он, всему начальник и командир, должен был знать каждой вещи место и счет и все заранее предусмотреть, любую надобность и любую случайность.

Он глядел на груды винтовок и еще не мог и не смел представить себе, что там, на западе, под Москвой, через месяц-другой решится судьба очень многих его знакомых. И что он сам, Петряков, тоже примет участие в огромном сражении и отдаст Родине все: свою кровь, дыхание, силы, свою первую в жизни любовь.

Но кто смеет загадывать наперед?!

2

Батальон уже спал, когда Петряков, сдав лошадь на руки дневальному, поднялся к себе на второй этаж. Повсюду было тихо, темно. Только в красном уголке кто-то осторожно, стараясь не шуметь, подбирал на рояле по слуху любимую петряковскую песню: «А середь поля гнется тополя та й на козацьку могилу».

Он быстро вошел в полутемную комнату, освещенную семилинейной лампой — в столь поздний час электричество уже выключалось во всем городе, — и строго взглянул. За роялем в желтом обруче света сидела одна из новеньких, из тех самых, пришедших к воротам казармы в дождь. Тогда почему-то он сразу запомнил именно эту. Темно-голубые, очень близко посаженные глаза, белокурая коса по спине. Девчонка тогда показалась Петрякову ужасно бедовой.

Она и сейчас взглянула на комбата без робости, продолжая перебирать пальцами клавиши. Но от желтого света керосиновой лампы, от задумчивого взгляда устремленных на него темно-голубых глаз на Ивана Григорьевича вдруг пахнуло чем-то очень домашним, таким, что он на мгновение растерялся. Только лишь спустя минуту он промолвил сурово:

— Почему не спите? Сейчас же спать! Отбой...

— Если можно, еще немножко,—попросила она.— Мне так редко теперь удастся поиграть...

Он подумал, устало кивнул головой и бросился на диван, стоящий в углу, за желтой чертой света.

— Хорошо, шут с вами! Играйте. Только тише.

Издали, продолжая рассматривать белокожее, не поддающееся загару лицо и гордо очерченный рот, почему-то представил: такие родятся в очень дружных, порядочных семьях, где все уважают друг друга. По вечерам у них дома все в сборе. Стол накрывают накрахмаленной белой скатертью. Ставят в высоких вазочках варенье, заваривают душистый чай. Свет яркой люстры ложится на стены. И там, рядом с гравюрами, можно увидеть старинные фотографии, на которых изображены мужчины, опоясанные пулеметными лентами, и женщины с галстуками и в пенсне. В таких семьях любят слушать хорошую музыку, с жаром спорят о прочитанной книге, а когда все разойдется по своим тихим вечерним делам, кто-то один остается у раскрытого рояля и вот так же бегло, наугад подбирает услышанную на улице мелодию.

Никогда ничего подобного в жизни Ивана Григорьевича не было: ни такой семьи, ни дома, ни таких фотографий на стенах. Его мать торговала семечками у вокзала. Отец спился и утонул весною в овраге. Сам он вырос на улице. И если бы не Советская власть, не армия, не комсомол да не своя голова на плечах, еще неизвестно, что из него вообще получилось бы.

— Хорошо. Играйте,—повторил он и задумался.

Первые звуки показались ему очень знакомыми. Это были прелюдии Баха. Но Петряков не знал этого. Он просто слышал что-то очень задумчивое, пронизанное солнечными лучами. Что-то большое, такое не постижимое, волнующее, что девушка, сидящая за роялем, начала от внимания Петрякова ускользать.

«Нет, музыка разъединяет, она кружит голову,— по-

думал с волнением командир батальона.— А я должен твердо знать, что все это не выдуманно, существует».

Он сделал над собой усилие и встал, закрыл крышку рояля.

— Спасибо. Уже очень поздно. Идите спать.

Девушка наклонила строгую голову. Он увидел ее теплые, пушистые волосы, тонкий пробор. Она покусывала губы, от этого казались пухлыми ее детские круглые щеки.

— Как вас зовут?

— Марьяна.

Он сразу вспомнил. Да, да, Марьяна. Марьяна Попова. Семнадцать лет. Комсомолка. В армии добровольно. Только этой весной накануне войны закончила десятилетку и сразу же поступила на курсы медицинских сестер при Воронежском государственном университете.

— Вы где-нибудь учились играть?

— В музыкальной школе. В Воронеже.

Петряков вздохнул. Нет, это все было из другого, совершенно незнакомого ему мира! Он сказал:

— Когда захотите еще играть, приходите. Но только... не после отбоя.

— Хорошо. Разрешите идти?

— Да. Идите.

— Спокойной ночи,— сказала Марьяна.

Это было совсем не по уставу. Но Иван Григорьевич ответил, глядя ей вслед:

— Спокойной ночи...

3

Он вошел к себе в кабинет и сел за бумаги.

Непонятно, почему-то всегда накапливались вороха этой дряни, стоило только выехать ему за ворота.

Он с тоской оглядел свою темную, плохо прибранную комнату. Жить здесь холодно, скучно. Томит одиночество. А сегодня к тому же нелепое ощущение, словно кто-то чужой стоит за спиной и разглядывает листы, разложенные на столе. Это чувство мешало сосредоточиться.

Еще оглушенный услышанной музыкой и неожиданной встречей с девушкой, Петряков оглянулся и зябко поежился. Никого, кроме него, конечно, в комнате не

было. Это просто опять начинался озноб. Как вчера, как позавчера. Как три дня назад. Каждый вечер теперь поднимается температура от растревоженной раны и все тело морозит. Ему давно надо было бы отлежаться, отоспаться как следует, дать ноге отдохнуть, а ране — затянуться спасительной корочкой. Там, в полку, у Моти с Митей, с ним бы так и поступили: уложили бы силой в постель и три раза кормили с ложечки кашкой. Там вообще с ним носились как с писаной торбой. Ну, да что вспоминать Мотю с Митей!

Он привычно наклонился над ведомостями, перелистнул страницы приказов — и вдруг вздрогнул. На исписанные тонким почерком Ивана Григорьевича бумаги откуда-то сверху спланировал сухой желтый лист.

— О черрт!

Петряков вскинул голову — и вдруг усмехнулся: так вот что мешало ему работать!

Ветер, рвущийся в форточку, оттопыривал плащ-палатку, повешенную на гвоздях как светозащитная штора, и желтая ветка осеннего клена, поставленная на шкафу в большой синей вазе, царапалась об нее. Ваза старая, с надтреснутым краем, а ветка кривая, изогнутая. Она в центре букета. По краям ее — болотная каемчатая трава, багровая губчатая кровохлебка, серебристый ковыль. Сбоку — гроздь алых ягод боярышника.

Отодвинув бумаги и растерянно улыбаясь, Петряков долго смотрел на букет, теряясь в догадках: кто принес сюда эту вазу? Зачем? Для кого? Неужели это о нем, Петрякове, подумали в батальоне — и не холодно, не казенно, а вот так стеснительно, тепло — и дали знать о себе этим желтым листком? Ему вдруг захотелось увидеть лицо той, которая собирала эти цветы. Но представить себе его он не смог.

Он вспомнил: сегодня медрота ходила на занятия в лес вместе с Марчиком. Он ее встретил перед закатом на узкой дороге. Девчата шли по три в ряд с винтовками, со скатками за плечами, раскрасневшиеся от быстрой ходьбы, а поэтому все хорошенькие, темноглазые. Они лихо пели: «Гей, комроты, даешь пулеметы».

И только две девушки шли вне строя. Они несли большие букеты из осенних цветов и болотных растений. Но в зелени хмурых елей было сумрачно, и Петряков не вгляделся в их лица. Он, придерживая отступившего в кустарники Ястреба, пропустил мимо себя всю

колонну, спокойно скользнул взглядом по этим двум, идущим не в ногу, тихо беседующим подругам и даже не сделал им замечания. Лес был мирный, и вечер мирный, и командиру батальона подумалось: а кто знает, надолго ли для них эта мирность?..

Петряков постоял посреди комнаты, усмехаясь и щурясь. Машинально провел ладонью по отросшей за день щетине на подбородке, вспомнил шутку, услышанную на днях в штабе дивизии: «За одного бритого двух небритых дают». Машинально спросил вслух сам себя:

— Побриться, что ли?

Вздыхнул — и снова зарылся в бумагах.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Между тем в полку с уходом Ивана Григорьевича Петрякова жизнь началась скучная, однообразная.

Никто больше по вечерам не заводил патефона перед штабной землянкой, на бревнах: «Пойдем, Дуня, во кусток, во кусток, сорвем, Дуня, лопушок, лопушок!» Никто больше не поддразнивал Железнова привычной шуткой: «А в гневе ты действительно, Мотя, ужасен...» Никто больше не ходил на охоту по лесам и болотам с ружьишком Шубарова и не приносил к ужину красавца селезня, утку-лысуху или пару чирков. Даже штабной повар и тот перестал готовить любимые не одним лишь Иваном Григорьевичем сибирские пельмени и собирать к чаю переспелые черные ягоды ежевики.

Хмуρο стало по вечерам.

Народ прибывал все израненный, обозленный. И Дмитрий Иванович Шубаров то и дело мог слышать такие разговоры:

— Всеу нас учили, только бегать назад пятками не учили!

— Ка-аак он жжахнет!.. Ну, я думаю: «Теперь все! Крышка! Амба!»

— Выходили мы из окружения...

— Нет, это не война, а одно убийство...

Железнов, похудевший, загорелый, сидя в штабе, сурово допрашивал прибывающих:

— Ну, где воевал?.. Так, так... Ну, а как воевал? Хорошо или плохо? А чему у противника научился? Чем же он, фашист-то, силен? А?.. Не понял? Какой же ты тогда...— и Матвей припечатывал многозначачее слово,— называешься командир? Ага!.. Научился чему-то... Так, так!— Он нетерпеливо барабанил пальцами по столу.— Хорошо. Тогда говори: почему мы пока еще не умеем противостоять ему? Ответить ударом на удар? Чего у нас не хватает?

И, по-бабьи подперев двумя пальцами локоть, щекою улегшись на ладонь, мрачней, сдвигал свои и без того почти сросшиеся косматые брови. Слушал.

Еще больше сгустил это чувство тревоги в полку только что прибывший новый начальник штаба, майор Петр Завалихин, матвеевский однокашник по академии, подтянутый, собранный, сивый от проступающей на висках седины,— видать, на переднем крае успел-таки хватить горячего.

По вечерам, после рабочего дня, он садился с Дмитрием Ивановичем Шубаровым и Железновым над картой боев и, прикуривая от уголька, начинал свои долгие, неторопливые разговоры о фронте. Железнов называл эти беседы так: «На ошибках учимся».

— Ну, конечно, внезапность. Но откуда она? Почему вдруг внезапность? Мы же эту войну ждали! Заранее, заблаговременно ждали. Начиная еще с тридцать третьего года. А выходит — проспали? Кто-то же, значит, в той внезапности виноват?

Железнов, перебивая, хлопал Петра Завалихина по руке:

— Петуний, друг, виноватых не ищи! Все правые. Для того чтобы их найти, сперва надо дожить до конца войны... Да еще вернуться домой на белом коне!.. А мы с тобой заранее головы сложим! Это я сужу по всему! Так что не расковыривай в себе эту думку...

Но Петр, не слушая его, продолжал:

— Гитлер все заранее рассчитал, даже элемент паники, который мы не учли. Мы вообще никогда его в расчет не берем. Знаешь, как у нас еще иногда планируют в штабах? Пушек столько-то, танков столько-то, штыков столько-то... Не людей, а штыков! Ну вот... Значит, паника. Она Гитлером тоже заранее учтена. Рукава закатаны, ворота нараспашку, автомат болтается где-то на пузе. Сбоку фляжка со шнапсом...

Железнов, хмуро отодвигая от себя исчерченную синими и красными карандашами карту и глядя с надеждой в лицо Завалихина, спросил скупно:

— Ну, а твой прогноз? Что нам-то теперь нужно делать?

Петр, сощурившись, глядел на огонь.

— Что делать? Во-первых, принудить его к позиционной войне. Это раз! Чтобы выиграть время и задержать. Тем делом как можно скорей переводить всю страну на военные рельсы. Это два! Отмобилизоваться полностью. Накопить технику. Обучить кадры. Ведь ему, Гитлеру, сволочи, все давалось легко! Избаловался на легких победах: Польша, Голландия, Бельгия, Франция... Вся Европа! Вот на этом его и поймать. Ведь зарвется, завязнет на наших просторах!

— Хорошо, позиционная война. А потом?

— А потом его да его же и манером: прорывы на флангах, танковые клинья, клещи, котел!.. Руки вверх — и капут, фриц, сдавайся! Отомстить за все унижения первых дней. — Завалихин даже скрипнул зубами. Лицо его от волнения покрылось красными пятнами.

— Мда-аа... Здорово!.. Красиво нарисовал!..

— А что?

— Твоими устами да мед бы пить! Танковые клинья, клещи, котел! А он рвется к Москве. Считай: сколько верст от Смоленска до Белорусского вокзала? Ты думаешь, много?

— Тяжело сейчас там, да-а! Ох как тяжело!.. — вдруг охрипнув и не прокашлявшись, сказал Завалихин.

Он умолк, отер лоб рукой. Поднялся и, тяжело ступая, пошел к ведру с водой пить. Долго отцеживал сквозь зубы холодную воду, пил короткими, маленькими глотками.

— Я вас не заговорил еще до полусмерти? Вы хоть скажите...

— Нет, что ты! Нам надо послушать. Интересно ж, каково воевать!

— Интересного — чуть!

— Да. Понимаем. Что ни день, а пять-шесть больших городов сдали, сдали, сдали... Вот и слушаем, что же это за такая война?

— Слушай не слушай, — сказал угрюмо начальник штаба, — а все нужно сперва самому повидать. Чужой

опыт смерти никому еще не пригождался... Пока сам не хлебнешь, ничего не узнаешь!

— То так,— сказал Железнов.— Да. Опыт смерти. А опыт победы? — И он вдруг умолк, уставясь задумчивым взглядом на огонь.— Хотел бы я ее увидеть: какая она, победа?..

— В Лувре? Ника? Крылатая.

— Да нет, наша, российская!

— На танке... С автоматом,— усмехнулся Петр.— Прикрытая авиацией с воздуха.

Когда улеглись спать, почти на рассвете, Железнов долго охал, крихтел, все никак не мог устроиться на своем жестком, прикрытом плащ-палаткой ложе. Он то и дело приподнимался на локте и спрашивал Завалихина, не давая ему уснуть:

— Слушай, Петуний! А ты не знаешь случайно, где Никола Павликин? Что-то о нем ничего не слышать...

— Погиб под Белостоком.

— Вот что! Гм... А Мишка Белов?

— Погиб западнее Минска. В окружении... На моих глазах.

— А Васька Пономаренок? Худощавенький такой, в очках...

— Тяжело ранен на Березине. Они там дрались как черти! С горючкой, с одними гранатами — против танков. Лицом к лицу! И представь себе, задержали... Немцы даже подкрепления запросили.

— А Валюшка Смирнов? Помнишь, такой белобрысенький. Где он?

— Убит под Сенно. Видишь ли, там немцы бросили крупный десант...

— Мда-а... Вот это война! Всех сведут нас под корень. Не оставят и на зерно.

— Такой войны, Мотя, еще в истории не было. Это я тебе честно скажу.

— Да, но и таких солдат, как наши,— заметил впервые за вечер Шубаров,— тоже не было. Никто немцев не бил, а наши бьют...

Из них троих Дмитрий Иванович был здесь самым младшим по возрасту и по званию, и он не хотел было вмешиваться в откровенный мужской разговор, идущий между командиром и начальником штаба полка. Но вся эта горечь в словах Завалихина почему-то не показыва-

лась Дмитрию Ивановичу полной правдой. В глубине души он считал: правда где-то в другом.

— Фашисты за девятнадцать дней справились с Польшей,— сказал Шубаров.— За четыре дня—с Голландией. За четырнадцать—с Бельгией. За двенадцать—с Францией. Переговоры в Компьенском лесу не в счет, они всего на пять дней просьбы о перемирии. А наша война только еще начинается: резервы-то главные не подступали.. И промышленность наша еще на колесах. Все это—только начало.

— Да, конечно,—поддержал Матвей Железнов своего комиссара.—Хорошо смеется тот, кто смеется последним! А он, фриц, еще вот как поплачет у нас...

Матвей вдруг задумался, опершись подбородком на руку, хмуро сдвинул и без того угрюмые брови.

— Изучаешь, изучаешь чужой опыт, а на все нужно делать поправки: и на панику, и на внезапность, и на отсутствие резервов в данный момент, и на плохую связь, и на ошибки штабов, и на неточность исполнения приказов ввиду изменившейся обстановки. Нам с Митей вроде бы будет легко воевать: поумнеем на чужих-то ошибках! А все же надо быть готовыми ко всему. И выступать на фронт придется в самую зиму. Так что думай не думай...

Завалихин закашлялся, задышал тяжело, глухо.

— Да, в самую зиму,—устало кивнул он.—И в самую рубку!

Дмитрий Иванович больше в разговор не вступал. Он лежал на нарах, закинув за голову руки, жевал погасшую папиросу.

Все эти долгие разговоры о фронте принесли ему только боль.

«Нет! Не так!.. Так нельзя! — думал он.— Никакая, даже самая нужная правда не должна унижать человека, вышибать у него оружие из рук! Говорят, что сомнение — корень познания. И снова неправда! Где сомнение, там нет силы духа... А нам прежде всего нужна вера в победу».

До сих пор комиссар не задумывался о победе. Он думал что-то вроде: «Победа всегда есть победа — и только». Сам он верил в нее совершенно безоблачно.

И в армию. И в гений Верховного. И в силу оружия. И не взвешивал разумом, а просто угадывал: да, будет победа! Обязательно будет победа! И прежде вообще никогда не задумывался: а какою ценой?

Но сейчас именно о цене и кричал Завалихин в эти хмурые ночи их долгих споров. О бесчисленных жертвах и напрасных потерях.

«Наши жертвы — из-за жестокости этой войны, — думал молча Шубаров. — Из-за классовой непримиримости. И если у нас останется хоть один, последний солдат — и он тоже падет в бою, и тогда он не напрасная жертва, а защитник своих убеждений!»

Он сказал Завалихину:

— Чего это ты все шумишь о напрасных жертвах? Напрасные жертвы! Ты же знаешь: война с фашистами для нас неизбежна. А как известно, на войне по головке не гладят. И пряников... тоже не раздают! Кто сознательно идет на смерть ради Родины, тот не жертва! — рубанул он рукой.

— Ну, связались! — сказал Железнов. — У нас на Дону драчливых петухов на заслонке кормят.

— А что, я не прав? — повернулся Шубаров.

— Ты прав. Я с тобою согласен.

Завалихин, сверкнув глазами, смолчал, ничего не ответил. Он только бросил в огонь недокуренную сигарку и скрутил себе из обрывка газеты другую. Затянувшись, и эту бросил. И лег на свое место на нары, завернувшись в грубошерстное одеяло.

Вскоре спал и Матвей. А комиссар еще долго ворочался, все никак не мог уснуть. Ему все хотелось вскочить и куда-то бежать, что-то делать, убеждать, спорить, доказывать.

Он вдруг застонал, заворочался на нарах так, что доски под ним затрещали.

— Что, Мить, аль блохи кусают? — спросил в темноте вдруг проснувшийся Железнов. — Ты не думай, друг... — Он повернулся лицом к своему комиссару. — Не так страшен черт, как его малюют. Мой Петро отступал, а мы будем с тобой наступать. Это многое значит... Совсем другая будет у нас психология. И взгляд на войну будет совершенно другой. Понимаешь? Это все равно что увидеть две разных войны: отступать — и наступать. Я-то знаю... Я ведь тоже кое-что повидал на Халхин-Голе!

— Да? — В голосе Дмитрия Ивановича мелькнула надежда. — Ты думаешь, это будет другая война — наступать?

— Конечно. Совершенно другой коленкор!

— Но он все же прав: нелегкая будет победа.

— А кто говорит, что не прав! Ты слушай, мотай на ус, а свое дело делай. Понимаешь, я верю в наших бойцов! И в нас с тобой, Митя, честно сказать, верю! Это главное.

Они оба так долго молчали, каждый думая о своем и стесняясь заговорить об этом вслух, что не заметили, как и уснули. Но только почему-то недобрый теперь был этот короткий предутренний сон. И то чувство ответственности, которое им обоим еще недавно казалось относительно легким, спокойным, сейчас разрасталось и давило на плечи, как может давить обвалом обрушившаяся гора.

2

Утром Дмитрий Иванович торопливо сбежал к реке: смыть с себя черный сон, содрать его с кожи. Вода мелко дробилась на перекатах, играла опавшими узкими листьями прибрежных ив, ставших серыми от тумана. Над рекою в полуобморочной тишине далеко разносился каждый отброшенный берегами, повторенный лесным эхом звук: всплеск воды, чавканье мокрых сапог по песку, глубокий вдох и выдох, когда нагибался и выпрямлялся.

Стоя над водой, Дмитрий Иванович с удивлением огляделся вокруг. Он как будто впервые увидел эту никнущую осеннюю красоту деревьев на том берегу. Где-то близко смеялись и разговаривали бойцы. Это были какие-то, видимо, очень близкие ему люди, потому что их говор и смех непривычным теплом отозвался в груди у Шубарова. Он в ответ понимающе усмехнулся.

Ему было радостно от этого утра, захотелось обнять корявое, в узловатых извивах дуплистое дерево и прижаться к нему щекой. Изогнулось над песчаной косой реки — и задумалось. Может, тоже раздумывает о хороших погибших людях, о дружбе, о еще не изведанной сердцем любви? А может быть, и оно, как Шубаров, тоскует из-за этой первой военной осени с надвигающимися дождями и слякотью, с этой грубой и неудобной

жизнью в землянке, с тяжким грузом ответственности, с неутолимим чувством вины перед Родиной: там сражаются, умирают, а я здесь... Я здоров... Я живу!..

Он нагнулся обмыть грязные сапоги. А когда поднял голову, то подумал, что ему все еще видится недосмотренный сон.

На той стороне реки человек пятнадцать девушек, в одних нижних мужских рубашках и брюках, раздевались в кустах и заходили в воду по щиколотку, подбирая и закалывая на голове пушистые волосы.

Вот одна из них, невысокого роста, черноглазая, смуглая, зачерпнула полной горстью воды и плеснула издалека в Шубарова не с тем, чтобы попасть, а просто так, шумнуть на него. Вода хлестко стегнула по серому, вытоптанному песку.

— Эй, хватит мыться! Сорока унесет! Тут наше место... Уходи!

Они все засмеялись.

Шубаров, приоткрыв рот, засмотрелся, не замечая, как другая, белокурая, с длинной косой, вдруг быстро с себя рубаху — долой, галифе — долой и легким, гибким броском метнулась в рябые волны реки, холодноющие, в которых и купаться-то нельзя; как сказали бы теперь на деревне: «Олень в воду уже помочился», — и выплыла на середину.

Он заметил ее, когда она уже была рядом, на отмели.

— Ты чего здесь подглядываешь? Уходи! А то утоплю! — закричала она, хохоча и падая в волны.

А с того берега тоже крики и хохот:

— Эй, друг, куда же ты? Орешек-то не по зубам? Кто-то свистнул:

— Марьянка, лови его!..

Уже взбежавши на обрывистый берег, на возвышенность, Шубаров оглянулся, тяжело перевел дыхание и, весь охваченный каким-то странным порывом беспричинной радости, засмеялся в ответ, погрозил кулаком:

— У-у, бессовестные!.. Навалились все сразу на одного! Разве можно так?

Но та, с белокурой косой, уже плыла посередине реки и в ответ лишь помахала рукой.

Задохнувшись от бега в гору, Шубаров остановился в зарослях лохматого от пожухлой листвы орешника, отдышался. Внутри у него все дрожало от смеха, от

бодрящего ощущения счастья, хотя, собственно, что особенного произошло? Ну, дурачатся озорные девчата, кто в молодости не дурачился, не озорничал, чего ж тут такого?!

Он нагнулся, искал, чем бы кинуть. Нашел яблоко-лесовку, надкусил его, весь скривился от вяжущей кислоты, обернулся и, отведя широко руку и откинувшись всем телом, запустил яблоком в белое теплое пятно, движущееся посередине реки, преодолевая течение. Яблоко шлепнулось рядом с плывущей. Шубаров увидел, как та повернула к нему свою отягощенную светлыми влажными волосами голову.

«Вот черти, кикиморы полосатые! Ну и народец! — думал он, задыхаясь и поводя от волнения плечами. — Вот народ! — Впервые за долгое время ему стало смешно. Война, заботы, споры с Завалихиным, одинокие думы — все куда-то исчезло, омытое солнцем, как дурной сон, навеянный криком ночной неясности. — Вот народ! — повторял он, посмеиваясь. — Не-ет... С таким народишком не пропадешь! Ишь сила-то как играет!..»

Дмитрий Иванович тряхнул головой и весело зашагал по дороге к штабу. И пока шел, сбивая полотенцем росу с придорожных растений, все улыбался: внутри него все ликовало. И весь мир, окружающий его нынче, ликовал. И весь этот день, поглядывая на Завалихина, Дмитрий Иванович усмехался и весело щурился: он знал теперь правду, о которой Петро Завалихин и не догадывался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Каждый день похож на другой, как серые оттиски. Длинная цепь дней: строевые занятия, дневальства, увольнительная в город, дежурство в стационаре, лекции по анатомии и физиологии человека, практика по хирургии, политподготовка, стрельбы, ночные тревоги, поход, трехдневные дивизионные учения...

За последними городскими домами — солнечный цветущий простор. Сухая щетинистая трава белоус, седые клочки ковыля, красноголовый татарник.

Взгляд вбирает в себя кромку неба, извилистую линию хвойного леса, издали похожего на древнюю крепость с башнями и зубцами, желтовато-серую ленту реки, теплоту ясного и сухого, как стеклянные нити, осеннего воздуха, придающего всем предметам особенно выпуклые, стереоскопические очертания. Паутина, летящая наискосок, цепляется то за штык, то за низкие стебли конского щавеля.

Отсюда, от глинистых, пахнувших порохом и солдатскими сапогами траншей, виден весь Казачий бугор. Четко отпечатываясь на фоне бледного неба, с винтовками наперевес, по вершине бугра бегут люди — там идет бой. Люди падают и поднимаются как ни в чем не бывало. Они быстро отряхивают с колен сухую желтую землю, отплеиваются, сморкаются, словно в них и не стреляли. И я презрительно кусаю губы. Я не люблю этой игры. Всякий раз, когда падает человек, я тоже мысленно падаю рядом. И это нельзя пережить во второй раз, как нельзя убитому на войне красноармейцу встать, поднять винтовку и, матерясь, вернуться на исходный рубеж.

Всякий раз мне хочется выскочить из траншеи и всерьез, а не в шутку, петляя, припадая к земле, ползти по сухой, жесткой траве — скорее на помощь! На пробитую осколком снаряда руку — бинт, крест-накрест. Раненого на плащ-палатку — и в укрытие, а затем в медсанбат на гремящей железными шинами фуру.

Всякий раз я удерживаю себя. Всякий раз мысленно говорю упавшему: «Поиграйся еще, поиграйся...»

Налево от меня Женька. Направо Марьяна. В военной форме, в гимнастерках и брюках, в кирзовых сапогах, они кажутся толстыми, неуклюжими, как щенята. У меня все время возникает желание их погладить, как гладят кутят по мякотькой, глянцевой, чуть взъерошенной шерстке: «Куть, куть...»

— Наступательный бой в лесистой местности характеризуется следующими факторами...

Занятия ведет лейтенант Федор Марчик.

Сейчас Федор объявил перекур и сел в стороне от нас, наслаждаясь ласкающим, жарким солнцем. Он даже снял фуражку и расстегнул воротник, хотя это ему не идет: лицо его сразу становится глупым.

Я лежу на бруствере и в который раз перечитываю измятое, закапанное чернилами письмо со штампом во-

енной цензуры. Его переслала мне из Воронежа мать. Женька тянет шею, косит глаза, заглядывает через плечо. Но я отстраняюсь от нее подальше. Я ставлю локти так, чтобы ей не было видно.

Знакомый почерк бежит бледно-лиловой вязью.

Оказывается, Банин сражается под Одессой. Был легко ранен. Лежал в госпитале. Сейчас снова на фронте, в истребительной авиации. Я все время пытаюсь уловить смысл его слов — и не могу ничего понять. Я не верю своим глазам. Все написанное им в этом письме неправдоподобно и дико.

«Аленький, милый! Все время думаю о нашей ссоре с тобой. Ты все это зря. Я очень прошу тебя: не надо... На войне нужно так соразмерять свои поступки, чтобы потом никогда не пожалеть о них, сознавая уже всю невозможность исправить. Если б я знал, что все так случится, разве бы я наделал столько глупостей в свой последний приезд в Воронеж! Уж наверное нет. Да и ты тогда тоже не стала бы унижать меня своим подозрением. Я ведь знаю, о чем ты подумала.

Что хорошего я могу тебе предложить? Кочевая жизнь военного летчика. Никогда не принадлежать себе. Только служба, армия, эскадрилья. Только воздух. Никогда не знать, что случится с тобой через день, через час, через секунду. Никогда не знать, где соломку подстелить, когда будешь падать. Быт суровый, военный. Но если ты согласна разделить со мной эту жизнь, то жди меня. Никуда из Воронежа не уезжай. Как только мы разобьем фашистов, я приеду к тебе. Не могу даже подумать, что в суматохе эвакуации ты где-нибудь потеряешься и я тебя не найду. Поэтому еще раз прошу: если можно, из Воронежа не уезжай...»

Я стараюсь отвести глаза от письма, от Борькиной подписи.

Кто сказал, что первая любовь никогда не бывает в жизни последней? Уж наверное это злой, ни во что не верящий человек!

Я люблю Борьку так, что это письмо для меня сейчас ровно ничего не значит. Женится он на мне или не женится, будет любить меня или нет, разве это главное в моем чувстве?

Главное в том, что он есть на земле.

Я лежу на бруствере, на сухой, смятой траве. Перед моими глазами розовый крестик степной гвоздики, су-

кобыл, рыжие комья глины, затоптанные окурки, а я вижу одно только это письмо. Оно цветет. Мне кажется, оно зацветает каждой своей короткой, чуть кудрявистой строчкой. Любое слово в нем похоже на бледный степной цветок, растущий на Казачьем бугре.

Вдруг Женька мне говорит:

— А ты знаешь, мы с Борькой целовались.

— Шутишь?!

— А что ты думаешь? Правда.— Женька поднимает на меня такие невинные, такие открытые, прямо, я бы сказала, распахнутые настежь, как окна, глаза. И смеется: — Шучу, шучу. Уж и пошутить с тобой нельзя!

Ну что ж, целовались так целовались...

А я с Борькой так ни разу за все время нашей дружбы не поцеловалась. Может быть, потому, что для меня это было бы слишком серьезным шагом в жизни. Такой единственный поцелуй был бы похож на гербовую печать. «Положи меня, как печать на сердце своем...»

— Не знаю, чего хорошего ты в нем нашла, удивляюсь,— осуждающе говорит Женька.— Только и слава что летчик! Фуражечка голубая.

— Понимаешь ты в апельсинах!..

— Понимаю, конечно. Не то что ты!

Я спокойно зеваю и прикрываю ладонью рот.

— Не мешало бы тут погасить одну задолженность,— говорю я и укладываюсь поудобней.— Как только Марчик резвый, кудрявый подойдет ко мне, ты, Женька, свисти! Толкни меня в бок. Я сразу проснусь.— И я делаю вид, что засыпаю.

Но на самом деле я и не думаю спать.

Просто мне нужно кое о чем серьезно подумать. Письмо Бориса, такое важное, счастливое, необычайное для меня, в один миг перевернуло всю мою, уже ставшую привычной, хорошо налаженную жизнь. «Никуда из Воронежа не уезжай». А я уехала. «Не могу даже подумать, что в суматохе эвакуации ты где-нибудь потеряешься...» А теперь, в суматохе отступления фронта, в рукопашном бою, в наступлении, на переправе, под обстрелом или бомбежкой, разве я не могу потеряться, погибнуть? Целый вихрь мыслей и чувств кружит мне голову. Приходит даже мгновение, когда я начинаю жалеть, что получила это столь долгожданное письмо. Потому что не вижу из создавшегося положения выхода.

Вернее, выход есть, но он все тот же, какой я уже выбрала.

Я должна, я обязана ехать на фронт!

Борька пишет: «...как только мы разобьем фашистов».

Да, мы.

Но мы — это я и он. Как только мы с ним разобьем фашистов, так мы встретимся и поженимся и больше уже никогда не расстанемся. Мы всегда будем вместе. Всю нашу долгую, послевоенную, мирную жизнь.

А иначе мне и счастья не нужно.

Не хочу его никакой другой ценой!

2

Я лежу на бруствере, прикрыв ладонью глаза. И думаю, думаю. Неужели Борька любит меня? Такой темнобровый, сероглазый...

Я вспоминаю его гордое, улыбчивое лицо.

Мне всегда с Борькой весело и тревожно, как будто я над пропастью прохожу. И чуть-чуть страшновато, когда он куда-то от меня «ускользает», отдалается, остается холодным. А это бывает с ним довольно часто.

Память услужливо подсовывает один эпизод.

Борька сам пригласил меня в гости к товарищу на новоселье, в Соцгород, на левый берег реки. Мы с ним несколько опоздали. Пришли, когда все уже были тепленькими, «на взводе».

Познакомив меня с хозяевами, Борис сразу ушел с мужчинами курить на балкон, а я осталась одна под внимательными взглядами окружающих.

— Это кем же вы Банину доводите? — довольно бесцеремонно спросила меня высокая, худая, неопрятного вида хозяйка.

Я пожала плечами.

Конечно, я могла бы, как Женька, отбрить ее сразу, сказав, что жена. Но с Борисом я так шутить не умела. Для этого у нас с ним чересчур «фарфоровые» отношения.

Поэтому я не ответила на вопрос.

Смущенная и неловкая, я огляделась.

Комнаты у новоселов высокие, светлые, но без мебели. Еще не успели ничего купить. Поэтому празд-

ничный «стол» накрыт на полу. На разостланной ска-
терти — недопитые рюмки, остатки салата, скелеты се-
ледок. Раскрытые банки с консервами. Цветы в вазах.
А гости — кто на корточках, кто на подушках, кто пря-
мо так, на голых досочках.

Какой-то лысый толстяк в расшитой украинской ру-
башке тянется с бокалом вина через всю комнату к бе-
ловолосой румяной женщине в голубом шелковом
платье.

— Верочка, выпьем на брудершафт! — И широ-
ко разводит руками. — Странное дело! Не хочет. Ох
эти женщины! Вечно у них условности, предрас-
судки...

Рядом со мной идет бессмысленный разговор:

— Да ты понимаешь, кот-то трехшерстный. Не кош-
ка, а кот. Это ж большая редкость.

— Черешня — ягода бездушная...

— Ну, выпьем на брудершафт?

— Не хочу.

— Ну, дай тогда я тебя просто так поцелую.

На закате пошел дождь, и в окне, обращенном на за-
пад, возбужденно и громко запела капель.

Я стояла, опершись на подоконник, глядела на
улицу.

Внизу длинной белой и розовой линиями, в два ря-
да, тянулись новенькие дома. Улица была чистая, обса-
женная тополями. И из каждого окна, из раскрытых
дверей каждого балкона, словно дождь, приглушенная
расстоянием, текла музыка. В одном месте пели: «Лю-
бимый город может спа-ать спокойно...» В другом: «Ес-
ли завтра война...»

Прислушавшись, я засмеялась: чему, собственно, ве-
рить? Тому, что любимый город может спать спокой-
но, или тому, что завтра — война?

Кто-то тронул меня за плечо.

Я обернулась.

Позади меня стоял лысый толстяк в расшитой укра-
инской рубашке. Он держал два бокала вина. Шаркнув
ногою, он с поклоном один подал мне, другой втиснул
в руки Борису, вернувшемуся с балкона.

— Ну, Боря, ну, девушка, простите, не знаю, как
вас звать, выпейте на брудершафт! Оба молодые...

— Дурак! — поправил его кто-то пьяным голосом из
угла. — Молодые — это новобрачные.

— А! — Толстяк с живостью обернулся, щелкнул толстыми пальцами. — Какой разговор! Днем позже, днем раньше.

Мое сердце забилося так, что я опустила глаза: мне показалось, что все слышат его громкий стук. Ожидая, когда Борька поднимет бокал, я загадала: если он сейчас поцелует меня, значит, это на всю жизнь. Навсегда. Значит, мы действительно с ним «молодые».

Но, подняв уже руку, чтобы чокнуться, я вдруг всем вспыхнувшим лицом ощутила, как спокойно, не торопясь, Борис поставил свой нетронутый бокал на подоконник, как он не спеша вытер липкие пальцы носовым платком и медленно, с достоинством повернулся к толстяку, дожидавшемуся деловито...

— Так что ты сказал... про нового вратаря?

Кто-то в дверях схватил меня за руку. Кто-то сказал: «А вот хорошие яблоки — воргуль!» Но я уже бежала по лестнице с четвертого этажа вниз, перепрыгивая через ступеньки. Слезы застилали пеленою глаза, я не видела ни домов, ни дороги.

На улице был уже поздний вечер. Из окон на асфальт ложились расплывчатые, цвета старого меда квадратные пятна. В их причудливых перемещениях и движении теней я совсем потерялась: я не знала, где главная улица, где остановка, когда придет последний трамвай.

Позади меня кто-то зашлепал по лужам, задышал над ухом, с силой стиснув мой локоть, сказал:

— Ну, чего ты, Аля? Вот глупая, убежала... Шутки не понимаешь? — Это был, конечно, Борис. Он с нежностью погладил меня по плечу, но я брезгливо отбросила его руку.

— Не тронь! — воскликнула я. — Я тебя ненавижу!

Он схватил меня, стиснул за плечи и встряхнул так, как встряхивают пыльный мешок, с силою, грубо.

— Ты что?! Ты что?! — спросил он со сдержанным раздражением. — Ты что делаешь? Соображаешь? А?... Откуда в тебе этот черт сидит, весь в колючках?! — Он говорил быстро, сердито, словно задыхаясь. — Ты можешь наконец быть со мной человеком? Ну хоть раз? Для меня?

— Для тебя?! Не могу! — Я презрительно вскинула голову. — Ты... ты просто предатель! Ты всех своих друзей так предаешь?

Борис разжал руки. Он легонько оттолкнул меня от себя, отступил на шаг в сторону.

— А! — сказал он радостно, удовлетворенно. — Вот как? Так? Да? Ну что ж... Хорошо!

Он молчал, рассматривая меня незнакомым, изучающим, очень опытным взглядом. И при этом покачивал головою, как если бы сам себе подтверждал: «Да, да! Так, так!» Не торопясь вынул из кармана пачку «Казбека». Долго доставал папиросу. Потом всю измял ее пальцами. Сунул в зубы. Чиркнул спичкой, но не прикурил, а, подняв высоко над собой, посветил мне в лицо, как будто запоминая меня навсегда. Когда спичка почти догорела, он отбросил ее тем же жестом — удовлетворенно, легко; она прочертила слепящую кривую дугу.

После яркого света все вокруг показалось угрюмой, черней. Угрюмая, дождливая летняя ночь. Угрюмый, дождливый, заплаканный город.

— Какая сегодня черная ночь! — заметила я с тоской, понимая, что теперь уже ничего не исправить. Все так и будет до окончания наших дней: Борис сам по себе, я сама по себе.

Борис промолчал.

— Да, — ответил он наконец. — Ты права. Сегодня действительно черная ночь. Самая черная в моей жизни. — Повернулся и пошел один в темноту.

С тех пор прошло много времени. Почти целая вечность. И вот это нежное, непонятное для меня, чудеснейшее письмо: «Что хорошего я могу тебе предложить? Кочевая жизнь военного летчика... Но если ты согласна разделить со мной эту жизнь...» И вместе с письмом — ослепляющие душу радость и счастье. Ведь я очень люблю Бориса, больше жизни, безрассудно и откровенно. И все в нем мне кажется милым, прекрасным: и легкий пушок на верхней губе, и пушистые темные брови, и глаза, такие ясные, серые...

А Женька мне говорит: «Фуражечка голубая!»

И еще говорит: «Удивляюсь, что хорошего ты в нем нашла...»

Это я удивляюсь: как это Женька такого молодца проморгала? С ее зорким-то глазом! Я это так понимаю: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Я лежу, прикрыв ладонью лицо. Да, мне нужно все это хорошенько обдумать.

Но сон подкашивает меня моментально. Я словно проваливаюсь в какую-то яму. Мне снятся длинные серые дымы выстрелов и бегущие по бугру красноармейские цепи с винтовками наперевес, потом чьи-то ноги. Огромные ноги в растоптанных солдатских сапогах. Они грохают прямо над моим ухом, размеренно, в лад, надвигаются, надвигаются... Еще шаг — и прямо по мне, по живому, расprostертому моему телу, пройдет тяжелый, нескончаемый ряд растоптанных грязных сапог.

— Рота-а, встать! Смиррррррр-наа! Товарищи командиры... Товарищ военврач третьего ранга! Медрота... ведение боя в пересеченной лесистой местности... Занятия ведет лейтенант Марчик...

— Здравствуйте, товарищи!

— Здра... жела... това... военвра... третье... ран...

— Вольно, товарищи!

— Вольна-а-аа!..

Командир батальона, высокий, горбоносый и смуглый, в гимнастерке с зелеными суконными петлицами и эмблемой — тонконогая золотая чаша, обвитая змеей, — чуть прихрамывая, проходит вдоль строя. Издали Иван Григорьевич кажется хмурым и даже угрюмым. Но когда он приближается к тому месту, где я стою, я вижу, что он просто очень устал, очень болен.

Петряков останавливается перед строем.

— Товарищи! — говорит он и на миг умолкает. Потом поднимает на нас утомленные, с коричневыми от бессонницы кругами глаза. Продолжает едва слышно, но мы ловим своим обострившимся слухом каждое его слово, даже вздох: — Вчера... — Петряков говорит глухо, раздельно, с трудом роняя тяжелые, словно камни, слова, — наши... войска... оставили город Одессу...

Он медленно проходит вдоль строя, строго смотрит каждому прямо в лицо.

Передо мной комбат наклоняется, поднимает что-то с земли.

— Это твое? На! Не теряй... — И отдает мне забытое, оброненное мною письмо. Я беру его и только теперь вспоминаю: ведь Борька там, под Одессой!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Я войне благодарна: война меня сделала человеком. Если бы не война, никогда бы я не встретила столько самых разных людей, и плохих, и хороших, и совсем не значащих ничего, обыкновенных, о которых можно сказать: «Ни богу свечка, ни черту кочерга», и отъявленных негодяев.

Но если негодяи в общем-то все на одно лицо, то хорошие люди были хорошими все по-разному. И у каждого я научилась чему-нибудь. Как жизнь понимать. Как прощать. Как не трусить. Как держать данное слово. Как помочь в горе более слабому духом. Как самому сохранять бодрость и не ныть, если худо.

Очень многие из этих хороших людей, давно уже тлеют по братским могилам на Смоленщине, в Белоруссии, в Польше, на Одере, в чинном порядке военных кладбищ Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии, Франции... Подмоскowie — сплошная братская могила моих добрых друзей.

Я вспоминаю их — веселых и молодых. С суконными звездами на рукавах, с кубарями и шпалами в петлицах, а позже — с погонами, с орденами. С трофейными шашками, чьи рукояти обвиты золотыми дубовыми листьями, — чем не игрушка? Я помню песни, какие они пели по вечерам, в часы отдыха, их улыбки, их шутки.

Да, мертвые, остаются молодыми, это так. Но они остаются и верящими, убежденными до сих пор в том, в чем мы давно уже разуверились, разубедились. И в этой упорной их вере, в их цельности и убежденности есть какая-то скрытая сила. Может быть, сама сущность победы. Я так думаю: мы в войну победили только благодаря им, этим людям. Поэтому они и мертвые меня судят как честные, беспристрастные судьи: меня и мои поступки. Поэтому я и сейчас еще примеряюсь к ним, к мертвым, как к самым живым.

2

Когда в дивизионном клубе кончилось совещание и все потянулись к выходу вслед за начальником политотдела Егоровым, маленьким, сморщенным, похожим

на старую умную обезьяну, кто-то в толпе тронул меня за рукав.

— Вы комсорг медсанбата? — спросил меня человек в шинели со шпалой в петлице. Загорелое, чуть скуластое его лицо было умным и твердым, лишь в глазах еще прыгал смех после шутки Егорова.

— Да, я.

— Как там у вас Петряков поживает?

— Тощ, как хвощ, хромает на одну ножку, а живет понемножку, — ответила я и удивленно пожала плечами. Откуда я знаю, как он поживает?.. В самом деле, разве станет командир батальона делиться со мной своими заботами?.. — Представления не имею, как он поживает.

— Привет от меня ему передайте.

— От кого это — от меня? Я-то знать вас не знаю.

Разговаривала я с человеком обычным своим неприязненным тоном, каким говорила и в школе со сверстниками, и здесь в армии со всеми, включая начальство, без различия чина и званий. Мне казалось, что тон этот наиболее подходящий, когда вокруг тебя много мужчин, а ты одна женщина и им всем подчиненная.

Я не сделала исключения и для незнакомца.

— Скажите: от Дмитрия Ивановича Шубарова, — старший политрук говорил со мной терпеливо, как с маленькой. — Впрочем, я сейчас ему напишу, а вы передайте.

Я качнула с сожалением головой.

— Голубиная почта? Увы, не летаю.

Все стоящие вокруг нас засмеялись. Я, конечно, заметила, что наш разговор с Дмитрием Ивановичем привлек уже множество любопытных, окруживших кольцом меня и Шубарова, и на этом обостренном внимании многих людей я плыла уже как на легкой скользкой волне, отвечая все более зло и дерзко.

— Ничего с вами не случится, отнесете, — усмехнулся Шубаров. Он вырвал из блокнота листок, что-то быстро написал и сложил треугольником. — Как вас зовут?

Я вспыхнула оскорбленно. Неужели он будет потом проверять, отдала или нет? Что за глупый допрос!

— А вам зачем это знать?

— Просто так. Интересно.

— Ну, если просто так, то Алька.

— Гм... Странное имя! — Шубаров взглянул на меня удивленно. — Так куклу можно назвать. Собаку. Ну, лошадь... А полностью имя как?

Я сделала уничтожающий жест: что поделаешь с чудаком, пристал, как банный лист...

— Александра!

— Ну вот это уже другое дело! А то — Алька! Ну, что ж, будем знакомы... А по батюшке?

— А у меня, слава богу, нет батюшки.

— Как так — нет?

— А так. Нет и не было никогда! — Я шагнула размашисто. — Не понимаете, что ли? Непорочное зачатие... Как у девы Марии.

Стоящие вокруг нас грохнули смехом. Я сама засмеялась. Один Шубаров не улыбнулся. Он смотрел на меня исподлобья, удивительно строгим взглядом. Смял в зубах погасшую папиросу — от этого на его лицо легла резкая складка; сказал, хмурия брови:

— Нет, это вы, наверное, сами не понимаете, что говорите. — И направился к выходу.

Шел он прямо и властно, так, что люди перед ним расступались, а тех, кто не сразу его заметил, он легонько отодвигал твердой, сильной рукой. И ни разу не оглянулся. А я молча стояла и растерянно смотрела ему вслед. Мне хотелось крикнуть ему что-нибудь обидное, злое, но я так ничего и не успела придумать: он ушел слишком быстро.

Хмурия брови, я сердито расстегнула планшет, положила в него злополучное письмо для комбата и щелкнула кнопкой.

Кто-то кинулся подать мне с вешалки шинель, кто-то предупредительно спросил:

— Вы домой? Можно вас проводить?

Но я с насмешкою обернулась:

— Собак, что ли, помогать отгонять? Так я их не боюсь. Они меня знают!

3

На улице после света было так темно, что казалось, я прямо с крыльца шагнула в огромное смоляное озеро. Черная густая смола прилипала к сапогам, засасывала ноги, влажно дышала в лицо, облепляя мельчай-

шими брызгами кожу. Ни мостовой, ни тротуара — ничего не видать.

Я шагнула и сразу попала в какую-то ямину, полную той же самой отвратительной смолы, что падала сверху. С трудом выбравшись из нее, я прошла два шага и тотчас же налетела на черный, влажный и словно бы тоже измазанный столб: ну, порядок! Теперь-то уж я знаю отсюда дорогу.

От столба даже в самое смутное затемнение, в самую черную непогоду легко отыскать дорогу домой. Надо только повернуть направо и идти по булыжнику мостовой, пока не запахнет яблоками и навозом. Это будет базар. А за базаром все просто: церковный забор с грудой бревен возле него, большая, широкая площадь, почта и, наконец, родной дом — медсанбат.

Я бодро шла во мраке по еле заметным и ведомым только мне ориентирам, пока возле церковного забора кто-то не преградил мне путь в темноте.

— Кто здесь? — спросила я. — Что вам нужно?

Человек сделал шаг вперед.

— Это ты, Шура? — спросил он. — Я хочу вот что сказать...

Это был снова Шубаров.

Я сразу узнала его по голосу, по тому, что он назвал меня необычно: Шурой. Так меня никто никогда не называл ни дома, ни в школе.

— Извини меня, — сказал быстро Шубаров и взволнованно замолчал. Я услышала его тяжелое, как после долгого бега, дыхание. — Я ведь только сейчас сообразил, как я перед тобой виноват. Прости дурака!

Закусив губу, я молчала. Не в первый раз меня обижали. Но впервые взрослый человек извинялся передо мной, и я не знала, что нужно делать, как ответить ему.

— Что ж ты молчишь? — спросил он меня тихо. — Не хотел я обидеть... Я ведь не знал!..

— Ах, что вы, что вы! — Я пришла в себя от некоторого замешательства. — Какие мелочи... между друзьями.

Он не принял насмешки.

— Я еще раз прошу: извини.

Вдоль церковной ограды лежат темными грудями неошкуренные толстые бревна: райисполком еще до войны начинал в церковных подвалах какое-то строи-

тельство — не то хотел открыть мастерские, не то склад, но так незаконченным все это и бросил. Мы стояли как раз возле такого большого бревна. Шубаров тронул меня за рукав.

— Садись! — приказал он мне и сел сам.

Я покорно села с ним рядом: он умел себе подчинять.

Шубаров, волнуясь, закурил. Взглянул на часы. Фосфоресцирующие стрелки на циферблате показывали ровно одиннадцать. Я давно уже опоздала к вечерней поверке, к отбою. Ну что ж. Отвечать — так теперь уж сразу за все.

— Ну, рассказывай, — сказал Дмитрий Иванович.

Он сидел, полный такого сочувственного внимания и с такой готовностью ждал рассказа, что я растерялась. Никто никогда меня не расспрашивал, а у меня на душе давно уже так накипело...

— Что рассказывать-то? — спросила я смущенно, теперь опасаясь, что могу невзначай сказать ему грубость. — О чем?

— Все. О себе! — приказал он. Огонек его папиросы стал краснеть, потом округлился и надолго померк.

— Наверное, вам и так уже ясно...

В самом деле, о чем я могла ему рассказать? Что наш низкий бревенчатый дом крашен в зеленую краску. И ворота уже покосились от старости. И калитка качается и скрипит на ржавых петлях. Что три старых вяза, заслоняя ветхую крышу от непогоды, заглядывают в окно и бросают на стол, на узкую железную кровать и на старое зеркало зеленые пятна теней. Здесь мы и живем с матерью и сестренкой, у бабки. Живем бедно, впроголодь — из милости.

— А где же отец твой? — спросил у меня Шубаров. — Ведь есть же у тебя отец.

Он опять закурил. Не спросясь, я тоже взяла у него папиросу из пачки, неумело затянулась, давясь едким дымом.

Шубаров отобрал у меня папиросу. Затоптал ее сапогом.

— Где он сейчас?

— Не знаю. — Я хотела ответить беспечно, но голос мой дрогнул.

— Другую нашел?

— Нет. Не знаю... Просто бросил — и все! Ну от-

куда я знаю?! Да и какая вам разница? Не все ли равно? Для меня он... умер. Его нет на свете — и все! И не было никогда. Понимаете?

— Это он или мать назвала тебя так — Александрой?

— Он. Отец. В честь Александра Македонского. — Я весело засмеялась. — Он сына хотел. А родилась дочь. Ну вот, имечко от сына-то и досталось дочери.

— А еще братья-сестры у тебя есть?

— Есть. Сестренка.

— Значит, и опять не сын?

— Да.

— Вот оно что!.. — Шубаров кашлянул глухо. — Собственно, я, только когда уже вышел из клуба, догадался... Извини, ради бога... Не хотел... Я ведь вовсе не собирался тебя обижать!

Я с горечью усмехнулась: не все ли равно — хотел, не хотел! Вслух сказала небрежно:

— Ну, ерунда...

Почему-то сейчас я особенно ясно припомнила эти старые вязы под окном. Мои любимые толстые вязы. Колокольчики ипомеи на бревенчатой, крашенной зеленой краской стене. И бабу. Баба стрижена под мальчишку, почти наголо. Ходит в чепчике, в черной сборчатой юбке и черной заплатанной кофте со множеством белых мелких пуговок. Перебирая связку вытертых до блеска ключей, она бродит по дому, шаркая подошвами, и бормочет ругательства: «Паскуды! Выродки! Чтоб вы подошли!» К кому это относится, нетрудно понять. Но мы с матерью делаем вид, что не понимаем. Да и куда нам тогда деваться, если мы вдруг поймем? Жить-то нам все равно негде, кроме как только у бабу, матери бросившего нас отца.

Нам живется здесь очень скудно. Мать часто болеет, поэтому мало зарабатывает. А когда она заболевает надолго, мы и вовсе сидим голодные. А у бабу же, как видно, водится припрятанное с давних времен золотишко: серьги, кольца, чайные ложки, цепочка к часам. Она продает их в Торгсине и там покупает себе и ест на наших глазах белый хлеб, масло, сыр, колбасу, пьет кофе или какао. Чего не успеет съесть в один присест, завернет, спрячет. Хлеб измерит бумажкой — и в шкаф, под замок. Поделиться с нами она не может: не хочет. Когда ей почему-то взбредет в голову дать нам

хлеба, она не отрезает его, не отламывает своими руками, а просто оставляет на какое-то время ключ в замке и уходит. Она может только позволить украсть...

— Не надо...— сказал вдруг с болью Шубаров.

И мы оба с ним надолго замолкаем.

От холодной, промозглой сентябрьской ночи, от волнения меня всю трясет, но я стараюсь сдержать в себе эту дрожь. Теперь я больше уже не могу рассказывать ни о чем: ни как бабка загоняла палкой сестренку под стол, ни как потом лежала сама на этом длинном столе в пустой, темной, пахнущей земляничным мылом и ладаном комнате, маленькая, желтая, сморщенная, а мать стояла над ней со свечой и, каплями роняя горячий воск ей на мертвую щеку, пристально разглядывала своего неутомимого и теперь лежащего во прахе врага.

«Что, допрыгалась? Довоевалась?» — наклонялась она над бабкой и беззлобно смеялась.

А мне было страшно от этого беззлобного смеха, от ее веселого голоса; хотелось куда глаза глядят бежать и всю ночь проходить одной по темным, пустынным улицам, видя только издали этот страшный желтый огонь за окном.

Шубаров сидел сторбясь, глубоко задумавшись,— слушал.

Потом он поднял голову, сказал:

— Ты что ж, думаешь, я это не видел там, в клубе?

На другое утро после бабкиных похорон мать не встала с постели. Она глядела на меня воспаленными, но такими разумными глазами и строго спрашивала, ненавидяще отталкивая сухой, горячей рукой.

«Ты кто? — говорила она, вглядываясь в меня и не узнавая. — Ты кто? Чего тебе надо? Ты что здесь делаешь в нашем доме?! Уходи! Убирайся. Не то я тебя!..»

Шубаров поднялся с бревна.

— Пойдем побродим,— сказал он.— Все равно в такую ночь уже не уснешь. Рассказывай. Я слушаю. Продолжай.

4

Я встала с сырых, нагретых бревен. Я была благодарна Шубарову: я рассказала ему обо всем, о чем не рассказывала никому никогда, и он выслушал, не сказав мне при этом никакой банальности. Я была ему

благодарна за его внимательное молчание и за то, что он тоже не может спать спокойно в эту мрачную ночь. Поэтому я послушно пошла с ним рядом во тьме, по развезженным, скользким улицам, мимо пахнущих псиной заборчиков.

Вскоре мы вышли к дамбе, ведущей к реке.

Тучи, полные непролившегося дождя, шли стадом, как огромные черные звери. Они скреблись брюхом о трубы домов, о столбы; ползли важные, сытые, в клочьях свалявшейся шерсти, освещенные откуда-то из-под низу едва пробивающимся светом луны.

Дмитрий Иванович вдруг спросил у меня:

— Так ты поэтому и не любишь людей?

— Людей? — Я возмущенно остановилась. — Нет, не всех... Не люблю одного подлеца.

— А если он не подлец? Откуда ты знаешь?

— Тем хуже!

Шубаров чиркнул спичкой, закурил папиросу, задулся.

— Мне кажется, ты ошибаешься, — сказал он. — Конечно, в людях можно ошибаться и нужно. Но со временем ты поймешь, что в отце ты ошиблась. И поймешь — и простишь.

— Я? Прощу?! — Теперь я совсем обзлилась. — Ну уж нет. Извините. Уж кто-кто, а я твердо знаю: за зло надо платить только злом! И кроме ничем. А на каждый удар отвечать ударом. Я не из великодушных.

— Ты еще молодая... Поэтому так говоришь.

Рассматривая противоположный берег реки и черные круглые купы деревьев, Шубаров сказал задумчиво, не торопясь:

— Да, когда-нибудь и ты научишься платить людям добром. И поймешь, как это дорого человеку...

— А куда денется зло?

— Зло? — Он помолчал. — Со злом нужно очень уметь бороться. Но не так, как ты. Это ж проще простого: ненавижу — и все!

В серые прорехи облаков проглянула луна, и вся земля вокруг нас засияла таинственным, зеленоватым, перебегающим светом. Как если бы и вода, и травы, и пни, и кустарники, и торчащие из песка гнилые коряги — все было живым и смотрело на нас миллионами круглых зеленых глаз, вспыхивающих трепетными огоньками.

В каждой луже, в полной воды колее, в каждой неровности дамбы сегодня жила своя собственная луна. Огромное количество лун окружало меня и Дмитрия Ивановича. Эти крохотные живые луны плескались в каждом водоеме, цвели, как весною цветет в стоячих болотах глазастая лягушечья икра. Все вокруг было настороженно и чутко: так бывает только один раз в жизни и никогда уже не повторяется, даже с любимым.

Я с насмешкой вздохнула:

— Посмотрите! Вся природа вам внемлет. Тишь да гладь...

Дмитрий Иванович взглянул на меня искоса, одними уголками глаз, усмехнулся, но ничего не сказал. И я не почувствовала себя перед ним виноватой.

В юности часто случается так: сильного ты принимаешь за слабого, нахала — за храбреца, болтуна — за остроумца. Казалось бы, именно в юности зорче глаз, и если ума и опыта маловато, то ведь веришь тому, что их заменяет: безошибочной интуиции. Как сказала бы Женька: «Моя интуиция меня бережет». Но меня интуиция не уберегла в моей дружбе с Шубаровым. В тот вечер я сочла его излишне прямолинейным и простодушным. А все самое лучшее, что было в нем, — его человечность и доброту, посчитала за слабость.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Человек становится взрослым не тогда, когда ему выдали паспорт или аттестат зрелости. И не тогда, когда он в первый раз начинает любить. А тогда, когда он в первый раз всерьез ненавидит.

Один председатель колхоза на Брянщине, бывший начальник штаба партизанской бригады, спустя долгие годы после войны мне как-то рассказывал:

— Для кого война, может, и кончилась в день победы. А я по сию пору не могу ее завершить... Вот, знаете, встречусь с одним человеком, так, верите, нет ли, рука сама собой тянется: где автомат? Полицаем был у фашистов. Предатель. Ну, судили его. Был наказан. Восемь лет отсидел в лагерях, как положено. Возвра-

тился. А теперь что ж? Не пошлешь же его второй срок отбывать... А ведь он все тот же! По-моему, так даже еще злей стал, затаился. А живет у нас на селе. Учительствует в школе, преподает математику. И сидит мой племянш у него на уроке и не задачу по алгебре решает, а твердит про себя: «Ты, ты моего папку при немцах до смерти забил, душегубец! Ты корову нашу со двора свел! Ты моего дядю на болоте собаками травил!» Дядю — это, значит, меня. Да-а-а, посидел, подрожал я тогда на болоте... Голодные мы, обмерзлые были, босые. Сидим как зайчики: ушки на макушке. Выглядываем, не идет ли кто. Если идет, то, значит, смерть.

Он же, этот председатель колхоза, рассказывал мне и про одиннадцать картофелин, которые спасли ему жизнь. Их он тоже до сего времени помнит.

Шли по лесу люди. С ними веселая молодайка с кошелкой и узелком. Партизаны, притаившиеся в кустах, пропустили мужчин вперед — двух молодых мужиков и старика, — а молодайку тихонечко за руку удержали: «Нишкни! Не кричи. Дай поесть, умираем...»

— Ну вот... — продолжал старый партизан свой рассказ. — Вынула она из узелка картофель в мундире... На этой проклятой войне и картофель тоже был как солдат: все четыре года в мундире. Другого-то мы не видали. Вынула она и подает нам одиннадцать картофелин: всего-навсего, равным счетом. Пять больших и шесть маленьких — на всех...

Он запнулся, припоминая давнишнее, видимо, в таких ясных подробностях, что чуть прижмурил глаза, как от яркого света.

— Мы эти картофелины заранее взглядом пересчитали, пока она их по одной доставала. Пять больших и шесть маленьких. И глядим на нее, ждем, что же дальше. Тогда она подумала маленько и еще краюшку хлеба дала. Спасибо ей, доброму человеку! Отпустили мы ее, а то мужики уже начали было кликать: Марфутка да Марфутка; как бы не воротились, не начали шарить по кустам. Ну, эту картошку, нечищеную, в мундире, мы и давай скорей жрать. Без соли. Холодную, в черных пятнах. Вот какая она была мне, война! Так разве я с какой-нибудь сволочью примирюсь сейчас, побратаюсь? Да они и сейчас еще есть по селу, я-то знаю, кто эти люди. Глазищами мне вслед так и зыркают.

Видать, тоже не могут забыть, как немцы у них пили-ели да танцы устраивали, а я им гранату кинул в окно.

Он помолчал и добавил:

— Вот так-то!.. А пишут: «Была война!», «Прошла война!». Для кого-нибудь, может быть, она и прошла. Только не для меня. Я-то знаю...

Да, я знаю — война.

Я их тоже до сих пор ненавижу, фашистов. И тех, что гниют на Смоленщине и в Белоруссии, и тех, что живут, процветают за Эльбой. Кое-кто, может быть, и готов был бы с ними теперь побрататься. Приходить к ним в дома, восхищаться их современной обстановкой. Слушать музыку, под какую они шагали по нашим полям. Любоваться картиной, на которой изображены два убитых солдата, голова к голове, — наш, советский боец и фашист. Смерть, мол, всех поравняла, все люди, все человеки.

Я их всех ненавижу. И тех, что раскаялись (потому что мы их победили). И тех, что сидят по углам, затаившись (до первого случая, до новой войны).

2

В этот день мы принимали присягу. Посредине чистого, отмытого из шлангов двора, на чистых каменных плитах поставлен большой стол, накрытый кумачом. На столе графин с водой, листки с текстом присяги, чернильница, ручка. Осенний ветер, уже знобкий и словно подбитый исподу холодком, кружит по двору, рвет из рук знаменосца тяжелое, с прошивью и золотыми кистями батальонное знамя.

Справа и слева от знамени щурятся от слепящего солнца и ветра часовые. Они стоят неподвижно, тоже чисто отмытые, как эти прямоугольные плиты. Блескучее солнце дробится на гранях штыков, на металлических частях винтовок, на пробке графина, пылающей в свете солнца, как маленькая бриллиантовая корона, на начищенных мелом пуговицах и пряжках, выжимает из глаз ненужную в этот час, пустую слезу.

Мы смеемся, перемигиваемся, прижимаемся друг к другу поплотнее плечами то ли оттого, что нам холодно на ветру, то ли оттого, что всем нам немного неловко. Нас смущает эта столь торжественная процедура.

Батальон наш стоит зеленым квадратом.

Я впервые окидываю всех одним общим взглядом и с ликующим чувством радости отмечаю в глубине души про себя: «Хорошо!» Хорошо, что мы только что шли строем и пели красивую песню! Хорошо, что так четок наш мерный грохочущий шаг по каменным плитам двора! Хорошо, что нас научили всему, что понадобится нам на фронте и в жизни, что мы молоды, полны сил и верим в победу! И этот день, ликующий, яркий, тоже очень хорош.

— Батальон-он... смиррр-нааа! На месте... стой! Раздва!.. Товарищ военврач третьего ранга...

— Спасибо за песню, товарищи!

И то ли действительно все дело в песне, или же это слепит глаза слишком яркое, жгучее солнце, но батальон, немного рисуясь своей выправкой и умением, понимающе и благодарно гаркает, троекратно раскалывая наш замкнутый двор грохочущим эхом:

— Служим!..

— Советскому!..

— Союзу!..

Нас вызывают из строя поочередно.

Мы — каждый по-своему: один громко, другой тихо, третий очень размеренно, спокойно — повторяем слова присяги:

— «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик... вступаю в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и торжественно клянусь...»

В сущности, война для нас начинается только сейчас. Не 22 июня, когда кто-то неведомый, незнакомый нам уже сражался и умирал там, на границе, а сейчас, эту минуту, когда мы сами даем на верность Родине эту железную клятву.

— «Но если же... по злому умыслу... я нарушу эту мою торжественную присягу,— в этом месте голос у каждого немного звенит,— то пусть меня постигнет суровая кара советского закона... всеобщая ненависть и презрение трудящихся!»

Я даю клятву, какой никогда никому не давала, и думаю: в сущности, чего Родина ждет от меня? Ведь не подвигов, не героизма она от меня ожидает, совсем нет, а простого исполнения служебных обязанностей.

Если мне командиры прикажут пойти умереть, я должна буду встать и пойти умереть. И все! И это будет всего только моя будничная обязанность, исполне-

ние такого-то и такого-то параграфа боевого устава. Это только работа, а вовсе не подвиг. От меня ждут работы, как всякой работы. Вот я и обязуюсь честно работать. Что же тут такого?!

— Вольна-аааа! Р-разойдись!..

Теперь у нас весь день будет праздник.

Мы обнимаемся и поздравляем друг друга. Помогаем соседу прикрепить к петлицам гимнастерки колючие красные треугольнички. В каждую петличку по две штуки. Нам, медсестрам, присвоено звание сержанта медицинской службы. На ярко-зеленом сукне, цвете военной медицины, эти эмалевые треугольнички выглядят очень нарядно, как маленькие алые паруса.

Настроение у меня сегодня какое-то «летающее».

— Углицева! — подзывает меня Иван Григорьевич. — Поди-ка сюда!

— Есть Углицева!

Я с готовностью гляжу в лицо Петрякову. Сейчас я могу «лететь» куда угодно. Куда он прикажет. Но он только хмуро глядит на меня:

— Это ты подсунула мне под дверь письмо?

— Так точно, я, товарищ военврач третьего ранга.

— Спасибо. Откуда оно у тебя?

— Комиссар второго полка Шубаров приказал передать. — Мне нравится четкий уставной разговор.

— Он был на совещании?

— Да.

— Так, комсорг. А кто букет тебе приказал передать?

— Букет? Какой букет?!

Он пристально, с укоризной глядит на меня.

— Ничего не знаю, Иван Григорьевич.

— Уж так-то не знаешь? — спрашивает он, и мне под его взглядом становится как-то неловко. — А я полагал, что ты все знаешь, что делается у нас в батальоне...

Петряков прав. Еще бы мне было не знать, что делается у нас в батальоне! Знаю и то хорошо, кто поставил в его комнату осенний букет, да только это не я.

Мне кажется, Петряков сегодня тоже куда-то с нами «летит». Такое у него настроение. И мне жаль, что я должна его обмануть.

— Нет, не знаю, Иван Григорьевич...

— Ну ладно, иди! Бог с тобой! — говорит комбат.

Отойдя от него, я тотчас ловлю Марьяну за рукав, говорю ей сердито:

— Ты что? Опять... как тогда?!

— О чем ты? — Марьяна делает удивленные, непонимающие глаза. — Не знаю, о чем ты говоришь.

— Не притворяйся! Я только что говорила с комбатом...

— Ну и что? — Из-под зеленого шалашика армейской пилотки — две нежные ямочки на щеках и синие, чуть растерянные глаза.

А я говорю уже зло, с расстановкой:

— А то, что комбату кто-то дарит цветы. И он не знает, кто именно. Думает — я.

— Ах, это...

Марьяна медленно, густо краснеет.

— Вот тихоня! — ругаюсь я. — И что это за манера — исподтишка делать гадости! Ты не можешь не обидеть хорошего человека!

— Нет! Что ты, что ты! — пугается вдруг Марьяна. — Ты думаешь, он обиделся, да?

На смущенном ее лице я вижу перебегающие тени сомнений.

— Ты не скажешь ему, что это я? — спрашивает вдруг Марьяна с волнением. — Дай честное слово!

— Нет, такого слова я тебе не дам. Я Ивана Григорьевича уважаю...

— Понимаешь, я тоже. Мне кажется... Я хотела... — Она умолкает и смотрит на меня растерянно, потрясенно.

— Ах, вот как, тебе кажется?! Представляешь, мне тоже сейчас показалось... — Я долго смотрю ей в глаза и крепко сжимаю ей руку. — В таком случае... желаю успеха, Марьяна! Салют!

3

Петряков был в медроте, когда его вызвали к телефону из штаба дивизии.

За окном серой мышью шуршал мелкий осенний дождь, а здесь, в комнатах у медсестер, было тихо, уютно, тепло. Мягко белели накрахмаленные занавески. По-домашнему пахло нагретым кафелем печек-голландок, и Иван Григорьевич даже помедлил немного — так не хотелось ему отсюда уходить.

Шел спор о сочувствии к чужому страданию, о милосердии и любви к людям.

— А я считаю, всякое сочувствие должно быть конкретным,— горячился новый главный хирург батальона Александр Степанович Калугин. Он только что закончил лекцию о переливании крови и сидел, согнувшись, на чьей-то кровати, толстый, лысый, с налитыми кровью глазами, выставив вперед грубую, бульдожьёю челюсть и разглядывая свои рыжие, забрызганные грязью сапоги.— Да, да, конкретным. Я не верю ни в какую любовь к человеку вообще. И не во имя человечества как такового... А во имя сопливой, замызганной Маньки, пришедшей к тебе на прием... Я так понимаю!

Дневальный напомнил:

— Из штаба дивизии...

Петряков с сожалением взялся за ручку двери.

— Да, да... Иду!

Он прошел коридорами, разглядывая сквозь полумрак плакаты на стенах, вырезанную из газеты и наклеенную на фанеру очередную сводку Совинформбюро. Положение на фронтах отчаянное. Немцы, в сущности, уже под Москвой. Вообще последние дни на душе у Ивана Григорьевича было как-то тревожно, томило предчувствие. Батальон уже в общем готов к отъезду на фронт. На складах и в кладовых медсанбата в достатке снаряжения и оборудования. Медсестры завершают подготовку по специальностям, сейчас они тренируются на скорость в работе, в умении заменять друг друга. В последнем дивизионном походе им пришлось полностью разворачивать в полевой обстановке весь медсанбатовский городок, готовить операционную и перевязочную к приему «раненых», как если бы это уже был фронт. И они хорошо справились со своим делом.

По дороге Петряков спустился на первый этаж, где Калугин развернул стационар на двадцать пять коек и где уже лежал и умирал привезенный из полка молодой красноармеец, раненный случайным разрывом гранаты. Дежурные сестры бегали вокруг него с бледными лицами, ахали, вздыхали, прислушиваясь, как раненый тихо стонет,— на этот раз медицина оказалась бессильной, и призрак смерти витал в пропахших лекарствами и карболкой, крашенных известью комнатах. Но и здесь, как и всюду в казармах, был все тот же строгий,

наведенный Петряковым порядок, при котором всегда все на месте и все под рукой; когда за жизнь человека борются до самой последней секунды; когда все делают вовремя: внутривенные вливания, свежую кровь, грелки к ногам, кислородную подушку, шприц с камфарой; когда лечащий врач ни на шаг не отходит от больного, держит руку на пульсе; когда все совершается так старательно и с любовью, как если бы знали, что не умрет...

Он бегом вбежал в штаб и взял трубку.

— Командир отдельного медико-санитарного батальона Петряков слушает.

— Срочно в штаб дивизии... С комиссаром Гурьяновым!

— Есть в штаб дивизии с комиссаром Гурьяновым.

Как разряд электрической искры в голове пробежала обжегшая душу мысль: «Наконец-то!.. На фронт!» Он нашарил на вешалке, в полумраке, шинель, затянулся ремнями и, держа фуражку в руке наготове, сбегал по лестнице вниз, постучался в комнату комиссара.

Николай Гурьянов сидел, развесив над книгой длинные белые волосы. Он читал, смеясь и по-детски шевеля губами. Комбат заглянул через его плечо.

«— Швейк,— сказал поручик строго,— когда вы поступили ко мне на службу, я вам сказал, что вы должны повиноваться каждому моему слову...»

Коля всегда по вечерам читал что-нибудь интересное. Он делил писателей на две категории: на «сволочей» и «несволочей». Одни писали волшебной, талантливо, ярко: «Ах, сволочь, как пишет!» Другие были, собственно, и не писатели вовсе, а только жаждали быть писателями. И читать их было скучно. А Коля ничего не делал по обязанности. Он любил вдохновение.

Сейчас он сказал:

— Ах, сволочь! Как пишет!.. — И засмеялся, закрывая лицо руками. Плечи его вздрагивали.

— Пойдем, дитятко.— Комбат ласково провел ладонью по белым, рассыпанным Колиным волосам.— Пойдем, миленький, в штаб дивизии. Там тоже, наверное, смеху будет... Животики надорвешь!

Они быстро шли по затемненной, безлюдной улице, и дождь обволакивал их тонкими нитями, как паутиной, тяжелил ворсистые полы шинелей.

Город спал, дыша последним, уходящим теплом.

Петряков уже любил этот маленький, заляпанный грязью райцентр, который теперь не казался ему ни грязным, ни маленьким. Летом он продуваемый ветрами, цветной, ярко-желтый от глины и коровьего навоза на уличных прогонах, красный от жирных, свисающих через заборы георгинов, синий от ясного неба и близкой реки. Зимой — белый. И только поздней осенью, перед самым зазимком, такой грязно-серый, однообразный, безлюдный. Но и он тоже Родина, Русь...

Петряков хорошо понимал, что на фронте он будет вспоминать не залитые огнями красивые города с многочисленными фабриками и заводами, с колоннадой дворцов и театров, а вот этот заборчик, заросший репейником. Потому что какая-то часть жизни Ивана Григорьевича, и, быть может, даже самая лучшая, прошла именно здесь, рядом с этим заборчиком, когда он бежал на совещания в штаб, или вел медицинскую роту на плац, на занятия, или возвращался в казарму с единственной мыслью: войти — и увидеть за роялем Марьяну. Одну Марьяну — и темную, осеннюю ночь за окном.

Здесь, в Старой Елани, он понял, наедине с глухими бессонницами, что в жизни все может дать счастье, даже война, если только ты ценишь его, это счастье, а не бросаешь по ветру. Счастье в желтом обруче света керосиновой лампы, в засохших листьях боярышника. В нежной женской руке, потемневшей от дневальств по казарме.

— Зачем это нас вызывают? — спросил Коля тугим баском, и Петряков по голосу понял, что комиссар улыбается. Комиссар всегда улыбается и всегда говорит, что ему «очень грустно».

— Откуда я знаю? Придем — скажут.

— А я знаю.

— Ну, знаешь — и помалкивай в тряпочку!

— Я видел: на станцию подают пустые вагоны.

— Когда ты это видел?

— Сегодня. Сейчас. Я только сейчас приехал отсюда.

— Ну и что, что пустые вагоны? Пора! Давно уже все наготове.

— Да, я тоже хочу скорее на фронт.

В штабе дивизии было накурено, многолюдно.

Командиры сидели и стояли в прихожей в ожидании, когда их позовут к Маковцу, переговаривались вполголоса.

Петряков с порога увидел неразлучных друзей — Мотю с Митей, задохнулся в их мощных железных объятиях.

— Что, браток, зазнался? И не приходишь, и на письма не отвечаешь... Видать, крепко тебя там приручили и одомашнили.

Железнов стоял перед ним все такой же смуглолицый, скуластый, с синеватым от бритья подбородком. Мохнатые брови, нависая, чуть приглушали горящие насмешливым блеском глаза.

— Не влюбился ли? — Он прислонил свое большое мохнатое ухо к груди Петрякова, прислушался. — А? Сердчишко-то по какой-нибудь там трепещет?

— Никак нет! — Иван Григорьевич приложил руку к козырьку.

— О, да ты, видать, застрахован.

— Он прививку такую придумал... От любовных бацилл!

— Ну да, прививку! От кого прививать-то? Отчислил самых красивых баб в резерв, а набрал такое... Бог знает что! Одна есть, так, знаете, братцы, ей-богу, настоящая лошадь Пржевальского!

Петряков оглянулся в сердцах, бросил хмуро:

— А ты попадись ко мне с перебитыми кишками на стол... Только лошадь Пржевальского тебя и спасет, а вовсе не отчисленные мною красавицы.

— Хо-хо! Сказал тоже: с перебитыми кишками...

— С перебитыми кишками — на тот свет.

— К праотцам!

— В кущи рая...

— Нет, есть у него, братцы, девчаточки!.. Просто прелесть какие! Только больно зеленые...

— Ну да. Еще дедушка Крылов сказал: зелен виноград!

— Зеленых, брат, грех обижать.

Народ все прибывал, и каждый, входя, полушепотом спрашивал:

— Зачем вызывают-то? Очередная накачка? За что?

— Как будто сам не знаешь за что! За то, что твой полк вчера плохо стрелял.

— Ну да! И вовсе не плохо!

— А что ж, хорошо?

— Ну не все же рождаются гениями сразу! Поучимся, потренируемся... Терпенье и труд все перетрут!

Вошел адъютант командира дивизии, в мягких сапожках, серый, усатенький, как котенок; изогнувшись, сделал мягкое движение бархатной лапкой:

— Прошу...

Они повалили в распахнутую дверь кабинета генерала примолкшие, ожидающие, притихшей толпой.

— ...Выезжать, товарищи, так. В первом эшелоне у нас стрелковый полк Железнова. Затем арtpолк. Потом медсанбат...

4

С утра в воздухе вьется серый, назойливый, как мошकारа, мелкий дождь. Низкая редина туч обложила все небо. Дым паровозов стелется почти параллельно земле.

На станции — груженные фуры, трехтонки, полуторки, груды ящиков, зенитные пулеметы, квадратные горы спрессованного и перетянутого проволокою сена, задранные кверху дулами полковые орудия, минометы. В стороне, головами в один общий круг, спутанные и связанные поводьями кони. Они деловито и, не обращая внимания на происходящее, дружно жуют чуть присыпанный свежей влагой овес.

Шум, крик, ругань:

— Давай, да-вай... твою растак! Ну куда ты, куда ты, тебе говорят!

— Раз, два-а, взя-ли!

— Петров! Петров! Куда потащил? Клади на эту платформу!

— Эй, Андрюха! Ложь с того угла, ложь с того угла, мать твою так!..

Хруст разбитого стекла, грохот копыт по деревянному настилу сходней, конское ржание и крик понукающих ездовых уже внутри огромного, темного и сырого пульмана.

Транспортный взвод, состоящий из одних запасных, или, как у нас в батальоне их называют, «дядькóв», сегодня взмок от работы: ему больше всех достается. Они втаскивают по намокшим и скользким сходням походные кухни, котлы, продовольствие, подни-

мают на платформы повозки, грузовики. Санитары, медсестры и врачи из медроты грузят свернутые в бесформенные узлы брезентовые палатки, опоры и колья растяжек, бунты веревок, оконные рамы со стеклами, железные бочки из-под бензина, печные трубы, ящики с медикаментами, автоклавы, носилки, операционные столы, рефлекторы, биксы и прочую разную мелочь.

Всюду шум, суета, движение, грохот...

Я сижу на охапке мокрого сена. Шинель на мне мокрая. Сапоги давно полны воды. От холодного ветра меня бьет неприятная мелкая дрожь.

Я жду с нетерпением, когда Финяк сжалится надо мной и принесет чего-нибудь горячего похлебать, обогреться. Прямо по поговорке: «Ешь — потей, работай — мерзни». А потом, когда меня сменят с дежурства, я тоже буду грузить, помогать втаскивать в ледяные вагоны ящики с книгами, баян, киноаппаратуру, движок, меховые одеяла, стеганные «конверты», носилки, доски, тюки брезента...

Наконец мы стоим в открытых дверях вагона и прощально глядим на опустевшую станцию — я, Марьяна и Женька. Дождь все еще продолжается. Он сеется, сеется, мелкий, крапчатый... В его сером тумане давно скрылась из глаз Старая Елань. Сквозь лохмы туч не видно ни желтых луковок-куполов, ни прозрачных, открытых ветрам белых звонниц. Мокрое ржаное поле за станцией тоже в серой холодной мгле. Оно голое, ледяное.

Светает.

Уже скоро вторые сутки, как труба сыграла нам боевую тревогу.

Старшина Финяк, как кошка, впрыгивает в наш вагон, снимает с головы промокшую, потерявшую форму кубанку и вытирает суконным малиновым ее днищем свой мокрый морщинистый лоб.

— Сейчас, девочки, паровоз прицепят! Никуда не выходите.

— По вагона-аааааа!.. — раздается откуда-то из-под колес давно ожидаемая нами команда.

Рывок. Толчок. Земля округляется, начинает медленно уходить из-под ног вправо.

— Куда это мы? Смотрите! Почему в обратную сторону?

— Для разгона.

— Сейчас наберет скорость — и айда! Воевать так воевать: пиши в обоз!

Поезд все бойчей и бойчей начинает постукивать в лад своему собственному быстрому ходу. Мы сидим, не спавшие почти две ночи, уставшие от тяжелой мужичьей работы, и всматриваемся в мелькающие мосты, голые черные деревья и выбегающие прямо из-под колес желтые, вздувшиеся от дождей, извилистые равнинные реки.

Вот и кончилась наша тихая жизнь в Старой Елани, наши встречи и ссоры, наши первые армейские муки, наши радости осознания своего солдатского долга...

— Прощай, Старая Елань! Прощай, серый дождь!

— Девочки, милые!.. Да ведь мы ж не на фронт!

— Тю! Ты что, сдурела?

— Шутки шутишь?!

— За такие шутки по шее!

— Да смотрите ж, куда нас везет паровоз? Вы что, не видите, куда мы едем?

Кто-то недоумевающе восклицает:

— Господи! Что же это такое? Да ведь это ошибка! Действительно, не на фронт!

Ошибка или не ошибка, но в самом деле нас везут не на запад, не в сторону фронта, а еще дальше в тыл, на восток. Что там впереди — Мордовия, Оренбуржье?..

Финяк мнет серый носовой платок в руке. Он прячет глаза, едва шевелит замерзшей потрескавшейся синей губой:

— Вот что, девочки, кажут: гансы бомбят Воронеж! Приказ всем военным объектам тикать на восток...

ЧАСТЬ II

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

1

Ах, женская мода 1963 года, и кто тебя выдумал?! Высокие кожаные сапоги, костюмы и платья цвета хаки — разве только что без погон, а так чистой-

шей воды военная форма,— я думала, я тебя отнoсила!

А высокие меховые шапки, похожие на туркменские папахи конников генерала Доватора! А короткие, чуть расклешенные юбки с двумя бантовыми складками спереди! Кажется, совсем недавно они числились за мной в вещевом аттестате!

Наверное, каждому поколению хочется поиграть в войну. Если в доме мальчишка, то купи ему пистолет, и чтобы он стрелял совершенно как настоящий. Если в доме девчонка, то подавай ей черевички, да не простые, а какие носила сама царица... сама царица полей, матушка-пехота, в одна тысяча девятьсот... — дай бог памяти,— одна тысяча девятьсот сорок первом году.

2

Тридцатого ноября сорок первого года, в три часа ночи, нас выгрузили из эшелона под Москвой на станции Павшино, забитой вагонами.

В небе над спутанными в клубок железнодорожными путями белой прошивью чуть светились морозные звезды. Глухо спали снега. Угрюмо чернели пристанционные здания. Где-то вдалеке, где, по нашему разумению, находился фронт, что-то равнодушно и равномерно ударялось о землю, но это было так далеко и звучало так спокойно, беззлобно, что мы удивились. Неужели это и есть она, та самая настоящая война?! Как странно!

Как всегда, мы, простые бойцы, уже знали наперед командиров, что нам сразу же предстоит вступать в бой, сменив дивизию генерала Панфилова, отходящую с фронта на отдых. Знали мы также, что панфиловцы — люди героические, знаменитые и что стояли они здесь насмерть, на легендарных берегах речки Ламы, защищая разъезд Дубосеково, деревеньки Строково и Мыканино. Поэтому мы несколько смущены такой честью — сменять их — и не очень-то уверены в том, что будем достойной заменой.

Но как только мы выгрузились из вагонов и огляделись, как сразу же кто-то пронюхал, что нет, панфиловцев мы не будем сменять, а что нас бросают куда-то на новое направление и вообще тут «дело ясное, что

дело темное». Что-то здесь затевается, и вся наша дивизия лишь крохотная частица какого-то гигантского военного замысла, окруженного тревожной тайной. Это как-то особенно нас волновало.

Да, здесь явно готовилось какое-то чудо, в этой белой, пронизанной звездным блеском, заснеженной мгле. Мимо станции шли дивизии с обозами и орудиями, проезжали танки и кавалерия. Как серые тени, бесшумно появлялись из мрака лыжники и вновь исчезали, и вновь нескончаемо шла пехота.

Казалось, струнулась с места и сейчас движется к линии фронта в молчаливой решимости вся страна. Сотни тысяч людей направлялись к переднему краю, и, глядя на них, нельзя было сказать, что это идут на гибель последние наши резервы. Нет, они не могли идти к поражению, в неизвестность, эти бойцы. Для этого их было слишком много. Для этого они были слишком хорошо одеты и вооружены. Последние резервы так не бросают.

Люди шли молчаливо. Над станцией и над сереющим под звездами Волоколамским шоссе царилла глухая тишина, и в ней было что-то загадочное, таинственное, ударяющее по нервам: не звякнет уздечка на лошади, не стукнет подкова. Не брякнет котелок. И оттого, что над всей этой массой войск, над бесчисленными орудиями, танками, повозками, над серой лентой маршевых рот стоит такая неслыханная тишина, а в рядах сохраняется такой строгий порядок, уже каждому ясно: нынче все переломится и пойдет по-другому. Нынче здесь царит чья-то зрелая воля, многоликий, организованный разум. И это не один-единственный человек. Одного человека на такое не хватит.

Он не может быть один хотя бы уже потому, что нельзя испить в одиночестве всю чашу ответственности за судьбу целого мира, за судьбу миллионов. Такого в истории не бывает. И он не единственный еще потому, что каждый идущий сейчас в сторону фронта уже несет в самом себе эту зрелую волю, этот грозный, таинственный замысел, какой предстоит корпусам и дивизиям сегодня исполнить. Это тысячи, миллионы человеческих волей сливаются здесь в одну великую волю.

И вся наша дивизия, такая громоздкая и неуклюжая, влилась в этот грозный, мощный поток и затеря-

лась в одном общем движении. Сперва второй полк, затем третий. Артиллерия и обозы в середине. Первый полк позади, замыкая колонну. И мы трое — такие маленькие, неуклюжие среди белых снегов, в сугробах.

Перед самым отъездом на фронт нас отлично одели.

Вниз теплое мужское белье, затем свитер, хлопчатобумажные брюки и гимнастерка. Сверху ватные брюки и стеганка. Поверх стеганки у нас, медсестер, роскошная меховая безрукавка. В разных частях она называется по-разному: «рапсодия», «самурайка» и бог знает как еще — в приличном обществе и не произнесешь. А поверх бараньей или кроличьей «самурайки» — шинель. На ногах валенки, байковые портянки. На голове подшлемник, цигейковая шапка-ушанка. На руках огромные меховые рукавицы, привязанные к шее шнурком, чтобы не потерялись. Затем ремень. А сверх всего прочего на тебе еще груз: сумка, планшет, противогаз, вещмешок, пистолет в кобуре, винтовка, патроны, каска, котелок. За голенищем деревянная ложка и финский нож.

Когда мы в первый раз все это на себя надели, то чуть было не померли со смеху — такие мы оказались толстые и неповоротливые. Но в вагоне в такой одежде было тепло, и мы не больно-то огорчались из-за лишнего груза. И пока стояли на станции в ожидании построения на лютom морозе, тоже было неплохо. Но как тронулись по сугробам, так сразу вся эта тяжесть и дала себя знать. По лицу, несмотря на мороз и ледяной, пронизывающий ветер, ручьями льет пот. Спина взмокла. Дыхание стало тяжелым. Ноги вязнут в глубоком снегу.

На первом же коротком привале, пройдя каких-нибудь пять километров по глубокому снегу, мы с Марьяной и Женькой зашли в самую чащу леса, подальше от чужих глаз, в бурелом, сняли с себя тяжелые каски и положили их на краю заросшей репейником снежной ямы. Скомандовали сами себе:

— По фашистам — огонь! — и поддали по каскам ногами.

Затем туда же, в снежную яму, полетели противогазы. Брезентовые сумки из-под противогазов мы оставили при себе, переложив в них из вещмешка сахара и рафинад: для маскировки. Чтобы Петряков и

Гурьянов не сразу догадались о нашей прискорбной утрате.

Зато ночью, в лесу, когда мы устроились на ночлег на свежесрубленном лапнике среди пухлых сугробов, мы впервые смогли оценить по достоинству в полной мере, как нас тепло одели. Мороз под Москвой в эти дни стоял сорокаградусный, крепкий, как водка, аж дыхание перехватывал в горле. Зима обещала быть злой, жестокой. Деревья трещали и лопались, теряя толстые сучья. В живых лесных существах, наверное, кровь вымерзала в жилах: птицы падали на лету. А нам хоть бы что! Мы лежим вокруг костра, и только дежурный по части, Кирка Дубравин, то и дело, как порядочная хозяйка картошку на сковородке, прилежно нас с боку на бок переворачивает:

— Проснись, деточка, повернись на другой бок. А то тлеешь...

Оглядишься — в самом деле: с одной стороны от тебя уже дым идет, другая же сторона совершенно отмерзла. Повернешься на другой бок, устроишься на лапнике поудобней, и тотчас сами собой смыкаются веки. Уже сквозь сон бормочешь:

— Спасибо, Кира! Ты почаще поглядывай, а то в самом деле сгорим...

— Ничего. Дрыхни, дрыхни! Уже скоро рассвет. И выспаться не успеешь...

3

Вот уже третьи сутки мы стоим в деревушке под Кубинкой и ждем приказаний: то ли двигаться дальше, вслед за полками, то ли оставаться здесь и принимать первых раненых. Никто ничего не знает.

Ночью мы с Женькой Мамоновой идем по шоссе патрулем.

Позавчера наконец переломилась линия фронта. И кажется, вместе с линией фронта переломилась погода: безмолвие подмосковных мгlistых морозов сменялось завыванием вьюги. Ночью серая лента шоссе выглядит бешено мчащейся к Можайску рекой. На ее быстрине кружатся, завиваясь воронками, как в половодье, высокие пенные гребни метели. Сугробы справа и слева дороги плывут куда-то перед глазами, их

белые волны ходят ходуном. Уже за десяток шагов все тонет в свистящей, завихренной мгле, в клочковатом тумане.

Запад дымен от пожаров, сизо-багров. Бой уходит куда-то правой Кубинки, на северо-запад. Там все время что-то ухаает, гневно грохочет и стонет, железно скрипит зубами, как будто нечто невообразимо огромное, еле живое еще мучается, борясь со смертью, плачет и умирает. Черная муть земли и белая дымная муть неба, перемешиваясь, свиваются в длинные волокнистые пряди, и от этого как-то жутко на сердце, темно.

Но мы — патруль. Нам бояться нельзя.

Не спеша мы проходим вдоль деревни: пятьсот шагов за околицу, в сторону фронта, пятьсот шагов назад, к Москве.

На щеках у нас с Женькой, на бровях, на ресницах, на воротниках шинелей от дыхания колючие корки снега. Винтовки и те заledenели и кажутся белыми. Время от времени Женька чутко прислушивается к орудию грохоту, приглядывается к крутящейся мгле. И вдруг:

— Стой! Кто идет?

Она вскидывает винтовку на руку.

Из снеговой мути, из бурой таинственной мглы отдаленных пожаров прямо на нас ворсистая морда лошади. Всадник на ней как в белой медвежьей шкуре. Он хрустит при каждом движении.

— Стой! Ни с места!

— Свои, девочки...

— Кто такие свои? Пропуск! Своих нет, тут патруль!

— Ого, какие строгости! — усмехнулся во мраке всадник и, свесившись с седла, взгляделся в наши с Женькою лица. — А-а, вот это кто! — сказал он, и я узнала командира второго полка Железнова. За его спиной, в круговерти, угадывались фигуры еще нескольких всадников. То были мохнатые от инея красноармейцы охраны.

Майор глухо откашлялся:

— Это ты, Шура?

— Я.

— Дурные вести оттуда! — Железнов взмахнул плетью и показал в сторону бурого зарева, вспухшего

над серой кромкой снегов. Хрипло вздохнул: — Понимаешь, Митя... Дмитрий Иванович... убит!

Я молчу.

Мне кажется, Железнов шутит. Только спустя мгновение я понимаю, что Матвей Илларионович никогда шутить этим не будет. Но мертвого, неживого Шубарова я представить себе не могу.

Наклонив ко мне голову, Железнов долго жует обмерзшие губы, пытается что-то сказать, но давится вздохом. Рукавицей сдирает с небритой щеки ледянистую корку снега. Он страшный, худой, глаза глубоко ввалились под низко надвинутой снежной папашой. Подбородок трясется.

— Вот так,— говорит наконец Железнов и опять закусывает губу.— Я потом тебе расскажу. Сейчас еду в штаб по вызову. До свиданья!

— До свиданья, Матвей Илларионович!

Белые тени всадников во мраке похожи на стаю птиц, больших, взъерошенных ветром. Они снялись поспешно — и вот растворились, исчезли в тумане, унесли звонкий цокот копыт по шоссе.

Митя, Дмитрий Иванович. Убит...

Не постигаю...

Это где-то за гранью моего понимания. Он убит, а ведь я перед ним виновата. Я обидела его перед отъездом на фронт. И так больше и не видела его, не извинилась. И он не простил меня — и убит. Это очень жестоко: умереть, не простив.

Молча мы идем по серой плоскости летящего на запад шоссе. Все, как прежде: пятьсот шагов за околицу, в сторону фронта, пятьсот шагов назад, к такой недалекой Москве. Я иду, не поднимая головы, и все думаю, думаю... Я так напряженно сейчас думаю, что кажется, голова скоро лопнет. А мысли кружатся, возвращаются все к одному и тому же месту, чернеющему передо мной, как бездонный провал.

Митя, Дмитрий Иванович...

Убит...

Поле. Лес. Петлистая проселочная дорога. Среди сугробов она виляет, как будто прячется от обстрела, от бомбежки, от пулемета, бьющего с фланга.

Впереди темное, в старых ветлах село с высокой белой колокольней церкви. Тянет низовой ветер, крутит поземку.

Я не знаю, сколько времени мы бредем по глубокому снегу. Дремлем лишь на ходу, шагая в растяннувшейся на несколько километров колонне. Иногда оскользаешься на рытвине или ухабе и, чтобы не упасть, крепко прижимаешься к соседу плечом. Поле, лес, колокольня — все это сквозь сон. Сквозь беззвучную, мутную, трепещущую преграду.

— Шире шаг! — командует кто-то, невидимый за пеленою снега.

И мы, уставшие, промерзшие, прибавляем шаг и втягиваемся белой колонной в большое село.

Посреди улицы и на задах, в огородах, еще рвутся снаряды. Тут и там земля вдруг бешено закипает, подпрыгивает угрюмыми черными конусами, как на пружине, и с шорохом валится, опадает: на месте каждого такого конуса на снегу остаются большие коричневые воронки. Кто-то глухо стонет на соседнем подворье. Кто-то бежит к нам навстречу, зажимая лицо ладонью: кровь каплет на снег.

От загоревшейся риги становится все светлей и светлей, но теперь и снег, и лица, и руки, и шинели — все уже не белого, а какого-то бурого, алого и лилового цвета. В бликах пламени шевелятся корявые тени пробегающих куда-то за огороды бойцов. Проскакал малиновый всадник на малиновой лошади. Прохрипел, задыхаясь:

— Танки! Где танки?..

Потом все сразу исчезло. Улица обезлюдела. Из-за угла дома прямо на меня выскочил Петряков в шапке, сдвинутой на ухо, с болтающимися завязками, закричал:

— Заходи, заходи, Шура, скорей в этот дом! Тут полно раненых. Перевязывай! Я сейчас повозки пришлю. Где Марьяна?

— Не знаю! Только что была с нами.

Я обернулась: Марьяны нигде уже нет. Может быть, вошла в дом, перевязывает?

— А! — весело закричал Петряков, увидев кого-то. — Марчик, Марчик! Коней давай! Где кони? Гони их к дому.

Кажется, после пятидесятикилометрового перехода

по рыхлым снегам, по сугробам нам всем сейчас надо выспаться, отдохнуть. Как сказала бы Женька, это было бы «элементарно». Но в каждой избе кто-то глухо стонет. Иную дверь вообще нельзя закрыть за собой — так плотно в помещение набились раненные. Ни о каком отдыхе и думать нельзя. Нужно скорей выносить людей на повозки и той же самой дорогой, по какой мы только что шли, по тем же самым рытвинам и ухабам везти их назад, до шоссе, а потом по шоссе на Голицыно, или Звенигород, или прямо в Москву — где примут.

Я вхожу в дом, где лежат одни лишь тяжелораненные, и долго раздумываю, куда с порога ступить сапогом. Для того чтобы сделать хотя бы шаг, нужно обязательно встать на чье-либо живое тело — другой возможности нет, так плотно лежат здесь люди, один к одному.

Я спрашиваю, стоя еще на пороге, у лежащего возле дверей:

— Товарищ, куда ранен?

— В ногу.

— Ну, дай я на тебя наступлю, где не больно, а?

— Валяй! — разрешает он равнодушно.

Я шагаю ему на грудь; мне нужно помочь тому, кто в правом углу: он предсмертно хрипит, задыхается, кровь клоочет уже где-то в горле.

Кто-то ласково меня уговаривает:

— Смелей наступай, сестренка, не бойся!.. Ему хоть бы что, абы не на рану...

На улице снова начинают рваться снаряды. Кто-то считает разрывы: «Один, два... один, два. Справа, слева... справа, слева». Тяжело вздыхая, предсказывает:

— Ну, сейчас возьмут в вилку...

Санитары приносят термосы с водкой, сухари, носилки. И я, закончив перевязывать, наливаю всем по стаканчику — не беда, что несколько больше, чем положенные по закону наркомовские сто граммов.

Федор Марчик тут как тут. Он приехал с конями. Сейчас он глядит на меня и вдруг строго спрашивает:

— А ты что это... выше нормы? Тебе норма на что дана? Растрянжиришь в два счета!

Но я, как всегда, огрызаюсь.

— Ну и что?! — отвечаю ему со злостью. — Ну и что — норма? Подумаешь, норма! Перелила каких-то

несчастных тридцать граммов. Да он, может, в десять раз больше пролил крови за Родину.

Федор пристально смотрит на меня круглыми, как у кошки, глазами.

— Ах, вот ты как! — восклицает он ошеломленно. И вдруг угрожающе шипит: — Ты мне здесь давай демагогию не разводи! Я приказываю! А не то... Сама знаешь!

Он не успевает закончить фразы. Позади нас в левый угол пятистенной избы влетает и с грохотом рвется тяжелый снаряд. Действительно, немцы взяли нас в вилку. Вместе с Марчиком мы валимся на солому, на чьи-то ноги в лубках. Что-то рушится, трещит позади, вздымая тяжелое, душное облако пыли. Стон... Крики...

Я первая поднимаюсь, оглохшая, полузадушенная вонью тротила. Качаюсь, придерживаясь за косяк. Помогаю подняться Марчику. Мы оба склоняемся над тем, кто лежал под нами.

— Жив?

В ответ слабый стон.

Держа на вытянутых руках провисающее, бессильное тело, мы с Марчиком медленно переступаем одеревеневшими ногами, спускаемся по ступенькам крыльца. Я с грохотом спотыкаюсь обо что-то железное, булькающее и чуть не падаю. Пытаюсь разглядеть, что мешает ступить дальше. На снегу, возле нижней ступеньки, все еще стоит термос с оставшейся водкой. Из его рваных звездообразных дыр на снег хлещет та самая прозрачная, жгучая влага, которую Федор только что пожалел дать бойцам.

— Вот она, ваша жадность! — говорю я. — Аж свистит!

— Но, но, разговаривай!..

Я вижу: хорошее у меня начало.

Я укладываю раненых на розвальни, как дрова, укрываю их сверху широким меховым одеялом, подтыкаю края одеяла под спины. Метель улеглась. Небо вывездило, как дырявое решето. Снова крепко морозит. Потерявшие много крови, раненые в шинелях с разрезанными рукавами, в разорванных осколках ватниках сейчас будут мерзнуть в пути. И я слепо оглядываюсь, не зная, чем бы их еще сверху прикрыть. Ничего подходящего у меня нет под руками.

— Но, трогай! — торопит ездового Марчик, и сани трогаются.

— Погоди!

— Трогай, трогай! — кричит Марчик.

Я догоняю сани бегом, кричу ездовому:

— Котельников, поглядывай! Оборачивайся почаще, спрашивай, все ли живы... Не замерзли ли? А я — следом, с другими санями.

В дороге я как только присаживаюсь на розвальни, так тотчас же засыпаю. Голова моя мотается из стороны в сторону, я чувствую ее тяжесть, но не могу заставить себя разлепить заплывшие сном глаза. Руки и ноги у меня обмерзают. Но иногда, время от времени, я все же нахожу в себе силы и прыгиваю с саней, бегу, чтобы несколько разогреться, хлопаю себя по бокам рукавицами. Розвальни широко раскатываются на ухабах то вправо, то влево. На белой накатанной колее я не раз оскользаюсь и падаю и, мне кажется, засыпаю. Но этот сон, наверное, длится миллионную долю секунды. Потому что усилием воли я заставляю себя вскочить, иначе меня переедут другие, идущие следом сани, и снова бегу, пока горло не перехватит сухим, острым лезвием ночного мороза.

Как сквозь стеклянную стену я вижу шевелящиеся губы раненых. О чем они говорят? Мне кажется, я скорее догадываюсь, чем слышу.

— Ой, ой, сестра! Ой, болит!..

— Не ори, у всех болит, — говорит кто-то рядом.

— Да, запомнится мне эта Москва-река...

— С колокольни. Пулемет-то бьет с колокольни!

— Тут прямо не взять. Надо было с обходу, с обходу...

— Хорошо еще, конница Доватора нас поддержала, а то прямо беда. Но их тоже там страсть полегло!

— Глянул я, братцы, а немцы кишат...

Куда мы едем во тьме, я не знаю. Слабо светится снег. Слабо светятся звезды. Белые бинты на головах раненых тоже, кажется, излучают сияние. При виде их почему-то вспоминается школьное: «В белом венчике из роз...» Потом сквозь дремоту мне вдруг представляется побелевшее, больное лицо Шубарова. Комиссар лежит на льду Москвы-реки. Прямо с колокольни бьет пулемет, а Дмитрий Иванович горстями

прикладывает снег к рваной ране на лбу, и капли талого снега, как алые ягоды, сыплются на сугроб.

Мы с ним очень сдружились, с Шубаровым, там, на Урале. Ведь это неправда, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. У нас с ним была настоящая дружба.

Я могла с ним болтать, не задумываясь, о серьезном и всяческой ерунде: о войне, о собственном детстве, о командире дивизии — мне казалось, что он и ночью спит по стойке «смирно»; о медицине, о наших медсанбатовских девчатах, о том, что такое любовь и существует ли она в самом деле.

Дмитрий Иванович был всегда со мной весел, шутилив, но судил он меня по себе, не делая никаких скидок. И это, пожалуй, было главным в наших с ним отношениях.

А перед самым отъездом на фронт мы поссорились. И не помирились.

Мы приехали во второй полк с концертом художественной самодеятельности. Сначала все было хорошо. Но когда концерт кончился, Шубаров подошел ко мне и сказал как-то робко и неуверенно:

— Надеюсь, первый вальс танцуешь со мной?

В последнее время он очень непросто в разговоре. Меня это злит. Уж не влюбился ли, часом?

— Не знаю, — ответила я. — Первый вальс иль последний. С вами иль с Железновым.

Шубаров даже на миг отстранился.

— Как ты можешь так? — спросил он изумленно. — Тебе все равно?

— Да.

— Странно!

— Ничего нет странного. И вообще, не люблю загадывать наперед.

Он стоял передо мной опечаленный, хмурый.

— А я, чудак, ночь не спал. Представлял себе, как мы танцуем с тобой. Ну что ты, Шура? — Он заглянул мне в глаза с горечью. — Что с тобой? Обещаешь мне вальс?

— Хорошо. Обещаю... подумать!

Но когда полковой духовой оркестр заиграл: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?..» — я помедлила и пошла с Железновым. Не знаю почему, но мне было приятно сделать Шубарову больно.

Проходя мимо него, я оглянулась: Дмитрий Иванович стоял возле окна, опершись о косяк, и лицо у него было обиженное, потрясенное, как у брошенного мамкой ребенка. Таким я его еще никогда не видала. Я-то знала, как он готовил этот вечер и эти танцы, с каким старанием: сам ходил к оркестрантам на репетиции, сам заказывал вальс, хлопотал, чтобы всем нам, приехавшим из медсанбата, было весело и тепло, чтобы нас хорошо накормили. И вот я иду в первой паре с Матвеем Железновым и веду с командиром полка полный недомолвок, оживленный пустой разговор: пусть Шубаров позлится...

Но даже Железнов, танцуя со мной, замечает:

— Что-то Митя наш в черной реке утонул!

В переводе с их языка это, видимо, означает: загрустил.

— Не знаю,— отвечаю я рассеянно.— Что с ним? Может, устал?

— Может...

Хлопнула дверь в зал. На пороге встал дежурный по части.

Железнов вдруг, не докончив фигуры, остановился. Крепко сжал мою руку:

— Извини! Меня вызывают.

Он подошел к Дмитрию Ивановичу, что-то сказал ему. И они оба быстро пошли к выходу, негромко переговариваясь на ходу.

Они вышли, и все танцующие в зале остановились: как будто невидимый холодок пробежал. Все молча переглянулись. Но начальник штаба Петр Завалихин кивнул капельмейстеру:

— Играйте, играйте! Продолжайте веселиться. Вальс! Вальс!

А через два часа мы уже грузились на станции в эшелоны, чтобы ехать на фронт. И так я больше Дмитрия Ивановича и не видела. А теперь уже никогда не увижу.

Я бегу за санями и падаю — и просыпаюсь, споткнувшись о чьи-то ноги, свисающие с развальной. Громко свистит паровоз. Высокое здание чуть белеет во мраке, за голыми ветвями столетних вязов. У подъезда — длинная очередь из полуторок и санитарных автобусов.

— Приехали, сестра,— говорит ездовой.— Давай выгружай. Иди зови санитаров, а то люди померзнут.

На обратном пути я прислушиваюсь к канонаде, уходящей в сторону северо-запада. Она все еще не смолкает. Значит, нам есть работа. И словно в подтверждение этой догадки — мне навстречу из полумрака длинный скорбный обоз. На розвальнях, кое-как прикрытых охапками сена, голова к голове, тяжело-раненные. Издали они похожи на снежных мартовских баб, такие у них толстые от бинтов руки и ноги. У некоторых из пухлой марли проглядывают только черные угольки — глаза.

Позади саней неуклюжей рысцой бежит столь знакомая мне по очертаниям фигура, что я даже не окликаю по имени, а только спрашиваю:

— Ну, как дела?

— Дела идут, контора пишет! — весело отзывается на мой возглас Марьяна.

Она подпрыгивает на месте от холода и бьет себя по плечам. И только тут я замечаю, что Марьяна в одной гимнастерке.

— Ты с ума сошла! — говорю я и вскакиваю во весь рост на санях. — Куда дела шинель?

— А!.. Там! — Марьяна небрежно кивает в сторону раненых.

— Телогрейку?

— И телогрейка там, — говорит Марьяна. И добавляет спокойно: — Кстати, и «самурайка». Можешь не перечислять!

Я расстегиваю ремень, начинаю снимать с себя санитарную сумку, пистолет.

— На, возьми мою шинель, — говорю я. — Я еду порожняком, охапкой сена накроюсь.

Но Марьяна отступает на шаг.

— Ну что ж, и твоя шинель тоже будет там. Можешь быть спокойной. Так что лучше не надо. — И добавляет с виноватой улыбкой: — Им же холодно. А я бегом. Мне даже жарко.

— Цыганский пот прошибает!

— Да. — Она засмеялась.

— Ну, все двадцать километров не пробежишь, — говорю я ей. — Сил не хватит.

Внутренне я теряюсь перед Марьяной. А ведь я ее

знаю лет десять. Мы учились с ней вместе с первого класса.

— Ничего. Пробегу,— отвечает она.— Я рысцой. Я таким способом уже второй раз. Первый раз возила в Кубинку, близко. А второй раз — сюда. Обратно-то с отдыхом!

И, махнув рукой на прощание, она побежала догонять свои уже исчезающие в полумраке рассвета груженные сани.

6

Когда я вернулась в село, немцы уже не стреляли. На улицах еще валялись убитые лошади, зияли чуть припорошенные снегом воронки. Но окна домов уже были плотно законопачены соломой, а некоторые даже забиты досками. Где-то на задах постукивал работяга-движок. По тропинкам между домами сновали фигуры в белых халатах — санитары с носилками. Это значило — развернулись и работали все отделения нашего батальона: приемо-сортировочное, терапевтическое, эвакуотделение и операционно-перевязочный блок, основной пожиратель электроэнергии.

У въезда в село я спрашиваю у патрулей, где эвакуотделение: сперва я обязана доложиться Марчику.

— А вон там! — кивнул один из красноармейцев, показывая на длинное здание с высоким крыльцом.— Вон там, в клубе.

— А Петряков?

— Петряков тоже там.

Марчик ко мне сам вышел навстречу. Петрякова я нашла в большом клубном зале. Все помещение, похожее на длинный, неуклюжий сарай, плотно забито носилками с ранеными. Дверь в зал то и дело распахивается, впуская входящих. Вместе с ними влетают густые, тяжелые клубы пара. В кафельной печке санитар укладывает решеткой березовые дрова, раздувает угли, весь с головы до ног озаренный розовым пламенем: видно, в суматохе не уследил за огнем. Легкораненные сидят тут и там на полу и на подоконнике, курят, хриплым шепотом переговариваются.

Я прошла прямо к сцене и увидела чуть сторбленную фигуру комбата. Он сидел один возле рампы на корточках, в грязном ватнике, перетянутом ремнями,

и держал в руке буханку черного хлеба. Отщипнув аппетитную поджаристую краюшку, Иван Григорьевич устало поднял глаза на меня. Веки у него были набрякшие, с красными ободками.

— Приехала?

— Да.— Я с жадностью вдыхаю в себя аромат свежесвеженного хлеба.— Где это вы взяли? — спрашиваю я, не замечая собственного нахальства.

— А вон там!

Комбат показал куда-то в глубь сцены, и я увидела сваленные прямо на полу поджаристые буханки, издали похожие на потемневшие от времени кирпичи. Петряков отломил мне кусок.

— На, ешь! — сказал он.— Еще теплый.

— Здорово, это нам подвезло! — говорю я.— Откуда такая роскошь?

Петряков объяснил:

— Автобатовцы везли в третий полк. Из Москвы. Не доехали, разгрузились здесь, бросили на полу. Поехали назад за снарядами. Наступаем! По всему нашему фронту, всеми армиями наступаем. Вот так! — сказал он оживленно.— Снаряды сегодня поважнее, чем хлебушек!

Он сел на краю сцены, свесив ноги в зал. Похлопал по доскам:

— Садись! Отдохни...

Я села с ним рядом, продолжая жевать. От хлеба шел такой густой, немыслимый аромат теплой печи, что я отломилась себе еще здоровенный кусок. Петряков тоже в задумчивости отщипывал понемногу от буханки, лежащей с ним рядом.

— Сейчас будем сворачиваться, уезжать, — сказал Петряков.— Так что ты никуда не девайся. Мы — вперед. За полками. А ты здесь останешься с нетранспортбельными.

— Одна?

— Нет, зачем одна? С Марчиком.

— Милое дело!

— Что, не нравится?

— Нет, ничего.— Я опять отломилась теплую золотистую корочку.

Мне нисколько не было удивительно, что хлеб по такому морозу довели от самой Москвы горячим,— так близка от столицы линия фронта. Удивительным

было другое: что нет работе конца. Что и утром, и днем, и вечером, и ночью все равно будет продолжаться война, греметь канонада, а мы будем перевязывать и эвакуировать раненых. И эта непрерывность войны, ее протяженность во времени больше всего меня удивляет. Я-то все жду перерыва на сон и обед. Ну хотя бы на умывание.

Все чаще хлопают двери: с лязгом, с грохотом к дверям клуба подъезжают полуторки и трехтонки, возвращающиеся с фронта порожняком, и санитары с носилками суетятся, обкладывают раненых химическими грелками, завертывают их, как больших детей, в одеяла, так что снаружи остаются одни только носы.

Я в этих хлопотах не участвую. Мне здесь оставаться, без смены, с тяжелоранеными. Поэтому я позволяю себе такую вольность — посидеть, отдохнуть.

— Ну ладно,— говорит наконец Петряков.— Марчик едет со мной. Ты одна остаешься, так что можешь утешиться!

Женька входит в зал в белом халате поверх шинели, в шапке-ушанке, тащит по полу за лямки мой вещмешок.

— На тебе твое барахло, мы уезжаем!

— А пожрать мне оставили? — спрашиваю я. Это главная на сегодня моя задача: раздобыть, что поесть.

— Не знаю. У нас тоже нет ничего.

Я развязываю вещмешок, смотрю, не завалилась ли где пачка сухих концентратов, НЗ, и вдруг вижу огромный, промасленный шмат свиного сала, завернутый в свежий номер дивизионки.

— А это кто мне свинью подложил?

Женька смотрит на сало с не меньшим, чем я, удивлением.

— Не знаю. Я не видела. Там возле вещей все крутился Марчик, но... Не думаю, чтобы он.

— Нет, это не Марчик! — говорю я и достаю из-за голенища финку, режу сало на большие куски. Два куска отдаю Женьке: ей и Марьяне. Один себе. И один Петрякову.— Голову на отсечение, что не Марчик. Федька категорически отпадает!

Петряков, сидя рядом со мной, крепко спит. Голова его все ниже и ниже опускается на грудь. Еще секун-

да — и он упадет лицом в зрительный зал. Я трогаю его за рукав.

— Иван Григорьевич!

— Что?.. Да! — Он просыпается. Оглянувшись, мгновенно приходит в себя. — А, да! — говорит он и вздыхает: — Пора ехать! Вы почему здесь, Мамонова? — обращается он к Женьке. — Почему не собираетесь? — И он, прыгнув со сцены, вытирает лоб рукавом ватника. — Я, кажется, задремал. Здесь тепло, — сказал он, как будто оправдываясь.

Из дверей капитан Державин машет ему рукой:

— Товарищ военврач третьего ранга! Ястреб подан...

Уезжают, все уезжают вперед. Я одна остаюсь с тяжелоранеными.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В середине мая в Москве на Ленинском проспекте, на Воробьевском шоссе и по склонам Ленинских гор отцветают одуванчики. Белый пух начинает носиться повсюду. Он залетает в щели, в окна, в открытые двери балконов. Кружится, как метель, по асфальту улиц, отважным авиадесантником на белом шелковом парашютике слетает и садится к вам на волосы, на рукав, на хлеб, на белый, незапятнанный лист бумаги: неистребимая жажда продления жизни.

Каменный квадрат двора за день накаляется на солнце. Все окна открыты, все занавески отдернуты, поэтому каждый звук там, в глубине двора, раздается в комнате, как в микрофоне.

Сначала я слышу хриплое пение. Оно звучит столь диковинно, что я невольно перегибаюсь через балкон посмотреть, кто это так поет.

Внизу, как раз под моими окнами, с кошелкой в руках шлепает весьма странное существо. В больших сапогах. В серой кофте. В серой, в «яблоках», юбке. На сивых от седины, коротеньких волосах торчит белый капроновый бантик. Сиплым голосом это существо не то поет, не то хрипит что-то вроде: «И в дорогу-у-у далеко-у-у ты меня на заре провожала-аа...» Однако я не

могу со всей твердостью поручиться, что оно поет именно это, а не что-либо другое: так непохож, переверн мотив.

Просто оно шло, и оно напевало.

Встречные прохожие при виде этой юбки, сапог и этого бантика шарахаются в разные стороны, потом оборачиваются и долго изумленно глядят вслед. Какой-то мальчишка швырнул даже камнем. В ответ послышалась грязная нецензурная брань. Но и мальчишка оказался не из трусливого десятка. Он, забравшись на клумбу и стоя на будущих левкоях и каннах, нахально советует белому бантику:

— Закрой свой ржавый репродуктор!

На шум и крик из подъезда выскочила рыжая кривоногая Шпонька, она громко залаяла. Разворачиваясь, засигналил роскошный, цвета слоновой кости «мерседес-бенц», приехавший к нашим соседям, и я так и не поняла, куда скрылось в этой суматохе существо с кошелкой и с бантиком. Судя по всему, это была старуха. Все же женщина, а не мужчина. Хотя по голосу без ошибки определить, конечно, трудно.

Потом я встречаю ее еще раз и еще. Однажды возле молочной цистерны: она стоит в очереди за молоком. Потом возле булочной-фургона. Один раз она прогуливалась под цветущими липами на Воробьевке, все в той же юбке, с тем же бантиком. Другой раз я увидела ее в прачечной, где она пересчитывала при всех свое белье: какие-то серые наволочки с армейскими медными пуговицами, линялые кофты и неподрубленные, лохматящиеся по краям, захватанные вафельные полотенца.

Признаться, меня всегда удивляет: откуда у нас такие люди берутся? Это — жертвы. Но жертвы чего? Из каких древних невымытых глубин нашей жизни выплывают на свет подобные существа? Их хриплые голоса, их смешные детские бантики — отголоски какой-то трагедии, неведомой окружающим. Мы об этих трагедиях не пишем, не говорим. А они существуют...

Еще живы последствия прошлой войны. Сама-то война уже далеко отодвинулась, но есть люди, которые до сих пор хранят в себе незабытую боль. Горечь скорбной утраты все еще делит на две половины чью-то несчастную, обездоленную судьбу. Линия давно

отгремевшего фронта все еще рассекает пополам материнское сердце: по живому, кровоточащему — двадцатилетней давности колючая ржавая проволока.

Прохожие глядят вслед белому бантику и смеются. Я тоже смеюсь. В самом деле, смешно.

А потом я сажусь на порожек в раскрытых дверях балкона, и мне становится зябко, нехорошо. Сквозь прочно забытое, очень давнее что-то всплывает на поверхность в моей памяти... А что, если?..

Нет, вряд ли. Не может этого быть!

Но что, если это она и есть — та самая женщина из Макеихи? Ведь здесь, в Москве, у нее могут быть родственники. Они-то ее в свое время, наверное, и приютили.

...Я опять вижу те звенящие на морозе красные сосны, полотняные домики медсанбата. Над соседней сожженной деревней, в садах — черный иней. Внизу, на дороге и по огородам, — черный иглистый снег. Сугробы под ногами не скрипят и даже не визжат, а свистят — такой сильный мороз. Стоит выглянуть наружу из палатки, и тотчас дыхание туго спирает в горле. Ледяной сжатый воздух выжимает из глаз холодные слезы.

Мы выходим с Женькой Мамоновой с носилками из операционной и быстро сворачиваем с натопанной тропинки в сугроб. Нам не хочется снова встречаться с ней, с этой женщиной из Макеихи: опять будет хватать за полы шинелей и объяснять. А сама никаких объяснений не понимает.

И действительно, она уже сидит и ждет нас в отделении на бревне. В деревенской, домашнего изготовления, грубошерстной поддевке, в нитяном рыжем рваном платке, в лаптях. А ребенок, которого она держит, закутан во что-то очень теплое, прикрыт сверху прожженным полупальто.

Женщина загораживает нам дорогу, низко кланяется.

— Касатки, милые... Ну хоть поглядите, что с ним? Ведь который день уже грудь не берет...

— Дорогу, тетка! Дорогу!

— Я вам маслица, яиц принесу.

Она держит в руках линялый крохотный узелок. Она все кланяется нам в пояс, все кланяется и при этом успевает баюкать ребенка и развязывать узелок.

Там, внутри узелка, обгрызенный кусок рафинаду. Она протягивает его нам.

Нам с носилками тяжело. Мы топчемся на мерзлом, залубеневшем сугробе. Раненый наш хрипит.

— Дорогу, тебе говорят! — кричу я и грубо отталкиваю женщину рукоятью носилок. — Некогда нам с тобой разговаривать!

На лице женщины, еще таком молодом, некрасивом, многострадальное долготерпение. Ничего, ничего! Она понимает. Она подождет. Найдутся же наконец добрые люди, помогут!

— Почему ты с ней так грубо? — спрашивает меня удивленно Женька. — Перед тобой-то она в чем провинилась?

— А чем я ей помогу? — взрываюсь я и ставлю носилки на сугроб. — Чем я помогу? Ты ей можешь помочь? Ты знаешь?..

Уж давно пора бы Женьке знать, что бессилие и неумение всегда зло и грубо.

Дело в том, что ребенок этой женщины давно уже мертв.

Он замерз в ту самую ночь, накануне освобождения, когда немцы, отступая, выгнали все население Макеихи из домов на мороз, а Макеиху зажгли с двух сторон, облив солому бензином.

Но ей, матери, все еще кажется, что он живой. Просто болен. Не берет грудь — и все. И она по очереди уговаривает наших врачей взглянуть на него. Она, конечно, понимает, что им некогда, что они заняты более важным делом, но ведь все-таки это и времени не займет слишком много.

Да, взглянуть — дело не трудное. Ребенка смотрели все по очереди — терапевты, хирурги, медсестры. Но как объяснить ей, что он давно уже мертв? Разве она это поймет?

Так вот как, капроновый бантик! Значит, ты из Макеихи? Тогда считай, что мы с тобой родня. Все, кто был со мной под Москвой в сорок первом, кто наступал на Рузу, брал Можайск, кто вдыхал запах подмосковных пожаров, для меня все равно что родня. Все они мне родные братья и сестры.

Я никому не позволю тебя обижать.

Впрочем, я не позволю тебя обижать, даже если ты никогда там и не жила, в сожженной Макеихе, а вы-

терпела, перенесла свое горе где-нибудь в другом месте. Ну хотя бы под Курском или под Сталинградом, в Одессе. Не все ли равно?

Я не позволю тебя обижать. Точно так же, как и Марьяну. Как Женьку.

2

Кажется, уже год, нет, тысячу лет мы живем в густых хвойных лесах юго-восточнее Новой Рузы: в тонкой путанице рокадных дорог, перекрестков, проселков и накатанных санных следов, проложенных прямо по целине, в суровом морозном снегу.

Наш брезентовый городок обжит, многолюден. В нем все привычно для глаза: большие серые прямоугольники палаток с седыми от инея скатами крыш. Над каждой палаткой — две трубы и сизый, искрящийся дым.

Дорожки аккуратно расчищены и обсажены срубленными елками: чтобы ночью, в метель не сбиться с дороги и не выйти куда-нибудь прямо на немцев. В глубине леса — походные кухни, склады, конюшни: брошенные на снег клоки сена и задранные вверх, в небо, оглобли. Тут же, поблизости, замаскированный, добродушно тарахтит движок. Кто-то наигрывает на баяне новую песню, привезенную из полков: «Наступление, наступление... Вся земля огнем занялась. Самолетов грозное пение по ночам баюкает нас...»

Из палатки в палатку бегают сестры в белых халатах, шагают санитары с носилками. С пачкой свежих газет проходит Коля Гурьянов, веснушчатый, улыбающийся, свежевыбритый.

Он кричит еще издали и машет газетой:

— Наши взяли Клин и Калинин!

Я рассматриваю фотографии в газете. Бойцы в меховых ушанках. Лица у них точно такие же, как и у красноармейцев из нашей дивизии: очень простые, усталые. Вижу кавалеристов с красным знаменем, беседующих с жителями — с крестьянками в грубошерстных платках, стариками. Тут же, возле всадников, под ногами коней шныряют мальчишки. Вот уж им радость снова увидеть наши красные звездочки на ушанках, наше знамя, наших кавалеристов!

Вечером я сижу в сумерках в палатке вдвоем с Петряковым, грею у огня красные с холода руки. Только что я отправляла в Москву две полуторки раненых и теперь вся дрожу: бегала по морозу в одной гимнастерке.

С улицы слышен надрывный визг пил. Это санитары готовят на ночь дрова. Кто-то крикает, всаживая в полено топор. Под брезентовым потолком тускло светится лампочка. Значит, в операционно-перевязочном блоке опять идут операции.

Где-то неподалеку от развилки дорог с хрустом шмякает о землю тяжелый снаряд. Снег с деревьев рушится на крышу палатки и еще долго-долго течет, сухой, как песок.

Мы ждем с Петряковым возвращения из полка Женьки Мамоновой и Марьяны Поповой. Они уехали туда еще утром, на рассвете, за ранеными, а вот уже и полдень прошел, и вечер настал, а их все еще нет. Прежде они никогда не запаздывали.

Я с тревогой прислушиваюсь к каждому звуку, долетающему с передовой. Жду.

— Иван Григорьевич, как по-вашему, почему они задержались?

— Не знаю...

— Может, что случилось?

— Все может быть.

По уставу мы должны заниматься эвакуацией раненых лишь «на себя», то есть вывозить их из полков и батальонов, оперировать и перевязывать. А от нас дальше в тыл их должны забирать уже другие медицинские организации, все эти эвакуопункты, армейские и фронтовые госпитали и прочая, прочая своим собственным транспортом. Благо у них есть специальные, приспособленные для этого санитарные автобусы и солидные штаты.

Но с начавшимся наступлением все как-то сразу перемешалось. Никаких «на себя». Мы привозим к себе, и мы же и отвозим. Никаких сменных врачей и сестер: все работают, все принимают поступающих, бесконечный поток. Отдыхать некогда. Мы работаем без передышки.

Приезжая из Звенигорода, Кубинки, Голицына, Москвы, после долгой и тряской дороги я не имею права лечь спать, потому что за время моего отсутствия

привезли новых раненых и мне нужно или ехать опять по той же самой дороге, или идти подменять того, кто дежурил по отделению. А уж он-то, наверное, как я, отдохнет, прислонясь головой к кабине машины, когда выедет вместо меня в дальний рейс...

Так случилось и сегодня утром.

Уезжая в полк с Марьяной за ранеными, Женька даже не сдала мне ночного дежурства. Не успела. И я с тревогой оглядываю свое скудное медицинское хозяйство, все ли в порядке: груды смолистых дров перед печками, ящики с медикаментами и оборудованием возле тамбура входа. На ящиках — термосы и ведро с водой для питья. Отгороженный плащ-палатками закуток для обслуживающего персонала — это наша «жилая» комната. Здесь мы находимся, когда есть свободное время: Женька, Марьяна, я, санитары, Марчик, Гурьянов. Здесь же стопкой лежат запасные меховые «конверты» и одеяла для тяжелораненых, наши вещмешки, сумки, противогазы и верхняя теплая одежда для того, кто уходит в рейс.

В головах — для спанья — охапки сосновых веток, истертая в мелочь солома и Женькины книги. Она подбирает их среди развалин. Обгорелые, затрепанные, с вырванными листами. Главная ее драгоценность.

В палатке быстро темнеет.

Скоро санитары принесут термосы с ужином, и я должна буду накормить своих раненых, напоить их крепким, как деготь, пахнущим веником чаем с куском рафинада. Дать лекарство. Подбинтовать кого надо, если кровь протекла. Сделать на ночь назначенные врачом инъекции.

А потом я всю ночь буду сидеть у огня и дремать, слушая зимнюю вьюгу. Время от времени я буду вставать и проходить между нарами, приглядываясь: кого повернуть на другой бок, кому подать попить, кого просто укрыть потеплей, постоять возле спящего, прислушаться: дышит или не дышит. Некоторые умирают так тихо, что и не догадаешься сразу.

Да, теперь мы умеем делать все, что требовал от нас в Старой Елани комбат Петряков: собирать и разбирать большие дэпээмовские и малые полковые палатки, грузить ящики, рыть окопы, стерилизовать инструменты, накладывать пращевидные, спиральные, перекрещивающиеся и колосовидные повязки,

бинтовать грудную клетку и голову, поднимать и перетаскивать раненых с места на место — с переломами костей и без переломов, в шинax и без шин, спокойных, выдержанных и злобных, нетерпеливых; а также кормить и поить, успокаивая самых шумных и самых капризных, топить печи и спустя два часа после смерти выносить умершего на снег, на мороз. Впрочем, это грустные, скорбные знания, и я их не люблю.

Кто-то стонет в углу по-детски жалобно, нудно:

— Сестра-а-а, а сестра-а-а!

— Я здесь. Чего тебе, милый?

— Ой, пить! Ой, пить, сестра-а-а! Огнем горит, не могу!

— Тебе нельзя сейчас пить, очень вредно. Еще больней будет. Потерпи. Потерпи... Постарайся уснуть...

Это Петр Ефимов, боец из полка Железнова. Он шел на вражеский пулемет, мешавший продвижению роты. Долго подкрадывался, перебегал, полз по глубокому снегу, делая обманные движения, а потом вскочил во весь рост и бросил гранату.

Рота взяла населенный пункт, а Петра Ефимова привезли к нам с пулею в животе. Он будет лежать здесь, пока не окрепнет.

— Иван Григорьевич, что-то долго их нет...

Командир батальона прислушивается, лицо его смугло, угрюмо.

Земля под ногами у нас глухо вздрагивает. Звук выстрела тяжелого дальнобойного орудия по-прежнему издали кажется мягким, беззлобным, но я уже знаю, что он означает.

— Может быть, они не могли проехать под обстрелом и остались в полку ночевать?

Петряков пожимает плечами.

— Я, наверно, идиот, — со вздохом говорит наконец Петряков. — Не умею людей на смерть посылать. Мне всегда как-то легче пойти самому... Меньше будет переживаний.

Он ушел от меня, когда часы показывали полночь, грузный, усталый, небритый, с темным от мороза лицом. Брезентовый полог в тамбуре, жесткий, как невыделанная кожа, еще долго качался в дверях и скрипел на ветру, как единственное напоминание, что я на земле не одна.

— Есть здесь кто, живая душа?

Они ворвались в палатку с холоду, затанцевали, запрыгали у входа, сбивая с валенок комья снега и хлопая себя по бокам рукавицами, чтобы скорее согреться,—две круглые, медведеобразные фигуры в одинаковых шапках-ушанках, с одинаковыми, туго набитыми санитарными сумками, с пистолетами в кобурах.

— Тише! Не шумите... Все спят.

— Ну, как тут дела?

— Ничего. А вы как доехали? Благополучно?

— Замерзли, просто ужас какой-то! А так вообще ничего... Корми нас, Шура, скорей!

С легкой руки Дмитрия Ивановича Шубарова меня теперь все в батальоне зовут Шурой, особенно после его смерти.

Марьяна по-хозяйски окинула взглядом палатку.

— Нетранспортабельных много? Да? И мы еще привезли... Что ж ты будешь с ними делать?

— А что с ними делать? — удивляюсь я и неловко смеюсь.— Пусть лежат, пока не станут транспортабельными!

— А если нам... самим ехать?!

Они с Женькой, видимо, уже что-то знают.

Ну что ж. Ехать так ехать, сказал попугай...

Мне, однако, пока никто еще не отдавал распоряжения сворачивать эвакоотделение и готовиться к переезду. К тому же я всегда собираюсь в последнюю очередь, когда приемо-сортировочное отделение и оперативно-перевязочный блок уже обоснуются на новом месте. Я всегда во втором эшелоне. Да и куда мне спешить? Разве это так уж сложно: напоить, накормить раненых, подбинтовать их в дорогу, приготовить химические грелки к ногам, поплотнее закутать всех в теплые одеяла, погрузить на носилках в большие автобусы, пожать на прощание каждому руку; и, если они едут одни, без меня, отдать сопровождающему их санитару последние наставления — и в добрый путь, на Кубинку или в Звенигород, а то напрямиком и в Москву, в Лефортово, а там дальше, куда-нибудь в тыл: на Волгу, в Сибирь. А тем временем, пока они едут, мы будем гасить печи, разбирать нары, вытаскивать колья

из мерзлой земли и укладывать их по ящикам, вынимать из окон стекла вместе с рамами, сматывать электропроводку и внутреннюю теплую прокладку с потолка, сворачивать промерзлый, окаменевший брезент верха крыши и увязывать его в тяжелые, неухватные тюки, а потом все это грузить на сани или в полуторки и трехтонки. И тоже в путь, но не очень-то добрый. Не в глубокий тыл, а еще дальше вперед, к линии фронта, в темноту, по запутанным в лесу, неизвестным шоферу дорогам, мимо минных полей, мимо сожженных, обугленных деревень, мимо прорванных танками проволочных заграждений и надолб, мимо трупов, лежащих поразительно правильными рядами на сером снегу: так, рядами, они и шли в атаку, и теперь лежат, как снопы, по снежному полю с развевающимися рыжими волосами; мимо черных колодцев и изрытых воронками подмосковных колхозных полей, отвоеванных у врага.

По ветровому стеклу машины будут биться, хлестать пушистые ветви елей, почти новогодних — Новый год-то уже на носу, — а мотор будет выть и срываться на обдутых ветрами льдистых подъемах, и под скрежет и лязг рессор на ухабах, под визг мерзлого снега тебя пригнет к многочисленным ящикам и узлам тягучая, словно деготь, усталость, веки смежит холодная резь в глазах от недосыпания, от слепящего, с ледяною поземкою снега, и ты сладко заснешь на вьюжном ветру в ожидании завтрашнего утра, и новых, чистых снегов, и яркого, синего, без единого облачка неба — недоброго предвестника летной погоды...

Размышляя о мельком брошенных Марьяной словах о предстоящей дороге, я стелю на ящике из-под медикаментов свежую большую газету — она заменяет нам скатерть, кладу горкой черные сухари, финкой режу ломтиками свиное сало. Оказывается, «свинью» подложил мне действительно Марчик. Он получил посылку от матери. Я об этом узнала случайно. Но сало мы едим, несмотря на наши с Марчиком разногласия, с большим аппетитом. Потом я достаю завернутый в одеяло бачок с гороховым концентратом,

заявленный еще с обеда «расход», и ставлю на стол эмалированные кружки. Котелок, выданный Женьке и Марьяне на двоих, они сразу же потеряли, как только выгрузились из эшелона, поэтому едят теперь суп ложками из одной, общей кружки, поминутно бегая за добавкой.

— Да вас легче похоронить, чем прокормить,— говорю я, с удивлением наблюдая, как они споро, наперегонки хлебают горячее варево.— Ишь как налегаете... в четыре руки!

— Ну вот, сразу и оговорила,— с набитым ртом смеется Марьяна.

Насколько я знаю Марьяну, ее аппетит не испортишь ничем, даже разговорами о мертвецах. Это я проверила, когда мы еще занимались в Воронеже, в анатомикуме. Засмеется, сморщит нос—и как ни в чем не бывало развернет бутерброд или разломит булочку с маком.

Здесь, на фронте, я все больше сближаюсь с Марьяной. Женька от меня как-то отошла, замкнулась в себе, а Марьяна во всех трудных случаях жизни просто клад. Ее все в батальоне уважают, не только я; и, наверное, за уважение, эксплуатируют.

— Марьяна, вам нельзя еще идти отдыхать, надо помочь Гале прибраться.— Это главный хирург.

— Хорошо.

— Марьянушка, пособи-ка мне ящик поднять.— Это аптекарша Фая.

— Марьянка, я не успела инструменты простерилизовать, ты сама это сделаешь, ладно? — Это Наташа Глызина на перевязке.

— Марьяна, постирай заодно и мою гимнастерку.— Это Кирка Дубравин.

— Марьяна, я вчера должна была сдать ведомость, а свет погас, ты мне сейчас посчитаешь, а я запишу.— Это я с комсомольскими взносами.

Марьяну у нас зовут «Скорая помощь».

Сейчас я с нежностью гляжу на Марьяну, на ее огрубевшие, распухшие руки с обломанными ногтями. На те самые руки, какими она играла нам перед отъездом на фронт Равеля и Баха.

Марьяна незаметно кивает на Женьку. И только тут я замечаю, что Женька не ест. Она давно отодвинула от себя кружку и надгрызенный черный сухарь.

— Ты чего не ешь?

— Так. Ничего.

Она хмурая, мрачная, сидит, не снимая шинели и шапки.

Оглянувшись на Женьку и перестав хлебать, Марьяна что-то ищет на столе глазами, потом переводит взгляд на меня.

— Тебе чего? Соли?

— Нет. Нет...— говорит Марьяна.— Водочки. Нет ли водочки, часом?

— Есть. Дать?

— Дай.

Я наливаю немного в ту самую кружку, из которой они ели суп. Марьяна поднимает кружку, смотрит куда-то в сторону, на огонь, потом залпом, единым дыханием выпивает и приказывает мне снова:

— Еще!

— Да ты что? — спрашиваю я.— Смотри, захмелеешь!

— Налей,— коротко говорит она.

Я опять наливаю.

Марьяна ест сухарь с салом, потом вытирает ладони о ватные брюки и опять тянется к термосу с водкой.

— Тебе налить? — спрашивает она у меня.

— Нет. Я на дежурстве.

— Видит бог, как ты сопротивлялась! — спокойно говорит Марьяна и наливает мне в кружку. Другую кружку она пододвигает Женьке.— Пейте, девчонки,— говорит негромко она.— И почтим его память... вставанием!

Я искоса бросаю на Женьку изучающий взгляд:

— Неужели?! Нет... не может быть!.. Валька Рештак?... Да?!

— Да,— не поднимая головы, отвечает Марьяна.

— Когда?

— Сегодня.

Женька мрачно пьет. Тыльной стороной руки вытирает губы. Потом лезет в карман за махоркой, долго крутит из обрывка газеты козью ножку, прикуривает, запалив на углях смолистую ветку. Узкие, словно стрелы, ее темные брови угрюмо сдвинуты.

— Мы, собственно, из-за него и задержались,— объясняет Марьяна. От выпитой водки она раскраснелась, глаза подернулись дымкой хмеля. Но даже и та-

кая, замерзшая, грязная — я вижу — она удивительно хороша, наша «Скорая помощь».

— Мы приехали в полк, а там... Вальку хоронят!

Мне все еще странно: Валька Рештак — и убит?!

Валька Шуточка. Так его прозвали у нас в медсанбате. Это он нам говорил, когда на коне верхом приезжал по воскресеньям: «Шуточки, тридцать верст киселя хлебать из-за ваших хорошеньких глаз!»

Там, в заснеженных предгорьях Урала, куда переехала наша дивизия после Старой Елани, мы жили в рабочем поселке, а полки расселились в огромном лесу, в больших, на сто — двести человек, глубоких землянках с дощатыми нарами в два этажа. В этих землянках вместе с бойцами жили и взводные, ротные и батальонные командиры. Только для штаба полка был построен маленький рубленый домик — избушка из русской сказки: в три окна, с мохнатой от дыма трубой. Он почти до самых карнизов был засыпан сугробами. По вечерам издалека можно было видеть в этих окнах тусклый красный огонь: заседают. Опять заседают! Опять все решают, как лучше идти воевать.

В таком домике жил у себя в полку и Дмитрий Иванович Шубаров. Он тоже по воскресеньям приезжал в медсанбат, но никогда не заходил к нам в казармы. Впрочем, я его и не звала. Обычно мы с ним и с Марьяной уходили в открытое снежное поле, и там он учил нас, как надо садиться на лошадь, в скрипучее кожаное седло, как брать препятствия на полном скаку и класть лошадь на снег так, чтобы можно было, укрывшись за нею, стрелять. Для этого он специально приводил с собой запасную заседланную гнедую кобылу Железнова.

Иногда мы съезжались все вместе где-нибудь на кургане: я с Марьяной и Женька с бегущим у стремени Валькою Рештаком. Тогда Дмитрий Иванович отворачивался, становился спиной к ветру и закуривал, грелся, пряча сигарку в рукав. Остроконечный буденовский его шлем, весь заиндевевший от дыхания, в такие минуты мне издали казался странным, нахохлившимся птенцом.

Шубаров знал, что Женька почему-то его не любит. Он и сам, в свою очередь, ее не любил, называя: «Ну, эта... твоё черноглазое чудо». И вот он убит, комиссар

Дмитрий Иванович Шубаров. И Валька Рештак тоже убит.

«Шуточки, до самой Москвы отступали! А как мы теперь пойдем наступать? — спрашивал Валька у нас у входа в казарму там, на Урале. — Что ж, фашисты нам эту землю даром теперь отдадут?..»

Да, Валя, землю даром не отдают. За нее кровь проливают. Ты прав. Это так...

Мы все трое молчим.

С каждым новым потерянным человеком, мне кажется, мы теряем и частицу себя. Мы становимся очень жестокими и не плачем, услышав о смерти товарища.

Марьяна рассказывает, жуя черствый сухарь:

— Вышел на наблюдательный пункт. Он готовил атаку одной высоты. И — снайпер с дерева. Прямо в голову.

Потом она смотрит на часы на руке: уже ночь. Очень поздно. Пора отдохнуть.

— Пойдем, Женя, подремлем. Пока можно. А то опять ехать. Хорошее дело, да только бы выспаться!

— Что ж, пойдем! Я сейчас. — Женька гасит докуренную до самых ногтей самокрутку.

Но полог в тамбуре уже приподнялся, загремел под чьей-то рукой. Кто-то затоптался у входа, сбивая с валенок снег. В дверь пролезла сначала белая, в рыхлом свежем снегу мохнатая шапка, затем плечи, спина.

— Эх запуржило, в недобрый-то час!

В огромных, не по росту, валенках комиссар батальона Коля Гурьянов с порога весело улыбнулся нам, сверкая крепкими, с перламутровым блеском зубами. Он большой, чисто вымытый, жизнерадостный.

— Ну вот, — сказал Коля. — Хорошо, я вас всех сразу застал.

Коля искренне радуется своей удаче. А нам не до радости, когда он, не вдаваясь в подробности, приказывает:

— Мамонова, остаешься с тяжелыми ранеными до прибытия санитарных автобусов! Углянцева и Попова, собирайтесь! Грузите всех, кого можно увезти. — Коля обращается ко мне: — А где твой прямой, непосредственный начальник? Куда ты его задевала?

Гурьянов любит подшутить над Федором Марчиком, иной раз довольно зло. И я на его шутку охотно всегда откликаюсь.

— Мой прямой, но посредственный начальник? — не задумываясь, отвечаю я. — А откуда я знаю, где он? Наверное, пошел куда-нибудь спать, где никто не мешает. Он же мне не докладывает!

— Разыщи и срочно ко мне! Или нет... Пусть сразу бежит на дорогу и весь порожняк, идущий из полков в ДОП¹, заворачивает сюда, к палаткам, за ранеными... Собирайтесь скорее!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 1

Снег, снег, снег...

Снег на лошадиных трупах — это здесь, на развилке дорог, доваторцы наскочили на вражеский пулемет. Снег на низких толстых ветвях кустарника. Снег на каске стоящего у въезда на территорию медсанбата зазубленного часового. Островерхие крыши палаток тоже в снегу. Он лежит на краях брезентовых скатов, завиваясь под ветром в петушинные гребни.

Над палаточным городком высоченные старые ели: они грубы, лохматы, в коросте лишайников. Каждая хвойная ветвь похожа на хвост пушистого зверя.

Днем и ночью под пологом этих старых, пригнувшихся под тяжестью снега разлапистых елей постукивает движок. Днем и ночью горят над операционными столами зеркальные конические рефлекторы. Санитары, сгибаясь и разгибаясь и переступая от тяжести на месте ногами, вносят и выносят на носилках раненых. Где-то у въезда сигналит машина. Пахнет пролитым в снег бензином, смолистой щепой.

Я не знаю, сколько дней или лет мы здесь живем, в этом лесу. Для нас времени не существует. Где-то там, во вселенной, летят миры, Земля поворачивается своими шершавыми боками: то белым, то зеленым, то

¹ ДОП — дивизионный обменный пункт, где полки получают продовольствие, медикаменты, снаряды и т. д.

голубым, подставляет их солнцу. Где-то спят люди в своих тихих, мирных домах, рядом с женами, в теплых постелях. Где-то шумят залитые блеском огней и реклам большие, яркие города.

А мы знаем только одно:

— Фамилия, имя, отчество?

— Какого полка?

— Куда ранен?

— В операционную.

— На перевязку!

— В эвако.

— Ваша карточка передового района?

В приемо-сортировочном отделении раненые бойцы дожидаются своей очереди часами. Они лежат на топчанах, на носилках, сидят на березовых кругляшах и прямо на полу, застеленном брезентом и забросанном сверху хвойными лапами. Кто-то уже не может спокойно сидеть, ждать и шагает через лежащих взад-вперед, качая, словно ребенка, пухлую руку.

У меня в эвакопалатке тоже все переполнено ранеными, а новые прибывают и прибывают. Среди них очень много тяжелых, контуженых, обмороженных. А они всегда требуют от медсестры особенно пристального внимания.

— Сестра! А сестра!

— Потерпи... Сейчас подойду.

Вот уже два с половиной часа я оттираю обмороженному разведчику спиртом и снегом заочечневшие руки. Но он так и не чувствует ничего. Его белые пальцы не шевелятся.

Разведчик пытается мне объяснить со всеми подробностями, как это случилось: как он шел ночью к немцам в тыл, в засаду, считать проходящие по дороге танки; и как все сосчитал и уже возвращался, но налетел на группу вражеских автоматчиков; и как спрятался под елкой, в сугроб, стараясь не только не шевельнуться, но даже и не дышать; и как немцы оставились возле самой той елки, под которой он, притаившись, лежал, и как долго о чем-то вполголоса разговаривали, сердито и быстро. Один из них даже сломал веточку у разведчика над головой и долго цыкал, ковыряя в зубах, наверное, после сытного ужина. Немцы были здоровенные, рыжие. Потом они отошли, ничего не заметив, и пошли, скрипя по сугробам ши-

роченными сапогами, и все разговаривали сердито и быстро. Он не помнил, сколько времени он пролежал так на снегу, часов у него не было, но когда поднялся, пальцы уже не сгибались. В случае опасности он не смог бы нажать на спуск автомата. Они не сгибались у него и сейчас, когда я их оттирала. И я наливала разведчику густой коричневый чай в жестяную кружку, и украдкой от Федора Марчика бросала туда для сладости целые комы рафинаду, и долго поила разведчика из своих рук, дуя на горячую черную воду, пока Марчик не отозвал меня в угол палатки и не предупредил сиплым, бабьим голосом:

— Я вам сказал: нельзя выделять из всех одного!

Я молча сурово поглядела ему в глаза. Он очень не любит этого взгляда.

— Я вам сказал,—повторил он.—Нельзя! Все — свои. Все — наши, советские.

Я упрямо вскинула голову:

— Так если все наши и все советские, я ко всем должна быть одинаково равнодушной? Так выходит, что ли, по-вашему? Ну, этого, знаете, здесь не будет!

— Отставить разговорчики! — сказал Марчик и вдруг громко крикнул: — Как стоите? Руки по швам.

Я пожала плечами и снова села рядом с разведчиком — растирать спиртом его белые негнущиеся пальцы. Ведь он так может остаться без рук.

Тогда Марчик полез в мой шкаф с перевязочным материалом, начал шарить чего-то, не нашел и сердито сказал:

— Почему нет бинтов и салфеток? К Калугину за салфетками — быстро! Одна нога здесь, другая там...

В операционной потолок обит стерильными простынями, вся палатка разгорожена на несколько белых отсеков: здесь ожидают своей очереди раненые, здесь гипсуют переломы, здесь за столиком — регистратор. Посредине, под ярким светом рефлекторов, два стола: на обоих идут операции.

Главный хирург Александр Степанович Калугин в синей, жесткой трехдневной щетине. Он устал, поэтому резок, нетерпелив. Высоко поднятые и широко расставленные в локтях его руки, наверно, затекли: жилы на них потемнели, набухли, свились в тугие, как веревка, узлы.

— Кохер... Пеан,— говорит он устало ассистенту Сергею Улаеву.

— Ножницы.

— Скальпель.

— Тампон с риванолом.

— Бактериофаг.

— Противостолбнячную сыворотку.

— Готовить переливание крови.

Наташа Глызина — на ее белом, утомленном лице видны лишь глубоко запавшие, но все еще такие прекрасные, задумчивые глаза — ответила еле слышно:

— Крови нет, Александр Степанович...

— Как так нет? В аптеку бегом!

— И в аптеке нет. Будет только к утру.

Калугин раздельно, как будто читал по складам, грубо выругался. Вскинул вверх бульдожий, тупой подбородок:

— Черт бы вас всех побрал, о чем вы думаете?!

— Александр Степанович, *Facies Hippocratica*¹, — сказала подававшая наркоз Галя Пятитонка, толстая, пышная в белом халате. — Пульс частый, но слабый, нитевидный.

— Что, я сам не вижу без вас?! К черту! К черту!

Стоя в дверях в белом, закапанном йодом, нестерильном халате, я с вниманием и завистью наблюдаю, как спокойно, размеренно, словно раз и навсегда заведенные автоматы, работают хирургические медсестры под началом Калугина и как он движется сам, строгий, умный и властный, в сверкании мощных рефлекторов, в блеске никелированных инструментов, ножей, ножниц и бесчисленных склянок и биксов, как он берет скальпель и вдруг проводит им по бледной, бескровной коже.

— Кровь! — вдруг с тоской сказал Калугин. — Кровь! Где кровь?! П-почему нет крови? Без-образ-зие! — произносит он сквозь зубы, и мне показалось, что подбородок его задрожал.

Все еще стоя в дверях, я сказала:

— Александр Степанович, а у меня первая группа...

Он искоса вдруг метнул на меня взгляд. Подошел к Наташе Глызиной и как-то неловко к ней привалил-

¹ Маска Гиппократова — обострившиеся черты лица, агония.

ся, наклонив голову, и Наташа быстрым мягким движением чистой салфеткой вытерла с его лба крупные капли пота.

— Раздевайся! — приказал Калугин, показав рукой куда-то себе за спину, за белую занавеску. — Быстро! Ведь он уже мертв! Понимаешь ты или нет?!

Лежа на застеленном простынями столе и укрытая до подбородка, с обнаженной рукой, туго стянутой резиновыми жгутами, я слышу, как Калугин командует, оживляясь:

— Шприц с длинной иглой!

— Адреналин!

— Кислород, искусственное дыхание!

— Грелки к ногам и к рукам! Растирайте, растирайте! Массируйте!

— Кровь! Скорее кровь!

— Готовьте глюкозу!

И вдруг кричит, топает ногами на ассистента:

— Черт возьми, чего вы там закопались?! Скальпель, скальпель! Зажим!

По тонкой резиновой трубке, пульсируя, как живая, к чужому, холодному телу незнакомого мне человека течет моя кровь. Я слышу, как она уходит, волна за волной. Эти волны мягко, нежно покачивают меня на своих красных, дымчатых гребнях. Волны, видимо, тоже устали: бессонные, целый день на ногах...

— Ну как? Что?

— Дышит?

— Зеркало к губам, зеркало!

Я прислушиваюсь сквозь легкий, как чье-то задумчивое дыхание, шум в ушах.

— Слышите? Слышите? Пульс!

— Пока еще слабо, но становится ровнее...

Калугин что-то роняет на пол, металл звякает. Он снова грубо выругался, но теперь с совершенно иной интонацией, со смешком.

— Как фамилия?

Молчание.

— Как фамилия бойца, я спрашиваю! — взрывается главный хирург. — Где его карточка? Поглядите в карточку передового района!

— У него нет карточки.

— А-а, черт! Сколько раз было сказано...

— Смотрите, смотрите, он приходит в себя!

Я встаю со стола. Мне помогают надеть гимнастерку, натянуть халат, завязывают у запястий тесемки. Я выглядываю из-за занавески, держась за стояк.

Лицо человека, лежащего на операционном столе, абсолютно мне незнакомо. Это уже довольно солидно-го возраста рядовой, из тех самых «дядьков», каких в нашей дивизии очень много. Зеленоватый, трупный оттенок кожи, давно не бритые щеки и как бы ушедшие куда-то внутрь самого себя небольшие, невыразительные глаза. Нос длинный, отвислый. Когда-то человек был обрит наголо, теперь отросшие волосы прилипли ко лбу рыжеватыми косицами.

Я не испытываю к нему никакого особенного интереса, к этому возвращенному из небытия человеку, к моему брату по крови. Да и какая мне разница, кто он? Он мог бы оказаться и еще более старым, мог быть красавцем, для меня все равно. Кто он такой, сейчас для меня не имеет значения. Чтобы жить, он просто нуждался в моей крови. И я отдала ее. Для него. А может быть, мне просто захотелось помочь Александру Степановичу, когда я увидела, как его лицо покрылось холодным и крупным, как градины, потом. Я в этом еще и сама хорошенько не разобралась.

Я говорю, пытаюсь скрыть свое собственное замешательство:

— Александр Степанович, вы довольны моим красным кровяным тельцом? Не правда ли, это звучит приятно: красный кровяной телец. Зарежьте своей блудной дочери кровяного тельца...

Все вокруг засмеялись.

Но Александр Степанович поглядел на меня довольно сурово.

— А ты что, собственно, здесь еще делаешь? — закричал он громко. — Убирайся! Ты нам только мешаешь!

Но я по-прежнему стою в дверях и гляжу на происходящее с любопытством.

Калугин уже отошел от стола, моет руки, а Наташа Глызина и Галя Пятитонка быстрыми, ловкими движениями бинтуют только что оперированного бойца крест-накрест широким бинтом.

— Как звать тебя? — спрашивает Калугин у раненого.

Тот, откинувшись, лежит, прикрытый чистыми простынями, и смотрит беспомощным, детским взглядом.

— Филипп Митрофаныч,— его бледные губы едва шевелятся.

— Фамилия?

— Шаповалов.

— Откуда ты?

— Из Острогожска Воронежской области...

— Ну, значит, земляк,— говорит Калугин, подмигивая нам выпуклым, круглым, как у филина, глазом.

Говорят, Калугин всем своим пациентам земляк, откуда бы они родом ни были. Потому что здесь, на войне, всегда приятно найти земляка—это как привет от самых близких твоему сердцу людей. Даже к совершенно чужому тебе человеку начинаешь чувствовать в душе какую-то невольную нежность: ведь он тебе почти что родня! Земляк! Одна и та же земля нас взлелеяла, воспитала.

— Адрес?! Записывай, Галя, записывай! Какого полка? Батальона? Роты?

Укрытый, обложенный химическими грелками Шаповалов слабо и как бы извиняясь перед нами за самого себя, бледно, бессильно, но радостно улыбается, закрывает глаза: ему хочется спать.

— Несите! — приказывает Калугин. — Распорядись, Наташа, чтобы была сиделка. Специальная. Пусть снимут кого-нибудь с регистрации из приемо-сортировочной. И чтобы не отходила от него ни на шаг!

На мгновение он прислоняется плечом к стояку.

Я считаю салфетки, поданные мне Галей: «Одна, две, три, четыре, пять, шесть...» И слышу короткий, почти лошадиный храп. Я поднимаю глаза, но Галя делает мне осторожный знак: «Тише... Не надо. Смотри разбудишь!»

Калугин спит стоя. Он во сне громко всхрапывает. Совсем как большая усталая лошадь. Громоздкая, пахнущая йодом и спиртом загнанная лошадь.

— Александр Степанович! Операция...

— Да? Гм. А! Я сейчас...

Он вскидывает голову, моет руки и оглядывается на Улаева: готов ли тот подавать. И опять все сначала. Как вчера. Как позавчера. Как третьего дня. Как последние три недели подряд.

Через четыре часа, перед самым рассветом, рядовой второго полка, первого батальона, первой роты Филипп Митрофанович Шаповалов потерял сознание. Еще через час он, не приходя в себя, умер.

Кто-то сказал, постояв над ним, опечаленно:

— Надо же! С того света человек вернулся, и для чего? Единственно, чтобы сообщить, какую фамилию написать на фанерке.

2

Филипп Македонский говорил, что самая трудная война, которую он когда-либо вел, была война с его супругой Олимпией.

Для меня самая трудная на свете война — моя повседневная работа с Федором Марчином.

Как некие дикари, поклонявшиеся солнцу, мой «прямой, но посредственный начальник» поклоняется слову «нельзя». По его представлениям, подчиненные созданы лишь для того, чтобы исполнять его приказания. Ни думать, ни желать, ни стремиться к чему-либо им не положено. Раз я желаю — сама! — что-то трудное сделать, он сразу же настораживается и растерянно соображает, хлопая бесцветными ресницами: а почему это я желаю? Что за этим скрывается, не предусмотрено уставом? Идти вместо отдыха помогать в «сортировку»? Нельзя. Ехать вместо Мамоновой в полк? Нет, нельзя. Нельзя — на все случаи жизни.

Конечно, он меня отругал, когда я вернулась из операционного блока с салфетками: «Вас за смертью посылать! Пошли — и пропали!» И поскольку я не могла оправдаться — никто у Калугина меня не задерживал, я сама напросилась, — мне пришлось промолчать, что немало изумило Федора Марчина. Он хотел было еще что-то строго сказать, но, как машина, вдруг резко затормозившая на льду скользкой дороги, пошел «юзом».

— Я ведь вам повторял... — И выскочил на мороз без шинели и шапки.

Через минуту вернулся, сказал примирительным тоном:

— Здесь тебя кто-то спрашивает...

Уже не «вас», а «тебя»! Интересно.

Выхожу из палатки.

У тамбура, с повязкой на лбу, Железнов.

— Гора с горой не сходится, а пьяный с милиционером всегда сойдется,— говорит командир полка. И показывает на голову: — Вот, поймал на память осколочек. Принимай гостя...

— Заходите! Вам всегда рада...

В палатке Железнов долго оглядывается с яркого света: здесь тесно, темно. Но, уже оглядевшись, тотчас предлагает:

— Разреши, Шура, покавалерничать!

И пока я заканчиваю дневные дела: кипячу иголки и шприц, набираю из ампулы камфару, пантопон, он несет за меня попить раненому, потом ставит на печку ведро, набитое снегом, натаять воды на чай, рубит мерзлый хлеб топором и раскладывает его на раскаленное железо аккуратными кусочками, то и дело их поворачивая, чтобы не подгорели.

Я говорю ему:

— Вам вредно так много двигаться. Надо лечь, отдохнуть.

— Отдохнем на том свете. За всю жизнь сразу.

А ночью, когда все засыпают в палатке, даже санитары и Марчик, измученные работой, мы сидим с Железновым возле раскалившейся темно-вишневой печи на сырых чурбаках, и командир полка щурится от яркого пламени, на миг плотно прикрывает покрасневшие, заплаканные влагой глаза.

— Что, плохо вам?

— Плохо, Шура! Не знаю, как буду жить без Мити. Просто не представляю! — говорит он и быстро закрывает ладонью лицо, наклоняясь так низко, что я отворачиваюсь: я все никак не могу привыкнуть к мужским слезам. Мне они всегда кажутся едкими, черно-свинцовыми. — Эх, орел был, орел! — продолжает Матвей Илларионович, справившись с минутной слабостью. — Настоящий орел... — Он с тоской глядит куда-то в угол палатки. — Понимаешь, я ведь даже не знал, что он пошел в эту роту. А там паника, свалка. Командир убит. Политрук убит. Взводных нет никого: все ранены. А приказ Маковца — взять во что бы то ни стало эту высотку с ходу, в лоб. Пулеметы бьют, нет силы подняться. Ну а Митя, ты сама знаешь, человек с большой буквы. Он все понимал: без поддержки артиллерии и танков эту хреновину не взять никогда.

Но приказ есть приказ. Вынул из кобуры пистолет, поплотнее надвинул ушанку на голову и—пошел впереди роты. Во весь рост...

Железнов умолкает. Сопит, сморкается, в грязный, скомканный платок. Запихивает его подальше в карман. И тут же опять вынимает и снова сморкается.

Говорит, задыхаясь, давясь слезами:

— Знал бы я, что он там, я бы сам пошел, повел эту роту, а его не пустил... Вот то и беда, что узнал слишком поздно!

Я сижу, слушаю, и уши мои горят. Горят не от жаркого огня, потрескивающего в печи, а от стыда за ту глупейшую мелочную обиду, какую я Дмитрию Ивановичу причинила там, в лесу в Приуралье.

А Железнов словно мысли мои читает.

— Мы с ним, пока ехали на фронт, всю дорогу о тебе говорили.—Командир второго полка кивает в мою сторону.—Тебе не икалось? Митя все сетовал, что не подошел к тебе, не простился. Эх, Шура! Шура! Ну, да что там... сама небось понимаешь...

Железнов сдвинул шапку на затылок, открыв забинтованный лоб. Белизна бинта еще резче подчеркнула сухой зимний загар Матвея Илларионовича, его суровые косматые брови.

— А высотку не взяли,—продолжает он.—И кто встал с ним, те все полегли. Хотел я было Митю к награде представить, а Маковец карандашом через весь наградной лист—р-раз, два! И крест—вот такой. За что, мол, ему орден?! Какие такие подвиги совершил? Тоже, мол, нашелся герой! Высотку-то не взяли...

Я молчу и только прикладываю к лицу холодные пальцы и внимательно слушаю Железнова.

Я думаю о Шубарове: какой он был незаметный. Хорошие люди всегда незаметны. Как воздух, которым ты дышишь. Их отсутствие замечаешь только тогда, когда их уже нет.

Мне в нем многое нравилось, в Дмитрие Ивановиче. Главным образом то, что хорошее никогда не лежало в нем на поверхности. Хуже нет, когда у человека на лбу аршинными буквами написано: «Я отзывчивый!» А он в общем-то не был отзывчивым. И всегда со мной спорил, подчас грубовато. И не сразу меня понимал, отчего я такая с ним «иглокожая». И поссорились мы из-за ерунды.

Но сейчас для меня Шубаров герой, пусть не сделал ничего «героического». Всей сознательной жизнью он готовился к подвигу. Я уверена: он его совершил. Даже больше, чем подвиг. Своим первым движением, беззаветной готовностью встать под пули он, не ведая этого, сейчас повернул к лучшему и осмыслил всю мою жизнь. Прежней Шуры во мне уже нет и, надеюсь, не будет.

Я говорю Железнову:

— Вам нужно лечь, отдохнуть.

— А ты?

— А я посижу. Я дежурю.

Он ложится головой на вещмешок, подложив под бок еловые лапы, и тотчас же засыпает. А я думаю о Шубарове. О его одинокой, под снегом, могиле.

3

Лес звенит на морозе.

Деревья справа и слева от шоссе стоят как огромные клубы дыма: ледяное дыхание стужи вымораживает все живое. Воздух сух, мглист, он подобен мельчайшим осколкам стекла и при вздохе раздражает, царапает горло.

Женька как-то сказала шутливо:

— Война — не для жирных.

Эту истину мы постигаем на собственной шкуре.

После долгой бессонной ночи дежурства мы долбим ломами промерзшую землю для братских могил. Валим деревья. Пилим дрова, бесчисленные кубометры мерзлых дров: большие железные печи у нас топят круглые сутки. Иногда выпадает особенная неудача: ехать с бочкой к сгоревшей деревне за свежей водой. К обледенелому срубу колодца не подойти: то и дело ногами оскользаешься на крутом, льдистом куполе. Ведро на веревке резво бежит из рук и стучается о корку льда, но не проламывает ее своей тяжестью. Тогда приходится бить пешней, прорубая отверстие. Потом тянешь воду в ведре вместе с глыбами льда, плеская себе на валенки. Пока накачаешь целую бочку, вся вымокнешь, несмотря на мороз. Рукавицы, примерзшие к дужке ведра, отдираешь, как кожу...

Как-то утром я расчищаю у входа в палатку снег. Разрубаю железной лопатой спрессованные ветром го-

лубоватые плиты, дроблю их и откидываю в сторону, на серые елочки.

— Эй, Углянцева! Тебе письмо!

Это наш почтальон, Мишка Данилкин, великий шутник.

Я не верю ему.

— Врешь небось!

— Ей-богу, не вру! Глянь! — И он машет конвертом. — Сначала пляши!

— Ну нет, так дело не пойдет, — заявляю я решительно и подставляю Данилкину ножку.

Мишка валится кубарем в снег, а я отнимаю у него из рук драгоценный конверт. Так и есть, от Бориса!

В письме фотография: Борис в летном шлеме и куртке на собачьем меху на фоне своего истребителя. За спиной небо, лес, облака. Долго разглядываю и шлем, и куртку, и лицо: что-то в нем появилось чужое. В углах рта, еще недавно таких мальчишеских, в улыбке, на которую невозможно не ответить улыбкой, я чувствую опытность, что-то недоброе. И мне странно: откуда они?

Женька смотрит на фотографию через плечо.

— Гм, — говорит она наконец. — Ничего!

— Что «ничего»?

— Теперь он мне нравится!

— Только теперь?

— Да. Только теперь.

— А мне нет. — И я прячу письмо и фотографию в карман гимнастерки.

— Да, теперь в нем есть какая-то внутренняя сила, — говорит снова Женька.

— По-твоему, что зло, то и сила.

Женька чуть презрительно сморщила губы.

— Можно подумать, что ты сама доброта, — сказала она.

Я гляжу на нее и с обидой раздумываю. Я бы очень хотела раздавить в себе сразу же все дурное, но разве так в жизни бывает? Это долгое дело: по капле выдавливать из себя злобу, грубость, недоброжелательство к людям, постепенно, час за часом изменять одну за другой все клеточки тела, каждый нерв. Чтобы больше никогда не увидеть перед собой чьих-то обиженных тобой глаз. Мертвых глаз.

Эх, Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович! И все-го-то пустяк,— то, что я сама осудила в Борисе, что когда-то считала предательством, все по-глупому выместила на вас!

4

Новый год мы встречаем в глухом, серебристом от снега лесу. Каждый раз, выходя из палатки, я долгое время стою ошеломленная: какая беспечная, удивительная красота! Эти ветки, бегущие вверх увертливыми горностаями, эти белые снежные розы на кончиках еловых лап, эти искрящиеся на солнце ледяные, лучистые звезды из свежих, только что присевших снежинок! Все такое глубокое, мягкое, тихое, как предутренний сон. Никогда не поверишь, что где-то рядом, в пяти километрах, война.

В такой день не думаешь о себе, хочется знать одно: далеко ли еще до победы?

В медсанбате нет раненых, поэтому праздник вдвойне. Ни рева машин, набирающих на выезде с территории скорость, ни стонов «тяжелых», ни суеты вокруг операционно-перевязочного блока, ни пыхтения автоклавов, ни громкого голоса Александра Степановича, ни грубых окриков Марчика. Можно выспаться, привести одежду в порядок, начистить до блеска сапоги. После двенадцати будут танцы.

Я только что приехала из Москвы и бегаю из палатки в палатку, зараженная общим весельем, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Мне каждому хочется сделать что-то приятное, сказать теплое слово. Даже Марчику. Я подхожу к нему и еще издали улыбаюсь:

— Федор Васильевич, это вам от меня. Из Москвы.— И я протягиваю ему пачку «Казбека».

Марчик долго глядит на меня в упор.

Ему, видимо, трудно понять, что я с ним могу быть вежливой, внимательной к его слабостям. Это его потрясает. Нетвердой, дрожащей рукой он берет у меня «Казбек», распечатывает, с наслаждением вдыхает запах хорошего табака. Это его любимые папиросы.

— Гм... Очень приятно! Спасибо,— растерянно бормочет лейтенант.

Его красное, чисто выбритое, напудренное лицо с подбритыми бровями еще гуще краснеет. Он даже не успевает сделать мне свое обычное замечание: «Я вам не Федор Васильевич, а товарищ лейтенант», — как я уже убегаю. Мне так много еще нужно сделать всяческих дел, написать поздравления, наvertеть настоящего мороженого, «напечь» леденцов, что на помощь себе я немедленно призываю Марьяну.

— Вот тебе сахар, вот тебе кружка, переверни ее и капай, когда сахар начнет гореть!

Марьяна усаживается возле раскаленной печки, прижимает кусок рафинада к малиново-красной трубе. Запах жженого сахара сразу чем-то напоминает далекую степь, детство, отца, такую же новогоднюю елку. Мать нам часто «пекла» на праздники леденцы.

Обжигаясь и дуя на пальцы, Марьяна хохочет: ей нравится эта работа. Скоро все дно кружки в горелых, коричневых каплях. Они очень горячие, эти сладкие шарики коричневого цвета, и обжигают язык и пальцы, но каждому хочется попробовать, действительно ли это так прекрасно, как мы рассказываем, или нет. И важно кивают головами: «Да, да! Есть можно. Поймай, поймай, что-то я не распробовал. Дай еще!»

Женька делает мороженое. Она надрубила топором большую банку сгущенного молока, содержимое вылила в глубокую миску и теперь тщательно перемешивает его с чистым, свежеснеженным снегом, набранным в глубине леса позади медсанбата. Мороженое получается хоть куда!

— Девочки, у кого есть чистый подворотничок? Дайте до завтра!

— А где щетка? Кто взял сапожную щетку?

— Из тончайших парфюмов соткана душа моя...

— Эх, жалость, не купила я в Москве духов! Сейчас бы надуться!

— А я купила, — говорит Марьяна и лезет в свой вещмешок. Достает коробку «Красной Москвы». Откупоривает флакон и всех по очереди опрыскивает духами. Все пахнут «Красной Москвой». Весь личный состав батальона.

За занавеской из плащ-палатки — целый склад ненужных сейчас вещей: телогреек, ватников, валенок, шапок, рукавиц. Мы все в наглаженных юбках и

гимнастерках, в начищенных сапогах, с чисто вымытыми, разлетающимися в разные стороны волосами. В суматохе не замечаем холода. Просто несколько ближе жмемся к пылающим жаром печкам.

У огня — начищенный, вымытый, праздничный командир батальона Иван Григорьевич. Он читает стихи:

Я снег люблю за прямоту,
За свежесть звезд его падучих
И ненавижу только ту
Ночей гнилую теплоту,
Что дремлет в задремавших сучьях.

Огонь потрескивает. Все сидят перед пылающей печью, тихие, задумчивые, обнявши друг друга, прижавшись плечами. В глазах отблеск синих углей, какая-то непонятная в эту минуту печаль, тень далеких свершений, белая пыль морозной дороги.

Так стережет и нас беда...
Нет, лучше снег и тяжесть льда!
Гляди, как пролетают птицы,
Друг друга за крыло держа.

Скажи, куда нам удалиться
От гнили, что ползет, дрожа,
От острого ее ножа?

Кто-то громко хлопает в ладоши.

— Что вы, черти, приуныли?! Скоро двенадцать! Накрывайте на стол!

Незадолго до двенадцати позвонил из штаба комиссар дивизии Афанасий Безуглый, поздравил с Новым годом, пожелал успехов.

Ровно в двенадцать земля вздрогнула, поплыла под ногами. Это ударили наши батареи под Рузой. Мы все выскочили на мороз. Тонкими струйками, осыпаясь, тек снег с веток елей. Ночь была облачная, ватная, но воздух не потеплел, он стоял неподвижно, как вода в глубоком болоте, леденил дыхание. Я прижалась к плечу Марьяны. Раскрасневшаяся, с темными ласковыми глазами, она небрежным движением отбросила за плечо свою еще теплую толстую косу. Туго перетянутая ремнем, тонкая в талии, с высокой грудью, она глядела туда, в сторону запада, с ожиданием: может, еще ударят?

Александр Степанович только коротко крикнул, взглянув на нее. Покошил на Петрякова.

— С Новым годом! С новым счастьем, Марьяна!

- С новым счастьем. С Победой!
- Ой, девочки! Смотрите, смотрите!

Над лесом, над остроконечными верхушками темных елей белой дугой прочертила небо ракета. Орудия снова ударили. И еще! И еще! Ракета, видимо, указала на цель. Мы насчитали один за другим двенадцать залпов: артиллеристы работали по кремлевским курантам.

- Молодцы! Желаем удачи!
- Ужинать! Ужинать! Танцевать!
- С Новым годом, Иван Григорьевич!
- С Новым годом, Шура! С Новым годом, Марьяна!
- Кирка! Вальс.
- Дайте человеку сначала поесть!
- Успеешь, еще наешься! Впереди целый год! Музыку! Скорее музыку! Вальс! Вальс!

Мы гадаем в эту ночь: снимаем сапоги и кидаем на снег, за шлагбаум. В какую сторону пойдем замуж?

Все сапоги упали в сторону запада. Только мой и Женькин легли носком на восток.

Так стережет и нас беда...
Нет, лучше снег и тяжесть льда!

Иван Григорьевич привлек нас троих к себе, обнял и сказал:

— Ну, что, девочки? Теперь вы знаете, каково воевать?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 1

Февраль — «кривые дороги» — начинался курой, буйной непроглядью метели, змеиным извивом поземки.

После боев за Можайск и Рузу дивизия Осипа Маковца отошла от передовых и в течение нескольких дней усердно «чистила перышки»: все мылись, стриглись, брились, меняли белье. За два месяца непрерывных боев дело не обошлось без «блондинки». От заледенелых, неубранных по полям мертвяков, от гнилой, истерзанной в прах соломы в отвоеванных у врага зем-

лянках и блиндажах эта тварь особенно охотно шла к горячему, потному солдатскому телу, к живью, особенно на ночлегах, в потемках. И вот теперь люди жарили в дезкамерах завшивленные шинели и гимнастерки.

В воскресенье днем в Дорохове, несмотря на сильный мороз и ветреную погоду, был дан смотр войскам и оружию, а уже к ночи, в метель, полки походной колонной двинулись на Верею, держа направление на Вязьму.

От мороза и встречного ледяного ветра, бившего в лоб, обмерзало лицо, сдавливало виски, ломило челюсть. На обледенелых буграх и взгорьях низовка, как белые путы, прочно вязала идущим ноги, мешая движению, замедляя и без того не очень-то шибкий шаг. Сбившись с ритма, бойцы устало месили сугробы в бесчисленных оспинах следов, тут же заметаемых космами вьюги. В глубоких, разъезженных колеях машины то и дело садились на дифер, буксовали на взгорках. Тогда группы красноармейцев дружно наваливались, раскачивая застрявшую полуторку: «Раз-два — взяли! Еще взяли! Раз-два — дружно!» А она, как живая, упиралась, увиливала, пока наконец, извернувшись, не выскакивала на надутый ветром, уплотненный сугроб, да и то лишь затем, чтобы через два шага еще ловчей засесть в неприметной ложине или же, взобравшись на пригорок, встрянуть в общий, еще более прочный, великий затор.

В походной колонне ударной армии, в которую влилась и дивизия Маковца, давно уже все перепуталось, перемешалось: танки, крашенные под цвет снега, где-то отстали в пути без горючего. Заиндевелые кони обозов, вырвавшись вперед, теперь спокойно вышагивали среди разведчиков в маскхалатах. Кавалеристы в роскошных малиновых башлыках и черных бурках, теплых, как одеяла, топтались позади, где-то возле тыловой армейской пекарни, по сути — в обозе. Медсанбат с обессиленными медсестрами и врачами в пешем строю растянулся на марше, по крайней мере, километров на десять, а то и больше. Пойди собери их в случае надобности!

Давно уже кончилось густохвойное Подмоскovie.

Замелькали названия городов и деревень, пахнущие медом, вереском, луговой ромашкой: Купелицы,

Медынь, Юхнов, Мятлево, речка Шаня, Угра, Воря. Вместо уютных, темно-зеленых подмосковных лесов потянулись пустынные, открытые всем ветрам и выюгам, в мелколесье и в болотах равнины Смоленщины. И давно бы уже надо было оглядеться как следует: подбрать «хвост», втянуть «голову», развернуть шире «плечи», — но враг отползал, казалось совсем уже издыхая. Он даже не успевал огрызаться и жечь деревни, угонять население. В этом виделся добрый знак. Сама радость движения, не прерываемого большими боями, а только стычками, мелкими схватками, кое-кого уже сладко заманивала, обещая невиданные боевые успехи.

Казалось, ничто не предвещало опасности.

Но за Шанским заводом бойцы, шедшие за головной колонной, увидели на снегу многочисленные воронки от авиабомб и дотлевающие остатки разбитых автомашин. Кто-то стал поговаривать, что дальше на запад, за Обносом, и вовсе нет ходу. Что морозными ясными днями фриц с воздуха житья не дает, двигаться надо теперь только ночью, скрытно, а днем рассредоточиваться и отсиживаться, маскируясь от самолетов, чтобы сохранить боевую технику и людей.

Кто-то деловито заметил, что ни справа, ни слева от походной колонны никого нет, на флангах давно уже не слышно соседей, и теперь надо бы повременить, задержаться: не иначе как дело пахнет бедой. Но никто, конечно, не повременил и не задержался. Да и смешно было бы на войне выжидать и искать для боя желанного часа и дня. Раз дорога впереди свободна, чиста, то и надо идти вперед как можно быстрее и не осторожничать, не впадать в панику. Там, на западе, ждут освобождения миллионы советских людей. Ради этого можно рискнуть.

Я лежу на комбатовских, крытых медвежьей полстью саях. Мое тело сотрясается от сухого, жестокого кашля. Сильный жар сушит губы. Хочется пить. Но пить нечего. Вокруг только снег. Один только снег, и больше ничего. Снега много. Он кружится, вьется перед глазами, летит комьями из-под копыт комбатовского коня.

Отсюда, с охапки сена, брошенного мне Федором Марчином в голову, земля и небо кажутся густой молочной лапшой; хлопья снега летят так густо и так

стремительно, что они как бы прочерчивают зримые белые полосы в воздухе. Иногда под порывами ветра они завиваются, жирно кудрявясь. Ветер рвет сено клочьями из-под меня. Голова подскакивает на ухабах, стучается об оголившийся задок саней, и я с трудом удерживаю рвущийся из груди глухой прерывистый стон.

Марчик останавливает Ястреба.

— Ну что, очень плохо, да? — участливо спрашивает он, наклонясь надо мной.

Держа одной рукой вожжи, намотанные на ладонь, другою, свободной рукой он подпихивает под меня со всех сторон уже затертое цигейковое одеяло. Прислушивается, когда мой кашель прерывается болезненным, хриплым воплем: «Пить».

— Ну-ну, потерпи. Нету пить ничего, — говорит Марчик, и я гляжу на него с некоторой опаской: как бы он не отправил меня назад с какой-либо встречной подводой в чужой госпиталь.

К счастью, все эти дни никаких встречных подвод нет. Все движение по этой дороге идет в одну сторону: в направлении к уходящему, ускользающему от нас, неуловимому фронту. Все гусеницы, все полозья, все скрипящие на морозе колеса с белыми, пухлыми от снега втулками, все белые валенки и сапоги, проходящие мимо моего лица, на уровне глаз, идут только в одну сторону, и я не представляю себе, как это вдруг я покину свой батальон, Ивана Григорьевича Петрякова, Женьку Мамонову, Марьяну Попову, всех наших девочек, врачей, санитаров и фельдшеров, идущих в завьюженной, белой колонне. Как это я поеду от них в противоположную сторону. Для меня это все равно что пропасть навсегда, умереть.

Время от времени я засыпаю, а может быть, теряю сознание. Когда просыпаюсь, снова вижу белую спину Марчика и качающийся, словно маятник, седой хвост лошади. В лицо мне летят клочья поземки, снег хрустит под копытами Ястреба, словно щебень. Иногда я просыпаюсь в надымленной хате, в густых ядовитых волнах махорки. Вокруг меня на полу много людей. Все спят в неловких, усталых позах, прижимая к себе винтовки.

Один раз я очнулась на жарко натопленной русской печи, и это мне показалось каким-то удивительным

чудом. Значит, мне не приснилось: подъезжаем мы с Марчиком к дому, а нас не хотят пускать, говорят, что все переполнено, и Марчик, грозя пистолетом и длинно ругаясь, врывается в теплую комнату. Он идет прямо к печке и приказывает хозяйке перебраться на лавку, потому что на руках у него тяжелобольная. И старуха, злобно ворча, перетаскивает свои вещи на скамью в красный угол, а я впервые за дорогу ложусь на горячие камни и ненадолго засыпаю.

Я потом еще не раз вспомню эту длинную, душную ночь и жарко натопленную русскую печь, которая меня обогрела.

Дверь в избе то и дело открывается, взрываясь клубами пара. Люди входят с мороза, краснолицые, в белых мохнатых шапках, грохают сапогами, скалывая с каблуков налипший снег, теснят на полу уже спящих и укладываются возле них рядами, как в строю: только встать и стрелять.

Где-то очень близко, на околице, как большие стеклянные лампочки, лопаются мины. Потом время от времени вдалеке что-то грозно и железно скрежещет, словно включают большую циркулярную пилу. И вся изба сотрясается, и кто-то бессонно ворочается на полу и вздыхает:

— Вот дают прикурить! Вот дают прикурить!

Я лежу на печи, задыхаясь от табачного дыма. Мне хочется пить, но почему-то нельзя попросить, нельзя шевельнуться. Может быть, потому, что боль где-то рядом, она притаилась, как зверь. Мы с ней следим друг за другом ненавидящими глазами до оранжевых кругов, до пятен в воспаленных зрачках — кто первым сдастся: я или она?

Пока я лежу неподвижно, спокойно, и она лежит тихо. Но стоит мне поднять голову, вдохнуть в себя воздух поглубже, заговорить — и боль, похожая на небольшого, но свирепого зверя, кидается на меня, начинает разрывать железными, зазубренными когтями мою избитую кашлем грудь, царапает горло, сотрясает все тело.

Тогда я бессильно роняю голову на кирпичи, и боль затихает. Она словно насытилась. И так мы долго лежим: я сама по себе, а она сама по себе — притаившаяся, ожидающая.

— Шура! Шура, проснись!

Рядом с моим лицом голова, возвышающаяся над приступком, в мокрой шапке от талого снега, с сосульками на подшлемнике. Усталое, черное от мороза лицо комбата.

— А, это вы, Иван Григорьевич,— отвечаю я вяло, невнятно и опять валюсь головой на горячие камни.

— Он трогает меня за рукав:

— Шура, проснись!

Потом прикасается мокрой, холодной ладонью к моему лбу и вздыхает:

— Э, да тебя нельзя дальше везти! — говорит он откуда-то издалека. — Какой жар!.. Надо в госпиталь срочно. Когда наши поедут за оставшимися вещами назад, они тебя отвезут.

— Иван Григорьевич, не надо,— говорю я тихо и отворачиваюсь, чтобы он не увидел слезы в моих глазах. — Я вас очень прошу. Не надо! Не отдавайте меня никому, я умру. — Я гляжу на него умоляюще.

Петряков стоит на приступке печи, держась рукою за острый край беленого кирпича. Потом он отнял руку, поглядел на нее, словно там, на ладони, лежал ответ. Подумал. Неожиданно смягчаясь, сказал:

— Ну ладно! Что с тобой сделаешь. Не хочешь — не надо. Лежи пока здесь. Приедем, заберем! Есть хочешь? Тебя кормили?

— Нет. Не хочу. Пить!

— Пить? — Он задумался. — Хорошо. Я Марчику прикажу. Там сухофрукты у нас в мешке. Пусть скажет хозяйке, она сварит.

Он внимательно глядит на меня не то сочувствующе, не то осуждающе. Я вижу совсем близко его блестящие, черные, словно вишни, глаза. Он крепко жмет мои вялые, липкие пальцы.

— Ну, все! Не хворай! До свидания.

— До свиданья, Иван Григорьевич. Спасибо вам.

Мне бы надо было ему сказать: «Остановитесь, Иван Григорьевич! Запомните эту ночь. Она в вашей жизни последняя. Правда, будут у вас и другие ночи, и день еще будет, и солнце, но вокруг вас будет лежать только мертвый, безжизненный снег. И будут чужие танки за белым сугробом. И чужие орудия, наведен-

ные прямо на вас. И дула чужих пулеметов, следящие за каждым вашим движением. И чужие люди, прячущиеся и справа, и слева, и сзади, и спереди за реденьким, словно счастье, кустарником. Они будут ловить вас. Целить в вас. А вы об этом еще ничего не знаете. И я тоже не знаю. И никто из нашего батальона не знает. Никто, кроме врага. Но все будет именно так».

Мне бы надо было сказать ему самое главное: «Земля держится не на столбах и не на китах, а на таких людях, как вы, Иван Григорьевич. Так поэтому не умирайте. Вы еще нужны людям. И десять, и пятнадцать, и двадцать лет спустя после этой войны нам все еще не будет хватать вашей честности, прямоты, вашего мужества, вашей умной, доброй улыбки. Зачем вам умирать? Пусть враги умирают! Пусть трусы и подлецы умирают. А вы жить должны! Вам нужно жить. Так живите же...»

Но он ушел. Ведь он не знал ничего. И я ничего ему не сказала, потому что тоже еще ничего не знала. Зато мы с ним поговорили о госпитале и сухофруктах.

3

Петряков открыл дверь из избы на улицу, в темноту — и отшатнулся.

Прямо в ноги ему, с налету кинулся вихрь, как собака, толкнулся в колени. Горбатые волны вьюжного снега шли от самой двери, тряся белыми гривами, перебегали дорогу. Петряков даже закрыл глаза рукой — так вдруг со света, с тепла у него закружилась уставшая от бессонницы голова, поплыли перед глазами гривастые волны.

Но машина ждала на обочине. Надо было скорей ехать вперед, и он подавил в себе и усталость, и вдруг возникшее неожиданное чувство тревоги: «А не лучше ли обождать? Переночевать в какой-нибудь избе. Утро вечера мудренее. А то едем куда-то без оглядки. Что там, впереди? Никто ведь не знает, что там происходит».

Он, задумавшись, постоял неподвижно, по колено в сугробе. Расценил свое чувство тревоги как бабство и слабость и отбросил его. Подошел к шоферу, заливавшему в радиатор ледяную колодезную воду, спросил:

— Что, закипел?

— Можно чай пить,— пошутил шофер Кисляков, вытирая грязной рукой замерзшие губы.

Кисляков и сам попил ледяной воды из ведра через край и теперь снова готов был ехать. Куда и зачем, он не спрашивал. Он ни разу в жизни не задавал себе подобного вопроса и не сомневался в значении того дела, которое делал. Всякая поездка означала какую-то пользу: раз приказано ехать, значит, нужно ехать. Так было в колхозе, на Тамбовщине, где он работал до войны. Так было и здесь, в армии, на войне. Другого отношения к работе у него не было.

— Ну что, Иван Григорьевич? — спросил Коля Гурьянов, перегибаясь через борт кузова.— Как там дела?

— Дела как сажа бела! — откликнулся кто-то из мрака с соседней машины, но Петряков не поддержал пустой разговор.

— Едем, едем! — крикнул он наверх, стараясь перекричать вьюгу. Но ветер забил ему глотку. Он закашлялся.— Заворачивайтесь там потеплей! А то замерзнете. Давай заводи! — приказал он Кислякову.

Мотор взвыл. Машина с трудом стронулась с места и поплыла по белым волнам мимо темных, спящих домов, возле которых стояли армейские грузовики, прикрытые сверху брезентом. Это, видимо, ночевали такие же выбившиеся из сил люди, как Федор Марчик с Углянцевой, и Петряков не обратил на них никакого внимания. У него даже не мелькнуло и мысли о том, что какие-то люди останутся позади, за спиной, и что им с утра уже будет светить совершенно другое, счастливое солнце.

За деревней дорога сужалась в сугробах, становясь все больше похожей на узкое ложе канала, чем на обычный зимний проселок. Справа и слева от пути возвышались такие отвесные груды снега, что люди, сидевшие в кузове на узлах и тюках с оборудованием, ничего не видели, кроме этих белых, изрезанных снеговых стен. Наверно, часа три назад по этому белому ледяному каналу прошли дорожники слопатами, и то, что они здесь прошли, успокоило Петрякова. Ни ему, ни шоферу не подумалось о беде.

Подремывая, прислонясь головою к дверце кабины, Иван Григорьевич мысленно представил себе этот путь, по которому ехал: длинная, вытянутая колонна

войск — вся ударная сила армии — движется к Вязьме среди серых равнин, мелкокося и редких, дремлющих в темноте деревень. Фронт откатывается под ударами все дальше и дальше. И чем быстрее дивизия будет двигаться, тем скорей и победа...

— Иван Григорьевич! Вам не кажется, позади нас стреляют? — спросил вдруг Кисляков, сбавляя газ.

Дело двигалось уже близко к рассвету. Позади оставалась еще одна мирно дремлющая деревня с переполненными дворами, набитая временными постояльцами. В предрассветной серой мгле вокруг них лежал лишь серый, предутренний снег да за серыми стенами сугробов темнели кустарники.

— Нет. А что? — как-то вдруг пробуждаясь и страхиая с себя дремоту, спросил Петряков. Он насто-роженно прислушался. Приказал: — Глуши мотор!

Он вылез из кабины и оглянулся: по дороге что-то с силой ударило. Звук был хлещущий, гулкий. Где-то рядом фыркнул осколок.

Шофер замер, белый как мел.

— Танки! Вы видите? Немцы бьют! — крикнул он непослушными вдруг губами. — Окружают!

— Стой! — Комбат обернулся. — Не кричи!

Он прислушался. Да, шофер не ошибся: танки били откуда-то с тыла, совсем близко. Несколько шедших позади грузовиков разом вспыхнули в полутьме. Дым потек над равниной. Впереди было тихо, а ведь туда, к Вязьме, прошла вся дивизия вместе со штабом и все командиры, Безуглый и Маковец. И если действительно дивизию окружили, то сейчас лучше ехать туда, поближе к своим, чтобы вместе с ними попытаться пробиться. Возвращаться назад одному — это верная смерть.

Петряков хлопнул дверцей кабины и приказал:

— Вперед!

ГЛАВА

ПЯТАЯ

1

Борька, Борька! Где ты сейчас?

Почему нет тебя над моей головой, твоих верных, бысролетных серебряных «крылышек»? Заслони меня! Защити... Откликнись, где бы ты ни был: в небе

над Мурманском, над Воронежем или Ростовом... Ты, наверно, надежно прикрываешь пехоту?

Я лежу в чахлых кустиках краснотала, в отрытой собственными руками небольшой ямке. Но сверху, вероятно, все хорошо видно на солнце, не спрячешься никуда. На голубой пелене ослепительных, свежих снегов, я так думаю, далеко видать мое распростертое, выпирающее из чахлых прутьев большое темное тело.

Я поднимаю голову и оборачиваюсь на знакомый, немного тягучий ноющий звук. Мне отсюда, снизу, тоже хорошо видны и стеклянные линзы защитных очков немецкого летчика, и лучи заходящего солнца на блистающих покатых боках кабины. И я тычусь лицом в сухой, жесткий снег.

Все тело мое трепещет от непреодолимого смертного ужаса, вжимается в землю. Сейчас я хотела бы стать невидимой, плоской на снегу, как бумага.

«Фию-у-у! Фию-у-ую! Чпок... Чпок...»

Рядом с моим плечом на слепящем, сверкающем насте — рваные матовые звезды: след от крупнокалиберных пуль.

Он всего ничего и промазал, фашист. Каких-нибудь двадцать пять сантиметров. Теперь он опять, наверное, сделает новый заход. Пока солнце скроется за горизонтом, он еще натворит здесь беды.

Я оглядываюсь, зябко ежась. Со мной на санях были люди. Где они? А, вон один притаился, тоже ямку себе копает, торопится. Вон второй. Он лежит уже неподвижно, не шевелится. И еще вон один. И еще...

В стороне, на дороге, метрах в пятнадцати от меня, убитая лошадь и поставленные боком на полоз разбитые сани комбата.

Самолет заходит со стороны солнца снова, еще более узким, еще более низким и медленным кругом: туго стягивает накиннутую мне на горло петлю. Белая матовая прошва от пуль двоится совсем рядом с моим плечом.

Неужели опять промазал?

Грохот взрывов накатывается, ослепляя меня даже сквозь плотно закрытые, сжатые веки. Вот он ближе, ближе... Я обдираю себе щеки о белую, жесткую, как наждак, корку наста, так мне хочется еще плотней, еще глубже втиснуть голову в снег.

По такой жалкой цели, как я, как все мы, по пяти-

шести бойцам и уже убитой лошади — бомбами?! Во мне поднимается, закипает глухая волна ненависти. Мне хочется приподняться и погрозить летчику кулаком: «Погоди! Мы припомним тебе!» Но сзади, со спины, что-то грузное, черное ватно наваливается на меня. Густая тротиловая вонь шибает мне в нос, затыкает глаза, горло, уши. Какая-то свирепая сила подбрасывает меня и швыряет в сугроб. Ударившись грудью о землю, я словно проваливаюсь в глубокую черную яму и плыву, вытягиваясь в узкую плоскую бесконечность.

— Сестра-а-а, а сестра-а-а!

Голос идет из кустарников у самой дороги. Я и не знала, что там тоже кто-то лежит.

Мне сразу становится тоскливо и одиноко: почему именно я одна среди стольких мужчин сейчас должна встать и идти на помощь? Разве я сильнее, бесстрашнее их?!

Приподнявшись на онемевших локтях, я опять гляжу на заходящий, как стрелка по циферблату, вражеский самолет. В лицо мне брызжет острая снежная пыль.

— Сестра-а-а!

— Да, иду! Я сейчас, — говорю я ему почему-то шепотом.

Я ползу по заструганным ветром гребням сугробов, обдирая о шершавый, грубый наст уже расцарапанную и саднящую кожу рук.

На полпути к своей цели я вдруг начинаю шарить у себя по карманам: у меня нет ни ножниц, ни финки — я ее потеряла, — ни бинта. Собственно, даже если я сейчас и доползу, я ничем не сумею ему помочь, этому раненому. Свою нижнюю мужскую рубашу я еще днем сняла с себя и изорвала на длинные полосы, которыми привязывала к ранам крохотные марлевые клочки, обрезки единственного оставшегося «для себя» индивидуального пакета. Сейчас можно было бы, конечно, перевязать носовым платком, если бы он был у меня. Но платка у меня давно уже нет, я его еще месяца два назад потеряла.

Я смотрю на небо, а сама все ползу. Немец снова летит, вот он уже заходит со стороны солнца. Я жду. Сейчас он опять застучит своим черным отбойным молотком, начнет рушить небо.

— Сестра-а-а!

Нет, если я не встану сейчас, я потом всю жизнь буду себя презирать за эту минутную слабость! Я должна встать.

Я встаю.

Нет, я не встаю. Я вскакиваю и с подламывающимися ногами, с бьющимся где-то в желудке, распухшим сердцем перебегаю и снова валюсь на снег, на сугроб, рядом с кустарником. Теперь я хорошо вижу раненого. Он в узкой, как корытце, ложбинке.

— Ну что с тобой? Куда ранен? Говори.

Это Марчик. Как я его не узнала! В суматохе бомбежки и стрельбы из пулеметов я даже не разобрала, что это он звал меня. Я должна была узнать его хотя бы по голосу. Слава богу, за пять месяцев нашей совместной службы в батальоне я должна была научиться узнавать своего непосредственного начальника хотя бы по голосу.

Мой командир отделения лежит на спине, лицом к небу, и хрипло дышит, толчками гонит кверху из легких насыщенную пузырьками воздуха бледную кровь. Пулеметная очередь прошла вдоль всего его тела насквозь. Я вижу круглые пулевые отверстия, они аккуратно пришиты к шинели, как темные пуговицы.

Никакая, даже самая скорая помощь ему сейчас уже не поможет. Даже если его сию же секунду положат на операционный стол.

Но он смотрит мне прямо в глаза и ждет, что я скажу.

— Шура,— шепчет Марчик.— Милая! Хорошая! Помоги.

Я киваю ему и оборачиваюсь назад.

— Эй, ребята! — кричу я.— У кого есть индивидуальный пакет? Бросьте сюда.

Потом наклоняюсь над ним и привычно спокойным, профессиональным голосом говорю ему:

— Ну вот, сейчас... Сейчас мы вас перевяжем. И все будет хорошо!

Мне надо скорее на нем расстегнуть ремень, снять шинель, телогрейку, гимнастерку, нижнее белье, потом уже бинтовать. Но едва я только дотрагиваюсь до него, как он последним усилием, последним толчком выжимает из легкого темнеющий сгусток студенистой крови. Вот он пытается еще раз вздохнуть поглубже, хватая воздух посиневшими, тонкими, словно нитки,

губами. И — не может. Глаза его медленно меркнут, закатываются.

Все. Кончено.

Я трогаю его обмороженные, распухшие пальцы. Они уже плохо сгибаются, леденеют.

Теперь я совсем одна. Со мной больше нет никого из нашего батальона.

Я гляжу на Марчика, и мне мучительно жаль его: в дороге во время моей болезни он так старательно за мною ухаживал, кормил, поил меня с ложечки, подтыкал на саях одеяло, воровал у чужих ездовых свежее сено вместо измятого или сдутого ветром. Он вносил меня на ночлег в избы, наверное, на руках, потому что я не помню, чтобы я шла сама, без посторонней помощи. Я, наверно, не могла бы идти на своих ногах. Во всей этой сумятице наступления он не только поддерживал жизнь в моем теле, еле теплящуюся от голода и от холода, но еще и выхаживал меня, и лелеял, как заботливая, примерная нянька. Иначе откуда бы у меня сейчас были силы бегать по полю от самолетов, рыть собственными руками яму в снегу, чтобы в ней прятаться, а потом переползать и перевязывать раненых?

Я гляжу на зеленоватое, снеговое лицо Федора Марчика, и мне холодно, жестко от его мертвого взгляда. Почему он, а не я?

Федор, в сущности, был хорошим, отзывчивым человеком. Просто он напускал на себя непомерную важность. Выдумал, что он очень большой начальник, а поэтому может ломать характеры у подчиненных. Поживи-ка он годик-другой, повоюй, может быть, он тоже стал бы замечать в людях не глупые мелочи, а то главное, что их определяет.

Я гляжу на побелевшее, каменное лицо Федора Марчика, и мне боязно, грустно. Без Марчика я вдруг чувствую себя почему-то беспомощной. А мне сейчас нужно действовать, принимать какие-то меры.

Небо из бледно-голубого уже становится темно-лиловым, седым. Я люблю эти длинные переходы, февральские васильковые сумерки. Но сейчас ни в вышине, ни у самого горизонта, над опустевшей деревней, — нигде нет этого мирного синего цвета. Там, на западе, что-то горит: там колыхнется, переваливается

с боку на бок, гулко грохает желтовато-бурое зарево; оно мечется в ограниченной узкой черте, но отблески, отсветы, дымные клубы расходятся от этого места далеко во все стороны и издали кажутся такими громадными, устрашающими. Они очень пугают.

Самолет улетел. Последний заход он сделал уже пустой, расстреляв все пулеметные ленты, все пушечные снаряды и сбросив на нас бомбы и всю железную мелочь: осколочные гранаты, какие-то палки, железки и даже дырявую бочку из-под бензина. Эта бочка и наделала больше всего шума и грохота, пока падала и крутилась волчком, завывая и переворачиваясь в безветренном воздухе.

Но у меня уже нет сил, чтобы встать и уйти. Во мне тоже все умерло, как и в Марчике, с единственной только разницей, что я еще дышу, еще думаю, наблюдаю. Но, в общем-то, мне уже больше не хочется ничего. Мне хочется спать. Спокойно спать вот на этой белой плоской земле. До самой победы.

Я не знаю, где сейчас наши. И вообще, что случилось? Почему я осталась одна? Почему нам пришлось отступать под минометным огнем? Почему целый день в Белом Камне немецкие штурмовики на бредущем полете гонялись по улицам за каждым человеком и бросали бомбы на нашу несчастную лошадь?

Я с трудом приподнимаюсь и, стоя в снегу на коленях, оглядываюсь. Вокруг меня только мертвые. Их знаю всех наперечет. Живые, по-видимому, поодиночке давно расплзлись по кустам и ушли, не окликнув меня. Может быть, они позабыли, что я существую?

Я встаю и, пошатываясь, добредаю до лошади.

Здесь тоже нет никого. Опрокинутые, стоящие боком сани, переломанные оглобли, рваные построжки. Убитая, отощавшая лошадь комбата. Знаменитый на всю дивизию Ястреб.

Справа и слева от дороги, как степные цикады, опять начинают потрескивать пулеметы. Изредка, не торопясь, как будто бы с точностью до одной сотой отмеривая человеку его норму жизни и смерти, работает артиллерия. Но она где-то очень уж далеко. В таком чистом морозном воздухе звук выстрела обычно разносится очень хлещуще, звонко, когда это близко, но сейчас разрывы снарядов звучат мягко, бархатно, приглушенно и, я чувствую, далеко.

Какие-то незнакомые мне люди поодиночке теперь почти беспрерывно идут по дороге мимо меня: из горящего Белого Камня в Обнорово. Они тоже неловки и растерянны, как и я. И я их не останавливаю, не спрашиваю: кто, куда? Меня тоже, в свою очередь, никто не затронул, не спросил, что я здесь делаю, почему я одна. А идут все бойцы с оружием, и не все из них раненые. Многие шагают довольно споро, легко.

2

Небо быстро темнеет. Становится холодно. Я вдруг особенно остро ощущаю этот дикий холод и пустынную плоскость белой равнины с длинными цепочками трассирующих пуль в ее западной стороне и с такой тревожной, непонятной для меня темнотой позади, куда все идут, там, на востоке. Вдруг что-то шарахнулось над землей. Потом раздался сильный и частый уничтожающий грохот. Земля мелко, трусливо подрагивала от ударов.

Кто-то позади меня сказал с хриплым смехом:

— «Катюши» играют...

Я вздохнула и засмеялась. Я обрадовалась «катюшам» — хоть кто-то играет в этот час — и человеческому голосу. За один этот день я совсем одичала. И хотя меня никто не ждал в опустевшем Обнорове, через которое наша дивизия давным-давно прошла в сторону запада, я тоже потащила следом за теми, кто шел назад, на восток, по темной, накатанной за день морозной дороге. По пути я то и дело натыкаюсь на трупы убитых, на медленно ковыляющие группы раненых. Некоторые из них опираются на винтовки, как на костыли, и громко стонут. Другие идут молча. Но все они, как и я, то и дело оглядываются назад, на горящий Белый Камень. Наверное, они тоже отступают первый раз в жизни и, может быть, как и я, в последний. По крайней мере, я даю себе такую клятву: отступаю в первый и последний раз!

Когда наконец совершенно стемнело, я совсем уже выбилась из сил и замедлила шаг. Теперь мне окончательно захотелось остаться одной на этой холодной равнине. Но кто-то угрюмо сказал рядом: «Идем, идем, сестра! Не отставай!» И я снова пошла, стараясь не отставать от незнакомых мне, молчаливых людей.

— Нечего было в Макашине валандаться! — сказал кто-то грубым голосом. — Или взад ехать, или вперед. Теперь бы уже в Вязьме были.

— Кто-нибудь будет в Вязьме, не бойся! — заметил другой. Голос его был позвонче, помоложе.

Они оба со злом тяжело вздохнули.

Макашино?! Теперь я вспоминаю. Деревня Макашино по карте лежит от Белого Камня еще дальше на запад. Это следующий населенный пункт, через который наша дивизия должна была проходить. Так я слышала.

Шагая за чужими бойцами, я вспомнила, что мы с Марчиком уже были в Макашине. Когда? Я не помню: в голове у меня все как-то странно перемешалось. Наверное, в то самое злополучное утро, после первой бомбежки.

...Мы быстро выехали из Белого Камня, где ночевали, и оказались в открытом поле. Дорога была забита машинами и обозами. И Марчик все ругался и крутил головой, подстегивая Ястреба. А когда мы подъехали к Макашину, нас встретили выстрелы из минометов.

— Немцы! — крикнул кто-то, летящий нам навстречу в санях.

Люди, лошади, грузовики — все на миг замерло на дороге. В бело-розовых от рассвета березах стрекотали немецкие автоматы. Из-за домов Макашина вдруг выползло что-то бледное, серое, похожее на огромную вошь, и стало медленно поворачиваться. Белый дымок окутал это нечто бледное, серое, и машина, идущая впереди нас, вспыхнула и загорелась.

— Немцы! Танки! — кричали обегавшие нас красноармейцы, а Марчик оглянулся, но уже не на Макашино, а на небо. А там плотным строем, гудя, шли немецкие самолеты.

Я не помню, кого я там перевязывала посреди поля, сидя в санях. Только что ушли самолеты, и Федор Марчик поддерживал человека, а я перевязывала. А потом Федор Марчик поддерживал меня, а раненому говорил: «Ничего, ничего, нагнись к ней поближе. Она перевяжет».

Когда кончился перевязочный материал, он пошел назад по дороге, обшарил тела убитых и принес мне три индивидуальных пакета: «Понимаешь, больше нет. Только три. Тебе хватит?» И я ответила: «Хва-

тит», — хотя от Макашина шли и шли окровавленные, бледные люди. Один из них полз, оставляя красный след на снегу.

А потом и мы повернули назад, к Белому Камню, и подъехали к огородам. Здесь-то нас и застала «ваторга», как сказал Федор Марчик.

Бомбы косо отваливались от брюха самолета и летели на землю по выгнутой траектории так, что можно было заранее рассчитать угол падения и, в зависимости от силы ветра, от высоты полета и от собственной подвижности, увернуться от попадания. И мы стали высчитывать с Федором. Если ветер, например, нам прямо в лицо вместе с серией бомб, то надо бежать им навстречу, и тогда весь груз разорвется уже у тебя за спиной. А если он падает прямо на голову, оставайся на месте — обязательно бомбу отнесет в сторону. Если некогда высчитать и подумать, пригни голову пониже и считай до трех: твоя песенка спета. Неуязвимых людей на земле не бывает. Есть умение — нет удачи...

Да, там, в поле, смерть миновала Федора Марчика. Она шла за ним от самого леса в Макашине, от северо-западной его окраины, когда на нас разворачивалась серо-зеленая цепь немецких автоматчиков, и настигла только здесь, в Белом Камне, на выезде из деревни. Только здесь, где нас подстерег одиночный немецкий самолет.

3

Может быть, мне это снится?

Наяву или во сне, но я вижу сквозь боль, сжимающую голову железными обручами, что я лежу на столе под закопченными образами в дешевых, закопченных ризах из фольги. В головах у меня тусклым вернышком прорастает сквозь сумрак свеча. С тихим хрипом, со вздохами качается тень в остроконечном белом платке. Кто-то смутно бормочет, лаская, согревая мне ноги руками:

— Владыко господи, вседержителю... душу рабы твоей... от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободы, остави прегрешения ей, яже от юности, ведомая и не ведомая, в деле и слове... И приими в мире душу рабы твоей... и покой в вечных обителях со святыми твоими...

Неужели это надо мною читают? Разве я уже умерла?

Кто это молится за меня?

Снова сон. Где-то рядом качают ребенка. Кто-то тоненьким детским голоском поет: «Ой! Ой-ой! Ян — цыган молодой... Я, юная цыганка, танцую пред тобой». Потом грохают сапоги по дощатому полу, пахнущему полынью: «Мать! Свари-ка нам щей! Там консервы в чулане. Сейчас снова на передовую». Запах кожи, холодной шинели. Холодная рука на горячей моей щеке.

Непонятный, как будто на чужом языке, разговор:

— Опять летит?

— Опять.

— Вот дьявол!..

— Вчера в госпитале трех сандружинниц убило. Одной бомбой.

— Драй петух! Опять драй петух летит. Драй петух!..

Мне снится петух. Он стучит железным клювом мне в голову и кричит, кукарекает ржавым голосом: «Драй, драй, драй!» А что это такое: «Драй петух»? Я даже во сне, в беспамятстве недоумеваю. И куда он летит? И зачем? Почему он всех убивает?

Потом опять сон, темнота, жар и боль во всем теле.

Наконец вокруг меня яркое солнце. Круглый лучик его падает мне прямо в глаза. Я моргаю, морщусь, мои ресницы мелко вздрагивают, и кто-то с восторгом, с волнением восклицает:

— Бабушка! Бабушка! Гляди-ка, смотрит!

— Ой, дитятко, ожила наконец, отдышалась?

«Какая это бабушка, чья? При чем здесь бабушка? Где я? Почему я здесь?»

С теплой ложечки чуть сладенькая вода смачивает мне губы. Чья-то сморщенная, коричневая рука крестит меня: «Очнись! Очнись!» И опять вздох: «Матушка-троеручица! Спаси и помилуй...»

Снова сплю.

И вдруг перед моими глазами потемневшее, смуглое, как лики святых, такое знакомое, родное худое лицо.

Я приоткрываю пошире глаза.

— Женька! — тихо ахаю я. — Ты? Откуда?

Она наклоняется ниже и переспрашивает:

— Что? Говори громче.

Но я опять закрываю глаза и молчу. Мне вдруг стало очень жалко себя и обидно: какая я бессильная, больная! Крупная, как горох, соленая слеза выкатывается из-под ресницы и ползет по щеке, падает мне на шею где-то за ухом.

— Женька, как я тебе рада!

— Наконец-то ты отыскалась!

— А я и не пропадала,— говорю тихо я.

Но Женька вдруг становится серьезной.

Она спрашивает, наклонясь:

— Шура! Где Марчик?

— Не знаю.

— Он же, говорят, все время был вместе с тобой!

— Марчик? Нет, не знаю.

И вдруг я начинаю припоминать.

— Ах, да! Марчик... Он все время был вместе со мной.

— Что с ним? Где он?

— Он умер.

— Как умер?

— Так, умер. Убит.

Женька растерянно смотрит мне прямо в глаза.

— А Петряков?

— Петряков поехал вперед, в Макашино.

— Марьяна была с ним?

— По-моему, нет. Я не знаю. А что? Ты их с того времени не видала?

— Нет. Не видала.

— Не знаю, что здесь происходит,— говорю я.— Какой-то тут «драй петух» летает. Вообще всякая чушь.

Женька трогает мой горячий лоб осторожной прохладной рукой:

— Хорошо. Отдохни. Я тут рядом с тобой посижу. Не понимаю, почему тебя не положили в госпиталь?

Теперь я многое припоминаю из того, что мне снилось.

— А я в госпитале уже лежала,— говорю я.— Но его разбомбили. Вернее, не в госпитале, а в санчасти.

— Спи! Усни! Полежи,— говорит мне Женька успокаивающе.

Она почему-то не верит мне. Хотя я теперь действительно припоминаю, что я где-то лежала, в какой-то санчасти. Там санитары были еще музыканты из

муззвезда полка. В свободное время они репетировали Шопена — ту самую сонату, от которой я всегда вздрагиваю и мне хочется плакать. И я уже выздоравливала, и кто-то из ребят позвал меня завтракать. И я встала с не застеленной ничем лавки и стала причесываться перед зеркалом. И вдруг кто-то громко закричал: «Ложись!! Воздух!» А я не слышала самолета. Может быть, я просто задумалась и не слышала, как он летит. Но очнулась я уже на полу. Кто-то крепко держал меня за гимнастерку. Осколки стекла, рама, зеркало, горшки с цветами герани — все это тоже лежало уже на полу, а прямо передо мною ничего уже не было: ни стены, ни окна, только ясное зимнее небо, не огороженное от меня ничем, и холодное, голое белое поле.

Кто-то стонал, раненный, за перегородкой. Кто-то брезгливо и злобно отряхивался от известки и разглядывал на свет свою шинель, до этого висевшую на гвозде, — она вся была, как хорошее решето, в крупных, почти одинакового размера круглых дырах. Кто-то вытащил непролившуюся миску с похлебкой из-под печки, куда занесла ее взрывная волна, и начал быстро-быстро хлебать деревянной ложкой, стуча о ложку зубами.

Я шагнула через то, что было когда-то стеной дома, и пошла по улице. Больше я никогда в этот дом не возвращалась, это я теперь хорошо помню. Это было второе мое пристанище, которое разваливалось у меня на глазах, и с меня уже было достаточно. То, что я и на этот раз осталась жива, я могла отнести только в область какого-то чуда.

— А где ты все это время была? — спрашиваю я у Женьки.

— Я же осталась с вещами в Дорохове, со вторым эшелоном. Ты разве не помнишь?

— Нет, не помню, — говорю я, улыбаясь.

Я и в самом деле не помню. Мне от этого стало даже смешно.

— А сюда ты приехала когда?

— Сегодня.

— Зачем?

— Мы едем занимать оборону, на передний край.

— Кто это мы?

— Отряд капитана Пироговского.

— Пироговского?

— Да.

Я с усилием припоминаю. Да, у нас в дивизии был такой, Пироговский. Начальник тыла дивизии. Такой плосколицый, очень смуглый, с ледяными глазами.

— А что это за отряд?

— Спи. Потом все узнаешь. Главное — ты нашлась.

— Говорю тебе, я не терялась!

— Спи!

...Нет, нет, я не терялась. Но какое же это счастье, что я наконец нашлась! Какое счастье, что Женька рядом, что есть какой-то отряд под командованием Пироговского и что нам нужно опять идти занимать оборону, а может быть, и наступать! Тогда обязательно где-нибудь там, впереди, — пока я еще не знаю в точности где, — но я встречу с Марьяной и Петряковым, с Галей, с Наташей Глызиной, и опять мы все будем вместе. Как тогда, под Москвой.

Мои волосы гладит чья-то рука. Гладит медленно, очень ласково, осторожно.

Это Женька. Я знаю.

И я спокойно засыпаю, чтобы проснуться здоровой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ I

Говорят: «Ну, погиб, значит, не судьба была дожить до победы».

Это о человеке.

А про дивизию так можно сказать: «Не судьба!» Или это что-то другое?

Мы войну начинали необстрелянные, неопытные. Накопление опыта — дело сложное. Французы, например, говорят так: «Опыт — это врач, являющийся после болезни».

Хорошо, мы не примем на веру их мудрую шутку.

Но кто скажет, под влиянием каких обстоятельств трусивший, растерявшийся в бою командир вдруг находит в себе мужество и силу воли? Почему отступавшие в панике бойцы начинают оглядываться и примеряться, как бы им похитрей, половчее ударить

врага? По каким таким тайным законам логики самый тихий, незаметный в полку человек вдруг становится храбрецом и героем?

Задним числом мы все нынче стали умны.

Мы частенько еще примеряемся: а вот я бы, например, сделал так, а не эдак, как сделали они.

Ну, вернись в сорок первый и сделай по-своему!

Нынче мы знаем наизусть имена наших героев.

Нынче на местах прославленных наших сражений стоят памятники, горит Вечный огонь.

Но я бы лично ставила памятники и зажигала Вечный огонь и там, где наши люди умирали в неизвестности, в окружении, в отступлении, где гибли под напором превосходящих сил противника целые армии. Они тоже герои. Просто им пришлось еще тяжелей, чем другим. Их воинский опыт гораздо значительней, серьезней. Вся беда в том, что они не сумели его применить: не успели.

Когда в группе генерала Маковца и в шедших с ним подразделениях выяснилось, что они отрезаны от основных сил наступающих, окружены и теперь не могут пробиться ни к Вязме вперед — до нее оставалось всего каких-нибудь шесть километров, — ни назад, к Шанскому заводу, — позади них немцы тотчас же возвели оборонительную линию по всем правилам: с минными полями, проволочными заграждениями и дзотами, — полки стали занимать круговую оборону. Нужно было «помараковать», как сказал начальник штаба дивизии полковник Жилиев, «пораскинуть мозгой».

Положение складывалось очень серьезное. И взглянуть теперь правде в лицо оказалось необходимым.

Генерал Маковец отдал срочный приказ командирам подсчитать количество «активных штыков», перестроить и укрепить за счет тыловых подразделений стрелковые роты, тщательно проверить и взять на учет все запасы оружейных снарядов, мин, гранат и патронов.

Неутешительные сведения поступили от интендантов: хлеба нет, муки мало, мяса, консервов — на несколько дней. Что будет дальше, чем это грозит, понимал уже каждый. И от этого настроение в ротах было подавленное, тревожное.

Дни стояли солнечные, морозные. Немецкая авиация не давала вздохнуть. С рассвета до позднего вечера вражеские бомбардировщики и штурмовики висели над головами.

Как-то на совещании в штабе дивизии Петряков встретился с Железновым. Командир второго полка был бодр, подтянут. Напоминанием о недавнем ранении в голову осталась лишь красная, зубчатая полоса среди отросших поседевших волос. Они крепко обнялись, похлопали друг друга по спинам.

— Жив, Мотя?

— Ваня, жив.— Железнов засмеялся, показав белые, крепкие зубы.— Родился — не торопился, не спешу и помирать!

— А помнишь, мечтал о легкой руке...

— Что старое вспоминать! — смутился вдруг Железнов.— Скажу честно: забыл и думать об этом.— И вдруг загрустил: — Вчера схоронил Петра Завалихина, Аркашку Рябца из третьего батальона и своего ординарца. Ты его знаешь еще по Елани — Коля Бабиков...

— Да-а,— сказал Петряков. Он ссутулился, потемнел за время их разлуки. Петряков с жадностью тянул оставленный ему Железновым «бычок»: табаку в медсанбате давно уже не было.— А у меня Калугина убило,— сказал он с горечью.— И Галю Боркулову — Пятитонку. И Наташу горбатенькую. Всех одной бомбой сразу. Э, да что там!.. Ну, а тут как? Какова обстановка? Что они говорят?

— Да что говорят! Будем сковывать силы противника, покуда возможно, а потом пробиваться на юго-восток. Там кавкорпус рейдирует у немцев по тылам. Так вот, ежели соединимся с корпусом, нам будет легче. Сейчас связь у нас со штабом фронта хорошая... И самолеты, говорят, сюда вроде бы прилетят. Так что будем драться.

— А чем драться-то? Снарядов нет. Танков нет. И авиация их, сам видишь, господствует в воздухе.

— Конечно, голыми руками они нас не возьмут. Это так.

Они помолчали, хорошо понимая друг друга.

Потом Железнов сказал:

— Сегодня двадцать первое.

— Ну и что?

— Завтра двадцать второе.

— Ну так что ты хочешь этим сказать?

— Послезавтра — наш праздник. День Красной Армии. Может, выберешься ко мне в гости? Как-никак, а по случаю праздника... Должны же мы отметить с тобой эту дату!

— Точно не обещаю, но... — Помолчал и добавил: — Приду!

— Ну, жду! Давай лапу! — И они крепко обнялись, расставаясь.

В дверях Петряков еще раз оглянулся, запоминая могучую фигуру друга. Жизнь теперь начиналась такая, что не знаешь, что будет с тобой через полчаса. Даже через минуту.

Петряков и вправду собирался к Железнову на праздник, чтобы решить там заодно и кое-какие хозяйственные вопросы. Попросить мучицы на хлебы для раненых. Говорили: в полку у Железнова сами мелют зерно, собранное у населения в окрестных деревнях. Говорили: богат Железнов лошадьми. А раненых в медсанбате становилось так много, что, случись отступать, «тяжелых» придется нести на себе — нет транспорта. Предвкушал Иван Григорьевич и хорошую, долгую беседу с другом, и разделенную пополам флягу водки: на морозе она хорошо согревает, снимает усталость.

Но к вечеру двадцать второго на окраине деревни, где стоял медсанбат, началась перестрелка. В бой вступили часовые и часть хозвзвода, поднятая по тревоге. Прибежавший связной доложил: «Идут! И довольно большими силами».

Петряков на мгновение задумался. Кто-то должен был врага задержать, пока врачи и медсестры не снимутся с места и не отойдут с ранеными подальше, в глубь леса. Кто-то должен их задержать и, возможно, погибнуть ради спасения остальных.

Петряков не стал долго раздумывать, кто именно должен был это сделать. Он схватил карабин и бегом бросился по огородам к высотке, где в засаде стоял пулемет, охраняемый легкоранеными. Оттолкнув двух бойцов с забинтованными головами, он упал на снег.

— Отходите! Отходите! — крикнул им командир батальона. — Отходи быстрее! Я сам задержу!

Припав к щитку, Петряков взгляделся в зелено-

ватую, серебристую мглу снегов. Темные пригибающиеся фигурки наступающих на какой-то краткий миг застыли на гребне сугроба, и он нажал на гашетку.

Он бил короткими очередями, пригибаясь и время от времени высматривая новые цели.

Пули шли рассыпчатым веером — золотистый, летящий пунктир, точно вычерченный на темном снегу. Оттуда, из-за гребней сугробов, из-за чахлых кустарников, сквозь треск автоматов донеслась немецкая брань.

Вдруг лента кончилась. Он и забыл, что здесь мало патронов, и с тоской стиснул зубы: «Ну, все! Теперь уже все. Не уйти».

Никогда он не думал, что это случится так скоро. Он верил, что задержит их, что отсрочит конец — и свой и других. Но стрелять больше нечем...

Петряков уже приподнялся, чтобы взять карабин. Но кто-то с разбегу уткнулся рядом в снег, запаленно дыша, толкнул его в руку.

— Заправляйте скорей! Заправляйте скорее новую ленту! — Это была Марьяна.

Он не понял, как она здесь, рядом с ним, очутилась, но почувствовал к ней огромную нежность.

— Заправляйте, — торопила Марьяна. — Дайте мне карабин!

Петряков заправил в пулемет новую ленту, поданную Марьяной, взглянул на нее. В темноте она лежала рядом с ним на снегу перед бруствером небольшого окопчика и, как заправский снайпер, вела нечастый прицельный огонь.

Наступающие на какое-то время притихли под этим нечастым, но прицельным огнем, потом снова подняли головы. Но Петряков быстро нажал на гашетку. Он бил короткими очередями, а в такт им гремело, ликуя, его сердце.

— Да здравствует Хайрем Максим! — закричал Петряков, вглядываясь в сгущающуюся темноту. Немцы в нерешительности остановились. — Да здравствует Хайрем Максим! — закричал опять Петряков, направляя огонь в самый центр наступающих, где шел эсэсовец с парабеллумом. Почему-то Ивану Григорьевичу сейчас вспомнился изобретатель станкового пулемета. И он в третий раз крикнул: — Да здравствуют Хайрем Максим и Марьяна Попова!

Марьяна с удивлением взглянула на него: не сошел ли командир батальона с ума? Но Петряков озорно обернулся, сверкнув зубами.

Прямо перед бруствером хлопнула мина, затем вторая.

— Надо менять позицию,— сказала Марьяна.— Скорее, Иван Григорьевич!

Они потащили вдвоем пулемет, пригибаясь к самому снегу.

Петряков вдруг замер, оглядев потонувшую в синем мраке деревню, закричал Марьяне:

— Назад! Марьяна, назад! Окружают!

2

Почти сутки они скрывались в болотах.

Наконец, пробродив по лесу целую ночь и целый день, замерзшие и голодные, поздно вечером вышли к человеческому жилью. Это была глухоманная деревенька на краю леса, из тех, про которые говорят: «Три кола вбито да небом покрыто». Немцы, видимо, сюда не заглядывали: ни часовых на околице, ни следов военных машин на снегу здесь не было. А от овечьих кошар, от коровников пахло живностью, свежим навозом.

Петряков постучался в дверь крайней избы с отблеском топящейся печи в темном окне.

Дверь открыла высокая, худая старуха в подшитых валенках, в домотканой поддевке, подпоясанная цветным кушаком. Она вышла им навстречу с ведром пойла в руке.

— Бабушка, пусти обогреться,— сказала Марьяна.— Замерзли совсем.

В заиндевелой одежде она сейчас напоминала снежный куль.

— Свят, свят!— с достоинством осенила себя крестом старуха. Она без боязни посторонилась, пропуская незваных гостей в сени, строго сказала:— Сейчас я снежку принесу, оттереть руки-то... Не спешите к теплу!

Принеся в тазу снег, старуха помогла Марьяне оттереть руки, потом провела их в избу и усадила на лавку напротив огня. Вытащила из печи чугунок с похлебкой, дала поест. Пока они с жадностью ели, хозяйка время от времени искоса поглядывала на Марьяну, на ее ка-

рабин, поставленный в угол рядом с ухватом, на тощенький вещмешок, брошенный на полу.

— Ну-ка, скинь мокрое, я обсушу, — сказала старуха Марьяне с участием, но сердито. — Да лезай на печь, она теплая. Грейся!

Марьяна, обессиленная от мороза, от долгой ходьбы по лесам и болоту, все еще сидела над пустой миской за столом, не в состоянии пошевелиться, и растерянно улыбалась. Ей не верилось, что они ушли от немцев, что они в тепле, сыты и не слышно погони.

Петряков, пройдя в глубь горницы, долго стоял, глядя на закопченные образа в дешевых окладах, перед которыми теплилась синего стекла, похожая на колокольчик лампада, молчал.

— Раздевайся, Марьяна, я не смотрю, — сказал он немного погодя почему-то охрипшим, глухим голосом.

Марьяна сбросила с себя мокрую гимнастерку, натянула на влажное, ледяное тело холщовую застиранную рубашу старухи и полезла на печь, в душно пахнущую овчиною и валенками темноту. Там, в узком пространстве между печью и потолком, тотчас матово засветилось ее бледное улыбающееся лицо.

— Иван Григорьевич, — сказала Марьяна. — А здесь места много. Залезайте, согрейтесь. А то заболете...

Старуха ушла задать корма корове.

Петряков наскреб на дне кармана несколько крошек махорки, покурил, попил холодной водички из ведра, стоящего на лавке под алюминиевым от мороза окном. Подумал. И стал медленно стягивать с ног промокшие сапоги. Портянки были черные от грязи и пота, и он бросил их к порогу. «Надо будет завтра попросить у хозяйки мешковины и нарезать себе и Марьяне новые», — с привычной заботой подумал он.

Забравшись на приступок, а затем на беленые теплые камни, чуть прикрытые ветхой дерюжкой, Петряков боком сел на краю, взглянул на Марьяну. Она лежала в одной нижней холщовой рубаше, отодвинувшись к самой стене, почти втиснувшись в нее телом, и глядела на него большими темнеющими глазами.

Так близко, как сейчас, они еще никогда не были вместе, и он испугался. Он не мог, не имел права быть с девушкой рядом, пока она так беспомощна, беззащитна.

— Вы ведь тоже промокли, — через какое-то мгнове-

ние сказала Марьяна.— Вам нужно раздеться и все просушить.

— Без вас знаю, что мне нужно делать,— грубо ответил ей Петряков.

Марьяна обиженно замолчала.

А он все размышлял, не зная, как поступить. Уйти в другую избу или остаться здесь и лечь на полу? Но лицо Марьяны так таинственно белело из мрака, а на печке было так уютно, тепло. Да и мог ли он оставить ее здесь одну? А вдруг ночью по их следам придут немцы?

Надо было что-то решать.

Наконец Иван Григорьевич стал раздеваться. Он развесил на веревке, протянутой над приглубком, мокрую одежду, а сам в одном нижнем белье лег на прогретые камни, закинул за голову руку.

Тяжело топая валенками, вошла в избу хозяйка, внесла пахнущие морозом березовые дрова, бросила их возле печки: на завтрашнюю растопку. Затем она вышла снова, и ее долго не было. А они лежали рядом и молчали, словно боясь нарушить что-то запретное, возникшее между ними.

Хозяйка снова вошла. На этот раз она принесла большую вязанку соломы, раструсила ее по горнице.

— Изба-то моя с краю,— сказала она.— Может, кто еще на ночевку придет. Вы спите, не бойтесь! Германец не ходит у нас...

Погасив ночник, хозяйка пошептала перед образами и тоже легла к себе на постель за обклеенной старыми газетами перегородкой. Поворочавшись и повздыхав, она вскоре уснула.

Петряков слышал ее тяжелое, с присвистом дыхание.

Теперь в избе они бодрствовали с Марьяной одни. Было тихо. Только тикали ходики да слабо потрескивал фитилек в стеклянной, похожей на колокольчик лампаде.

Марьяна лежала притаившись, молчала.

Она была совсем рядом. Петрякову стоило только протянуть руку, чтобы дотронуться до нее. Но оттого, что она не шевелилась, не разговаривала, им овладело глубокое чувство тревоги.

У каждого в жизни есть своя тайна, своя первая темная ночь, свое счастье, и он давно ждал ее, эту темную тайную ночь. Только он не хотел, чтобы его счастье с Марьяной было таким торопливым, случайным.

«Милая!— думал он, лежа рядом с нею.— Разве так я желал бы с тобой встретиться? В чужой избе, на грязной дерюжке... Под храп чужой, незнакомой старухи. Я за белую свадьбу. За розы!»

Он лежал, не шевелясь, крепко стиснув кулак, так, что ногти впились в ладони. И вдруг услышал, как Марьяна совсем рядом с ним тревожно вздохнула.

Теплой рукой, осторожно и как бы ласкаясь своим робким прикосновением, она чуть дотронулась до плеча Петрякова, ощутила его жесткую напряженность и замерла. Помедлив и снова о чем-то вздохнув, Марьяна взяла его сведенную судорогой руку и стала осторожно отгибать холодные, жесткие пальцы. Сперва один, потом другой. Кажется, она пересчитывала их про себя, чтобы не пропустить: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. И в том, как она их отгибала, осторожно касаясь, было что-то такое ребяческое, молодое, что Петряков в темноте улыбнулся. У него от этих прикосновений бежали мурашки по коже.

Наконец, разжав все до единого пальцы и как будто пересчитав заодно с ними и все остающиеся до решающего шага минуты, Марьяна притянула его руку и положила себе на грудь. Петряков с волнением ощутил всю нежность, всю атласистость девичьей кожи. На какой-то короткий миг он застыл не дыша. И вдруг потянулся всем сильным, истосковавшимся телом к чуть белеющему во мраке теплу.

— Милая! Ты мое счастье...

— Да... Да... Я — твоя...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В Алексеевские хутора мы с Женькою въехали, стоя в санях во весь рост, с автоматами наперевес, держа направление на дым штабной бани.

Галопом промчались между двух рядов изб, разбрызгивая полозьями ржавые от мочи и навоза лужи. Кнутом шуганули с дороги кур и кинувшихся было вслед с заливистым брехом хуторских голодных собак. Лошадь загнали мордой прямо в раскрытую дверь.

Женька соскочила с саней, скинула автомат и, при-

ставив его дулом к бельмастому, слезящемуся окну, громко крикнула внутрь, в полутьму:

— Эй, мужчины! Кончай баниться! Выходи! А то стрелять буду...

На ее голос, на сиплое ржание лошади из парной выскочил банщик, ополченец из нестроевых,— в закатанных выше колена штанах, в калошах на босу ногу. Он глянул на нас из-под руки против света, разглядел и сплюнул в угол на кучу золы:

— Тьфу! Я думал кто, а тут опять Мамай! Арестантская рота. Не дадут людям спокойно помыться!

— Кому?! Людям?— протяжно, с насмешкою переспросила Женька.

В затертом, засаленном полушубке, с автоматом на шее, она стояла перед стариком, засунув руки в карманы, и раскачивалась на носках, играя цыганистыми, чуть выпуклыми глазами.

— А мы тебе кто? Не люди? А? Ишь ты, смотри, какой храбрый!— удивилась она и засмеялась.

— Ты помалкивай, дед!— дружелюбно посоветовала я ему, в свою очередь, останавливаясь перед стариком и спокойно разглядывая его в упор.— А то заберем в отряд. У нас живо умолкнешь!— И приказала:— Мужикам воды больше не давай! А то нам не хватит. Двери закрой! Коню — сена! Мы не шутки шутить приехали.

Дед, кряхтя, с откровенным неудовольствием нагнулся, полез в ящик, накрытый чистой стираной мешковиной, извлек из него две пары новенького, еще с фабричным клеймом белья. Затем приготовил два больших, значительно больше положенной нормы, куса мыла, с обидой спросил:

— А мочалки-то у вас есть ай нет?

— Ты что, дед? Никак, спятил на старости лет?! Какие мочалки?!— удивилась Женька и положила обе руки на автомат — так бабы в деревне кладут их на коромысло. Она смотрела на старика с неодобрением во взгляде.— Слушай, дед!— сказала она.— А то приезжал бы к нам, право, в отряд... А? Мы бы тебя знаешь как... побанили!

Насупясь от насмешки, истопник ничего не сказал. Лишь некоторое время спустя, подбрасывая в огонь дрова, проворчал угрюмо:

— Чего это я там у вас не видал... в отряде, какого беса?

Женька между тем, не обращая внимания на ворчание старика, спокойно уселась на лавке, напротив огня, достала из-за пазухи кисет и бумагу и, выкатив на край пода бирюзовый от покрывшего его пепла уголек, с наслаждением прикурила. По худому, загорелому ее лицу пробежала какая-то тень, нечто вроде задумчивой тихой улыбки.

— Ты, дед, не злился! — сказала она, четырьмя затяжками искуриив сигарку и бросив ее в угол. — Мы — хорошие...

— Все вы хорошие... — сердито вздохнул истопник.

Он открыл набухшую дверь в парную и крикнул заискивающим фальцетом:

— Муцины! Эй вы, милаи... Прячьтесь! Становьтесь к стенке лицом — и замри! Тут две пройдут. И хватит вам, вылязайте! Намылись! Нехай они теперь моются...

Дед явно подхалимничал, егозил, не зная, кому угодить, но я почему-то смолчала. Черт с ним, пускай рассыпается, лишь бы можно было помыться и выехать поскорей, пока в отряде еще нас не хватились.

Влажный теплый пар клубами охватил истомленное жаждой свежести и чистоты продрогшее тело, ударил в лицо терпким запахом огуречного рассола, идущим от бочек с горячей водой, дымком и угаром из печи и едкой, ни с чем не сравнимой вонью дешевого черного мыла: привычный сладкий дух долгожданной армейской бани, от которого свежий, нефронтовой человек, не дай господи, может сомлеть.

Внутри парной было тускло, темно. Сквозь слезящееся оконце едва лился с улицы дневной мартовский свет. В клубах пара смутно белели тела домывающихся мужчин, и я быстро ступила на скользкий, сопревший от влаги пол и брезгливо, на кончиках пальцев, прошла в самый угол, за печь, где стояла скамейка, как раз на двоих. Дед швырнул мне вслед по полу две чистые шайки.

— Жень! Плесни и мне... только погорячей! — попросила я шедшую сзади Женьку, уже завладевшую огромным железным ковшом.

— А сама?

— А потом я тебе.

— Ишь хитрая! Лакеев в семнадцатом году отменили. — Женька весело засмеялась. — Ничего, ничего! Выйдешь! Никто от тебя кусок не откусит...

Потом, намывшись, напарившись, чистые, ублаженные, мы долго, старательно одевались, сидя на охапках сухого, свежего сена.

Дед сидел здесь же, рядом, и смотрел на нас, голых, малиновых, насмотревшимся за долгую жизнь, ничего уже не выражающим взглядом.

Смирившись с ролью гостеприимного хозяина — хочешь не хочешь, а принимай, — сейчас он благодушно посасывал самокрутку и снисходительно поучал:

— Бог — он дал человеку три тяжелые задачи: долги платить, отца-мать кормить и в баню ходить! Вот так-то! А вы...

— А четвертой он не задавал тебе тяжелой задачи: помолчать? — нетерпеливо перебила его Женька, вытирая волосы серым вафельным полотенцем.

— Эх, сорвиголовы! Непочетницы! Что старшему говорят! — осуждающе махнул рукой истопник и с обидою замолчал. Потом хрипло, запаленно вздохнул. — Да я в ваши годы...

— А что в наши годы? — заметила Женька. — Уж наверное был размазня!

— Это я — размазня?! — Старик даже побагровел от досады. — Размазня! — передразнил он с укором. — Да ежели хошь знать, я «Георгия» в твои годы имел... За войну в одна тысяча девятьсот пятом, с японцем! «Георгия»! Это тебе не фунт дерьма!

— Вот врать-то горазд, — спокойно заметила Женька. — Врешь и не краснеешь.

— Я вру?! — Истопник вскочил с лавки, споткнулся о полено, отшвырнул из-под ног дырявое, приспособленное для золы ведро, фыркнул и, раздувши ноздри, забормotal: — Надо же, чего говорят! Вру? Да ведь я, бывало...

— Да за что же тебе могли «Георгия» дать? Не понимаю, — пожала плечами Женька. — Быть не может...

— Вот заладила сорока Якова одно и то же про всякого. Не может, не может... А вот может! — крикнул старик и в гневе топнул ногой в рваной калоше. — Имею «Георгия»! Тебе говорят!

— Да за что имеешь-то? Ведь это не вошь, его зря не прилепишь...

— За что! За что! А за барыню! — брякнул дед и вдруг опасливо оглянулся на Женьку, осекся.

Но та спокойно сидела на лавке, обхватив худыми руками узкие плечи, и грелась, обсыхая перед раскрытой дверцей печи.

— Как это так за барыню?— переспросила она.

— Ну, где это тебе нонче скумекать!— хвастливо дернул подбородком истопник, опять распаляясь. В воспоминаниях он, видимо, сейчас снова был статным и молодым и, как глухарь, не чуя опасности, распушив хвост, ничего не видя, шел прямо в сеть, на ловца.— Служил я тады в охране... Называлось: в свите. Оберегали мы самого что ни есть верховного главнокомандующего, его высокопревосходительство генерала Куропаткина... Ну, вот перед генералом-то я и плясал барыню. За это и получил. Удостоен награды. Генерал Куропаткин сам лично, вот, ей-богу, не вру, своими собственными руками, мне сюды и приколот.— Старик ткнул желтым от табака, узловатым пальцем куда-то себе под ложечку и весело хохотнул.— А ты болтаешь чего здря... Говорят, говорят!

— Эх, ну и размазня!— обрадованно вскочила с места Женька. Она подловила его наконец.— А еще говоришь, не размазня! «Георгия» — и за что? За барыню!— Женька глядела на старика с нескрываемым злорадством.— А? Ну что? Ведь ничем теперь не докажешь, что ты храбрый. Ну разве уж, если поедешь с нами...

— Тьфу ты, черт! Пропади ты пропадом!— разобиделся не на шутку истопник, сообразив наконец, что его разыграли.— С бабой свяжешься, сам станешь бабой!

— Опечатка,— заметила строго Женька.— Не с бабой, а с девкой...

— А, одна хвороба: не переспоришь!— отмахнулся от нее истопник и повернулся ко мне морщинистым темным лицом, сощурился выцветшими голубыми глазами:— Вы, оторвы, с мое поживите, а тады уж галгачьте! Я на этой, считай, на третьей войне! И ничего. Жив!

Я сидела в одной нижней рубаше, прислонясь боком к бревенчатой теплой стене, и молча разглядывала отсветы пламени: голубые на брошенном грязном белье и розовые и желтые на руках и на сене. Мне было абсолютно все равно, за что дед получил «Георгия». Это Женьке доставляет удовольствие его дразнить, а мне безразлично. Но слова старика о том, что он на этой, на третьей по счету, войне — и жив, заставили и меня обернуться.

«Вот как! Ты на третьей — и жив! — подумала я почему-то обидчиво, мстительно. — Какое же это тебе привалило чертовское счастье! Вот это, я понимаю, умение ползать! Ну, ну, расскажи теперь, расскажи, поделись со мной опытом, как это ты падал и целехоньким поднимался... И как желал смерти ближнему, а не себе...»

Я взглянула на старика. Он сидел на корточках перед печкой, самодовольно распустив замшелую, как у коня, в грубых волосках, нижнюю губу, и глядел на огонь.

— Значит, дело не в том, сколько ты врагов уничтожил, а как сам сумел уцелеть? — Я вскочила с лавки. — Ах ты, шкура! Ловчило! Плевать я хотела на тех, кто хочет за счет других уцелеть! — Я бросила Женьке полушубок, потом один сапог и другой. — Кончай лясы точить! Пора ехать...

— Не волнуйся, — успокоила меня Женька. — Успеем. Да, дед! — благодушно пропела она, притопывая ногой и проверяя, хорошо ли наделся сапог. — Беда как с тобой задержались... И рады бы век растабаривать, да ничего не поделаешь... Надо ехать. А хочешь, дед, с нами поедem, а?!

Но дед вдруг так дико попятился, выставляя вперед свои черные, костлявые руки, что мы обе, не сдерживаясь, с хохотом выскочили из предбанника на улицу, на свежий, начинающий холодеть воздух ранних сумерек.

С саней оглянулись: старик остался стоять на облитом помоями бугре, перед баней, ошалелый, надутый, с обиженным, красным лицом.

Женька весело махнула ему вожжами:

— Прощай, Георгий Победоносец! Держи хвост морковкой! Не дрейфь! На что ты нам, старый дурак, нужен?!

Дед — наш друг. Мы с Женькой его очень любим...

2

Да, это была хитроумная, хорошо подготовленная немцами ловушка: пропустить наши войска по дороге вперед и замкнуть за ними тонкий, как ниточка, путь.

От дивизии нас осталось всего-навсего двести семьдесят человек, включая в это число шоферов, остав-

шихся без машин, артиллеристов без снарядов и орудий, повозочных без коней и повозок. И начальника тыла дивизии без имущества и подчиненных. От всего медсанбата нас осталось лишь трое: военфельдшер Сергей Улаев и две медсестры — Женька Мамонова и я.

Нас собрали всех вместе, объединили в отряд особого назначения, во главе отряда поставили меднолицего узкоглазого капитана Пироговского, того самого, что остался без имущества и без подчиненных, и вывели на создавшийся в момент вражеского контрудара передний край «занимать оборону». В самом сложном и неудобном по конфигурации месте: посредине лесистых болот, в разбитой деревне, от которой в тыл ведет лишь одна-единственная дорога, да и та просматривается противником визуально и пристреляна каждым своим сантиметром. Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем проехать к отряду по этой одной-единственной, связанной с тылом дороге.

Об отряде сложилась дурная слава: гибельные места, обстрелы, командир-самодур, полная изоляция от внешнего мира. А о людях молва: арестантская рота, Мамай, жизнь для них все равно что копейка. Все они — отпетые, архаровцы. В уборную и в ту идут с автоматом.

Сейчас от безлюдья большой серой равнины, от молчания снегов даже нам с Женькой, привыкшим ко всему, и то этот путь в отряд кажется несколько жутким.

Впрочем, мы давно изучили свой единственный к дому проселок, все его бесчисленные повороты и съезды; приспособились угадывать по звуку полета, в какую сторону и близко ли или далеко от нас ляжет снаряд и где надо проехать медленно, а где гнать коня тем самым аллюром, который не зря называется «три креста». Здесь давно уже примелькались ориентиры: вот обрубленная снарядом кривая береза, цепь воронок вдоль колеи от просыпанных с самолета авиабомб, труп гнедой лошади. На фоне низкого зимнего неба с саней нам хорошо виден стертый полумесяц подковы на ее задранной кверху ноге и опавшее, словно гнилой лист, черное ухо.

За холмами, за мелким осинником розовело вечернее небо. В набрякшем вешнею влагой воздухе явственно слышались только близкие звуки: шорох полозьев, пофыркивание лошади, торопящейся к знакомому стойлу, позвякивание железных колец в удилах. Все остальные привычные шумы переднего края, кажется, угасли в этой

розовой тишине, и на сердце у нас с Женькой как-то очень тревожно. Не может быть, чтобы мы так, за здорово живешь, проскочили.

Прислушиваясь, я немного приподнимаюсь, поправляю в ногах овчинный тулуп и вдруг резко толкаю Женьку в плечо, валюсь в сено. Над самым моим ухом звучит треск, подобный тому, с каким колют орех; звук резкий, щелкающий, неестественно увеличенный.

Женька громко гикнула, свистнула, огрела лошадь кнутом. В лицо нам полетели крупные комья снега, ледяные ошметки из-под копыт, снеговая крупа. На излете в сугробе чиликнул осколок.

— Жми, Женька! Гони!..

— И-изх!.. Серый!— Женька радостно обернулась, дико блеснула глазами.— Не пропадет наш скорбный труп!— И снова стегнула кнутом летящую во весь опор лошадь.

Рядом с санями опять что-то с силой щелкнуло. Тотчас же лопнул, разорвавшись с томительным тонким свистом, давящий душу взрыв, качнул землю. Сани резко накренились, подпрыгнули. Я оглянулась: прямо над головой у нас распустились дымные ветви оседающего в сугробы черного дерева.

— И-из-э-эх!..— крикнула Женька и легла грудью на передок.

Серый мелко забил ногами на обледеневшем взлобке, самом страшном месте дороги. Обвалом сани рухнули с высоты в овражистую низину с угольно-черными силуэтами ветел и острым запахом снеговой талой воды. С силой их швырнуло на раскате — сначала вправо, потом влево — по намерзшим колдобинам и вынесло боком прямо на лед молодого ручья. Ломая оглобли, лошадь, сдавленная петлей хомута, дико всхрапнула, попятилась и присела на задние ноги.

Но все это было уже в недостижимом для снарядов пространстве, под защитой склона, в спасительной тишине.

3

Дома, в палатке, у нас все было по-прежнему. Раскаленная докрасна, уютно пылала железная печка. Военфельдшер Сергей Улаев сидел перед нею на пере-

вернутом кверху дном железном ведре и чистил картошку. Он подозрительно поглядел на нас сощурясь.

— Где это вы шлЯлись?— спросил он недовольно.

— Серенечка, где были, теперь там нет! — весело откликнулась Женька и, махнув рукавицами, бросила их на ящики, в угол палатки. Спросила в свою очередь: — А что тут у нас нового?

Сергей коротко хмыкнул, не отвечая.

— Ты давно вернулся?— снова спросила его Женька и села с ним рядом прямо на землю, заглядывая ему в глаза.

— Недавно.

— Ну как?

— Что «ну как»?— переспросил Сергей. Почему-то он всегда говорил с Женькой насмешливо, грубо, делал ей мелкие гадости, и я, грешным делом, подозревала, что он давно и не без взаимности в Женьку влюблен.

— Все в порядке?— спросила она.

Сергей пожевал сигарку и, продолжая снимать спиралями картофельную кожуру, спокойно ответил:

— Если не считать убитых и раненых, то все в порядке.

— Убитых?— Я обернулась.— Брось!.. Кого?

— Ну, всех перечислять, так и пальцев не хватит, разуваться придется.

Не торопясь, он докурил сигарку, бросил ее на угли в печь и взял из мешка новую картофелину.

— Ну все-таки... Чего ты молчишь?— нетерпеливо спросила я.— Кто убит?!

Улаев поднял голову, поглядел на меня удивленно. Не выпуская из рук картофелины, стал подсчитывать, загибая грязные пальцы:

— Убиты? Мишка Аверьянов — раз. Коля Дымов — два. Шурик Рожков — три. Двое из автороты. Это тебе уже пять человек?! Да? Один из артполка, пушкарь, такой рыжий, ты навряд его знаешь, он недавно пришел... Ранены: Синицкий, Коротков, Бабурин, Чуйносов. Что, мало?!— Сергей с размаху бросил картофелину в котелок с водой. Брызги, вылетевшие при ударе, зашипели на сизой окалине печи.— Сам Пироговский вон тоже ранен! Лежит.

— Тяжело?

— А кто его знает! По-моему, нет. Так, царапина. Много шуму из ничего.

Тоскливо глядя на бушующий в печке огонь, я молча хрустнула пальцами. Весь февраль и три недели выжженного марта в моем сознании давно уже стали черными: черными днями потерь. Каждый раз я слышу: тот убит, этот ранен, не выживет. Почему у нас в отряде гибнет столько людей? Что это значит? Когда дивизия прямо с марша попала в кольцо окружения, это было понятно: наступление есть наступление. Проглядели, что лезем в ловушку. Но теперь-то мы, уцелевшие, в хорошо налаженной обороне, разве мы не умеем еще воевать? Почему тщательно подготовленные штабом отряда, отлично продуманные операции одна за другой срываются, а Пироговский ходит в мучениках и героях? Почему за свои неудачи он ни перед кем не отвечает, ну хотя бы перед дивизией, которой мы приданы? Говорят, всякий раз на задании, встречая сильный заградительный огонь противника, вместо того чтобы броском выводить людей из-под обстрела, Пироговский приказывает им залечь в снег и ждать... Ждать — чего? Пока всех перебьют?

Когда мы идем на задание с комиссаром, с нами этого не случается.

— Да-а...

— Весело мы живем, — сказала Женька.

— Куда веселей!

— Где-то теперь наши?.. — вздохнула я.

Я все еще верю, что рано или поздно, но что-то спасительное произойдет. Пробьются ли окруженные к партизанам или выйдут через линию фронта на соединение с армией, но только, мне кажется, они обязательно вырвутся, живые и невредимые. Эти люди не должны так просто погибнуть. Тогда вовеки не кончится наша черная жизнь в отряде и власть Пироговского, не перестанут расти в сводках черные цифры потерь.

Пироговского мы все трое недолюбливаем.

— Где-то теперь наш Иван Григорьевич? Живой ли?

Сергей усмехнулся, хотел было что-то сказать, но ровный металлический голос, прозвучавший из-за перегородки, перебил его: Пироговский звал Женьку.

— Слышишь? — Сергей строго кивнул ей. — Тебя! — И приказал: — Ну, чего ж ты? Иди!

— Не пойду. Ни за что не пойду! — Женька потрянула коротко остриженными волосами.

Маленькая, тонкая в талии, она сидела сейчас перед огнем в своей излюбленной позе: ноги под себя, кала-

чом, ладони сложены у подбородка. Так она может сидеть часами, сгорбясь и думая о чем-то своем, непонятном другим.

— Я кому сказал...

— А пусть сдохнет! Не пойду ни за что!

— Как это не пойдешь?

— А чего ему от меня надо?

— Откуда я знаю чего?— Сергей нехорошо усмехнулся. Он метнул взгляд на Женьку.— Откуда я знаю, чего ему от тебя надо? Наверное, чего-нибудь надо. Пойди — и узнаешь. Может, рану перевязать, а может...

— Пусть Шура пойдет.

— Тебя звали, не Шуру!

— А я не хочу. Пусть Шура пойдет. Она лучше меня перевяжет.— Женька обрадованно засмеялась.— Правда, правда. Она очень хорошо перевяжет. Гораздо лучше, чем я.

— Упрямая стала, как дьявол...

Но Женька уже не слушала Сергея. Она обернулась ко мне и сложила ладони у подбородка, глядя на меня снизу вверх умоляюще. У Женьки это всегда убедительно получается.

— Ну, Шура, пожалуйста! Что тебе стоит!

Я недоуменно пожала плечами. Поднялась со снарядного ящика, на котором сидела, ожидая, когда наконец закипит картошка, одернула гимнастерку и, наклонясь, приподняла брезентовый полог, натянутый на стояках и разделяющий палатку на две половины: одну, где живет командир отряда, и другую, где размещается санитарная часть.

Пироговский сидел, развалившись перед печкой на черном цигейковом одеяле, в пухлой белой чалме из марли, в белой нижней рубашке, босой. Время от времени он шевелил бледными, как земляные черви, пальцами ног. Узкогубое, медное, плоское его лицо — лицо тибетского бога — сейчас было безжизненно и темно.

Я молча остановилась перед ним в ожидании, удивляясь: что с ним? Пьян? Нет, не может быть. Пить здесь нечего. Если бы я не знала, что во всей округе нет ни грамма спиртного, кроме фляжки, хранимой Сережей Улаевым для стерилизации инструментов, я сейчас была бы уверена, что командир отряда пьян. Однако таким же безжизненным и темным его лицо могло быть и от боли.

Мне вдруг стало жаль Пироговского за его рану. Теперь я, пожалуй, была готова простить ему все прошлые его безрассудства. Мы ведь тоже к нему, наверное, несправедливы...

Я наклонилась, окликнула:

— Товарищ капитан, вы звали меня?

Пироговский вскинул голову, обернулся ко мне, опираясь на локоть. Вгляделся в полутьме ослепленными от пылающей печки глазами. Тонкие, смуглые его ноздри задрожали от гнева.

— Да, звал,— хрипло произнес он. Но зрачки его вдруг расширились, и он закричал:— А ты зачем здесь?! Тебе чего надо?! Не тебя! Не тебя! Где Мамонова? Что это значит?!

— Не знаю... Куда-то вышла.

— А-а-а, не знаешь!— угрожающе прошипел командир отряда.— Вышла? Да!— Пироговский подскочил на месте.— Все вы, петряковские, друг за друга горой! Я вас знаю! Ну что ж, хорошо... Я вас на чистую воду выведу, погодите!

Он замолчал, поглядел на меня и спросил резко, отрывисто:

— Ты чем занимаешься? Ничем? Тогда собирайся! Живо. Пойдешь вместе со мной! Через час выходить! Маскхалат, автомат, лыжи, санитарная сумка, патроны. Ясно? Я вас научу друг за друга стоять горой... Иди!

— Есть идти!

За перегородкой на миг стало так тихо, как будто там все сразу умерли: они оба слышали весь наш разговор и поняли, в каком именно деле я должна заменить теперь Женьку Мамонову.

Пироговский приподнялся, чтобы подбросить в печь березовые дрова, и покачнулся. По-моему, он был действительно пьян. Пьян, что называется, в доску!

Командир отряда с ужасом взглянул на огонь. Потом обернулся ко мне, поманил, кивая забинтованной головой.

— Ты видишь?!— спросил он свистящим шепотом и указал пальцем на пламя.— Видишь?! Да?— Пироговский вдруг зябко поежился, как от холода, передернул плечами.

Жаркие ревушие космы огня гудели в жерле бензиновой бочки. От печи несло нестерпимым жаром.

— Что?— спросила я тихо.— Ничего здесь не вижу. Огонь и дрова,— я ответила очень спокойно, но внутренне содрогнулась, не понимая, что это значит.

— Да?— спросил Пироговский, оглядываясь на меня с недоверием.— Ты действительно там ничего не видишь?!

— Да, ничего.

Что он мог там разглядеть, в свистящем огне? Я давно уже знаю: когда пристально смотришь на пламя, все время кажется, что там, в сплетении черных, обугленных веток, то и дело мелькают чьи-то заломленные, молящие о пощаде обнаженные руки. Летят на снег обрывки алого знамени. Горят во тьме злые волчьи глаза. И желтые искры бьют вверх, словно струйки трассирующих. Потом все это падает, рушится, и только угли, как черные зрачки, как дула нацеленных на тебя автоматов, следят за тобой, за каждым твоим неуверенным шагом из-под серого, словно затоптанного в рукопашной схватке рыхлого пепла.

Но все это я вижу одна. Наедине с собой. Никогда об увиденном я ничего никому не рассказывала. Это было только мое.

И еще я знала: какой бы там ни была теперь, в окружении, огромной и унижительной расплата за счастье, мои товарищи по батальону сейчас честно платят за все. За все то прекрасное, что дала им страна, что дали юность и вера в победу. И никто не имеет права примазываться ни к их победе, ни к поражению. А тем более он, Пироговский.

Я промолчала.

— Ничего?

— Да.

— Ну хорошо. Иди!— Он махнул рукой.— Иди, тебе говорят!— закричал он нетерпеливо.

Но я все еще не уходила. Завороженно я смотрела в огонь, не в силах оторвать от него взгляда: да, там сгорали заживо люди. Наши товарищи. Это их пепел. Их кости дотлевают в золе.

Позади меня вдруг кто-то тихо сказал:

— Уйди, Шура, слышишь? Уходи! Ведь я же не знала.— И Женька, обнимая за плечи, ласково подтолкнула меня в сторону нашей половины палатки, сделала два уставных шага вперед, вытянулась перед Пироговским:— Вы звали меня, товарищ капитан?

Пироговский, босой, растрепанный, запрыгал на одеяле, замахал руками, как черная птица.

— Да! Да! Звал! Надо приходить вовремя!— закричал он сердито.— Когда я вас зову! А не тогда, когда вам надумается! Да! Вон! Вы мне не нужны! Я вас всех на чистую воду выведу!

Я весело засмеялась, повернулась налево кругом, нахлобучила Женьке на самый нос шапку и пошла за перегородку искать свой маскхалат, одеваться, собирать санитарную сумку, готовить оружие, лыжи. Через час выходить.

4

Можно тысячу раз видеть эту картину, и всякий раз будешь стоять, не сводить с нее глаз.

Синяя от снегов, ночная равнина похожа на таинственное, неосвещенное дно океана. Длинные, как водоросли, голые ветви деревьев, уходящие кверху, в черное небо, угловатые тени деревенских печных труб, похожие на остовы некогда затонувших здесь кораблей. Мгла тягучая, тинистая, как ил.

Что-то живое едва шевелится в этой синей, прошитой трассами мгле, ворочается, перебегает. То и дело по чернильно-лиловому фону продергиваются нитки ослепительных желтых вспышек. Косо падают короткие белые тени. Потом все вспыхивает зеленым огнем, замерцав от проплывшей, подобно медузе, сигнальной ракеты. И снова все меркнет. Покой. Тишина.

Семьсот метров от переднего края.

Задыхаясь, я выбежала из палатки, чтобы догнать Сергея, но не успела его задержать: он пропал в темноте. А я в растерянности остановилась и так осталась стоять у обмерзшего тамбура входа, глядя на плывущее волнами небо, на синий спящий снег. Я все еще не могу понять, что случилось.

Только что, собираясь идти на задание с Пироговским, я привычно укладывала санитарную сумку: бинты, вату, ножницы, йод, лубки для шины; потом вычистила и смазала пистолет, заложила в обойму патроны. Сунула, как всегда, в сумку от противогАЗа несколько ржаных сухарей и кусок рафинаду: привычное место хранения наших НЗ. Как обычно, пересчитала противогипритные пакеты, за которыми было приказано осо-

бенно строго следить, недосчиталась и спросила Улаева:

— Серенечка, ты не брал? Что-то здесь не хватает. Брови Сергея взлетели пушистым узлом.

— Сколько?

— Десять штук.

— Что?! Ты не врешь?! Повтори!

Сергей внимательно посмотрел на меня — и вдруг замешательство в его светлых зеленых глазах сменилось ненавистью и испугом.

— Почему ты раньше мне ничего не говорила?! Отвечай: сколько?!

— Десять штук.

— Не ори!

— Как ты с ней разговариваешь, что за тон? — недоумевающе спросила его удивленная Женька. Она сидела перед печью, печальная, словно угасшая. — Не понимаю, чего ты злишься? Она тебе правду сказала.

— Ты знаешь, где они? — все так же шепотом, строго допрашивал меня Улаев. Он не обратил внимания на Женьку и от волнения побледнел.

— Наверное, я съела. Глотаю! Вот так! — с обидой ответила я.

Но Сергей уже стоял в дверях в шапке и наброшенном одним махом на плечи ватнике.

— Дура, вот дура! — сказал он, покачав головой. Крикнул мне, не оборачиваясь: — Не уходи! Ты мне будешь нужна! Я сейчас... — И он бросился в темноту.

Я кинулась за ним следом, но Сергея уже нигде не было. Морозная темная ночь привычно молчала. Лишь где-то обманчиво, совсем в другой стороне, проскрипели по сухому насту шаги часового. Потом две тени, почти слившись, мелькнули в призрачном свечении мелких, как порошок, голубоватых звезд. Одна тень угловатая, ломкая, с раскрывшимися рукавами: это Улаев. Другая — комиссара отряда, Федора Быкова. Я узнала его по бекеше и каракулевой папахе.

Они тихо, взволнованно переговаривались:

— Пересчитать все пакеты с утра! Доложить лично!

— Есть пересчитать.

— Никому ни слова! Молчок! Слышишь? Даже девочкам. Если они все поняли, не обсуждать!

— Да. Есть.

— С Пироговским ни Шура, ни Женя сейчас не пойдут! Пусть прячутся где хотят. Чтобы и духу их не было. Слышишь?! Я им идти категорически запрещаю! Ясно?

— Есть!

— А за дружбу, за помощь — большое спасибо... — И комиссар крепко стиснул руку Сергею. Подтолкнул его в сторону палатки. — Иди! И — ни звука. Понял?

— Да.

Слушая их, я ничего не понимаю. Что «понял»? Что «ясно»? Что «да»?

5

Потом в землянке у наших соседей-артиллеристов, на КП полка, куда нас привел на ночлег Сергей, мы с Женькой лежим на нарах, накрывшись каждая своим полушубком, и молчим. Зябко съежившись под коротким куском овчины, я время от времени все еще вздрагиваю от непонятного для самой себя ужаса перед тем неизвестным, что могло бы случиться.

Шепотом спрашиваю у Женьки:

— Что ж, выходит, Женя, Пироговский брал эти пакеты и пил денатурат? Это ж яд!

— Да! Брал и пил. Перед каждым выходом на задание. Для храбрости... А потом зеленых чертей на себе ловил...

— Ну и что теперь будет?

— Пироговскому — по шапке!

— А потом?

— За такие вещи обычно — под суд.

— А разве вернешь назад Колю Дымова, Шурика, Мишку Аверьянова, всех, кого он угробил?! Да и что ему сделают? Ну, под суд. Отоспится, отьестся в тылу, в безопасности, а потом опять к нам в отряд. Уж хуже отряда, наверное, ничего не придумаешь. И опять людей гробить?! Небось теперь сидит, радуется: «Хоть на день, да вырвался. Вот счастье!»

— А нечистая совесть тоже счастье?!

— Была ль она у него, совесть?! Он, видимо, давно ее пропил.

— Да, знал бы Маковец... — вздохнула Женька.

— Если жив, может быть, еще и узнает.

Кто-то из спящих на еловом лапнике на полу красноармейцев проснулся и шикнул сердито:

— Вы чего, стрекотухи, не спите? Вас спать пустили, так спать! Развякались на ночь глядя...

Виновато вздохнув, я умолкаю.

Но спать спокойно я уже не могу: так все это получилось неожиданно, странно. Не спроси я у Сергея про эти пакеты, теперь бы я, наверное, ушла с Пироговским на лыжах той же самой тропой, по которой до меня шли Коля Дымов, Шурик Рожков, Михаил Аверьянов, все мои земляки, одногодки. И грохот перестрелки уже стихал бы. И все реже и реже взлаивали бы над передним краем немецкие пулеметы, как летом на деревне стихают разбуженные проезжей телегой собаки. И только один монотонно и громко, как верный пес, все еще гавкал бы свое железное, крупнокалиберное: «Гав! Гав!» А я к тому времени, может быть, уже ничего не видела и не слышала бы, как не видят и не слышат сейчас мои товарищи Коля Дымов, Шурик Рожков и Михаил Аверьянов, лежащие там на снегу, за амбарами, возле штаба.

Я все ворочаюсь с боку на бок, с боку на бок. И все думаю, думаю до рассвета. До боли в висках.

Мне кажется: если в мыслях сейчас вернуться назад и понять, почему так случилось, то еще можно кого-то спасти, и что-то исправить, и кому-то сказать, пока не поздно, то, чего я еще не сказала. И помочь разорвать этот страшный, черный, безвыходный круг.

Я должна это сделать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ I

Проснулась я в землянке у артиллеристов среди белого дня. Ни Женьки, лежавшей рядом со мной на нарах, ни бойцов-батарейцев, спавших ночью на лапнике на полу,— никого уже не было. Дымный солнечный луч бил мне прямо в глаза. Пахло свежевымытыми полами. Сухой берестой потрескивала железная печь. Было тихо, тепло, и я, разнежась, спокойно повернулась на другой бок и, убаюканная этим домашним потрескиванием дров, тишиной и покоем, снова крепко заснула.

Когда, наконец проснувшись окончательно, я открыла глаза, в землянке, у входа, на гвозде уже висел чей-то невинный, цвета сливочного масла, не обтертый еще полушубок, а на врытом в землю столе лежали планшет, бинокль и штабная, потертая на сгибах карта. Над картой, задумавшись, стоял человек — большелобый, большеглазый, стриженный ежиком, в зеленом стеганом ватнике, перетянута ремнями.

Человек этот был мне совсем не знаком.

Он весело улыбался.

Он ставил на карте какие-то мелкие стрелки, значки и то и дело складывал губы так, как будто хотел засвистать, но, взглядывая в мою сторону, останавливался и хмурил мохнатые брови.

Время от времени почему-то он забывал о своей работе. Тогда он откладывал в сторону карандаш, сцеплял короткие сильные пальцы и, опершись на них подбородком, подолгу глядел на меня изучающим, насмешливым взглядом.

Я лежала тихонько, притаившись, не шевелясь, смутно догадываясь, что глядит он на меня так уже довольно давно и что мне сейчас не очень-то ловко при нем будет вставать: покрасневшее от долгого сна лицо, спутанные волосы, измятая гимнастерка. Лучше сделать вид, что я сплю, и ждать, когда он отвернется или вовсе уйдет.

Но он не уходит.

В землянке так тихо, что я слышу, как постукивают на руке у незнакомца большие плоские часы — хронометр.

Думай не думай, а подниматься надо.

Решившись, я приоткрываю глаза и, не глядя на незнакомца, громко спрашиваю:

— Чего это вы так уставились на меня?

Человек не вздрогнул от неожиданности, как я хотела, не отвел глаза, не засмеялся. Он даже не переменил своей рассеянной позы: все так же пристально он глядел на меня, опершись локтями о стол, и молчал.

Он слишком долго молчал, прежде чем открыть рот.

— А я вовсе и не на вас смотрю, — ответил он хмуро, — а на нары...

— Что ж в них особенного? — удивилась я. — Нары как нары.

— Да, конечно, ничего. — Он кивнул упрямой, лоба-

стой своей головой.— Если не считать, что я на них обычно сплю. После ночной работы. А сегодня — вы. Правильно говорят: незванный гость хуже татарина!

— О, вот даже как!

Я несколько растерялась. С подобной откровенностью мне, признаться, еще не приходилось сталкиваться. Обычно везде, где бы мы с Женькой ни бывали — на случайных ночлегах, на марше, в разъездах по службе, — нас, девчат, принимали гостеприимно, иной раз проявляя внимательность и услужливость крыловского Демьяна. Но этого лобастого в избытке вежливости не упрекнешь.

Нежась под полушубком, я говорю миролюбиво:

— Давно бы уже разбудили...

Он вскинул голову:

— А зачем вас будить? — Человек усмехнулся. — Вы ж не спите! Я за вами, а вы за мной наблюдаете. Что, я не правду, что ли, говорю?

Он бросил карандаш на карту и хрустнул сцепленными пальцами.

— Ну что ж, что не сплю! — говорю я. — А рассматривать меня тоже незачем. Узоров на мне не нарисовано. И знаков на лбу не проставлено никаких.

Лобастый вдруг застенчиво улыбнулся:

— Как знать, а может, мне приятно смотреть на вас спящую, тогда как? Вдруг в кои-то веки занесло к тебе в дом такое вот существо. — И он, показав руками какое, добавил: — Среди ночи. Как бабочка на огонь!

— Причем на огонь артиллерийский! — заметила я и засмеялась. — Да, действительно очень смешно!

— Нет, каюсь, а мне не смешно, — возразил большеглазый.

Он закурил и сел боком на стол. Помолчав, продолжал:

— Мне всегда больно видеть женщину на войне. Как-то больно и стыдно, что мы, мужчины, не сумели вас от этого оградить. Я так полагаю: война не для вас.

Я вскочила на нарах.

— Ах, вот оно как! Ну, спасибо за откровенность. Вот с этого бы и надо было начинать! А то... Нет! Зачем же крутить вола? Все так просто: война не для нас, а для вас, для мужчин. А мы ни на что не годны, не способны... Так, так! Что еще? Ну, ну, слушаю! Скажите еще, как это?.. Слабый, но прекрасный пол?!

Большелобый коротко усмехнулся:

— Ну, насколько прекрасный, не знаю. Не специалист! А вот что не слабый, то вижу.

— Ладно, хватит!— сказала я.— Не воображайте, что вы одни умеете воевать! Отвернитесь, я оденусь. И можете успокоиться: ухажу. Вот вам ваши нары. Знала бы, так никогда сюда не пришла! Если я хуже татарина, то вы... хуже немца!

Схватив с нар полушубок, пистолет и шапку, не одеваясь, я выскочила из землянки, на прощание хлопнув дзержью так, что снег и земля посыпались с крыши комьями, как при обстреле. Прибежав со всем своим имуществом к себе в палатку, я сердито набросилась на Женьку, мирно доедавшую мой завтрак из одного общего с Сергеем Улаевым котелка:

— Подруга еще называется! Почему меня вовремя не разбудила? Скажешь, это по-товарищески, да?

Женька скорчила в ответ совершенно невинную гримасу.

— Ты так сладко спала,— сказала она.— Я тебя же, балда, пожалела! Никакой благодарности!

— Благодарность моя тебе еще нужна!

— А что? Неплохо бы... Будет время, еще в ножки мне низко поклонись.

И обиженно замолчала.

Но потом, когда Сергей, напившись чаю, пошел на улицу мыть котелок, а я несколько успокоилась, она многозначительно подмигнула мне:

— Так, значит, знакомство все-таки состоялось?

Я опешила:

— Какое знакомство? С кем? Чего ты болтаешь?

— Как с кем? Не притворяйся! С Кедровым. Командиром полка.

— Каким Кедровым? Вот этот... в зеленом ватнике — Кедров?! Командир артполка?! Знаменитый Кедров?!

— Ну да.

— Не болтай глупостей!

— Была мне охота.

— А зачем? Для чего он мне? Что ты все выдумываешь? Какое такое еще знакомство? И зачем ты мне это подстраиваешь, не понимаю...

— А он утром про тебя так расспрашивал,— не унималась Женька,— кто, да откуда, да как...

— Ничего я не знаю и не желаю знать!— отрезала я.— И ты это учти, не то получишь по рукам. Ясно?

— Ясно.— Женька хмыкнула и попыталась соскочить:— Так ясно, что глазам больно.— И сама первая захохотала.

— Никакого Кедрова я не знаю и не желаю знать,— повторяю я.— И ты это учти. Поняла?

— Поняла, да.

— Запомни!

2

Скоро месяц, как наша дивизия в окружении, а мы сидим здесь на своем «пяточке», и немцы бьют из тяжелых орудий по штабу отряда, по нашей палатке, по кладбищу. Между могил в серой мерзлой земле продолблены узкие, словно лодки, траншеи. В них, нахлебавшись, сидят люди. Тонкие струйки проводов текут от траншей, от НП, от окопчиков боевого охранения к батареям Кедрова, и еще дальше в тыл, к штабу дивизии, которой мы подчиняемся оперативно, и туда, где за гребнями лесистых холмов прячутся тупорылые гаубицы.

Кажется, мы застряли здесь навсегда.

Кажется, холод, и грязь, и бессмысленное ожидание лучшего — нескончаемы, длинны. Рядом с маленьким сельским кладбищем уже выросло наше большое, военное. А прошел всего месяц.

С той поры, как от нас увезли Пироговского, никто в отряде ничего не делает. Утром мы просыпаемся поздно и долго валяемся в постелях, потому что лень вставать, топить печь, готовить завтрак, мыть посуду. Уж лучше голодными понежиться всласть: кто знает, когда еще выпадет подобное счастье.

Проснувшись, мы перебрасываемся шутками, пока Улаев, как самый старший по званию и самый сознательный, не начинает укорять сам себя:

— Да-а, трутни мы! Лодыри! Паразиты! Как это только не стыдно нам! Все бы нам дрыхнуть!

Таким самобичеванием он занимается еще час-полтора. Потом, видя, что никто раньше его все равно не поднимется, кряхтя и охая, сбрасывает одеяло и начинает растапливать печь, варить суп из сушеной картошки и подгнившего, черного лука.

Оглядев пустые мешки и пакеты, Сергей долго скребется в затылке: с поздним весенним разливом, с бурно начавшимся таянием снегов нас скоро совсем отрежет от базы снабжения, и тогда уже совершенно будет нечего есть. Тем более что немцы все пристальнее стали держать под обстрелом нашу единственную дорогу, у них появились новые минометные и артиллерийские батареи: в тылы еще проскочишь галопом, а с грузом обратно как?

После позднего завтрака — водянистого супа и подмоченных сухарей — Женька, лохматая, непричесанная, снова валится на одеяло читать неведомо где раздобытого Блока. А я сажусь у окна и гляжу на лиловые тени, распластанные по сугробам. Солнце вспыхивает на сухом, сахарном насте такой автогенною сваркой, так ярко слепит глаза, что, когда отведешь взгляд на груды мешков и шинелей, брошенных в углу палатки, еще долго перед воспаленными зрачками прыгают голубые и оранжевые искры, вертятся по спирали черные пятна.

За окном с длинных желтых сосулк — капель. Прозрачные, словно выточенные из алмазов, удлинненные капли перечеркивают стекло совершенным подобием авиационной бомбежки: микроскопическая серия микроскопических бомб, летящих на землю чуть косо, по траектории. Совсем как в Макашине или в Белом Камне.

Я весну не люблю: мне всегда в это время почему-то тревожно и грустно. Но это моя первая в жизни фронтальная весна, и я ее жду по-особому, с нетерпением. Мне кажется: придет настоящее тепло, с цветами и листьями — и все переменится, все непременно пойдет по-другому. Мне кажется: все наши беды просто от холода. А будет тепло — и все раненые выздоровеют, все окруженные выйдут из окружения, все наши армии снова двинутся на запад, уничтожая врага. И тот, кто в конечном итоге переживет эту зиму, переживет самую смерть. Существует же на земле хоть подобие справедливости. Неужели не существует?!

Днем мы с Женькой слоняемся по разбитой деревне. Снег проваливается под ногами, и наши следы наполняются желтоватой талой водой. В лучах яркого солнца все вокруг выглядит уже не таким бесприютным и диким, как прежде. Четко виден соседний лесок: за ним наш передний край. Там бойцы в обороне. Позади, дальше в тыл, к Алексеевским хуторам, все темнеет,

темнеет дорога, все глубже двумя параллельными линиями протаивают наезженные колеи.

Над головой то и дело пролетают со свистом тяжелые дальнобойные снаряды. Это немцы нащупывают батареи Кедрова.

Я подставляю лицо и грудь резкому ветру. Мне хочется сказать о себе, о весне. Какие-то звуки приходят ко мне, сливаясь в странные образы, как во сне, когда живешь совершенно особенной, волнующей жизнью.

Я молчу, но Женька меня окликает:

— Чего ты бормочешь?

— Так... Ничего.

Мне не хочется отвечать.

Мне хочется в степь, пробуждающуюся под снегом, слушать гул тракторов, смотреть вслед косякам журавлей, ощущать на ладони тяжесть бронзового от солнечного света зерна. Наверное, в глубине каждого человека живет эта тяга к земле. Весной она пробуждается вместе с капелью.

Потом мы сидим с Женькой у входа в траншеи и слушаем, как лениво идет перестрелка на левом фланге, у наших соседей. Кто-то там, озорюя, осторожно выстукивает на пулемете «Чижик-пыжик, где ты был?». И ждет ответа от немцев. Но немцы молчат. Наверно, обедают.

Женька вдруг говорит:

— Ты совсем забыла о Борисе.

Я гляжу на нее удивленно:

— Откуда ты это взяла?

— Как же! То, бывало, каждый вечер ему строчишь.

А сейчас и не пишешь.

— О чем же я буду ему писать?

— О себе.

— О себе?— Я рассеянно пожимаю плечами.— Обо мне он все знает.

— Ну, тогда обо мне.

— Если тебе уж так хочется, можешь сама это сделать,— смеюсь я, приwallась к брустверу боком.

Женька медленно горбится, поднимает с земли комок мерзлой глины и кидает его в подлетеvшего к нам воробья. Щурясь, долго глядит куда-то в сторону, на розовый снег.

— Вот еще, не хватало!— говорит она наконец.— Очень надо!

— А не надо — молчи!

В тишине весеннего утра так приятно молчать и думать о близких мне людях. О счастье, которое где-то рядом. О солнце, которое растворяет в моей крови столько нежности и тепла, что теперь его хватит на целую жизнь. И о Женьке, которая сидит, обхватив колени руками, и тихонько поет:

За городом качки плывут,
Каченята крячуть.
Вбоги дивки замиж идут,
А богаты плачут.
Вбоги дивки замиж идут,
З черными бровами,
А богаты сыдять дома
С киньми та з волами...

3

Вечером, в сумерках, кто-то шумно завозился у входа в нашу палатку. Потом, согнувшись в три погибели, втиснулся в узкую дверь и распрямился мохнатой овчинной горой.

— День добрый, соседи!

— Здравствуйте, коль не шутите!— Улаев поначалу, видимо, не разглядел, что за гость пожаловал к нам. И вдруг торопливо поднялся навстречу.— Что хорошего скажете, Алексей Николаевич?

— Да вот зашел вас, бесхозных, проведать. Как вы тут проживаете?— пробасил с угрюмоватой усмешкой командир артиллерийского полка, расстегнув полушубок. Он потер одна о другую озябшие на вечернем морозе крепкие руки. Шапку бросил в угол, на кучу мешков. Полушубок чуть сдвинул с тяжелых крутых плеч, но не снял его, а только вывернул полы мехом наружу. По-хозяйски прошелся взад-вперед по палатке. Зорко глянул на Женьку, читавшую в сумраке на одеяле, наклонился, отнял Блока и спрятал в карман.— Такие вещи без спросу не трогать!— угрюмо сказал Кедров.— Не для маленьких. Не игрушка!— Потом обернулся к Улаеву, упрекнул с обидой:— Вот ты прибежал ко мне давеча, ночью: «Девочки, девочки... Тяжело им. Война тяжело достается!» Ну, я по-соседски и приютил у себя, пожалел. Так они же в благодарность меня же и обрутали! Это как? Хорошо?

«Да уж, кто кого обругал,—подумала я неприязненно, забиваясь в угол.—Теперь пришел сюда сводить счеты...»

— А кто? Кто это сделал?—спросил Улаев. Он топорливо откинул белую прядь со лба и внимательно, строго поглядел на меня. Почему-то Улаев всегда в таких случаях смотрит на меня, когда хочет найти виноватого. Он ни разу еще не взглянул таким строгим взглядом на Женьку.— Не знаю, Алексей Николаевич,—сказал Сергей.— Я ничего не слышал.

— Ну, где тебе было слышать!—ответил Кедров, обнажая в усмешке ровные белые зубы. При этом он взглянул на меня, но лицо его показалось мне добродушным. Кедров небрежно махнул рукой.— Да ладно уж!.. Кто старое помянет, тому глаз вон.

Он сел рядом с Улаевым на чурбак, похлопал себя по карманам полушубка, не нашарив кисета и спичек, спросил у Сергея:

— Табачок есть?

— Есть.

— Закурим?

— Закурим.

Они закурили.

И пока сосали огромные, свернутые из дивизионной газеты, набитые крупной махрой самокрутки, Алексей Николаевич все молчал и глядел на меня пристальными, угрюмыми, чуть насмешливыми глазами, словно изучая, что я за птица такая и почему так неприязненно забила в угол. И при этом он словно ждал моего ответного взгляда.

В синеватых апрельских сумерках, чисто выбритый, широкоскулый, командир артиллерийского полка сейчас выглядел молодым: наверное, хорошо выспался. От него пахло свежестью талого снега, корой березы и еще чем-то очень крепким и хрустким. Сухощавое, в резких складках, бровастое его лицо было добрым и сильным. В сущности, такие сильные, добрые лица бывают только у артиллеристов.

У разведчика, например, встречающего всякий раз опасность один на один и которому в общем-то нет надобности убивать, пока не напорется на вражескую засаду, а есть надобность быть невидимым, тихим, таинственным и подкрадываться в темноте незаметно, как привидение,— так вот, у разведчика зачастую лицо может

быть пошлым, злым и даже нахальным. Его тонкое ремесло не накладывает на него отпечатка. А такие серьезные, добрые лица я встречала только у артиллеристов, да притом непременно с больших, дальноточных калибров.

«Люди с такими лицами,—почему-то подумала я, разглядывая из угла Кедрова,—погибают всегда странным, загадочным образом. За секунду до перемирия. Или в день получения высшей награды. Или возвращаясь с победой с войны и спасая из-под колес паровоза ребенка».

Чтобы он не заметил моего взгляда и не истолковал его как-то по-своему, я отвернулась. Может быть, поэтому я не услышала, когда он подошел ко мне мягко, по-кошачьи, и сел прямо на пол, обняв колени руками.

— Чего это вы так невеселы? О чем загрустили?—спросил он, заглядывая с участием мне в глаза.

Я ответила холодно, вся подобрившись:

— А чего веселиться? Для радости нет причин...

— Да? Жаль! А я рад. Очень рад! Сказать честно, наверное, это вы мне счастье с собой принесли. Я нынче письмо от жены получил...

— Очень рада за вас. Поздравляю!—Я ответила ему безо всякой иронии, но и без особенного воодушевления. Однако при этом мне почему-то вдруг стало легко. Может быть, потому, что я все еще слишком хорошо помнила сказанные Женькой слова — не знаю, правдивые или нет,—о знакомстве, которого Кедров якобы искал. Видимо, это-то и принуждало меня глядеть на него как на своего притаившегося, замаскированного врага, сообщника Женькиной тайны. Но сам по себе, вот такой, какой он есть, командир артполка вызывал во мне чувство симпатии.

— Хорошая у вас жена?—спросила я, понимая, что на мой вопрос ему сейчас трудно ответить вполне объективно.

— О, просто чудовище! — Кедров рассмеялся открыто и нежно. Все лицо его озарилось широкой улыбкой, какой могут озаряться черты лишь очень влюбленного человека, иступленно ожидающего встречи с любимой. Он сказал:— Вы не знаете, что у меня за жена! Ни одного дня мне с ней еще не было скучно. Ну, да вы еще слишком молоды. Не поймете!

— Красивая?

Он не понял, спросил:

— Что?

— Красивая она, ваша жена?

Озадаченный Кедров долго думал. От напряжения крутая, глубокая морщина прошла через лоб.

— Вот уж, право, не знаю,— ответил он виновато.— Наверное, нет. А разве это так обязательно, быть красивой?

Я замялась.

— Ну, так принято. Говорят. Так в книгах пишут. И в жизни так думают, что можно любить одних только очень красивых. Не умных, не добрых, а лишь бы только нос был нужной длины.

— Да?— Нагнув голову, Кедров слушал.— Нет. Она некрасивая. Умная? Нет, не знаю. Ну просто, как вам сказать? Болтает бог знает что. Каждый день для меня какая-нибудь радость. Чистый цирк! Ей-богу, чудно!

— Счастливый вы человек!— Я вздохнула.

— Да.— Кедров коротко и серьезно кивнул головой.— Да. Счастливый. Я и сам это знаю.

Мне странно видеть его таким, этого прославленного на всю армию командира, не раз вступавшего в артиллерийские дуэли с батареями немцев, отражавшего натиск множества танков, уничтожавшего целые батальоны немецкой пехоты и теперь не боявшегося ничего. Говорят, одно имя его наводит на гитлеровцев страх. Но вот он сидит передо мной, такой тихий и славный, полный воспоминаний о жене, и мне завидно, какой он домашний, как Женька сказала бы, «очень свой».

Я смотрю на него с чувством радости, хорошо сознавая, что Женька утром мне сказала неправду и что эта неправда ей зачем-то нужна.

— А что, Алексей Николаевич, вы не слыхали, как там наши?— спрашивает Улаев, садясь с нами рядом и пересыпая с ладони на бумажку табак. Он сворачивает козью ножку, подает огонь Кедрову.

Все, кто находится в палатке — дневальный по штабу, санитары, бойцы, — придвигаются ближе, слушают.

Размеренно, монотонно через гребень палатки перелетают снаряды и рвутся невдалеке, где-то на огородах сожженной деревни. Но на обстрел никто не обращает внимания: все привыкли.

— Как там наши?— переспрашивает Кедров.

Мне нравится, что он окруженных считает своими.

Кедров медленно, не торопясь, закуривает, и лицо его словно задерживается облаком дыма.

— Да как сказать? Равновесие, которое наблюдалось всю эту зиму, как видно, нарушилось. Немцы активизируются. Принимают подкрепления. Недавно у них разгрузились два эшелона с танками. Значит, надо ждать боевых действий.

— А под Ржевом? Под Юхновом? Там все то же?

— Да, все то же...

Кедров умолкает. Мы тоже молчим.

К сожалению, мы зависим от Ржева, от Юхнова.

Опершись на рокадную железную дорогу, немцы сделали крепостями три старинных русских города: Ржев, Вязьму и Юхнов. И вот всю зиму напряженные, кровопролитные бои шли и севернее нас, и южнее. И мы, в центре, третий месяц пытаемся прорвать немецкую оборону, пробиться на помощь к своим — и не можем. Не хватает снарядов, орудий, авиации, танков, люди вымотались. Иной раз кажется, стоит только нажать — и все будет в порядке. Тем более что у немцев за линией фронта мешанина, «слоеный пирог». Справа, из-под Ржева, в свое время вышли и ударили гитлеровцам в тыл две наши армии и конный корпус. Они зашли глубоко за линию фронта, к самой Вязьме, и ходят теперь чуть севернее ее, тревожа боями; слева, из-под Юхнова, вышел рейдом другой конный корпус и движется по тылам немцев к Вязьме уже с юго-востока; в центре — наши, окруженные. Они тоже связали фашистов по рукам и ногам и заставили их всю зиму отсиживаться в дотах и дзотах, не выходить на оперативный простор. Позади окруженных, за спиной у врага, — партизаны Смоленска и Духовщины. Действительно, иной раз кажется: вот так штука! Стоит только нажать, и линия фронта где-нибудь треснет, разломится на куски. И как знать тогда, насколько короче и проще станет война?

Но нажать нечем.

Пехота устала. Наступление, начавшееся в первых числах декабря под Москвой, продолжалось весь январь и начало февраля, и резервы, по-видимому, уже истощились. Новых ждать пока неоткуда. На фашистов работает вся Европа, а на нас только Урал, да и тот пере-

страивается, принимает перебазированные с запада фабрики и заводы.

— Правильно говорят: бог создал землю, а черт — Смоленскую область. — Кто-то тяжело вздохнул из угла, светясь красным огоньком папиросы.

Но Улаев, сам родом смолянин, обиженно фыркнул:

— Бог! Черт! Много ты понимаешь! Уж если быть точным, то скажи так: бог создал людей, а черт — Гитлера.

— Выходит, что так.

— Да, действительно непонятное дело с Вязьмой, — говорит угрюмо Кедров. — Разве что со временем история разберется? Честно говоря, я и сам не могу понять, как это так получилось, что дважды — не один раз, по случайности, а дважды — на одном и том же месте у нас окружение.

— В наступлении всегда неразбериха.

— Война — это риск. Мы обязаны были рисковать. А если бы немцы покатались и покатались на запад? Что ж, мы бы так и сидели, ждали, пока наши тылы подтянутся? Тоже очень смешно...

— Да, это тебе не задачка в школьной тетради: решение не сошлось, резиночкой стер — и сначала. Всего сразу и не учтешь!

— Хотел бы я дожить до тех дней, когда мы будем немцев брать в окружение. Вот уж я тогда посмеюсь!..

Да, действительно дважды — под Вязьмой. На одном и том же месте. Странно? Может быть. Но кто сейчас в этих странностях разберется? Темна вода в бесчисленных реках, речках и ручейках, протекающих по полям и лугам древней Вязьмы. Темны омуты и водовороты в непроходимых ее болотах и бочагах. Темны тучи, ходящие над озерами. И бесконечна вера человека в свои силы, в победу. Ради победы он готов идти на все: пусть с гранатами против танков и тяжелых орудий, пусть голодный против сытых врагов, отсиживающихся в тепле. Пусть в кольце, в окружении, но сражаться...

— Я слышал: нашим дали приказ выходить?

— Да, — ответил Кедров. — Есть такой приказ. Конечно, теперь, когда возник перевес, им нет смысла оставаться у немцев в тылу. Они свое дело сделали. Пора и на отдых...

— Пробьются?

— Должны. Мы поможем отсюда...

Поздно вечером, когда Кедров собрался уже уходить, он на миг обернулся ко мне:

— До свиданья! Спокойной ночи...

— Спокойной ночи. До свиданья,— ответила я и попросила:— А Блока оставьте, пожалуйста!

Кедров потоптался на месте. Помедлил. Подумал. В сомнении нерешительно сунул руку в карман. Не торопясь вынул синенький томик, погладил его ладонью, протянул мне:

— Ну уж ладно, нате! Только не забудьте вернуть. А то я знаю вас, обязательно заиграете.

— Нет. Честное слово, нет, Алексей Николаевич!

— Ну, верю. Добро!

Он ушел, сгорбясь, грузный, медвежесовато переваливаясь в больших сапогах, и сразу в палатке стало пусто и неуютно. Как будто печка потухла. Кедров долго еще стоял возле тамбура с Сергеем Улаевым, который пошел его провожать, и что-то рассказывал, посмеивался глуховатым смешком. А Сергей мелко сыпал в ответ, как горох, круглое, задышающееся: «Хо-хо!..»

Проводив гостя до самого КП полка, Сергей вернулся, бросил автомат на сено, лег сам и долго лежал молча. Потом вздохнул:

— Вот это человек! В огонь и воду за ним пошел бы.

Ни Женька, ни я ничего не сказали.

Кедров пришел к нам и на другой вечер, и на третий, и на четвертый. Каждый раз садился возле огня, доставал кисет или же, хлопая себя по карманам, обращался к Сергею:

— Табачок есть?

— Есть.

— Закурим?

— Закурим.

И они не спеша молчаливо курили.

Он был такой сильный, прямой, неуклюжий, что, глядя на него, я невольно улыбалась. Так мог из чащи лесов прийти на огонь дикий зверь, могучий и добродушный.

Иногда мы с ним встречались глазами. Тогда он улыбался: незатопленные лучики возле его глаз становились тонкими.

Потом Кедров поднимался и уходил.

А потом среди ночи приехал из штаба дивизии комиссар Федор Быков и привез приказ нам срочно сворачиваться и уезжать. И в суматохе сборов я совершенно забыла о синей книжечке Блока и о Кедрове. Вспомнила, когда подъезжали уже к Кошнякам. Сидя в полуторке, на верхотуре, поверх брезентов и ящиков с грузом, я нашарила вдруг в кармане шинели шершавую, холодную на ощупь обложку и ахнула:

— Господи, а Блок-то? Как же Блок? Ведь я обещала Кедрову отдать. Подумает: нарочно заиграла...

— Блок-то Блок, да и сам не будь плох! — назидательно заметила Женька и, завернувшись в тулуп Пироговского с головой, приткнулась поплотнее к кабине.

Не знаю, что она имела в виду.

Загородившись от ветра и думая о Кедрове, я открыла томик наугад: что было у нас хорошего с ним, отчего мне так грустно сейчас уезжать? В свете меркнущих звезд прочитала:

Слова? — Их не было. — Что ж было? —
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли...

Почему-то мне было жаль оставлять позади себя эту, выжженную деревню с остатками печных труб, с разбитыми в щепы крестами на кладбище, с талым снегом дорог, стеклянистым и чуть пузырчатым.

Там, на КП полка, где мы ночевали, сейчас, наверное, холодно и темно. Мерно ходит вдоль бруствера часовой в подшитых валенках, в косматом бараньем тулупе. Спят батарейцы на полу в землянке. Спит Кедров на пригретых нами с Женькою нарах.

А там, где стояла палатка санчасти отряда, только черный прямоугольник, еще один черный прямоугольник из бесчисленных оставленных нами на снегу, да темные полосы помоев на длинных грядах сугробов, да серая шелуха картофельной кожуры, да клочья сена и комья навоза у штабной коновязи. А по взгорку, над черным, угольным изломом того самого пахнущего талой водой оврага, где нас с Женькой чуть не угораздило на тот свет по дороге из бани, уходящий в разрывах снарядов на Алексеевские хутора и куда-то еще дальше, в неизвестность, последний отрядный обоз.

До свиданья, прощайте, Алексей Николаевич...

Ледовая, снежная одиссея кончалась.

Немцы били теперь по площади наугад. Мины квакали, плюхаясь по-лягушечьи в снежную кашу болота, взбудораженную бесчисленными колесами и сотнями ног. Осколки щелкали звонко и нагло. Где-то невдалеке тачал свое пулемет.

Группа командиров и политработников, оборванных, грязных, заросших бородами, толпилась под единственной на весь здешний лес большой, старой елью, укрываясь под ее широкими лапами.

Только что кончилось совещание, на котором решили, кому, где и когда выходить, и теперь все ждали темноты и молчаливо переглядывались, поглядывали на часы.

Но небо по-апрельски еще светло зеленело, не собираясь темнеть, и набрякший кровью и ржавчиной закат все еще не истлел там, на западе, где постанывали, взвизгивая, мины противника. «Из света в сумрак переход» был слишком долгов, он томил заждавшихся, усталых людей.

— Всем понятна задача? — спросил человек с забинтованной головой.

— Всем.

— Кто первым идет? — Спрашивающий, казалось, проверял сам себя: сознание его то и дело затемнялось.

— Я, — тихо отозвался невысокий стройный человек, почти мальчик, с едва пробивающимися усами. Он поправил на ремне карабин и нащупал в кармане патроны.

— А, ты, Мусатов? Вперед! — приказал человек с забинтованной головой. И добавил совсем не по уставу: — В добрый путь! От тебя теперь все зависит, сынок!

Оборванные, с зеленоватыми лицами бойцы в рыжих шинелях и разбитых, промокших валенках, с подошвами, подвязанными телефонными проводами, зачавкали по талой воде, по кустам, выбираясь к окраине леса, на исходные. Кто-то из идущих скрылся в столбе из брызг и осколков. Когда столб воды, мерзлой почвы и гари с шумом осел, человек уже лежал на земле, корчась. Но никто из его товарищей по атаке не оглянулся, не обра-

тил внимания. Все привыкли к этим молчаливым падениям, без крика, без стопа — кричать здесь нельзя, тогда смерть и всем остальным, но и оборачиваться к упавшему тоже нельзя, потому что милосердие в эту минуту равносильно трусости. И еще потому, что для атаки нужно беречь силы, а их нет. Люди от голода и от ран ослабели: стоит нагнуться, помогая товарищу, и уже не встать, не подняться: сам уткнешься лицом в снег.

— Комиссар, ты где? — спросил человек с забинтованной головой, слепо шаря перед собой руками.

Это был командир дивизии Маковец. Он оперся плечом о ствол старой ели, прикрыл набрякшими веками глаза, пряча, топя в себе длительное головокружение. Ему показалось: земля, уменьшаясь, прыгает, как резиновый детский мячик.

— Я здесь, — отозвался старший батальонный комиссар Афанасий Безуглый. Человек очень сдержанный, собранный, он за одну эту зиму научился таким словам, каких прежде не знал: «Весна», «Смотри-ка, какие мохнатые почки на ветке!», «Не жалей ни о чем, мы во всем были честными до конца, нас никто не осудит».

Сейчас комиссар следил за уходящей негустой цепью наступающих во главе с молодым командиром, еще мальчиком. У бойцов — карабины, винтовки, пять гранат на всю группу. А у немцев — зарытые в землю танки, из которых они ведут прицельный огонь, минометы, пулеметы, долговременные укрепления.

— Что молчишь? — спросил Маковец. — Пройдем? Или нет?

— Должны пройти, — сказал после некоторого молчания комиссар и оглянулся назад.

Там, посредине болота, сгрудились обозы с тяжело ранеными и тифозными, где-то валялся на санях и бредил начподив Егоров, умирал от ранения в живот осколком мины командир первого полка Одинцов и впервые за месяц после тифа осмысленными, прояснившимися глазами взглянул на зажегшуюся в небе звезду Петряков. Всем им вместе, бойцам и командирам, раненым и тяжело раненым, больным и умирающим, сейчас предстояло преодолеть расстояние в шесть с половиною километров. Всего-навсего шесть с половиною километров, но каких! Под обстрелами, через завалы и минные поля заграждений, через шоссе — под дулами вражеских танков и пушек. Но они должны пробиться к Угре, за

которой — свои, переправиться по ломающемуся, талому льду на тот берег.

И пуще врага, пуще обстрела, пуще отсутствия боеприпасов и усталости, когда люди спят на ходу, комиссара сейчас пугала эта разлившаяся на пути, вздувавшаяся от напора талой воды Угра и бесчисленные овраги с безыменными ручейками. Обессилевшим от голода, как им одолеть эту новую, неожиданную преграду?..

— Должны пройти, — сказал комиссар Безуглый.

2

Петряков смотрел на зажегшуюся в небе звезду, словно вырезанную из белой жести, и с нежностью прислушивался к лесным, обозным звукам: он жил, он чувствовал, разбирался в их смысле. Вот фыркнул конь, поводья впалыми, облезлыми боками. Вот где-то с треском хлопнула мина, но, видимо, не убила никого: никто не забился, не заскреб ногтями по мокрому насту. Вот две головы наклонились над ним: одна забинтованная, в клочьях вылезавшей ваты, другая в шапке-ушанке.

— Жив? — спросил Маковец.

Петряков не ответил: он был еще очень слаб.

— Жив, — ответил за Ивана Григорьевича Безуглый, наклоняясь и робко, осторожно погладив командира медико-санитарного батальона по небритой, черной щеке.

— Сейчас, Ваня, пойдем на прорыв, — сказал Маковец. — Сам знаешь: хоть плыть, но быть!.. Так вот, если что с нами случится, — Маковец кивнул на себя и на комиссара, — считай, ты командир. Кроме — некому. Помни!

— Есть! — еле слышно прошептал Петряков. — Помню...

— Где Марьяна?

— Пошла воды в котелок набрать. Сейчас придет.

— Пусть будет готова. Обоз идет сразу за наступающими.

— Да. Я ей скажу.

— Прощай, друг... Будь здоров!

Маковец наклонился, чтобы поправить одеяло на Петрякове. Потом выпрямился и долго стоял, стиснув зубы, давя внутри себя зябкую дрожь. Он давно уже ничего не боялся: ни этого предстоящего боя, ни собствен-

ных ран, ни голода, ни ненастья. Единственное, что пугало его сейчас, — потерять при прорыве лучших людей, самых опытных командиров. Этого он не хотел бы увидеть и пережить. Он заранее принял все меры, какие смог в условиях окружения предпринять как командир дивизии и коммунист. Люди были расписаны по местам, каждый знал свою цель и задачу, а зная, самое драгоценное, что несла с собой горстка измученных, промокших бойцов, он сам лично вручил разведчику Худякову, человеку бесстрашному и осторожному, и тот обмотал его вокруг себя под шинелью, а теперь ждал вместе со всеми назначенного для прорыва часа.

То ли от долгих сумерек, от набухших в ледяной снежной каше сапог, то ли от напряженного нервного ожидания того момента, когда группа, вышедшая вперед, отвлечет наконец внимание врага и вызовет на себя весь огонь, а они с комиссаром и основными частями, со всей массой обозов с тяжелоранеными и больными двинутся в противоположную сторону, но Маковец вдруг явственно ощутил пробежавший мимо лица и ожегший его пронзительный, пахнувший погребом холод. Какую новую беду этот холод им всем предвещал, он не знал, не задумался. По себе он почувствовал: будет вечер и ночь, а утра в его жизни уже не будет.

Вспоминая прошлое, сейчас Маковец ни о чем не жалел. Ему не в чем было раскаиваться: он честно сражался. То, что случилось с его дивизией, — не глупость командования и не ошибка, не предательство, как кричал струсивший в бою командир батальона капитан Гончарук, а трагическая случайность, каких много на всякой, даже самой удачной войне. И чем спокойнее и честнее человек в подобных безвыходных обстоятельствах, чем меньше он думает о себе, чем лучше делает доверенное ему дело, тем скорее приходит победа. Ведь победа складывается не только из подвигов в наступлении, но и из внутренней стойкости каждого в отступлении, в беде.

Командир дивизии тронул Безуглого за плечо:

— Комиссар! Слушай, что я тебе скажу.

— Да, — откликнулся тот, удивленный его тихим, торжественным тоном. — Слушаю.

Как и многие другие кадровые командиры в дивизии, Маковец был верным сыном своего сурового, беспощадного века. Только здесь, в смоленских лесах, он на-

чал понимать: с подчиненными можно быть и суровым и беспощадным и тем достигать назначенной цели. Но сильнее суровости человечность, побеждает она. И впервые за долгие годы службы Осип Федорович пожалел сам себя: за ту скудость чувств, какие он разрешал себе как командиру.

«Эх, Ося! — подумал он с необычной тоской, поведя глазами по лицам красноармейцев. — Ведь это твои боевые друзья! Твои братья по пролитой крови...»

Он мысленно оглянулся куда-то назад: на себя, каким был. Другую бы жизнь — и все, наверное, у него пошло бы теперь по-другому.

Но другой жизни он не мог себе сделать: не успевал.

— Слушай, Афанасий! Дай перед боем тебя поцелую, — обратился он к комиссару. — Прощай, брат!

Безуглый зло оттолкнул от себя командира дивизии.

— Ты что, ошалел? Какое «прощай»? Жить, что ль, расхотел?

— Нет, друг, жить я очень хочу.

— Зачем тогда так говоришь? Почему?!

— Да вот, слышу: вещует. — Маковец тронул левую половину груди темной рукой.

— Бабы бредни! Выдумки! Брось! Кто хочет остаться в живых, тот и будет жить, несмотря ни на что!

Маковец покачал головою:

— Нет, не то говоришь, друг. Погибшие — они тоже хотели жить! И еще как хотели! Все на свете, без исключения, хотят жить, комиссар, ты это знаешь! Это кто уцелел, потом объясняет: я, мол, сильно хотел жить, потому и живу. А я честно скажу: на войне убивают всех, в кого пуля попала. Нет, я тебе это честно скажу, — повторил он.

Генерал не досказал и, запнувшись от боли в висках, покачнулся. Отдышавшись, взглянул на Безуглого и вдруг крепко прижался щекой к заходящей щеке комиссара. Потом сразу же взглянул на часы. Поднял руку:

— Пора!

Наконец в той стороне, куда ушла группа, начинавшая обманный маневр, зеленой дугой прочертила небо сигнальная ракета. Кто-то сдуру, с испугу закричал истошно «ура». И тотчас же рывкнули немецкие минометы. По редколесью прошел ропот ветра. Потом все затихло, однако уже через несколько секунд бой с но-

бой силой вспыхнул где-то несколько в стороне, в тишине молодой, пахнувшей сырым соком деревьев апрельской ночи. Теперь уже слышались голоса многих орудий, с треском рвались гранаты.

— Навязали, навязали бой! Внимание!

— Пошли! Быстрее! Коней выводи!

— Бего-о-ом! Бегом! Через поляну, ориентир вон на тот лесок!

Но когда все до единого бойца вышли из леса и колонна вытянулась на дороге в открытом поле, ясно видная в сумерках на сером снегу, где-то сбоку, с флангов, ударили два пулемета. Отступить уже тоже было нельзя: стреляли и в спину.

Комиссар на ходу обо что-то неловко споткнулся, чуть не упал, и Маковец, бежавший несколько позади, сделал торопливое движение всем телом вперед: скорей поддержать. И так с плечом, повернутым на вражеские пулеметы, и рухнул на снег, подгибаясь в коленях. Хрипло выдохнул в лицо обернувшемуся невредимому комиссару:

— Безуглый, вперед! Вперед, твою мать!

Приподнялся, сел на снегу, разглядывая свои перебитые ноги. Почувствовал: горячо в бедре, и в голени, и в животе. Спокойно вздохнул. Отвел назад руку, сжал холодный металл. И, не желая ждать неизвестности, будь то боль или плен, не желая мешать наступающим, ведущим огонь,— кое-кто из них с растерянностью и смятением оглянулся на бегу на его неподвижное тело,— не торопясь приложил дуло пистолета к виску.

— Прощай, Родина! Афанасий, прости, если можешь!..

3

Пули визжали: «Жить! Жить!»

Петряков лежал, упершись локтями в снег, зажав онемевшими пальцами автомат. Быстро проверил, есть ли в магазине патроны, перевел на очередь. Заботливо обернулся к Марьяне: как она, не нужно ль помочь? Но Марьяна, укрывшись за пнем, спокойно, как всегда, велла методический прицельный огонь.

«Молодец! — пронеслось у него в голове. — Молодец! Милая! Золотая моя, дорогая, бей их! Бей — и гляди, гляди, вон заходит к тебе с тылу справа». И он тоже

прильнул к автомату: впереди кто-то быстро перебежал и пригнулся.

Немцы шли с трех сторон, небольшими группами, петляя и прячась за кустарниками, в низких елях. Сгорбленные, перебегающие, издали они были похожи на серо-зеленых, молчаливых чертей: стрекотания их автоматов командир батальона не слышал, потому что слышал только свой автомат. Но то, что они стреляли, он хорошо понимал: пули резали нависшие над ним ветви деревьев, и мелкие веточки и древесная расщепленная кора падали на шапку Ивана Григорьевича.

Перебежал и рядом упал Финяк. Подполз по сугробам шофер Кисляков. Разрывная пуля его ранила в челюсть — и он замычал, задергал головою от боли. Снег вокруг окрасился кровью. Петряков стиснул зубы: он ничем сейчас не мог Кислякову помочь. Только огнем. Нужно только стрелять, не отвлекаясь. Если он, Петряков, перестанет стрелять, немцы через три минуты будут здесь, рядом.

— Марьяна, надо прорываться, идти в атаку...

— Да, пора.

— Передай тем, кто сзади тебя.

— Хорошо.

Он с трудом оторвал свое ослабевшее тело от подтаявшего под локтем шершавого наста.

«Перебежать. Надо быстро перебежать, — думал он. — Надо бегом кинуться через поляну и там притаиться в кустах и снова лицом к лицу встретить гадов».

Петряков опять оглянулся с тревогой: где Марьяна? Впервые за дни окружения он вдруг страстно, с болью подумал: «Жить! Быть здоровым, красивым, жить счастливо и любить эту девушку!»

«Жить! — кричало в груди у него. — Хорошо жить на свете, люди! Так живите же и не тратьте времени даром! Не хнычьте, не плачьте из-за пустяков. Плакать не о чем. Надо радоваться этой чудом доставшейся вам удивительной жизни. И уж если когда-нибудь вам придется платить за свое недолгое счастье, как мне, то платите! Честно, щедро платите и сердцем и кровью. Жизнь стоит этого!»

После болезни его тело было легким, но таким ослабевшим, что он не смог оторвать его от земли. Торопливо подтягиваясь на руках, он пополз к дереву, оперся о ствол и мучительно медленно стал подниматься. Серо-

зеленые фигуры фашистов были уже близко, они только в первый миг чуть поплыли в тумане нахлынувшей дурноты, потом сразу стали четкими, ясными. Петряков резко махнул рукой:

— Вперед! За Родину! — И подумал: «Вот эта минута... Ради этой минуты я жил». И крикнул хрипло: — Ура-а!..

Где-то рядом запели «Интернационал». Потом слышались хлопки pistolетных выстрелов. Обойденные со всех сторон наступающими фашистами, люди быстро кончали с собою, один за другим.

Петряков сделал шаг вперед, но что-то горячее хлестнуло его по груди, по плечам, и он, задохнувшись в этом жгучем захлесте, рухнул в снег, лицом в жесткую корку наста. Бой ушел куда-то правее.

Петряков остался один на снегу, в большой черной яме.

Потом он поплыл.

Время от времени его тихо покачивало, и он там, в темноте, этому незнакомому для него покачиванию счастливо и радостно улыбался.

Иногда ему слышался голос Марьяны. Она говорила: «Сюда, несите сюда. Ставьте». И он напряженно прислушивался: а что будет дальше? Неужели он умер, и это его хоронят, и он, умерший, слышит тихие голоса говорящих и голос Марьяны? Значит, правда, что после смерти человек еще целых два часа слышит все, что о нем говорят?

Потом он ничего уже больше не чувствовал и не слышал.

4

Петрякова несли на носилках, сделанных из двух срубленных тонких берез и натянутой на них плащ-палатки. Марьяна шла рядом. Она тащила за плечами его автомат, свой карабин, сумку из-под медикаментов и вещмешок с остатками продуктов: две лепешки из древесной коры и гнилых отрубей, драгоценную сбереженную щепотку соли и спички — последние, что имелись в их группе.

Дивизия так и не пробилась на юго-восток через шоссейную дорогу, в том направлении, куда всем им было приказано прорываться. За двое суток непрерывных боев они преодолели лишь три километра из шести с

половиной, отделяющих от своих. К сожалению, эта пройденная дорога не дала окруженным никаких преимуществ. Немцы их расчленили на отдельные группы, и теперь каждая группа была тоже в кольце и действовала в одиночку.

— Немцы, видимо, накопили большие силы, — сказал Иван Григорьевич Марьяне, раздумывая об усложнившейся обстановке.

Резко дул сырой, напористый ветер: он мешал людям идти. В колеях дорог стояла вода. То и дело бойцы вспугивали стаи птиц, они тянулись куда-то на север, и Петряков, приходя в себя и покачиваясь на носилках, жадным взглядом следил за их вольным полетом. Для них не было в небе ни границ, ни переднего края.

После беспамятства он очень медленно приходил в себя, и голод терзал его с особенной силой. Иногда бойцы находили и выкапывали из-под снега какие-то корни трав и растений, но Марьяна однажды таким корнем отравилась, и Петряков запретил ей это есть. Иногда они находили на старых гумнах сырое, проросшее зерно. Иногда варили конину, и это был праздник: лошадей в их группе давно уже съели; это им оставались обеды от других, прошедших здесь групп.

Но все это был суший пустяк для Петрякова — и ранение в легкие, и гнилая конина, и черные корни, и пустая снеговая вода, согретая на костре, — потому что с ним рядом была Марьяна.

С того самого дня, когда танки перерезали позади них дорогу, Марьяна всегда теперь была с ним рядом, всю долгую зиму. Даже заболевая и чувствуя, что двигается что-то темное и глухое, Иван Григорьевич не испугался, положившись во всем на Марьяну. Он сказал ей только тогда: «Слушай внимательно, что я тебе скажу. Завтра я буду уже без сознания. Вот ампулы, шприц, будешь мне делать уколы. Не забывай почаще меня переворачивать, чтобы не было отека легких... Поняла?» — «Да. Все будет сделано так, как надо, не беспокойтесь, Иван Григорьевич. Я знаю».

И Марьяна сделала все, чтобы вырвать его у смерти. Она спасла ему жизнь и тогда, когда он болел тифом, и теперь, когда его ранило во время атаки.

Петряков слышал голос Марьяны рядом, чувствовал прикосновение ее рук и знал: это сама жизнь. Пока Марьяна здесь, он жив. Не будет Марьяны — не будет

и жизни. Потому что никто не сумеет сделать так, как она.

Странно сказать, но Петряков никогда не искал для себя в жизни какого-то возвышенного идеала. Он не знал, что такое идеал. Глядя на встреченных женщин, он просто всякий раз себе мысленно говорил: «Нет, нет, не она! Не она!» Это был его собственный метод доказательства от противного.

Нет, она не могла бы униженно или глупенько улыбаться, грызть конфеты, носить грязные, спущенные чулки. У нее не должно быть такой тяжелой, вульгарной походки. И волосы она не должна так коротко стричь и причесывать их так небрежно. И не должна она также курить и сморкаться в грязный, скомканный расшитый платок. Та, воображаемая, которую он искал, не должна была делать очень многого. Она вся была соткана из ограничений и даже запретов.

А Марьяна могла быть измученной, грязной, с невымытыми волосами, в оборванной гимнастерке. При ходьбе она сильно хромала: портянками она натерла себе ногу, и ссадина нагноилась. Марьяна спала, скорчившись, на теплых углях, в золе костров, грязной тине болот, и на лице уже не было ее прежнего нежно-розового румянца. Взамен него пришли бледность и желтоватость обветренной кожи. Но та прелесть, которая поражала его прежде в Марьяне, он знал, никуда не ушла, она просто спряталась, притаилась в ее огромных, синих, как пролески, глазах и тихо живет там, дожидаясь лучшего времени. Сейчас в этих глазах были только преданность и незнание страха. И это было то самое главное, чего Иван Григорьевич, оказывается, искал всю свою жизнь.

Сегодня, не пробившись через шоссейную дорогу, они опять отступили на запад и попали под огонь немецких автоматчиков. Бойцы бросились в разные стороны, рассредоточиваясь и отстреливаясь, прикрывая собою тяжелый обоз. Но немцы спокойно его расстреляли из минометов: всех раненых, всех больных, и всех санитаров, и всех врачей. Марьяна и два красноармейца с носилками Петрякова шли впереди, это их и спасло: они успели залечь за какими-то буграми, поросшими красноталом, а позже — незаметно уйти.

Вечером, отходя в темноте, измученные, опустошенные, они вдруг наткнулись на группу комиссара Безутлого.

В гуще леса держали совет: как быть?

— Смелому — горох хлебать, а несмелому и щей не видать! — после некоторого раздумья сказал Петряков комиссару, сидевшему над картой и изучавшему прилегающие к Угре подходы. — Надо прорываться вот здесь и переходить, пока не поздно, по льду.

— Поздно! — сказал Афанасий, хмуро глядя куда-то вперед. — Что поздно, то поздно. Лед двинется, как только мы взойдем на него. Нас немцы недаром кружили... Они знают, когда ледоход!

— Да, но все равно переходить надо, — сказал Петряков. — Двух смертей не бывать, а одну-то уж мы все видали!

Наступило молчание.

— Что ж, — сказал наконец комиссар. — Раз так — значит, так. Когда?

— Завтра утром.

5

Ночь провели, не зажигая костра, на болоте. Кое-как грелись, прижимаясь друг к другу. Кто-то уснул, лежа прямо в воде. Часовые, сидящие за кустами, еле слышно переговаривались, когда Марьяна подошла к ним с кусками лепешки.

— Неужели мы им все простим, а, сестра? — спросил один простуженным голосом, тяжело вздыхая. — Неужели ты им все простишь? Как гоняют тебя по лесу, словно волка... Да еще где — не на их, а на нашей земле!

Другой боец сидел пригнувшись, перематывал портянки и привязывал к валенкам обрезки автомобильной покрышки. Громко выругавшись, он сплюнул:

— Ни хрена я им не прощу! Грешным делом, скажу: если выйду, то, где ни увижу, как мышей, как клопов, их буду давить.

— Да, я тоже им ничего не прощу, — сказала Марьяна. — Никогда, ничего!

Когда часовые съели остатки лепешек, она незаметно судорожно сглотнула, подавляя голодный спазм. Это была ее собственная порция хлеба. Но она могла еще выдержать, пережить еще сутки и так, без еды, а эти двое несли носилки с раненым Петряковым.

Утром Угра лежала перед ними огромной ничьей полосой. Лед еще не тронулся, но на нем уже отчетливо

обозначались широкие закраины. Поверх желтой его толщи стояла вода.

Там, на другом берегу, тянулись аккуратно отрытые передовые траншеи и за их брустверами сидели свои, советские, русские люди. Только перейти этот лед — и все сразу кончится. Кончится голод. Болезни. Страх плена и смерти. Там начнется чудесная жизнь: под защитой переднего края и заграждений из проволоки и минных полей, под прикрытием настильного и навесного огня своих батарей и разящего прицельного боя автоматов и пулеметов. Вот только бы добраться живым, перейти эту грозную в половодье, безглазую, черную реку! А тогда мстить и мстить всей силой сердца, всем жаром крови за голод, за муки, за погибших друзей!

Комиссар, потемневший на апрельском солнце до цвета бронзы, худой, с ввалившимися глазами, долго разглядывал карту. Потом хрипло спросил Петрякова:

— Ну как? Начинаем?

— Да, пора!

Петряков подумал о себе, но ничего не спросил. Он хорошо знал, что, тяжело раненный, на самодельных носилках, он является для всей группы бременем: слишком тяжелый, неуклюжий груз и слишком большая мишень на виду. Злоупотреблять любовью окружающих в такую минуту нельзя. Надо самому выбирать свой собственный путь: без друзей, без Марьяны.

Он сказал, объясняя:

— По льду надо быстро, бегом, без всяких тяжестей. От всего, что мешает движению, освободиться. От всякой обузы. Иначе нельзя.

Но Безуглый спокойно похлопал Петрякова по плечу:

— Молчи, Иван. Лишнего не болтай. Ты для нас не обуза. Будем бежать быстро, а тебя будем тягать волоком, на носилках. Как в санях. Все будет, друг, хорошо! Не волнуйся...

В назначенный час тремя небольшими группами окруженные вышли на берег. День был ветреный, серый, мозжащий. Такой серый, пасмурный день и такой влажный порывистый ветер в мирные, добрые весны

приносили с собой паводок, живое движение реки. И люди обычно их ждали, этих дней, с нетерпением, с радостью. Сейчас Марьяна глядела на Угру с тревогой. Ее до костей пронизывал этот нервный, порывистый ветер, и она зябко ежилась. Перед самой Угрой ее ранило в руку разрывной пулей, и Марьяна побаивалась теперь за себя: если нужно будет броситься в воду и плыть, доплывет ли в студеной, талой воде? Река, затопившая луговину, еще скованная предательски рыхлым, непрочным льдом, лежала перед нею сплошною загадкой.

Первые отважные одиночки уже ступили на лед. Он гнулся у них под ногами, но держал. Марьяна тоже поспешно шагнула. Сердце ее забилося учащенно, она посмотрела на Петрякова, распростертого на носилках, и улыбнулась ему. Все, что было в их жизни за эту трудную зиму, все, что прежде казалось таким страшным, невыносимым, все померкло перед этой новой тревогой.

«Люблю...» — безмолвно сказала ему глазами.

Он ответил взглядом:

«Люблю...»

Марьяна еще раз шагнула.

Вслед за ловкими, смелыми одиночками на лед потянулись и остальные бойцы. Лед заскрипел, но все еще держал людей, хотя и потрескивал, как бы жалуясь на непосильную ношу. И вдруг неожиданно, одним разом, из белого панциря реки столбом вверх поднялись многочисленные водяные фонтаны: справа, слева, впереди, а главное — позади, на залитой внешней водой луговине, отсекая ступивших на лед от только что оставленного ими берега. Это залпом ударили немецкие пушки.

Оскользаясь на мокром, полированном льду, Марьяна опять оглянулась: где Петряков, жив ли?

Он был жив и находился в двух шагах от нее. В шуме, грохоте артиллерийского налета человеческих голосов уже не было слышно. Но она все же крикнула Петрякову:

— Уже скоро! Сейчас!..

Бойцы, тащившие волоком носилки с раненым, бежали быстро, пригибаясь под осколками мин и снарядов. Им оставалось пробежать еще каких-нибудь десять — пятнадцать метров. Но минометы и пушки снова резко ударили.

И река как ждала: она медленно шевельнулась, будто пробуя силы. Лед тихо, томительно зашелестел. Во-

ронки на льду заполнились клубящимися водоворотами. Льдины, трескаясь, стали рушиться и сталкиваться на ходу, и люди по ним запрыгали, попеременно то одной, то другою ногой, широко раскрывая в воздухе руки.

Марьяна, пригнувшись, качалась, балансируя, на обломке льдины. Вдруг позади нее что-то лопнуло с хрустом. Она стремительно оглянулась. Там, где только что бежали красноармейцы с носилками Петрякова, отвесно дымилась бугристая плоскость большой, зеленовато-бутылочной льдины, будто кем-то с силою поставленной на ребро. Что-то живое, темное соскользнуло по ней, промелькнув в брызгах пены, и скрылось в серой, грязной воде.

Льдина, шлепнувшись на воду кверху брюхом, ноздреватая, с рыжими волосками трав, спокойно, как ни в чем не бывало поплыла плашмя вниз по течению, чуть покачиваясь на волнах. Ни бойцов, ни Петрякова на ней уже не было.

7

Лесные, овражистые дороги, изрытые бомбами и снарядами! Я вас знаю теперь все наперечет. Я хорошо знаю вас, все извилистые полевые проселки и пыльные, в глинистой взвеси, смоленские грейдеры и шоссе. Я знаю вас, и печные черные трубы на месте сожженных немцами деревень, и все порубленные под корень сады, и все фанерные пирамидки под красными звездами от Кубинки и Новой Рузы до Наворотья под Витебском и Витова в Беловеже. Но эту дорогу я, наверно, запомню навек, изо всех...

Черный, вязкий, как смола, чернозем, в котором может затонуть целый трактор по крышу кабины; разъезженные обочины — вся эта путаница из грязных кругов, полукругов и эвклидовых бесконечных параллельных прямых, столь нелепых в этом мире, где нет ничего бесконечного и где в то же время беспрепятственно и существует только лишь одно бесконечное: земля, небо, дорога и дырявые тени деревьев на ней.

Я сижу рядом с Улаевым на сыром, нагретом солнцем бугре и смотрю туда, куда смотрит и он. Сквозная, кудрявая, вся в первой ласковой зелени роцца загоражи-

вает изгиб дороги от нашего взгляда, и поэтому мне все время хочется вытянуть шею, чтобы заглянуть туда, за поворот, посмотреть: не идут ли они.

Земля медленно подсыхает в сизом дымке испарений. Над дорогой этот солнечный, лиловатый дымок чуть дрожит.

— Скоро? Когда они, собственно, должны появиться?

— Вот-вот. Потерпи!

Сергей, рассыпая табак, свертывает большую козью ножку. Он все долгое время ожидания курит, нервно затягиваясь горьким дымом. Руки его при этом вздрагивают, шевелятся.

Сколько времени еще ждать? Я не знаю. Терпение мое иссякает. Я то и дело приподнимаюсь, чтобы еще раз взглянуть на дорогу.

Но вот из-за поворота, из-за белых, тонких стволов березовой рощи, наконец показались первые, еще плохо различимые фигуры людей, согбленных под тяжестью карабинов. Вещмешки за плечами у этих людей такие же тощие, как и они сами.

Бойцы идут медленно, с усилием упираясь ногами в землю, как бы преодолевая сопротивление этой вязкой, расплывшейся почвы и в то же время как бы пробуя подошвами прочность ее. Кое-кто покачивается на ходу из стороны в сторону; при этом серые головы на тоненьких шеях тоже покачиваются, как примятые, затоптанные цветы, когда они только-только оживают, распрямляясь из-под грубого сапога.

Они смотрят себе под ноги, не отрывая пристальных глаз от дороги. Только некоторые из них, да и то лишь время от времени, с удивлением поднимают взгляд и рассматривают пушистую зелень травы на обочине, нестройные купы берез, ветки шиповника в набухших коричневых почках. Или слушают голос жаворонка, льющийся с неба.

Они идут гуськом, натужно ступая один за другим, и приглядываются к окружающему с такой робостью и осторожностью, что мне стыдно, неловко за них. В этом их приглядывании, в осторожности, в тихих взглядах сквозит выражение такой измученной скуки, такая усталость, что у меня на миг сжимается сердце. Так вот какими выходят оттуда!

Я вглядываюсь в их лица напряженно, с жадностью. Ни одной ответной дружеской улыбки в глазах, ни од-

ного приветственного движения, словно они и не видят меня.

— Какая дивизия? — спрашиваю я у идущего впереди.

Тот на миг замедляет шаг и спрашивает, не торопясь, равнодушно:

— Тебе-то какую надо?

— Маковца.

— Такой не слышал... С нами не было рядом.

Я делаю несколько шагов, сопровождая его, мне хочется расспросить.

— Не знаю, сестра, ничего не знаю.

Он идет дальше, трудно дыша, с некрупными, словно семечки проса, каплями пота на лбу и переносице, с бледным, морщинистым, бескровным лицом человека, не видавшего солнца: вероятно, был ранен еще в первые дни окружения и успел отлежать свое по ледяным черноталам, в землянках и гиблых чащобах.

Позади него, шагах в трех, другой такой же бескровный и серый, оборванный человек. Как двойник: те же щели-морщины, те же блестящие капли пота, та же скука в глазах. Он тоже ничего утешительного не сказал:

— Такой дивизии даже и не слышал! Не знаю.

За ним новые и новые лохматые тени, и я не устаю спрашивать и третьего, и четвертого, и пятого, и шестого... Наконец я перестаю задавать свой вопрос и теперь только жду, пристально вглядываясь и не теряя надежды: не может быть, чтобы в этой массе не промелькнули свои!

Судя по всему, люди здесь из разных частей и подразделений. Они и сами не знают друг друга.

— Ты не знаешь ли, вышла дивизия Маковца? — не вытерпев, трогаю я за рукав низкорослого, горбоносенького, худого солдата, бредущего позади всех, опираясь на палку. Выражение его лица совершенно невнятное от еще не осознанной радости: жив!

Тот с готовностью остановился, оперся на палку.

— Нет, сестра. — Боец отвечает короткой скороговоркой. — Их здесь нет никого. — И, не глядя мне прямо в глаза, виновато опускает седоватую голову. — Все сгибли там, сестра. Все до единого. Их же сразу от нас отрезали, на особицу. Нам несладко пришлось, а им того боле. Всех, значит, на полное истребление! — И он низко кланяется мне, добавляя поспешно: — Не взыщи,

сестра! — И, как подбитая птица, ковыляет, догоняя своих ушедших товарищей.

Я гляжу ему вслед, пока серая, в ржавчине и лохмотьях, его шинель не сливается в одно целое с окружающим нас весенним пейзажем.

«Да,—приходит мне в голову мысль.— Хорошо они потрудились!» Я думаю не о вражеских танках и самолетах, потому что и мы здесь, по эту сторону фронта, тоже знаем, почем фунт лиха, каково это встретиться с танком или попасть под бомбежку, а о той невидимой дьявольской силе окружения, плена, которая сотворила из наших бодрых, здоровых бойцов эти серые, зеленые тени,—хорошо они потрудились! Судя по всему, не порохом и тротилом начинали немцы свои снаряды и бомбы, а подлостью и черным мраком. Потому что не бомбами и снарядами уничтожается вера и радость, а чем-то другим, чему нет даже имени.

Я гляжу на новую цепь проходящих. Это тоже чужие. Целые роты и батальоны перешедших линию фронта направляются в тылы армии, на отдых и переформировку.

Серые, серо-зеленые и рыжие тени. В лохмах давно не стриженных волос, с неопрятными бородами, щербатые, с воспаленными белками глаз, они идут спотыкающейся чередой; зимой — гроза и ужас немецкой армии, весной — счастливчики, уцелевшие в дни последних сражений. Они вышли к жизни, к армии, к хлебу, к своим сохранившимся тылам, к уцелевшим штабам и красным знаменам. И сколько ни мучились, они еще будут жить. Жить — и радоваться, огорчаться, делиться новостями из дому, ссориться с поваром, с кладовщиком из каптерки. Они еще отмоются, отоспятся, будут есть по две порции каши; им дадут теперь новенькое обмундирование, автомат вместо ржавого карабина, к автомату запасные обоймы, каждая на семьдесят один патрон, новенький вещмешок, и НЗ, и наркомовские сто граммов в праздник, и теплые, сухие портянки, и махорку, и газету, не столько на предмет изучения последних событий, сколько на раскурку. У них будет и эта березовая роща с ливнями изумрудных развесистых кос, и солнце, о котором они мечтали по колено в воде, на засыпанном снегом болоте,—наше священное, доброе солнце. Видишь, оно уже целует твои зачерствевшие губы. Ты будешь жить. А они?

Где они, мои товарищи по батальону?

— Всё! Хана нашей дивизии, — хрипло бросает Сергей и садится на бровку обочины закурить.

— Не смей так говорить, слышишь ты?! — кричу я ему ожесточенно. — И встань! И смотри, как люди идут! Сергей нехотя подымается.

Не может быть, чтобы они не вышли, перестали существовать: Петряков, Марьяна Попова, Александр Степанович Калугин, Наташа Глызина, Галя Пятитонка, Финяк, шофер Кисляков, наши санитары из эвакуотделения, наши девушки — врачи из терапии, наш хозяйвод и аптека! Не может быть, что их нет и не будет, что все они погибли в лесах и с ними вместе погибло и наше батальонное знамя. Нет, не может этого быть!..

Но кто скажет наверняка, где они и что с ними? Кто знает, где знамя? Может быть, оно и не досталось в руки врагу? Может быть, его закопали в лесу, в тайнике, а сам знаменосец погиб и те, кто вместе с ним находились при этом, тоже погибли? Я не верю в то, что наше знамя попало в руки фашистам. Ведь не зря же немцы прятались от окруженных всю долгую зиму, таились, укрывшись за щитками орудий, за броней танков, за бетонными выпуклостями бесчисленных дотов, отсиживались в блиндажах и за брустверами траншей, и это — от голодных, босых и безоружных красноармейцев! Значит, все-таки чем-то эти безоружные красноармейцы были сильны, гораздо сильнее фашистов! Значит, дух у наших бойцов был настолько высок, что целых три месяца — февраль, март, апрель — вооруженные до зубов немцы, поддержанные танками и авиацией, не смогли с ними справиться и уничтожить их, загнанных с первых же дней в ледяные леса! Это что-то да значит!

Мне хочется сжать кулаки и кричать.

Ты, мужество, оцененное по заслугам! Ты, воинская доблесть, награжденная высокими званиями и орденами, отчего ты кичишься перед этим никому не ведомым, кроме врага, горьким мужеством одиноких и разгромленных, но не побежденных? Почему ты считаешь, что кровь твоя, пролитая на глазах у людей, горячее, драгоценнее, а раны больше? На миру, говорят, и смерть красна. Но она красна и во вражеском кольце, в одиночестве, если враг дрожит и скрежещет зубами, а подделывать с тобой ничего не может.

Да, я славлю тебя, честный бой на глазах миллионов,— но и один на один, без свидетелей, если только он честный, тоже славлю! Я славлю вас, безыменные герои, чьи могилы известны одним соловьям, да синицам, да ветвям ольшаника! Я славлю вас и низко кланяюсь вам до земли, до той самой земли, которую вы обильно полили своей кровью!

Мне кажется, я стою в невидимом для проходящих бойцов почетном карауле, у изголовья множества красных гробов. И каждый гроб прикрыт нашим батальонным простреленным знаменем.

Нет, не зря мы давали присягу в тот холодный, но солнечный день октября 1941 года!..

ЧАСТЬ III

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Кому поведаю печаль свою?..

Каждый день на рассвете я выхожу из главного корпуса и, минуя землянки, иду по дороге, ведущей на север, в глухой, черный лес. Там сугробы, могучие ели. Там нет никого. А мне надо побыть в одиночестве.

Там, в глуши, я шагаю уже без дороги, по глубоко-му снегу.

Останавливаюсь перед корявым, обрубленным рядом деревом и гляжу на него. Оно некрасивое. Но ведь птицам, наверное, безразлично, где петь. Весной в этой растрепанной, хилой кроне они совокуют свои гнезда и выведут голенастых, писклявых птенцов. И будут славить утренней песней эту грубую черную кору и шершавые темные листья.

В овраге, под снегом, журчит ручей. Наклоняюсь над ним. Обрушиваю ногами подтаявшую закраину и долго смотрю, как борется вода с утонувшим в ней комом снега, как медленно она объедает его, подтачивает, начинает кружить.

Я говорю ручью:

— Ты глуп, ручей! Что ты понимаешь в человеческой жизни? Ты просто ничтожество. Водичка — и все. Больше нет в тебе ничего. Остальное — земля, подгнившие корни деревьев и опавшие прошлогодние листья.

Он журчит себе что-то свое. Он не слушает.

Я говорю ему снова.

— Впрочем, глупым и счастье, — продолжаю я разговор с талой водой. — Ты можешь себе позволить такую роскошь: быть извилистым, мелким и грязным. Потому что весной все равно по твоим берегам зацветут стрелолист и кукушкины слезки. Все равно жарким летом, когда ты обмелеешь, кто-нибудь проберется сюда, в самую чащу, и напьется твоей воды, малиновка или лось. И ко всем к ним, пришедшим, ты останешься добрым. Ты дашь им воды. А во мне все иссякло. Я не знаю теперь, где находится моя доброта. У меня ее нет. Даже маленькой малости.

Постояв над ручьем, поглядев на старые грачиные гнезда, на мшистые пни под шапками снега, я опять выхожу на дорогу и иду на дымки, поднимающиеся над землянками. Скоро тронется, загудит этот лес, этот снег. И наступит весна. Еще одна прожитая мною весна в медлительном круговороте войны...

В главном корпусе армейского дома отдыха уже шумно илюдно.

Много новеньких, только что прибывших с фронта. Они то и дело оглядываются, то радостно, то удивленно, звенят орденами. Всего два-три часа назад они ходили по обледенелым траншеям, пригибаясь; смотрели в бинокль, как немцы сменяют своих часовых, как готовятся к очередному обстрелу наших позиций и кричат с той стороны:

— Что, Иван? Опять пшенка на завтрак?..

А здесь тишина, полы чисто отмыты, по-домашнему потрескивают железные круглые печи. На окнах — белые занавески. В холле — музыка. Кто-то сбрасывает прямо на пол промокшую куртку, гремит лыжами. А навстречу — миловидная, чистенькая медсестра с улыбкой.

— Вы что же это опаздываете? А я вас ищу!

Я знаю, эта радость на лицах у них еще будет примерно дней пять или шесть. Пока не обвыкнут. До той

самой поры, пока морозный, спрессованный воздух не донесет до нас с запада глухой звук удара о каменистую землю переднего края. Может, там разорвалась тяжелая бомба. Может, рухнул подбитый зенитчиками самолет. А может, нерасторопный разведчик наскочил на минное поле...

Иногда в морозные, ясные дни, а особенно в ночи, до нас по прямой, через двадцать пять километров, совершенно явственно долетает звук такого удара. Тогда шевельнется на проводе абажур. Смолкнет музыка в холле. Чуть вздрогнут и зазвенят стекла в рамках за плотными светозащитными шторами. И ты ощутишь всем своим по привычке напрягшимся телом, как мелко-мелко отзовется качнувшийся, словно палуба корабля, пол под ногами.

В этот миг все умолкнут, переглянутся. Кто-то низко опустит голову. Слабо звякнут, состукнувшись одна о другую, серебряные, светящиеся в полумраке медали. Человек проведет ладонью по волосам, вздохнет. И в прогретом, смолистом от хвои воздухе пролетит серый ангел окопной тоски, удивительной, странной тоски по фронту. Да, я знаю среди прочих ее разновидностей и такую тоску: по оставшимся за тебя в окопах товарищам. Даже, может быть, по опасности, которая не страшна, если делишь ее со всеми, кого знаешь и любишь.

В этой мрачной окопной тоске, мне кажется, главное — это чувство вины за собственную безопасность. И мучительное осознание не исполненного тобой до конца солдатского долга. И еще что-то неназванное, непонятное, грызущее, словно червь, какой-то безмолвный тревожный вопрос: «А как они там... без меня? Что случилось сейчас? Отчего это так сильно вздрогнули стекла?»

2

Как-то вечером я замечаю в читальне следящие за мною глаза. Молодой лейтенант, высокий блондин, сероглазый, с удивительно бело-розовой девичьей кожей, держит книгу в руке, а глядит поверх страниц на меня. Глядит очень пристально, с интересом. Потом в зале, где все танцуют, я снова встречаю его. Он то хохочет, забавно кружась на одной, здоровой ноге, приволаки-

вая в расшлепанном башмаке и бинтах другую, видать, раненую, но уже подживающую ногу, то мечтательно хмурится и ломает темные брови.

Признаться, в этих следящих за мною глазах я не замечаю столь знакомого мне того самого «серого ангела»: чувства страха, тоски по оставшимся на переднем крае товарищам. Лейтенант просто радовался и ликовал за себя и поэтому показался мне неприятным.

Неприятным, на мой взгляд, в нем было все: и отмытая, чистая белая кожа; и та легкость, веселость, с какой этот человек со всеми шутил; и кокетство своим ранением, может быть, бессознательное, но все же кокетство: улыбка страдальца и бровь на изломе; и какое-то отдаленное сходство с Борисом, даже фраза, которую Борис любил говорить и которую я мимоходом услышала от лейтенанта: «Хорошо все то, что хорошо кончается».

В доме отдыха лейтенант — общий баловень. А баловней я не терплю.

Как-то раз он пригласил меня танцевать.

— На войне не танцую, — ответила я.

Я еще слишком хорошо помню шубаровский вальс. Поэтому и зарок: до победы.

Лейтенант отошел и больше не танцевал.

В другой вечер он уселся со мной на диван, предварительно не спросив моего разрешения, и я тотчас поднялась и ушла. Он остался, обиженный, удивленный.

Был безветренный, мягкий, задумчивый вечер. Снег валился обрывками ваты. Через оконное стекло он казался толстым и теплым. В печах за неплотно прикрытыми дверцами разгорались березовые дрова. Стук сдвигаемых санитаров стульев и треск перематываемой киномехаником пленки обещали еще один шумный, праздничный вечер — нескончаемый, от одного заезда до другого, вечный призрачный праздник военного дома отдыха. Но мне почему-то стало грустно и одиноко. Захотелось в открытое поле, на снег.

Я пошла в раздевалку, отыскивала свою шинель и шапку и уже надевала их перед зеркалом, когда мимо меня, почти задев на ходу плечом, быстрым шагом прошел лейтенант. В лицо мне пахло запахом снега, хорошего военоторговского одеколону и какой-то подчеркнутой чистоты молодой, белой, чуть порозовевшей от свежего воздуха кожи. Он вошел с улицы в одной гим-

настерке, без шапки: наверное, выходил кого-нибудь провожать, но был весел и что-то насвистывал.

— Куда это вы уходите, политрук? А кино? — спросил он, оборачиваясь ко мне, как будто мы с ним были знакомы и бог весть какие друзья.

— А вам что за дело? — ответила я. — Я ведь не спрашиваю, где были вы.

Он беспомощно, слабо развел руками.

Постояв мгновение на крыльце и убедившись, что вечер действительно теплый, я сбежала по засыпанным снегом ступенькам крыльца и пошла по тропинке, огибающей дом и ведущей через лут к замерзшей реке.

Кто-то позади поспешно шагал, догоняя меня.

— Товарищ политрук, минуточку! — послышался снова знакомый мне голос.

Я обернулась. Лейтенант шел за мной без шинели и шапки, в одной гимнастерке, очень стройный, скорее худощавый, с откинутыми назад светлыми волосами. Сейчас, в сумерках, было видно, что он очень красив: такой милый обиженный мальчик с капризной складкой возле пухлого рта.

— Вернитесь сейчас же! — приказала я. — И раздетому не выходить!

— Но ведь не холодно, — возразил он, весело улыбаясь. — Послушайте... Только два слова!

— Никаких слов!

— Но ведь очень тепло. Правда, правда, — настойчиво повторил он и стал расстегивать воротник гимнастерки, чтобы доказать мне, что ему совершенно не холодно.

Снежинки, падавшие на его волосы, таяли. На бровях, на длинных, изогнутых кверху ресницах мерцали заметные даже в сумерки лучистые капли.

— Почему вы одна? — спросил он с упреком. — Ночью опасно.

— Я всегда хожу одна, — отрезала я.

— Но вы же слышали приказ?..

Да, действительно нам вчера зачитали приказ: не ходить поодиночке, а только группами и с оружием. Где-то по соседству с домом отдыха, в нашем районе, немцы выбросили десант. Диверсантов, к сожалению, еще не обнаружили, поэтому до особого распоряжения необходимо соблюдать осторожность.

— А вы думаете, диверсанты такие дураки, что полезут сюда, где охрана и часовые? — спросила я.

— Кто их знает, умные они или дураки? — возразил он, шагая по глубокому снегу рядом с тропинкой.

Я нарочно прибавляю шаг, хотя вижу, что лейтенант хромает. Теперь мы идем уже заснеженным лугом в сторону реки Шани. Позади — темный корпус дома отдыха на горе, с затемненными окнами. Сбоку, в кустарниках тальника и под пушистыми соснами, — продовольственные и вещевые склады, горючее, амбары и баня. За ними, в путанице тропинок, — землянки армейского госпиталя. Пока армия в обороне, здесь для раненых и лечение и отдых.

Не знаю, где мой спутник растерял свою бойкость, но сейчас он смущен, очень робок. И я невольно смягчаюсь. Я уже не гоню его назад, в темный корпус, излучающий среди засыпанного снегом леса приглушенную музыку. Я позволяю ему идти рядом. Я даже слушаю...

Он спрашивает:

— А разве бывают женщины в пехоте?

— Значит, бывают, — говорю я.

— И давно это вам сюда и на рукава? — Он показывает на мои кубики в петлицах шинели и на красные, обшитые золотом суконные звезды.

— Нет, недавно. Полгода.

— А до этого?

— Медсестра.

— Эхма!.. — качает лейтенант головой.

Что он этим хотел сказать, я не знаю.

Тропинка среди мягких сугробов приречного луга извилиста и узка.

На ней выросли ледяные комья, набитые каблуками проходящих, а в гололед накатались, натерлись до блеска зеркальные полосы, по которым хорошо промчаться с разбегу. Сегодня они опасно прикрыты снежком. И я вдруг оскользаюсь, потеряв равновесие, и лечу с обрыва на лед, на самую середину замерзшей реки. Тем же самым путем лейтенант кубарем валится на меня сверху. Лицо, шея, грудь, волосы у него — все в снегу. Моя шапка отлетела куда-то в сторону. Я шарю, никак не могу ее отыскать.

— Ну вот, — говорит он, сидя с неловко подвернутой, неуклюжей ногой. — Давайте хоть теперь познакомимся! Алексей Комаров.

— Углянцева.

— И на этом спасибо!

Он пытается первым встать, чтобы помочь мне, но не может подняться, сдержанно стонет. Раненая нога у него подгибается, скользит по натертому ветром ледяному покрову неширокой, но в этом месте такой извилистой Шани.

Я встаю наконец сама, протягиваю ему руку.

Лейтенант морщится. Нетвердо ступает больной ногой, закусив нижнюю губу. Делает один шаг. Потом, потверже, другой.

— Тоже мне провожатый...— говорю я ему.

Мы цепляемся за ломкие, обмерзшие стебли растений и ветки кустарников, взбираемся по крутому обрыву наверх.

Здесь, на обрыве, Алексей вдруг хохочет и широко разводит руками.

— Нет, вы только взгляните теперь на себя!

Я в снегу, как в муке. Он отряхивает мои плечи, шапку, шинель, греет в теплых ладонях мои мокрые, озябшие руки.

— А сколько вам лет? — вдруг спрашивает он, наклоняясь, и пытается заглянуть мне в глаза.

— Двадцать. Много?

— Нет. Но уж больно... колючая!

Помолчав, я ему говорю:

— Еж, он и маленький — еж, а курица, она и старая — курица!

— Почему же все-таки именно еж? — интересуется мой спутник.

— Значит, есть причина!..

Мы идем по тропинке почти до самого главного корпуса, но потом, не сговариваясь, поворачиваем и идем назад, к Шане. Вечер теплый, хороший, а мой собеседник серьезен, задумчив.

— Причина, причина...— повторяет Алексей Комаров. — А зовут ее как, причину?

— Борис...

— Что ж, он ранен? Убит?

— Нет. Хуже...

— А что может быть хуже?

Я молчу.

Тогда он догадывается сам:

— Разлюбил? На другой женился?

— Да. На лучшей моей подруге...

Комаров поворачивается ко мне всем телом и стоит, опустив свои длинные руки.

Он говорит:

— И что же, теперь ваша жизнь, значит, кончена?

— Нет, зачем же! Я еще поживу...

— Ну, да-да! — говорит Комаров. — То-то, я вижу!..

Он видит!

А я ничего не видела и не знала. Я была как слепая...

От берега Шани мы опять идем к дому. Над спящими полями, над лугами и перелесками в воздухе реет непрозрачная, пушистая пелена из танцующих, вьющихся перелетных снежинок. И я делаю для себя открытие. Я столько молчала и столько думала и все это обдумываемое было так важно и сложно и так мучительно для меня, что замкнулась совсем, а оказывается, обо всем этом можно легко говорить. И не нужно затрагивать каких-то больных, самых мрачных глубин. И не нужно ничего объяснять и доказывать. Комаров, например, все сам хорошо понимает и во всем принимает участие. И в моей душе вдруг возникает и растет чувство признательности, благодарности к этому чужому мне человеку, что он не отстал, не ушел от меня, когда я его так грубо гнала от себя назад, в корпус.

Он задумчиво говорит:

— А я думаю: что случилось у комиссара, какая беда? — И вдруг добавляет: — Ничего, вы еще молодая!

Да, я, видимо, еще чересчур молодая! Потому что только сейчас начинаю всерьез размышлять: а что значит любить? И за что люди любят друг друга? Неужели нужно любить за что-то, а не просто так, от любви?

Двадцать прожитых мною лет я глядела на окружающий меня мир с наивной, радостной верой, что все люди, кого я люблю, обязательно отвечают мне тем же. Той же самой любовью. И это незыблемо, неизменно до скончания моих дней. А как же иначе? А если я кого-нибудь ненавижу, то пусть и он меня ненавидит. Потому что ненавидеть меня может только тупой, ограниченный человек. В этом случае его неприязнь мне совсем не страшна. Я сама его, ненавидящего, не уважаю.

Я считаю их весьма справедливыми — свою глупенькую любовь и свою маленькую вражду. Я еще не догадываюсь, что любовь моя может быть и ненужной, и даже обременительной людям. И что вражда моя может вызвать у хорошего человека не презрение, а грусть, даже жалость. В двадцать лет еще не знаешь своей любви ни цену, ни меру. А цена ей — пустяк.

Я думаю о Борисе: как он мог это сделать?

Значит, он не таков, каким я его себе представляла: бравый летчик с пушистыми, размашистыми бровями, с крепким, чувственным ртом. И такие теплые, сильные руки... И глаза, немного шальные, слишком светлые для того, чтобы можно им было верить. И усмешка. Ох эта усмешка!.. Какой она мне казалась таинственной и как много значила для меня!.. Я приписывала ей все чудесные свойства, каких не было в самом деле, всю любовь и всю силу своих собственных чувств. А она, оказывается, ровным счетом ничего и не значит. Просто сокращательные движения каких-то там мускулов. А в сущности совершенная пустота.

Мы возвращаемся с улицы в теплый, насыщенный запахом хвои дом отдыха и сидим с Комаровым на диване в читальне. Здесь нет никого, кроме Ани, библиотекарши, некрасивой, рябенькой девочки лет семнадцати, и он мне говорит:

— Знаешь что? У меня нет сестренки. Будь мне сестренкой. А я тебе буду братец. А?

— Все люди — братья! — отвечаю я. Но мне приятно. — Ладно, — говорю я Алексею. — Ладно, братец Алешка, так и быть, породнимся. Чур, я старшая, злая сестра...

Когда Аня уходит — рабочий день ее давно уже кончился, — мы молча сидим возле печки и подбрасываем в ее жаркое чрево сухие березовые дрова.

Комаров шутит:

— Это плохо, что виноват он, а не ты. Быть правым — это такое жалкое преимущество. По мне, так легче быть виноватым. По крайней мере, знаешь, за что страдать!

И я под веселое потрескивание сухих березовых дров размышляю, глядя в огонь: а может быть, действительно это я виновата? Но в чем я могла провиниться так сильно? И где и когда?..

Тогда, весной сорок второго года, наш отряд спешно расформировали, а нас всех распихали кого куда. Сергея Улаева назначили командиром стрелковой роты на передний край, в дивизию Голумеева. Он сам туда попросился. Разведчиков, лыжников, минометчиков, связистов отряда направили в какую-то гвардейскую часть, уходящую с нашего фронта на другой участок, и мы с ними навсегда распрощались. Нас с Женькой — медсестрами в роты дорожного батальона. В тыл армии. Женьку — в первую роту, меня — во вторую.

В эти же дни мы втроем, Женька, я и Улаев, разыскали Марьяну. Она находилась неподалеку от нас, в армейском госпитале на излечении, с ранением в руку. Говорили, изо всей группы, переходившей Угру, в живых осталась она одна, доплыла до нашего берега. И так странно было увидеть на фоне подушек ее серую обриту голову и тонкую, хилую шею заморенного цыпленка.

— Марьяша, милая! Вот ты где!

— Да...

Мы заваливаем ее кровать ветками ивы с пушистыми желтенькими сережками, молодыми побегами черемухи и берез, и она жадно вдыхает этот запах свежести, весеннего воздуха.

— Как вы тут, без меня?

— Потихоньку... Ты давай про себя нам рассказывай! Остальное мы знаем...

Рядом с ней почему-то мы чувствуем себя виноватыми: мы, наверно, неуклюжи и слишком здоровы. От нас пахнет конским потом, пропыленными сапогами. А она лежит перед нами, прикрывши глаза, как-то съежившись, и все медленно поглаживает ладонью свою серую бритую голову.

Марьяна вдруг спрашивает у меня:

— Шура, это правда, что Марчик убит?

— Да. А что? Откуда ты знаешь?

— Да один тип к нам туда прилетал. К нам ведь самолеты летали, газеты привозили, патроны, хлеб. Не на всех, конечно. На всех не хватало. Но кое-что перепало и нам. Вот он про Марчика и сказал. Говорил: ты и Марчик убиты. Одной бомбой. В Макашине.

— Да, правда. Нас бомбили. И в Макашине, и в Белом Камне. И Марчик убит. Я, как видишь, жива.

— Оля Кузь все по нем горевала.

— Оля? По Марчику?

— Да. Тот тип ей прямо божился. Ну, она слушала, слушала, вышла в сени — и нет ее. Долго нет. Я за ней. А она стоит там одна у окошка, горько плачет, слезы бегут по щекам. «А я его смерти и не бачила, — повторяет. — А я его смерти и не бачила». — Марьяна молчит, потом говорит устало: — И я ее, Олиной, смерти тоже не бачила. И даже не знаю, где и когда...

Я спрашиваю:

— Марьяна, а что с Семой Левиевым из полка Железнова?

— Он погиб.

— А с Егоровым?

— Умер от тифа.

— А Рыжова? Где она?

— Она, по-моему, вышла. Только не к нам, сюда, а к партизанам.

— А Метальников из терапии?

— Кушать было нечего. Он к концу ослабел, еле шел, — сказала Марьяна и задумалась. В ее темно-голубых глазах пробежал какой-то мрачный огонь, словно отсвет недоброго пережитого. — Кушать было нечего, — повторила она свою, уже, видимо, привычную фразу. — И он ослабел. А со всех сторон немцы с собаками. Ну он и отстал где-то с двумя санитарями. Попросил их: «Засыпьте меня сверху снежком. А найдете поесть, приходите за мной, я уже отдохну, отлежусь...»

— Ну и что?

— Ну они и засыпали.

— Живого?

— Да. Он был еще жив.

— Нашли потом? Откопали?

— Где ж найдешь? — удивилась Марьяна. — Нас от этого леса отрезали танки...

Теперь мы молчим, а она отдыхает, глядя на беленую известью стену. Приход врача прерывает нашу беседу.

— Больная устала. Ей пора отдохнуть.

— Да-да, мы уходим.

Я первая выхожу на крыльцо, ожидая, когда Сергей и Женька простятся с Марьяной, и сажусь на ступеньку.

Кто-то подходит ко мне. Наверное, часовой. В фиолетовой гущине вечернего воздуха я вижу один только плывущий штык. Часовой останавливается возле меня, вздыхает.

— Что, сестра, уморилась?— спрашивает он.

— Да.

— Ну посиди, отдохни.— Он стоит, думает о чем-то сосредоточенно, строго, потом спрашивает: — А что, не знаешь, там не пела эта... бритая, из окружения?

— Нет. А что?

— Да так...— Он смущенно вдруг умолкает.— Тут приходят все, слушают. Как она запоем — аж слезы из глаз...

Часовой сворачивает сигарку, просит у меня огонька прикурить, но я не курю. Он откашливается, говорит виновато:

— Ну, ну, ладно. Ничего. Обожду, может, кто выйдет с огнем.— И добавляет негромко:— У нас тут, видишь ли, много о ней говорят... Видать, девка сурьезная!

Я молчу.

Часовой тоже умолкает.

Он покачивает в темноте белеющим острым штыком, как будто баюкает свою трехлинейку. Ему, видимо, грустно. Может, хочется покурить, а нет огонька. Может, я чересчур молчаливая собеседница, а ему хочется пошутить, поохать. Он все топчется на одном месте, переступает с ноги на ногу и вдруг горько вздыхает.

— Эх, жизнь!..— говорит он с укором.— И всю войну-то вот так: лесу нет — одни сосны, земли нет — один песок, людей нет — одни солдаты...

И уходит. В темноте над ним плывет светлый штык. На другой день мы опять приходим к Марьяне.

Она уже поднимается с койки и ходит по коридору. Вместе с нами отваживается выйти на солнце и сесть на крыльцо.

Вся еще серая, плоская, изможденная, она смотрит на сосны, на небо, на зеленую траву как на что-то новое для себя, незнакомое, и рассказывает, рассказывает... Мы просим ее как можно подробнее рассказывать нам.

— Ну вот... Кушать было нечего. А Иван Григорьевич болен тифом. Я тоже больная. За мной нужен уход.

А кругом немцы. И вот подходит ко мне один человек. Вы все его знаете. И говорит: «Марьяна, у меня двое детей. Я должен пробиться. Петряков здесь, конечно, погибнет. Он уже не жилец. И ты тоже погибнешь, раз с ним связалась. Зачем ты с нами идешь? Ты всю группу задерживаешь. Оставайся где-нибудь в глухой деревеньке. Любая баба тебя приютит. А то сдайся. Небось не убьют, пожалеют. Ты ведь красивая. Еще шоколадом будут кормить. А у меня других шансов нет. Я обязательно должен выйти... Понимаешь? К тому же у меня двое детей...»

Марьяна судорожно поджимает свои тонкие серые губы.

Мы ждем терпеливо.

— Ну и что же, он вышел?— спрашивает Улаев, закуривая торопливо.

— Нет. Погиб. Все бегал, все прятался от укрытия к укрытию. Так, в зажмурку, на немцев и выскочил.

— Кто? Фамилия?— спросил ее строго Улаев.

Марьяна рассеянно покачала головой.

— Нет. Зачем?— сказала она.— Он и так хорошо наказал сам себя. Дело прошлое. Чего сейчас вспоминать! Все равно ничего уже не исправишь.

Мы сидим на скамейке в прогретом, солнечном затишке и смотрим с вершины холма на речку, заросшую камышом и ольшаником, на луга, покрытые желтыми крапинками зацветающей мать-и-мачехи, любуемся синевой не омраченного ни одним вражеским самолетом неба. Центр боев переместился куда-то на юг. А у нас фронт застыл неподвижно. Стабилизировался.

Тепло. Тишина.

В сумерках, когда небо становится апельсинного цвета, а в кустах грустно кричит какая-то болотная птица, Марьяна, вскинув голову, вдруг запевает: «Орленок, орленок... взлети выше солнца...»

Я и раньше-то не могла спокойно слушать эту песню, а сейчас и вовсе что-то стискивает мне горло.

Я гляжу в сторону: вокруг нас уже собрались люди.

Какой-то раненый, вывезенный из корпуса на каталке, как обрубок большого дерева, без обеих ног — по щиколотку и по колено — и по локоть без правой руки, слушая ее, прячет от нас глаза, тянется уцелевшей рукой к карману халата, вытаскивает кисет и зубами рвет его, пытаясь скорей развязать, и не может, еще не умеет

зубами, и кривится, кусает свои бескровные губы. Развязав, сразу валится в изнеможении на подушку, подложенную под спину, и уже не прячет своих расширенных темных глаз. В них стеклянно дрожит бесцветная жгучая влага.

— Сестра!— просит он.— Громче пой! Пой для всех!..

Но Марьяна не слышит, не отвечает. Она вся ушла внутрь себя. Звучит только голос:

Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один...

Я гляжу на нее и раздумываю: как могла она все это вынести — и уцелеть? И остаться такой же, как прежде, не огрубеть, не сломаться?

Говорят, человек ко всему привыкает.

Для того чтобы привыкнуть к опасности, ему, наверное, нужно немного: всего-навсего одну жуткую, тревожную ночь, ледяной ветер и колючую проволоку в три кола. И чтобы каждый твой шаг подстерегала смерть: с неба — бомба, в кустарнике — нож или кляп разведчика, за бруствером окопа — огонь пулемета, грохот гусениц и лязг подкалиберного снаряда. И ты сразу же превращаешься в обстрелянного солдата. По интенсивности перестрелки ты уже понимаешь, что там происходит на фланге: наступает или драпает твой сосед; по разрывам снарядов узнаешь, ведут ли немцы обычный, беспокоящий артиллерийский огонь или же готовятся к решительному наступлению. Был ты избалованный светофорами и техникой безопасности горожанин, а теперь позабыл о крыше над головой, стал чутким, осторожным, куда осторожнее зверя...

Прямо возле Марьяны пролетает, торопясь на ночлег, большой бархатный шмель. Она даже на миг отшатнулась: так, видимо, томительно знакомо просвистел он мимо ее щеки.

— Вот, шут, бронебойный!..

— Крупнокалиберный!

Мы смеемся. Хотя что тут смешного?!

Женька прижалась к плечу Улаева и молчит, внимательно слушает рассказ Марьяны. Она как-то осунулась, потемнела за эти первые жаркие дни.

Марьяна говорит негромко:

— Я вижу, вы что-то скрываете от меня...

— Нет. Ничего,— смущенно бормочет Улаев.— Ты напрасно так думаешь, Марьяна. Откуда ты это взяла?

— А ты напрасно так говоришь. Я же вижу. Меня не обманешь!..

Да, Марьяна за время разлуки тоже стала зоркая, наблюдательная.

— Так в чем дело? Я слушаю,— говорит она строго.

— Понимаешь, Марьяша,— начинаю я первая.— Мы решили сказать медицине «прости!». По крайней мере, я, Женя и Сережа Улаев. И хотим на передний край простыми бойцами. В пехоту... Кто-то же должен за всех отомстить! Что ты скажешь на это?

Марьяна проводит ладонью по серой стриженной голове, отвечает раздумчиво:

— Ну, тогда, значит, наши пути разошлись...

— Почему?

— А я навсегда остаюсь в медицине. Хочу быть хирургом. Как Иван Григорьевич. Кто-то же должен его заменить!..

— Да, ты права,— говорю я, удивленная силой чувства, с каким она это сказала.

Мне становится страшно.

Неужели все кончено и настало время расстаться? Неужели когда-то я буду жить одна, без Марьяны и Женьки?

Марьяна на миг переламывает тонкий, нежный изгиб своих светлых бровей.

— Ну что ж,— говорит она очень твердо.— Раз вы так решили, значит, вам так удобней. А я решила так, как должна... Значит... прощайте!

— Прощай, Марьяна. Извини, пожалуйста, нас.

— Это вы меня извините.

Мы встаем и прощаемся, не то виноватые перед нею, не то очень обиженные ее внутренней твердостью, с какой она отвергла нас всех, вместе взятых, живых,— ради мертвого, одного.

Сергей первым протягивает руку Марьяне.

— Я всегда тебя уважал, Марьяна,— говорит он, волнуясь.— А сегодня — люблю! Будь всегда такой... настоящей! Желаю удачи!

— Счастливого вам пути!

Мы садимся на своих застоявшихся лошадей, дремлющих у коновязи, и оглядываемся на госпиталь.

Марьяна смотрит нам вслед, но не машет: неподвижная, как неживая.

А в штабе армии над нами с Женькой покатывались со смеху, потешались:

— Ну девочки, ну умудрили!.. В пехоту? Стрелками? А что вы умеете? Стрелять умеете, да? А ползать попластунски? А с полной выкладкой семьдесят километров пройдете? А не заплачете, если будет трудно?

— Нет, засмеемся, — ответила я, и они засмеялись.

— Ну, вот что, — сказал, отсмеявшись, майор, с которым мы говорили. — Езжайте туда, куда вас назначили. В дорожный батальон. Если нужно будет, вас вызовут. А пока... Пока вот так. Исполняйте!

И мы повернулись и вышли.

И теперь мы с Женькой в глубоком тылу. Пятьдесят километров от линии фронта.

Каждый день в пять утра мы выходим вместе с дорожниками на трассу и присматриваем за работающими бойцами: не поранился ли кто топором на повалке и рубке леса, не случилось ли с кем солнечного удара, не заболел ли у кого «курса́к». Трудяги у нас в батальоне нестроевые. Почти все они хроники или после тяжелых ранений, поэтому за ними следи да следи. За день трассу пять-шесть раз обойдешь пешком с тяжелой санитарной сумкой за плечами.

Потом уже, после обеда, когда время совсем замедляет свой бег, я украдкой исчезаю и иду по направлению к Женькиной роте — это еще десять, а то и все пятнадцать километров, — чтобы встретиться с ней.

Она, в свою очередь, тоже идет мне навстречу.

На границе наших рот, на самом стыке, мы кладем на землю санитарные сумки и садимся рядом на поваленном толстом бревне, возле чахлой лежневки: ее-то и строит наш батальон. Женька курит, блаженно щурится в лучах яркого летнего солнца. А я хмуро молчу. Я тоскую. Тыловая жизнь не по мне.

— Ну, как дела? — устало интересуется Женька.

— Убегу. Сегодня же брошу все и убегу! Больше нет моих сил...

— Куда же ты убежишь?

— Не знаю. — Я задумываюсь на миг. В самом деле: куда? Кому я нужна? Практически мою идею, конечно, осуществить будет трудно. Но и жить я так больше уже не могу. — Не знаю, — повторяю я. — Куда-нибудь убегу.

К Улаеву, может быть. Иль к Кедрову в полк. В любую часть убегу. Где примут.

Почему-то все прошлые наши трудности, даже смерть и опасности сейчас мне кажутся пустяком, совершенной ничтожностью по сравнению с тем хорошим, что я увидела там, на фронте. А здесь, в глубоком тылу, и хорошее — эта мирная, спокойная жизнь, и травы, и солнце, и чистое небо — не только не радует душу, а даже как бы гнетет ее.

— Ты думаешь, на передовой будет легче? — спрашивает меня Женька.

— Нет, не думаю. Да я легкой жизни и не ищу...

Наш рабочий день здесь очень тяжел.

Мы, медсестры, встаем очень рано. Раньше всех. Почти в темноте. Проверяем раскладку продуктов, затем чистоту самих поваров и всего кухонного оборудования. Потом у себя в санчасти начинаем амбулаторный прием. До первого построения роты на утреннюю зарядку мы должны уже полностью освободить от работы всех больных, всех раненых перевязать, всех хроников осмотреть и дать им лекарства. Потом мы снимаем пробу с завтрака и даем разрешение на выдачу людям. Это если завтрак в самом деле хорош. А то бывает, и поскандалишь со старшиной, пригрозилшь ему актом. В пять утра, после завтрака, мы выходим на трассу, которая тянется на многие километры. Каждая рота строит приблизительно двадцать — двадцать пять километров лежневки. И здесь мы уже дотемна, пока солнце не опустится за горизонт.

Вечером возвращаешься вместе с бойцами в расположение роты. И пока бойцы ужинают, отдыхают, ты опять открываешь амбулаторный прием. Он обычно заканчивается очень поздно, часов в десять. Потом начинаешь готовить лекарства на следующий день: у нас нет ни своего фармацевта, ни близкой аптеки. Выстираешь портянки и гимнастерку, почистишь сапоги, вымоешься сама, и спать тебе остается каких-нибудь два-три часа. А рано утром дневальный опять тебе стукнет в окно: «Вставай, сестра! Уже ждут...»

Но к такому труду я привыкла. И дело не в нем. Тяготит здесь другое.

Здесь я чувствую себя заброшенной и всеми забытой, оторванной от интересов огромного фронта и какой-то вялой, бессильной. Кажется, никому не нужен мой труд.

И я сама тоже никому не нужна. Унизительны безопасность и это чувство покоя, когда там, на переднем крае, гибнут люди, идет непрерывный истребительный бой.

Женька с пафосом произносит:

— В тылу, во мраке заточенья, тянулись долго дни мои...

— Нет уж, спасибо! Заточаться я здесь долго не буду.

— Что ж ты сделаешь?

— Да уж что-нибудь сделаю.

— Например?

— Например, убегу.

— Ну, я это слышу уже стотысячный раз,— отвечает мне Женька и лениво зевает.

Через мгновение она спит. Прикорнула на сумке и спит. От солнца особенно ведь устаешь.

Мне тоже дремлет. Я сползаю с бревна и укладываюсь рядом с ней, голова к голове. Все тело гудит от желания спать. Глаз уже не разлепить. И я засыпаю.

Нас будит густой, грубый голос:

— Вы что здесь делаете? Кто вам позволил?

Над моей головой вся в белой пене тугая лошадиная грудь и натянутые поводья. Наклонившееся лицо моего командира роты старшего лейтенанта Силантьева.

— Та-ак, Углянцева,— говорит он.— Вот вы чем занимаетесь!

Он готов уже обругать меня — и вдруг замечает спящую Женьку. Она разметалась, лицо ее покраснелось от сна. Тень от длинных ресниц как два черных мазка углем по щекам.

— Это что за человек?

Голос у Силантьева еще очень строгий, но меня-то не проведешь: я чувствую, гнев Силантьева как-то сразу иссяк.

— Этот человек,— говорю я,— медсестра Мамонова. Из первой роты.

— А, Мамонова! Вот как! — удивляется мой командир роты и спрыгивает на землю с седла.— Не знал, не знал. Вот, право, не знал...

Я бужу ее:

— Женья, вставай!

Женька нехотя просыпается.

Присутствие моего начальника ее не пугает.

— Эй, старлей,— говорит она, подымая лохматую голову,— у тебя есть закурить?

— Есть! — отвечает с готовностью старший лейтенант.

— Дай!

И они закуривают, сидя рядом.

Я смотрю на них с удивлением. У Женьки есть одно отличное свойство: она всегда знает, кому что сказать. Ее шутки порой грубоваты, но никто, на моей памяти, не обижался на них. Даже больше того, все это принималось абсолютно как должное. Между прочим, попробовала бы, например, я так сказать, как Женька, какому-нибудь госпитальному инвалиду: «Эй, кузнечик, все прыгаешь?» — что бы он мне ответил на это?! А Женьке в ответ он улыбочиво расплывается щербатым, обветренным ртом: «Все прыгаю, чего ж мне не прыгать!» — «Ну, ну, не хнычь! Валяй прыгай! Ты здесь такой не один!» И все. И всем вокруг это очень нравится. И считается: так и надо.

Я тоже думаю иногда: наверное, так и надо жить на земле. Не оберегать человека, стыдливо обходя его горькое горе и умалчивая о смешных и нелепых его недостатках, а говорить ему прямо в глаза и при этом грубо шутить. В этой грубости, в самом этом тоне человеку, наверное, нет обиды. А обида, по-видимому, всегда есть в другом: в твоём сострадании, в твоей мягкости, в жалости. Оттого здесь, на фронте, медсестры в госпиталях так медлительны и так равнодушны к чужому страданию.

Женька сразу находит нужный тон с моим командиром роты Силантьевым: тон капризный и приказательный. И мой комроты подчиняется ему сразу.

Мне он говорит:

— Бери мою лошадь. Скажи старшине, пусть ведет роту на ужин. Я позже приду.

— Хорошо.

Конь добрый. Он с места трогает рысью, идет, словно танцует. Ехать на нем одно удовольствие.

Я выезжаю в открытое поле и, взяв нужное направление, отпускаю поводья, свободно дышу. Мне хочется раскинуть руки, как крылья, и улететь. Куда?.. Все равно! Лишь бы только отсюда!

Я оглядываюсь вокруг. Небо быстро темнеет.

Летом сорок второго года все поля на Смоленщине, все луга и опушки до переднего края, все обочины проезжих дорог и овраги зацвели вдруг крупной белой ромашкой, нивянкой. Мне в сумерках кажется: Млечный Путь опрокинулся, перевернулся и вот течет, уже блещет под копытами у коня, позванивает, чуть курится белым туманом.

Я думаю, рота давно уже на ужине: не станет же старшина ожидать припозднившегося старшего лейтенанта! Поэтому останавливаю коня и, откинувшись в седле, долго-долго гляжу вверх, на перистые облака, на первые, еле заметные звезды в тумане и туда, в самую глубь еще розовеющей от заката космической бездны.

Белое от нивянок поле чуть покачивает меня на своих травянистых волнах.

ГЛАВА ВТОРАЯ 1

Возвращаясь в свой полк после госпиталя и короткого отдыха, Кедров всю дорогу был как во сне. Он не видел ни спутников по вагону, ни свежей, зеленеющей травы за окном, ни разрушенных, взорванных станций. Только когда вышел из легковой машины и, пройдя по улице небольшой деревеньки, где стоял штаб полка, поднял голову, он вдруг понял: «Вот теперь я опять у себя». И взглянул на большую ветлу. Там орали грачи, кормившие ненасытных птенцов. Они всюду понастроили гнезда на месте старых, разрушенных. И Кедров подумал: «А ведь верно: весна!»

Но эта мысль не коснулась его сердца.

Он спокойно, с достоинством вошел к себе в штаб. Здесь все было так же, как прежде, хотя и на новом месте: порядок всегда был везде одинаков. Стол, накрытый расчерченной картой, три табуретки. На гвозде уже плащ-палатки вместо зимних тулупов. Пачка старых газет. Снарядная гильза с бензином и солью. Стопка книг и уставов.

— Ну, как стреляли? — спросил он начальника штаба полка.

— Ничего. Все нормально.

- Что слышно у немцев?
- Зарылись. Сидят, как сурки.
- Я хотел бы пойти поглядеть.
- Что ж... Это можно.

Они оба надели пятнистые, желто-зеленые маскировочные костюмы, взяли бинокли и, пройдя через луг, углубились в трепещущий яркой листвою лес. Здесь сплетались и расплетались тропинки, протоптанные связными из дивизионов, тянулись развешанные на шестах провода; тут и там чернели круглые ямы — следы недавних бомбежек.

- Огневые часто меняли? — спросил Кедров.
- Меняли.

Кедров внутренне заволновался. Он увидел привычную обстановку и ощутил в себе привычное напряжение нервов. Война, давно уже ставшая буднями, сейчас опять наполняла его до краев, не оставляя в душе места для других размышлений.

В голове у Кедрова уже вертелись сотни вопросов. Когда будут в полку орудия с механической тягой? Хватает ли на батареях снарядов? Нельзя ли сейчас устроить занятия для расчетов: стрельбу по движущейся цели, стрельбу рикошетом? Как работают наблюдатели? Нет ли нового в обстановке за линией фронта? Что докладывает АИР?¹ Не прибавилось ли у противника вооружения?

А когда над их головами с мягким шелестом пролетел тяжелый немецкий снаряд, и начальник штаба толкнул Кедрова в плечо, и Кедров с размаху упал лицом на мягкую, еще влажную землю, ощущая всем телом упругость взрывной волны, он вдруг окончательно понял, что все прошлое отделилось от него и отошло. Оно, правда, стояло еще у него за плечами, но уже на почтительном расстоянии и оттуда кивало расплывчато, бледно, как неживое.

На НП был порядок. Командир батареи уступил свое место у стереотрубы и с такой влюбленной готовностью глядел на Кедрова, что Алексей Николаевич нехотя обернулся.

- Ты чего? — спросил он грубовато.

— А вы посмотрите, товарищ гвардии подполковник! Они там строевой подготовкой занимаются. На фо-

¹ А И Р — артиллерийская инструментальная разведка.

не разрушенного здания смотрите! Фельдфебель их строит. Целый взвод немецкой пехоты...

— Дай команду. Пять снарядов, беглый огонь!

— Нет снарядов. Есть только НЗ.

— Пять снарядов!

— Есть пять снарядов!

Кедров сам скорректировал данные для наводчиков. Сам подал команду:

— Огонь! Огонь!

Поглядел на скрещение линий в окуляре, сказал строго:

— Ну то-то! А то, понимаешь, по нашей земле не стесняясь ходят.

2

Да, днем было совсем хорошо.

А ночью он лежал на дощатых нарах, прикрытых шинелью, и не мог заснуть, мучительно возвращался мыслью к тому же.

В то самое время, когда он считал себя очень счастливым, жены Наташи уже не было в живых. После трудной эвакуации, в непогоду, она простудилась и заболела и скрыла от Алексея Николаевича свою болезнь, не захотела тревожить. Потом там, в Казахстане, где она поселилась, все пошло очень быстро: скоротечный процесс. Умерла в феврале. А письма ее продолжали идти, наверное, завалились на почте, написанные, как всегда, торопливо, без дат. И он в полку ни о чем не догадывался, жил спокойно, ел, пил, спал, гордился женою перед товарищами, перед девушками из отряда. И вообще вел себя как мальчишка. Теперь Алексей Николаевич казнил себя и за глупое хвастовство, и за неведение, и за собственную «толстокожесть», неумение догадаться, почувствовать на расстоянии пришедшую в дом неожиданную беду.

По ночам он не спал, вставал и закуривал, выходил из дома на улицу, подолгу глядел на лунный, источенный временем диск, на громады деревьев возле колодца, потом пил ледяную воду прямо из-под дужки ведра и ложился опять. И все время перед глазами стояла Наташа.

В темноте она, как живая, приходила к нему, садилась на нары у изголовья. Нежно гладила по его корот-

ко стриженным волосам, смеялась грудным, теплым смехом, белозубая, загорелая, в малиновом платье. Играла переброшенной через плечо толстенной косой.

Он спрашивал ее с горечью и обидой:

— Натка, милая! Как ты так могла? Без меня...

А она все смеялась, потом мрачнела, становилась печальной, и из-под темных, прикрытых ее ресниц текли слезы...

Потом Кедрову виделся Дон. Дует сиверко, и паром косо режет волну: она гулко пощелкивает о мокрые бревна. Кедров сводит по мокрым сходням коня, садится в седло, скачет в гору. Привязав лошадь к яблоне, он долго крадется вдоль стен, под окнами белого, невысокого домика. Подкравшись к Наташе, сидящей с шитьем у окна, ладонями закрывает ей глаза, дышит с нежностью в ухо:

— Кто? Догадайся!

И Наташа испуганно вскакивает и всплескивает руками, целует его.

Потом они вместе садятся обедать.

Наташа радостно хлопочет, придвигая поближе к Кедрову молоко, мясо, хлеб, блюдо с вишнями. И каждый раз роняет на пол то нож, то вилку. И они оба, наклоняясь поднять, сталкиваются лбами, краснеют — и долго сидят неподвижно, не размыкая рук, улыбаясь друг другу...

В пазах бревенчатых стен стрекотал сверчок, и Кедров испуганно слушал, приподнимаясь на ложе: это там, на Дону, в том, общем их доме или здесь, на войне? В его мыслях, в бессоннице все мешалось.

Потом приходило утро, за ним день.

Днем опять обступали заботы, вокруг были люди — и Кедров всякий раз в разговоре сжимал крепко губы: не дрогнули бы невзначай. Он только изредка ловил себя на новой, неожиданной мысли: а зачем это все?

Зачем эта тропинка, ведущая на батареи, и убитая лошадь с раздувшимся брюхом? Зачем эти охрипшие, небритые люди возле застрывших в лощине грузовиков со снарядами? И зачем все спешат? Зачем эти резкие, хлесткие звуки, напоминающие свист пастушеского кнута, и белое облачко взрыва, после которого и люди

и лошади остаются лежать так, как если бы никуда не спешили? Зачем это все?

Он ходил теперь самой ближней и самой опасной дорогой на огневые: здесь постреливали с деревьев немецкие «кукушки». Пусть скорее убьют, и все будет кончено, вся эта мука.

Мир казался Кедрову пронзительно хрупким, а зелень весны — неестественной, оглушающе громкой.

Он жил машинально, автоматически.

— Товарищ гвардии подполковник, пора отправлять сводки в штаб.

— Хорошо, отправляйте.

— Вы обедали сегодня?

— По-моему, да.

Какие-то ценности были утрачены. Вокруг все было то же, и люди его окружали те же, и те же дожди летели на землю, и тот же дым поднимался над разрушенным вражеским складом боеприпасов или над дотом. Но все это было за плотной преградой из невидимого стекла — ледящего, неосязаемого.

Но однажды он шел не спеша по дороге. Его обгоняли конные, пешие. Потом, обдавая шматами грязи, гроыхая и лязгая, прошел мимо танк. И Кедров удивился. Танк разбил стеклянную тишину. Под хоботом его пушки весны уже не было. Были грязные, молодые лица танкистов, был запах газойля и соларки, идущий из чрева машины. Но все это была уже не весна, а какое-то странное время года, у которого нет ни лугов, ни листьев, ни солнца, ни неба. Одна только война.

У войны всегда есть только война.

И Кедров как будто очнулся, подумал: нет, жить все-таки надо! Жить надо хотя бы уже потому, что он идет сейчас по смоленским полям. А там, впереди, еще есть поля Белоруссии и Литвы, и белый и розовый клевер Восточной Пруссии, и серые громады кварталов Берлина, и рейхстаг, и Аллея Победы — набитый осколками песок на дорожках Тиргартена: он будет так хорошо хрустеть под солдатскими сапогами.

Он вспомнил, как однажды Наташа сказала:

— Человек — это тот, кто заплачет не над своей, а над чужой болью.

Тогда он посмеялся над ее «философией». Сейчас он посмотрел вслед уходящему танку и сурово подумал:

«Зажми, Алексей, свое сердце в кулак! Да покрепче... Не давай ему воли. Ты такой не один... Пора приниматься за дело!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 1

Подошло лето, отупляющее своей влажной жарой.

Иногда набегают недолгие грозы, но и после них не легче дышать. Иногда дует горячий ветер, приносит гряды облаков, но жара остается жарой, и тогда и небо и фронт пугают своей тишиной, неизвестностью. Что за ними таится? Что нас ожидает?

Наша рота давно уже кончила свой участок лежневки. Теперь мы строим мост на Вазузе. Но дело движется плохо. Не хватает сильных, здоровых людей, их всех поглощает передний край. Не хватает строительной техники, материалов. Редкий, ленивый стук деревянной «бабы», забивающей сваи в речное дно, раздражает меня.

Как-то в полдень Федор Силантьев ввалился ко мне в санчасть, еще с порога приказал:

— Собирайся! Едем в штаб батальона, на партсобрание. Говорят, тебя будут в партию принимать. Это правда?

— Коли говорят, значит, правда.

— Вот не знал. Ну, будь готова. Я пошел за конями.

Но когда я уже собралась, он пришел и встал на пороге в сомнениях:

— Ну что, едем? Иль нет? Не раздумала?

— Как не едем? Да вы что?! Едем, конечно.

— Смотри, будет гроза.

— Ну и что?

— Ничего. Погляди на Вазузу.

Но Вазуза показалась мне очень спокойной. Ничего я в ней нового не увидела, когда переезжала на лошади вброд с одного берега на другой. Вода была лошадям по бабки, тихо морщила прибрежный песок.

Я ехала и все подгоняла коня, радуясь, что увижу на собрании Женьку: нас ведь вместе с ней должны в партию принимать. Кандидатами в члены мы с ней стали еще в медсанбате. Но вступить в партию у себя в отряде, где нас знали, мы с ней не сумели — так спешно расформировали отряд. И я давно уже думала, что на моем и Женькином заявлениях и на анкетах теперь стоит большой крест, все придется опять начинать сначала, мало ль важных бумаг пропадает и в более тихое время?! Но бумаги нашлись.

И вот волнующее известие и ухмылка Силантьева.

Ну, не знал и не знал. А если б и знал, что случилось необыкновенного?

Мне кажется, он всех своих подчиненных примеривает по себе: «Нет, я лично не полезу в огонь. Неужели же он полезет?! Сроду этому не поверю!» И не верит. И бывает рад, когда его мнение подтверждается жизнью. Тут он счастлив. И очень обижен, расстроен, когда оно отвергается окружающими. Все не правы, один только Федор Силантьев прав. Да еще скажет: «А вот посмотрите! Тогда поздно будет...»

На собрании я сижу в углу, за большой русской печью, и оттуда слушаю, что обо мне говорят. Говорят, в общем, правильно, и хорошее и плохое, нередко склоняясь, скорее, к плохому. И я, чувствуя всю справедливость уже сказанного обо мне, ко всему остальному отношусь невнимательно и, притихнув, сижу, ожидая исхода.

Нет, они не простят мне ни грубости, ни «анархии», как выразился Федор Силантьев, ни периодов отупения и упадка, ни порывов, таких неожиданных и шумливых. В медсанбате у Петрякова над такими порывами смеялись. Да, бывали в моей жизни эти длинные, серые, скучные дни, когда я как будто спала. И вот вдруг пробуждаюсь от невидимого людям толчка, и во мне начинают играть, закипая, какие-то мощные подспудные силы, появляется жажда деятельности и какое-то страстное нетерпение — и уж тут сторонись! Комиссар Коля Гурьянов называл это так: «Проснулся Тюлин...» Я сама своими ушами слыхала, как он однажды сказал Петрякову: «Шура? Захочет — на гору вскочит, не захочет — и под гору не свезет». А Иван Григорьевич на это ответил, усмехаясь добродушно, спокойно: «Ну что ж, значит, надо уметь направлять ее в гору...»

Да, там, в медсанбате, мои недостатки были просто поводом для веселых дружеских шуток, а здесь... Здесь меня окружают люди строгие, немолодые, им не до смеха. Наверное, это какой-то особый закон: чем дальше от линии фронта, тем важнее людям кажется их работа, их мысли, их мнение о тебе.

Но люди всегда лучше, чем мы думаем о них.

Когда кончилось обсуждение, я удивилась. Против был один только Федор Силантьев. Он остался, как говорят, на бобах, никем не поддержанный. Остальные все высказались за прием. Кое-кто втихомолку меня даже поздравил: «Ну вот и отбили атаку Силантьева...»

Женьку приняли без обсуждения. Ей везет, как всегда.

— Знаем! Знаем! Чего там ее обсуждать! — сказал командир батальона Бахтиаров, пожилой армянин с седыми усами.

На крыльце мы с Женькой стоим, глядя в небо. Где-то блещет холодная и кривая, как сабля, голубоватая молния. Тучи низко сгрудились и, кажется, вот-вот прольют на землю сильный, хлещущий дождь.

Я гляжу на Силантьева, на его задранный к небу подбородок: мой командир роты ужасно боится грозы, и я шепчу Женьке: «Я ученый малый, милая...» Она звонко хохочет, кричит:

— Эй, Силантьев! Смотри, прямо в рот залетит!

Тот бурчит себе что-то под нос недовольно.

Возвращаемся мы с ним молча: он обижен на все. На собрание. На меня. На грозу. И на Женьку. Зачем Женька над ним посмеялась? Не иначе как по моему наущению. Он уверен: во мне все семь смертных грехов.

Когда мы подъехали с ним к Вазузе, то реки не узнали. Наверное, где-то поблизости уже прошел сильный дождь, и река вздулась, набухла. По черному небу неслись светящиеся разорванные облака, и луна, странно подпрыгивая и покачиваясь, окуналась в их глубину. Вазуза внизу бурлила, кипела. На быстрине все время крутился и ходил ходуном тугой черный гребень.

Помедлив, Силантьев осторожно въехал в воду. Я тронулась следом.

Конь, сторожко втянув в себя волнуемый запах влаги, лег на волну. Я поймала тот миг, когда он уже

не достал дна и поплыл, и подобрала повыше ноги, боясь замочить сапоги. Седло поскрипывало от сильных, резких движений большого черного тела, лоснящегося в темноте. А я думала о подпруге: не ослабнет ли она там, посредине реки, в крутящейся адской смоле?

Но конь все плыл. Он пофыркивал, легко рассекая грудью смоляную кипящую воду, как резная ладья из черного лака, и грива странно блестела в серебристом раздвоенном свете луны, исходящем от воды и от неба.

Силантьев сказал:

— Говорят, Вазуза Наполеона задержала. Вот так же взыграла... Ишь как прет... Силища!

Я засмеялась и похлопала лошадь по выгнутой шее.

— Наполеона! Не нас...

О том, что Наполеон переправлялся через Вазузу, я, признаться, прежде не знала. К тому же подумала, что Силантьев что-нибудь перепутал и врет: не мог, в самом деле, Наполеон тащиться через эти мелководные реки, да еще задерживаться на них. Но меня уже захватила сама радость движения, и эта лунная ночь после дождя, и всхлипывание и ворчание реки, живого, стремительного существа, несущегося сломя голову мимо полей и лугов, куда-то к далекому морю, в мировой океан. И я замолчала. Перед моими глазами из воды поднималась красивая морда большого, издревле прирученного человеком животного, его грудь, разрезающая волну, его влажная черная грива. И я почувствовала себя плотно слитой с этой рекой и с разорванными, мчащимися облаками, с этим краем, с непахаными полями, чуть дымящимися в лунном свете избыточным испарением.

На какой-то миг слившись с этой ночью и темной бурной рекой, я тоже чувствую себя непокорной. Я готова сейчас умереть от счастья и гордости за свою необычную, единственную страну...

Перерезав наискосок шумящую реку, мы выбрались наконец на пологий песчаный берег и стремя в стремя двинулись напрямик через луг к темнеющим в полумраке домам деревеньки. Копыта коней сочно чавкали по размокшей земле торфянистого луга.

— Ты что все молчишь, Шура? — спросил вдруг Силантьев.

— Так. Ничего.

— Убежать задумала?

— Откуда вы это взяли? — Я сделала над собою усилие, чтобы не показать, как я удивлена его вопросом. Кто мог ему разболтать?! Ведь не Женька же!..

— Да уж взял.

— Ну, где взяли, там на место и положите! — ответила я и отъехала от него прочь, погнала лошадь рысью.

Теперь я знала, что мне нужно делать.

2

Дождь хлещет четвертые сутки.

И четвертые сутки мы спим беспробудно, зарывшись в сено, в политотдельской конюшне с проломанной снарядами соломенной крышей. Прямо над головами у нас хрустко жуют овес политотдельские кони, помахивают коротко остриженными хвостами.

Три раза в день нас будит конюх: рано утром на завтрак, в полдень на обед и вечером на ужин. Он кричит:

— Эй, девки, вставайте, а то с голоду поколеете! Да медалями не трясите, а то завалятся в сене, тады не найдешь...

Женька сонно ворчит:

— Отойди. Не шуми.

— Но-но, вставайте! Мне давно уж приказано вас побудить.

Мы нехотя поднимаемся, идем к колодцу. Ополаскиваемся, чтобы хоть немного смыть с себя липкий, въедливый сон, и бредем в военторговскую столовую. Там, не разбирая, вяло жуем что подадут — и снова на сено, под мирно плещущий дождь, под хруст овса, перемалываемого лошадиными челюстями. Снова спать — за весь недосып, накопившийся в дорожном батальоне и на курсах политработников.

— Да что это с вами, братцы? Вы, часом, не заболели?

В дверях конюшни сам начальник политотдела, полковой комиссар Николай Николаевич Варичев, высокий, стройный, с мясистым лицом, тонким носом, с пронзительными небольшими глазами. Он еще очень молод, безрассудно отважен и всегда весел, бодр.

Мы в резерве политотдела армии. Только что после выпуска. Еще наши новенькие кубари в пехотных ма-

линовых петличках не потрескались, не обкололись. Еще эмблемы — две скрещенные винтовки на фоне мишени — удивляют нас самих не меньше, чем окружающих. Еще спится с устатку так сладко, легко, что даже не тянет в столовую после курсантской похлебки. Еще сами собою косятся глаза на медали на груди, когда расстегиваешь шинель, — так они непривычны, эти серебряные кругляшки за Рузу и Можайск, догнавшие меня и Женьку бог знает где, в новом звании, в новом качестве, на другом направлении фронта.

Варичев ковыряет носком начищенного сапога мокрое сено, смеется. Шинель на нем распахнута. Под шинелью на тонком ремне немецкий трофейный маузер в деревянной колодке. Больно молод, щеголеват наш веселый начальник.

— Много спать — мало жить! Что проспали, то прожили! — говорит он, разглядывая с усмешкой меня и Женьку.

— А у нас бессонница, — виновато бормочет опухшая Женька, вылезая из сена. — Спим, спим и ничего не видим во сне. Вот мы и хотим доглядеться...

Николай Николаевич смеется.

— Вот что, девочки, — говорит Варичев. — Собирайтесь, умойтесь. Сейчас получите назначения. Из дивизии люди приехали. Вместе с ними и к месту...

— Мы готовы! Сейчас...

В большой комнате шумно, людно, накурено. Здесь начальники политотделов стрелковых дивизий и корпусов, их заместители, помощники по комсомолу. Нас с Женькой разводят по отдельности в разные стороны и представляют каждую своему будущему начальнику.

Мой, Шокольский, бел лицом, черен волосом, с напыженными усами, закрученными в шнурок. За плечами роскошная черная бурка. Его черные, круглые, птичьи глаза умны. Он спрашивает у Варичева:

— Так это та самая, Николай Николаевич, что сказала: «Вот сяду здесь у вас в кабинете и, пока не отправите на передовую, никуда не уйду!»?

— Да, да. Эта самая. Познакомься. Тут их две таких, неразлучных.

— Очень, очень приятно!

Шокольский тычет коротким пальцем в свою звенящую от орденов и медалей грудь.

— Так, значит, ко мне в дивизию? Комсоргом полка? Очень рад!

— Очень рада,— говорю я.

О чем мне еще и мечтать?

Дивизия генерала Бордятова, где Шокольский начальником политотдела, прославлена на всю армию. Это сибирские стрелки. Не хуже, чем гвардия.

Мы прощаемся с Женькой.

Она говорит:

— Спасибо тебе, Шура, за все! Если бы не ты, наверное, я и сейчас еще строила бы мост на Вазузе. Дай-ка мне свой адресок. А то уедешь, когда еще встретимся.

Она вынимает из кармана гимнастерки блокнот и что-то роняет на пол вместе с бумажками. Какой-то конверт без обратного адреса. Мне кажется, на нем почерк Бориса Банина. Впрочем, может быть, мне это только кажется? Затем падает фотография. Я не вижу лица, но по формату, совсем нестандартному, она точно такая же, как у меня в партбилете, между листками. Женька быстро наступает на нее сапогом.

— Шура, милая, что бы со мной ни случилось, верь мне. Я всегда тебе друг! Ты мне веришь? — говорит она торопливо.

— Станный вопрос!

— Жизнь, она любит ставить перед человеком много странных вопросов,— философски замечает Женька.— Ну, до встречи! Желаю удачи!

— Желаю удачи! — отвечаю и я.

Вот где я промахнулась!

Мне бы взять наклониться и поднять с пола упавший квадратик фотографии, и, кто знает, какой краской стыда залилось бы лицо моей давней подруги. А мне стало стыдно — не за себя, за нее. Я ее пожалела...

3

После госпиталя и прогулок на Шане хорошо наступать!

Наступает весь наш Западный фронт.

Вчера вечером был отдан приказ, и полки генерала Бордятова уже к полуночи были на марше. Они двигались по осклизлым снежным дорогам всю ночь, где вброд, а где вплавь, утопая по пояс в талой воде. Вре-

менами накрапывал мелкий дождь. По небу брели лохматые тучи. На ухабах колеса пушек утопали в разжиженной глине по ступицы. Визжа, буксовали на пригорках машины. Но все двигалось, шагало и ехало в каком-то отчаянном ожесточении.

В кузове перегруженной полуторки я минуя Макашино.

Опершись о кабину машины, я стою на узлах во весь рост и дрожу от дождя и холодного ветра. Серое утро чуть брезжит над лесом, в котором мои товарищи по Старой Елани, окруженные, сражались и погибали. Здесь отстреливалась от фашистов Марьяна. Здесь она на привале, наверное, заходила по щиколотку в коричневую жижу болота, зачерпывала котелком воду и, оборачиваясь назад, кричала Ивану Григорьевичу: «А чай-то прямо с заваркой!»

Я так явственно себе представляю ее, что на миг закрываю глаза.

Я не знаю теперь, где Марьяна, жива ли она.

Дорога поднимается в гору, затем, извиваясь, сползает в долину. Отсюда, с нагруженной машины, мне видны на обочинах чужие подбитые танки с белыми перекрестьями на боках, искореженные снарядами, с разорванными траками. Вот разрушенная снарядами мельница. Наверное, была вражеским наблюдательным пунктом. Вот черные трубы сожженных деревень. А на самой обочине дороги сложенные штабелями круглые, словно хлебы, немецкие противотанковые мины и надписи на фанере: «Minensperre». И опять: «Minensperre»¹.

Ничего, мы прошли и по минным полям!

Длинной лентой движутся грузовые машины, фурманки с поклажей, пушки на конной и механической тяге, полковые кухни, бойцы в серых шинелях с ручными пулеметами и ПТР на плечах.

Впереди, за перелеском, что-то грохнуло глухо, тяжело, потом еще раз, и еще, и все чаще и чаще. Кажется, там притопывают какие-то веселые работнички — перед тем как ударить, — а потом бьют с размаху, приседая и ухая, — и что-то взрывается так, что глохнет в ушах.

Прямо над моей головой просвистели штурмовики. Они тоже туда.

¹ Заминировано (нем.).

Потом, прижимая людей и повозки к обочине, обдавая идущих запахом масла и нагретым, вонючим воздухом из жалюзи охлаждения, со мной поравнялись замасленные «тридцатьчетверки».

Танки заполняют долину своим низким, грохочущим рокотом.

Несмотря на то что они идут на большой скорости, они все никак не могут нас обогнать — всю эту скрипучую, неповоротливую разноголосицу шлепающей по размякшей дороге пехоты. И так долго их гусеницы и наши колеса вертятся рядом, в такт, в лад, на расстоянии всего лишь ладони друг от друга, что все веселей и веселей начинают переглядываться и смеяться те, кто идет, и те, кто едет.

И вдруг танки разом свернули с дороги в кювет и пошли прямо полем.

Какой-то майор, попросившийся, чтобы мы его подвезли до переднего края, рассказывает:

— Сейчас танки, да! Есть на что поглядеть! А прошлый год как воевали? Был со мной такой случай. Приходят ко мне в полк два хлопца, танкисты, и говорят: так и так, мол, мы — приданные средства. Давайте, мол, выкладывайте, где и какая атака. Ну, я им объясняю свою обстановку. Говорю: «Хлопцы, я буду жать изо всех своих сил, но и вы не робейте. Надо крепче их жать!» Ну, все правильно, договорились. Они спрятали карты в планшет — и по коням, айда! Смотрю, — продолжает майор, разглядывая пробегающие мимо поля, — дело у нас как-то сразу уже не заладилось. Батальоны без поддержки огнем залегли — и скорее назад, на исходные, на полусогнутых. Бултых река в воду, аминь пирогам! А у пушчонок снарядов нема. И ни мин, ни гранат. И танки мои куда-то позадевались. Прибегает их командир — и ко мне: «Ты что же это? Так и так! Твои стрелкачи тикают, только пятки сверкают». А я посмотрел на него и говорю: «А твои танки где?» — «Как где? Маневрируют...» — «Ну вот, говорю, и пехота моя ма-не-ври-ру-ет!»

Майор весело поднял указательный палец, рисуя, как все это у него замечательно происходило.

— Так мы с ним по-хорошему и расстались!

Он вздыхает, глядя на прущие полем танки, говорит:

— Сейчас хорошо! А тогда...

Зимы, весны — и снова лето с меловыми вавилонами облаков над тихой речушкой. Ночной поиск. Томительное сидение в обороне, когда неизвестно, кто от кого в данный момент обороняется: мы от немцев или немцы от нас.

Чувство жара в груди, когда по белой росистой траве, оставляя позади себя темные полосы, проползают разведчики, и жемчужные венчики ромашек качаются перед ними на уровне глаз. Влажный запах болотной травы, раздавленной локтем, зеленая сукровица болиголова. И во мраке ленивый затейливый разговор:

— Когда дурак умным бывает?

— Когда молчит.

— Правильно. Мудрая у тебя башка...

— А ты думал, дурная?

— Хорошо. Отгадай: летят гуськи, дубовы носки, говорят: «То-то ты, то-то ты!» Что такое?

— А это скрипун шестиствольный играет!

— Молодец! Ставлю тебе пять с плюсом.

— Ты мне лучше пол-литра поставь! С тобой же вместе и разопьем.

Это наш разведчик Семен Курсанов со своим помкомвзвода дурачится перед выходом на задание.

Где-то все далеко позади: медсанбат, строительство армейской дороги, краткосрочные курсы, дом отдыха.

Я на дне окопа читаю письмо от Алешки, его только что мне принесли. Осторожно подсвечиваю себе карманным фонариком.

Он пишет:

«Здравствуй, сестренка!

Вчера получил свежий номер армейской газеты, разворачиваю его, а в нем твой портрет. Очень рад за тебя! Поздравляю! Приятно узнать, что ты жива и здорова и что находишься по соседству, где-то рядом со мной. По крайней мере, так я понял из этой заметки, в которой написано про тебя.

После дома отдыха я немного хандрил. Стыдно сказать, но мучило какое-то мрачное предчувствие. Ты же знаешь, как много гибнет людей после отдыха, побы-

вавших в тылу. Вот мне и не хотелось подставлять свою глупую голову.

Сейчас я командир пулеметной роты. Мой комбат — небезызвестный тебе Сергей Улаев. Мы с ним как-то разговорились: он спрашивал, где я отдыхал, кого видел. Ну я и сказал ему про тебя. С тех пор мы при встречах широко улыбаемся друг другу: как же, как же, оба знаем одного старшего лейтенантика в юбке!

А вчера мы с ним вместе выпили. И вот по какому поводу. Мне исполнилось двадцать два. Представляешь? Фигура! «Как мало прожито, как много пережито!» А?

Ну, мы, конечно, с ним устроили сабантуй.

Позвали ребят из штаба полка и своих пулеметчиков. И ты можешь представить, штабники принесли целый торт! Даже с розочками из крема. Где достали, никто не может понять. И цветы — колючий, из репейников, веник.

Чай пили некипяченый: дрова были сырые, никто не хотел их сидеть раздувать. Потом танцевали. Я был по очереди то «кавалером», то «дамой». Потом общими усилиями наводили порядок. Цветами подмели наш блиндаж. Котелки вымыли в луже у входа. Единственно, чего не хватало, это нежного сестринского письма от тебя. А так — праздник, феерия, честное слово!..

Будь здорова, пиши мне. Твой братец Алешка».

Я дочитываю и долго сижу, размышляя во тьме. Мой братец Алешка! Поначалу я как-то не обратила внимания на его странную фразу, а сейчас снова включаю фонарик, перечитываю опять: «Ты же знаешь, как много гибнет людей после отдыха, побывавших в тылу».

Да, он прав. Но зачем об этом сейчас вспоминать?

Люди сильные, смелые редко гибнут в бою. Здесь они в напряжении и как бы в расцвете всех своих сил и таланта, все видят, все слышат и все угадывают заранее, любой замысел и движение врага. Они гибнут потом, когда нервы ослабнут, или после ранения и побывки в тылу. Сколько лучших бойцов на моих глазах погибло зря! Дурацкая пуля, летящая наугад, она тоже, наверно, хороший психолог...

Мне не нравится это письмо.

Я еще не могу понять, чем оно мне не нравится, но на душе у меня как-то тревожно. Может быть, потому, что мы снова готовимся наступать.

Километрах в двух от переднего края, там, где к лесу примыкает болото, полковые саперы отрыли в полный профиль все три линии укреплений, как у немцев, вбили колья с колючей проволокой и отметили минные заграждения, разбросали повсюду различные малозаметные препятствия, замаскировали глубокие волчьи ямы. Именно таким, по сведениям разведки, был передний край у противника, его оборона.

Каждый день здесь бойцы занимаются с утра до позднего вечера: сперва они ползут по траве, потом поднимаются, делают быстрые перебежки, бросают гранаты и окапываются; обучаются в рукопашной отбивать ловчее удар, рубить лопатой, колоть штыком.

То и дело можно слышать команды:

— Бего-ом!

— Гранаты к бою!

— Отставить!

По ночам разведчики Семена Курсанова проползают через нейтральную полосу и выслушивают чутким ухом передний край: что там делается, у немцев? О чем говорят? Нет ли стука лопат, необычного оживления в ходах сообщений?

— Лучше пролить больше пота, чем крови,— говорит командир полка подполковник Чавель.— Настоящая храбрость — это осторожность.

Сам он, я думаю, конечно, знает, что пролитый пот крови не замена. И не очень осторожен, когда надо что-то решать: война есть война. Но учениям Чавель уделяет очень много внимания.

— Не гонкою волка бьют, а уловкой,— учит он на вечерних разборках занятий нас, офицеров.

2

Наконец вот он — день, которого ждем.

Красиво играя, с востока над линией фронта идут самолеты. Вверху — истребители. Издали видно: они словно танцуют. То ходят размеренно, пищут восьмерки, то, паря, опускаются, как бы планируют, то вдруг стремительно поднимаются вверх и теряются где-то под самым куполом неба. Ниже их, наливая воздух тяжелой, томительной дрожью, брюхатыми рыбами плывут один за другим перегруженные бомбардировщики. Еще ниже, звеньями, мчатся штурмовики. Три яруса смерти.

Артиллерия смолкла. Смолкли люди, глядящие вверх.

— Наши! Наши! — Кто-то радостно машет рукой и считает. — Наверно, штук сто! Или двести!

Самолеты торжественно, как на параде, с громким ревом моторов обошли полусферу высокого летнего неба, и бомбардировщики и штурмовики уже приготовились проутюжить немецкую оборону, как вдруг все сразу увидели — и в окопах, и, наверно, там, наверху, — тем же самым путем, тем же птичьим таинственным строем, но уже над нашими головами, прошли «мессершмитты» и «юнкерсы». Их здесь тоже примерно до сотни.

Строго чувствуя этот особый момент, соблюдая дистанцию, оба страшных, враждебных друг другу чудовищных стада медлительно разошлись на наших глазах в ослепительном небе и, не сплетаясь, не перемещиваясь с чужими рядами, вдруг грозно ринулись с грузом смерти к земле: немецкие самолеты — на нас, а наши — на немцев.

Все смешалось в один жуткий стон, в грохот, в дым.

Песок струйками течет за воротник гимнастерки, пыль забила глаза, глотку, уши. Плотно вдавленная в каменистую землю окопа взрывною волной, я лежу, распростертая, онемевшая, с замершим сердцем, и слушаю свист. Он пронзительный, тонкий, этот давящий душу свист бесчисленных бомб.

Самолеты снижаются и опять уходят вверх по спирали — две гигантские карусели, два черных обода, состоящие из железных грохочущих тел, два мучительных колеса, накатывающиеся на живые тела, на тебя.

Нет, проехали! Ничего.

Кажется, и на этот раз пронесло. «Драй петух!»

Бьет тяжелая артиллерия.

Гул разрывов уже переместился и стал несколько тише. Клубы артиллерийского дыма над полем растянулись, как волосы, в длинные пряди. Там, у немцев, что-то сразу же взорвалось и теперь горит оранжевым пламенем с черным султаном на покачивающемся в небе столбе.

Бойцы задержались только лишь у первых рядов ключей проволоки, выбирая пошире пробитые лазы, и некоторые из бегущих упали и не поднялись, а некоторые побежали дальше, лавируя среди черных разрывов. Это

странно: закрепляет победу не техника, не железо, а вот эта живая, теплая плоть, этот жалкий комочек из натянутых нервов, одетый в серое. Только он!

Земля вздрагивает от рушащихся на нее тяжелых снарядов, и во мне просыпается что-то древнее, дремучее, как эта черная торфяная пыль, бьющая мне в лицо. Я бегу с пистолетом в руке и кричу, и мне страшно, до боли в груди, но я вместе со всеми; я врываюсь туда, в их третьи траншеи, где бой уже распадается на отдельные схватки, короткие, совершенно незапоминаемые: кто, кого и куда. Здесь лишь храп, негромкие вскрики и выпученные белки глаз.

Для меня все забыто там, в прошлом: какие-то священные даты, любимые люди, удивительные сплетения слов. Моя жизнь теперь только здесь, в этом стремительном, грохочущем, рвущемся. Я не верю, что меня сейчас могут убить: так насыщена счастьем движения и радостью каждая клеточка тела. И нет больше ни ужаса, ни сожаления о себе...

— Вперед! — доносится команда. — Вперед!

В захваченных блиндажах знакомый и уже приевшийся запах горелого железа и тлена, невыветренный дух неряшливых, холостых мужчин. В разбитую амбразуру дует ветер, шевелит обрывки бумаг на полу и на нарах, катает по столу пустую бутылку. Здесь все такое же, как и у нас: железная печь, деревянный стол, скамья грубой работы. Все похожее — и одновременно чужое, вызывающее чувство брезгливости.

Я влетаю в такой блиндаж вместе с нашими пехотинцами и вдруг приседаю на корточки от разваливающегося над головой железного грохота. Тяжелый накат в шесть рядов начинает подрагивать от ударов снарядов. Песок течет горкой на стол.

Вот чего я боялась сегодня больше всего: контратака!

Мне кажется, лучше сразу погибнуть, чем опять отступать, как в Макашине с Марчиком.

Я выскакиваю из блиндажа и бегу по склону высоты. В черной круглой яме с осыпающимися краями — Чавель. Рядом с ним телефонист с аппаратом, два сапера, связной. Это новый КП.

— Ты с ума спятила? — хриплым голосом кричит мне Чавель и хватает меня за руку, пригибает к земле. — Ложись! Убьют!

Сразу три душных, высоких столба поднимаются в небо. Немцы, видимо, обратили внимание, как я бежала, и теперь по блеску стекол бинокля Чавеля засекли наш командный пункт.

Саперы поспешно выкладывают перед командиром полка бруствер из дерна, маскируют яму ветками и брезентом.

Чавель плотен, высок, с растрепанными выгоревшими волосами. Из расстегнутой маскировочной рубахи выглядывает широченная грудь в бесчисленных орденках. Лицо лаптем, рябое. Рядом с ним ординарец в сапогах с разболтанными голенищами. Он держит перед командиром, как блюдо, фуражку с малиновым верхом и трофейную саблю с позолоченной рукоятью, с дубовыми листьями. Чавель время от времени берет эту саблю, тяжело на нее опирается, как на костыль: болит старая рана.

Сейчас Чавель, надрываясь, кричит в телефон:

— Мартынов! Мартынов! Где ты, Мартынов? Отвечай, Мартынов! Что за дьявол? Что там у вас происходит на фланге? Где «огурчики»? Где «огурчики»? Ну бей же их! Бей! Кроши!..

Перед нами ложбина. За нею — я вижу это и невооруженным глазом — контратакующие цепи немцев. Там кто-то бежит впереди, весь в крестах, размахивает парабеллумом.

Сейчас две цепи, их и наша, перемешаются, и тогда артиллерия должна будет смолкнуть, а сейчас она еще может что-то сделать, остановить.

— Мартынов! Мартынов! Огня! Ты что молчишь? Отвечай! Ты видишь? Ты видишь?

Командир полка дунул в телефонную трубку, обернулся:

— Связь! Где связь? Быстро, ядрена вошь!..

Сидящий рядом со мной боец вскочил и бросился вон из ямы, по линии провода, но не успел добежать до места обрыва. Осколок срезал его на бегу.

— Связь! — крикнул Чавель, не оборачиваясь.

Другой даже выскочить не успел, пуля кинула его прямо в лоб, и он повалился лицом на край ямы.

Тогда сидевший на аппарате связист, белобрысый, веснушчатый парень, отняв трубку от уха, одернул гимнастерку и легко, по-спортивному перемахнул через

бруствер КП. Он пробежал только десять шагов, всего на два шага дальше своего товарища, и тихо присел сначала на корточки, потом медленно прилег боком на землю.

— Связь! — закричал командир уже сорванным голосом. — Связь! Мартынов! Где Мартынов? Мартынов! Мартынов!..

— Разрешите, я добегу?

Мой голос, наверно, удивил командира, потому что он оторвался от окуляра, но только сказал:

— Ползи змеем, беги, лети, комсомольский бог, что есть духу! Прикажи им... Д-дай огонька!

Над дорогой ударил бризантный снаряд. В небе вспыхнуло белое облачко, при виде которого я вдруг ощутила холодящий вкус железа во рту. Почему-то я особенно не люблю бризантных снарядов. Затем очень близко от меня то справа, то слева поднялись грохочущие фонтаны влажной, пахнущей дымом и торфом земли, перемешанной с желтым пламенем и повизгивающими осколками. Оседая, они злобно шуршат.

Я ползла, а теперь бегу, задыхаясь, почти сваливаюсь кому-то на голову в артиллерийский НП.

— Огня! По левому флангу...

— Все орудия вышли из строя! Стрелять нечем!

Мартынов, распаленный движением боя, мокрый от пота, оборачивается ко мне. Это плотный, тяжелый человек, весь налитый кровью. Красивые женские губы и ямочка на подбородке делают его лицо как бы рассеченным надвое: внизу — женское, неустойчивое,верху — квадратный, с морщинами лоб, угрюмые брови. Глаза двумя кусочками льда. С первого взгляда даже не знаешь, как держать с ним себя: он добрый или злой. Сейчас, я гляжу, он растерян.

Впереди слева грохот и лязг гусениц.

— Танки! Вы же видите: танки!

— Ну и что, ну что я могу? Что? Что? — И Мартынов сползает по стенке окопа, садится на корточки. Его ухо на уровне бруствера, он слушает: лезут.

Связи с Чавелем нет. Что делать?

Я чувствую: холодок бежит у меня за плечами.

Там, на склоне высоты, поредевшие наши цепи. Вся их ломкая линия разрывается все в новых и новых местах обрушившимися снарядами. А теперь еще танки!

И огонь по КП, по Чавелю, все ближе, прицельней. Еще залп — и накроют.

Я вижу уже отступающих наших солдат.

И вдруг в дыхании боя что-то резко ломается. Я даже не понимаю, что именно, где. Вокруг нашего плохо замаскированного окопчика НП уже не вздымаются столбы торфяной коричневой пыли. И где-то гремит, начинаясь с высокой ноты: «Ура-а-а!..» И слышится низкий, содрогающий землю грохот, но уже не чужой, не спереди, слева, а сзади, с востока.

Обернувшись, я смотрю туда, на восток.

Это к нам на подмогу прет колонна «тридцатьчетверок». За ними, до самого горизонта, теряясь арьергардами где-то в лесах, — самоходные артиллерийские установки, «студебеккеры» с мотопехотой, скрежещущие бронетранспортеры. Вся земля и все небо содрогнулись в одном мощном гуле от утробного воя моторов.

— Вот это война! Это я понимаю! — кричит кто-то, отряхиваясь от торфяной пыли недавнего разрыва снаряда и, мертвый, с расширенными глазами, съезжает на дно окопа.

Поле черно от мчащихся наших танков.

Такого я еще не видала.

Немцы тоже, наверное, такого еще не видали. Поэтому так притихли на своих огневых.

Я еще рассматриваю железные сочленения мчащихся мимо меня мощных гусениц, а Мартынов уже приник к заверещающей телефонной трубке, закричал, надрываясь:

— Гнатюк! Гнатюк! Давай сматывай связь! Снимайся! Я пошел вперед! Я пошел вперед! Ты слышишь?

Отвратительно завывая, с клекотом над НП пролетела болванка. Немцы бьют подкалиберными. Две-три головные машины и бронетранспортер с автоматчиками, сидящими в кузове, вдруг разом вспыхнули, словно погребальные факелы. Густой черный дым повалил над распаханым взрывами полем. Но в ответ самоходки ударили резко и жестко, одна за другой. Танки выскочили на полной скорости на гребень высоты, за которой прятались немцы, и там все стихло, замолкло.

Я выпрыгнула из окопчика, махнула Мартынову:

— Желаю удачи! Я тоже вперед!

Бой так быстро откатывается и так недавно еще был здесь рядом, что тяжелый, с зазубринами осколок, который я наклонилась поднять, обжигает мне руку.

Из капониров и укрытий артиллеристы уже вытаскивают тягачами на дорогу тяжелые пушки и волокут их вниз, по склону, в лощину. Связисты хлопотливо перекликаются, сматывая многожильные нитки цветных проводов, тащат тяжелые аппараты.

Прямо мне навстречу из кустарников вывертывается разведчик — уже оттуда, из самого боя. Он тянет за шиворот пленного немца, длинноногого, хилого, в зеленом френче с нашивкой за зимовку под Москвою в петлице. Немец ранен в левую руку, она забинтована, и кровь, проступая крупными каплями, падает в пыль, на дорогу.

Временами они останавливаются, пытаются друг другу что-то сказать, скорее жестами, чем словами, потом снова шагают рядом, толкаясь при этом плечами. Возле меня они останавливаются, как друзья. Немец чиркает бронзовой зажигалкой, дает прикурить сначала разведчику, потом закуривает сам. На лице его робость и наслаждение: от табака, оттого, что жив, уцелел.

Признаться, я с растерянностью гляжу на эту нелепую пару. В сбитой на ухо запыленной пилотке наш разведчик, хотя и невысокого роста, но плечистый, ширококороткий, кажется мне просто богатырем рядом с бледным, тщедушным, испуганным немцем. И то, что он обращается с пленным как с равным себе, меня удивляет.

— Эй, браток, куда ведешь? погоди! — крикнул кто-то разведчику от тягачей, вытаскивающих гаубицы со старых позиций, и по траве, вниз по склону, позвякивая в такт огромным шагам серебряными медалями, сбежал высоченный артиллерист.

Он с разбегу широко размахнулся и ударил пленного в лицо. Тот, коротко всхлипнув, упал.

Артиллерист уже снова примерился было ударить, но разведчик уперся ему в грудь автоматом:

— Но, но! Не тронь! Стрелять буду...

— А ты что его защищаешь? Ты что защищаешь? — визгливо, по-бабьи закричал артиллерист, теперь уже замахиваясь и на разведчика с автоматом. — Ты что его защищаешь? Убить его, гада, мало, а ты!..

— Если хочешь убивать, иди вот туда! — спокойно ответил разведчик, все еще придерживая высоченного артиллериста дулом автомата, и кивнул в сторону запада. — А тут нечего руками размахивать! Много вас на готовенькое...

Он нагнулся и поднял пленного с земли, как мешок с тряпьем, отряхнул его, отыскал отлетевшую на дорогу пилотку, напялил на немца и, все еще придерживая дулом автомата тяжеленную руку артиллериста, сказал ласково:

— Пойдем, фриц! Не бойся!

Тот сплюнул кровью, утер рукавом френча нос и пошел рядом с разведчиком, сердито прихрамывая и что-то обиженно ему говоря.

Я долго смотрела им вслед.

Мимо меня уже едут штабные автобусы, легковушки. На коне верхом проскакал офицер связи из штаба армии.

И вдруг за поворотом дороги:

— Шурочка! Здравствуйте! Какими судьбами?

Оборачиваюсь: Кедров. Алексей Николаевич Кедров!

Тот самый Кедров с Алексеевских хуторов. Он в полковничьих погонах, весь в панцире из орденов. На упрямом, широколобом лице, как прежде, внимательные, но какие-то словно измученные глаза.

Я ему очень рада.

Снова в памяти серая соль апрельских снегов, дальнобойные немецкие снаряды, шуршащие над гребнем палатки. И сам Кедров, в полушубке шагающий из угла в угол, такой уверенный, очень спокойный. И Блок. В темно-синей обложке.

— А я утром пришел, смотрю: куда подевались? — говорит он. — Снег растаял. Везде обрывки бумажек, грязь. Были люди — и нет! Наверное, три недели ходил, все смотрел, не вернетесь ли! Нет, так больше и не вернулись.

— Да, я тоже часто вас вспоминала.

Есть люди, с которыми мне всегда интересно, тревожно. От них обязательно чего-то необычного ждешь. Какого-то нового, яркого слова. Удивительного поступка. Не очень-то дружеских, но таких сложных, запутанных, волнующих отношений.

А с Кедровым мне просто, легко. Его умная, спокойная ровность на меня действует исцеляюще, как ле-

карство. Я с ним ответно «ровнею», если можно такое слово употребить. Мы, женщины, наверное, как волшебные зеркала. Мы по-своему, по-особому отражаем в себе окружающий мир и людей с их достоинствами и недостатками. И если в нас иногда отражаются только их недостатки, то кто ж виноват?

Я смеюсь своим мыслям.

Кедров сурово, застенчиво улыбается. Говорит с удивлением:

— Шура, вы так повзрослели!

Но кто-то уже машет ему из кустов: там стоит легковушка, ждут бойцы в маскхалатах.

— Приезжайте ко мне в гости,— просит Кедров.— Теперь я хозяин в дивизии. Если надолго где остановимся, приезжайте. Буду очень вам рад...

— Хорошо. Обязательно.— И вдруг вспоминаю.— Да, а Блок-то все еще у меня! — говорю я ему.— Только я его теперь не верну. Я к нему так привыкла, что просто не представляю... Вы не сердитесь? Можно?

— Хорошо. Пусть останется вам на память. От меня!

— Ну спасибо! До встречи! Бегу догонять своих! — кричу я уже издали и машу Кедрову рукой: — До свиданья!

Какой-то припозднившийся танк грохочет по пыльной дороге, весь облепленный, как зелеными муравьями, бойцами. Все они с автоматами, в касках.

— Эй, сестра, едем с нами! — кричит мне солдат, сидящий на танковой пушке верхом.

Я оглядываюсь. Может быть, по наивности он полагает, что я откажусь? Как бы не так!

С готовностью протягиваю руку сидящим на танке. Мне навстречу ответные десятки дружеских рук. Кто-то быстро подвинулся, освобождая поудобнее место. Кто-то тащит уже табачку на закурку, хотя я не курю, и явно обескуражен отказом. Кто-то спрашивает, как зовут, из какой я дивизии.

Я сижу на горячих решетках, обвеваемых жарким ветром воздушного охлаждения, и весело, с благодарностью улыбаюсь этим дружеским, обветренным лицам.

А танк гремит и гремит по дороге на запад, попыхи-вая дымком и соляжкой.

Впереди Орша, Витебск.

Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку — это будет уже другая река и другая вода. А разве можно дважды войти в одни и те же воспоминания с тем же чувством? Или в один и тот же лес, особенно осенью, когда каждый лист готов уже сняться и улететь! Здесь краски меняются так же быстро и нервно, как у некоторых настроение. То, что недавно было зеленым, сейчас уже стало коричневым, серо-сизым и алым. И все на глазах иссыхается, крошится.

На совещании политработников в политотделе армии я сегодня услышала такой разговор:

— Говорят, Кедров не то ранен, не то убит. Не могли дозвониться, узнать поточнее. Во всяком случае, до госпиталя в Барсуках его довезли.

Кедров? Ранен? Даже, может, убит? Я с тоскою гляжу за окно. На войне все бывает. Могут запросто убить и Кедрова.

Николай Николаевич Варичев, начальник политотдела армии, оживленно рассказывает стоящим возле него помощнику по комсомолу Авдеенко и редактору армейской газеты Петрову:

— А ведь я один раз уже навещал его, Алексея Николаевича, когда он был контужен и лежал в ГЛР¹. Понимаешь, — начпоарм всегда говорит «понимаешь», — деревню бомбят, спасу нет! Там какая-то пехотная часть на привале стояла. Солдаты кашу варили на самом пригорке. Ну, бомба к ним и влетела прямо в котел. Всех вокруг насмерть. Я сам, пока добрался до госпиталя, не раз приложился к земле. Ну, захожу наконец в тот дом, где, сказали, находится Алексей Николаевич, а там музыка, хохот. Что такое? Сидят три чудака, все трое контужены, и крутят патефон. И смеются: не слышат, все трое оглохли...

Я внимательно слушаю. Я отлично представляю себе эту сцену.

Наверное, грязная, пустая изба с голыми нарами. Крестьянский неструганый стол, не накрытый ничем.

¹ Г Л Р — госпиталь легкораненых.

На столе патефон. А вокруг него — трое контуженых. Наклонив голову к самому диску ухом, они слушают и хохочут. И громче всех хохочет Кедров. И кричит:

— Абсолютно ничего не слышу! Может, сломан?

Но те, к кому он обращается, не отвечают. Они тоже, в свою очередь, что-то громко кричат, перебивая друг друга.

Начпоарм продолжает:

— Ну, я захожу, понимаешь. Пишу на обрывке бумажки: «Алексей, на улице бомбежка. Тебе надо в укрытие». — «А зачем? — кричит мне Кедров. — Мне и здесь хорошо. Мы слушаем музыку!» Я ему снова пишу: «Давай я тебя отвезу в безопасное место». Отвечает: «Я здесь не один, со мною товарищи». Сел я рядом с ними, гляжу, ну, ей-богу, как клоуны. Все кричат, один другого не слышит. Знаешь, как в анекдоте: «Кума, ай ты глуха?» — «Купила петуха». Вот так и они. И жесты у них какие-то несуразные. Ну чистые комики! Так он и не поехал со мной. Говорят, три дня подряд патефон крутил, слушал. Пока наконец не услышал какие-то звуки. Тогда лег спать и сразу уснул. И спал целые сутки беспробудно.

Все смеются, слушая начальника политотдела армии.

Я тоже смеюсь и вдруг с ужасом понимаю: ведь, значит, не только музыку, но и бомбежку, шедшую там, на улице, они тоже не слышали, эти контуженые. И если бы бомба пошла сверху вниз, отвесно, прямо на них, никто бы из них ничего не услышал и так бы не понял, что их убивают. В том числе и Кедров...

А я к нему ездила в гости, к Кедрову, в дивизию, как только армия задержалась на несколько дней на каком-то промежуточном рубеже. Мы с шофером Кедрова разжигали костер, а Кедров и два автоматчика ловили в речушке под корягою раков. Потом их варили на костре в закопченном ведре. А я загорала, сидя на пне, босая, в мужской нижней рубаше с засученными рукавами. Мне было легко, хорошо. В первый раз за военные годы.

Кедров лежал рядом, в траве, в расстегнутой гимнастерке, грыз травинку и спрашивал у меня:

— А что это за шрам у вас над бровью?

— Это лошадь копытом.

— Давно?

— Еще в детстве.

— А этот? — Он тронул меня за локоть.

— А это я на каникулах отдыхала в совхозе. Возвращалась с ночной пахоты. Мы с дамбы в овраг на какие-то колья свернули.

— А эти?

Он взглянул на мои ноги, изрезанные поперечными полосами.

— А это я на кладбище с дерева упала на заржавленный крест...

— Нда-а-а... — промолвил задумчиво Алексей Николаевич. — Можно сказать, вся ваша биография на вас отпечаталась...

— Ну нет, это все пустяки, — ответила я. — К сожалению, главные мои переживания никаких следов на мне не оставили.

Кедров помолчал.

— Что же это за главные? — спросил он.

— Главные? Это когда я надумала что-то хорошее, а сделала злое. И потом ничего никому не сказала.

Он печально взглянул на меня.

— Шура, Шура... — сказал он с упреком. Сел в траве и медленно закурил.

И вот Кедров ранен, а может, убит...

2

Вернувшись в дивизию из политотдела, на другой день рано утром я отложила все свои дела и пошла разыскивать командира разведвзвода Семена Курсанова.

Я нашла его на опушке, где он тренировался в стрельбе из дамского бельгийского браунинга по банке из-под рыбных консервов.

— Семен, как дела?

— Ничего.

Он глядит на меня несколько настороженно. Наверное, мое посещение является неким знаком, но Семен еще не разобрался каким. Я всегда прихожу к нему, когда надо что-нибудь сделать срочное, в чем-то мне спешно помочь.

— Где ребята?

— Кто где. Отдыхают после задания. Спят.

— Разбуди помкомвзвода, хочу с ним посоветоваться...

— Что такое еще? — Семен глядит на меня исподлобья своими лиловыми миндалевидными глазами. Он казак, родом с Терека, очень вспыльчив, горяч и шуток не понимает. — Зачем он тебе?

— Надо выполнить одно очень важное, ответственное задание.

Я смеюсь.

Но Семен нынче мрачен, как черт.

— Ну, не бойся, не съем. На минутку...

— Скажи мне, зачем, тогда разбужу...

— Не скажу. Очень нужен. Мне лично... По лично-му делу!

— Ну ладно, — соглашается он неохотно и идет в чащу леса, где открыты землянки для взвода разведки.

Через две минуты выходит, зевая, помкомвзвода Лев Писаревский.

— Слушай, Лев! Дело есть. Человек один ранен, — говорю я ему. — Ты все знаешь в округе, скажи, где можно нарвать хороших цветов? Самых лучших, какие еще уцелели.

Писаревский глядит на меня удивленно, сочувственно. Он сразу проснулся. Трет затылок.

— Цветов?.. Да нигде не найдешь. Разве только в болоте, за первую ротой. И в лесу, за деревней Корявино. Но там шибко стреляют... Убьют.

— Ничего. Я пройду, — говорю я ему убежденно. В самом деле, я это действительно чувствую: не убьют. Нет такого гнетущего ощущения.

— Ты иди сперва полем, а там у Антона связного возьми, все опушки в лесу заминированы... А хочешь, давай, я с тобой пойду?

— Нет. Большое спасибо... Не надо!

День вставал солнечный, золотой, совсем не осенний. Как гигантский цветок, голубело высокое небо. Я прошла по всем желтым полянам в лесу, исползала все болото, набрав несколько уцелевших от летнего зноя ромашек, горстку пижмы, цикория, мохнатых фригийских васильков. Наконец набрела на красный шиповник. Каждая игольчатая его ветка была в крупных ягодах. Финкой я срезала самую красивую ветвь, подумав при этом: «Положу ее в середине букета. Пусть наколется: будет знать, как цветы от меня получать!» — и, весело засмеялась. Но тут укололась сама и долго сосала палец.

Почему-то я жду с нетерпением встречи с Кедровым. При нем мне не хочется думать о жестокостях жизни, говорить о другом человеке: «Это только мое». Мне нравится его большелобое, простое лицо, озаренное мягкой улыбкой. Алексей Николаевич суров, даже очень суров. А вот все же всегда после него остается удивительное впечатление мягкой улыбки!

3

В палату к Кедрову я вваливаюсь с огромным букетом, верней, целым снопом. Я везла его, широко обхватив, как ребенка, руками.

Главный врач ввел меня к Алексею Николаевичу и пошутил:

— Вам подножный корм привезли.

Тот рванулся навстречу в кровати, весь крест-накрест в широких белых бинтах.

— Шура? Вы? — И замолк, побледнев. Как будто налетел на невидимую преграду.

Я стою, онемев.

Сколько раз за войну — и потом за дальнейшую мою жизнь — приходилось мне подходить к изголовью больного! Сколько раз я клала на тумбочку яблоки, полевые цветы, поправляла подушку! Это было и долгом самой искренней дружбы, и скорбным смешанным чувством, когда ты равнодушен к чужому страданию, и будничной, повседневной тяжелой работой. Но сейчас... Зорким, опытным глазом я подмечаю: здесь все чисто, очень уютно, тепло. На столе, в вазочке, георгины. Уж где моим чахлым ромашкам и голубому цикорию сравняться с этим роскошным, жирным цветком!

Но Кедров говорит главврачу:

— Попросите зайти ко мне срочно Марусю.

Тот уходит.

Маруся, красивая, розовощекая девушка, появляется на пороге.

— Вы меня звали, Алексей Николаевич?

— Да. Пожалуйста, замените цветы.

— Но эти совсем еще свежие, живые. И такие красавчики! — Она с жалостью смотрит на вазочку и с ненавистью на меня.

— Я вас попросил: замените. Сделайте так, как вам сказали.

Маруся, обиженная, уходит, держа вазу с георгинами как драгоценность. Потом возвращается и вносит ее снова с моими ромашками, в сердцах двигает по столу.

Посопев, постояла, вытирая с тумбочки какие-то невидимые пылинки. Наконец ушла.

Я сажусь на край стула и чувствую себя связанной, не знаю, что сказать.

Кедров прикрывает набухшие веки. Говорит негромко, неторопливо:

— Шура, я старый солдат. Не подумайте, что сказал вам неправду. У меня было такое время, когда мне казалось, что больше незачем жить. Да, да! Именно так. Вы не ослышались. И если бы не война... Не знаю. Наверное, поднялась бы рука на себя.

Я слушаю его, стиснув руки. Да, я знаю. Кто не знает, вся армия знает, что у Кедрова умерла молодая жена.

— Так вот,— продолжает он, помолчав.— Я давно уже отвык от хорошего, доброго. И если б не вы...— Он вдруг умолкает.

— Нет, я не добрая, Алексей Николаевич!

— Мне лучше знать.

— Нет, нет, не желаю вам такой доброты! — повторяю я и поднимаюсь со стула.— Давайте лучше не будем об этом говорить. Я прошу... Иначе уйду.

— Хорошо. Я не буду.

Он очень обижен.

А я расстроена, опечалена.

Наш сегодняшний разговор оставляет в моей душе какую-то боль и неясность. У меня возникает такое чувство, как будто я зашла не в ту дверь. Я даже не знаю, что со мной теперь будет.

— Мне пора. До свиданья! — говорю я ему и поспешно отодвигаю свой стул.

— Ну куда вы так быстро? Погодите..

— Мне надо идти. Я спешу!

— Ну, уж если спешите... Счастливого вам пути!

Он протягивает мне руку, тяжело опускается на подушки. Лицо его сразу становится потускневшим, пергаментным.

Я выхожу из дома, стою на крыльце. Мне кажется, я только что совершила непоправимую глупость, которую уже ничем никогда не исправить. Нет, не надо мне было приезжать сюда!

Через неделю где-то в дороге меня догнал наш штабной почтальон на заезженной лошаденке. Он мне подал конверт, усмехнулся:

— Ты что же это, Александра Васильевна! С полевой почты начинаешь уже пачками получать? Смотри, девка!.. Солдат — дешевый организм. Нынче жив — завтра нету! Ищи тогда ветра в поле!

Я смутилась. Я уже догадалась, откуда это письмо с очень твердым и круглым почерком и с обратным адресом армейского госпиталя в Барсуках.

Когда почтальон обогнал меня, прошлепав по грязи, я вскрыла конверт, прочитала:

«Милая, милая Шура!

Простите мне эту маленькую записку, если найдете ее нескромной. Может быть, то, что я скажу, будет неловким, но что касается искренности, что слова мои из глубины души, прошу этому верить.

Никогда я не чувствовал себя таким одиноким, как теперь, после вашего посещения. Да иначе и быть не могло. Когда-то давно мне казалось, что все женщины на войне и все отношения с ними обязательно грязны и пошлы. И вот от этого мне стыдно и скверно теперь. Прошу об одном: чтобы мы когда-нибудь встретились. Вы, наверное, сразу скажете: зачем? Я для ласковых слов достаточно неуклюж, но мне хотелось бы сказать вам что-то очень серьезное, очень важное для меня.

Прошу иногда вспоминать обо мне.

Прошу беречь себя.

Крепко целую Ваши руки.

Ваш друг *Алексей Кедров*».

Я прочла письмо один раз и другой. Потом сложила его вчетверо и решительным движением разорвала вдоль, затем поперек. Ключки бумажек пустила по ветру.

Кто знает: что слаще, а что горше?

В декабре снег лежит тонкой, скучной, стерильной простыней. Он едва прикрывает изрытые гусеницами дороги. В это время года и в этом снегу все бело и вро-

де бы еще не бело, а так, в серенькой паутине. Все же ночью видны силуэты деревьев, чернильно-лиловые тени домов и тропинка, по которой иду.

Я иду неторопливо, беспечно. Без оружия. Шинель нараспашку. Шапка сдвинута на ухо. И вдруг вижу: по серому снегу от домов метнулась пугливая тень и сразу исчезла. Человек в длинной мятой шинели, крадучись, снова выглянул из-за угла. Он, наверное, не заметил меня: я поспешно прижалась к большому дереву. А он метнулся через проулок — и вдруг прямо лицом к лицу выскочил на меня. И я его сразу узнала.

— Алешка-а! Ты?! Куда ты? И что это у тебя за вид, как у беглого каторжника?!

Откуда мне было знать, что я услышу в ответ!

А он как-то весь обмяк, опустил плечи.

Иззелена-бледное, худое лицо его заросло двухнедельной бородой. На плечах оборванная, прожженная, в круглых дырах шинель, в такой и из окружения не выходили. За плечами пустой вещмешок. Страшный, полный смертного ужаса взгляд расширенных глаз.

Губы Алешки Комарова сжимаются и разжимаются, как если бы он хотел проглотить сухой комок и не мог.

— Кого угодно я хотел бы встретить сейчас, но только не тебя! — с тоскою говорит он наконец и, растерянный, переступает с ноги на ногу. Он мертвеет у меня на глазах.

— Почему не меня? — Я спрашиваю удивленно. Я все еще не могу понять, какая с Алешкой случилась беда. — Что с тобой? Ты откуда?..

Он молчит. Что-то душит его. Какое-то борение мыслей и чувств пробегает по некогда красивому лицу.

Я трогаю его за рукав. Ведь мы с ним дружили, с Алешкой, как «мужчина с мужчиной», как большие товарищи. Он мой братец. Я глажу его по разорванному рукаву.

— Алеша, милый! Что ты молчишь?

И вдруг этот мой жест прорывает в нем что-то. Алексея начинает бить мелкая дрожь. В глазах его жгучие слезы. Он хватает меня за шинель, за рукав и давится глухими, непрожеванными словами. Я плохо их разбираю, скорее догадываюсь по выражению глаз, по губам о жутком смысле этих слов.

— Слушай! — хрипит он. — Я застрелил Сергея Ула-

ева! И — бежал! Ты сама понимаешь куда! На ту сторону. К немцам. А теперь вот иду... — И он показывает рукой в тыл. — Теперь вот иду... на восток!

Мои ноги будто вмерзли в сугроб.

Я почти не дышу. Я слушаю и не понимаю того, что слышу. Не могу осознать. Для чего он мне это рассказывает?

— Что ж ты молчишь? — хрипит он исступленно. — Что ты молчишь? Ну скажи мне, скажи! Ну ударь! Ну плюнь мне в лицо!..

Я гляжу на него с недоумением.

— Зачем ты убил его? Что он сделал тебе?

— А он в третий раз поднимал нас в атаку. Понимаешь, на немецкие доты — в лоб. Мы с ним сцепились. А он мне при всех: «Подлец! Трус! Щенок! Ты что думаешь, твоя шкура дороже?!» И я выстрелил ему в спину. И бежал. Две ночи не спал, прятался в яме. А потом перешел. Туда. К ним.

— Ну, и сейчас... И куда и зачем ты идешь?

— Так... Иду на восток.

— По заданию? Ты что ж, задание от них получил? Он кивает.

Удивительно, для чего он все это рассказывает?

Я вдруг понимаю. Наверное, так губительно для него сейчас одиночество, и ужас вины, и встреча со мной, что все это лишило его каких-то важнейших жизненных сил. И он не сумел, не смог мне соврать. Не успел подготовиться, так неожиданно мы столкнулись лицом к лицу.

«А может, — думаю я, глядя на серый профиль Алешки, — он просто голоден как собака. И долго не спал. И так много прошел километров, озираясь и крадучись и боясь всех и каждого, что теперь ему лучше принять самый страшный конец. Самую лютую кару. Она смоет все: и трусость в бою, и убийство товарища, и предательство, и эту ужасную встречу во тьме, один на один...»

Я спрашиваю:

— И куда ж ты идешь... в таком виде? Тебя же через десять минут схватят.

— Да, я знаю, — отвечает он тихо и просит: — Нет ли хлебушка у тебя?

— Нет. И был бы... — Я умолкаю.

— Да, я знаю, — говорит он покорно.

«Нет,— я думаю,— ты не знаешь еще ничего. Ты совсем еще жизни не знаешь. Иначе бы ты такой беды не натворил...»

Мне страшно от темного, одичалого взгляда Алешки: в черных впадинах его глаз какой-то уже неестественный, лихорадочный блеск. Щеки бледные. Брови лохматы.

А ведь это тот же самый отмытенький, чистый Алешка, с которым мы гуляли по берегу Шани. Тот самый Алешка, который сказал, выслушав мою невеселую историю: «Знаешь, быть правым — это такое жалкое преимущество...» Тот самый Алешка, хороший товарищ.

И вот мы вдвоем среди ночи. Между нами такая преграда, какой я еще не знала между людьми.

Мое сердце сжимает внезапная жалость. И брезгливость. И боль за него.

Я говорю ему:

— Слушай... Считай, что я тебя не видала. Только... Ты, наверное, и сам понимаешь: никуда в таком виде ты живой не дойдешь.

— Да, я знаю. Спасибо за все...

— И забудь мое имя. Я забыла твое!

Мы молча отворачиваемся друг от друга и расходимся в разные стороны. Я иду, не оглядываясь. Я жду выстрела себе в спину. В волнении я даже не разглядела, есть оружие у Алешки или нет. И вот я иду и жду выстрела себе в спину. Ведь стрелял же он в спину Улаеву.

Я иду, не оборачиваясь, очень долго, пока сердцу становится невмочь.

Когда наконец я обернулась,— мне казалось, прошла целая вечность,— ни на тропинке, ведущей к деревне, ни на всем белом поле до самого леса никого уже не было.

Он ушел.

Да, куда-то ушел, хотя там, возле леса, в пятистах метрах от деревеньки, от последних колхозных животноводческих ферм, на дороге — контрольно-пропускной пункт и во всякое время суток регулировщики с автоматами. В стороне, за огородами,— зенитные батареи, а у них часовые. Левее, в лесу,— продовольственный склад, а там тоже свои часовые. Дальше в лес, километров за десять,— пограничная зона. Там всегда погранич-

ники, которые никогда не пропустят без документов ни в сторону тыла, ни в сторону фронта.

Я в смятении вдруг останавливаюсь и снова оглядываю пустынное белое поле: ведь прошел же он через все посты и преграды от немцев, в том числе и через наш передний край,—и вот ночью идет тылами моей дивизии — не своей, голумеевской, а нашей, Бордятова, даже с ним не соседней. И как знать: нужда заставит, так он извернется, проползет ужом мимо самых бдительных часовых. А потом еще кто-то погибнет. Как Сережа Улаев... Как Сережа Улаев, не попавший ни в первое, ни во второе окружение под Вязьмой, не погибший в отряде у пьяненького Пироговского, уцелевший в двух наступлениях фронта и даже не раненый. И вот... от руки своего, не врага!

Я медленно бреду спящей деревней, а мысли мои спешат лихорадочно. Зачем я отпустила Алешку? Называется, пожалела товарища. Но какой он теперь мне товарищ, если выстрелил в спину Улаеву? Как могла я его отпустить?! Он стоял передо мной такой слабый, безвольный, потрясенный нечаянной встречей, что, если бы я ему приказала, он бы мне подчинился. Наверное, надо было просто сунуть руку в карман и громко крикнуть: «Руки вверх!» И он сдался бы. И оружие сдал. А я растерялась. Надо было бы в крайнем случае убедить его пойти повиниться. Как я могла его пожалеть! Он Улаева пожалел?!

«На немецкие доты...» И за это убить Сергея и стать предателем?

Я тоже не хочу погибать в штыковой атаке.

А Борис не хотел бы быть сбитым немецкими зенитками.

А Митя Шубаров шел во весь рост на высоту. И, наверное, тоже не хотел умирать, как Алексей Комаров. Наверное, тоже мечтал вернуться с войны невредимым, любить девушек, танцевать, провожать их домой по мягкому, теплomu снегу. Не считал же он себя, в самом деле, человеком второго сорта, убойной, серой скотинкой?

Митя просто любил свою большую страну и ценил ее выше собственной жизни.

Человек приходит в этот мир не по собственной воле, а по воле других. С самой первой минуты он зависит от матери и отца, от чужих, незнакомых ему людей.

Кто-то кормит его, одевает. Кто-то защищает его от врагов и работает на него, чтобы он вырос, и выучился, и начал трудиться. А когда он, беспомощный, маленький, вырастает и становится взрослым, он сам уже должен идти защищать такого же маленького, несмышленного, пришедшего в мир, чтобы жить... Эти связи человека извечны. И нельзя их нарушить, не уничтожив при этом себя самого.

Наша Родина — необычная, новая. Нам, советским людям, она трижды дороже всякой другой. И борьба наша — новая, необычная. Мы воюем не ради заморских земель. Мы — против фашизма. Разве можно на этой войне себя пожалеть, уклониться, уйти?!

Алексей испугался и по-детски себя пожалел. Он купил себе жизнь, но какой ценой?! Самой страшной, какая может быть в жизни. И теперь самый воздух, которым он дышит, уже не его, а Сережкин. И земля под ногами чужая, Сережкина. И холодные звезды. И снег. И Родина.

Как я могла его отпустить? Это словно затмение.

Я иду по спящей деревне, и каждая тень, каждый куст и воронка кажутся притаившимся человеком. Скрип сапог по мерзлому насту отдается в ушах как бы удвоенным: вместе с ударами сердца. Впервые за все время войны мне сейчас по-настоящему одиноко и жутко: как будто здесь и моя большая вина. У меня стали ватными ноги. Я идти не могу.

Когда два с лишним года прослужишь в одной армии, то ты всех знаешь и все знают тебя. Нет такого шофера, который бы тебя не подвез, даже если у него в кузове горючее или снаряды. Нет такого контрольно-пропускного пункта, где бы не было хороших приятелей. В каждой роте, куда ни придешь, обязательно есть старожилы, которые помнят Обносово, бой в Макаши-не. Первым делом угостят тебя ротной баней, не беда, что совсем рядом с ней рвутся мины: «Когда он начнет класть ближе, мы крикнем! Выскочишь!» После бани — хороших щец, а там, где свой брат «старожильский» повар, то и пельменей, и жареного зайца, и оладушек с медом из неведомых мне запасов. А потом уже дело и разговоры до ночи.

Здесь, в этой деревне, я тоже знаю многих. Можно где-нибудь переночевать, а утром, с первой попутной машиной вернуться к себе.

В раздумье я долго стою на скрещении двух дорог, оглядываю порядок домов. Все окна темны, занавешены плащ-палатками, не угадаешь, есть там люди или нет. Наконец я направляюсь к избе по столбу дыма, курящемуся из трубы. Поднимаюсь по грязным, намерзшим ступенькам, стучу в дверь.

Кто-то кашляет там, за дверью, гремит щеколдой и даже не спрашивает, кто идет.

— Александр Игнатьевич, вы дома?

— О-о, Шура! Дома, дома, как видишь!

— Можно к вам?

— Заходи, гостьей будешь! Давненько я тебя не видал! Сейчас будем ужинать.

Невысокий человек с двумя большими звездами на погонах впускает меня в комнату. Волосы его серебрятся. Лицо в резких складках. Две из них, самые глубокие, почти черные, в углах рта.

Он глядит на меня спокойнейшими, безмятежными глазами, как будто так это и надо: чтобы я среди ночи пришла к нему ужинать.

Он ставит на стол, накрытый газетами, две тарелки, снимает с печки дымящийся котелок. Там что-то вкусно пыхтит и булькает. Я мою под умывальником руки.

Мы садимся за стол.

— Ты откуда?

— Из ремонтных мастерских. Да вот припозднилась...

— Ну что, с повышением тебя в должности?

— Да.

— Хорошее дело! В политотделе повеселей! Не то что в полку.

— Мне в полку тоже было достаточно весело.

— Ну все же...

Мы едим нечто вроде харчо, вкуснейшее варево, и разговариваем о буднях дивизии: кто куда ездил, кто ранен, кто вернулся из краткосрочного отпуска. О моих комсомольских делах. О начальнике политотдела красавце Шокольском, которого, говорят, у нас забирают в поарм. А я все думаю об одном: об идущем сейчас в тыл Алексее. О моей черной тайне, которой я ни с кем не могу поделиться.

После ужина Александр Игнатьевич моет посуду, закуривает, а я расставляю на доске шахматные фигуры.

— Ты чего-то сегодня хмурая,— говорит Александр Игнатьевич,— что случилось?

— Ничего.

— Вот и врешь. Я же вижу.

— Да нет, ничего. Все нормально.

— Ну, ну. Тогда не зевай! Ходи.

Александр Игнатьевич тоже делает ход и поглядывает на меня из-под нависших бровей.

— Шура!

— Да.

Он мне делает мат в три хода.

— Что с тобой? Ты влюбилась?

— Сказать честно? Разлюбила!

— Кого?

— Себя.

— О, это уже кое-что! Это страшно,— шутит он, усмехаясь одними глазами.

А я говорю:

— Да, довольно-таки страшновато.

— А конкретней?

— Да так.— Я все еще мнусь. Но тайна душит меня, она сама подступает к горлу.

— Ну, рассказывай, чего натворила! — говорит он и сворачивает длинную козью ножку. Закуривает.

И я начинаю свой недолгий рассказ. Очень сбивчивый. Торопливый. Мне кажется, я тоже запуталась в трагических обстоятельствах этой ночи.

Александр Игнатьевич сидит за столом, неловко согнувшись. Козья ножка погасла.

— Это все? — говорит он, дослушав.

— Пока все.

— Ну что ж... Бывает!

— Что бывает?

Александр Игнатьевич перемешивает фигуры, укладывает их одну за другой в доску, запирает крючком.

— На войне все бывает.

— А если он до Москвы дойдет?

— Не дойдет. Ему не дадут дойти.

— Да, я тоже так думаю. Но ведь он пробирался сюда — и дошел. Кто знает, куда он дойдет?

Собеседник мой подумал и ответил серьезно:

— Куда надо, дойдет. А куда не надо, его не допустят.

— Вы уверены в этом?

— Уверен.

Мне кажется, он знает об этой истории гораздо больше, чем я. Меня это несколько успокаивает. Но взгляд невольно сам устремляется на забитое сеном окно, за которым декабрьская ночь, серый снег и изрытая гусеницами дорога. Там, по этой дороге, по нашей советской земле, сейчас идет, крадучись, от поста к посту человек. И за ним такой черный, словно угольный, след на свежем снегу.

Он не должен дойти...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Штаб армии стоял уже в Польше, на Висле, когда Кедров после очередного ранения прибыл из госпиталя.

Он явился доложить начальству. И в каждом отделе штаба, куда заглядывал, его тискали, целовали, хлопали по плечам, повертывали перед окошком всеми боками, чтобы убедиться окончательно: да, жив, здоров Алексей Николаевич и снова готов воевать, хоть куда!

— А мы уже думали, ты от нас навсегда, — заметил начальник оперативного отдела полковник Якимов, разглядывая Кедрова.

— В инвалиды, что ль? — пошутил Кедров.

— Ну, не в инвалиды, а так. Мало ль куда. На Третий Украинский. Иль к Баграмяну. От такого, как ты, я думаю, никто не откажется!

— Да уж нет. Я снова сюда, — смутился Алексей Николаевич. — По старой памяти. Было дело, предлагали хорошую должность. Но я отказался. Сказал, что без вас не могу.

— И правильно сделал, — прогудел высокий, длиннолицый Оськин, член Военного совета армии. — Дивизия тебя ждет. Народ там хороший. И мы тоже здесь неплохие. — И он засмеялся раскатисто, самодовольно.

Просидев целый день в прокуренных комнатах отделов и наслушавшись всяческих новостей, узнав обстановку на фронте, Кедров вышел из штаба поздно.

Он пошел побродить по городу наугад, не зная дороги, глубоко задумавшись и не обращая внимания на

мелкий сеющий дождь, пока наконец не заблудился и не остановился перед старым замком с зубчатыми башнями и крепостными стенами. Город в сумерках выглядел переводной картинкой, еще не проявленной, в сером тумане. По брусчатой мостовой шли женщины в прозрачных плащах, под разноцветными зонтиками, стучали высокими каблуками. Кедрову они показались очень странными, эти мирные зонтики и каблуки. Все женщины в армии, каких он знал, ходили в простых сапогах и застиранных гимнастерках и от этого в его глазах не были хуже. Он вгляделся и в прохожих мужчин, в их непроницаемо-вежливые лица, в их костюмы и шляпы особенного покроя, каких не увидишь в России, и снова долго раздумывал, вспоминая те времена, когда он сидел на обстреливаемом со всех сторон «пятачке» под Алексеевскими хуторами, а на батареях не было лишнего снаряда, чтобы ответить на огонь противника.

От Алексеевских хуторов до Польши лежала такая большая дорога, что Кедров только вздохнул: каждый день был спрессованным десятилетием. Видел всякое: и хорошее и плохое.

Он шагал по булыжнику и осматривался по сторонам с каким-то особенным чувством, в котором еще не хотел признаться себе: он искал здесь знакомого человека. Он хотел разыскать его, не спрашивая о нем, не узнавая, где он и что с ним, а просто вот так повстречать на улице, под дождем, совершенно случайно. И не встретил. И это его огорчало. Он-то думал, что все будет проще.

Вернувшись в штаб армии, промокший, голодный, Кедров разыскал своего шофера, приехавшего за ним из дивизии, и сказал:

— Так что ж? Значит, едем домой? — И он улыбнулся при одном только воспоминании о своей части.

Дивизия теперь была его домом — главным домом, где ждала его главная радость. Радость встречи с боевыми друзьями, с машинами, с мощной техникой, которая так щедро и без задержки теперь поступает на фронт, со старыми бойцами в том старом артиллерийском полку, где он когда-то служил командиром и куда любит теперь иногда приезжать.

В пути машина Кедрова то и дело обгоняла всадников и пешеходов.

Лошади с трудом выдирали ноги из резиновой черной жижи, шли размеренно, монотонно. Иногда всадники, нагибаясь под низкими ветками, прижимались ближе к деревьям, выбирая места посуше, и оглядывались на машину, как будто хотели сказать: «Вишь ты, куда нас занесло! Уже Польша, декабрь, а все дождь, дождь... И все грязь, чернозем, все война».

Кедров приказал остановить своего «козла» и вылез из него в самую черную жижу, чтобы посмотреть на идущих и едущих мимо солдат. Он хотел взглядеться в их озябшие, мокрые лица.

— Издалека идешь, брат? — окликнул Алексей Николаевич одного обросшего бородою бойца, шагавшего по дороге с привычностью старого пехотинца.

— Кто откель... Издалека! — ответил боец. — Мы все псковские. А разгружались в Бялой Подляске. А есть с Беловежи. Ну и топаем... как Христос по морю: ног не замочивши, — засмеялся обросший солдат и показал на подвернутые и заткнутые за пояс мокрые полы шинели и на сапоги, из которых изнутри, через край голенища, выхлестывала при каждом шаге коричневая вода. Солдат один из всех в колонне был в таких справных кирзовых сапогах — видать, старослужащий. Остальные шагали в ботинках с обмотками.

Кедров крепко пожал руку солдату:

— Желаю большой удачи!..

Он долго стоял так, по колено в грязи, опершись о машину, и, рассматривая и провожая глазами идущих, думал, не засмеются ли шофер и автоматчики из охраны, если он сейчас выйдет на середину дороги, так, чтобы все его видели, и поклонится низко-низко, русским поклоном, всем этим обветренным, краснолицым, вымокшим людям, идущим вперед, туда, где что-то кругло грохочет, врезаясь железом в железо, и тотчас дробится, раскалываясь, так же кругло, развалисто.

Он сел на место рядом с шофером и закурил. И руки его дрожали: почему-то он не осмелился им поклониться.

В Новый год мне всегда везет: обязательно я хвораю и дрожу под овчинным полушубком на нарах. Или где-нибудь застряну с машиной в дороге, в заносах: какой-

нибудь промежуточный валик полетел. Или хуже того: принимаю дежурство по части.

Сегодня в штабе дивизии все начищаются, наглаживаются, драют пуговицы, собираясь в столовую на ужин и танцы, а я должна с карначем сменять караулы, проверять посты, обходить и оглядывать всю территорию штаба, следя за порядком. Вообще, в такой день, как сказал мой начальник, «лучше перебдеть, чем недобдеть». Но я, честно говоря, не знаю, что лучше.

Для бойцов у нас фильм «Иван Грозный», в нем чертова уйма частей, на весь вечер. Пока доберешься до слова «конец», в офицерской столовой тоже все кончится: и ужин и танцы. Поэтому Новый год для меня, к сожалению, не праздник.

Я еще раз оглядываю полоску красной материи на рукаве. Проверяю все, что положено дежурному иметь при себе: оружие, противогаз. Надвигаю на брови шапку и выхожу во двор фольварка, где всю осень не высыхают глубокие лужи и где от конюшен пахнет навозом, от мельницы — мукой и сырым, проросшим по щелям зерном и от гожелини¹ — спиртом-сырцом.

— Так я вас приветствую, пани поручник! — вытягивается на ходу лысый, в пенсне майор, у которого я только что приняла дежурство. Он счастлив, что дежурство сдал, и даже немножко циничен в своей откровенности — поддразнивает меня. — Сейчас тяпну, — говорит он мне и подмигивает. — А тогда уже спать! Так я вас приветствую! — И по-польски прикладывает к козырьку два пальца и щелкает каблуками.

Я иду к темным конюшням, проверяю, хорошо ли завешены окна, не будет ли пробиваться наружу свет. Здесь уже расставлены рядами скамейки, и народ заходя набежал, захватывая местечки, откуда видней. Киномеханик перематывает ленту. Все шутят, переговариваются, смеются. Для всех праздник. Одна я стою и молчу, хотя мне хотелось бы объявить совсем как в анекдоте: «Кйна не бэндзи!» Представляю, какой бы это был эффект!

Но кино, увы, будет.

Дымным столбом уже валяются на экран сам царь и его приближенные, там плетутся интриги и лишаются живота своего длиннобородые непокорные бояре,

¹ Го ж е л ь н я — спиртозавод (польск.).

хитрым оком глядит Малюта Скуратов, потупляют томные взоры красавицы в узорчатых платах.

Позади меня вкрадчивый голос:

— Пани поручник!

Я оборачиваюсь.

Все тот же лысый майор в пенсне.

— Вас просят в офицерское собрание.

— Скажи: я на дежурстве.

— Приказано. Велено. Не могу-с.

— Ну, пошли их... знаешь куда?

— Никак нет. Это сам генерал. Они ждут-с.

— Пока кино не кончится, не могу.

— Хорошо. Так и будет доложено.

Я уже не смотрю на экран.

Я стою позади всех, заложив руки за спину, с дурацким противогазом на боку, и думаю: «Чего это вздумалось Бордятову меня приглашать? Он же знает, что я на дежурстве!»

Лысый майор опять шепчет сбоку:

— Зовут-с. Приглашают, хотя бы на минутку.

— Не пойду!

Во-первых, конечно, я на дежурстве. Во-вторых, я кровно обижена и теперь — никуда. Нашли кого заставить дежурить по части под Новый год!

— Как же так-с? Генерал. Его приказание!

— Пусть подмену найдут. А так я не брошу людей.

Ты же знаешь устав.

Он уходит.

Через десять минут приходит какой-то молоденький лейтенантик, курносый, с вихром из-под шапки, и, вытянувшись, докладывает:

— Лейтенант Авдошкин явился сменить вас с дежурства!

Безобразие! Непорядок. Весь торжественный церемониал приема и сдачи дежурства, конечно, нарушен. Но ведь Новый год, он один раз в году...

Я оправдываю себя, утешаю. Мне хотелось бы перед этим зеленым Авдошкиным себя оправдать.

Говорю ему:

— Гляди в оба. Никому не курить: огнеопасно. Никаких посторонних! И вообще, друг, посматривай повнимательней. На войне, как на войне! — Отдаю ему противогаз. Повязываю на рукаве красную тряпочку. И по-польски два пальца ко лбу: — Будь здоров! —

И подмигиваю. Точно так же, как лысый майор подмигивал мне.

И бегом туда, где веселье и праздник.

С порога, запыхавшись, вижу: за столом уже дым коромыслом. Генерал сидит, отвернувшись от двери, с ним рядом — Кедров. Они оживленно разговаривают о чем-то.

Я гляжу на Кедрова. Он вскинул голову, увидел меня — и бледнеет, бледнеет, не сводя с меня глаз. Вот он уже белый как мел. И потупился. А Бордютов не замечает меня.

Подойти, доложить сейчас генералу, что я прибыла по его приказанию, не могу. Мои ноги не сдвинутся с места.

Я сажусь на свободную табуретку рядом с Семеном Курсановым. Говорю ему:

— Добрый вечер, Семен! Можно сесть рядом с тобой?

— Садись! Ты где была?

— На дежурстве.

— Ну как?

— Все в порядке. Сдала и пришла.

— И правильно сделала. На, пей. Тут еще есть «Салхино».

Семен нынче добрый. На днях он назначен командиром разведроты.

Лысый снова подходит ко мне.

— Вас просят туда! — Он показывает в сторону Бордютова и Кедрова.

— Спасибо. Мне и здесь хорошо.

Но там, на столе, перед Алексеем Николаевичем, я вижу огромные красные яблоки. Я на них гляжу завороченно, там целое блюдо. Видимо, и на нашей стороне они тоже были. Но здесь блюдо пустое, а там никто до них не дотронулся. Я гляжу на них, как на райское чудо. Такими яблоками, наверное, Ева соблазняла Адама. Кедров смотрит на меня, чуть приметно улыбается. Он уже успокоился, взял себя в руки.

Я обращаюсь к Семену:

— Какой же ты разведчик, если на глазах у генерала не можешь мне яблоко украсть?

— Да как же ты его украдешь?

— Очень просто. Если ты, конечно, хороший разведчик.

Кедров, наверное, замечает мой взгляд. Он смеется, берет с блюда самое яркое, крупное яблоко и кладет перед собой, наморщив широкие, добрые губы, глядит на меня заговорщически.

Бордятов что-то увлеченно ему доказывает.

Но, я вижу, Кедров уже не слушает ничего. Он встает, массивный, широкоплечий, отодвигает свой стул и идет через всю шумную, дымную комнату прямо ко мне. Говорит, наклоняясь большелобой стриженной головой:

— С Новым годом, Шура!

Я гляжу ему не в глаза, а на мерцающие совсем рядом его ордена.

Говорю очень тихо:

— С Новым годом, Алексей Николаевич!

— Вы что-то здесь совсем заскучали. Вам и выпить здесь нечего. Я хотел бы сейчас с вами выпить за счастье. Пойдемте со мною туда...

Он берет меня за руку и ведет к тому столу, где Бордятов.

— Ты что заставляешь себя ждать? — ворчит генерал.

Он давно уже дружит с Кедровым и, наверное, обо всем догадался. Поэтому сердится. Обычно он всегда мне все прощает.

Кедров наливает вино в граненый стакан: рюмок здесь, конечно, не водится. Подает то самое огромное яблоко, которое отложил для меня.

— Ну что ж... За победу! — Я касаюсь губами стакана.

— За нашу победу! — уточняет Кедров.

Когда Курсанов вышел плясать и все встали, мы с Кедровым взяли за руки и тихонько за спинами командиров выбрались на улицу.

Здесь шел снег, очень мелкий, колючий. Грязь под ним подмерзала, и мы пошли в поле, за фольварк, и там на ветру целовались. Снег косо ложился на землю, а щека Алексея Николаевича пахла мятой и табаком, и он говорил, дыша на мои зазябшие руки:

— Удивляюсь! — И опять: — Удивляюсь!

— Чему?

— Удивляюсь тому, что опять вижу вас. Что живой.

Но мне казалось, что нас с Кедровым еще разделяет какая-то тонкая грань, за которой железным ломом

лежат мои горести и ошибки, напластования четырех долгих военных лет. И над всем этим битым и сожженным, словно крест, на котором так удобно распинать хорошие чувства,—угловатая мрачная тень Бориса.

Кедров, волнуясь, сказал:

— Я все начинаю с белой страницы...

Я вздохнула:

— Вы — да. А я?..

Но он крепко сжал мои плечи.

— Я все в тебе люблю, Шура! — сказал он. — Всю твою биографию. Все дрова, какие ты еще наломаешь!

Мы прошли с ним во тьме мимо мной же расставленных часовых и у них на глазах поцеловались опять.

Кедров объяснил:

— Когда ты вошла, такая надменная, независимая, я решил: брошу все, убегу. Она не полюбит меня никогда. Зачем я ей нужен, старик? Спасибо, Бордятов за штанину удержал, не дал с места сорваться. А то, ей-богу, как зайчик бы кинулся...

Он счастливо смеялся. И я во тьме хорошо себе представляла его суровое, простое лицо, вдруг расцветшее в такой доброй, прекрасной улыбке.

Я когда-то считала: все хорошее в моей жизни — от Бориса. Жив Борис, и я буду жить. Улыбнется он, и я буду счастлива. Другого такого счастья не будет.

А сейчас, шагая по белой наледи рядом с Кедровым, я не знала, второе это или первое счастье, настоящее или снова ошибка. Я была просто счастлива. Без раздумий. Без оглядки на окружающих. Я дышала этим ясным, неожиданным чувством так, как дышат после глубокого обморока, с каждым новым глотком возвращаясь не просто к жизни, а в безоблачность детства, к детской радостной вере, что жизнь — это, прежде всего, счастливая жизнь.

Я шла с Алексеем Николаевичем рядом и только не знала: за что мне такое хорошее счастье. Я его ничем не заслужила.

Нынче мало кто носит ордена. Говорят, обещались. Говорят, во время войны их уж больно щедро давали. А ведь в самой идее награждения уже есть какая-то исключительность.

Да, пожалуй, человек с высшим орденом нынче не редкость. Удивляться ему не приходится.

До войны, было дело, мы с большим любопытством рассматривали чью-нибудь чужую награду. Даже скромную медаль «За боевые заслуги». Как теперь говорят: «ЗБЗ».

Помню, я сама пялила глаза на парнишечку, вернувшегося с финской с такой светлой медалькой. Это было в трамвае в Москве, на Таганке. И все смотрели, не сводя с него глаз. А он отвернулся в окошко с притворно рассеянным видом и, наверное, чувствовал себя среди нас храбрецом и героем.

Но тогда в самом деле орден был великая редкость.

Тогда, размышляя о доблести награжденного, мы еще не знали сами себя.

Мы словно бы и примерялись, но не были еще уверены: «А смогу ли и я сделать что-либо такое? Уж наверное, нет. Не смогу!»

Но пришла война — и целые миллионы простых советских людей *смогли*. Они сделали сообща для победы столько, что этого, совершенного ими, простыми людьми, никакой привычной мерой уже не измеришь. Да и как оценить и измерить цену жизни и смерти?

Своя жизнь дорога.

Но еще драгоценнее жизнь товарища, который за-слонил тебя своим телом. Он — убит. Я — живу...

Как я надену нынче медали и ордена, если нет в живых Петрякова? А он был гораздо достойней меня. Если нет среди нас комиссара Мити Шубарова, Оли Кузь, Пятитонки, Вальки Шуточки...

Орден — праздник. А мне еще трудно праздновать. Как порадуюсь я своей лучшей награде, когда не вернулись с войны все мои товарищи по дивизии, все друзья-одногодки, все ребята из нашего 10-го класса?!

Они очень дороги мне, потемневшие от времени, с тускнеющей позолотой... Нет, не зря их чеканили! Если будет когда-нибудь учрежден *день памяти павших*, я их надену. Не раньше.

В это утро все было как прежде. За окном те же черные голые ветлы и все та же равнина и редкие фольварки. И размытая, словно канава, дорога на Люб-

лин. И похожие на заплаты крестьянские дымные нивы: кто-то жжет в борозде почерневшие копны соломы. Через поле с побуревшей стерней поляк-жолнеж¹ едет в телеге с промокшей поклажей. И лошадь забрызгана грязью по самую репицу. И я, промокнув, иззябнув за сутки, стою у окна, размышляя: что может быть безотрадней безлюдных равнин, исхлестанных ветром? И скучней обороны, чем осенью в Польше? И тоскливее дней в одиночестве, без Кедрова?

Но к полудню ветер размел мохнатые, водянистые тучи. Прорезалась голубизна.

В штаб вбежал сам Бордятов, в наглаженном кителе, в сверкающих сапогах, чисто выбритый, пахнущий одеколоном. Кивнул мне: «Готовься!» Еще двум-трем офицерам. Приказал начальнику штаба:

— Беги погляди, на площади подмерзает?

Поднялась суматоха. Я осталась стоять у окна. Готовиться? К хорошему я готова. Плохое пусть приходит внезапно, зачем его ждать?

— Сейчас награды будут вручать! Командующий приезжает.

— Награды?!

— Да.

— Тогда все понятно.

— Что понятно?

— Значит, скоро опять пойдем в наступление...

Я давно уже сделала для себя некий вывод: если дождь прекратился, и дорога подмерзла, и вручили награды за прошлое, значит, можно укладывать вещмешок и потуже наматывать портянки. Дорога опять будет дальняя. На этот раз, может быть, до Берлина.

К трем часам дня полки выстроились на огромной лесной поляне, среди голых берез, прямо перед трибуной, спешно сколоченной и украшенной хвоей и алыми полотнищами. Сбоку трибуны разместились армейские оркестранты с ярко начищенными медными трубами.

Уже несколько раз подавали команду «смирно», и Бордятов, прищурив глаз, тяжело ступая, ходил перед строем. Убедившись, что все в полном порядке, он крикнул довольно, кивнул: «Так держать», — повернулся молодецкато и пошел, печатая шаг, с рукою у козырька, навстречу командующему.

¹ Жолнеж — солдат (польск.).

Красные бархатные пятна знамен, блики солнца на трубах, золотое шитье генеральских погон, рев моторов воздушного патруля, прикрывающего церемонию празднества с воздуха,— все смешалось перед глазами. Вдруг припомнилось многое, но совсем не то, что хотелось бы сейчас вспомнить: бои в Белоруссии, форсирование Днепра. Припомнился, например, вкус холодного молока в первой польской деревне. Золотые шары, цветущие в палисадниках. И польская девочка, белокурая, лет четырех, стоявшая на коленях перед распятием:

— Матка бозка... Пан Езус!

Потом вспоминалось и вовсе не к месту: круглые, словно хлебы, немецкие мины на обочинах дорог, дым пожарища над Спас-Деменском, трупы власовцев, качающиеся на ветру перед огромной, молчаливой толпой. Мы стояли в этой толпе с Иваном Федоровичем Трусовым, приехавшим к нам в дивизию из армейской газеты, и смотрели, как подъехали грузовики к деревянным столбам с перекладиной, как солдат ловко кинул петлю на шею власовцу и как тот глядел куда-то прямо перед собой, только чуть пошевеливая плечами. Руки его были связаны позади, за спиной.

Из толпы кто-то крикнул власовцу что-то грубое, и все засмеялись. Кто-то свистнул в три пальца. А я подумала: «Значит, я хуже, слабее этих людей, сейчас засмеявшихся». Потому что мое горло свело судорогой...

А потом я видела ров, где лежали наши расстрелянные мужчины и женщины, вместе с детьми, убитые выстрелами в затылок, все голые, в глине, ничком.

За пережитое не дают ордена. А может быть, их надо давать и за это? Чем обыденней будни, чем медлительней дни обороны, тем глубже, темней рубцы на душе. Бой как ветер, он сметает все грязное, наносное. А будни, будни... Вот что самое страшное. Но за них — не дают!

Кто-то толкнул меня в спину:

— Ты что, оглохла? Тебя!

Я шагнула из строя.

Я иду через поле, не глядя, куда-то на блеск и грохот оркестра и золото генеральских погон. Я, наверное, не понимаю, что мне говорят, и не слышу себя, что я отвечаю. Я думаю о Марьяне, о Женьке, о первой награде, которую нам вручал сам Калинин. Он приехал на фронт такой старый, весь белый, с бородкою кли-

ном, и все время шутил, очень молодо, по-мальчишески поблескивая глазами. А после вручения наград был банкет: в чисто прибранной деревенской конюшне. На длинных, сбитых из досок столах, накрытых армейскими простынями, стояли вино и нарезанные ломтями сыры и колбасы, фрукты в вазах, а мы с четырех утра ничего не ели и глядели на эти столы, застыв от смущения.

В тот вечер мы были хмельными от маленькой рюмочки. Мы чокались с Михаилом Ивановичем, с генералами из штаба фронта, с армейским начальством. А потом я не помню, куда я ходила и что говорила. Почему-то ночью я опять очутилась на курсантском плацу, где нам вручали награды, и сидела на смятых, завядших березовых ветках, срубленных для маскировки трибуны. А с трибуны, еще украшенной флагами, кто-то громко кричал, по-моему Женька:

— Да здравствует Внешторг!

И опять:

— Выпьем за Внешторг!

Внешторг — наши московские шефы. Они нам на выпуск подарили прекрасное снаряжение: пошитые на заказ гимнастерки и юбки, сапоги по размеру. За них стоило выпить. Но я в этот вечер была пьяна без вина: одною наградой.

Сейчас со мной рядом нет ни Марьяны, ни Женьки. Самолеты низко ходят над лесом, волоча за собой грохочущий гром. Январское солнце слепит глаза. Дует северный ветер. Ледок, уже словно сквозное, шлифованное стекло, звенит под ногами. К вечеру закипят на взгорках снежные круговерти, понесется по колеям извилистая поземка. И машины пойдут по наледи, по гололеду, надрывно гудя, оскользаясь, подвывая моторами в лад январской метели, — на запад.

В Радоме, на развилке дорог, я не встретила привычного указателя: «Хозяйство генерала Бордятова» — и долго стояла, не зная, куда мне идти: ехать ли прямо на Лодзь, куда мчатся по шоссе бесчисленные машины, или же свернуть на проселок и топать пешком, пока не наткнешься на своих; дивизия наша всю войну в стороне от больших городов, от торных дорог, «болотная,

непромокаемая». Уж, наверное, на Варшаву ее не двинут.

И черт меня дернул задержаться с грузами в Люблине!

На перекрестке январский ветер сшибает с ног. Тучи низко ползут. Иногда прорывается солнце. И тогда и деревья, и крыши, и мостовые начинают сверкать миллионами мелких алмазных брызг. Поневоле от их слепящего блеска чуть прижмуриваешь глаза.

Город весь в двухцветных, красно-белых полотнищах флагов: они свисают из окон, с конических крыш, с чердаков, с фонарей, полосатые, гулко хлопающие на ветру. В лучах яркого солнца, в голубизне неба флаги взлетают, как огромные красно-белые птицы.

А где-то за городом еще гулко бьет артиллерия.

С подъехавшей к перекрестку машины, идущей на Лодзь, на обочину спрыгивает молодой капитан с левой сумкой в руках.

— Вы случайно не знаете, где хозяйство Бордятова?

Я растерянно пожимаю плечами:

— Сама вот ищу...

— Ну, значит, попутчица! Будем вместе искать,— говорит он. И сразу берет «командование» на себя: — Сейчас сперва нужно чаю попить, обогреться. Потом — к коменданту. Узнать маршрут. А потом уже топать дальше.

После чая и короткого отдыха я уже знаю, что спутника моего зовут Михаил Федорович Антонов, что работает он в штабе корпуса и что нет такой трудности, из которой нельзя найти выхода. После чая Михаил Федорович сходил к коменданту и узнал направление, куда нам теперь нужно двигаться. Он раздобыл себе табачку, закурил, отдыхая; потом протер пистолет, проверил патроны, сказав при этом: «Голый разбою не боится». И подмигнул мне смешливо. И я ответно улыбнулась: что-то было легкое, свойское в этом шумном, подвижном и ласковом человеке. Наверное, легкой будет с ним и дорога.

Солнце уже склонялось к закату, когда мы быстрым шагом прошли через Радом и вышли в открытое поле: январский день короток, и я пожалела, что заходила пить чай и греться. Сейчас бы уже прошла половину пути.

Впереди, за широким заснеженным лугом, темнела зеленая лента хвойного леса. За его туманной темной грядой глухо били орудия. Где-то близко постреливали немецкие пулеметы.

Михаил Федорович посмотрел на меня, на поле, на лес и заметил:

— Может быть, вернемся назад? Посмотрите, как быстро смеркается. Путь опасный...

Я только покачала головой и ускорила шаг.

Мы шли по широкому лугу, чуть понижающемуся в сторону леса. Он весь был исчерчен тонкими следами лыж и толстыми, ребристыми — грузовиков. Кое-где чернели воронки от снарядов. Пустынная пелена снегов дышала пронизывающим холодом.

Вдруг у самого леса показалась фигура лыжника с автоматом. Человек быстро шел нам навстречу и что-то кричал. Ветер относил его слова в открытое поле.

Капитан сразу заволновался:

— Кто такой? Чего ему надо?

— Поживем — увидим...

— Может, немец?

— Все может быть...

Мы оба с тревогою всматривались в приближающегося человека. Он шел на лыжах легко, высокий, в отороченной мехом куртке, с ярким клетчатым шарфом на шее. За спиной болтался немецкий автомат. Напряженное зрение сразу отметило: на рукаве человека красно-белая повязка. Значит, не немец. Поляк.

Задыхаясь от быстрого бега, лыжник шел и кричал:

— Эй, куда-а вы?

Мы остановились.

Он подъехал вплотную, встал длинными лыжами поперек нашей дороги, закрывая ее. Строго сказал:

— Я кричу: куда вы? А вы молчите. Почему не отвечаете? — Человек хорошо говорил по-русски.

— Я догоняю дивизию. Товарищ мой тоже туда же, — ответила я, слегка защищаясь от взгляда пронзительных, ястребиных глаз лыжника.

— Почему так поздно? Здесь опасно.

— А вы кто такой, что указываете? — спросила я, в свою очередь, замечая, что капитан наклонился, поправляя сапог. В наш разговор он почему-то не вступал.

Лыжник весело улыбнулся.

— Кто я-то? — спросил парень, и я поняла, что перед нами никакой не поляк. — Я-то вятский. Бежал из Германии. Из плена. Здесь остался в партизанском отряде. Сейчас держим охрану Радома. В лесу, куда вы идете, полно фрицев... Окруженные! Мы их вылавливаем потихоньку. — И он снова сказал, обращаясь опять к капитану: — Смотрите, лучше вернитесь!

Антонов недовольно заметил мне:

— Я вам говорил... Лучше в Радоме переночевать, а утром идти!

Партизан, опираясь на лыжные палки, внимательно его слушал. Сказал мне:

— Слышишь, что говорит? Вернись, девушка... А? Пока не поздно!

На Смоленщине, в Белоруссии я, быть может, прислушалась бы к их совету. Но сейчас все мое существо восстало против здравого смысла двух здоровых мужчин. Мне по лесу-то нужно пройти всего три километра. А за лесом сразу деревня, в ней наш штаб. И если я не приду этим вечером, они рано утром опять уедут еще дальше на запад. И я снова должна буду их догонять. А у меня давно уже нет ни продуктов, ни денег. Всю дорогу я на «бабушкином аттестате»: кто покормит, а кто и нет. И потом я устала от одиночества, от холода и от пешей дороги, без попутных машин.

Я сказала вятичу:

— Хорошо. Спасибо, что предупредили. Теперь буду знать, что меня ожидает. — Потом обернулась к Антонову: — Я решила идти, товарищ капитан. До свиданья! До встречи.

Михаил Федорович стоял растерянный, смущенный. Наверно, два чувства сейчас боролись в его душе: осторожность и стыд. Он глядел на меня недовольно, угрюмо.

Лыжник тоже глядел на Антонова с большим интересом: как тот выйдет из положения. Не дождавшись ответа, сказал:

— Ну, если на то пошло, я, конечно, могу проводить. До половины дороги. А уж дальше как-нибудь сами! Мне приказано еще засветло возвратиться в отряд! — И он добавил спокойно, обращаясь ко мне: — Так-то прохожих они не трогают. Патронов, видать, маловато. И боятся: если тронут кого, мы их к ногтю прижмем!

Мы пошли с Антоновым по дороге. Вятч бойко заскользил рядом с нами на лыжах. Теперь он передвинул автомат со спины на грудь и поставил на очередь.

Я с волнением смотрела на громаду хвойного леса, к которой мы приближались. Там сейчас в окружении немцы. Те самые немцы, которые под Вязьмой уничтожили всю нашу дивизию. Те самые немцы, которые травили собаками наших бойцов и расстреливали их с самолетов, били из пушек и минометов по площади, наугад и всякий раз попадали во что-то живое. И вот теперь мы окружили их — не ради пощады!..

За лесом то и дело взлетали зарницы: короткие отблески работающих батарей. Потом железно скрежетали «катюши». Лиловые трассы реактивных снарядов густо расчерчивали всю западную полусферу январского неба. В ответ резко щелкали немецкие фаустпатроны. Видно, круг замыкался. Не маленький, буднич-ный — еще одной полосой окружения на пути еще одной отступающей немецкой дивизии. Замыкался огромный, фантастический круг, о котором мечталось в декабре сорок первого года. И я, глядя в лес, лежащий темной громадою впереди, на блистающий вспышками запад, ощутила всей кожей, как он изменился, окружающий меня мир. Как вроде бы незаметно, но бесповоротно переломилась война.

Вскоре мы вошли в лес, почти бесснежный, темнеющий каждым своим кустом и пугающий каждым своим поворотом. Тут и там среди сосен валялись разбитые немецкие повозки, раздавленные гусеницами танков полевые орудия, убитые лошади. В кюветах, справа и слева дороги, упираясь тупыми носами в кустарник, стояли обгоревшие, пробитые осколками штабные автобусы, грузовики. Вокруг них в разных позах валялись убитые немцы в грязно-серых шинелях. Ветер гнал по земле черный пепел, обрывки газет.

Партизан показал, вдруг вытянув руку:

— Видите? Вон они бродят! В самой чаще... Глядите, глядите!

Но я, сколько ни вглядывалась, ничего не увидела за стволами деревьев.

Здесь, в лесу, было тихо, никто не стрелял, и лыжник сказал, замедляя шаги:

— Ну, все! Мне пора возвращаться! — И снова добавил, обращаясь скорее к Антонову, чем ко мне: —

Вас они, конечно, не тронут. Разве голод заставит. Ради хлеба. А так можете не сомневаться! Ну, счастливого вам пути!

И он быстро пожал мне руку. Козырнул Антонову. И сразу исчез, скользя за кустами.

Капитан, как только лыжник ушел, вдруг стал отставать, сказав, что натер себе ногу. И мне то и дело теперь приходилось останавливаться, поджидая его. Время от времени я оглядывалась, прислушиваясь к шорохам хвои и мелких опавших листьев, к свисту ветра в высоких вершинах. Иногда мне казалось, что за нами кто-то следит, укрываясь за стволами деревьев. Но я не боялась. Мне даже хотелось столкнуться лицом к лицу хоть с одним окруженным и увидеть, что там, в его отупелых глазах: страх, растерянность, ожидание смерти?..

Круг расплаты за нашу дивизию, за медсанбат, за Ивана Григорьевича Петрякова замыкался сейчас, в этих хвойных лесах. Он еще не зашелкнулся намертво, еще били «катюши», но я уже рисовала себе темный облик возмездия — для тех самых, скитающихся под деревьями, — и первым им наказанием было то, что я иду через лес, наполненный немцами, и уже не боюсь их, а только гляжу с волнением и любопытством. Я думаю: нет, мы не должны травить их собаками. Это было бы глупо: стать такими же, как они. И нельзя убивать их, расстреливая с самолетов, или бить по площади из орудий. В сорок первом или в сорок втором еще можно было сделать так, не раздумывая. А сейчас уже надо хорошенько подумать. Смерть для них не расплата. Пусть они поживут. Пусть увидят крушение, прах, обломки идеи, посягающей на человека. Вот какой должна быть наша жестокая месть! Пусть они пройдут все круги унижения. Пусть почувствуют то, что мы чувствовали, отступая, в сорок первом году...

Дорога стала круто изгибаться вверх, в гору, прижимаясь одной стороной к отвесному склону лесистого холма. На самом крутом ее изгибе чернел разбитый снарядами немецкий танк с разорванной башней. Это было отличное место для засады: отсюда шоссе хорошо просматривалось и вправо и влево, а сам танк, отбросивший черную тень на дорогу, мог служить надежным укрытием.

Замедлив шаги, мы приблизились к черной грома-

де. И вдруг прямо нам на головы с вершины холма из-под чьих-то сапог потекли комья глины и снега: там метнулась черная тень. Вскинув руку, Антонов трижды выстрелил из пистолета и упал рядом с танком, в укрытие.

Мы прислушались. Ни выстрела, ни шагов.

Лес молчал. Деревья важно качали зелеными головами. Подождав еще, поглядев, я сказала:

— Вставайте, пошли! Уже нет никого. Он сам больше нашего испугался. Он-то в нас не стрелял!

Антонов недоверчиво посмотрел на меня, приподнялся, стал хмуро отряхивать шинель от пепла и снега. И вдруг повернулся и молча быстро пошел назад, один, в сторону Радома, в сгущающуюся темноту.

6

Я знаю веселость Кедрова. В ней большая спокойная скрытая сила. Я знаю веселость Марьяны. В ней детскость и чистота. В веселости Женьки было много завистливого, изломанного. Но Антонов... Веселый и легкий Антонов! Мне одно непонятно: почему о таких говорят «свой парень», «добряк», «весельчак»? Как будто не ясно, что за этой веселостью укрывается одна ненадежность и слабость. Тот, кто хочет нравиться всем, слишком много затрачивает усилий, чтобы всем угодить и понравиться, поэтому на большое, всерьез очень важное дело его не хватает. Когда нужно, чтобы кто-то стоял с тобой рядом, лицом к смерти, он опасней врага, такой ненадежный, пустой человек.

Оставшись одна в лесу, возле танка, я долго прислушивалась. Артиллерия на западе смолкла. Все давно уже тихо, — наверное, бой отдалился. Я шла в темноте осторожно, стараясь ступать как можно неслышней. Лес стал редеть, поредел и кустарник. А вскоре передо мною открылось большое, широкое поле, на котором темнела деревня.

При виде деревни, лежащей в сумерках, без огней, но, по-видимому, полной жизни — там фыркали лошади, переговаривались люди, кто-то брякал ведром, — мои руки стали мелко дрожать. Я остановилась, не в силах двинуться с места. Страх, осознанный задним числом, навалился тяжелой, давящей глыбой.

С хлынувшей к сердцу бешеной кровью я снова и снова переживала сейчас этот мрачный, наполненный

теньями лес, и фигуру врага, и черную громаду разбитого танка, и Антонова, который встал, отряхнулся и молча пошел назад, один, в сторону Радома.

Наверное, прошло много времени с той минуты, как я вышла из леса, потому что на небе появилась луна. Меня заметил проходящий патруль.

— Кто здесь?

— Свои.

— Кто свои? — Боец щелкнул затвором. — Тут и немцы свои! Не чужие...

Я узнала по голосу солдата из комендантского взвода.

— Это ты, Перемышленников?

— Я, товарищ старший лейтенант! Здравствуйте! Откуда это вы?..

— Из Радома.

Тот удивился:

— Ночью? Шли через лес?

— Да. Что ж тут такого? А где наши, политотдел? — в свою очередь, спросила я.

— Сейчас будут грузиться.

— Сейчас?

— Да. Приказ: уезжать. Немцы драпают! Никак не догоним.

Я прислушалась: в темноте не освещенной огнями деревни уже слышался рокот моторов. Кто-то крикнул:

— Иван, запрягай пароконные! Поживее! С твоими худобами черта с два их догонишь!

Там, на западе, где-то очень далеко впереди, снова вспыхнуло небо. Это били «катюши», но их скрежетание уже не было слышно, только отблески, голубоватые всполохи разрезали ночное, серое небо.

— Нелегкое дело — войну догонять! — сказал Перемышленников.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Вот и Одер.

Я долго шла к нему: целую жизнь.

Он в розовых шапках садов, барханистый, рыжий. И словно кипит и клубится в спиральных водоворотах.

Город мрачен, горбат от высоких черепичных крыш. Он еще догорает. Под ногами трещат стекло и осколки железа. Ветер носит комья бумаг по огромной безжизненной площади, подбрасывает их мягкими лапами, волочит в тупики.

Груды щебня, завалы из камня, обрушенная черепица. А в домах внутри комнат все так, как будто жили только что вышли. Вот снаряд прошел через толщину стены и лег прямо на стол, не разорвавшись. А на столе, в чашках, кофе. Хлеб в сухарнице. На зеркале — известковая пыль.

Я смотрюсь в это зеркало.

Думала ли я когда-нибудь, что мне придется с оружием приходить в этот город? Нет, не думала. В первый раз я подумала об этом, когда вместе с Сергеем Улаевым встречала выходящих из окружения, искала своих. Вот тогда я и поклялась отомстить за Ивана Григорьевича, за девчат медсанбата.

Тогда я решила обязательно посмотреть на эти безглазые черные окна и завалы из кирпичей и на бурлящий, ходящий, как огромная рыба на крючке, серый Одер с понтонами на хребтине, с обрушенным взрывом черным мостом.

Это наше последнее наступление.

За войну я видела много больших наступлений. И у каждого из них было свое, непохожее на других лицо.

Наступление под Москвой в декабре сорок первого года было яркое, буйное, безрассудное, — может быть, оттого, что впервые. Тогда мы не знали еще, что такое идти побеждать. И царила какая-то окрыленность, и все было внове и очень пестро. Матросы с расстегнутыми воротниками бушлатов, несмотря на лютый мороз: должны же немцы увидеть морскую полосатую душу, узнать, что в атаку идут сами «черные дьяволы»! И тут же развернутой цепью, во весь рост, латыши: «психическая атака». А где-то на фланге — лихая казачья конница в черных бурках, с алыми башлыками поверх белых мохнатых папах. И веселые лыжники в маскхалатах, с автоматами за плечами, которые нам казались тогда необыкновенной новинкой. И гвардейцы Панфилова, загорелые, узкоглазые, в замасленных полущубках, приехавшие из казахстанских степей. И девчонки-зенитчицы, озорные, отпетые, из Вологды и

Саратова. И московские профессора, все седые, в очках с золотыми ободками, ездовыми в заиндевевших обозах. И сибирские стрелки, звероловы и следопыты... Даже в самих названиях военных частей: Истребительный батальон, Коммунистический батальон, Пролетарская дивизия, народное ополчение — был какой-то отголосок гражданской, боевой заряд неувядающей романтики. А в ней — наша сила и некая слабость. Сила нашего советского духа и известная слабость нашей воинской подготовки, недостаточность вооружения, неумение применять новейшую тактику, подсказанную маневренной машинной войной.

В сорок третьем под Спас-Деменском я видела уже бой военных машин и гигантские карусели из самолетов, эти гудящие над землею весы, на которых лежали две равные силы: их сила и наша. Их сила уже убывала, а наша росла и росла. Но в тот самый первый день наступления на двух чашах лежали, еще примеряясь, две веры, два строя и два отношения к жизни. И мы победили. А фашисты бежали от нас.

Я видела разгром немцев под Варшавой и западнее Ополе. Эти сотни разбитых, обгорелых немецких машин, разбежавшихся от шоссе по огромному вспаханному черному полю, поперек борозды. Как грозные мастодонты в смертельном страхе, убегая, они громоздились, карабкаясь друг на друга. И в их чревах теперь гулял зимний ветер, шевелил на убитых светлые волосы, что-то нашептывал про себя, листая бумаги...

Время шло. Шла война. И вот я стою над берегом Одера. Он в розовой пене живого цветения. А надо мной, заслонив собою все небо до горизонта, идут сомкнутым строем железные «илы». Они мчатся так низко над самым берегом, что мне снизу видны даже заклепки на их широкоразмашистых крыльях. И все небо от рева моторов мне кажется грозным, суровым. Это небо — все наше. В нем не встретишь врага.

Мстите, «илы»!.. За все пережитое. За расстрелянных, окруженных, за униженных в отступлении, за безвестные наши могилы от Москвы до этой свинцовой немецкой реки!

Я смотрю: выше «илов», выше их железного неба течет и струится, играя, другое, ускользающее в голубом, серебристое небо, состоящее из одних истребите-

лей. Они реют в воздухе по звенящим спиральям, в развевающихся одеждах из разорванных громом моторов нежных перистых облаков. И весь мир отзывается им как серебряный резонатор: «Мстите, мстите! За всех наших убитых. За всех наших сирот. За седых матерей...»

Я смотрю: к переправе через Одер идут машины, машины... Все новенькие, одинаково темно-зеленые трехосные грузовики. В них, тесно прижавшись друг к другу плечами, сидят новобранцы. В новых касках. С воронеными автоматами. И с такими светящимися одинаково молодыми, веселыми лицами, как будто их тоже, как новенькое оружие, только что отштамповали в тылу на заводе.

Я завидую им, чистеньким, молодым: им достались в наследство наше железное небо и этот железный грохот орудий за вздувшейся водоворотами грязной рекой.

Что-то рвется, громыхает за Одером. Там качается желтое зарево, застилается дымом, чернеет. Там — Берлин. Туда мчатся наши «илы», тяжелые бомбардировщики. Там победа.

Мы спешим по шоссе. В глубине молодого, чуть тронутого первой зеленью леса — какие-то лягушечьего цвета зеленые тени, повозки, зарядные ящики, пушки, вороха штабных карт и бумаг. И немцы с оружием — еще и не пленные, но уже не воюющие и не нужные никому. Это, видимо, их удивляет. Они помнят самих себя там, в России.

На обочину натертого до блеска шоссе выходит один, в измятой шинели без оружия, в грязной пилотке, молодой.

— Рус! Где плен? — На лице его недоумение.

В ответ мы только пожимаем плечами.

Кто знает, где плен? Да, наверное, в этой самой стране. Где же кроме? Вся Германия сама себя взяла в плен в тридцать третьем. А мы сейчас ее выпускаем на волю из плена. Я так понимаю...

По шоссе нам навстречу толпою какие-то оборванцы. Все обросшие, в постукивающих на ходу деревянных башмаках, с длинными косицами волос на висках из-под каскеток и шапочек.

Я прошу шофера остановиться.

— Наши, что ли? Из плена?

— Русские мы... домой возвращаемся.

Я вдруг замираю. Мне знаком этот черный, угрюмый, стоящий в стороне человек. Я его окликаю:

— Матвей Илларионович! Майор Железнов!

Он подходит. Его губы дрожат. На небритой щеке — огромный синяк. Под глазом — другой.

— Шура! В-вы?

— Как вы сюда попали?

Нас сейчас разделяют такие суровые годы, что мы даже не можем обняться, как нужно бы было обняться старым друзьям.

— Как попал? — Он на миг умолкает. Потом сглатывает подступивший к горлу комок. — Вот раненого только и взяли. А так бы не дался. Но — жив, ничего.

— А это? — Я показываю на синяк.

— Это? — Он трогает его грязным, без ногтя, ободраннм пальцем. — Это... охрану лагеря напоследок прирезали!

— Ну что ж, хорошо, — говорю я растеряннo. Мне так хочется расспросить Железнова о наших общих товарищах, о его пребывании в лагере, обо всем, чего я не знаю, но мои слова умолкают, еще не родившись. Страшен лик Железнова. Что попусту время тратить? Разве так, на ходу, он расскажет о себе, этот человек с провалившимися глазами, с искалеченными пальцами, с глухими, словно борозды, складками возле губ!

Мои спутники по машине меня торопят:

— Едем, едем! Кончай! Всю колонну задерживаешь!

— Да. — Я грустно и растеряннo жму руку Железнову. — До скорой встречи, Матвей Илларионович! Счастливый путь вам на родину!

— До свиданья!

Вот оно как бывает!

Изо всех — в живых один Железнов. И тот весь искалечен, изуродован. Я гляжу ему вслед с машины: сторбившись, чуть прихрамывая, он бредет в родную березовую Россию.

Я смотрю на аккуратную, разлинованную Германию, на уютные домики в лиловой сирени и думаю о фашизме, о самых его истоках. Почему-то мне сейчас

особенно четко вспоминается один эпизод. Это было давно, еще в сорок первом.

Помню, мы подъехали к какой-то сожженной деревне под Рузой. Шофер Кисляков притормозил возле колодца, чтобы залить в радиатор свежей воды, взял из кузова брезентовое ведро, помятое, на обмерзшей веревке, и уже подошел было к обледенелому деревянному срубу, как вдруг осторожно попятился от чего-то бесформенного, темного, пытаюсь разглядеть его на затоптанном льду.

Мы с Женькой спрыгнули с узлов из продутого ветром кузова, подбежали взглянуть, что это так удивило невозмутимого нашего Кислякова? И громко затопали по дорожке захламленным на морозе сапогами. Кисляков оглянулся, но ничего не сказал. Он только еще ниже наклонил голову и теперь шевелил обветренными губами, как будто читая что-то на льду.

Мы с Женькой заглянули через его плечо.

Прямо возле самого сруба, видать, некогда в большой луже, а теперь в глыбе льда, лежал труп фашиста в зеленоватой, травянистого цвета шинели, в пилотке, а сверху пилотки в повязанном на уши шерстяном женском платке. Лицо у немца было уже зеленое, на щеках и подбородке отросла борода. Глаза приоткрыты, и в них тоже лед. А на поясе, на большой медной пряжке, готической вязью: «Cott mit uns». Мы с Женькой вслух хором так и прочитали: «Cott mit uns».

— А что это значит? — спросил Кисляков, обернувшись к нам.

— «С нами бог!»

— Для чего они это пишут?

— Понимаешь... Мол, бог только с нами, а больше ни с кем. Ясно?

— Ясно как апельсин, — ответил шофер и пошел с пустым ведром назад, к работающей на малых оборотах машине. Воды из колодца он так и не взял. — С нами бог! — сказал Кисляков и презрительно сплюнул, берясь за баранку, и крикнул нам, забравшимся снова в кузов, на ящики и узлы: — «С нами бог», а лежит в луже, как чушка! Видать, бог не помог! Вы сели там?

— Сели!..

— Ну... Поехали!

Я помню, как мы потешались, читая надпись на не-

мецкой уборной в одной деревеньке неподалеку от Спас-Деменска. Там на дверях было выведено прямо-таки каллиграфически: «Nur für Offiziere»¹.

Да, да, все эти претенденты на божью заступу начинают одинаково — и те, что 22 июня 1941 года нарушили нашу границу, и те, что через двадцать лет будут снова кричать о реванше, — все они начинают с идеи: «Gott mit uns», а кончают отдельной теплой уборной и тем, чтобы при разрезании пирога присутствовали только самые близкие.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Позади меня — сотни разрушенных городов.

Но даже после лежащего в обломках Берлина не могу смотреть на Воронеж. Город я не узнаю. Это какое-то бессмысленное нагромождение изломов железных конструкций и обвалов бетона. Обезглавленные деревья в Первомайском саду. Усеченные конусы и трапеции бывших стен нашей школы. Вместо университета — груда пыли и щебня. И лишь там, где мы втроем с Марьяной и Женькой прощались перед отъездом на фронт, протянувшийся кверху, в зенит застывшего неба, черный мрамор уцелевших колонн обкома.

Всю войну я стремилась сюда. В каждом сне видела свое возвращение в этот город. И хотя я знала, что здесь все разрушено и родных моих нет — они выехали еще в сорок первом, — но я должна была сразу же после победы приехать сюда: вернуться домой.

День был морозный, и закат догорал, когда я подошла к хлебозаводу посмотреть на свой дом. Здесь когда-то были тихие улочки в гусиной траве, по которой мальчишки гоняли тряпичный мяч. Весной за заборами цвели сады. На скамеечках перед домами сидели старухи. И парни, провожая девчат из кино, на ходу обрывали лиловые кисточки персидской сирени.

Сейчас здесь не было ничего: ни домов, ни скамеечек возле калиток, ни печных черных труб, ни деревьев.

¹ Только для офицеров (нем.).

Даже геометрии бывших кварталов нет: ни углов перекрестков, ни сливающихся вдалеке параллелей оживленных некогда улиц, ни булыжных прямоугольников площадей. Одно только снежное поле, чуть розовое от заката и поэтому по-особому жуткое, нежилое.

Я долго искала, где был мой дом, пока не нашла какой-то битый кирпич, обрывки листового заржавленного железа и выпирающий из сугробов покосившийся столб с пучками оборванных проводов. Это все, что осталось от места, где я прожила столько лет.

Было холодно, но я долго стояла и смотрела на пепелище. Прошла баба с кошелкой, шаркая по сугробам опорками, а я все стояла и смотрела. Прошел хромой бородатый солдат с вещмешком за спиной, а я все смотрела. Солнце, скупое светившее сквозь морозную мглу, давно уже спряталось за развалины, а я все стояла и смотрела, не в силах отвести глаз от обрывков железа и груды камней. Ни одной мысли не было у меня в голове, и глаза были сухи, и я не могла ни уйти, ни заплакать, глядя на эти черные кирпичи.

Уже в сумерках я шла по проспекту Революции, торопясь на вокзал, тоже разрушенный и лежащий в обломках,—и вдруг подняла голову и увидела Женьку.

Женьку ранило сразу после выпуска с курсов, в первом бою. Ее вывезли самолетом в Москву, а оттуда — в Сибирь, по-моему, в Омск. Там и встретил ее Борис. Тоже раненый. Он был подбит над территорией, занятой немцами, прыгнул из горящего самолета на парашюте, сломал ногу и долго шел, опираясь на палку, заросший, голодный, измученный, на зарево на востоке, на гул артиллерийских орудий.

Марьяна, в свое время написав мне об этом, добавила в конце письма: «Ну, значит, судьба!» И я тогда с горечью усмехнулась. Я слишком хорошо знала эту судьбу. Мы с ней вместе учились на курсах.

Женька шла по проспекту, угловатая, неуклюжая, в оренбургском пуховом платке и беличьей полудожке, с высоко вздернутым животом. Беременность ей была не к лицу: щеки стали одутловатыми, на лбу проступали желтые пятна, большие глаза стали злыми, горячими, губы сжались в тонкую линию.

«Да, не очень-то, видать, ты счастливая», — подумала я.

Женька шла мне навстречу, не поднимая глаз. Мо-

жет быть, она тоже узнала меня, но только ни ей, ни мне не пришлось бы обрадоваться этой встрече. Уж лучше нам было с ней не встречаться совсем.

Я сделала вид, что поправляю сбившийся чулок в сапоге, и нагнулась, пока она шла мимо, и Женька прошла.

Женька шла, и спина ее в сумерках уже расплывалась бесформенным серым пятном.

Мне хотелось ей крикнуть вслед что-то обидное, горькое, чем-то больно ударить, чтобы Женька остановилась, заплакала, чтобы ей стало так же нестерпимо, как мне. Но я сдержала себя. Я только вздохнула и, помедлив немного, пока она не скрылась во мраке, повернулась и пошла к вокзалу.

«Ну что ж, люди! — мысленно сказала я им обоим. — Коли так — мир вашему дому! Плодитесь и размножайтесь!»

2

Что было, то сплыло.

Скоро двадцать лет пройдет с той поры, и если бы не Марьяна, я не стала бы сейчас вспоминать.

Сегодня Марьяна пришла ко мне запыхавшаяся, возбужденная, с букетом в руках.

— Ты знаешь новость?

— Нет. Какую?

— Жене будут делать операцию. Трансплантацию костного мозга. Это дело новое, очень сложное. Сейчас ищут доноров.

— Это что? Приказ потрянуть стариной?

— Нет. Не надо. Зачем? Найдется кто-нибудь помоложе.

— А мы с тобой, значит, уже устарели?

— Да, выходит, что так. Для чего-то и устарели...

Она, радостная, возбужденная, прошла по комнате, замерла перед зеркалом и засмеялась. Мне подумалось: это Марьяна-то устарела! Человек, наверное, стареет от подлости и от зависти даже в тихое, мирное время. Но если он в жизни видел одно только страшное, хотя бы и на войне, он еще не стареет. Он только становится более опытным, зрелым.

Я гляжу на красивые белокурые волосы Марьяны: как она расчесывает их перед зеркалом и укладывает в высокую, чуть небрежную, но изящную, продуманную

прическу, и мне в ней все нравится. Она еще очень привлекательна. Эти руки, движения, волосы, а особенно ее невянувшие темно-голубые, как колокольчики, застенчивые глаза. В них всегда что-то нежное, умоляющее о пощаде. Я не знаю, почему этих глаз не замечают мужчины. Ведь Марьяна не замужем. У нее нет ни семьи, ни детей. Одна только память об Иване Григорьевиче Петрякове и работа. Всегда только работа: чистый белый халат, чемоданчик и место рядом с шофером в машине с красным крестом на стекле. Ну конечно же: «Скорая помощь»!

Она ловит мой взгляд в отражении зеркала.

— Шура, милая... Ты хотела бы Жене помочь?

— Что за «дамский вопрос»? Хотя сейчас. Только чем?..

— Ты должна завтра встретиться с Баниным. Он в Москве. Он только тебя и послушает. Понимаешь, он подал сейчас на развод. А Женя узнала и плачет.

— Ничего себе помощь! С Баниным?! — восклицаю я. — Нет уж, уволь! Что угодно, но только не это. Здесь я не помощник.

Я знаю: Марьяна и сама избегает в Москве одного человека. Когда-то он сделал ей много дурного.

При встречах с ним я гляжу на его благородную седину, на величественную осанку и думаю: зло слепо. Оно не знает, что за все наступает расплата, даже, может быть, спустя долгие годы. Зло действует так, как будто ничто не изменится в нашей жизни. Не изменится, по крайней мере, в течение века: все как есть будет и впредь.

Добро, видимо, более дальнозорко. Оно просто живет сегодняшним днем. Потому что именно сегодня нужно поддержать уставшего человека, приласкать ребенка, утешить горькую старость и простить ей все ее слабости и ошибки.

Оттого что добро никогда не заглядывает в завтрашний день, оно долговечней. У него всегда благодарная память. За добро всегда платят добром. Исключения лишь подчеркивают это правило.

Но я не желаю Борису добра. Мне встречаться с ним незачем.

Марьяна сидит на диване, в лучах яркого солнца, перебирает в букете длинные стебли ромашек и белых карпатских бубенчиков.

— Ради Жени.

— Нет. Даже для Жени я этого не сделаю. Мне с ним не о чем говорить.

— Но тогда просто скажи: ты боишься своего любимого Кедрова.

— Да, Кедрову это может быть неприятно. Я даже за спиной у него не хочу делать ничего такого, что было бы ему неприятно.

Странный человек Марьяна Попова! Ради счастья одного человека она может спокойно разрушить счастье другого. Ради Женьки — причинить неприятность и боль всем: мне, Борису и даже Кедрову, который, конечно, когда-нибудь будет знать все. Хотя бы и от меня. И которому, несомненно, будет больно услышать.

Я ушла на кухню поставить чайник, собрать на стол. Вернее, я просто хотела остаться одна. Но Марьяна тотчас же примчалась следом в своих туфельках, в голубом шелестящем платье, уселась на кухонной табуретке.

— Ты, пожалуйста, не сердись. Мы должны ей помочь...

— Что угодно, но только не это.

— Ты Бориса никогда не любила так сильно, как Женька. Ты всегда видела все его недостатки и смеялась над ним. А она... она умеет прощать!

— О да, да! — воскликнула я. — Твоя правда. Мужей нужно прощать. Если бы жены своим мужьям не прощали, человечество истребилось бы сильнее, чем от атомной бомбардировки! Да здравствуют мудрые жены!

— Ну, делай как знаешь.

Марьяна обиделась и стала пить чай, наливая из чашки в блюдечко и дуя на него, чтобы не обжечься.

— Ладно, — сказала я наконец. — Успокойся. Я сделаю. Только не ради Женьки. И не ради тебя. — И я умолкаю.

Если я когда-нибудь это сделаю, то только ради Мити Шубарова. В его светлую память. Это он хотел воспитать из меня человека.

Мы выходим с Марьяной из дому и садимся в троллейбус. Едем мимо новых кварталов и магазинов с роскошными витринами, мимо пахнущих медом лип по улице Горького.

Я везу Женьке букетик зеленой петрушки, кулечек черной смородины, остро пахнущей запахом летнего

солнца. Она всегда просит чего-нибудь яркого, острого, очень душистого. В этих запахах для нее теперь сама жизнь.

Несмотря на усилия многих врачей, дело движется неуклонно к концу, и Женька это знает. Она похудела, стала бледной, усталой — и плачет. Она много плачет, по каждому поводу. Врачи говорят: сдали нервы.

Признаться, я что-то не помню о Женькиных нервах в отряде или в Обносове. Впрочем, о своих собственных тоже. Нас в Обносове, например, бомбили каждый день и каждую ночь, и все местные жители, все армейские наши работники выбегали из изб на снег, в ледяные, продутые ветром щели и отсиживались в них по тревоге. Только мы с Женькой не бегали и не прятались. Мы с ней прославились на всю армию тем, что дрыхли как кролики. Ни свиста бомб, ни стука зенитных снарядов о нависшее небо, ни грохота рвущихся «пятисоток» и бомбовой мелочи мы с ней не слышали. Нам на все это было наплевать в высшей степени. Убьют так убьют! А не убьют, да потом весь день не спавши работать, дурных нема. Вы как хотите, а мы будем спать.

Когда Герман Титов из космоса на седьмом витке произнес почти подобную фразу, я припомнила свою юность и Женьку и рассмеялась.

Он сказал: «Я сейчас ложусь спать. Как хотите вы, а я ложусь спать».

У него тоже, видно, крепкие нервы.

Но в те дни, когда я прихожу из больницы, от Женьки, я не сплю всю ночь до рассвета. Чем помочь моей давней сопернице в ее черной беде? Пожалеть и простить? Но я ей давно все простила. Еще там, в разбомбленном, сожженном Воронеже, когда встретила ее в темноте, беременную, больную.

Может быть, действительно, в самом деле, ее любовь была ярче, сильнее, чем моя? И отсюда и мрачность и лень, эти вспышки отчаяния, безрассудства, отсюда метания: Валька Рештак, Сережа Улаев?

Я простила ей все, даже глупые хлопоты за Кедрова. Интересно, как она тогда догадалась, что мы с Алексеем Николаевичем полюбили друг друга? В средневековье ее сожгли бы как ведьму за колдовство.

Невероятно, но факт: Женька все угадала на двадцать лет наперед.

Я ей благодарна за это.

Мы с Марьяной приходим к ней в больницу как на дежурство. Иногда просто молчим, сидя рядом с кроватью. И глядим на нее. Иногда читаем ей вслух, шутим, спорим.

— Женья, а ты уверена, что человечеству нужен атом? — спрашиваю я. — По-моему, он излишне громоздок. Есть много и других очень действенных способов убивать ни в чем не повинных людей. Вот лазеры, например. И дешево и сердито. Или газы. Или бактерии. Это нынче так просто. А главное — без последствий.

Женька смотрит на меня обиженными глазами.

— Тебе нельзя на ночь читать фантастические романы, — отвечает она. — Ты читай «Крокодил». Он полезней. — Успокоившись, добавляет: — Ты на все еще смотришь с точки зрения сорок первого года. Легкий шок. На почве внезапности. Он пройдет.

— Да, пройдет, — подтверждаю и я. — Все в жизни проходит. Это очень удобное утешение. Надо все позабыть, все простить. А они пусть опять начинают от Эльбы. От пещки.

3

Как жаль, что любовь наша нетерпелива!

Лет пятнадцать спустя после войны я на улице встретила капитана Черкашина. Некогда стройный, рослый красавец, сводивший с ума армейских девчат, нынче он вдруг превратился в толстеющего, болтливого старичка, живущего пикантными воспоминаниями, обрюзг, стал прожорлив, неряшлив. А моя подруга, пулеметчица Варя Парамонова, настоящая русская красавица несмеяна, так любила его, что, когда он ей изменил со штабной машинисточкой, она вынула пистолет и застрелилась у всех на глазах. Проживи Варя еще год или два, еще десять лет, потерпи, и я представляю, как она посмеялась бы над своим неверным поклонником! Какими были бы веселыми, насмешливыми ее голубые глаза!

Когда у меня в квартире зазвонил телефон и я услышала в трубке голос Бориса, мое первое движение было бросить трубку и отойти. Но я переломила себя.

— Да, — сказала я. — Слушаю.

— Это я,— сказал Борис.

— Очень мило с твоей стороны. Ты живой?

— Да.— И вдруг глупо, с недоумением в голосе:—
А что?

— Уж лучше бы ты был мертв.

— Почему? — Он, наверное, думал, что я шучу, и с готовностью засмеялся.

— У мертвых перед живыми есть одно преимущество. Они возвращаются к нам тогда, когда мы их вспоминаем. Не раньше.

— А ты разве не вспоминала меня? — Борис задал этот вопрос так обидчиво, быстро, что я поняла: он по-прежнему хочет нравиться женщинам. Даже мне. Как когда-то.

— Нет, ни разу не вспоминала, помилуй бог! — Я честно, сознательно солгала.

— У меня к тебе дело,— сказал Борис.— Я хотел бы с тобой встретиться. Если можно, конечно... Ты знаешь, о ком я хочу говорить.— Его тон был просительный, но я подумала с грустью: «Эх, Марьяна, Марьяна, опять ты соединяешь несоединимое! Зачем? Для чего?»

— Хорошо,— сказала я, пересиливая себя.— Если нужно, давай встретимся.

— Где?

— Где хочешь.

Он думал, наверное, что я сама назначу ему место встречи. Для него это было бы приятней.

— Ну, где? — повторил он вопрос.

— Мне все равно.

— Тогда у памятника Пушкину. Можно?

— Все равно,— ответила я.— Мне безразлично.

И вот мы стоим с ним друг против друга.

Борис ждал меня возле памятника. Когда я подошла, он вдруг покраснел. Потом краска медленно схлынула с его лица, и я увидела перед собой загорелого, рослого летчика в форме гражданской авиации, еще очень улыбчивого, красивого.

— Вот ты какая... — сказал Борис, наверное, преодолевая внутри себя все то расстояние, которое мы прошли за эти годы поврозь.

— Ты хотел говорить о деле,— напомнила я.— Ты был у нее?

— Да.

— Ну и что?

— Она приказала меня не пускать. Видеть не хочет.
— Что ж, это ее право,— сказала я.— Я тоже не хотела тебя видеть. К сожаленью, пришлось.

Мы идем по Тверскому бульвару, под дырявым солнечным пологом из широких зеленых листьев, и песок чуть поскрипывает у нас под ногами. Вдоль дорожки, на скамейках, дремлют няни и бабушки, мирно посапывают носами ребятишки в колясках. Старики с вниманием, деловито рассматривают ноги прохожих, как будто хотят для себя уяснить, в чем секрет энергичного пешего передвижения, утраченный ими. И я вдруг вспоминаю о своем собственном отце — таком же задумчивом, старом, как эти сидящие на скамейках. Мне вспомнилась извилистая дорога вдоль берега желтой степной реки, летящие полосы пирамидальных тополей и холодный, пронизывающий ветер в кузове полуторки.

Мы с отцом в кузове вдвоем. Он старый, с седеющей бородой, костистый и крепкий. В ватной куртке, в плаще, в армейской, довоенного образца пожелтевшей фуражке. А я еще в гимнастерке, хотя и без знаков различия, с невыгоревшими прямоугольниками от погон на плечах. То и дело нас с отцом сечет налетающий порывами косой сильный дождь. Гимнастерка на мне промокла до нитки. Мне зябко, холодно, но я молчу: я сама виновата. Мне ведь предлагали брезент, я не взяла.

И вдруг отец расстегивает свой каляный выцветший плащ и накидывает его краем на свою голову так, чтобы бóльшая половина оказалась свободной. Потом, взяв эту бóльшую половину в руку, растянул ее и крепко обнял меня, придвигая к себе, очень плотно укрыв там, где дуло. Он прижался ко мне круглым теплым плечом, защищая от ветра.

— Ну, теперь хорошо?

Я молча кивнула.

Значит, мало я видела в жизни родительской ласки, если за одно это движение я простила ему все сразу. И молча. Всю долгую с ним разлуку. И всю суровую нашу с ним жизнь под одной общей крышей, когда в трудный час для матери и сестренки он вернулся в семью. Может быть, я и прежде в отце ошибалась, но теперь он казался мне совершенно другим человеком.

Я простила ему.

И он это понял, потому что признательно плотно прикрыл покрасневшие веки.

Да, сладко простить...

И как сладко, когда прощают и нас, кругом виноватых! Какое это ни с чем не сравнимое счастье! Сколько нежности и доброты к тебе в таком вот безмолвном, идущем от сердца прощении! Сладко выплакать горечь очищения от вины; от вины невозвратной, потому что ты ее уже никогда не забудешь, а поэтому не повторишь. Но как важно, чтобы, прощая тебя, люди навсегда позабыли об этой вине и больше не укоряли и не ставили в строку!

Я шла рядом с Борисом и думала об отце: он многое пережил и многое понял, раз вернулся в семью в самое тяжелое для матери время. А что Банин увидел в жизни, чему научился? Война его души не коснулась. По-моему, он и сейчас все такой же, как был. С той же хитрой жестокостью и неумением полюбить кого-нибудь, кроме себя самого.

Мы сидим с ним в тени на скамье Тверского бульвара. И Борис мне рассказывает о дочери, которую, как ни странно, зовут Шурой и которая была бы моей дочерью, сложились все иначе; о себе, о работе. Он шутит:

- Видишь: волосом сед, а счастья все нет.
- Ну что ж, — говорю я ему. — Что посеял...
- Да, ты права.

Он рассказывает о себе, а я сижу, слушаю — и ни о чем не жалею. Теперь я умею сравнивать.

Я сижу, переполненная благодарной и радостной мыслью о Кедрове. Я уверена: наш мир будет прочно стоять, пока есть Кедровы на земле. Я счастлива даже беглым воспоминанием о нем, даже тенью воспоминания об этом сдержанном, ясном и ласковом человеке. Есть камни, вершащие стройку, украшающие ее. И есть камни краеугольные, на которых вся тяжесть и вся основа, и это он, Алексей Николаевич Кедров. Таким я знаю его со времен своего пребывания в отряде у Пироговского.

Я советую Банину:

— Раз Женя не хочет видеть тебя, ты ее не тревожь. Ей, видимо, неприятно. Ты же знаешь ее положение!

— Да, теперь знаю. Но раньше-то я не знал. Конечно, ничем не обижу. Она ведь лет пять как не пишет мне. Сначала где-то работала в Казахстане, в академии. Потом переехала, а адреса не дала. А пойдی разыщи!

— И забудь о разводе.

— Да, да. Я уже взял бумаги назад.

Он рассказывает что-то еще о себе, о своем продвижении по службе, но я встаю со скамейки.

— Ну, прости. Мне пора. Очень рада была тебя увидеть. Желаю успеха!

Я действительно очень спешу: домой, к мужу, к семье.

Дома Алексей Николаевич встречает меня спокойным, внимательным взглядом. Он давно уже вернулся с работы и сидит в кабинете, разложив перед собой на столе бесчисленные бумаги: проекты, ведомости, сметы.

Он говорит:

— Тебе несколько раз звонила Марьяна. По-моему, она плачет.

— Она не сказала, куда ей звонить: домой или на работу?

— Домой.

Я звоню. Много долгих гудков. Никто не подходит. Я гляжу на часы, за окно, на Кедрова. И вдруг понимаю:

— Наверное, с Женей?!

— Я думаю: да.

4

Поздней осенью в один из выходных дней мы с Кедровым решили съездить в Кубинку, разыскать могилы моих товарищей по дивизии, а главное — могилу Дмитрия Ивановича Шубарова, комиссара второго полка.

Мы идем пешком по проселку, среди подмосковных лесов, под пронзительно чистым и ярким небом, и мне приятно шуршать опавшими листьями, отводить от лица паутину, развешанную на колючих лапах елей, вдыхать запах смолы.

Я не знаю, какие мысли сейчас тревожат Кедрова, но я сама понимаю, что никогда в жизни не была так близка к природе, как на войне. Что-то связывало в то время меня, небо и землю, неразрывное, неповторимое, иначе почему так запомнились эти ранние зимние утра, и холодные весны, и голубенькие цветы цикория, сладко пахнущие мучнистой пылью дорог?

По дороге нам с Кедровым то и дело встречаются туристы. Они в клетчатых бумазейных рубашках, в

пузыристых лыжных брюках, с тяжелыми рюкзаками за плечами, идут, опираясь на палки из орешника. И я провожаю их испытующим взглядом: какое особое, необычное чувство гонит их вперед по этой дороге? Что связывает их с ней, чего они ищут?

Я по этим ухабистым колеям, по глубокому снегу возила тяжелораненых и на каждой ямине, на каждом жилистом корне дерева, вылезающем из земли, замирала от ужаса: еще один такой толчок, еще одно сильное сотрясение, и вот этот погибнет, умрет, не доехав до госпиталя. А у этого рана откроется, станет кровоточить. Я и сейчас помню лица этих людей, каких я везла, и все повороты этой дороги, и все пни и колдобины. А что помнят они? Что знают об этом?

В Лихаревку мы пришли в полдень.

Остановились на пригорке и долго смотрели на утопающие в золотой синеве деревенские улицы. Нам нужно было найти овощехранилище. Говорили, что могила Шубарова возле него.

— Вот оно,— сказал Алексей Николаевич, показывая на длинное серое здание, выступающее из земли только верхними венцами сруба, крытое соломой, с высокой вентиляционной трубой.

Двери овощехранилища были плотно прикрыты, на ржавых кольцах висел тяжелый амбарный замок.

— Да, видимо, это. Другого тут нет.

В наступлении бойцу не приходится возвращаться назад, в отвоеванные им места. За все годы войны и после победы я ни разу не побывала в этих краях, откуда начинала свой путь, в каких-нибудь пятидесяти километрах от Москвы.

В молчании, медленным шагом мы обходим с Кедровым вокруг сруба.

Ничего нет. Никаких могил.

Я внимательно смотрю себе под ноги, оглядываюсь, изучая каждый всхолмленный бугорок, каждую овражинку и низинку. Нет, здесь нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало могилу. Все заросло, затопталось, запыло, сровнялось с землей. Если и была здесь когда-то могила, то теперь и следа от нее не найдешь.

Мы пошли по деревне, осматривая каждый цветник, огороды и каждую грядку: вдруг где-нибудь здесь, в самом неожиданном месте, и он.

Нет, и здесь мы не нашли ничего.

Но вот дом. На прогоне могила без надписи. Перед домом другая. На ней блеклые лиловые астры, какие-то чахлые стебли растений, давно уж отцветших, осыпающих семена в сухую, теплую землю. Но и здесь не написано: кто?..

— Зайдем спросим?

— Давай.

Мы поднялись на крыльцо. Постучались. Дверь нам открыла молодая румяная женщина с расшитым кухонным полотенцем в руках.

— Вам кого? — спросила она почему-то испуганно.

Алексей Николаевич объяснил причину прихода.

— Да. Это братская могила. Мой отец учитель, он смотрит за ней. Кто лежит? Не знаю. Я тогда еще маленькая была. Да вы погодите, сейчас отец придет, сам расскажет.

В самом деле, кто-то грузно уже поднимался по ступенькам крыльца. Брякнула щеколда наружной двери. Вошел морщинистый, но крепкий еще седой человек с двумя ведрами воды. Он поставил ведра у входа, на лавку, вытер ладонью пот со лба и вопросительно поглядел на молодую женщину, на меня, на Кедрова. Пришлось снова объяснять: кто, зачем.

— Да, — ответил учитель. — Это братская могила. Здесь девушки-врачи. Одни только девушки-врачи. Больше нет никого. Фамилий не знаю.

— А там, на прогоне, кто похоронен?

— Не знаю. Бойцы. А чьи они, кто, не знаю. Это мы после боя собирали трупы, закапывали. Документов у них уже не было.

Все это мучительно слышать...

Возвращались мы той же дорогой, мимо солнечных, хвойно-зеленых подмосковных лесов.

Алексей Николаевич был задумчив, суров. Он шел небыстрой, но размеренной солдатской походкой, молчал.

Я тоже молчала.

Вскоре лесная дорога нас вывела к крутому, обрывистому берегу Москвы-реки, и я вдруг замедлила шаг и встала, припоминая. Кедров тоже остановился, закурил. Мы сели передохнуть на самом бугре, под высокой сосной, разглядывая речную долину, колхозные пашни, чернеющие сквозь желтизну березняка, побуревшую

траву лугов и крыши далекого, невидимого отсюда села с облупленной колокольной церкви.

Да, именно оттуда, с колокольни, и бил вражеский пулемет, о котором говорили раненые, когда я везла их ночью в сани. Здесь бойцы шли в атаку по белой реке, обходя дымящиеся полыньи, пробитые в толще льда немецкими минами и снарядами. Почти у самого берега они зарывались в снег, и потом многие не встали, а так и остались лежать на льду. Где могилы этих бойцов, как их найти? Неужели и следа на земле не осталось от тех людей, которые отдали жизнь за эти высоты?

В той деревне, где мы только что были, люди живут так, как будто здесь никогда и не было войны. Их заботят дрова, керосин, огород: привычное круговращение обыденной жизни, извечные хлопоты мирного человека.

Но, может быть, те, что погибли на льду Москвы-реки, и сражались за это, чтобы вот так размеренно, мирно и шла вся эта извечная суета: дрова, керосин, огород и корова? Может, только во имя этого люди и гибли, чтобы мы вернулись к обыденной жизни и забыли все, что было?

Нет, я не хочу этому верить! История не должна повторяться. Наше счастье окуплено кровью многих людей. Мы должны это помнить. Забвение есть беспечность.

Я обращаюсь к Кедрову:

— Помнишь, во время войны мы говорили: «Если нужно кому-то погибнуть, из всех одному, чтобы война сразу кончилась, я готов», — помнишь?

— Да.

— Так вот: если нужно кому-то погибнуть, чтобы не было новой войны... Этой... атомной... все убивающей... я готова!

Снова снег за окном. Он похож на цветы одуванчика, столь же легкий, пушист и так же послушен движению ветра. Он садится на подоконники, на перила балконов, кружится у самого стекла окна. Ранний снег, неожиданный, непривычный. Все на улице застыло, замерло. Наверное, морозом убило и цветы на могиле

у Женьки, и земля смерзлась в каменистые, сухие комки.

Женька первая из нас троих встала и сделала этот единственный шаг для того, чтобы не было этой новой войны. И мне хочется, чтобы смерть ее была не напрасной.

Я смотрю за окно и думаю о себе, о Марьяне. Каждый вечер она, возвращаясь с работы, обязательно заворачивает в этот район, ближе к кладбищу, отпускает шофера, и идет одна к свежему холмику, и долго стоит над ним, пока не озябнет.

Снег летит и, наверное, сейчас порошит ее волосы. Ранний снег, еще загоя до настоящей зимы. Он лежит на голубой шерстяной ее шапочке, на завитках побелевших волос, словно ранняя седина нестареющих, мужественных бойцов.

Он как вечное напоминание о погибших живым.

ПОВЕСТИ





НЕ БРОСАЙ СЛОВ НА ВЕТЕР

1. КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ

На Тверском бульваре, под окнами Литературного института, знаменитого Дома Герцена, в маленьком скверике растет дерево. Оно раньше других разворачивает свои клейкие почки и покрывается зеленовато-бурыми, темными листьями, а осенью рано желтеет, становится малиновым, красным, и каждый, кто живет или учится на Тверском, хорошо его знает.

Под шумящею кроною этого дерева целые поколения прозаиков и поэтов читали стихи, спорили и влюблялись. И, будь это дерево говорящим, оно рассказало бы нам немало тайн. Но, увы, оно сурово и молчаливо охраняет покой Литературного института, стоящего позади него, в глубине двора.

Дом Герцена! Родные пенаты! Наш отчий дом... Кто о тебе не писал и не пел и сколько еще напишут и споют? Перечитывая романы и повести друзей, просматривая утром газеты, нет-нет и увидишь: мелькнет что-то очень знакомое — институтская шутка, или деталь того, прежнего, студенческого быта, или то на строение, отголоски шумного спора, тех раздумий, какими жили пять лет сообща. И прямо ли, косвенно, а ни один, наверное, не обойдет в своем творчестве ни

этого скверика, ни института, ни красных, огненных листьев осеннего клена.

Эти пятипалые резные листья были для нас вполне вдохновляющим подручным поэтическим материалом и символом связи с природой, и единственным украшением в нашей «Большой девичьей» комнате в общежитии. В те голодные послевоенные годы единственно, чем мы могли украсить свою жизнь,— это багровыми с лиловыми прожилками осенними листьями. В белой вазе, неведомо кем и неведомо где раздобытой, они стояли всю зиму на круглом столе, напоминая о плодотворной пушкинской осени в Болдине и о том, что «не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа».

Осматривая институт в сопровождении нашего директора Федора Васильевича Гладкова и каких-то важных дядей из высших инстанций, Александр Александрович Фадеев однажды увидел эти листья и на мгновение вдруг странно умолк. Он глядел на них задумчиво и чуточку грустно. И потом уже ходил вместе со всеми по институту рассеянный, молчаливый. Может быть, и ему они что-то напомнили.

На Тверском бульваре в доме № 25 прожито в общем-то не так уж много. Всего пять лет. Одна пятилетка. Но впечатления, сложившиеся за это время, по яркости напоминают красные листья институтского клена. Они, как следы неведомого зверя, отпечатались на тех самых дорожках памяти, по которым ходим каждый день, и не дают покоя.

Прошло уже много лет с той минуты, когда в нашем старом «колонном» зале председатель государственной экзаменационной комиссии Константин Михайлович Симонов вручил нам дипломы об окончании Литературного института имени А. М. Горького при СП СССР. И многие мои однокурсники уже стали маститыми, лауреатами и просто хорошими прозаиками и поэтами, драматургами и переводчиками. Иные же бродят по стране с репортерскими блокнотами в руках. Иные сидят в редакциях и важно кивают заглянувшим на огонек однокашникам. Иные, еще безвестные и немаститые, в течение уже долгого времени готовят миру удивительнейшие произведения, ибо если не верить в то, что эти произведения удивительнейшие, то нет смысла их и писать. А иные уже и вообще никогда ничего не

напишут. В жизни всяко бывает. Но дружба, закаленная в ожесточенных спорах и литературных боях в Доме Герцена, останется нерушимой, наверное, до скончания наших дней. И еще не раз бывшая «молодая» литературная гвардия — ныне она становится седой и почтенной, ведь годы-то идут! — добрым словом вспомнит Тверской бульвар, институт, общежитие, наши шумные коридоры, наши тихие аудитории, где мы выросли и становились мудрыми.

Добрым словом хочу и я их помянуть.

И пусть это будет не цельный, пышный, яркий букет — я не хочу обламывать клена, — а только отдельные, разбросанные, сорванные ветром листья: как легло на дорожку...

2.

«ДОМ ТИРЕ МУЗЕЙ»

Дом, в котором некогда родился один лишь Герцен, а теперь ежегодно «появляются на свет» десятки молодых писателей, очень дряхлый и ветхий. Это — старинное двухэтажное здание, и оно ремонтируется всеми аккуратно сменяющимися, подобно временам года, институтскими директорами. И каждый из директоров привносит в его древний облик что-то свое. Один перестроил и сделал для себя из двух аудиторий обширнейший кабинет. Другой обрубил старый балкон, выходящий на сквер. Третий отгрохал подъезд под гранит и мрамор. Четвертый...

Впрочем, там дело найдется и пятому и шестому. Низки своды узеньких коридоров, до смешного малы аудитории, пахнут сыростью и плесенью темные подвалы, а каменные лестницы с истончившимися ступенями, несомненно, видали лучшие дни...

Я помню, как в том, первом послевоенном году начальник военно-физкультурной кафедры института полковник Иван Александрович Львов-Иванов на одном собрании печально сказал:

— Наш дом тире (!) музей приходит в упадок...

В те времена, о которых я говорю, вы, войдя в дом и поднявшись по лестнице, поворачивали налево и по-

падали в небольшую переднюю с деревянным диваном и деревянными креслами, расставленными вдоль стен. Старинное зеркало в резной черной раме, несомненно, отразит вас во весь рост. И если вы пришли в тот час, когда кончились занятия в аудиториях, вас немедленно здесь же, у входа, строго допросит наш сторож, знаменитый дед Тарасыч: кто вы, куда вы, к кому и зачем. Потом он величественно махнет вам рукой, мол, что ж делать, идите, а сам сядет в резное деревянное креслице перед старинным высоким окном, распахнутым в сад, и опять погрузится то ли в чтение газеты, то ли в свое стариновское, медлительное, раздумчивое забытие. Вы же можете шествовать дальше.

Вот в коротеньком, куцем коридорчике, в проеме между окнами, доска приказов. Ее следует внимательно изучить, потому что вся внутренняя жизнь института отражена здесь, как в зеркале: тут серия строгих выговоров на все буквы от Агашиной до Шорора, приказы, решения, списки исключенных, списки лишенных стипендии и скромные объявления: «Все, кто не сдал в срок зачеты, обязаны явиться на кафедру...» Или: «Нашедшего англо-русский словарь убедительно прошу сдать в библиотеку...»

На другой стороне коридорчика — институтская стенная газета, длиннущее, разрисованное всеми цветами радуги коллективное «Творчество». В газету, конечно, новичку не пробиться: «затирают». Так, по крайней мере, объясняет нам, первокурсникам, заведующий канцелярией, наш дражайший «Виктуар Иванович».

Здесь же, у окна, батарея центрального отопления. Когда-нибудь и ее, быть может, украсят мемориальной доской — столько замерзших классиков грелось возле нее долгими зимними вечерами! Посчитаться славою с этой батареей может только большая отопительная труба, которая находится несколько дальше, в еще одной, на этот раз темной, прихожей, перед главным коридором, идущим через весь корпус. Труба эта была у нас самым популярным местом свиданий, выяснения отношений и чтения «самых новых» стихов.

Справа и слева от главного коридора расположены кафедры, кабинеты начальства и аудитории — душные, тесные комнатки нелепых форм, с трудом вмещающие микроскопические курсы: каждый курс в пятнадцать — двадцать человек, не больше.

По сути дела, наш дом и состоит из одних таких комнаток, фойе, вестибюлей, коридорчиков и переходов. Он весь словно предисловие к чему-то, обещание, недоговоренность, загадка. Кто и зачем, например, создавал эти темные низкие своды? Кому надобны эти чуланчики, каморки и бесчисленные кладовые внизу, в подвальном помещении? Зачем там, внизу, такой длинный и неуютный зал, выходящий одними окнами на Тверской бульвар, а другими — на Большую Бронную?

О таинственность седой старины! Кто тебя разгадает? Мы молоды, и нам тесно здесь, в твоих темных прихожих, в твоих пахнущих плесенью, промозглых подвалах. В распоряжении института только и есть, что эти подвалы, коридорчики да комнатухи первого этажа. Самые лучшие, светлые, теплые помещения заняты Литфондом, грозной и воинственной страной «Литфондией», жители которой с равнодушным презрением посматривают на нас с высоты своего положения.

Я говорю: «заняты Литфондом», так как в 1945 году нам действительно еще негде повернуться. Вместе с нашим курсом, окончившим институт в 1950 году, ушел из Дома Герцена и Литфонд. И те блага, какие нынче выпадают на долю новых литературных поколений, нам тогда еще и не снились.

3.

СТО И ОДНА БЕССОННИЦА

Над Европой еще не рассеялся дым войны. Рейхстаг в Берлине весь расписан солдатскими автографами. Каменные прусские генералы с отбитыми носами и канцлеры в Тиргартене робко жмутся и озираются: от развалин несет мертвечиной.

Всего лишь на днях капитулировала Япония.

Поэтому нет ничего удивительного, что на свое первое в жизни занятие в институте мы приходим в армейских гимнастерках, кителях и мундирах. Другой, цивильной, одежды у нас пока нет.

Кавалерист с алым башлыком поверх венгерки. Разведчик с тяжелым, как синяя гроздь винограда,

курчавым чубом. Инвалид в солдатских обмотках, с палочкой. Десятиклассница с комсомольским значком на синем школьном форменном платье. Студентка, пришедшая на первый курс из Цветмета. Человек с профилем Байрона и скрещенными пушками на рукаве офицерского кителя: иптаповец¹, артиллерист. Железнодорожник, рисующий на нас карикатуры и шаржи. Он небрежно отбрасывает ладонью назад свои светлые волосы и глядит тебе в лицо излишне близко и пристально. И еще офицер. И еще офицер. Мы пока не друзья, не товарищи. Мы только собраны в одной комнате. И объединяет нас всех пока одна любовь к поэзии. К литературе.

А что такое поэзия? Литература?

Что нового мы можем сделать в поэзии, в литературе, когда уже есть столько славных, великих имен и столько написано великолепных книг?! Когда уже созданы «Сказка о царе Салтане», «Метель», «Демон», «Казачьи», «Война и мир», «Нос», «Дедушка Мазай и зайцы», «Скифы», «Облако в штанах», когда есть Дон-Кихот и Гамлет, Иудушка Головлев и Обломов, Павел Корчагин и Наташа Ростова и вечная, неувядающая любящая и несчастливая Дама с собачкой? Что мы можем прибавить к этому? Что?..

Старшекурсники — в основном белобилетники — с любопытством и уважением поглядывают на наши загорелые, смуглые лица, на костыли и ордена. В то же время они ревниво и с подозрением следят за каждым нашим поступком, вслушиваются в наши споры: ну, эти, мол, сейчас начнут рубить сплеча! Солдафоны! Фельдфебели. Добра от них не жди. Небось и не смыслят в литературе, а туда же — в писатели!..

Иногда кто-нибудь из «старичков» выходит в разведку:

— Скажи мне, кто твой литературный учитель, и я скажу тебе, кто ты!

— Ну, ну, скажи!

— Так кто твой учитель?

— Комбат Павлик Манюшин. Он ходил в атаку не пригибаясь.

— Нет, серьезно...

¹ И П Т А П — истребительный противотанковый артиллерийский полк.

— Куда серьезней! Жизни своей не жалел... Разве кто-нибудь этим шутит?

— Но ведь я говорю тебе о другом.

— Ах, ну, если о другом! Тогда конюх Роман Васильевич из нашего совхоза. Он, бывало, когда чистил рысака, всегда приговаривал: «Вот, милый! Овес ты исправно жрешь, а работы твоей нигде не видать. Ишь гладкий какой! На тебе, черте, можно землю пахать, а ты в белых чулочках танцуешь!»

Собеседник, оскорбленный в своих лучших чувствах, сердито машет рукой и хлопает дверью.

Мы робеем, ершимся и говорим старшекурсникам дерзости вовсе не потому, что любим дерзить. Мы сами еще не знаем себя и тайком, с недоумением приглядываемся друг к другу: действительно, братцы, а кто мы есть? Кому в своем творчестве мы должны следовать и кого слушаться, чтобы не сбиться с дороги? Кому подражать? И вообще, выйдет что-нибудь путное из нас или не выйдет? Не потеряем ли мы драгоценное время даром?

Говорят, писателем нельзя сделаться, им нужно родиться.

Но вот какие-то люди — а у них есть имена и фамилии, и они не скрывают своих должностей и званий — принимают тебя в институт и тем самым как бы говорят: «Послушай, товарищ! Мы можем помочь тебе стать настоящим, толковым писателем. Но для этого ты должен учиться... Всего-навсего хорошенько учиться...»

Кто откажется, видя столь деловую постановку вопроса?

— А Горький вон никаких институтов вообще не кончал... И великий писатель!

— Ну и что?... Ну и что, что не кончал? Может, он с радостью бы его кончил, сложись иначе вся его жизнь!.. Может, тогда ему не пришлось бы с таким трудом постигать всю эту науку, наживать чахотку, губить здоровье... Может, он потому и создал для нас институт, что сам на себе испытал, каково это — в литературе работать самоучкой!

— Нет, по-моему, на все нужен свой собственный опыт. Человек сам рождается, сам женится, сам плодит детей и сам умирает. И писателем он должен становиться сам, пробиваться собственными силами. На то

и существует в природе естественный отбор, чтобы выживало только крепкое, сильное, смелое...

— А зачем же ты-то здесь тогда? Если ты и в самом деле считаешь, что без учения лучше, забирай документы — и валяй себе к ляху, на все четыре стороны. Тебе-то тогда чего здесь надо?

— А вдруг да действительно чему-нибудь научат?.. А?.. Как же это я свое счастье упущу?

В эти первые дни с непривычки голова разламывается от разных новых проблем.

Например, нам сразу сказали, что гения рождает усидчивость и трудолюбие. И при этом сослались на Бальзака. Хорошо, если это действительно так. Тогда все очень просто. Но, однако, тогда, что ж, Боборыкин, выходит, тоже гений? Уж в чем, в чем, а в трудолюбии ему не откажешь. Он прожил очень долгую жизнь. Он родился, когда умер Пушкин, и умер, когда родился Гудзенко, и всю жизнь трудился, писал романы. Он написал их сто. А кто сейчас знает такого писателя? Кто читал эти сто романов Боборыкина?

И откуда тогда вообще графоманы? Как они размножаются? Простым делением клеток?

Наш курс сразу распадается на два лагеря.

Одни молча приглядываются друг к другу, внимательно изучают обстановку, вникают, желая прежде во всем разобраться, дабы не попасть впросак. Другие сразу же лезут в литературную драку, в жестокие споры: кумир, только что превознесенный выше небес, тут же и ниспровергается. То, что вчера цитировали как классику, как образец, сегодня выбрасывают на литературную свалку. «Так ты в самом деле считаешь, что ассонансная рифма — дерьмо? Ах ты, бездарность, дурак!» — «При чем здесь рифма?! Я за смысл, я за содержание...»

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют...

Поздно вечером на втором этаже, там, где библиотека и комната для тихих занятий, можно слышать треск каблуков, отбивающих чечетку, разудалый мотив:

С красоткой Гоффи
Мы пили кофи...

Взбудораженная, сбита с толку, я выхожу после занятий на Тверской бульвар и долго брожу по осенней грязной, неприютной Москве...

Кружатся трамваи по московским бульварам. Кружатся по асфальту желтые листья. Кружатся мысли в голове.

Неужели действительно можно научиться писать стихи? То есть я, конечно, их пишу, стихи, и даже печатаю. Но научиться писать хорошо?!

Когда-то, еще до войны, я прочла в одной книжке довольно забавную фразу: «Кто бы научил меня таланту?!»

В самом деле: кто бы?

Эх!..

4.

ВОЗДУХ ПОЭЗИИ

Был у нас в Воронеже отличный писатель — Борис Глебович Песков, высокий, задумчивый человек с удивленными, широко раскрытыми серыми глазами. Любил он охоту, рыбалку, поэзию и ребятишек. В те годы по городам и весям было много таких влюбленных в природу и поэзию талантливых «чудаков».

Песков водил нас, ребят из Дворца пионеров, в еще грязный и серый от талого снега Ботанический сад и учил слушать, как поют яблочки, малиновка, пеночка; смотреть, как на орешнике разворачивается золотая, в пуху, похожая на гусеницу сережка; как впитывает в себя перенасыщенный влагой чернозем густую, зеленоватую, сетчатую пыль весеннего дождя. Потом садился на сырое бревно и долго слушал, что мы рассказываем. Почему-то он любил нас слушать.

Потом мы снова бродили по скользким глинистым склонам оврагов, рвали подснежники: в лесах СХИ¹ и за Парком культуры их росло такое множество, что земля под деревьями казалась синей. Устанем, напомнимся, а Песков все идет и идет вперед. Зовет за собой. Увидит, воробей купается в луже, усмехнется:

— Глупой!.. Мало ему дождика...

И опять бредет дальше, в глубь леса, раздвигая большой загорелой рукой влажные ветки кустарников.

¹ Сельскохозяйственный институт.

В те золотые довоенные годы Борис Глебович мне не раз говорил:

— Учиться тебе нужно, вот что! Обязательно в Литературном институте. Там сам воздух насыщен поэзией! Эти встречи с писателями, споры, общение с людьми думающими, пишущими,—они очень много дают... Гораздо больше, чем мы привыкли об этом думать. Обязательно поезжай. Я тебе настоятельно это советую.

Так я стала мечтать о Литературном институте — единственном в мире учебном заведении для писателей. Кончив в июне 1941 года десятилетку, я написала письмо в Москву. Мне ответили: «Иногородних не принимаем. Нет общежития». Ну, на том и закончились мои попытки. Жить-то негде... Ничего не поделаешь... Подала документы в Воронежский государственный университет на филологический факультет. Меня приняли без экзаменов, по аттестату. А через день началась война. И сам Борис Глебович, и все мы, его ученики, надели шинели и пошли в свой первый, а для многих и в последний бой.

И вот спустя долгие годы я здесь, на Тверском бульваре.

Нелегкая фронтовая дорога привела меня наконец к заветной цели. Дорога, растянувшаяся на целых четыре года: через картофельные поля Белоруссии, через сожженные, черные, в голых вербах поля Западной Польши, через Берлин и Рослау-на-Эльбе — есть такой немецкий городок, где в мае зацветают под окнами розы...

Поезд медленно, недоверчиво, словно прощупывая колесами прочность рельсов, втянулся на мост через Буг. Мелькнул часовой, русский белоголовый парень с винтовкой. Потом вдоль состава замелькали такие же травы, как и на той, на польской, на немецкой земле: одуванчики, мята, цикорий, белоус. Все такое же, а все-таки родное, свое, чем-то новое после долгой разлуки.

Хотелось соскочить со ступенек вагона на полном ходу, пробежать по траве босиком, упасть в эти травы, прижаться к самой родной на свете земле... Так, наверное, космонавт, возвращаясь из диковинной дальней дали, пытается сквозь отуманенный дыханием иллю-

минатор рассмотреть на лету эту дикую мяту: у нее даже запах свой, памятный, русский...

Может быть, поэтому воздух поэзии я ощутила еще на границе.

На Тверском бульваре он был во всем: в листьях красного клена, в отцветших георгинах, в смутном запахе пролитого на асфальт бензина и московского серенького, как госпитальная марля, дождя. Борис Глебович не ошибся. Здесь была совершенно особенная атмосфера.

Не обманул моих надежд и сам институт:

Знакомые дорожки и тропинки
И коридоров тесненький уют.
Здесь гении в изодранных ботинках
Высокое искусство создают...

«Гениев» действительно у нас очень много. Даже с избытком. Они много шумят и машут руками. И поэзия у них яркая, как... мухоморы в лесу: поначалу даже глаза разбегаются. Не перестаешь удивляться. Здорово! Очень здорово!.. Однако где же он, главный запах в лесу, крепкий, добрый запах белого гриба-боровика, незаметного под ворохом палых листьев?

На перерывах возле отопительной трубы, у батареи в коридоре, на подоконниках — везде читают стихи. И поздно вечером после занятий, когда в институте уже нет никого «взрослых», кроме ночного сторожа, — стихи. И утром, до занятий, вместо зарядки тоже стихи.

— Послушай, что я вчера вечером написал.

Целый день стихи, стихи, стихи...

Сто пятьдесят километров
строем прошла пехота... —

это читают под дверями Литфонда.

Все ушли одной дорогой,
Воротились разными... —

это в аудитории, за столом, укрывшись втроем одной шинелью.

Мы пойдем с тобой в песню, если ты одинок,
Ты, конечно, расскажешь, что видел когда-то
И какие дожди полоскались у ног
И слегка тяжелили одежду солдата... —

это в темноте на лестничной площадке.

И вдруг совершенно неожиданно, даже кощунст-

венно звучат строки, читаемые сухим, жестким голосом, после звонка на лекцию, за две секунды до прихода преподавателя:

А там по мановенью Файера
Взлетает стая Лепешинских,
И фары плавают плечи фраеров
И шубки женские в пушинках...

Нам, воспитанным на суровом аскетизме военных лет, фронтовикам, прожившим на войне четыре года без отпуска, это кажется почти клеветой, чем-то невероятным. Неправда, чушь, ерунда! Не может быть, чтобы, пока мы сидели в окопах, кто-то стряхивал пушинки с женских шубок, наслаждался жизнью, всеми радостями, всеми благами огромного города... Не может быть! Это ложь!

И двое, один — с нашивкой тяжелого ранения, в военной форме, другой — без нашивок, сшиблись и покатались между столами клубком. С грохотом летит на пол тяжелый костыль.

— Ребята, да вы что, обалдели? С ума сошли! Разойдитесь! Опомнитесь...

— Не подходи! — В груди хрип и клекот. В глазах ледяные слезы ненависти. — З-зашибу!

5.

ГОЛУБОЙ ПОДВАЛ

К дому, к городу, как и к человеку, привыкаешь не сразу. А наш Дом Герцена, наш единственный в мире, еще и с **норовом**. В нем действительно нет общежития: каждый должен сам позаботиться о крыше над головой. Но... мы люди военные. То, что раньше казалось неодолимым препятствием, теперь выглядит пустяком, о котором нечего и раздумывать.

Не имеющие жилья вечерами расходятся, разбредаются, кто куда: одни в гости к знакомым здесь, в городе, в надежде задержаться там до закрытия метро и последних трамваев, другие — за город, на дачи, но с той же корыстной целью, третьи — на собственные частные квартиры и углы. А самые необеспеченные и одинокие — а их большинство — собираются в наиболее

теплом и просторном кабинете, сдвигают столы и мирно располагаются на ночлег, подложив под голову учебники, старые книги и подшивки газет.

Бездомные у нас не только «мальки» — первокурсники. Вместе с новичками на столах «квартируют» и старшие: краснодарский поэт Виктор Гончаров, ленинградская поэтесса Вера Скворцова, осетинская «драматургиня» Раиса Хубецова.

Случается так, что столов не хватает. Тогда запоздавший забирается внутрь огромной дубовой кафедры и сворачивается клубком — в другой позе в ней лежать невозможно, а прозаик Алексей Бельянинов взгромоздается на широкий панельный книжный шкаф.

Потом, спустя год, мне пришлось побывать на открытии «Литмузея», организованного кем-то из остряков. В качестве главного экспоната там выставлялся стол, на котором «ел, пил и спал критик Александр Лацис».

Великий цыганский табор являют собой аудитории ночью! Кто-то, сидя по-турецки на своем жестком ложе, читает воблю, мечтая о пиве. Кто-то, заткнув уши, зубрит английский. Возле батареи собрался «хорик», по выражению Федора Васильевича Гладкова, и, отстукивая себе аккомпанемент по крышке стола, горланит наш институтский гимн:

Если ты к нам попадешься,
В царство голода и тьмы,
И за сутки не загнешься —
Значит, ты такой, как мы...

День сотворения общежития почему-то затерялся в памяти местных летописцев. Никто не помнит, кому и когда «пришла идея в голову» очистить от грязи и вымыть институтский подвал и переоборудовать его под жилье. Однако несомненно — это был великий день в истории института.

Профкомовцы Настя Перфильева и Лева Кривенко в тот день никого не упрашивали остаться на субботник, исполнить свой гражданский долг. Им достаточно было объявить: «Будем делать общежитие». И на зов откликнулись все, даже те, кто имел в Москве папу, маму и теплую квартиру.

С лопатами, метлами, ведрами горячей воды мы спустились в мрачное помещение, стены которого были выкрашены голубой масляной краской. Этот голубой,

небесный цвет немного смягчал пустоту и унылость подвала, чуть-чуть раздвигал мрачные низкие своды, напоминая о чистоте и высоте открытого ясного неба.

Даже с грязным цементным полом, заваленным кирпичами, грудами песка и глины, в обрывках бумаг и обрезках досок, голубой подвал выглядел библейским раем, обетованной землей, исполнением всех наших надежд и пределом мечтаний. И хотя окна были закрыты решетками и тускло глядели под ноги прохожим — на Большую Бронную с одной стороны, а с другой, со двора, упирались в груды дров, сложенных возле сарая, все-таки это была уже крыша над головой, это уже были стены, да еще какие — голубые!

Сперва, конечно, мы выгребли мусор, потом вымыли окна, полы и лестницы. И сразу в длинном несуразном помещении посветлело. Оно стало «жилым».

Через день пришли плотники, перегородили подвал пополам: дальняя часть стала «Большой девичьей», проходная перед нею «Манежем», ибо здесь всегда «ржали и топали», а ближняя, меньшая часть подвала, примыкающая к куче дров, отошла во владение к «мальчишкам» и называлась «Корчма».

Стенка, сделанная из фанеры и тоже окрашенная в голубой, немеркнувший цвет, отделила отныне ови от козлиц, оставаясь — увы! — проницаемой для каждого звука...

Узкие солдатские койки, серые солдатские одеяла, большой учебный стол посредине, несколько стульев да голубая вешалка, перетащенная из раздевалки, — вот и вся обстановка. Но зато сколько радости, сколько шума и разговоров на новоселье! Еще бы: «Голубые стены — розовая жизнь!»

6.

ГОЛУБЫМ ОГНЕМ

Нигде во всем институте нет места более ледяного, душного и сырого, чем наши «Большая девичья», «Манеж» и «Корчма».

Обогреть огромное помещение двумя-тремя еле теплящимися батареями центрального отопления — дело, заранее обреченное на провал.

Поэтому мы спим, накрываясь всем, что есть в комнате и на вешалке: матрацами, выданными комендантом взапас, шинелями, шубами, даже ковровой дорожкой. И все равно сыро и холодно. За ночь чернила замерзают в чернильнице. На обуви, оставленной на два дня под кроватью, нарастает зеленый мох плесени.

На лекциях мы сидим не раздеваясь — в пальто, шубах и шапках — и дома, на кроватях — в тех же самых пальто, шубах и шапках. Иного выхода нет. Правда, можно затопить печку-голландку в «Корчме», да дров нет ни палки. А ходить воровать те, что беспечно лежат под окнами, — дело опасное. Они — собственность очень грозного учреждения, самой матушки-милиции.

Однажды после лекций мы зазываем гостей в подвал на «голубой огонек». Спрашивают, что это такое.

Отвечаем:

— Словами это не передашь. Нужно видеть!

Вместе с нами приглашенные спускаются по темной лестнице, их торжественно усаживают на лучшие места, возле самой печки. Видно белое дыхание людей.

— Спичку! Скорее спичку!

Дрова в печке разгораются сразу — поразительно красивым голубым огнем. Это и в самом деле трудно передать словами. Гигантскими голубыми бабочками, цветами невиданной величины, голубыми звездами, листьями, ящерицами необыкновенной раскраски прыгал по дровам, расцветая, огонь. Что-то таинственное было в его голубых извивах, в этом блаженном тепле, струящемся из раскрытой дверцы печи. Все смотрят на огонь задумчиво, серьезно, и лица выражают самое неподдельное счастье.

Догорели угли. Погасли. Покрылся пеплом печной под.

— А что это было — голубое? — спросил вдруг кто-то из непосвященных гостей.

— Тш-ш! Комендант! — крикнул страж у дверей, и все вскочили с мест, сгрудились толпою. Рита Агашина торопливо захлопнула дверцу печи.

Вместе со всеми гости идут к нам, на нашу «девичью» половину. Здесь все так же холодно, сыро. В комнате стало немного светлей от белых салфеток

на тумбочках, от занавесок, но вместе с тем чего-то и не хватает. Глаз скользит по стене, по углам, не останавливаясь ни на одном предмете.

— Да, а где же ваша знаменитая вешалка? Она так украшала...— спрашивает кто-то из вошедших с удивлением.— Вы ее убрали?

Взгляд, устремленный на гостя, чист и ясен.

— Вешалка? Так ведь это она и горела... голубым огнем. Разве ты не догадался? Комендант к нам обычно приходит инвентарные номерки из золы выгребать...

7.

ДВЕ ЛУНЫ

Как-то вечером в пустой и темной аудитории — в темноте, как мне кажется, теплее, уютней сидеть — мы остались вдвоем с черноволосой румяной девушкой с нашего курса. Она расспрашивает меня о моей жизни до института. Это звучит как «до нашей эры». Я отвечаю несколько односложно. Всего сразу ведь не расскажешь. Я отшучиваюсь словами Горького:

— Я вам лучше напишу!

— Когда напишешь?

— Когда-нибудь напишу... Обо всем напишу.

Я прошу ее почитать стихи.

Ведь именно это главное, что определяет человека в нашем доме, а совсем не то, что человек говорит о себе, и даже не то, что о нем говорят другие. Стихи — это вся твоя жизнь, твоя душа, твой характер, твое отношение к окружающему. Тут не прикинешься, не солжешь.

К тому же я слыхала, что Инну приняли в институт за «военную» поэму, а на фронте она не была, и мне интересно услышать, как она представляет себе войну — что это такое.

— Поэму читать не буду. Это уже пройденный этап. Новые стихи прочту.

В доме тихо. Ни голосов, ни шагов в коридоре. Изредка только скрипнет дверь от сквозняка да в саду ветер качнет деревья, и они жалобно, по-собачьи заскулят на морозе.

Я внимательно слушаю. Это чтение и для меня своеобразный экзамен, не только для Инны. Я хочу проверить: сумею ли я сразу разгадать человека, понять его так, чтобы вся дальнейшая жизнь лишь подтвердила мои первые выводы? Что-то видится мне в моей однокурснице легковесное, торопливое.

А она читает:

Две луны — в темном небе звездном
И в холодной большой реке.
Очень ветрено. Очень поздно.
И руке хорошо в руке.
Вдруг берешь ты меня за плечи
И сквозь зубы: «Люблю, пойми...»
Серебристую гладь калеча,
Ветер воду рябит в Томи...

Говорят, для того чтобы стать писателем, надо хорошо узнать жизнь. Но что может знать о жизни восемнадцатилетняя школьница, да еще с этой вечной болтовней, с вечным смехом. Но откуда тогда взялись «две луны»? Фантазия? Выдумка? Ведь не может же Инна пока знать ничего ни о сложностях жизни, ни о том горьком опыте, который приходит с годами, когда постепенно постигаешь скрытый смысл явлений и слов. Почему она все же берется так смело за внешне, казалось бы, непосильное дело, и его выполняет? Может быть, талант иногда идет не от жизни, не от собственного опыта, решаю я, а от чужого, может, он иногда умеет угадывать, что-то чувствует интуитивно?

Лев Толстой и тот никогда не расставался с записной книжкой, заносил в нее все, что видел и слышал, не надеялся на собственное воображение, подстерегал и ловил деталь с изумительной зоркостью. Прежде чем стать писателем, Горький обошел пешком всю Россию и на собственном опыте узнал жизнь миллионов обездоленных. Чехов, как врач, хорошо понимал, что такое страдание. Салтыков-Щедрин видел множество городов, прежде чем написать свой прославленный Глупов.

Но откуда, каким опытом рождена, например, такая фраза: «В Китае, как ты знаешь, все люди китайцы и сам император — тоже китаец»? Не в учебнике же географии у Н. Н. Баранского ее вычитал Андерсен?! Что исходит от точного знания и что от фантазии, от игры, от усмешки? Никто не спорит: писатель

может домысливать, но до какого предела? И не слишком ли мы старательные ученики у будничной повседневности? Может быть, у талантливого, животворящего ума бывают и свои особые праздники?..

Я часто встречала в жизни людей, которые своим талантом обязаны отнюдь не жизни и не школе, а только самим себе, вопреки тем условиям и среде, в какие их жизнь поставила. И от этого они не были ни беднее, ни суше. Летя мыслью вперед, обгоняя свое суровое время, они, видимо, восполняли недостающее знание каким-то особенным художническим чутьем, безошибочным шестым чувством. И тут можно только удивляться и разводить руками: почему оно так безошибочно, это их шестое ли, десятое ли чувство, которого нам иногда так не хватает? В чем его психологическая основа, какова историческая природа его? Может быть, ученые ХХХ века откроют и снимут покров загадочности с того, что мы называем «вдохновением», «талантом от бога», а то даже и «гениальностью». И, может быть, это будут просто биотоки, улавливаемые чутким, отзывчивым мозгом, или какие-то переданные по наследству, от предков, особые качества и особые чувства, подобные тем, которые мы испытываем, когда во сне летаем или падаем с дерева? Как знать! Мы сейчас до одурения спорим о труде, об усидчивости писателя и все еще не различаем, не отделяем одно от другого: когда пробивается мощь и не находит еще выхода на страницу и когда вымучивается и потеет бессилие...

Раздумывая над этим, я молчу и не отвечаю на столь неизбежный в нашем доме наивный вопрос: «Ну как рифма? А образ?» В стихах о двойной, отраженной луне я в первую очередь вижу упрек себе. В жизни, видимо, человек не всегда обращен к нам именно той стороной, какая в нем главная. Поэтому мы и судим о людях поверхностно, торопливо. И я с грустью думаю: наверное, и во мне есть эта другая, до времени еще не освещенная сторона. Но какая она? И когда она наконец повернется к людям? Чем хорошим откроется?

Я молчу. О стихах мне не хочется говорить: об эпитетах, рифме, размере, о том, насколько тот образ удался, а этот не удался, то есть разбирать недостатки профессионально. Поэзия, как и музыка, вызывает в

душе иногда целый рой новых мыслей, и чувств, может быть лишь весьма отдаленно и косвенно связанных между собой, возникающих бурно, стихийно... И чем больше этих мыслей и чувств возникает в душе у тебя и чем отдаленней и тоньше их связи, тем, наверно, сильней и правдивей поэзия.

При чем же здесь тогда отглаженные или ассонансные рифмы, эпитеты и метафоры? Разве они не кирпичики в стройном, возвышенном здании, не живые клетки в сотворенном и живущем по всем житейским законам теле стихотворения? Восхищаться удачною рифмой или смелым, новаторским образом в стихотворении — все равно что сказать композитору, прослушав симфонию: «Знаешь, милый, мне больше всего запомнилось твое верхнее «до»... Оно у тебя гениально!»

8.

ЧТО ЕМУ ГЕКУБА?

Постепенно мы привыкаем друг к другу. Начинаем дружить.

Сначала на курсе: с соседом по аудитории. Потом с товарищем по творческому семинару, а на семинарах можно встретиться и со старшекурсниками. Потом среди прочих уже различаем единомышленников по литературным симпатиям, по взглядам на жизнь, по перу. Прозаики уходят к прозаикам, драматурги — к драматургам. Поэты, поскольку их большинство, живут «стадно» и шумно. Они часто меняют друзей, легко сходятся, быстро ссорятся и находят себе врагов даже там, где их нет.

Уже всем известны наши курсовые «звезды» первой величины. Они часто выступают с чтением стихов в нашем институтском клубе, в Доме литераторов, в Союзе писателей, на студенческих вечерах в других вузах и быстро приобретают популярность: Расул Гамзатов, Инна Гофф, Рита Агашина, Наташа Бурова, Игорь Кобзев, Григорий Куренев. Критики держатся солидней, спокойней. Когда Андрей Турков или Володя Огнев о чем-либо спорят с преподавателем, тот смотрит на них с уважением и отвечает не сразу, а по-

думавши, очень серьезно. Прозаики больше молчат: у них жанр тяжелый, неповоротливый. Лишь изредка бросают словечко-другое.

— В бездарных произведениях своеобразное единство формы и содержания, — доказывает во время перерыва Геннадий Калиновский. — Банальные мысли в них и выражены банально...

Был хмурый снежный денек.

Прозвенели звонки на лекцию, а преподавателя все еще нет.

Мы сидим тихо, тесно, плечом к плечу, как в окопе: уж больно мала отведенная для нашего курса комнатка. Настроение у всех спокойное, раздумчивое, может быть, потому, что за окном так плавно, невесомо кружатся в воздухе белые снежинки. Они летят и поврозь, и сцепившись в крупные хлопья.

Русской сказкой дышит эта первая наша мирная московская зима.

Дверь открылась, и в аудиторию вошел невысокий, худой человек, узколицый и тонкогубый. Лицо его бледно, в глубоких складках. На висках седина.

Лев Николаевич Галицкий — так зовут нашего преподавателя по западной литературе — начинает свою первую лекцию для нас, новичков.

Он прошел боком между тесно сдвинутыми столами к окну, задумчиво опустил голову, и мы замерли.

Устремив куда-то вдаль отрешенный взгляд и стоя на фоне серого зимнего неба, он начал тихо, но твердо:

— Я очень рад, что мне выпала честь познакомить вас с поэзией Вийона и Петрарки, с новеллами Боккаччо и Деперье, с творчеством таких гигантов литературы, как Данте, Шекспир, Рабле, Сервантес... Нет ничего прекраснее того, что сделано этими людьми. Учитесь у них быть мудрыми и глубокими и в то же время понятными и простыми. Любите людей так, как любили они. Без человека нет литературы. Это подтверждает тысячелетний мировой опыт наших лучших писателей. Поэтому будьте внимательны к человеку...

Галицкий ходит по узкому промежутку между столами и черной доской. Иногда он останавливается, умолкает, подыскивая более точные слова. Потом сно-

ва приближается к окну и долго вглядывается в белые легкие снежинки, которые кружатся перед его взором. Мы уже знаем: Лев Николаевич тяжело болен, говорят, на войне у него погиб сын.

Мы догадываемся, о чем он думает в эти короткие минуты. На запад от Москвы лежит не одна солдатская могила под красной фанерной звездой, и точно такой же снежок сейчас кружится над ними...

Более всего мне запомнились лекции Галицкого о Шекспире. В эти дни Лев Николаевич был взволнован, говорил быстро, нервно. Он не видит, не замечает нас и как бы наедине беседует с королевой, шутит с Офелией. Вот он смотрит представление бродячих актеров. Он спрашивает со вздохом: «Что ему Гекуба?» И вдруг смеется тихим, нервным смешком.

Он говорит нам об алчности Шейлока, о любви Ромео и ревности доверчивого мавра Отелло, о коварстве и властолюбии леди Макбет, о слепой доброте короля Лира. И, слушая его, мы начисто забываем о сюжетах, завязках и кульминациях, о законах построения диалога и развязках. Кажется, сюжетов нет вообще. Есть только человеческие страсти и их столкновения. Именно страсть — вот кто единственный сюжет всех трагедий на сцене и в жизни, пружина действия, разоблачительница «красивых» слов и коварных проступков.

О человеческих страстях говорят и круги Дантова ада. Разве это случайно, что люди, ничего не свершившие за всю свою жизнь, не сотворившие ни зла, ни добра, ютятся в прихожей, в преддверии ада? Они не достойны даже мучиться с грешниками!

Писатель, по Галицкому, — это не тот, кто умеет написать звонкую фразу или выдумать яркий, «пронзительный» образ — это умеют и графоманы, а тот, кто видит в цепи фактов идею, в ряде поступков — характер, а в мыслях — закономерность. Кто умеет по частности, по одной голой кости — детали воссоздать всего мамонта: Госпожу Действительность.

Эти лекции не о литературе, а о жизни, о человеке.

Иногда Галицкий уходит от темы занятия, шутит. Говорит:

— Гений имеет право на все, на что не имеет бездарность: на дурной, сварливый характер, на драные

локти, на глупую мещанку жену, на невежливость, даже жадность. Единственное, что дозволяется посредственности и чего не должен делать талант,— это быть подлым.

В другой раз он заметил:

— Прежде всего нужно быть беспощадным к себе самому. Только тогда сможешь другому быть добрым...

Галицкий очень скоро и как-то незаметно для нас, студентов, умер. Ходил, ходил на лекции, шутил, улыбался — и вдруг объявление в черной траурной рамке.

«Смерть — несчастье не для умершего, а для оставшегося в живых», — говорит Эпикур. Мы потрясенно перелистываем Шекспира, оглядываемся на дверь после звонка на лекции: вдруг Лев Николаевич войдет своей быстрой, мелкой походкой, сядет боком за стол и устремит задумчивый, отрешенный взгляд за окно?

Но вместо него приходит кто-то другой.

Профессор-фольклорист Сергей Константинович Шамбинаго обычно в аудиторию не входит, а всплывает, как величественный дряхлеющий сорокапушечный корабль.

Его молодость отшумела в бурных схватках в литературных кружках символистов и декадентов в начале века, а впоследствии в борьбе за свою точку зрения в науке. Пережил он, как видно, немало, потому что и сейчас, очень грузный, отекающий, все кипит еще ненавистью к своим литературным противникам, каждый день предаёт их анафеме с кафедры. Однако врагов своих Шамбинаго называет уж как-то по-свойски, по-родственному, по-домашнему, словно свyksя с ними за долгие годы, сроднился и теперь уже вроде бы не представляет себе жизни без этих всех Колек, Сашек, Андрюшек. И если бы в один прекрасный день эти Кольки, Сашки и Андрюшки перешли в его «веру», он, видимо, первый бы жестоко огорчился. Иногда Сергей Константинович забывает о нас: что-то шепчет свое, сидя, нахохлившись, за столом и опершись на палку, глядит вдаль, поверх наших голов, потом вновь возвышает простуженный голос.

Он любит исконную русскую речь.

Иногда Шамбинаго мне кажется колдуном-всеведом, который знает, где растёт разрыв-трава и куда

надо кинуть заступ, чтобы добыть столь насущно необходимое тебе «петушиное» слово. Но сам он не ищет каких-то особенных слов. Он раскапывает перед нами простейшие глиняные черепки древней речи, и своей древностью и точным служением делу черепки эти почему-то всегда перевешивают над словесной сегодняшней мишурой.

Я уверена, кто-нибудь обязательно меня упрекнет: почему именно Галицкий, Шамбинаго? А где братья историки Радциги? А Ульрих Рихардович Фохт? А Василий Семенович Сидорин? А Валентин Фердинандович Асмус? А Яков Михайлович Металлов? А Лидия Александровна Симонян?

Их было много, замечательных педагогов, учивших нас уму-разуму. Но они пришли к нам уже в последующие годы, а я говорю о начальном, самом остром для восприятия периоде времени.

Сейчас трудно все перечислить и подсчитать, чему нас за эти годы научили и что более всего пригодилось в дальнейшей жизни.

Каждый из педагогов по-своему заставил уважать и любить свой предмет. Одних профессоров было трудно записывать, зато интересно и весело слушать, как Реформатского. Другие читали, может быть, несколько традиционно, излишне спокойно, как Металлов, но зато сообщали самое важное, и в их изложении была та последовательность, та логичность и стройность, без которой нельзя охватить явление в целом. Третьи помнятся простотой в обращении с нами, как Симонян и Сидорин.

Мы, подобно бочкам Данаид, готовы впитывать в себя все бесконечно. Все, что существует на свете: теорию прибавочной стоимости и историческую описку попа Упыря Лихого; подвиги Геракла и скабрзные фавлю; романы и пьесы Симонова и песнь о Роланде; символистов и войну Белой и Алой розы; круги Дантова ада и «всеобщую любовь» Людвига Фейербаха; теорию «ножниц» и тысячи прочих других вещей, из которых и состоит теперь вся наша жизнь...

Мы прилежно изучаем чужие горести и ошибки, дабы нам было легче жить в этом мире; и каждый, ликуя, открывает для себя какую-нибудь очень «новую» истину.

Нас учат всерьез. Солидно. Обстоятельно.

Нам спешат рассказать все и обо всем.

Педагоги, конечно, помнят, что мы пришли в институт не со школьной скамьи, что перерыв в четыре года — и не каких-нибудь, а в четыре года войны, — дело сложное и не всякий может сразу забыть, отрешиться от пережитого, снова стать школяром, постигая премудрость многочисленных наук. И все-таки нам рассказывают обо всем сразу, вздох: политэкономия, литература, история народов СССР, история средних веков и так далее, плюс теория перевода, теория драмы, история драмы, история живописи, история музыки, медицина, военное дело, культура речи, история критики, спецкурсы по творчеству таких писателей, как Гоголь, Лермонтов, А. Н. Островский, Маяковский, Шолохов, факультативные языки: армянский, казахский, украинский, белорусский, польский, болгарский, сербский...

Преподаватель спецкурса по белорусской литературе начал свою речь следующей фразой:

— История белорусской литературы не столь интересна, сколь трагична...

Впоследствии он, видимо, приложил все усилия для того, чтобы это и в самом деле для нас было «трагично», ну, попросту, «скучно».

Под унылый, чуть-чуть завывающий говорок «белорусского деда» мы честно отсиживаем академические часы. Кто читает, кто шепотом начинает декламировать стихи Глебки, Тетки и Витки. Кто-то быстро рисует портрет незадачливого нашего лектора на листе бумаги, вырванном из тетради, и мы сообща сочиняем к рисунку подпись: «посадил дед Глебку, выросла Глебка большая-пребольшая... Стал дед тянуть Глебку, тянет-потянет, никак вытащить не может. Позвал дед Тетку. Тетка за дедку, дедка за Глебку...» и т. д. и т. п.

Читают нам курс из древнерусской литературы. Вернее сказать, мы сами ее себе читаем, так как занятия эти «ведет» заведующий учебной частью, человек,

вечно занятый и вечно спешащий куда-то. Он обычно просит нас раскрыть учебники на такой-то странице и посидеть часа два, не мешая остальным курсам, а сам уходит.

Однажды он явился, окрыленный замечательной идеей:

— Вот вам книги!.. Читайте о Евпатии Коловрате! После перерыва напишите на эту тему стихи! Я приду, обязательно проверю...

Он ушел, а мы погрузились в сомнения.

Конечно, Евпатий Коловрат — национальный герой, с ним шутки плохи. Но как отнестись к самой идее — писать стихи «на тему» и что же это будут за стихи?

Два часа мы занимаемся очень тихо: одни читают книги, предусмотрительно взятые из дому, другие готовятся к очередному занятию по языку, третьи играют в «балду» или пишут пародии друг на друга, на задних скамейках беседуют просто «за жизнь».

И только Рита Агашина и Инна Гофф вдохновляются подвигом Евпатия Коловрата.

Вернулся наш «древнерусский» Лев Романыч. Мы притихли перед расправой. Начался строгий допрос:

— Где стихи? Почему не выполнили задания?

И вдруг Инна и Рита встают и докладывают:

— А мы написали!..

— Читайте!

И весь курс слушает с изумлением:

В степи под Рязанью высокие травы,
Изрытые плугом стократ.
Лежит под курганом, овеянный славой,
Старинный герой Коловрат.
Он шел на Рязань, из Чернигова выйдя,
В засаду попался отряд:
Налево — татары, застава — направо,
И нету дороги назад...

Стихи были длинные и кончались совершенно откровенным ликующим плагиатом:

Подсолнух высокий, а в небе далекий
Над степью кружит самолет...

После этого нам больше не давали заданий писать стихи на древнерусские темы.

Но на Евпатии Коловрате наши научные «мытарства», к сожалению, не кончаются. Долгие годы до нас, и при нас в течение пяти лет, и спустя годы, по свидетельству младших поколений студентов, в институте без устали «уточняют профиль», ищут, варьируют, улучшают, сокращают и чего только еще не делают с нашей многострадальной учебной программой! Случается всякое и в наше веселое время.

Ах, не всегда это достоинство — быть «единственными в мире»! Иногда такая исключительность нам дорого обходится, ибо самое досадное на свете — это зря потраченное время.

Для одних курсов у нас, например, читают так называемую культуру речи, другие же и понятия не имеют, с чем ее едят. Около двух лет мы изучали казахский язык, но так и не выучили ничего, кроме крыловской басни «Мартышка и очки» в переводе с русского. Вероятно, нашим добрым учителям всерьез кажется, что у нас действительно «в запасе вечность» и нам ничего не стоит «потерять часок-другой». А между тем на творчество такого писателя, как Лев Толстой, по программе отводится всего несколько торопливых беглых обзоров: «Война и мир» — четыре часа, «Анна Каренина» — два часа и так далее.

Много странностей в нашем доме!..

Но среди «высоких» административных увлечений науками начинается еще увлечение и «снизу» — самодетальное, изнутри, по инициативе самих студентов, наших будущих прозаиков и поэтов.

Так, одной прекрасной весной в коридорах института вдруг потянуло резким запахом бензина. То и дело кого-нибудь вызывают с лекций, и в темной передней звучит злобещий шепот:

— Скорей!.. Инструктор ждет во дворе...

Через минуту раздается треск мотора, и грузовик с надписью «Учебный», вихляя, выкатывается на Тверской бульвар...

— Не выйдет из меня писателя — пойду шофером

в колхоз... Не пропаду! — шутит, отмывая бензином руки, Володя Тендряков.

Легкомысленные поэты и в увлечениях своих остаются легкомысленными. У них другое занятие, более подходящее им по вкусу. После лекций они собираются в зале, там гремит рояль, слышится топот многих десятков ног. Свистящий голос танцмейстера отсчитывает такт: «Шасси вправо, шасси влево»...

Рита Агашина, поглядев на эти «безумства», сказала:

Тут шасси, там шоссе,—
Обалдели, что ли, все?

11. ВАМ РАНОВАТО ЕЩЕ НА ПАРНАС

Почему-то в литературе существует предрассудок, что о тайнах профессии, о технологии литературного творчества может думать и думает только мастер. Подмастерью, ученику, подобные сложные эмпирии недоступны.

— Ты так судишь, как будто у тебя за спиной два десятка романов и повестей! — заметил кто-то из старшекурсников новичку на творческом семинаре.

— Я сужу об этом так, как я об этом думаю, — ответил тот твердо. — Если я неправильно думаю, то так мне и скажите. Я жду возражений по существу. Но, если мысли мои правильны, какое вам дело, что я еще ничего не написал? Разве это важно? Разве истина от этого перестает быть истиной? В литературе вообще нет ни шиита, ни суннита, ни правоверного. Все равны перед белым листом бумаги...

Мне кажется, этот самонадеянный товарищ был неправ. Новичок должен думать не меньше, а больше мастера. У мастера уже многое найдено: у него есть свой стиль, своя манера обработки материала, своя тема. Он во многом опытен, «поднаторел». А юнцу искать и искать, для него все — потемки. К сожалению, бывает и так, что чем больше он сомневается, размышляет, примеряется, тем труднее ему становится писать, делать нужные выводы. Иногда он вообще в своей трудной аналитической работе уподобляется

сороконожке, о которой нам рассказывал Паустовский: задумавшись над сложным механизмом ходьбы, она взяла и — разучилась ходить. Может быть, действительно надо писать... не задумываясь? Петь как птица? Как бог на душу положит?..

Мы ждем с нетерпением своего первого творческого семинара, потому что хотим уяснить, чего же мы стоим.

Мы сами еще не знаем себя. Мы хотим, чтобы кто-то чужой, посторонний, а следовательно, объективный, пришел и сказал нам, что нас ждет впереди. Как будто бы можно заранее угадать, как сложится та или иная поэтическая судьба!

Чехов в письме к А. С. Суворину с усмешкой писал: «Надо быть богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться». Но мы пока этих слов еще не читали. Они будут прочитаны после. Пока мы жадно слушаем вестников из большого, только что открытого нами мира: что сказал Смеляков? А что Исаковский? А Леонов? А Федин?

В дни творческих семинаров мы вглядываемся в наших писателей-педагогов. Даже не верится, что здесь, в коридоре, можно встретить живого «классика». Вот навстречу тебе идет человек и в ответ на твое взволнованно-приглушенное «Здравствуйте!» улыбается и смущенно кашляет, и ты видишь, что он такой же, как ты, человек. Курит. Морщится. Шутит. Или строго глядит на тебя. Как и ты, бывает весел или не в духе, в зависимости от погоды и обстоятельств. Как и ты, может опаздывать или же приходить на занятия раньше времени и бродить по глухим, лишенным солнечного света коридорам, что-то бормоча себе под нос. Может быть, вот сейчас и рождаются какие-то удивительные стихи, гигантские образы, дивные фразы?

А пока он так бродит в одиночестве, томимый хорошо нам понятной и такой уважаемой жаждой творить, мы терпеливо ждем звонка, сидя за столами в аудитории, и шепотом переговариваемся. Все о том же, о том же:

— Вот читаю «Казачьи» Толстого. Как просто! — говорит один, наклоняясь к соседу. — Как все непостижимо просто! Нет, мне никто не докажет, что гения рождает усидчивость! Ничего она не рождает! Это ге-

ний сам рождает все, что захочет... Возьми зрение у Толстого — это же силища рентгеновских лучей! А язык? Какая мощь!.. А какая свобода, небрежность во фразе! Читаешь иного хорошего писателя и вдруг видишь: вот слабость, вот оговорка, вот длинноты и думаешь: «Ах, брат, ты такой же, как я. Ничто человеческое тебе не чуждо...» А читаю Толстого — и на каждом шагу повторяю: непостижимо! Я такого никогда не достигну! Мне даже слабостей его не дано.

— Толстой — это голова.

— Послушайте, что пишет Мюссе: «...нечего обманываться: во всех советах, обращенных к молодым, есть... скрытое желание заставить их подражать; им говорят о независимости, им открывают широкую дорогу, а втихомолку толкают их на узкую колею, уже проторенную отцами».

— Ну и что?

— Подумаешь, Мюссе! А сам-то он чего нового изобрел? Помесь Руссо с Шатобрианом...

— Повернем истории колесо, как сказал Жан-Жак Руссо!

Рядом кто-то жалуется, негодуя:

— На издание книги затрачиваешь больше усилий, чем на писание ее...

— Ну, в этом мы сами виноваты! Автор всегда знает, где ему лучше: он забирает рукопись там, где его охотно напечатали бы, и несет туда, где не знают, как от него избавиться...

— Господи! Кто скажет: как писать?.. Есть книги, все в роскошных деталях. Читаешь их с наслаждением, а прочел — и забыл. Другие и лохматые, словно бы сроду не чесались, и фраза звучит, как немазанная телега, и образы вкривь и вкось, ни на что не похоже. Сидишь и плюешься! Зато каждый жест героя — отчетливо, крупно, как в блеске молний. И через пять лет будешь помнить, как он встал, повернулся, пошел... Так вот, что из этого — настоящая литература? А? Мне-то как надо писать? Бисер метать? Или же эти тяжеленные глыбищи, необработанные, ворочать?..

— Пиши, как умеешь. Как проще.

— Ох уж эта мне простота! Как легче, как проще. Как серей, как бледней...

— Да, кстати, о серости... Ты знаешь, как рождаются серые статьи? Обыкновеннейшим образом. Берут

в руки красный карандаш и начинают черкать: «Это выражение слишком субъективно. А это хоть и ярко, образно, да неточно. А вот это обидит главного редактора. А здесь дважды на странице повторяется слово «который». Ну, а зачем же вы ссылаетесь на Энгельса? Стоит ли по пустяку привлекать себе на помощь столь высокие авторитеты! И зачем так запальчиво критиковать? Ведь вас же, вас, дорогой, от нападок оберегаем...» Когда все непохожее вычеркнуто, остается то, что похоже на другие статьи как две капли воды. После этого захочется ли писать вообще?..

— Ах, не делайте вы из поэзии, обольстительницы и колдуньи, приходящую домработницу!..

— Маяковский не гнушался себя и ассенизатором называть...

— Все мы — желуди с одного дерева, все идем и оглядываемся на Толстого...

— Мы слишком серьезны в литературе. Мы боимся и не любим смеяться, дабы нас не обвинили в легкомыслии... Анатолий Франс был прав, когда говорил, что гений человека измеряется его веселостью. Спорить о литературе всерьез — дело критиков. Писатели же должны относиться к ней снисходительней, проще. Ибо свободу обращения с предметом дает абсолютное знание его, взгляд сверху вниз: «Как-никак сами делаем!» Однако, видимо, не каждый осмеливается таскать за усы тигра...

Прозвенел звонок, и все смолкли. Затихли даже самые рьяные спорщики: Василий Федоров, Игорь Кобзев. Обычно они делают больше всех шуму. Тише всех на курсе Расул Гамзатов — он все время пишет стихи.

Что может быть удивительней зимнего вечера, когда за окном вьюга, а в коридоре едва слышны шаги уходящих с последнего семинара, а ты все сидишь еще в маленькой комнатке, в облаках табачного дыма, и вокруг тебя смутные, удивленные лица и тишина, затаенное дыхание, лишь изредка робкий вздох, взгляд, улыбка. А большой и красивый человек с нависшими на глаза мохнатыми бровями еще гулко басит:

Но ты мне приснилась,
как мужеству — отдых,
Как мужеству —
книг неживое соседство.

Как мужеству —
 вождь, обходящий заводы,
Как мужеству —
 пуля в спокойное сердце.
Прощай, если веришь,
 забудь, если помнишь...

Сколько времени нам дано дышать этим воздухом? День? Два? Пять лет? Всю жизнь? Может, вечность?..

В литературе, как и на войне, не всегда выигрывает тот, кто одерживает сразу одну победу за другой.

Как знать, может быть, тот, кто сегодня ходит в гениях, завтра уже ничего не напишет, а бездарность, над кем посмеиваются, указывая пальцами, на кого сегодня посматривают свысока, как раз и совершит то, чего не сумели совершить другие?..

Поэзия, она... баба капризная!

12.

ВИТАМИН «ОПТИМИН»

Мы семья. Нас четверо: Инна Гофф, Рита Агашина, я и рыженькая старшекурсница Эвелина Зингер, или Элла, которая нас, «малышей», встретила в институте приветливей остальных. А это обычно не забывается.

Так как мы с Эллой старшие по возрасту, то в нашей четверке как-то само собой сразу же распределились обязанности: я — «мама», Элла — «папа Фитих», а Рита и Инна — наши «дочери». Затевав эту веселую игру, вряд ли кто из нас думал, что к своим обязанностям «отцов» и «детей» мы должны будем относиться серьезно. Это меньше всего входило в наши планы. Но в институте о «семье» очень быстро узнали и сделали соответствующие выводы. Однажды в коридоре меня встречает строгая бухгалтерша и говорит:

— Ваши дочери очень невоспитанны! Вы уж, пожалуйста, за ними следите.

Честно говоря, мои «дочери» действительно отличаются. Им ничего не стоит, например, завернуть в одеяло полено и с эдаким «уважающим младенцем» пойти в магазин без очереди или сесть в трамвай с передней площадки. А то, получив по карточкам сгущенное молоко, они съедят его по дороге специально для

этой цели припасенными ложками. Мне же с Фитихом принесут только грязную посуду. А то в ответ на злую фразу Володи Шорора: «В институте нет талантов», — сочинят частушку и горланят ее под дверями творческой кафедры специально в часы заседаний.

Разбегались консультанты
И кричали по пути:
В институте нет талантов,
Хоть Шорором покати...

Когда мы все вместе, нам трудно быть серьезными.

Нередко нас спрашивают, отчего нам так весело.

— А мы покупаем витамин «Оптимин», — ответила как-то моя «старшая дочь» Рита. — И едим его с хлебом.

Мила Городецкая, известная своей легковёрностью и к тому же слишком уважающая Риту, чтобы усомниться в ее словах, глядит на нас с откровенной завистью и любопытством.

— Ну?! А где же он продается?

— В аптеке на площади Пушкина. Как съешь пять таблеток, так весь вечер тебе будет смешно...

На другой день, вызывая у присутствующих гоме-рический хохот, Мила простодушно говорит:

— Обманули! Никакого «Оптимина» там нет!

Может быть, в аптеке на площади Пушкина действительно такого витамина нет и наша промышленность его еще не научилась изготавливать, но у нас он есть, и в избытке. Это он окрашивает «подвальное» существование в жизнерадостные, светлые, солнечные тона. Запеканка из лиловой мерзлой картошки благодаря ему называется пирожным, подвал — нашим домом, а наша четверка — семьей.

13.

ТИШИНСКАЯ ЭПОПЕЯ

...Ордера, ордера, ордера не дове-
дут нас до добра.

Наш отчий дом — «единственный в мире» — так нам говорят, когда нужно поддержать бодрый дух в не-
мощных телах будущих классиков.

«Вы на общих основаниях» — когда как-то нужно отбиться от наших требований.

Да, мы знаем, что институт организован на «общих основаниях», что стипендия в нем — самая маленькая из всех существующих стипендий. И профком института развивает бурную деятельность, чтобы помочь нам в житейских делах.

Большинство студентов — участники войны, инвалиды, контуженные и просто люди со слабым здоровьем. Надо научить их верить в себя, дать возможность им пережить самое трудное, послевоенное время, не допустить, чтобы бросили учиться, или — что еще хуже — исхалтурились на легком заработке.

Правдами и неправдами добываются в обкоме союза так называемые ордера. Ордер — это бумажка, дающая право купить в магазине пальто, обувь, платье, необходимые вещи. К ордеру нужно прилагать еще «единицы», причитающиеся на промтоварную карточку. «Единицы» — весьма ходовой товар. На базаре они — рубль штука. И если ваша промтоварная карточка израсходована — не печальтесь, ступайте себе с богом на Тишинский рынок, будут вам «единицы»!

Когда на руках есть ордер и «единицы», недостает еще одного весьма немаловажного предмета — денег. Но и эта проблема решается довольно просто. Вы идете к директору Ф. В. Гладкову или его заместителю В. С. Сидорину и тихонько просите займы рублей 200—300 «до завтра».

А когда пальто, ботинки, платье или костюм уже куплены, вам нужно их... срочно продать. И не просто продать, а сбыть с рук так, чтобы окупилась расхody на приобретение «единиц», чтобы можно было отдать долг, взятый «до завтра», и чтобы, кроме всего прочего, у вас осталось хоть немного денег на житейство до стипендии. На языке богини правосудия ваши действия называются очень точно: спекуляция. Но что делать?

Продавать «товар» обычно отправляются несколько человек, избранные «обществом», — так легче, удобнее, не обманут жулики, никто не обидит.

Морозный, мгlistый полдень. Зима. Наше «семейство» на базаре. Одна из моих «дочерей» стоит на тротуаре с огромными сапогами в руках и выкрикивает:

На огромных две ноги
Покупайте сапоги!

Другая «дочь» держит нечто крохотное, состоящее из одних переплетений, и пищит:

У кого крошки ножки,
Покупайте босоножки!

Публика знает, что мы студенты. К нам относятся дружелюбно, доброжелательно.

Какой-то военный с шутками и смехом отсчитывает деньги за сапоги. Босоножки быстро исчезают в кошелке перекупщицы. Все довольны. Мы покупаем горячие пирожки и тут же, на базаре, их съедаем. Совесть наша чиста. После расплаты с кредиторами чисты и карманы, но... ведь можно занимать под будущий ордер!

И — жизнь продолжается...

14.

**И ГОРЕЧЬ СЛЕЗ,
И СЛАДОСТЬ СЛЕЗ!**

Думала ли я когда-нибудь, что именно здесь, в Литинституте, я войду в конфликт с поэзией?

Стихи я люблю с детства.

В доме всегда было множество книг: зимой я их читала под завывание вьюги, забравшись на русскую печку; летом — сидя где-нибудь на дереве или в лодке, на пруду. Поставишь плоскодонку носом в заросли камыша, чтобы волна не качала тебя с борта на борт, и сидишь целый день под реденькой полосатой тенью куги и осоки. Сонно гукает вдалеке водолуб. Неразборчиво верещат и бормочут лягушки. С легким, сухим треском, как маленькие вертолеты, над самой головой замирают в тяжелом зное стрекозы.

Жизнь без тревог — прекрасный светлый день;
Тревожная — весны молодые грозы.
Там — солнца луч и в зной оливы сень,
А здесь — и гром, и молния, и слезы...
О! Дайте мне весь блеск весенних гроз,
И горечь слез, и сладость слез!

Мои старшие сестры на зиму уезжают из Каменной степи в Воронеж, в школу, и оттуда каждый раз при-

возят что-нибудь новое: Жуковского «Наль и Дамаянти», стихи А. К. Толстого, Тютчева, Фета.

Мы читаем стихи на память, перебивая друг друга. Мы мыслим стихами. На каждое замечание взрослых, на обиду или шутку отвечаем стихом.

Особенно много стихов я узнала за время болезни. Однажды почти целое лето я тяжело проболела и сидела на строгой диете. Поэтому всякий раз, когда домашние садились обедать, а из столовой до меня долетал веселый стук ножей, звон стаканов, тарелок и доносились мучительно-ароматные запахи кушаний, я хваталась за книгу. Руки были слишком слабы, чтобы держать толстый том; от голода, от сознания своей слабости и полной зависимости от взрослых я заливалась слезами и, чтобы не шептать ожесточенно: «Жадины, жадины, жадины...» — начинала заучивать какую-нибудь стихотворную фразу.

Так я выучила массу стихов.

Вечерами сестры дежурили попеременно возле моей постели, читали мне вслух Кольцова, Никитина, Бунина, и переполняющая мою душу тогда еще безотчетная, но горячая любовь к русской природе навсегда соединилась в одно целое, неразрывное с любовью к великолепному русскому стиху.

Книги, служившие мне до болезни игрушкой, развлечением, незаметно стали чем-то вроде святыни. Я ревниво прячу их на ночь под подушку и долго, уже во сне, вспоминаю и мысленно повторяю слова, вижу, как плывут перед глазами знакомые строчки.

Как только мне разрешили подняться с постели и я впервые вышла в степь, я громко запела на свой собственный, может быть, несколько дикий мотив только что выученное стихотворение:

Боже мой! Вчера — ненастье!
А сегодня — что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень...

Стихи пелись свободно, легко, так, что забытое ненароком слово само становилось на место. В них звучала скрытая музыка. А главное — они отвечали тому настроению, которое царило в моей душе. Это было подобно чуду. Значит, кто-то совершенно неведомый мне понимает сегодняшний день точно так же, как я?

Даже больше: он сумел это выразить, в то время как я еще ничего не умею. Он откликнулся, передал в стихе все мои чувства: счастье быть здоровой, радость встречи со степью, с цветами, с птицами, с ярко брызжущим мне в глаза ослепительным солнцем, ощущение свободы, раздолья и пьянящего воздуха лета?

Я села на камень, лежащий на вершине кургана, и долго смотрела в беловатую от облаков высь жаркого неба. И вдруг в голове как-то сами собой сложились странные, незнакомые мне строчки. Они вылились словно помимо моей воли:

Тростники перебирает ветер
Тонкими проворными руками,
Первый раз меня ты в поле встретил
У межи, где придорожный камень...

Как только я сложила эти пришедшие мне в голову слова в одно целое, я вдруг подумала: «А удобно ли рассказывать людям о том, что мы с ним встречались? Ведь я выдам тайну...» Эта мысль меня страшно смутила. Как все подростки, я ужасно ревниво хранила собственные тайны, которые, вероятно, были давно известны всем окружающим. Но стихи уже имели свою особую силу: они не распадались. По крайней мере, в моем сознании они уже не могли распасться на составные части, перемениться. Они должны были остаться такими, как есть. Не хуже и не лучше, а именно так, как я сказала. И это опять меня смутило: значит, я теперь над ними не властна?!

Это было так ново, что я вскочила с камня. Кузнечики градом посыпались с меня.

Я, наверное, должна была завизжать от радости, оттого, что у меня получились мои первые в жизни, не бог весть какие, а все же собственные стихи, но я опечалилась. Я не знала: а что же сказать дальше? Что именно можно высказать? Следующие строчки почему-то ускользали от меня. Кажется, вот-вот я их поймаю — и нет ничего. Все, что я придумала дальше, выбивалось из размера. Слова нагромождались беспорядочно, без мысли.

Я легла на траву поудобнее, но сердце билось уже беспокойно. Мысли путались. Настроение пропало. Музыка, звучащая внутри меня, смолкла.

Я еще долго сидела на кургане, обхватив колени

руками, и ждала, когда ко мне возвратится необычное настроение. Но внутри меня по-прежнему все молчало. Тогда я встала и лениво поплелась домой, к хутору, белевшему аккуратными домиками среди зелени акаций. Разочарование и боль сжимали мне сердце. Хотелось плакать.

Домой я пришла недовольная и мрачная и на вопросы старших отвечала дерзко и грубо. Все пропало! Ни на что хорошее я не годна! А раз так — пускай все катится к черту!

Однако удовольствие создавать уже было познано, и оно мне запомнилось больше всего. Больше, чем неудача. Кстати, это очень странно. Никто еще до сих пор не объяснил, почему удовольствие создавать образы — самое сильное, самое острое из всех существующих на земле удовольствий. Если б это было не так, отчего бы сотни, тысячи и десятки тысяч людей на земле, забывая о себе и близких, пренебрегая своим здоровьем и лишая себя простых земных радостей, дни и ночи просиживали над исчерканным листом бумаги?! Неужели же это только из любви к ближнему, в назидание потомкам?

Коснувшись стиха своими собственными руками, я решила: вся моя дальнейшая жизнь будет принадлежать только поэзии. И меня не мучил вопрос: а будет ли поэзия принадлежать мне? Отдаст ли она без боя свои высоты? А что, если я, находясь в числе осаждающих вершины Парнаса, окажусь не в раненых и не в убитых, а куда хуже, то есть совсем плохо — в пропавших без вести?

Что делать тогда?

15.

ЕСТЬ
НЕКИЙ ЧАС

Мне кажется, некоторые наши поэты пишут только лишь потому, что ничего не читают, что их мало учили. Знай они все, что было сказано до них, и умей они сравнивать, вероятно, очень многие застыдились бы своих новых стихов и поэм.

Я приехала в Воронеж, в школу, из степной глухомани. Эти долгие зимы в деревне, на маленьком хуторе

ке, где жили мои родители и где у меня не было сверстников, располагали к тому, чтобы вечером сесть возле жарко натопленной печки, еще пылающей синими угольками, и слушать жалобный вой вьюги, а то и волков за бугром, в оголенных, продутых ветром посадках. Отец уезжал на охоту. Мама много читала, и мне было скучно следить, как медленно, с наслаждением она перелистывает страницу за страницей, вся отдавшись певучей волне ритмов прозы или стиха. Из желания подражать я тоже беру в руки какую-нибудь толстую и, на мой взгляд, очень скучную книгу. И вдруг погружаюсь в нее с головою, забыв обо всем окружающем. Теперь, если даже припомнить все то, что было прочитано там, очень трудно измерить обычными мерами — томами, страницами. За жизнь они, верно, сложились в огромные тонны, в бесчисленные километры строк — отсюда до Марса. Это было и счастьем и злом, потому что о многом я впервые узнаю не из жизни, а из книги, и отблеск писательской мысли, писательского отношения к происходящему уже отпечатался в голове навсегда, как единственная несомненность, даже как идеал, а живое, свое собственное, непосредственное ощущение оказалось задавленным авторитетом.

Книг у нас в степи было много. Это Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Майн Рид, Киплинг, Жюль Верн, Купер, Толстой, Чехов, Горький и множество книг неизвестных мне авторов, растрепанных, пожелтевших от времени, без обложек, а то и без конца и без начала, и тем более нравящихся, что к ним можно было прибавить и что-то свое, дожить за героя, доделать, додумать.

Читалось, запоминалось... Классически ясноглазые, гармоничные строчки тех, прошлых веков звучали как музыка. А в Воронеже на меня вдруг обрушилась периодика, издания последних лет, слепящая яркость красок символистов, футуристов, конструктивистов, гроыхающие ритмы поэзии, рвущей в клочья каноны. Например, на что это похоже, неожиданное, из плоти, из мускулов?

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.

А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Человек — общественное животное. И не только лишь потому, что ему тоскливо в одиночестве и нужно общение, но главным образом потому, что на протяжении всей своей жизни, от рождения до могилы, он, может быть, бессознательно, но все же обязан соотноситься с кем-то более знающим, куда более мудрым, чем он сам, на кого-то равняться, и этим, стоящим выше себя идеалом, проверять, контролировать свои помыслы и поступки, перед кем-то раскаиваться в совершенном, от кого-то услышать слова одобрения. Этот кто-то должен узнать и твое самое-самое тайное, что гнетет тебе душу, и, услыша, не ужаснуться, а понять и простить.

Таким собранным в одно целое человеком для меня были книги.

Я читала запоем: и до школы, вместо того чтобы делать уроки, и в школе, во время занятий, положив книгу под парту и лишь слегка склонив голову, чтоб учительница не заметила. И после школы, до поздней ночи, а то — до утра. Керосиновая лампа прикручена, чтобы свет никому не мешал, загорожена с трех сторон, а прямо перед тусклым оранжевым лепестком огня я одна, одна в целом мире, на тайном свидании с Шекспиром, Сервантесом, Гете...

Мать проснется, пробормочет: «Ты еще не спишь? Сейчас же ложись спать!» — и снова забудется тяжелым сном измученного трудом и заботами человека. А я все сижу — и волшебная жизнь, чудесные, пронзающие душу мысли, незнакомые страны и люди удивляют меня своей жизненной логикой застраничного бытия. Писатель во всем равен богу, он творит жизнь на свой собственный лад: строит замки и города, убивает человека и оживляет его, заставляет одних плакать и мучиться, а других веселиться, одного делает храбрым и умным, другого — трусливым и подлецом, поклоняется пьянице и обжоре, придает нищему или вору черты благородства, раскрывает перед читателем боязливую, нежную душу убийцы...

По утрам по дороге в школу я все еще во власти чужого воображения. Я гляжу на окружающий меня

мир, не подозревая, что в грубой его реальности тоже есть высокая тайна, горячая искра поэзии. И уж если меня и влечет к себе эта улица, то пока лишь двойными рядами деревьев, волосатых от белого инея, повторяющимся их ритмом, низким, сумрачным небом, звенящим трамваем. Сами люди мне кажутся неинтересными, они слишком будничны, грубы, суетливы.

Сущность этих людей, их значение открывает мне все тот же Песков, наш воронежский молодой писатель, по профессии педагог, редактор детской газеты. Мне думается, если бы этот человек не встретился в моей жизни, я, наверное, никогда бы не увидела в людях того, что вижу теперь. Никогда бы не поверила в труд, в чудесную силу терпения в работе над словом, в себя.

Мир, открывшийся передо мною во встречах с Песковым, как бы ожил, заговорил на родном для меня языке, стал понятным и близким. Я увидела в тихих бревенчатых избах с горшками герани на окнах, в этих женщинах в белых платках треугольником, в мужиках, идущих весной за плугом, огромную цельную скрытую силу. Она сдержанна, неповоротлива, как сдержанно, неповоротливо солнце, как медлительны круговороты времен года. Зимы, весны и осени, сколько их в человеческой жизни! А хлеб рождается только раз в год. А чтобы вырастить дерево, например, яблоню, или лошадь, корову, нужны годы и годы... А город, живущий совсем по соседству, он торопится жить... Что ему, молодому, голодному, биология и законы землепользования!

Борис Глебович ощущал эту двойственность русской деревни, с одной стороны скованной по рукам и ногам, как железом, медлительностью биологических циклов, а с другой — взбудораженной небывалыми переменами, как свою личную большую трагедию. Он внес смуту и в мою несмышленную душу, научив меня видеть. Мы с ним много ходили по полям и лесам, любовались неярким русским пейзажем, останавливались, разговаривали с каждым встречным, уважая в нем кормильца и человека.

А главное, Песков научил меня ценить прозу, которую он знал, как стихи, наизусть и цитировал целыми страницами. Он прислушивался к живой, на мой

взгляд, звучащей так грубо и резко, простой речи народа, восхищаясь инструментовкою фразы, каким-нибудь метким словом. Говорил:

— В стихах этого не передашь...

Он хвалил меня, когда видел четкий образ в моем новом стихотворении, поясняя, что всякая мысль поэта, подобно беззвучно-рыдающей влаге бахчисарайского фонтана, должна, ниспадая, переливаться из одной строфы в другую и логически завершаться прекрасно звучащей концовкой.

Он умел похвалить — прилюдно, — хорошо понимая, какое будет иметь значение для меня эта первая взрослая похвала, каким мощным первотолчком она будет в моей начинающейся и пока еще смутной маленькой жизни.

Весна... Лес на Задонском шоссе. Россыпь синих подснежников. Мы бродим с Песковым по лесу — редактор, писатель и педагог и девчонка, четырнадцатилетняя школьница — и разговариваем обо всем, что приходит в голову. И чаще всего это проза. Он думает только о прозе. А я — о стихах, я думаю: «Проза — это чужая мне область. Я, конечно, когда-нибудь попробую свои силы и в этом, но стихи... Стихи... Это навечно».

Разве можно предвидеть, что в жизни случится?

В последний раз мы встретились с Песковым в конце июля 1941 года. Я была в Союзе писателей, в Доме книги, куда зашла попрощаться перед отъездом. Оттуда мы вместе вышли на улицу и медленно побрели по проспекту. Разговаривали о войне, о сводках Совинформбюро, о том, что вся наша мирная жизнь рухнула, переменилась. Борис Глебович записался в ряды народного ополчения и ждал вызова с минуты на минуту, я заканчивала курсы медицинских сестер и готовилась к отъезду на фронт. Вот об этом решении — ехать на фронт — я ему и сказала, и мы зашли в сад ДКА, находившийся через дорогу, и сели в тени старых лип и долго молчали, переполненные ожиданием неизвестности и тоскою перед разлукой. Что-то щемило у меня в груди. Я не думала, что война будет столь продолжительной, такой яростной, кровопролитной, такой истребительной. Мне все это казалось еще пустяком. И уж во всяком случае, я не думала о гибели города, о своей смерти или смерти кого-либо из близ-

ких мне людей, хотя бы Пескова. А он, видимо, уже все хорошо понимал, потому что глядел куда-то в глубь разросшихся веток таким добрым, измученным взглядом, что сразу стал грустным, растерянным, постаревшим. Он говорил, что война — это совсем не то, что я себе представляю, но нельзя и пугаться ее подлинного, звериного облика, просто надо хорошо понимать, что она — такая, и все, и из этого исходить. Ему, видимо, очень хотелось уберечь меня от «окопной грязи», объяснить, не запугивая, но он не находил тогда нужных слов, торопился — ведь мы расставались не просто, чтобы встретиться завтра, а совсем, навсегда, и все это в его речи путалось и мешалось. И та боль, и тревога, которая так сквозила в его серых глазах, оставалась невысказанной. Да и я ничего ему не сказала. Я думала как-то по-детски беспечно: вернусь, вот тогда расскажу, как я его уважаю и ценю его каждое слово.

Потом мы пошли с ним в кино «Пролетарий», посмотреть военную хронику и какой-то фильм про Антошу Рыбкина, сейчас и не вспомню. Я смотрела не на экран, а просто куда-то вперед и думала о том, что нас с Песковым ожидает какое-то горе, но какое, в чем оно заключается и где поджидает, когда, я не знала. И, выйдя из дверей кинотеатра, мы очень сухо пожали друг другу руки и разошлись. Надо было спешить: комендантский час, город жил по-военному, по-фронтовому. За рекою ревели сирены, возвещая тревогу.

И вот нет Пескова, большого, широкоплечего, в сером костюме, с мягким круглым лицом и большими губами, такого всегда оживленного, доброго и внимательного. Что-то было надежное, крепкое в его косых скулах, в этих пухлых губах, в его доброй усмешке. Он так и не успел написать своей главной книги, большого романа, как хотел, написал всего две-три книжки рассказов, но он, на мой взгляд, большой, настоящий писатель. Великий по духу, по облику, по цельности восприятия жизни, по запасу увиденного, передуманного. Ему оставалось лишь сесть, записать. И вот — не успел. Нет смерти более страшной, чем смерть человека талантливого, не успевшего совершить свой писательский подвиг. Этой страшной смертью погиб мой друг Борис Глебович Песков. Он

погиб на войне, разорванный прямым попаданием снаряда. А я, значащая так мало по сравнению с ним, жива. И не знаю того, что знал он, не умею того, что умел этот смелый, много думающий человек. Я даже забыла сейчас половину его наставлений. Мне приходится начинать все сначала, даже верить в себя.

Есть некий час — как сброшенная кляжа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества...

Я чувствую невозможность высказать все, что знаю, как прежде, стихами.

После гибели стольких людей, после фронта, войны, я не верю в стихи. Не в чужие — в свои стихи больше не верю.

16.

ЧЕРТИ, КУДА ЗАДЕВАЛИ КРИТЕРИЙ?

Скоро год, как мы живем очень шумной, насыщенной разнообразными впечатлениями жизнью. Все надо услышать, увидеть, везде побывать, захватить! Обо всем надо крепко подумать.

Когда в середине недели нет клубных мероприятий в нашем собственном доме, мы разбредаемся по Москве кто куда. В Политехнический музей на вечер ленинградских поэтов. В Центральный Дом литераторов на обсуждение новой книги поэта Сергея Смирнова. В заводской клуб на чтение своих собственных стихов перед рабочими. На встречу с читателями в библиотеку. На выставку в Третьяковку. В театр. И просто к писателю в гости.

Зато в субботу, в клубный день, мы всегда дома.

В нашем маленьком институтском зале, говорят, некогда читали свои стихи Брюсов, Блок, Маяковский, Есенин. Поэтому мы с почтением смотрим на низкие потолки и стены, расписанные под восточный духан: своеобразная вершина творчества нашего коменданта. (Весною комендант сочиняет в высшие инстанции такие бумаги: «Ввиду предстоящего потепления институту грозит затопление...» И Федор Васильевич Глад-

ков тайком показывает нам эти бумаги на заседании партбюро, громко фыркает и трясет седой головой, притопывает ногами.)

По субботам, в клубные дни, в этом зале наши общественные организации и кафедра творчества устраивают разнообразные литературные вечера. Например, сразу же после начала занятий состоялось нечто вроде концерта «Будьте знакомы!», на котором первокурсники рассказывали о себе и читали стихи. Потом была встреча с выпускниками, когда к нам пришли уже окончившие и широко печатающиеся прозаики и поэты, и тогда уже не мы читали стихи, а они. Был «Вечер одного стихотворения». Потом устраивались вечера, посвященные целиком творчеству какого-либо одного из наших институтских поэтов, наиболее интересного или наиболее спорного, и тогда готовилось целое «действие» с председательствующим, произносящим вступительное слово, с докладами руководителей творческих семинаров, с оппонентами и дежурными критиками. Иногда к нам приходят и большие писатели, «на огонек», на веселый шум, долетающий из раскрытых окон Дома Герцена, и тогда разгораются споры, накаляются страсти.

Среди разного рода «мероприятий» в институте особенно славятся наши «капустники» — юмористические представления на институтские темы. Тексты пишут Владик Бахнов, студент второго курса, Александр Лацис, выпускник, Галина Можарова и другие наши «старшие» собраты по перу. Первокурсникам пока только доверяют исполнение ролей. Но от этого им не менее весело и интересно, чем остальным. «Артисты» у нас вообще наслаждаются больше зрителей, потому что некоторым из них приходится играть самих себя, да еще пародийно, и тут открываются такие таланты, что только диву даешься, начинаешь задавать себе вопрос: почему, собственно, человек пришел сюда, в Дом Герцена, а не на сцену театра, не в цирк?..

Наши «капустники» в общем не так-то уж и безобидны, как об этом можно подумать.

Бывает, что мы, студенты, долго ставим какой-нибудь вопрос перед дирекцией или ученым советом, добиваемся какого-либо желанного новшества в учебной программе, или хотим получить более компетентного преподавателя, или жаждем улучшить наш быт, «ко-

торый невозможно ухудшить». И все без толку! Отмахнулись от нас, да и только. Велика же сила шуток, если именно после «капустника» сбываются многие наши желания! Посмотрит, посмотрит Федор Васильевич на наши «бесовские проказы», посмеется от души — и подпишет приказ. Ну, значит, так тому и быть!

Наши споры об утрате критериев художественности в поэзии, запальчивые и сумбурные, нашли свое отражение в комической сцене «хождения по Руси» трех поэтов-богатырей, которые, приставив ладони ко лбу, высматривали в проходящих мимо них толпах людей критерий.

Даже нянечка-вахтерша перебирала по пальцам: — Кто? Кто? Критерий? Такого не слыхала. Тибери Утан у нас есть. Валерий Дементьев есть. А Критерия нету, не знаю... Какой он из себя?

«Истина принадлежит человеку, заблуждение — его эпохе», — сказал кто-то из классиков. Заблуждение масс в нашем доме подкрепляется заблуждениями одиночек:

Хорошо живется, братцы,
Но одно неладно тут:
Заставляют заниматься,
Опошляют институт!

Да, главная тема всех наших дружеских эпиграмм и пародий, частушек, комических сцен и «капустников» — это извечная внутренняя борьба, раздирающая душу поэтов: что важнее на данном этапе, учеба или творчество?

...Нам Парнас, нам Парнас — родимый дом.
Первым делом, первым делом — вдохновение.
Ну, а лекции? А лекции — потом!

«Да, конечно, — размышляет в жизни иной поэт, — вдохновение — дело хорошее. Но ты-то еще не писатель, а только студент. Тебя послали учиться. Вот ты даром время и не теряй, а учись! В то же время... какая для поэзии разница, студент ты или землекоп, инженер или колхозник, если тебе сейчас, сию секунду, немедленно надо выплеснуть на бумагу взволновавшие тебя чувства, запечатлеть в стихах образы, никому еще до тебя не пришедшие в голову? Ведь каждый уже испытал на себе, что «строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют!»

Поэтому-то иногда во время занятий можно, зайдя в общежитие, увидеть завернувшуюся в одеяло Маргариту Агашину. Она лихорадочно что-то пишет на обрывках бумаги. Или в читальне натолкнуться на солидного, умудренного жизнью прозаика. Он «прогуливает» урок иностранного языка и строчит новую главу для романа. Или во время лекции обернешься назад, на «Камчатку», и видишь, как кто-то, согнувшись и стыдливо заслоняя тетрадь рукой, строчит что-то отнюдь не относящееся к земельной ренте, причем длинным столбиком.

Стихи, стихи!.. Искушение дьявола...

Поэт

Недавно горний дух меня сподобил
Уразуметь ничтожность дел земных.
Что лекции?.. Доклады?.. Семинары?..
К чему они? Все суета сует...

Староста курса

Какой там дух? Учись-ка диамату,
Учебничек Леонова прочти
Да лекции прослушай Шестакова!
Вторичен дух. Материя — первична!..

17.

В ПОИСКАХ ЖИВОЙ ВОДЫ

Шутки шутками, а кое-кто действительно просыпается на заре с петухами и, еще лежа в постели, подложив под тетрадь учебник или словарь, пишет повесть или поэму или, подобно Миле Городецкой, сочиняет драму. Наша Мила славится тем, что, написав одну-единственную страничку текста, тут же тащит ее своему руководителю семинара, чтобы убедиться, хорошо ли эта страничка написана...

Мне не пишется, и я злюсь и тоскую, не сплю по ночам. Ведь не лодырь же я, как одна наша очень талантливая поэтесса. Когда ни придешь в общежитие, она грустно лежит на кровати без дела. Или сидит в аудитории у окна. Или жарит на керогазе великолепные хрустики. Или накручивает перед зеркалом бигуди.

Говорят, лень — одна из форм неуважения к окружающим.

Но вот я умею ценить свое время и хочу писать, я весьма уважаю своих товарищей. А не пишется мне, да и только. Что тут делать?

Мне не пишется потому, что с недавних пор все не нравится. Я во всем разочаровалась. Что ни услышу — меня коробит. Что ни напишу сама — летит в печку. Какое-то странное чувство пресыщения и неудовольствия. Сажу в опустевшей аудитории после занятий неподвижно и ничего не делаю. Не хочется!

Однажды на фронте, в 1943 году, мне довелось разговаривать с Александром Трифоновичем Твардовским. Дело было на Смоленщине, под Ленино, осенью. Ветер носил над крышами домов мокрые желтые листья. Уже смеркалось. Было холодно и уныло, когда к нам, в комнату к литсотрудникам, вошел армейский поэт Василий Гловов и позвал меня к главному редактору. Я накинула шинель, и мы пошли в дом, где жил наш шеф Николай Дмитриевич Бочин. Здесь, в полутемной комнате, при свете керосиновой лампы меня и познакомили с высоким, широкоплечим человеком в военной форме. Сейчас уж и не помню, какие у него были на погонах знаки различия. Это в нем было не главное. Главным было лицо, очень сдержанное, круглое, русское, с живыми серо-голубыми глазами и мягкой, словно смущенной улыбкой. Эта мягкость, столь необычная в армейской обстановке, меня как-то странно тронула: я давно от нее отвыкла.

Разговор поначалу был несколько скованным, необщим, пока кто-то не попросил Александра Трифоновича почитать нам новые стихи и он, не чинясь, согласился. Мы сидели вокруг грубо оструганного деревенского стола в полутьме и под шорох дождя за окном, затаив дыхание, слушали «Теркина». Александр Трифонович читал, чуть откинувшись из желтого круга лампы в тень. Читал негромко, глуховатым, простуженным голосом.

Потом он рассказывал что-то. Потом читал еще и еще. А потом спел свою знаменитую песенку про шинель:

Упадет ли, как подкошенный,
Пораненный наш брат,
На шинельке той поношенной
Снесут тебя в санбат.

А убьют — так тело мертвое
Твое с другими в ряд
Той шинелькою потертою
Укроют — спи, солдат!

С чем сравнить этот долгий осенний, но пролетевший, как одно мгновение, вечер? С чем сравнить эту песню, знобящую душу?

Среди приостановившегося наступления, дождей, грязи, сырости, среди скуки редакционной жизни, когда изучена каждая шутка и каждый жест соседа, когда знаешь наизусть все тирады редактора и когда с нетерпением ждешь наступления, хотя неизвестно, что оно принесет тебе лично: рану, славу, бесславие или смерть,— вдруг пришел настоящий поэт и наполнил всю нашу жизнь каким-то таинственным новым светом, напоил всех живою водой, встряхнул, как встряхивают уставшее от дождей дерево.

С удивлением и даже некоторой боязнью смотрела я в тот вечер на открытое русское лицо поэта, на светлые волосы, на мягкую, застенчивую его улыбку. Как он просто сказал!.. Удивительно, как все просто, а трогает! Разве я смогу когда-нибудь так просто сказать? Говорить просто — это ведь не всякий умеет.

В ту осень мне плохо писалось, и Твардовский на этот счет сказал так:

— Что со стихами заминка — это хорошо. Это всегда бывает перед тем, как человек начинает новую полосу работы, это преодоление барьера, иначе — рост. Правда, в этот период настроение бывает тяжелое, не верится, что ты способен на что-то, но такова уж наша доля. Не насилюйте себя, пусть даже некоторый период будет без стихов — тем лучше пойдет после...

Эти слова для меня были тогда откровением.

Они вспоминаются мне и сейчас, в институте. Но на этот раз не приносят спокойствия. Я все больше и больше тревожусь: а как долго будет длиться этот «глухонемой» период? А чем он закончится? Вдруг полной «немотой»? И нужно ли ждать сложа руки? Ведь можно, наверное, и не ждать? Писал же Брюсов: «...Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой...»

А что, если я вообще больше никогда не напишу ни строчки?

Мне кажется, что весь мир вокруг меня живет, движется, смеется, ликует, а я как заколдованная спящая царевна: вижу людей, понимаю их, но не могу ни пошевелить рукой, ни ответить, ни улыбнуться.

18.

СУП

ИЗ РУСАЛКИ

Утомившись бездельничать, я собираю в охапку учебники и спускаюсь в подвал «в рассуждении, чего бы покушать».

Если пища духовная в нашем доме разнообразна и обильна, то завтраки, обеды и ужины оставляют желать много лучшего. Вернувшись из столовой, уже на пороге мои «дочери» восклицают, обращаясь друг к другу:

— Пожрем?

Но «жрать» нечего.

Когда у нас водится фасоль, присылаемая Рите из дому, мы счастливы и вечерами тайком пробираемся в директорский кабинет: там единственная в институте не срезанная комендантом розетка. Мы запираемся на ключ и на электрической плитке варим дивное фасолевое пюре. Но... запах фасоли, видимо, разносится по коридорам довольно далеко и долетает, наконец, и до вечно бодрствующего бдительного коменданта.

Однажды среди ночи — фасоль почему-то варилась удивительно долго — кто-то властно и строго постучал в нашу дверь. Мы посоветались. Открыли. На пороге стоял сам комендант. Он качал головой.

— Так и знал! Так и знал! — сказал он, безнадежно махнув рукой. — Ну что мне с вами делать? Штрафовать? Ведь лимит же, лимит!.. Как вы не понимаете?

С этого дня директорский кабинет стал запирается особенно тщательно, на два замка.

Но вскоре в общежитии появилось чудо техники — керогаз. Уж и не помню, кто и когда «разорился» и купил его на собственные деньги. Вместе с керогазом возникли и длиннейшие очереди к нему: одному нужно манной каши сварить — отоцал; другому согреть воду для бритья — собирается на решительнейшее

свидание; третьему — кипяточку для грелки; четвертому — постираться, помыться. И так до бесконечности. Всегда есть желающие, а керогаз-то один!

Теперь вкусные запахи нет-нет да и воспарят под сводами ледяного «голубого подвала». Конечно, обидно, когда на кастрюльке лежит чья-либо предупредительная записка, что «автор» данного супа или каши отсутствует по вполне уважительной причине и просит, чтобы без него не «пробовали», хорошо ли сварилось: почему-то он желает непременно совершить это сам! Тогда вокруг керогаза происходят целые танцевальные пантомимы, и единственная награда за долготерпение — появление «автора», который должен щедрой рукой раздать всем по тарелке. Хоть по капле, но каждому.

Бывает, что около керогаза находишь и такую совершенно непонятную записку: «Др. гр. в. гр. пр. не бр.» И внизу подпись «Р. Тр.». Что все это означает? Каков смысл сих невразумительных знаков?

Являются добровольные толмачи и комментаторы и истолкователи. Стоят, поджавши животы, и гадают. Наконец после долгих споров приходят к общему выводу. В сей грамоте, оказывается, сказано: «Дорогие граждане, воду горячую прошу не брать. Рита Трапезникова».

Сегодня же моя «старшая дочь» — Рита Агашина, — самая хозяйственная и серьезная, принесла из магазина какую-то рыбу. Конец месяца, и Рита «отоварилась». Рыба пахнет чем-то вроде солидола, она вся липкая, скользкая.

— Что это? — спрашиваю я.

— Не знаю. Судя по цене — русалка!

Срочно варится суп. Чтобы отбить у «русалки» подозрительный запах, в варево кладется невероятное количество красного и черного перца, чей-то целый «лавровый венок», петрушка, укроп и прочие пряности. С радостным, праздничным видом Рита накрывает на стол.

В самый разгар пиршества в комнату входит поэт Наум Гребнев. Он подозрительно нюхает воздух. Спрашивает:

— Что это вы едите?

— Суп из русалки. Хочешь?

— Из русалки?! Ну-ка, дайте попробовать. Сроду не ел русалки...

С трудом проглотил одну ложку, вторую, третью. Сморщился.

— А ведь русалка-то... тухлая! — заметил он грустно.

19.

**ПРОНИЗАТЬ
ИДЕЯМИ...**

Когда не работается, время занять нечем. Оно начинает ползти как черепаха. Дни — долгие, томительные, скучные. В эти дни я приглядываюсь к окружающим. Благо в нашем доме что ни человек, то и тип.

Каждый день в коридоре сталкиваюсь с одной дамой. Другим словом эту особу не назовешь.

Дама круглоликая, безброва. На ней черная бархатная шляпка, насквозь пропыленная, как если бы этой шляпкой чистили сапоги, и шерстяная, мышинного цвета, растянутая в локтях кофта. По-русски дама говорит так:

— Ви, ти знайшь ли, понимайшь ли, я фаша новая лаборантк...

Зовут ее Эрна Мартыновна. Действительно, это новая наша лаборантка.

Дама очень понравилась всем, потому что весела, безобидна и не сердится на наши далеко не невинные шутки.

На первом же занятии на курсе Эрна Мартыновна говорит:

— Ви, ти знайшь ли, понимайшь, я уже написал диссертац! Фсе готофф! Мне остался пустяк... пронизать идеями!.. Да, да, карош диссертац!

Эта «хорошая диссертация», которую Эрна Мартыновна написала, позабыв предварительно «пронизать идеями», поразила нас всех в самую печенку. В перерывах между лекциями мы толпою идем к Эрне Мартыновне на кафедру, рассаживаемся вокруг нее и с серьезными лицами начинаем расспрашивать:

— Эрна Мартыновна! Так когда же вы начнете свою диссертацию пронизывать идеями!

— О скор, скор... Мне немножко осталось!

Она улыбается какой-то пленительно-детской улыбкой: эдакое невинное, кроткое ученое дитя. И в мою участливую душу невольно проскальзывает чувство легкой досады, неловкости, даже раскаяния: нехорошо мы так с ней поступаем. Невежливо. Бесчеловечно. Нельзя смеяться над Эрной...

И вдруг на одном открытом партийном собрании — что я слышу?! — выходит на трибуну Эрна Мартыновна в своей кофте и шляпке и с пафосом потрясает маленькими крепкими, как репка, кулачками. В ее голосе уже явственно слышен металл, пришедший на смену прежним бархатным ноткам.

— Ви, ти знайшь ли, понимайшь, таких нужно гнать! Гнать ф шею! Да, да! Я давно фижу: здесь фольнодумств! Безыдейность! — Это Эрна-то Мартыновна об идейности печется! — Надо держать фсех ф ежовых рукавиц!..

Убеленному сединами деликатнейшему профессору, преподавателю логики, Эрна кричит:

— Я ф твоих плянах нишего хорошего не нашель! Пиши другой! Ви фсе здесь, понимайшь ли, лодырь! Ай да Эрна Мартыновна, наша смиренница!

На ученом совете Эрна тоже уже обличает. Виноваты все: и директор, и зам, и секретарь партийной организации, и вообще она всех на чистую воду выведет... «Фсех, фсех гнать!»

Как притих институт! Как печальны у преподавателей лица! Какие недоуменные взгляды бросают они друг на друга, пытаюсь понять: что же все-таки произошло? Отчего вся атмосфера этого некогда доброго дружного дома стала вдруг затхлой и подозрительной? Не скажи. Не пойдя. Не засмейся. Не посмотришь в зеркало. Не пожми руку товарищу... Да полноте, неужели это все она, наша милая, добрая Эрна Мартыновна?

И вдруг в один прекрасный день в институте тишина. Совершенно другая, насыщенная новым смыслом, веселая умная тишина. На ученом совете — тишина. На партийном собрании — тишина. В учебной части и на кафедре — тишина. И нигде не видно ни черной пыльной шляпки Эрны Мартыновны, ни ее самой, удивительной шляпконосительницы. Кто-то объяснил: уволили.

— Как уволили? И она... ушла?! Не судясь? Без жалоб и апелляций?! Да не может быть!

— Вот ушла. Видимо наконец поняла, что ей нужно уйти... Исчезла, как дух!

— Ну да... Как же... Такая исчезнет!..

И я долго хожу по институту и оглядываюсь. Мне все кажется: нет, не может так просто уйти Эрна Мартыновна. Очень это на нее не похоже. И если действительно ушла, то уж наверняка нашла себе какое-нибудь другое тепленькое местечко. И хоть не та теперь ее сила, и в голосе ее снова бархат и шелк, и диссертация, может быть, все еще «не пронизана», а только Эрна Мартыновна найдет себе щелочку. Такие, как она, умеют переждать, «перевоспитаться» на ходу и принять на вооружение самые смелые и самые новые мысли, подстроиться к идущим в ногу...

20.

КОМАНДИР ЛЬВОВ

Я уверена: на земле нет скучных, банальных людей. В каждом скрыто что-то свое. Умей лишь только увидеть.

Впервые полковника Львова-Иванова я встретила на открытом партийном собрании. До этого мы с ним как-то не сталкивались: от военных занятий всех видов я была освобождена, по административной части ему не подчинялась, в нарушении дисциплины не была замечена, так что первое наше знакомство с Иваном Александровичем оказалось весьма поверхностным. Я сидела в зале и слушала, а он говорил с трибуны:

— Товарищи! Ведь это же сплошное безобразие! Несли с демонстрации два плаката и один эмблем (!) — и все потеряли! А ведь я говорил вам: казенное имущество нужно беречь!

О Львова-Иванове по институту ходят легенды.

Это наш институтский поручик Кижее.

Во время гражданской войны в приказе о взятии какого-то города было сказано: «Представить к награде... командира Львов — Иванова И. А.». Командир «львов» потому, что отряд, возглавляемый Иваном Александровичем Ивановым, состоял из одних лишь отчаянных храбрецов, которые дрались как львы. Но

писарь, совсем как исторический поп Упырь Лихой, совершил ошибку. Слово «львов» он написал с большой буквы: с той поры и пошла гулять по свету новорожденная фамилия.

В этой легенде, несомненно, есть какая-то доля правды. Ее подтверждает старый, изношенный орден боевого Красного Знамени, полученный Львовым-Ивановым за участие в гражданской, орден с очень маленьким «исходящим» номером, один из первых. Во время Великой Отечественной войны Иван Александрович, видимо, тоже не менее достойно воевал: мундир его украшен разноцветными медалями и орденами. Но... с грамотой у нашего начальника кафедры дело явно не ладится. И это дает пищу разного рода институтским остроумцам. Каждый день можно слышать какое-нибудь новое слово Львова-Иванова, которое передается с комментариями из уст в уста.

Да ведь, честно говоря, и правда смешно, когда человек вдруг скажет с «высокой трибуны»:

— Безобразие! Сломали у рояля педаль — и теперь мы имеем отсутствие музыкального прибора.

Высокий, массивный, краснолицый, весь словно налитый свинцом, Иван Александрович по-хозяйски проходит коридорами института, и ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Добряк по характеру, он сурово хмурит брови, верно боится: вдруг что-либо упустит или скажет не так. Что тогда? Засмеют! Ребята здесь бойкие, пальца в рот не клади! Поэтому он и кажется таким недоступным и грубым.

Но когда одна старшекурсница собралась вдруг рожать, да еще «безотцовщину», Львов-Иванов позвал ее к себе в кабинет, в партбюро, закрыл дверь на ключ и сказал:

— Можешь меня сейчас просто ударить по щеке, если тебе не понравится, что я скажу. Но... знаешь... Отдай мне на воспитание своего малыша, а?.. Я его вскормлю, пока ты будешь учиться. А пойдешь на работу — забереешь. Своего-то сына я на войне потерял...

Та заплакала и отказалась наотрез.

— Ну, разреши, я тогда деньгами тебе помогу?

Но она и от этого отказалась.

Тогда Иван Александрович попросил:

— Ну, коли так, извини меня, старика... Я ведь... от чистого сердца тебе предлагаю...

Этот случай долго был тайной, пока сама участница этого разговора не призналась однажды, за давностью лет...

Второй характерный случай был при мне. У одного из наших студентов, члена партбюро, арестовали отца. Как полагается, товарищ наш тотчас же сообщил об этом в институтскую партийную организацию.

Львов-Иванов, бессменно возглавлявший все эти годы партийное бюро, не стал произносить никаких громких слов, обличать, уничтожать. Он спокойно выслушал сообщение и предложил всем высказаться. Потом подвел общий итог:

— У меня нет оснований не доверять нашему коммунисту, которого я знаю уже несколько лет. За отца он не ответчик. Вот когда он сам провинится, тогда мы и спросим его... А сейчас предлагаю: из состава партийного бюро не выводить...

Этот мудрый и немного плакатный старик был в годы нашего учения в институте чем-то вроде эмблемы «железных» довоенных лет, воплощая в себе все их достоинства и все недостатки. В то же время он жадно стремился догнать убегающий от него быстрой летящий сегодняшний день: что-то читал, учил наизусть, конспектировал.

— Все течет, все меняется,— заключил Иван Александрович словами Гераклита свое последнее выступление на нашем выпускном вечере, и мы весело переглянулись: ишь ты, не отстают наш старик! Догоняет!

Кто знал, что через каких-нибудь два года в этом же самом актовом зале мы увидим его в орденах, побледневшего и спокойного, в красном гробу.

Львов-Иванов умер сразу, как только вышел на пенсию: его убила ненужность людям, убила одним ударом, наповал — могучего здоровяка, выжимавшего в шестьдесят с лишним лет пудовые гири.

21.
**ЖУТКИЙ
ТИП**

Интересно, что привлекает людей непишущих и не любящих по-настоящему литературу к нашему институту? Надежда наиболее «простым» путем пробиться

в люди? Жажда легкого заработка? Эксцентричность «поэтического» быта?.. Или, может быть, просто манит к себе слава, почитаемость в нашей стране писательского труда? Трудно сказать. Пути человеческие неисповедимы.

Придет такой «жаждущий» со своими доморощенными представлениями о литературе, походит, посмотрит, обожжет свои крылышки, обидится — и уже через семестр, глядишь, его нет и в помине. Скрылся, разочаровавшись во всех и во вся.

Иной навек будет «ушиблен» поэзией, хотя и не печатается ни разу. Иной сразу забудет, что когда-то баловался альбомными стихами. А третий и стихов не писал. Просто взял и подал документы: на авось. Бац — и попал. Бывают же такие исключения из правил.

Так однажды у нас, на Твербуле, появился некто К. Ходит он на творческие семинары, горячо до отчаянности спорит и у прозаиков, и у поэтов, и у драматургов, и у критиков и доказывает, что «надо вырабатывать свой собственный стиль», что «гением рождаются, а стилистом становятся». Потом начинает ронять эдакие фразы:

— Наша литература, конвоируемая критиками...

— Современная поэзия обмелела, как Каспийское море...

— Самолюбие — вот Архимедов рычаг...

— То, что написано скучно, не может быть полезным, потому что весь организм читателя, вся душа его сопротивляются скуке. А раз противятся — это значит противно.

И это уже привлекает к нему, и кто-то читает ему свое новое стихотворение, кто-то просит его на семинаре выступить в защиту. Ссылаются: К. сказал, К. сделал.

И вдруг выясняется, что К. никогда стихов не писал. Вообще в своей жизни не написал самостоятельно ни строчки. И даже более того: чтобы поступить в институт, он купил у кого-то стихи за пару сапог. Ну, просто сказать, совершил классическую операцию: «товар — деньги — товар».

Все это всплыло, когда руководитель семинара потребовал у него новые произведения.

После бурного заседания партийного бюро, после

долгого обсуждения на комитете комсомола К. слушают на общем комсомольском собрании. Он стоит перед товарищами с испуганным лицом, ежится под их взглядами, то краснеет, то бледнеет.

— Просить дирекцию, чтобы его немедленно исключили из института,— предлагает секретарь комсомольской организации.

— Исключить из комсомола! — говорят комсомолцы.

И вдруг наглая усмешка скользит по лицу К. Уж он-то хорошо знает спасительную доброту и снисходительность здорового коллектива. Он знает, чем нас утешить.

Угрожающе замечает:

— Ну если вы меня исключите, я скачусь!..

У него это звучит так: «я скэчусь!..»

— Ну и катись! Куда ж еще ниже катиться?..

Но К. опять угрожающе замечает:

— Да, да... Я скачусь! И вообще... Не такой уж я жуткий тип, как вы думаете...

У него это звучит так: «жэткий тип».

Но «жуткого типа» все-таки исключили. Здесь, где каждая строчка товарища — наизусть, где каждый верит другому, как самому себе, проступок К. мне кажется непостижимым. И главное, непонятно: для чего он это сделал? Что он этим хотел доказать? Для чего унижал себя, своих консультантов, дирекцию, весь коллектив? Ведь не мог же бесконечно длиться этот обман! Рано или поздно его все равно разоблачили бы. Так зачем же было начинать всю эту авантюру?

Мне кажется, по сравнению с К. самый жалкий и отверженный графоман и то на десять голов выше: он хоть, по крайней мере, любит литературу.

22.

**ЗДЕСЬ ПОЭТЫ
ПИШУТ ПРОЗУ**

Блажен тот, кто сам себя знает.

Блажен тот, кто сразу находит в жизни свою дорогу и твердо ступает по ней, не сворачивая в сторону ни на какие заманчивые, таинственные тропинки.

Я чувствую: что-то во мне изменилось. Сначала была поэтическая «глухонмота» и хандра, что-то вроде инкубационного периода болезни, когда тебя всего гнет и ломает, а ты и сам не знаешь, в чем причина недомогания. Теперь медленно, с перебоями, но дело идет на поправку, на преодоление «вируса».

Однако выздоравливаю я как-то уж очень рывками. Помогает мне преодолеть мою болезнь один странный вечер.

Общежитейцы все в сборе и сидят за столами в «мечталке» — так зовут нашу институтскую читальню любители помечтать над раскрытым учебником. Эта комната маленькая и уютная, как и все в нашем доме, что весьма способствует глубокомысленному и полезному времяпровождению.

Здесь два окна.

На одном подоконнике меланхолическая надпись карандашом:

Весна!
Как много в этом звуке
Для сердца бедного слилось,
Экзаменом отозвалось...

Возле другого окна — склоненная голова, очки, голова в бигуди и накрученном сверху пестром клетчатом платке. Поверх пухлого тома «Мартына Задеки», то есть англо-русского словаря, на котором при желании можно великолепно гадать «на любовь», какие-то закапанные чернилами и слезами листки: не то маленькая поэма, не то большое письмо.

За столами, крашенными черной краской, — люди солидные, непростые: капитаны и майоры запаса, моряки, артиллеристы, летчики. Сидят, курят. Изучают замызганные конспекты.

И вдруг кто-то оживленно и весело говорит:

— А давайте-ка мы сейчас устроим конкурс на лучшее стихотворение, написанное прозаиком, а?

— М-да-а... Идея! Но о чем же писать? Нужна же общая тема...

— Тема? А вот хотя бы такая: ромашка. Стихи о ромашке.

— Что ж... Можно попробовать...

— Давайте, а, правда? Ну? Кто?

Часы сверены, как перед артподготовкой.

Перед каждым лежит чистый лист бумаги, осмотренный строгим и неподкупным жюри. Все остальные тетради и книги изъяты. Кто-то в муках творчества с тоскою глядит в потолок, грызет пальцы и марает листок, как Пушкин, рисуя профили женщин и ножки. Дым в «мечталке» стоит коромыслом.

Давно разлохматились аккуратные «прозаические» прически. Давно у жюри от нетерпения вытянулись шеи до размера жирафьих. А дело не движется.

Наконец время, назначенное для подведения итогов конкурса, истекло. Каждый читает свое произведение вслух.

Победил, к общему удивлению, Михаил Кондратьев, человек, принципиально презирующий стихи, никогда не выучивший ни одной стихотворной строчки и считающий всех поголовно поэтов «фитюльками». Он написал так:

Росли ромашки,
Цвели ромашки,
Сорвали ромашки,
Завяли ромашки.
Ромашки, ромашки!

Жюри единогласно присудило ему первую премию.

Константин Александрович Федин как-то сказал на семинаре:

— Писатель должен работать во всех жанрах...

Я задумалась.

Во всех жанрах — это значит и в прозе. Рассказ или повесть? А может, роман? Нет, романа я не осилю. А вот надо сесть и записать все, что я видела и пережила на войне. Хотя бы какие-то главные эпизоды. Припомнить всех погибших товарищей. Рассказать, какие это были чудесные, смелые люди. Я буду писать очень просто. Только факты. Не больше...

Мне кажется, сделать это будет легко. Ведь в нашей студенческой песне поется:

Позы, розы, грезы, слезы —
Вечный обиход.
Здесь поэты пишут прозу
И — наоборот...
Если с прозой станет лихо,
Нам не привыкать.
Есть еще хороший выход:
Драматургом стать!

Шум в «мечталке» мешает писать, не дает сосредоточиться.

Кое-кто из старшекурсников поднимается, сгребает со стола бумаги и уходит, демонстративно хлопнув дверью. За ними поднимается Иван Якушин:

— Пойду и я... мужика рисовать.

«Мужика рисовать» — это значит писать о деревне.

Каждый пишущий жаждет уединения. Но где же его взять, столь необходимое тебе одиночество, когда всех-то аудиторий раз, два — и обчелся, а желающих уединиться очень много.

Только задумаешься, сосредоточишься, предварительно закрыв дверь и заткнув скобу ножкой стула, как уже слышишь: по коридору прогремели шаги очередного «железного командора». Сейчас подойдет и будет дергать. Есть, конечно, среди этих шатающихся под дверями и «бронзовеющих заживо» люди добрые и с понятием. Подергав безрезультатно за ручку двери, они, тяжело вздыхая, уходят. Другой человек, не столь добрый и чуткий, будет дергать до той поры, пока не расшатает дверь и стул не выпадет с грохотом на пол. Тогда он войдет с невинным видом, озираясь и, конечно же, забыв извиниться за вторжение, и плюхнет где-нибудь прямо перед твоим носом: начнет сворачивать козью ножку, кашлять, тяжело дышать, шумно перелистывать страницы.

На этом и кончилась твоя творческая работа.

Или сразу собирай свою «прозочку» и уходи, или же оставайся и затевай какой-нибудь разговор, чтобы помешать и ему, черту-дьяволу, плодотворно работать.

В таких случаях разговор нужно начинать самый сердцепипательный, чтобы сразу задеть за живое.

— Слушай, друг! А ты как пишешь? — спрашиваю его. — Короткими или длинными фразами?

Собеседник угрюмо молчит: он, видимо, чувствует подвох. Но, как заскучавший в пруду карась, сразу хватается заманчивую наживку:

— Еще Чехов сказал: краткость — сестра таланта!

В этом ответе все: и уверенность в собственном таланте — ведь он-то пишет кратко! — и презрение к неумытой деревенщине — «не знает, какими фразами надо писать! Спрашивает!!!».

— Гм... Краткость... А что же тогда делать с Толстым?... Куда девать его длинейшие периоды с

многочисленными «как» и «который», с его фразами, едва уместающимися на странице? Конечно, краткость — сестра таланта. Но длинная, сложная, с глубокою мыслью фраза — сестра гения. Доказательством тому Шекспир, Толстой и Бальзак. И вообще... К сожалению, в том-то и горе, что один лишь гений знает, когда ему быть кратким, а когда многоречивым!..

В ответ мрачное молчание. Потом глубокий, тяжелый вздох. И отповедь:

— Толстой! Толстой!.. Ну пойми же ты наконец, что Толстой устарел! Сейчас нельзя писать так, как писал Толстой. Это несовременно... Тогда пахали сохой, ездили на перекладных, не знали ни радио, ни телефона... Жизнь была медленная, спокойная, вот и накручивали длинные периоды. А у нас все в быстром темпе: и жизнь и литература.

— Ну, значит, вот так: подлежащее и сказуемое, подлежащее и сказуемое? Да? Чтобы и глазу не на чем было остановиться?

— Ну не совсем, а все же... Динамизм и ясность — вот стиль современной прозы. И всегда кратко. Очень кратко.

— Значит, по-твоему, романы писать нужно так: родился, учился, женился, трудился и умер? Куда же короче!..

Собеседник хватает в охапку свои пухлые папки, растрепанные, с загнутыми углами тетради, истертые рукописи и, бросая уничтожающий взгляд в мою сторону, кидается к двери.

— Черт знает что! Не дадут человеку спокойно поработать!

А я остаюсь одна и погружаюсь в тяжелое, мрачное раздумье.

Вот как! Оказывается, сегодня нельзя писать так, как писали вчера!

Новизна, конечно, всегда радует. И не только любителей, знатоков изысканной фразы и девственно нового слова. Хорошее, свежее слово доставляет и мне наслаждение. Но главная-то сила ведь не в новых словах! Она в наполнении новым смыслом старых, затертых, изъезженных слов, ибо их большинство. Главное — в одушевлении предметов. В неожиданной трехмерности мысли, чувства и звука, в применении этой трехмерности к самому будничному и про-

стому. Это всегда и старо, и вечно ново. Это самое трудное...

Я вообще останавливаюсь в недоумении перед некоторыми писателями: откуда и как могла родиться у них та или иная фраза? В появлении на свет подобных вещей есть какая-то еще не раскрытая тайна.

Нас в институте учат строить диалоги, завязывать «завязки» и развязывать «развязки», мы изучаем длиннейшие авторские отступления для того, чтобы уяснить себе авторское «кредо», и порою не замечаем, что короткое шутливое словцо иногда заменяет собой целые главы романа и делает ненужными объяснения, избавляет автора от комментариев к происходящему.

В романе Алексея Толстого «Петр Первый» есть крошечный эпизод. Он отбрасывает свет на весь дальнейший ход событий и является как бы ключом к сюжету романа, к судьбе Петра и к истории всего нашего русского народа.

Русские войска разбиты под Нарвой. Они отступили с большими потерями, и хотя опять что-то задумывают, бегают, возятся, строят, однако же кто теперь в Европе к их возне отнесется всерьез? И король шведов Карл XII, как обычно, просыпается в своем воинском лагере, юный, смелый, уверенный в себе и в своих храбрых солдатах, полный сил. По утрам его будит петух. Но сегодня почему-то петух не загорланил во всю глотку, «он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдавил из горла что-то вроде «э-хе-хе...».

Петух! Всего-навсего петух, горестно вздыхающий перед новым рассветом! А ты, читатель, уже знаешь, догадываешься о переломе войны, о всех будущих Петровых викториях, о разгроме заносчивого Карла, о битве со шведами под Полтавой, о возвышении и укреплении государства Российского. Какая удивительная мощная и озорная деталь, достойная гения!..

Читая подобные вещи, удивляешься критикам: почему в обширных статьях, посвященных творчеству того или иного большого писателя, так нищенски мало, так робко говорится о мастерстве, то есть о силе оружия литератора, о меткости его выстрела? Молодому писателю научиться мастерству пока еще очень сложно: он должен сам по крупицам выискивать в монбланах книг отдельные высказывания, обмолвки

и откровения: в переписке классиков, в записных книжках Толстого, Гоголя, Достоевского, в воспоминаниях писателя о другом писателе... Филдинг, например, перемежает повествование в своих книгах размышлениями о мастерстве, Маяковский сам взваливает на себя задачу критики и пишет статью «Как делать стихи?». Ну, а где же собственно критики?

Прочитав в первый раз «Тихий Дон», я долго ходила под впечатлением черного солнца, встающего над Григорием Мелеховым. Наверное, роман мог бы существовать и без черного солнца, и от этого он не стал бы беднее, продолжал бы потрясать читателя своей глубиной и правдивостью. Но черное солнце — это еще и поэтическое воплощение идеи романа, словесный разряд в миллионы электрон-вольт, ослепляющий душу. Не книга, а человечество было бы беднее, не зная его!

Поэтому, когда говорят, что писателем может стать всякий, стоит только основательно потрудиться, мне всегда становится грустно. Грустно, как от всякой откровенной неправды.

...Поздний вечер. Декабрь.

От засыпанных снегом деревьев на земле очень толстые, мохнатые тени. Оживленные улицы, яркий свет реклам, короткие промельки автомашин. Ощущение ускользающей от меня жизни, неуловимой, не лежащей в строчки, совершенно не соответствующей тем привычным примелькавшимся по книгам канонам, которые нам так часто ставят в пример. И чувство усталости, одиночества в этом мерцающем, пролетающем мире. Косо падает снег, такой мягкий, пушистый и очень влажный. Я иду по бульвару, от фонаря к фонарю, как от одной решающей точки к другой: яркий свет, полумрак, темнота, полумрак, яркий свет.

Фонари, как товарищи со светлыми головами, может, что и подскажут, помогут.

В такую трудную, решительную минуту, когда теряется прежняя вера в себя, в свои силы, хочется побыть одной, поглядеть на себя уже как бы со стороны чужим, осуждающим, недоверчивым взглядом, все обдумать и оценить: а зачем ты живешь? Для чего? И главное, для кого? Отчего я так мучаюсь и нужны ли

мои тоска и смятение народу иль нет? Знаю, людям приятнее только веселое, только то, что утешает и лечит, что ведет прямо к цели, минуя побочные отвлечения чувств и мыслей. Мой народ и сам много знает о жизни и смерти, я тут нового не скажу...

Но зато я могу рассказать ему, сколько раз и как я умирала и как умирали мои товарищи, а это у каждого выходит по-своему, и из каждой увиденной мною смерти и из собственных наблюдений я складываю для себя очень горький, пронзительный опыт. Может быть, для кого-нибудь все же он пригодится?

Я иду по аллее, как по белому, кружевному тоннелю. И безжизненная неподвижность кленов и лип мне понятней и ближе человеческой суеты.

Вот идет мне навстречу румяная, белолицая девочка в белой вязаной шапочке и весело приминает ботинками свежий, пышный, нетронутый снег. Разве она знает, как пахнет снег после разрыва снаряда? Каким бледным, белым, холодным, как снег, бывает лицо истекшего кровью солдата, рассеченного пулеметною очередью пополам? Разве видела она на снегу эти плоские кровяные блины, это нечто измолотое, перерубленное сочленениями гусениц танков,— то, что было минуту назад живым, мыслящим, а главное чувствующим человеком?..

Вязьма, синяя, зеленая в свете луны... Уходящая куда-то назад, в мое прошлое. Сколько раз я в вагоне проезжала мимо тебя, и вот опять предо мною твои рыжие перелески, твои жиденькие хлеба, твои низкие домики, покосившиеся, деревянные, источенные дождями! Каждый метр твоей скудной, болотистой и лесистой земли полит кровью моих товарищей... Ты как Спас-на-крови. Почему не звонят сейчас твои ржавые колокола?

Я не знаю, с чего начать свою первую книгу.

Четыре года войны вместили в себя столько разных событий, людей, пережитого, что невольно теряешься: а что главное из этого? С чего начинать: с начала или с конца? Может быть, с той минуты, как я проснулась и увидела хмурое небо с низкими грозовыми облаками и как я оделась и пошла в город: мне нужно было сфотографироваться на документы в университет, и как горбунья «фотография» меня долго вертела, чтобы посадить ближе к свету, и я злилась на нее, потому что спе-

шила к Римме Орловой — мы с ней собирались в кино, и как потом, когда я вышла из фотографии, на улице начался дождь, злобный, бешеный ливень. Сбитые ветром, зеленые листья кружились и плыли между трамвайными рельсами. Вода была так высока, что трамваи остановились. А на Никитской площади под репродуктором стояла толпа. Огромная, черная, мокрая — толпа безмолвных людей под хлещущим ливнем. И голос по радио: «Вероломное нападение... Бомбили Киев, Минск...»

А может быть, надо начать с того, как красив Дон в половодье. И как отец в высоких болотных сапогах стоит на крыльце рядом со мной и, лаская атласное рыжее ухо собаки, говорит:

— Завтра туман съест весь снег — и будет весна...

И действительно, вечером за окном молочной рекой разлился туман. Его волнообразные сизые полотна, развешанные над Доном, чуть вытягиваются, шевелятся, и я то и дело выбегаю раздетая на крыльцо посмотреть, не пропустить бы момент, когда туман начнет есть снег между деревьями и за садом.

Перед сном я спрашиваю у матери:

— Мама, а у тумана есть зубы?

Мать потрогала мой лоб прохладной рукой.

— Какие зубы? Чего ты городишь? — И она укоризненно поглядела на отца.

А ночью мне снится страшный старик с длинной белой бородой, спутанной и косматой. Он хватает грязной, костлявой рукой снег и запихивает себе в рот, давится, ест...

А может, совсем не ворошить этого давнего: Дона, Каменной степи, детства, а начать сразу с того, что камнем лежит на сердце, начать холодно и спокойно, как люди шли по мартовскому насту. И справа, и слева, и сзади, и впереди них — со всех сторон летят мины и с шипением, с грохотом разрываются, выхватывая из рядов то одного, то другого, то третьего. Потом минометы умолкают, и тогда слышится трескотня автоматов и лай собак. И один из идущих вдруг слабо махнул рукой, и люди слегка ускорили шаг, а им показалось, что они побежали.

Они побежали к деревне, откуда из крайнего дома бил пулемет. Они бежали не останавливаясь, не залегая. Потому что если бы залегли, то уже не хватило бы

сил подняться. Они то бежали, то шли во весь рост, пошатываясь от усталости, шли на прицельный огонь. И другого выхода, кроме как идти на этот прицельный огонь, у них не было. Они были в двойном окружении.

Я обязана написать обо всем на войне: о плохом и хорошем, потому что все эти люди — мои товарищи. Я их знаю по именам. Я знаю, как они кружили весь выюжный морозный февраль, и весь снежный март, и половину сырого апреля в тылу у врага, с последним сухарем и последним патроном, и как их травили собаками, и как немцы и полицаи охотились на них, словно на волков, и как с самолетов их расстреливали с бреющего полета, и как пушки и минометы били «по площади» наугад и всегда попадали в живое, и как враг боялся их, этих полутеней, измученных и голодных.

Это все мои однопольчане. Я знаю от начала до конца их мрачную эпопею. Немецкие танки, перерезав дорогу на Вязьму в феврале 1942 года, разделили и мою жизнь пополам. Ведь я только случайно осталась жива: из-за лошади, которую мы остановились покормить. Если бы не эта лошадь — ее убило осколком от авиабомбы в тот же день в Белом Камне, — я ведь тоже была бы там, вместе с ними...

Но как написать обо всем этом? События того времени нельзя осквернять неопытным, робким прикосновением. И уж если начинать говорить, то надо же говорить все до конца!

«Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая», — учит Лев Толстой.

В институте многие пишут о войне. Почти каждый из нас убедился на собственном опыте, что война выглядит совсем не так, как мы думали о ней прежде. А между тем чего-то главного в наших произведениях недостает. Есть пейзажи, атаки, смерть, расставания, военный быт, а вот воинского труда, подвига повседневности все еще нет...

Есть два вида подвига: мгновенный, быстротечный, когда человек живет минутой, и подвиг, который длится годами. Нередко вся жизнь человека — из дня в день удивительнейший, ни с чем не сравнимый героизм. А как об этом занимательно написать?.. Как пере-

дать словами все напряжение не этой одной-единственной минуты, а всей цепи долгих, внешне ничем не отличающихся друг от друга лет? Как изобразить перспективу одинакового для всех дней одного, общего чувства?

Мы еще не созрели, чтобы писать о незаметном...

Сейчас принято говорить о войне обязательно нечто новое.

Конечно, незачем повторяться! Но и новое не должно противоречить тому, что было в действительности. Новизна существует в литературе не ради одной новизны. Копать глубже — не значит копать в другом месте.

Мы сейчас забываем, что на войне было много хорошего. Что на войне мы были юными. А в юности даже мрачные вещи выглядят весело. Этого нельзя никому забывать. Ипохондрия многих сегодняшних повестей — это уже следствие послевоенных лет, это черный светофильтр на объективе, через который некоторые из нас оглядываются на прошлое.

23.

ЛЯГУШКА В КАРМАНЕ

Теперь меня все чаще и чаще тянет к прозаикам. Я хожу и допытываюсь: а как они строят сюжет? А из чего складывается внешний и внутренний облик героя? А как нужно писать фразу, чтобы из самого сочетания слов создавалось то таинственное единение, какое связывает писателя с читателем и которое не позволяет читателю небрежничать, уклоняться от чтения? Из чего состоит черно-белая магия слов?

Как найти ту самую *первую* фразу?

Наверное, перед каждым начинающим писателем, да и не только перед начинающим, стоит эта проблема единственной, неповторимой, увлекающей читателя первой фразы!

Я помню начала многих хороших книг наизусть. Толстовское: «Все смешалось в доме Облонских», Гоголевское: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор», Олешинское: «Он поет по утрам в клозете».

У великих вся фабула в одной этой первой фразе. Анатолий Франс начинает свою «Иокасту» так:

«Как, неужели вы кладете лягушек в карманы, господин Лонгмар? Вот гадость!»

Франс — писатель едкий и острый, не боящийся уходить с проторенной тропки сюжета в дебри философских отступлений и сложных ассоциаций, ибо уверен в собственной неотразимости, в глубочайшем своем влиянии на ум читателя.

Но, однако ж, и он не гнушается раздумывать над своей первой фразой и долго ищет ее и подкладывает читателю «лягушку в карман», чтобы тот не дремал. А как много еще у нас сырых и неинтересных первых страниц, как уныло мы начинаем повествование!.. Где уж тут заинтересовать читателя; хотя бы не оттолкнуть его, не заставить зевать с первой строки!

Значит, что же? Надо непременно в эту первую фразу вмещать какую-либо оригинальность?

Но тогда почему Лев Толстой так нескладно, так утомительно длинно начинает свое знаменитое «Детство»?

«12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопнушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе...»

Боже мой, какая корявая, неуклюжая фраза!

Какая неловкость и нарочитость в этой неловкости! Автор как бы испытывает терпение читателя: да полно, выдержит ли он?

Но разве случайна эта его неуклюжесть? Разве она от неумения выразиться «гладко»?

Мы еще ничего не знаем о Карле Ивановиче, а уже неловкость от его присутствия ощущаем явственно. Видим его пунктуальность, его заботливость, заключающуюся в том, чтобы непременно убить муху, которая, возможно, и не причинила бы спящему беспокойства. Разве это не блестящая характеристика человеку?.. А длинная, внешне как бы корявая фраза, разве она не сколок с дурной, полурусской-полунемецкой речи Карла Ивановича?

Эта «лягушка» посложнее франсовской. Но она живая и прыгает. Отрубать ей лапок нельзя. Иначе Тол-

стой в последующих изданиях, несомненно, отрубил бы.

Следовательно, занимательность первой фразы не трюк. Это концентрат содержания вещи, первое выражение его. В ней всегда должно быть заложено все сразу, как в почке, из которой распускается лист, как зерно, из которого вырастает растение.

Но как растение вырастает только из определенного семени, так и повесть или роман могут вырасти только из свойственной им, одной-единственной на свете фразы...

Да, пока речь идет только об одной-единственной первой фразе!

А как сделать, чтобы герой твой был виден со всех сторон? Чтобы он был живой, запоминающийся, интересный людям? И чтобы он жил в книге по всем тем законам, по каким человек живет в жизни?..

А концовка?

Чем кончить произведение, чтобы читатель не отшатнулся впредь от тебя навсегда? Чем кончаются в жизни обычно наши собственные переживания и муки?

Нынче принято посмеиваться над счастливыми концами в повестях и романах. Но история литературы говорит нам другое.

Угловатый и неподкупный суровый рассказчик Александр Грин, не умевший и не любивший потрафлять обывателю, все же не один раз кончал свои рассказы весьма примечательной и полной глубокого смысла фразой:

«Они жили долго и умерли в один день».

Скажите, многие ли ваши знакомые, любящие друг друга, «умерли в один день»?

Нетипично. Надуманно. В жизни так не бывает. А Грин взял и не побоялся такой исключительности, написал.

Мне рассказывали: во время войны в окружении двое влюбленных не захотели переносить унижения плена. Он был ранен. Она молода и здорова и, видимо, могла бы надеяться пробиться к своим. Но они прежде всего... любили друг друга! И когда в нагane остались всего два патрона, они крепко обнялись, поцеловались, и он сначала убил ее, потом себя.

Счастливый это или несчастливый конец? Кто, кро-

ме них двоих, это знает? Мне кажется, в нашем нынешнем представлении о счастье не всегда хватает величия, силы духа.

Счастливая концовка не ложь, не стремление писателя подсахарить, подсластить пилюлю. Это естественное, здоровое тяготение к очищению, к завершенности, столь же необходимое человеку, как, например, грозовой туче — пролиться дождем, освежить небо и землю: «Тих мой край после бурь, после гроз...»

Прежде чем начинать, нужно тысячу раз отмерить и заранее взвесить, чем кончить. Потому что самое главное, в сущности, — это то, что стоит за последней фразой. За точкой. Жизнь или смерть? Надежда или разочарование? Вера в людей или же ненависть и презрение к ним?

Да, тяжело начинать... Тем более все сначала.

Перейдя на прозу, я вдруг вижу, что потеряла все, что умела делать до этого. Забыла, где нужно ставить подлежащее, где сказуемое. Фразы у меня какие-то одичавшие: они то ползут, то скачут, то становятся на дыбы. А то вдруг из прозаического текста вылезает на свет божий обезглавленное стихотворение. Или ритм закачается, как в былине. Что-то вроде: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок...»

Но отступать некуда.

Первый свой прозаический опыт я дала прочесть заведующему кафедрой творчества Василию Александровичу Смирнову.

Он внимательно прочитал, вызвал меня после лекций, сел за стол и долго молчал, опустив голову. И я все поняла. Поэтому я уже не слушала того, что он мне говорил. Помню только, что он тщательно подбирал необходимые, добрые, вежливые слова. Наверное, и ему в этот час было не очень-то легко.

Но странно, я слушала его — и не огорчалась.

Был такой случай: на совещании молодых, на семинаре, два больших веселых писателя не оставили от моих стихов камня на камне. Наверное, никого они в жизни так дружно не ошарашивали, как меня, и так беззаботно не уничтожали. При этом они сказали мне много злого, несправедливого, такого, что я, будь по-выдержанней, поспокойней, повнимательней, наверное, сумела бы легко отмести как наносное, преходящее. Но я тогда ничего не отмела. Я все приняла на веру,

всерьез. На улице мне тогда хотелось броситься под трамвай. На лестнице — кинуться с лестницы. Не случись в ту пору одновременно двух смертей сразу же — Алексея Недогонова, случайно попавшего под трамвай, и Михаила Голодного, случайно попавшего под машину, я, наверное, избрала бы похожий вариант. Но после этих трагических случаев я как-то побоялась показаться смешной.

А здесь в разговоре со Смирновым я все хорошо понимала. Он прав. Он во всем абсолютно прав. Даже больше: он бережно что-то еще не досказывает, очень важное и суровое. И все-таки в глубине души я спокойна. Все равно я буду, буду писать свою прозу...

Пока еще плохо получается у меня. Ну и что!.. Я буду работать. Когда-нибудь я напишу хорошо.

24.

У БОВАРИ ЛЮБОВНИКОВ ТРИ...

С ножом к горлу подкрались экзамены. И сразу на какой-то срок отодвинулись на второй план все творческие неувязки, заботы, тревоги. Теперь перед студентом во весь свой гигантский рост встала новая проблема: проблема стипендии и пятерки («Без пятерки нет стипендии, а без стипендии не получишь пятерки, то есть вообще уже не сможешь учиться!»).

К экзаменам мы готовимся всем курсом вместе. Собираемся в аудитории с самого раннего утра, рассаживаемся за столами, как обычно на лекциях, и кто-нибудь из отличников, наших спецов по тому или иному вопросу, А. Турков, В. Огнев или С. Северцев, начинает занятия. В обсуждении темы должны участвовать все: и кто знает, и кто не знает. Нередко среди знатоков возникают разногласия, и тогда даже самые отъявленные лентяи волей-неволей постигают основы, необходимые для экзамена. Ведь именно в спорах и рождается истина.

У Бовари
Любовников три.
Первый, помню, из них — Квазимодо,
Остальных позабыл, хоть умри...

Посреди дня мы делаем перерыв на обед и идем всей оравой в столовую, пугая официантов криком двадцати здоровых глоток, а также завидным аппетитом. Мы садимся всем курсом за один стол, и, хотя нас просят немедленно «размежеваться», никто не решается: не хочется уходить, откалываться от компании. И тот, кому не хватает места поставить тарелку, держит ее в руках: чего не сделаешь ради дружбы!

Пшеничная каша, полагающаяся нам по талончикам «усиленного дополнительного питания», исчезает мгновенно: «последняя из УДП».

Говорят, что экзамены — самое лучшее время отдыха для студентов. Для того, кто в году занимался, это, может быть, и справедливо. Но мои «дочери» в эти дни обычно не спят по трое суток, нагоняют упущенное. Целый год они следовали прекрасной, изобретенной ими же самими заповеди: учение — свет, неучение — приятный полумрак; и теперь слепнут от яркого блеска познаний.

Приходят они в общежитие на рассвете крадучись. Осторожно положив на место «мамины» конспекты, мгновенно засыпают. Я сильно подозреваю, что занимались они чем-то «не тем». Иногда мне действительно кажется, что их следует поколотить. Но в дело обычно вступает «папа Фитих», который, как ему и положено, говорит:

— Не надо бить их!

Избавляет моих «детей» от шлепков только то, что учение им дается легко — когда они этого захотят — и что двоек они не приносят. Однако переживать за них приходится много.

Впрочем, переживаем мы и за Расула Гамзатова, который пока еще неважно говорит по-русски.

Наш «аварский хыщник», как его у нас называют, между делом любит позабавиться, пошутить.

На экзаменах по русской литературе XIX века он чересчур долго задержался за дверью. Стоим, ждем его с трепетом.

Наконец он выходит сияющий, как майское солнце.

— Сколько получил? — спрашиваем его.

Он высоко поднимает растопыренную пятерню:

— Отлично! Пять!

— Молодец, Расул! А что тебе досталось?

Тот небрежно махнул рукой:
— А! Какой-то Помялойский!
Вот после этого и говори о писательской славе...

25.

**НАС ГЛАДКОВ
НАЗЫВАЕТ: ПОВЕСЫ...**

*Нас Гладков называет: повесы!
И за каждую двойку сечет,
А вдали мы — московская
пресса,
Уваженье нам, честь и почет!*

Летние ночи шатаются по Тверскому бульвару, заглядывают в распахнутые настежь окна, что-то сонно бормочут тебе на ухо. Птицы в сквере перед институтом щебечут: «Книжечки?! Прочь, прочь!»

Все чаще на подоконниках валяются забытые кем-то учебники. А вечером, когда смотришь на дом с Тверского бульвара, в освещенных окнах — силуэты влюбленных парочек.

Последние бессонные ночи перед последним экзаменом. Последние горькие слезы двоечников и первые радости отличников. Студента, ходившего в одиннадцатый раз к Александру Александровичу Реформатскому сдавать языкознание и не сдавшего и на этот раз и опять получившего «кол», уже показывают в коридоре за деньги: «Чудище, обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй!»

Все поспешно заканчивают московские дела и готовятся в путь-дорогу на свою первую творческую практику. Рита Агашина едет в Павино, Наташа Бурова — в Ташкент, Вера Скворцова — в Ленинград, Рая Хубецова — в Осетию. Я — в Кызыл-Орду.

Из-за фанерной перегородки, отделяющей нас от ребят, долетают тугие, подобные громовым раскатам, басы:

— Аркадий, вставай!

— Аркадий, вставай!

— Аркадий, вставай, опоздаешь на поезд...

Мы сами выбираем по карте, куда ехать на творческую практику: что любишь, что знаешь, что ближе к

сердцу. Поэтому каждый едет с охотой, полный новых творческих замыслов.

В девчачьем общежитии суета, разинутые пасти чешмоданов, горячий уют на «Мартыне Задеке». Сейчас не до «Мартына», да и все угадано — ждет дальняя дорога.

Над беспорядком разгромленных кроватей, книжных полок, цветов, забытых в эмалированной кастрюле, — остатки какого-то шумно отпразднованного дня рождения, — легкий дух отрешенности. Бренные тела еще здесь в Москве, а души уже там, в дороге. Поэтому так бестолково суедемся в узком пространстве между кроватями.

Мы едем вместе с Наташей Буровой самые последние, проводив подруг.

Нам с ней по пути.

На прощанье в последний раз идем в институтский сквер.

Красная юбка Наташи похожа на перевернутую чашечку мака. Зеленая кофта. Обнаженные тонкие руки, как стебли. Да и вся она, теплая, мягкая, пронизанная лучами солнца, как яркий тропический цветок. Золотисто-рыжие волосы спутаны ветром. Взгляд глубоких темных глаз загадочен, неподвижен.

Наташа может часами сидеть в какой-нибудь неловкой позе, не шелохнувшись, глядеть на траву, на гравий дорожек и путаницу солнца и листьев. Интересно, о чем она думает в эти минуты? Может быть, в этой солнечной тишине и рождаются строчки:

Дай мне силу не думать о смерти,
Дай мне мужество выбрать тропу!
Только ветер, что мельницы вертит,
Может смело бросаться в толпу.
Каждый день, что пронесся, жалеешь.
Прошлый год были ярче глаза.
Очень плохо, когда не умеешь
Различать в темноте голоса...

Да, только о смерти и можно думать с такими глазами! Ведь это неправда, что в наш атомный век не умирают от несчастной любви, что шекспировские страсти устарели.

Мы-то знаем, отчего так мрачны глаза Наташи,

так грустны и прекрасны ее стихи. Но человек, который дорожит каждым «пронесшимся днем», все же сильнее смерти. В это хочется верить. В это помогает верить совсем по-женски сказанная фраза о том, что «прошлый год были ярче глаза». Так, наверное, ревнуют к самой себе, еще молодой и наивной. Но если глаза не стали ярче, зато сегодня ярче стихи! А это для поэта гораздо важнее...

Она уходит с томиком Пушкина в сторону от меня и садится на солнце. В ней все южное, томное. Древней Азией дышат складки небрежно брошенного шелкового платка, оборки юбки, кольца волос. И я, да и все, кто остался в доме, с надеждой и радостью любимемся Наткою издали.

Отчего такая красивая и талантливая женщина одинока?

Талант — это, видимо, большая обуза для «ближнего».

Тем более если «ближний» и сам пытается выбрать в литературе свою «тропу» и боится попасть под обаяние самобытной, не похожей на других личности, впасть в подражательство...

Не знаю, не хочу судить «ближнего».

Я всегда с грустью думаю о Наташе, желая узнать, отчего так значителен в ее стихах этот мотив неуспокоенности, мятущейся души:

Кукушечья мудрость — живи да живи,
Не надо ей дупел высоких,
Положит она свою тяжесть любви
В гнездо зазевавшейся сойки.
А птицы не спросят в шептании сада:
«Чего тебе мало? Чего тебе надо?»

Мы сидим с ней в поезде Москва — Ташкент, на верхней полке, под самой раскаленной крышей вагона, и Натка читает мне стихи. Потом она тут же переписывает их на обрывках бумаги в дар, на память. Стихи я уже помню наизусть, но клочки собираю бережно. Мне мило в ней все: ее мягкость, ее внутренняя чистота, ее тихий, чуть охрипший, простуженный голос. Слова льются цветистые, живописные, как пейзаж за окном, как бусы молодой казашки, вынесшей на перрон кислое кобылье молоко.

Наташа хорошо знает Азию — от Семипалатинска до Арала — и любит ее:

От родины моей далеко города,
И за ночь не дойти до Каракола,
Где надвое пустыню расколола
Цветной полоской узкая вода,
Урча в камнях, вымытых и голых...

Она рассказывает мне о своем сыне Димке, о Семиречье, где прошло ее детство, о Памире, куда она собирается с геологами в экспедицию. Потом, спустя год, я получу от нее с Памира единственное письмо, полное смутения: «В институт я больше не вернусь. Посмотрела бы ты, как здесь работают люди, в темных шахтах, по пояс в ледяной воде. На что им мои стихи «про любовь»? И что нового вообще я могу рассказать им? Что я знаю? Нет, надо по-новому начинать жить. Надо снова искать свою тропу...»

В институт она так больше и не вернулась. А стихи ее бродят по Москве, передаются из уст в уста, хранятся как драгоценность.

Где ты, Натка, теперь? Что делаешь? Отзовись...

Уж, наверное, ты повидала немало, если каждый листок, исписанный твоим ломким, упрямым почерком, говорит о нелегкой, нерадостной жизни.

26.

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Вот я и в Кызыл-Орде!

Город мне нравится. Он полон солнца, пыли, верблюдов и фетровых шляп. На каждом проходе или проезде — обязательно фетровая шляпа. Здесь пахнет арбузами, кизяками. По утрам вместо будильников — ишаки. Они кричат хриплыми, надрывными голосами: «Иааа! Иа-ааа! И-а!»

Возле города лениво изгибается и крадется на мягких желтых лапах Сыр-Дарья. Она мутная, глинистая, волны в ней покаты, как женские плечи. Ртутный отблеск солнца на воде, верблюжья колючка на берегу; все это дико, пустынно и дышит вечностью. Вдалеке по

степи клубы пыли — это идут машины с грузами к строящейся на Сыр-Дарье плотине ГЭС.

Хорошо уходить после полднего зноя за город, лечь на горячий глинистый берег и слушать далекий заунывный ропот реки до тех пор, пока солнце не сядет на волны.

Ранним утром под сенью развесистых карагачей я иду на работу в редакцию. Здесь я прохожу свою практику. В моем распоряжении прохладная комната, вся в зеленом полумраке от разросшегося под окном дерева, на столе чернильница и телефон — больше мне ничего и не надо. Я очень довольна условиями работы. Каждое воскресенье газета выходит с четвертой «литературной» страницей. Моя обязанность — подготовить ее. Это значит, что нужно найти какой-либо хороший рассказ или очерк, стихи, рецензию на интересную книгу или кинофильм, занимательную информацию, эпиграммы, пародии, шутки.

Я засиживаюсь в «своем» кабинете до ночи. В редакции уже тихо, и мне уютно, хорошо пишется. Дерево, стоящее под окном, шепчет что-то доброе, непонятное на своем языке. В углах комнаты дремлют серые замшевые тени. И свет из-под зеленого абажура кажется дружеским, как глазок семафора: езжай в любую область фантазии, принимайся за любое хоть самое трудное дело. И все, что задумаешь, загадаешь, все тебе сбывается.

Я сижу и «страдаю». Завтра суббота. Последний срок. В номер нужен рассказ, а я ничего не нашла хорошего. Торопливо перебираю чужие рукописи. Может быть, что-либо взять и подправить, улучшить? Но увы! — ничего нет. Ничего нет подходящего, не только хорошего, а хотя бы даже средненького. Просто хоть плачь.

Я запираю свой кабинет и ухожу в полном отчаянии. Медленно бреду по темным, пышущим, словно жаровни, не остывающим за ночь улицам. Что делать?

Потом долго сижу перед своим домом на скамейке, возле дувала. Зеленоватая, подобная переспелой дыне луна истекает душистым, как сок, призрачным светом. Город слоится, становится зыбким в серебристо-зеленом тумане. Будто вся Кызыл-Орда сбежала с картин Куинджи.

А что, если попробовать мне... написать самой?..

Нет, конечно, ничего не получится. Да и поздно за это браться. Одна ночь. Всего одна ночь осталась до срока.

Я иду домой и ложусь на расстеленной на полу кошке. В жару здесь все спят на полу на кошке. Так прохладней. Взбиваю повыше подушку — и всю ночь смотрю в темноту широко раскрытыми бессонными глазами. Вспоминаются какие-то встречи, поездки, хорошие люди; всплывают перед глазами фразы. Вот откуда-то выплыло из-под сознания и встало типографской строчкой начало. Я вижу даже шрифт, каким это набрано, слышу запах типографской краски.

С боку на бок, с боку на бок... И так до утра.

Утром на работу не иду, а сажусь тут же, на полу, над тетрадью и пишу, пишу, пока не онемееет рука. Скорей, скорей! Вот этот «хвост» — его в начало. Обозначим: такая длинная «вожжа». А эту вставку убрать отсюда. Она разжижает — и без этого ясно. А этот человек должен говорить только так:

«Я вас очень прошу, чтобы вам понравился Казахстан!»

Такого человека я знаю. Он именно так и говорит.

А этот пейзаж должен быть истинно казахстанским: размытые краски, полутона, еле заметная тонкая линия горизонта.

Я пишу размашисто, не раздумывая над фразами.

На другой день хожу по городу и смотрю на витрины: да, действительно меня напечатали. Мой рассказ есть в каждом экземпляре газеты. Ну, не странно ли? И люди читают!

А потом, спустя несколько лет, я найду всему объяснение в одной книге: «Только глупец побеждает в жизни, умник видит слишком много препятствий и теряет уверенность, не успев еще ничего начать».

Август в Кызыл-Орде — это жара, пыль и ветер из Каракумов. Люди начинают свободно дышать лишь в сумерках, когда летучие мыши косо режут воздух раскрытыми серыми парашютиками крыльев. Звезды крупные, яркие, как ртутные лампы, зажженные в недостигаемой глубине черных небес.

Все чаще и тревожнее я вслушиваюсь в гудки паровозов, долетающие со стороны вокзала, все чаще вспоминается наш подвал, голубые стены, Москва.

Мне говорят в редакции:

— Оставайтесь у нас работать. Что вам институт! Потеряете пять лет жизни, а толку? А здесь... — и начинают перечислять все блага жизни, какие бедному студенту, живущему на стипендию, и не снились.

Да, конечно. После армии и офицерского жалованья с полевыми и «за погоны» переходить на стипендию было «грустно». Одна буханка хлеба на базаре у спекулянтов стоит приблизительно столько же, сколько мы получаем в месяц. И хотя студенты, как известно, экономят на всем, в том числе на шнурках и на бане, все равно до конца месяца денег не хватает. Каждый раз возникает проблема: где занять? А здесь — жить без долгов, жизнью интересной, полезной и в то же время достаточно сытной. Гонорары, поездки в «глубинку», кабинет, телефон, положение очеркиста, квартира... Ах, что и говорить! Все это звучит ужасно заманчиво. Кроме того, хочется пожить и с родными, которых, начиная с сорок первого года, я ни разу не видела. Хочется попользоваться всеми прелестями азиатской южной страны: дынями, арбузами, яблоками, рыбой, кумысом, полакомиться мясом фазанов и дикого кабана, покупать влады в вечно куда-то спешащей, загадочной Сыр-Дарье, побродить по ее берегам, пожариться, отогреться в свете смуглого, ничего не жалеющего жаркого солнца.

Но...

Искусство требует жертв!

Меня зовет к себе институт. Зовет, манит всем недо-споренным, недосказанным, недослушанным. И этот дальний его зов пересиливает, перевешивает над доводами «золотого тельца».

«Встречайте еду дынями» — такую телеграмму я отправила на Тверской бульвар и всю дорогу боялась, что меня не встретят, что за тяжелый груз, свыше нормы, меня оштрафуют, что на Казанском вокзале мне придется эти дыни просто дарить прохожим. Ведь всяко бывает: вдруг еще никто не вернулся с практики в Москву?

В поезде среди ночи я не раз просыпаюсь и с тревогой посматриваю под лавку: целы ли мои огромные ананасные, сетчатые, зеленомясые, купленные на мои трудовые?..

Ночью, когда уже закрылось метро и по своим современным комфортабельным стойлам уже разбрелись

московские трамваи, троллейбусы и автобусы, мы наконец приползли на Казанский вокзал.

И конечно же, меня встречали! Как я могла сомневаться?!

На вокзал пришла целая орава друзей.

Каждый взял по дыне — и безбоязненно миновал контрольные весы. На всякий случай, я шла позади этого по-восточному торжественного шествия, чтобы выручить задержанных. Но таковых не оказалось. Все мы заранее договорились, что встретимся на площади у стоянки такси. Вот и я прошла благополучно, и все в сборе. Нет только одного — новичка, первокурсника Ивана Ганабина, которого Инна мобилизовала как «грубую рабочую силу».

Мы столпились вокруг машины и дружно стали кричать:

— Ваня, Ванечка, мы здесь! Ваня!!!

Нам откликаются то шоферы, то носильщики, то кто-либо из приезжих. Иные недоумевают, чего это мы среди ночи подняли галдеж, иные смеются над нашими усилиями разыскать в многомиллионной Москве какого-то никому не известного Ваню.

Наконец наш шофер не выдержал:

— Долго будем еще ждать?

Приходится ехать.

В «голубом подвале» все, кто спал, разбужены. Поднялся шум, начались разговоры, восклицания, поцелуи, рассказываются последние новости. Прямо из постелей, не одеваясь, все рассаживаются вокруг стола, на который я водружаю самую большую, самую спелую, пахнущую земляникой и медом дыню.

Потом разрезаем вторую, затем третью...

Улеглись страсти, утих шум, а Вани Ганабина все нет и нет. У меня на сердце кошки скребут. Куда он задевался? Что случилось? Почему отстал от «масс»? Может, заблудился? В милицию попал?

Легли спать, погасили свет. И только на рассвете я слышу, как тихонько скрипнула входная дверь, кто-то осторожно, на носках, вошел в комнату, что-то тяжелое положил на стол...

Я вышла на «манеж».

— Ваня, это ты?

— Да.

— Где же ты был, мы тебя искали...

- А я пешком шел.
- От Казанского? С такой тяжестью?
- Да.

Утром мы с Инной пошли к «мальчикам», на их половину. Ганабина уже не было. Его койка, по-матросски аккуратно заправленная, стояла в углу. И ту самую дыню, которую он нес, мы и возложили ему на кровать, нацарапав на толстой шершавой поверхности: «За отвагу...»

Как выяснилось потом, это была первая в его жизни дыня. Прежде он никогда их не ел.

27.

КОНЕЦ

«ГОЛУБОГО ПОДВАЛА»

Простите, вы никогда не были на шабаше, на Лысой горе?

И вы не видели ни ведьмы верхом на помеле, ни взбесившихся скамеек, стульев и плошек?!

Отсталый тогда вы человек...

А вот наш ночной сторож дед Тарасыч такой шабаш однажды видел и может подробно рассказать, когда и с чего он начался и чем кончился.

А все началось с открытого партийного собрания. Кто-то встал и бросил упрек секретарю партбюро, полковнику Львову-Иванову, что в нашем доме существует странная дискриминация: ребят наконец-то перевели в сухой, солнечный флигель, во дворе, а девушки и поныне мерзнут в сыром, насквозь прогнившем подвале. И до каких пор это будет так продолжаться? Не пора ли в этом деле навести настоящий порядок?!

На другой же день сердитый и мрачный Львов-Иванов пришел к нам в «Большую девичью» и сказал:

- Вечером переселяйтесь!
- Куда? Иван Александрович, куда?
- На второй этаж, рядом с Литфондом...
- Да ну? Это правда? Вы не обманываете?!
- Разве я, старик, буду обманывать?

Затормошили его, зацеловали, затискали так, что он еле отбился.

— Знал бы, коменданта вам прислал! Пусть бы он сообщал такую новость...

Но ушел довольный, сияющий.

Вечером дед Тарасыч запер все входные двери на ключ, чтобы никто посторонний не вошел в дом, и сел с книжкой и настольной лампой к окну. Оглянулся, смотрит, а к нему перина на кокетливых каблучках приближается и жалобным голоском говорит:

— Дедушка Тарасыч, ничего не вижу, зажгите свет...

Дед даже попятился.

А следом за периной тумбочка кверху ножками в воздухе плывет и кричит:

— Эгей, где вы там? Не отставайте, мне одной тяжело...

И началось...

Кровати, матрацы, подушки, столы, стулья, охапки книжек, чемоданы — все это вихрем проносилось мимо Тарасыча, хохотало, пело, прыгало. То внизу, в подвале, то на лестницах, то на самом верху, в величественных, настоянных на патриархальной тишине и благоговении перед начальством апартаментах Литфонда зазвучали дерзкие слова:

Эгей, запевай, голубой подвал,
Радость встречай, народ!
Эгей, даже кто не певал,
Пусть в этот день поет...

И до глубокой ночи длился этот праздник, пока молодые, симпатичные ведьмы с комсомольскими значками на кофточках торжественно устраивались на новом месте. А дед Тарасыч суетился среди них, хлопая руками себя по бокам, и восклицал:

— Ну теперь у вас не жизнь, а малина!..

Да, прекрасна была эта новая жизнь!

Маленькие, сухие, теплые комнаты, насквозь пронизанные, прогретые солнцем, с окнами, купающимися в синеве неба и зелени сада... И полы — не цементные, а паркетные! И стены — не фанерные, а капитальные... Чудо какая жизнь! Тесновато? Не беда. Мы ничуть этим не смущены. В тесноте, да не в обиде.

Наше «семейство» все в сборе и расположилось в новых комнатах, кровать к кровати. С нами нет только одного «папы Фитиха», который давно уже стал мамой, на этот раз по-настоящему, и живет в своей собственной квартире, с собственным маленьким Андрюшкой.

«Дочери» мои осиротели, но только наполовину. Если нет в доме отца, то тем строже должна быть мать.

Я присматриваю за ними довольно сурово.

У нас наконец-то есть распорядок дня, мы ложимся в двенадцать и сразу гасим свет, что невозможно было сделать в «голубом подвале», ибо там каждая «кошка» ходила сама по себе и не признавала никаких авторитетов.

Опоздавшие к «отбою» отныне пробираются к своим кроватям тихонько, на цыпочках. Поэтому все высыпается и встают утром веселые, бодрые...

Наша комната самая чистая.

За это нам торжественно вручили премию — радиолу. И у нас появилась пластинка. На одной стороне «Прощайте, скалистые горы», а на другой какой-то старинный вальс. Мы вполне довольны и тем и другим.

И конечно, на самом видном месте, на круглом столе, накрытом чистой скатертью, стоят в белой вазе красные кленовые листья...

Кто-то загадывает, укладываясь на ночь в кровать:

— На новом месте приснись жених невесте!

28.

НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВЫЕ ПТИЦЫ

Наконец-то и мы старшекурсники, и уже не нас называют «мальки» и «котят», а других — только что принятых новичков, и тех, кто следом за нами переходит с курса на курс, хотя их-то уж никак не назовешь ни «мальками», ни «котятами». Массивные, с квадратными плечами, загорелые, бритые, по институту ходят парни в матросских шинелях: Семен Шуртаков, Михаил Годенко, Григорий Поженян, Иван Ганабин, Иван Завалий. В скверике института под пожухлой и пыльной листвой знаменитого красного клена басисто, напирая на «о», читает стихи молодой солдат-пехотинец в выцветшей форме. Это Владимир Солоухин. Его круглое обветренное лицо по-крестьянски сдержанно, настороженно. Взгляд словно спрашивает: «Ну, так что вы мне скажете? Попробуйте-ка возразить!» Тут и там мелькает белая, как лен, голова: это носится по институту

задиристый, вспыльчивый, «сплошная эмоция» прозаик Владимир Тендряков. Дружно держатся два артиллериста — Юрий Бондарев и Григорий Бакланов, они вместе ходят по коридору, вместе курят, вместе вступают одновременно в спор. Круглолицый, низенький, толстенький Евгений Винокуров всегда улыбается, даже когда над ним подшучивают: признак отличного душевного здоровья.

Пополнение прибывает мощное, крупного калибра.

На перерывах кто-то с пафосом «рубит» стихи.

Оценки поступают самые противоречивые. Один из слушателей восклицает:

— Хрестоматийно!

Другой резко машет рукой:

— Черная абракадабра!

Третий, сплюнув, подвел итог:

— Это написано левой холодной немойтой ногой.

Ну, значит, сейчас и сам автор, и его критики возьмутся за грудки.

К нам на курс тоже прибыло подкрепление: из ВИАКа¹ пришел очеркист Анатолий Злобин, с заочного перевелся поэт Василий Федоров. Высокий, светловолосый, он возвышается над стоящими вокруг него противниками на целую голову и что-то шумит, доказывает, поправляя спадающую на лоб светлую прядь.

Однажды после особенно ожесточенной схватки Федоров сказал мне, весело улыбаясь:

— Есть люди твердые, как орех. А раскусишь его — и баста! Больше в нем нет ничего. А меня, — Василий хитро смеется при этом, — меня жуют, как резину, и так-то и эдак, а я все такой же! Не по зубам...

Он приглядывается ко всему своими маленькими, умно поблескивающими глазами, морщит толстые губы, что-то думает, думает...

Есть поэтические таланты, подобные алмазам. Они сверкают ярко, всеми гранями. Но впоследствии, сколько их ни шлифуй, а смысл их все тот же. Ничего в драгоценном камешке не прибавилось нового!

Талант Василия Федорова напоминает мне жемчужину, которая с годами все увеличивается, зреет, нарастает слоями. Вот она была маленькая, песчинка. А вот спустя годы — большая, опалово-розовая и сияет

¹ Военный институт иностранных языков.

глубинным, молочным огнем, переливается спрятанным внутри него солнцем...

Мы сидели с Федоровым почти рядом, в одной аудитории, и довольно долгое время совершенно не знали друг друга.

Впервые всерьез мы столкнулись с ним в поездке в Воронеж, в дни зимних каникул.

В то время Воронеж был разрушен, пожалуй, не менее, чем Сталинград. Целые километры аккуратных развалин. Аккуратных потому, что они уже обнесены заборами, окружены пушистыми, в белом инее, тополями, укрыты, спрятаны под белым пушистым снегом.

Но за заборами — черные провалы окон, голые, мрачные, обрушенные стены, исковерканные трамвайные пути. Словно трубы архангелов, сзывающие людей на страшный суд, поднимаются к небу черные колонны здания, где у немцев было гестапо.

Казалось бы, кому в Воронеже до стихов, до поэзии, когда еще нет ни света, ни хлеба? Кому интересно слушать двух начинающих, молодых?

Зрительный зал заводского Дома культуры полон. Наши слушатели — мальчишки, выпускники ремесленных училищ: безотцовщина военных годов. В любую минуту они готовы подраться, а подравшись, заплакать; в любую минуту могут засвистать в три пальца, как голубятники. После смены, еще грязные, неумытые, голодные, в ледяном, нетопленном зале, они собрались на одно из тех самых бесплатных «мероприятий», которые, как известно, всегда ходят в низкой цене...

Я сижу на огромной неметеной, неприбранной сцене и робею: сумеем ли мы завладеть вниманием своих маленьких непоседливых слушателей? Ведь мы будем читать только стихи. Одни стихи. И более ничего! Никаких цпаг глотать мы не будем...

И вот первые фразы брошены в зал.

Тишина.

Слушают внимательно. Ведь это стихи о Воронеже, их родном многострадальном городе, в котором они знают каждую улицу. Это им, видимо, очень понятно. Весело хлопают. Не привычно-старательно, а вразброд, но с азартом.

Меня сменяет Василий Федоров. Он читает стихотворение о мятущейся, полной сомнений душе,

выбирающей путь, о единственно верном, правильном шаге:

Переступить? Или вернуться?
Переступить? Или вернуться?
И решено — переступить...

И вдруг совершается нечто ужасное, чего мы не могли и представить себе заранее. В зале мигнул и погас электрический свет.

Полный мрак. Сейчас... Жду. Сейчас заревут, засвистят, затопают каблуками, закричат: «Сапожник!» И наши голоса потонут в столпотворении вавилонском...

Но — тишина.

В самом деле. Полная тишина.

Федоров на миг перебивает сам себя.

Спрашивает:

— Как, ребята, подождать? Или читать дальше? Будете слушать?

— Читайте... Если знаете наизусть!..

— Продолжайте! Мы слушаем...

И он продолжает.

Принесли свечку, поставили на обрыв, на край сцены. За нею густая, как деготь, темнота. В зале холодно. Очень тихо.

Дыхание поэта клубится белым паром.

И ни один наш слушатель не поднялся с места, не вышел из зала, прежде чем поэт не дочитал до конца и не сказал: «Все». Да и после этого еще какое-то мгновение сидели задумавшись, молча.

Наверное, легенда об Орфее не выдумка древних. Есть в поэзии сила, которая подчиняет себе человеческое существо, заставляет человека помимо своей воли задуматься, улыбнуться, загрузить.

Эта сила бывает только в талантливых, умных стихах.

С той поры для меня поэзия Федорова стала близкой. Тайна вечного обновления жизни, возвращения людям взятого у них и переплавленного в стихи открывалась для Федорова нелегко. Но за годы сомнений, поисков, неудач он научился делать главное для поэта: не только чувствовать, но и думать. А разучиться думать, как известно, нельзя. Это качество Василия Федорова еще многих порадует.

Наконец-то я в прозаическом семинаре. У Константина Георгиевича Паустовского.

Он спрашивает, где мы побывали за лето, что видели. И о каждом названном городе рассказывает что-то свое. Кажется, нет в России такого места, где бы он не был сам: тысячи интереснейших подробностей узнаем мы от него о своих собственных родных краях и с волнением отмечаем каждый про себя: как мало мы в жизни видим — и как много увидел он! Неприметные, скучные, на наш взгляд, городишки в его изображении выглядят так, что хочется туда поскорее вернуться и пожить там еще несколько лет...

Оказывается, мы не умеем замечать.

Обостренность восприятия, точность зрения, говорит Паустовский, необходимое и важнейшее качество для писателя. Он не может, говорит Константин Георгиевич, не улавливать самых скрытых и самых тонких намеков, самых сдержанных и внешне неприметных движений души. Однако и при отборе увиденного ему нужно быть тактичным и чутким. Нельзя полюбить книгу, автор которой подсматривает за жизнью с наблюдательностью злорадного, невоспитанного ребенка: этакий чеховский «злой мальчик»!

— А у тебя, тетенька, бородавка на носу! Я сразу заметил!

Потом Константин Георгиевич предупреждает:

— Бойтесь не только словесных литературных штампов, бойтесь также ходячих истин, банальных мыслей. Учитесь делать выводы сами — только тогда вы избежите проторенных дорожек. Уважайте факты. Факты — вещь упрямая...

Он учит нас записывать свои мысли, ведь многое в жизни забывается, выветривается из памяти. Нельзя надеяться только на воображение. Обязательно нужно хорошо знать предмет, который изображаешь: как он выглядит в жизни, из чего сделан, для чего служит.

Записные книжки, говорит он, дисциплинируют человека. Они приучают писать точно и кратко. Многие записные книжки писателей могли бы существовать как

самостоятельный литературный жанр. Литература должна быть многообразной!

Сам он, признается Константин Георгиевич, записными книжками не пользуется, потому что обычно zapomинает самое главное, а именно это и нужно ему для работы над повестью или рассказом. Всякие мелочи, интересные фразы из записных книжек часто выглядят в ткани повествования инородными телами. Они звучат диссонансом.

Мы слушаем, затаив дыхание, внимательно. Щедро делится с нами богатый собственным трудным опытом писатель. И никто из сидящих в аудитории не подозревает, что на наших глазах рождается «Золотая роза», что эти беседы впоследствии будут собраны в книгу, по которой научится видеть мир еще не одно поколение молодых писателей.

Я внимательно слушаю руководителя, все, что он говорит, и раздумываю: чем талантливее литератор, тем он, видимо, щедрей к товарищам по перу. Человек, много видевший, много знающий, не может не быть добрым. Ведь он от этого не обеднеет. Только тот, кто по крохам нахватал литературной известности, может быть к своему младшему собрату по перу завистливым и даже жестоким.

На занятия к Константину Георгиевичу приходят не одни лишь непосредственные участники семинара, утвержденные по списку кафедрой творчества. На наиболее интересные чтения собирается иногда и множество посторонних. Они тоже внимательно слушают и имеют право «голоса», активно участвуют в обсуждениях. И я очень люблю эти наши «дни открытых дверей», если можно их так назвать. Эти шумные сборища приучают не только отвергать, но и уважать чужое мнение, каким бы крамольным оно ни было. Ведь для того чтобы создать что-то свое, всегда нужно понять чужое.

— Писать — это мыслить логически и мотивировать поступки, — утверждает кто-то из пришедших «послушать».

— Неправда! Чушь! Ерунда! Мыслить логически и мотивировать поступки может заурядный следователь или адвокат, однако же он не Гете и не Теодор Драйзер! Нельзя всякого взявшегося за перо и знающего жизнь титуловать высоким званием писателя!

— Знаешь, еще Гораций сказал: положите свежую рукопись на десять лет в стол и пусть она там полежит, хорошенько созреет...

— Да, а Генрих Гейне сказал, что Гораций пусть даст к этому еще и рецепт писателям, как прожить десять лет без пищи, без денег...

Каких у нас только не бывает споров!

Когда Сева Ильинский в одном из своих рассказов написал, что его герой с удовольствием вдыхал запах лошадиного пота и свежего конского навоза, многие участники нашего семинара его раскритиковали:

— Это неэстетично! Так нельзя говорить! Это — натурализм!

С этими замечаниями нельзя согласиться.

Тот, кто жил в деревне и знает ее с детства, не увидит в навозе ничего неэстетичного. В деревне, где все связано с почвой, где все существующее — на глазах! — из земли приходит и в землю уходит, где землей кормятся, земле молятся, «грязи», как таковой, не существует вообще.

Кто из нас, деревенских ребятишек, когда-нибудь мыл морковку перед тем, как ее съесть? Да никто. Рукавом оботрешь — и ладно.

Что же касается лошади, то это одно из чистейших животных. И пища у нее чистая: трава, ячмень, овес. И в ее крепком и трудовом поте есть что-то чистое, здоровое. Она вся олицетворяет собой прямую и тесную связь с землей, с природой.

Когда я вспоминаю деревню, обязательно всплывает в памяти запах лошади, конюшни, свежего навоза. Точно так же, как запах пролитого в снег бензина почему-то всегда напоминает войну.

Мне кажется, писатель подобен врачу. Он не имеет права быть брезгливым.

За окном уже ночь. В аудитории темно от табачного дыма: на семинарских занятиях всегда много курят. Константин Георгиевич разрешает это делать потому, что и сам не живет без табаку.

Он сидит на кафедре как-то боком, морщинистый, темнолицый и темноглазый, чуть нахоясь, и только изредка вскидывает седеющую голову, словно всматриваясь в говорящего. Время от времени сухо, надрывисто кашляет.

Я слушала его несколько лет подряд: на занятиях семинара, на всесоюзных совещаниях молодых писателей, на больших вечерах в институте, на защите диплома, на обсуждениях в Центральном доме литераторов — и должна сказать, что Константин Георгиевич в своих беседах с нами ни разу не повторился, не рассказал одного и того же своего наблюдения дважды. Он был неисчерпаем.

На одном из занятий Паустовский сказал характерную фразу. Я запомнила ее на всю жизнь:

— Никогда ничего не жалеете для той книги, которую пишете. Ни забавных находок, ни деталей, ни житейского опыта. Отдавайте все до конца тому делу, которое делаете сейчас, всю душу, всего себя. А для новой книги вы снова, и не меньше, накопите! Будьте щедрыми. Чем полнее сегодня отдача, тем богаче будет завтрашний день.

30.

**ФЛОБЕР, БАШНЯ
И НЕБО В АЛМАЗАХ**

Профессора нам на лекциях говорят:

— Бойтесь штампов. Бойтесь старых, затасканных приемов, привычных формулировок, банальных эпитетов. Но еще больше, чем литературных штампов, бойтесь старых, избитых штампованных мыслей. Обязательно обо всем думайте сами, до всего добирайтесь своим умом.

Легко сказать — думайте сами!

Мы пока только учимся и хотим много знать. Мы хотим получать хорошие отметки, а поэтому многое зубрим наизусть, читаем и конспектируем тьму учебников, предисловий, критических и литературоведческих трактатов и статей.

Ярослав Васильевич Смеляков, заглянув однажды в мою зачетку и увидев там одни лишь пятерки, невесело усмехнулся:

— Учишься ты хорошо! Заучиваешь чужое. А самой-то приходится думать или нет?

Трудная эта наука — думать. Добираться до всего самому. Очищать от литературоведческой шелухи литературные луковицы. Мы пока еще всему верим на сло-

во, преклоняемся перед именами. Редко-редко мелькнет мысль: постойте, а может быть, это не так?

Один критик взял вдруг и написал, что Дуняша Мелехова — это сегодняшняя Наташа Ростова, а Аксинья — это Анна Каренина. А сам Гришка Мелехов — это Болконский нового времени. И более ничего. Другой сквозь зубы пренебрежительно повествует о Гюставе Флобере...

Странно, но факт: почему-то именно Флобер, ненавидевший всякую пошлость и боровшийся с прописными, ходячими истинами, стал мишенью для пошляков, оказался жертвой предвзятого мнения.

Будь он жив, он, наверное, не преминул бы вписать в свой знаменитый «Лексикон прописных истин» и еще одну, из наших учебников:

«Г. Флобер — башня из слоновой кости».

Да, да! Всем известная башня. И всем известная слоновая кость. И всем известная теория общественной самоизоляции.

Но вот предо мною письма Флобера. Я с волнением открываю их, как Америку...

Не люблю читать чужих писем. Даже если это письма великого человека. Читать их все равно что подсматривать в замочную скважину. В большинстве случаев всегда на первом плане бытовая изнанка, столь щекочущая нервы обывателю: человеческие слабости, безденежье, «испорченный желудок — отец печали».

Пожалуй, один Флобер избежал в своих письмах мелкотемья. Этот добродушный великан никогда не интимничал. Он всегда писал о главном: о литературе. О мастерстве. О своем отношении к обществу.

Я люблю «Мадам Бовари», «Воспитание чувств», «Простую душу» — вещи правдивые, беспощадные, исполненные глубочайшего знания жизни, какого, конечно, никакая «башня из слоновой кости» не даст. И мне обидно за усатого великана, суматошливого, противоречивого, чьи шутки сходили за правду и чья правда была словно горькая шутка.

Каждый, кого ни спроси о Флобере, говорит мне, пожимая плечами:

— Чудак! Сидел в какой-то башне...

— Ну, этот-то? Эстет и формалист! Опять же удался от людей в свою башню...

Интересно, откуда это взялось и пошло по белому свету? Кто именно — и зачем? — создал эту легенду? Сколь внимательно мы читаем произведения и отчего, прежде чем говорить о той обстановке, о том веке, о тех взглядах, мы не учимся определять понятия, не очищаем от наслоений времени литературные термины? Ведь прежде чем судить, надо выяснить, что именно мы подразумеваем сейчас под тем или иным словом и соответствует ли оно по смыслу или нет словам прошлого века.

Поблагодарим Луизу Коле, красивую женщину и писательницу, за то, что Флобер писал ей нежные письма, в противном случае мы бы так никогда и не узнали всей правды об этой проклятой башне, а также о самом Гюставе Флобере и о его иронической усмешке и презрении к буржуа.

Флобер отрешивался от «реализма», понимая под ним бескрылый копиизм, фотографичность. Но сам он был по перу реалист, величайший художник и умел создавать воображаемую жизнь по всем законам живого, вдохновенно, как скульптор, лепил плоть.

Почему же мы судим слова его, а не дело?

«Ах, все дело в том, что эти молодчики придерживаются старого сравнения: форма — это плащ, — пишет Флобер Луизе Коле. — Нет, форма — плоть мысли, как мысль — душа жизни; чем шире мускулы груди, тем легче дышится». И далее прозорливо и грустно роняет: «Чем лучше ты напишешь, тем больше получишь неприятностей (разрядка Г. Флобера. — О. К.). Вот оплата за хорошее и прекрасное».

«Ты пишешь о своем унынии; посмотрела бы на меня! — восклицает Флобер в письме к возлюбленной. — Не понимаю, как у меня порой не отваливаются от усталости руки и не делается размягчение мозга. Жизнь я веду суровую, лишенную всякой внешней радости, и единственной поддержкой мне служит постоянное мое неистовство, бушевание, которое никогда не прекращается, но временами стонет от бессилия. Я люблю свою работу яростной, извращенной любовью, как аскет властную, раздирающую ему тело...»

«Я предпочитаю издыхать, как собака, нежели на одну минуту ускорить фразу, которая еще не созрела», — говорит Флобер в письме другому своему товарищу.

Разве это эстетство? Любить тяжкий свой труд, лишать себя радостей, гнуть спину днем и ночью для того, чтобы каждая фраза «созрела», да ведь это и есть настоящее, истинное писательство! Если б, взять к примеру, каждый из нас жил таким тяжким, упорным трудом, точно так же беспощадно и честно относился к написанному, я думаю, сколько ярких и сильных книг появилось бы на свет, как уменьшилось бы число скороспелок и скородумок!

Я завидую ему, этому волевому, грузному человеку, скорчившемуся за письменным столом в то время, когда все его огромное тело жаждет отдыха, страждет, скованное, без свежего воздуха и разминки.

«У меня до такой степени натянуты нервы, — признается писатель, — что, когда моя мать вошла в десять часов ко мне в кабинет проститься, я дико вскрикнул от ужаса, она даже сама испугалась. После этого у меня долго билось сердце, понадобилось не менее четверти часа, чтобы прийти в себя. Вот до какой степени меня поглощает работа. От неожиданности я почувствовал такую острую боль, точно сердце мое пронзили мечом. Что за жалкая машина наш организм. Ведь все это случилось потому, что милый человек отделял фразу!»

У кого как, а у меня такой человек вызывает симпатию. Я сочувствую его увлеченности делом, его подвижническому труду.

Он пишет Максиму Дю Кану, продажному журналисту и писателю, некогда своему другу, с которым он разошелся:

«Скажу лишь, что всякие слова, вроде: *торопиться, подходящий момент, пора занять место, добиться положения, вне закона* — для меня пустые звуки... Не понимаю.

Добиться, чего же? Положения, занимаемого гг. Мюрже, Фейе, Монселе и пр., Арсеном Усей, Такселем Делорд, Ипполитом Люка и семьюдесятью двумя другими? Спасибо.

.....

Вот где *дыхание жизни*, говоришь ты, указывая на Париж. По-моему, твое *дыхание жизни* частенько отдает запахом гнилых зубов. Парнас, куда ты приглашаешь меня, выделяет, на мой взгляд, больше миазмов, чем упоений. Лавры, что срывают там, надо сознаться, слегка покрыты дерьмом...

...Так горько сетовать на мою нейтрализующую жизнь — все равно что упрекать сапожника за то, что он шьет башмаки, кузнеца за то, что он кует железо, художника за то, что он живет в своей мастерской... В моем одичании виноваты Лукиан, Шекспир и писание романа».

Так рассуждает затворник из башни, сотворенной из «чистой слоновой кости». Приходится размышлять: почему же мы не понимаем сегодня Флобера, точно так же как не понимал его и Максим Дю Кан? Неужели мы с Дю Каном на одном уровне?..

Все дело в том, что мы смотрим с сегодняшней точки зрения: ах, затворник! Ах, он удалился от общества! («Не посещает профсоюзных собраний и не платит членских взносов!»)

Для нас «башня из слоновой кости» — синоним «голубому забору», а Флобер не мог не уединиться, потому что для него эта башня такая же мастерская, как сапожная или кузница. Просто она немного возвышена, потому что нужны широкие горизонты, потому что вокруг «болото» и мало друзей, симпатизирующих писателю. Слову «симпатизировать» Флобер тут же дает буквальное истолкование, что означает: «вместе страдать». Башня еще и потому, что туда не доносится запаха «дерьма».

«Мы танцуем уже не на вулкане, — признается он с горечью, размышляя о жизни буржуазного общества, — а на изрядно подгнившей доске в сортире».

Помимо искреннего убеждения, что в Париже буржуазные лавры «слегка покрыты дерьмом», писателя в этой «башне» удерживает и чисто прозаическое обстоятельство, о котором он стесняется открыто говорить с друзьями и о чем пишет только любимой — Луизе Коле:

«Почему нельзя жить в башне из слоновой кости! И подумать только, что вся суть в злополучных деньгах, благородном металле — этом хозяине мира! Будь у меня больше денег, — говорит Флобер, — я бы многое облегчил себе. Но мои сбережения из года в год уменьшаются, и будущее в этом отношении сулит мне мало радости... перемена образа жизни, пожалуй, привела бы к полному разорению!»

Следовательно, не добровольный уход от людей, а вынужденное заточение, как средство уменьшить расходы. Ведь чтобы жить в Париже, надо много зарабаты-

тивать. А Флобер — писатель, работающий мучительно медленно, честно, с какой-то болезненной требовательностью к себе. Он не может «халтурить» ради заработка, как Дю Кан и другие. Он и в этой-то обстановке, в уединении, пишет с трудом! (Надо знать: всяк работает по-своему. Один пишет в парижском кафе, среди шума и гвалта, другой должен непременно уединяться, писать в тишине, и это ни в какие века не считалось «подсудным».)

Флобер равно смеялся над монархистами и республиканцами, видя в их мелком политиканстве демагогию, лицемерие, ложь, и метался в поисках правды, торжества, разума, уклоняясь порой в сторону с правильного пути.

Однако эти метания и заблуждения не мешают ему при случае едко воскликнуть:

«Новость! Молодой Дю Кан — офицер Почетного легиона! Как, должно быть, он рад! Когда он сравнивает себя со мною и взирает на путь, пройденный им с тех пор, как он меня оставил, ему, несомненно, должно казаться, что он далеко опередил меня (внешне). Увидишь, в один прекрасный день он подцепит какое-нибудь место и бросит милейшую литературу. Все смешивается в его голове — женщины, ордена, искусство, сапоги, — все кружится на одном уровне, лишь бы *это его продвигало* — вот что важнее всего. Замечательная эпоха (любопытный символизм!) — как сказал бы папаша Мишле, — когда награждают орденами фотографов и изгоняют поэтов...»

Горе тому, кто за строкой не видит лица говорящего, не чувствует интонацию, не замечает горькую, ироническую складку возле губ:

«Предоставим Империи идти своим путем, закроем дверь, взберемся как можно выше на нашу башню из слоновой кости, на последнюю ступеньку, ближе к небу. Там иногда холодно, но это не беда! Зато видишь сияние звезд и не слышишь болванов».

Бедная башня, да ведь она суть мечта по лучшей, более чистой и независимой жизни — и ничто иное! Она есть скорбная усмешка над самим собой, незатейливая шутка между влюбленными, которую кто-то выкрал из писем и пустил в мир как «кредо» писателя. Да ведь эта же «башня» — совершеннейшая родня чеховскому: «Мы отдохнем! Мы увидим все небо в алмазах!»

Так, значит, за небо в алмазах — спасибо, а за башню — эстет и формалист? Но, собственно, почему?

А вообще, плохо мы читаем. Не умеем читать. Хотя и грамотные!

31.

ПРОЩЕ

ХЛЕБА

С некоторых пор мы всей семьей разочаровались в театре.

Пошли на один спектакль — не досмотрели, ушли. Пошли на другой — не досмотрели, ушли. Почти весь свой гонорар за первый опубликованный рассказ я истратила на театральные билеты, а наслаждения, столь ожидаемого, не получила.

Сначала мы обвинили самих себя: не умеем воспринимать непосредственно. Слишком хорошо знаем тексты пьес, не следим за интригой, заучились, зазнались... После нескольких неудачных попыток собрались снова — и снова вернулись домой разочарованные. В чем же, в самом деле, причина? Может быть, в этом не только наша вина?

Наконец перебрали все, что только может помешать радоваться игре, острому диалогу, декорациям, всему театальному в целом! И пришли к выводу:

— Пафоса много! Слишком много пафоса!

Нельзя и о смерти Дездемоны, и о выполнении промфинплана говорить с одинаковым дрожанием в голосе. В чем-то здесь обязательно должна быть разница.

И все время актеры что-то зрителю объясняют.

Война породила чувства суровые и простые. Никакой излишней сентиментальности, никакой жалости ко всему мелкому, ничтожному. Никакой парадной пышности, сладости. Там, в окопах, приживалось только то, что помогало воевать. Все остальное отбрасывалось.

А в театре послевоенном, да пожалуй что частенько еще и сейчас, зрителя кормят сладкой булочкой с изюмом. Причем этот изюм выковыривают на глазах у публики. Вот, мол, смотрите! Есть еще, и сколько угодно...

Изюмная сладость заставляет иных уходить от стихов в простоту и военную точность прозы, к драматиз-

му приказов и сводок. Изюмная сладость некоторых книг вызывает иногда желание попить холодной чистой водички: давай-ка, друг милый, попроще! Не надо бы этаких финтифлюшек в сахарной пудре. В простом, черном хлебе есть все, что нужно для здорового организма.

Когда я иду в театр и смотрю драму «про любовь», я думаю о тысячах неотмщенных, о миллионах, не доживших до победы, о безыменных, забытых. Почему мы не мерим наше творчество этой великою мерой?

Никогда не забуду наступление на Смоленщине, под Спас-Деменском, в августе 1943 года. Только что кончилась артподготовка, и наши войска пошли вперед. Круглые немецкие мины штабелями лежат на обочинах. Развороченные траншеи, обрывки колючей проволоки. Тела убитых, по которым уже прошли вперед танки и самоходные артиллерийские установки. Зубчатый осколок, вонзившийся рядом со мною в сухой бруствер окопа, еще горяч, обжигает руку.

На дне окопа — согнувшийся пополам и уткнувший голову в колени Мотя Ковалев, инструктор политотдела дивизии. Он только что вышел оттуда, из-под огня, из цепи наступающих: ранен в голову.

— Почему я живой? Почему?.. Для чего я живу, если Вася убит?! Для чего?! Андрей Федорович... Миша Уразов! Все, все полегли... — глухо стонет он и бьет кулаком по сухой глинистой стенке окопа.

Матвей — сильный, жилистый, сухощавый мужчина. В его чуть вислых плечах, в костлявой, тяжелой руке — железная твердость. Ходит он бесшумно, легко, как кошка, крадучись. Глаза зоркие, по-степному цепкие. И я хорошо понимаю, почему он остался в живых, только ранен случайным осколком на излете. Но мне страшно видеть, как он плачет, как слезы текут по грязной, со вздувшимися венами огромной руке, а сам он корчится, стонет, сидя на корточках в полутьме, в полуобвалившейся нише окопа, и время от времени падает головою в колени.

— Гады! Сволочи!.. Вашу... мать! За что-о?! — Он дико ворочает налитыми кровью глазами. — За что Ваську?! Бейте меня!.. — И Матвей с хряском рвет воротник гимнастерки, скрежещет зубами.

Я смотрю на него, на белый бинт на лбу, вспоминаю своих товарищей по сорок первому году. Всех, кого не

вернешь. Командира полка Алексеева, лейтенанта Вальку Редина, веселого, курного, в рыжих веснушках. Его дружка сапера Толю Ахмадеева, скромного парня, сильного, смелого, быстрого, как огонь. В Звенигороде я видела его в последний раз. Он промчался мимо меня, весь белый от снега, стоя в развалинах, с трубкой в зубах. Махнул рукой, что-то крикнул — и скрылся в белых лохмах поземки. Вспоминаю улыбчивого, очень сдержанного, очень твердого комиссара дивизии Даниила Прокофьевича Сизова. Чем я им отплачу за то, что я жива?

Они мертвы. Погибли в неравном бою. И теперь уж ни бог и ни врач не помогут их воскресить. Только единственно лишь писатель силой слова еще может заставить их встать живыми с земли, утереть кровь с лица, досказать недосказанное, долюбить недолюбленное, завершить начатое.

Но для этого надо быть хорошим, правдивым писателем. Точно таким же, какими они были солдатами.

Для этого нужна благодарная память о мертвых.

Я смотрю наши многие послевоенные кинофильмы — о войне, — и мне кажется: нет, непохоже. Те, погибшие люди были честнее, и выше, и лучше: ведь они погибали за счастье Отчизны. А поэтому все обычные недостатки, неровности, мелочи в свете этого главного не важны. Там, на фронте, в окопах, не спорили, не рассуждали: а страшно мне или не страшно. Идти или не идти в бой. Жить или не жить. Там делали свое солдатское дело. И вот в этом-то и состоит священная правота бойцов и великая правда, которой пока еще нам не хватает.

32.

НЕЧТО О БЕЛЬВЕДЕРСКОМ

Время бежит, а я еще ничего не сделала, не написала.

Я погрязла в бесчисленных страницах черновиков. И пока я раздумываю да рассчитываю, кое-кто уже напечатался. Смелость города берет! И даже гонорары.

Напечатаны в «Литературной газете» стихи Риты Агашиной, Михаила Годенко, Володи Солоухина, Мак-

сима Толмачева, то и дело появляются в печати стихи Расула Гамзатова. Принес показать свой новый сборник, вышедший в Сибири, Василий Федоров.

Один молодой, способный наш студент напечатал рассказ в «Огоньке», а потом издал повесть. Но странное дело! Его героиня, очень юная и внешне ничем не приметная девушка, у нас, у товарищей по перу, вызвала много споров.

Автор все время «улыбается» своей героине. Он дает ей сверхчеловеческие характеристики, а читатель почему-то ожесточенно сопротивляется и не хочет глядеть на новорожденное «солнце» из-под авторской руки.

Чистосердечная, наивная простушка, героиня эта не имеет к жизни никаких особенных претензий. Автор просит по этому поводу улыбнуться. И действительно, без улыбки нельзя слушать ее детских речей. Но вся разница в том, что улыбка у читателя совершенно иная, чем у автора. Улыбка у читателя недоверчивая, ироническая.

Кажется, он так и хочет сказать:

«Хорошо, что ты, милая девушка, неприметна и не-красива. Хорошо, что ты чиста! Но дай тебе красоту, разве ты от нее откажешься? Дай тебе трудности, испытания, искушения, да не такие, какие ставит перед тобой твой добрый писатель, а житейские, настоящие; дай тебе большое, неутолимое горе всей жизни, и если ты и тогда останешься чистой, наивной, незамутненной, вот тогда мы тебе и поклонимся в ножки. А пока, извини, тебе кланяться еще не за что... Чистота и неведение ребенка не заслуга, а биологический факт. Ты пока и живешь-то еще, как трава...»

Вот так или примерно так возражает читатель.

В той же книге есть и другая особа женского пола. Красивая хищница. Львица. Автор отвергает ее красоту как нечто ненужное людям, непристойное. Только когда судьба наказала эту красивую женщину дважды и трижды, когда она под ударами судьбы была вынуждена наконец смириться, растеряв свою яркую прелесть, стала серенькой, неприметной,—только тогда он ее и простил. И даже искренне со стороны полюбовался: вот, мол, теперь ты действительно по-настоящему хороша!

Неужели же мы столь безоружны и так слабы душой перед женской красотой и перед красотой человеческого

тела вообще, что должны эту красоту всячески унижать и «дезаурировать», придавать ей, подобно средневековым попам, какой-то нечистый, греховный смысл? «Что есть жена? Сеть прельщения человека. Светла лицом, и высокими очами мигающая, ногами играющая, много тем уязвляющая, и огонь лютой в членах возгорающая... Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская скворода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола...»

Противопоставление стерильно чистенькой серости яркой, но «греховной» и «злой» красоте, на мой взгляд, происходит от бессилия постигнуть истинный смысл красоты, от утилитарного отношения к красоте, от внутреннего убеждения, что печной горшок, несомненно, полезнее Аполлона Бельведерского.

Красота как норма человеческого бытия, красота как физическое и нравственное здоровье была известна человечеству еще «с древних греков». Почему бы и теперь нам не обращать иногда своих взоров на великолепных телом, задумчивых, ясноглазых Диан, на красавиц муз, на Венеру Милосскую с ее умной и тонкой улыбкой? Извечное и вполне понятное стремление людей к равенству нельзя же утешить, утолить одним-единственным рассуждением, подцепленным опять же у тех самых средневековых попов, что «убогие блаженны»...

Борьба положительного и отрицательного начал у нас пока еще нередко превращается в борьбу красок: серых, тусклых, но «добродетельных» против ярких, чистых, пронизанных солнцем, но «грешных» и «злых». Это отнюдь не борьба характеров и, что самое грустное, не борьба интеллектов.

33.

ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ

И снова зима. Экзамены. И снова август. Последние числа. После летних каникул мы всегда приезжаем в Москву на несколько дней раньше начала занятий, чтобы успеть обежать все любимые улицы, музеи, бульвары, побывать на Ленинских горах, посмотреть оттуда, сверху, на ночную Москву, вдохнуть запах вянущих

георгинов в Сокольниках, послушать Глинку, Чайковского, еще раз встретиться с Левитаном и Репиным.

У нас есть игра: прийти в Третьяковку и угадывать, где сегодня Врубель, и идти к нему без ошибки, не спрашивая. Или весь день посвятить Коровину. Или Крамскому.

— Если бы тебе разрешили взять отсюда какую тебе захочется картину, что бы ты взяла?— спрашивает меня Инна искушающим голосом Мефистофеля.

Я хожу из зала в зал и думаю: вот это. И это. Нет! Только вот это. Ведь нельзя несколько. Можно только одну.

Почему-то я всегда стою возле Крамского: «Неизвестная». Нет, сильнее всего «Неутешное горе». А может быть, этот заросший ряскою пруд, совсем как из моего детства. Зеленые тени. За рамками так и видишь степь в металлическом блеске луны. Тракторы. Седые чубы ковыля. И далекие огоньки из окон степного поселка.

Я знаю таких неизвестных, погибших на фронте, знаю, что такое неутешное горе: это женщина, верно, из того, знакомого мне степного поселка. А за окнами стужа, метель, и воет собака, и в пазах бревенчатых стен заводит свои деревянные часы домашний сверчок. После этой войны почти в каждом доме неутешное горе...

Я могу часами сидеть с книжкой на бульваре и смотреть поверх страниц на идущих мимо людей.

Вот ко мне приближается очень молодой светловолосый, очень пьяненький человек с охапкой желтых цветов, называемых золотыми шарами. Человек этот идет зигзагами, от скамейки к скамейке, подходит к сидящим и каждому дает по цветку.

Я делаю вид, что читаю.

Поднимаю голову: он стоит возле меня. Улыбается осторожно, благожелательной улыбкой.

— Разрешите преподнести?— спрашивает мягким, застенчивым голосом. В глазах — сумасшедшинка.— Наши дамы говорят, что желтый цветок — измена. А я этого не понимаю. По-моему, это очень красивый цветок!

— Вы правы. Я тоже его люблю...

Человек весь расплывается в счастливой детской улыбке. Она делает красивым и добрым его рыхлое, серое, очень пьяненькое лицо. Человек вынимает из охап-

ки самую пышную, многоцветную ветвь, усеянную, как маленькими солнцами, золотыми шарами, и протягивает ее мне.

— Это ж сама радость!— восклицает он.— При чем здесь измена? Вот чудачки, ей-богу... Вы меня извините... Я ведь только... если вы, конечно, любите эти цветы!..

— Спасибо. Я очень вам благодарна,— говорю я, принимая ветвь, и шутливо спрашиваю:— А меня не арестуют с дареным букетом?— Я киваю на охапку: она слишком большая и слишком растрепанная, чтобы быть сорванной из собственного сада.

Он сразу все понял, закачал головой:

— Нет, нет! Это у нас в НИИ все дамы... отвергают этот цветок. Мы сами его сажали. Понимаете? Вот я и решил им всем доказать. А какая же это измена?— настойчиво спрашивает он, внимательно вглядываясь в мое лицо и чуть наклоняясь.— Красивый, хороший цветок... Все берут и спасибо говорят! А мне хочется сказать вам спасибо. Берете — и чувства мои разделяете!

И он пошел дальше нетвердыми шагами, от скамейки к скамейке.

Я больше уже не могу читать.

Я смотрю ему вслед и вижу его потертые брюки, его чуть сутулую спину, рубашку в полоску, с широким галстуком, грубые, стоптанные башмаки. Вижу, как он несет охапку цветов: словно ребенка прижимая к груди. И я беспричинно и весело улыбаюсь.

Какое, наверное, это счастье для поэта, актера, музыканта — работать так, чтобы люди, услышавшие или увидевшие тебя, улыбались! Чтобы они весь день улыбались. Чтобы весь день у них было хорошее настроение... Весь день, а ведь это немало...

А время бежит...

Мы становимся тише, спокойнее, меньше спорим и ссоримся: мы взрослеем.

Рита пишет стихи у меня в тетради: «Вы хотите сказать: пятый курс, значит, хватит восторгов, хватит петь и чудить, не пора ли нахмурить неюную бровь?»

Да, всему свое время. Мы уже кончили ниспровергать классиков и теперь постепенно начинаем опять устанавливать их на пьедесталах. Пушкин есть Пушкин. Лермонтов есть Лермонтов.

Нас влекут к себе строгие своды консерватории. Бетховен, Чайковский, Римский-Корсаков, Григ, Равель. Нам и в музыке хочется видеть глубокую мысль, чувствительные, но без преувеличений.

Однажды всем общежитием отправились слушать Брамса. Идем бульварами, кидаемся снежками, хохочем. Кто-то вспомнил давнишние стихи немолодого уже поэта:

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.

Мой спутник насмешливо засомневался:

— Обычайшее поэтическое преувеличение! Поэты, они всегда так... Годами... Когда-нибудь... Ну, конкретно, когда? А вот если сейчас, например?

В консерватории множество народу. Толпа яркая, многоликая, шумная. Вошли в зал, и первый, кого увидели,— автор стихотворения. Он сидел, подперев подбородок рукой, и смотрел прямо перед собой, задумчивый, строгий, не улыбаясь: слушал Брамса.

34.

ПИСАТЕЛЬ ПОПИСЫВАЕТ...

В стенах института мы много говорили о читателе. Какой он? Что он понимает? Уж так ли мы, молодые, оторваны от читателя? Мы говорим о широких массах, а втайне думаем о профессоре, или консультанте, или о товарище со старшего курса. Уж если ему понравилось, значит, здорово, и нечего там говорить: поймут — не поймут.

Мы, конечно, не подозреваем, что профессор или консультант, поставивший тебе в зачетке пятерку, дома в качестве противоядия читает на ночь Гомера и Пушкина.

Институтские опыты, какими смешными они кажутся теперь, когда смотришь на них со стороны! Но на профессора, поставившего пятерку, почему-то в душе нет обиды. Он был прав: он видел тебя будущего, грядущего. Он верил, что семена, посеянные в твоей душе, обязательно прорастут. За эти грядущие добрые всходы он и ставил пятерку.

Спасибо за его доброту!

Но у читателя нет и не будет к тебе доброты: он жаждет самой высокой литературной кондиции, и не завтра, а сегодня, сейчас, и не в будущей, а в этой твоей только вышедшей книжке.

Он ищет ответа на все вопросы, какие перед ним самим ставит жизнь. И если ты не можешь на них ответить, он отложит в сторону твою книгу, даже если она будет написана самым бархатным, раззолоченным языком.

Дай ответ!

Это прежде всего.

Со своим первым живым читателем я встретилась на Цимлянском гидроузле, среди грохота порталных кранов, лязга лебедек и воя циркулярной пилы. Это был инженер, не очень-то молодой, погруженный в заботы строительного участка, невыспавшийся, плохо выбритый. Он ворчал на свою треклятую жизнь: легче получить для участка лишний экскаватор, чем допроситься в столовой чистой вилки. На улицах Новосолоновска грязь и пыль. В магазине нет маек и трусов. В кино крутят старые изодранные картины. Вечером после рабочего дня и тридцатипятиградусной жары некуда деться, негде взрослому человеку отдохнуть: на танцплощадке «валяют» одни польки да падекатры под баян, в парке — парочки, над берегом Дона — мрак, нет электричества, хулиганье...

Мы с ним знакомство начали с того, что отчаянно поругались. Потом подружились. Потом он водил меня по строительному участку и в конце пути, уже к вечеру, привел на эстакаду, показал на раскинувшуюся внизу совершенно «абстрактную», модернистскую, залитую кровью и золотом вечернего солнца картину строительства: огромные синие тени кранов, чернота котлована, голубые хризантемы электросварки на железных, геометрически изломанных стеблях, в вышине — зеленое облачко...

— Кто об этом напишет? — спросил он меня. — Какая Анна Каренина завтра бросится под мотовоз, под бадью с бетоном? Ведь это же размах... один размах чего стоит!.. Мы кое в чем все еще скифы — и мы первые на земле построим светлое царство... Где ваши книги об этом?

Потом мы шли по темным улицам Новосоленовска, и он допрашивал меня строго, с пристрастием о новых романах, о новых стихах, написанных молодыми и еще не прочитанными им. А надо сказать, он читал все; все, что выходило: и в газетах, и в толстых и тонких журналах, и в отдельных изданиях.

— А какие романы вам нравятся? А какие стихи вы любите?

Он читал все новинки литературы. Даже меня.

Он сказал:

— Пишите правду. Правда есть правда. Она не голая, не святая, и прочее. Эпитеты тут не помогут. Она есть просто правда. Натурализм — это даже не суррогат ее; он так же далек от природы, как и простая, откровенная ложь.

Мы скоро расстались. Кончилась моя командировка, и я уехала в Москву. Потом я слыхала: этот инженер строил канал в пустыне. Потом возводил теплоэлектро-центральный в Прибалтике. Потом уехал на Волго-Балт. Где он теперь, я не знаю. Но когда я пишу или читаю чужую хорошую книгу, я всегда вспоминаю его, своего первого читателя. Я пишу для него. Впрочем, как и для свиначки одного воронежского колхоза, с которыми мы долго разговаривали о литературе. Меня поразило тогда, как много они читают. И для парторга одного целинного совхоза — с ним мы ездили по полям на Алтае. Сейчас в этом совхозе образцовое хозяйство, двухэтажные и трехэтажные городского типа дома, великолепные ремонтные мастерские, магазины, Дом культуры, столовая, баня, школа...

Я пишу и для первого своего комбата, внешне угрюмого, очень доброго человека, который читал нам у костра в подмосковном лесу:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв...

Кажется, что общего между боями за Рузу и стихами об «изысканном жирафе»? А я это воспоминание берегу, как самое дорогое из пережитого на войне.

Мне кажется, печальная песня Суркова «Бьется в тесной печурке огонь...» для победы над врагом сделала гораздо больше, чем многие другие бодряческие стихи, вместе взятые.

Читатель и писатель. Мы крепко связаны одной общей нитью.

Мне хочется думать, что мои читатели все сплошь, поголовно, хорошие люди. Для них и пишу.

Если бы я могла и умела молиться и если бы на небе был бог, я молилась бы богу каждое утро и каждый вечер и все об одном: «Боже, наставь меня! Научи написать мою лучшую книгу, чтобы каждый в ней черпал для себя то, чего ему в жизни не хватает. Дай мне силу слова! Боже, будь милосердным и избавь меня от сомнений и лени и заставь меня трудиться все двадцать четыре часа, ибо жизнь коротка, а добрую половину ее я уже пустила на ветер. Помоги мне, о господи, укрепиться разумом и сделать мое неженское дело очень твердой, мужскою рукой!»

И еще я просила бы:

«Боже, научи меня видеть будущее нашей земли. Мы размениваем на мелочи зеленую и голубую нашу планету, мы растрачиваем сердца, ожесточая их в спорах, мы уже отравили и небо и землю, и теперь остается лишь бросить друг в друга по маленькой бомбе, несущей смерть всем, и правым и виноватым...

Как жить на земле?»

35.

Я ТАК ОНИБАЛСЯ,
Я ТАК УШИБАЛСЯ...

Годы принесли мне разлуку со всеми, с кем я когда-то росла, училась, ходила в бой. Но мой окружающий мир и теперь населен очень плотно: мне дороги все незнакомые люди, далеко не друзья, они стали во многом близки и понятны, я плоть от их плоти и кровь от их крови. Все стоящее между нами я могу уловить и постигнуть простой, доброй мыслью.

Я все больше и больше люблю не шумные, яркие весны, а осень и зиму — время сложных, больших размышлений и большого труда. Все печальное сглаживается, растворяется, как в тумане, и даже отдельные промахи и неудачи не отнимают уже убежденности в том, что дорога, хотя тяжела и крута, приведет меня не к обрыву над пропастью и не в болото, а в широкое поле с родными просторами.

Я на лекциях записываю в конспектах: «Несчастье никогда не событие, а длинная жизнь, которая утратила все признаки счастья, не изменившись внешне». Это сказано кем-то, по-моему, о Толстом. А я думаю о себе: моя жизнь, нисколько не изменившись внешне, приобрела все черты большого, глубокого, неизменного счастья, растворенного в воздухе, как кислород, и я дышу им глубокими полными вдохами, я готова теперь повторить вслед за поэтом:

Принимаю тебя, неудача,
И, удача, тебе мой привет!

Говорят, мы живем для детей. Что мы повторяемся в своих детях.

Покажите мне, в ком повторились Пушкин и Лермонтов?..

Нет, мы рождаемся заново лишь в собственных произведениях, в книгах, выношенных годами, с болью в сердце, в этих маленьких, бледных наших наследниках.

Вот и Пушкин свидетельствует об этом же:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

Да, пока я была только лишь читателем чужих книг, я испытывала одно-единственное удовольствие — познание неизвестного, чувство счастья от красоты и гармоничности фразы. Но как только я стала писать сама, я как будто бы обрела власть над временем и действительно стала бессмертна. Теперь на листе бумаги я могу все сызнова пережить — свою юность и детство, снова ехать на фронт, снова думать в землянке о редких, идущих из Воронежа письмах. Досказать то, чего не сумела сказать товарищу прежде. Додраться. Додумать. Те самые аргументы, какие тогда не нашлись в пылу разговора, теперь пришли в голову, и я могу их надменно выложить перед онемевшим (по моей же воле) собеседником.

Черно-белое колдовство пера и бумаги... Так все просто: чернила, тетрадка. И так сложно, неповторимо, так мучительно индивидуально: как смерть. Попробуй-ка передай этот опыт: умереть — и воскреснуть!

Здесь не действует логика: «Я ошибся. Бывает, и великие ошибаются. Следовательно, я — великий». Здесь такая формула не подходит.

Не завидую вам, кто выходит на эту тропу!

36.

НЕЛЬЗЯ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Нельзя втиснуть в несколько страничек бумаги всю нашу жизнь за пять лет — и такую жизнь!

Я ничего не сказала о переделкинском периоде, когда часть ребячьего студенческого общежития перевели в Переделкино и наши мальчишки были вынуждены срочно вооружаться материалистическим взглядом на природу, дабы ночью, сокращая дорогу, ходить через кладбище. О том, как санитарная комиссия приезжала проверять у них в комнатах чистоту и как эту комиссию заперли в холодную кладовую до той поры, пока она не передумает и не выставит отличную оценку за эту самую «чистоту»...

О том, как нас рассылали по всей стране в творческие командировки и как мы вчетвером, Инна, Володя Солоухин, Семен Шуртаков и я ездили на Кавказ. Мы побывали в Орджоникидзе — там читали стихи на вечерах в городском парке, потом проехали по Военно-Грузинской дороге. О том, как мы жили в Тбилиси и первую ночь ночевали в стоге сена, на сухом, колючем осоте, а вторую — в роскошных номерах гостиницы «Интурист». Как нас обсчитали, как мы обсчитали. Как мы доставали билеты на городской железнодорожной станции. О, это, впрочем, целая баталия! Как ехали в Потти, в город груш, платанов и лягушек, славный город Квакуенбург. Как мы бродили по потийскому базару. Как купались в море и сожглись на солнце...

Все было: тропический ливень, сорванное выступление из-за некоей тети Моти в порту и на мелькомбинате, Лолуа, который просил нас приезжать, и пароход, опоздавший на двенадцать часов...

Потом белизна сухумских дворцов и зелень пальм на берегу синего залива, пружинящая спираль шоссе на Сочи, солнце, слепящий блеск волн, кремнистая пыль, покачивание автомобиля. Раньше об этом мы только

читали в книжках из жизни «князей» и «графьев» и не верили. А тут все можно потрогать рукой, чтобы убедиться в реальности происходящего. Володька Солоухин, в белой рубашке, с облупившимся носом, жует грушу дюшес и говорит:

— А ведь это похоже на нашу «корчму»...

И мы смотрим в ту сторону, куда он показывает. Там — глубокое, ледяное ущелье, черно-синие тени, белая плесень сырости. «Корчма» — так мальчишки звали свою половину подвала на Тверском бульваре. Подвала, в котором теперь никто не живет.

Многое можно было бы рассказать.

О том, как мы в оставшиеся дни каникул без копейки в кармане летали на самолете в Минск выступать со стихами — и не пропали, а только лишний раз убедились, что в нашей стране человеку невозможно пропасть. Везде его приютят и накормят.

Как мы работали агитаторами на участке во время избирательной кампании.

Как шефствовали над заводом...

Как...

Единственное утешение, что меня кто-нибудь обязательно дополнит, доскажет все то, что я не досказала.

Ведь нас много, «детей Львова-Иванова», рассеяно по свету. И каждый хранит в памяти немало занятного и поучительного.

37.

МЫ КОНЧАЕМ НАШУ ПЯТИЛЕТКУ

Пятый курс — время свадеб и расставаний.

Как ни тянулись долгие пять лет, но и они пролетели, и не крикнешь им: «Остановись!»

Это был очень торжественный день — наш последний день в институте.

Мы, нарядные и взволнованные, прощаемся с нашим милым «домом-музеем», где к нам были так внимательны, где так бережно растили нас и учили, где нас ценили таких, какие мы есть сами по себе, еще ничего не заслужившие и не напечатавшие...

За столом президиума — Константин Михайлович Симонов, Василий Николаевич Ажаев, Василий Але-

ксандрович Смирнов, Евгений Аронович Долматовский, Михаил Кузьмич Луконин, наши преподаватели, заведующие кафедрами, творческие консультанты, руководители семинаров.

Кто-то выступает, произносит речь.

Сейчас будут вручать дипломы.

Рядом с нами сидит наш добрейший Василий Семенович Сидорин, заместитель директора института. Мы с ним обсуждаем вдруг возникший вопрос. Нельзя же уходить отсюда без выпускного вечера, без прощальной застольной беседы! Но где взять денег? Союз писателей, конечно, не расщедрится на такое крамольное, несолидное дело...

Но мы привыкли верить в спасительную силу коллектива.

— Может, складчину устроить?

— Идея! А что ж...

Василий Семенович советует обратиться к присутствующим на выпуске писателям.

— Ну, к ним обращаться надо только в стихах! — говорит Рита.

— Пишите скорее...

Потихоньку мы удираем из зала и садимся втроем в узком маленьком кабинетике с надписью «Кафедра творчества». Обычно здесь «творились» только планы, отчеты и инструкции.

Рита говорит:

— Пусть хоть напоследок оправдает свое название...

За стеной, как штормовое море, гудит зал. Там продолжается торжество, гремят аплодисменты, слышится чей-то взволнованный голос.

Нам нужно спешить, чтобы и самим успеть получить дипломы из рук Константина Михайловича Симонova.

Первая строчка пришла откуда-то из старых стихов. За нею родились новые, остальные:

Исписав в линейчку и клетку
Не одну учебную тетрадь,
Мы кончаем нашу пятилетку
На Тверском бульваре, 25.

Старшие прозаики, поэты!!!
Приглашаем вас на выпускной,
Но... ввиду того, что денег нету,
Тут же прилагаем подписной...

Отпечатав на машинке одним пальцем наше последнее коллективное творение, мы бежим в зал. Там у дверей уже волнуется Сидорин. Мы отдаем ему стихи, а сами садимся в уголок, чтобы не были видны наши раскрасневшиеся, смущенные физиономии. Белый листок, как лебедь, поплыл к президиуму, раскрыл свои белые крылья, и сидящие за столом заулыбались. Все дружно полезли в карманы и долго и старательно вписывали свои фамилии и цифры с нулями. А когда листок, обежав наших гостей, вернулся к нам, в кассе выпускного вечера была уже довольно солидная сумма.

Но вот и у нас на руках синие книжечки с гербом Союза Советских Социалистических Республик: свидетельства об окончании «единственного в мире» института.

Ничто не проходит даром: ни шутка, ни семинар, на котором тебя публично «высекли», ни пародия, написанная во время перерыва, ни лекция, о которой ты будто бы уже и забыл.

Нас воспитали не ленивцами, не стяжателями. Среди многих хороших традиций нашего отчего дома есть одна, самая лучшая: быть всегда там, где труднее. Быть вместе с народом. Наш диплом дает право не на славу или деньги, а на трудную творческую жизнь, на вечные поиски и неудовлетворенность собой, на великие, радостные и страшные муки — муки слова.

«Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает», — говорит Лев Толстой.

«Горите, сгорайте, не беда, что вы раньше других опадете, как мои яркие, красные листья, — шелестит институтский клен. — Дарите людям радость и красоту!»

Первой нашей школой была война.

Второй — институт; небогатый, кипевший страстями, наш Дом Герцена.

Третья школа нас ждала впереди — это труд, самостоятельный труд, самый лучший, великий учитель. Только он дает право называться писателем.



ФОНАРИКИ, ПЛЫВУЩИЕ ПО РЕКЕ

1

Чужой город за окнами в душных сумерках разгорался огнями реклам, волновал бесконечным шуршащим потоком людей и машин. После трудного дня напряженной работы Ушакова потянуло на улицу.

- Ну ты, Вася, как хочешь, а я пойду.
- Пойди погуляй. За счет сна, хоть всю ночь...
- Да нет, я ненадолго.

Он спустился по лестнице, прошел мимо боя, почтительно поклонившегося. Квадратные двери отеля раздвинулись автоматически — зеркальные стекла, светлый пластик, пушистый ковер — пропустили его на улицу и снова задвинулись, оставив Ушакова одного в духоте и бензиновой вонии огромного города, на мягком от жары асфальте тротуара в бесчисленных оспинах от каблучков.

Он шагнул на мостовую и смешался с толпой. И тотчас же оглянулся, чтобы запомнить дорогу.

Этот памятник в виде серой подковы и черный, выжженный купол за ним, на фоне бесцветного неба, они видели днем, когда ехали с вокзала, а потом — когда возлагали венки. Сейчас памятник оставался левой, заслоненный толпой гуляющих. Прямо против гостиницы темнело торцовой стеной бетонное остроугольное здание мемориала на квадратных, тяжелых колоннах-ногах.

Впереди за деревьями парка Хейва была река Ота, и небо над ней клубилось тревожным дымящимся светом и этой тревожностью было странно знакомо. Оно почему-то напомнило небо войны под Москвой в декабре сорок первого года.

Постояв, посмотрев на багровые облака, которые отражали какое-то непонятное, очень медленное перемещение источников света внизу, за деревьями, Николай Ушаков повернулся, не зная, куда ему двинуться: для него все вокруг было одинаково любопытно. Но люди спешили куда-то направо сплошным потоком, проходя под колоннами мемориала, — мужчины и женщины, старики и старухи, нарядно одетые дети и даже собачки. И он тоже нырнул под бетонные своды угрюмого здания и вышел на площадь, посредине которой шумел и сверкал меняющий краски, подобно огромному хамелеону, совершенно не дающий прохлады фонтан.

Люди шли к нему толпами, торопливо. Но, дойдя до искрящейся, бьющей вверх или в стороны радуги, останавливались кольцом и так замирали надолго, почти неподвижно, словно что-то их завораживало в этом сложном движении, может быть, не изменчивость, не красота, не покорность, а расчетливое постоянство, с каким эта теплая, дымная влага вдруг меняла по четкому графику то свой цвет, то свои очертания.

Созерцание шумно льющейся, то алой, то синей, то желтой воды, текущей туда, куда ей прикажут, по-видимому, и завершало собой этот самый красивый из виденных Ушаковым и самый мучительный праздник — день поминовения мертвых. Отсюда, от здания мемориала, люди шли уже по домам, к повседневным заботам, и больше не оборачивались на широкую площадь, освещенную ярким фонтаном, на разрушенный купол, на дугу сенотафа: ¹ человеку жить в обществе символов неуютно — они иссушают горечью воспоминаний.

Ушаков усмехнулся: фонтан был как фонтан, а зрелище у него за спиной куда интересней! Там двигались и перешептывались сотни людей — мужчины и женщины в разноцветных одеждах. Да, особенно женщины, изящные, грациозные, щебечущие, как птицы, на своем непонятном ему языке, в струящихся складках кино: рыбы, листья и розы на бледно-лимонном искря-

¹ С е н о т а ф — символическая братская могила, памятник.

щемся шелке, серебряные цветы хризантем на розовом и голубом, золотые и черные маки на красном; пушистые длинные стебли растений, пунцовые, желтые, синие звезды.

Ушаков этих женщин рассматривал откровенно, почти как рисунки, как живые, озвученные иллюстрации к прочитанным книгам. Его удивляло лишь то, что они совершенно реальны: улыбаются, разговаривают, переходят с места на место, обмахиваясь веерами, белолицые, узкоглазые, с подведенными, как шнурочки, бровями, в плотно стянутых поясах из парчи, прикрывающих грудь и спину, как десантника-парашютиста прикрывает надетый перед прыжком парашют. И одежда, и пояс, и обувь — деревянные гэта или дзори с ремешком вокруг пальца, надетые на носочки, — все это казалось настолько занятным, необычным, что он, Ушаков, должен был для себя расшифровать их как загадку: а что это такое, а это? Кто такая вон та длинноразая, злая старуха, которую все приветствуют, сгибаясь в изящном поклоне почти до земли, и при этом ревниво приглядываются друг к другу — а кто дольше не разогнет-ся? — и тщеславно выдерживают длиннейшую паузу?.. Он видел морщинистых стариков, опирающихся о барьер у фонтана, важных дам с причудливыми прическами, со скамеечками в руках и нарядными зонтиками, студентов в простой европейской одежде и девчонок-работниц, молоденьких и хорошеньких, в синих юбках и белых блузках; их главное украшение — молодые глаза, и улыбка, и смех, и этого беспричинного смеха за неделю работы, видать, накопилось немало.

Здесь, во взглядах, в глазах, было все, как везде: ожидание, неуверенность, равнодушие, любопытство, даже скука, — а ему, Ушакову, хотелось увидеть не это, а что-то другое, объясняющее ему, что же их отличает от всех остальных, не видавших и не переживших того, что видели и что пережили они, очень важное в сегодняшнем мире.

Но особенного в лицах этих людей Ушаков не нашел ничего. Мужчины и женщины вяло молчали. Или вяло шутили. Жевали конфеты. Обмахивались веерами: у фонтана было душно и жарко, не прохладнее, чем где-нибудь в центре города с его вереницей машин. Только облако над фонтаном становилось последовательно то малиновым, то желто-оранжевым, то зеленым, да на-

рядно одетые мальчики с пробритым кружком на макушке и девочки в сшитых точно по росту хорошеньких кимоно подставляли ладони под брызги; в них все было взрослое, в этих пяти-, шести-, семилетних кокетках: и жест, и походка, когда они трогательно семянят, догоняя родителей, и взгляд, которым едва успевают окинуть бредущего в одиночестве иностранца.

Ушаков подмигнул двум таким улыбающимся черноглазым девчонкам («Ах вы, маленькие обезьянки!»), наблюдая, как точно, как радостно-грациозно копируют они взрослых, такие похожие друг на друга, словно кто вымерял и выделывал их по шаблону, в то же время такие неотличимые и от матери и от отца.

Да, в самой этой точности, в извечности сходства, в поразительном повторении внешности взрослых, в постоянстве преподанных им движений, манер и привычек веками сменяющихся здесь поколений было видимо что-то большое, надежное: залог процветания, нестарения нации.

Сам он, Ушаков, не имел ни жены, ни детей и теперь уже не надеялся, что кто-нибудь повторит его мысли, походку, дурные привычки,—о себе Ушаков размышлял почему-то критически, и он повернулся и пошел от фонтана, огибая музей, снова к парку, к излучине Оты, откуда и поднималось над городом какое-то странное, словно дым от пожара, багровое зарево.

2

Он дошел до реки, но на мост не поднялся, а свернул по песчаной дорожке вдоль берега, под деревьями, и встал у бетонного парапета.

За деревьями, прямо по стрелню реки,—может, то была Тенме, или Хонкава, а может быть, Мотоясу (Ушаков с трудом разбирался в этой путанице рукавов и каналов в дельте Оты),—проплывал излучающий теплоту малиновый огонек. Николай пригляделся: это был бумажный фонарик.

За ним следом тянулись два зеленых и два розоватых.

Чуть дрожащий невидимый свет, защищенный бумажным квадратом, поставленным на скрещении двух щепочек на плаву, диковинным образом украшал эту темную и довольно широкую реку. Но в дрожании

огонька чуть прикрытой бумагой свечи было что-то тревожное и одинокое; свет ее доносился как зов к стоящим на берегу, как подавленный вскрик от боли.

Ушаков проследил за фонариком взглядом до самого поворота.

На мгновение на реке все померкло.

Вдруг огни потекли сверху густо, искрящимся ярким потоком от берега и до берега, медлительно завиваясь в тугие спирали, дрожа, шевелясь и волшебным мерцая. Кто-то их запускал в центре города по воде. Здесь, в излучине, они перестраивались на ходу то широкими полосами, то в затылок, в колонну, уходили по одному, и опять наплывали, все гуще, все шире, и опять распадалась на желтые, красные и зеленые звезды.

Из сумерек — в ночь.

Из каменных тесных набережных огромного многолюдного города — в прибрежные воды Великого океана.

Разноцветные, яркие, казалось, они никуда не спешили. Течение в дельте Оты почти незаметно. Поэтому они плыли задумчиво, невесомые, чуть покачиваясь вразнобой на густой маслянистой, как олифа, воде.

Мимо Ушакова вдоль берега прошла пара: он — высокий, широкоплечий, рыжеволосый, одетый по-европейски; она — тоненькая, изящная, в дорогом кимоно и затканном золотом оби. «Дзубэко»¹, — решил Ушаков. Но тут же подумал: «Да нет, непохоже».

— Подожди, я только взгляну еще раз, — попросил по-английски мужчина свою спутницу и, обойдя Ушакова, стал под тенью разросшихся длиннолистных плакущих ив. — Посмотри, как их много! — обернулся он к женщине и быстро привлек ее к себе, обнимая за плечи. — Очень странный обычай... И очень красивый. И каждый фонарик действительно означает погибшего человека, да, Юкико?

— Хай!² — ответила женщина по-японски. Она едва уловимым движением отвела от себя его белую длинную руку и несколько отстранилась. Потом тихо добавила, как бы что-то прощая стоящему рядом с ней человеку, объяснила ему: — У каждой погибшей души свой фонарик, освещающий путь!

¹ Дзубэко — женщина, не заботящаяся о своей репутации (япон.).

² Да (япон.).

Мужчина закашлялся, заколыхался от смеха.

— И ты веришь, Юкико, во всю эту чепуху? Вы странные люди!

— Мне странно одно: что я еще все живу, — ответила женщина. Она отвернулась от рыжеволосого спутника. — В тот день, — сказала она, — я буду помнить его до самой своей смерти, — здесь плыли одни только трупы.

Ушаков оглянулся на скопления разноцветных огней. Да, он знал: много трупов плыло в тот день по этой реке, обожженных, со сползающим с костей мясом, с растекшимися глазами. Еще было много сгоревших, превратившихся в пар, в серый пепел, в бесплотную тень, отпечатанную на асфальте. Еще были мужчины и женщины, прикипевшие костями скелета к железу и камню, как бы сросшиеся в одно целое. Еще были умершие спустя много лет после взрыва и те, что болеют и умирают в больницах, на улицах, в жалких лачугах еще и теперь.

Он об этом слышал, но не видел своими глазами. Сейчас Ота, забитая огоньками, живыми, кивающими из темноты и с покорностью истлевающими, уплывающими в океан — безвинно, бесцельно, безвестно, безвольно — сотни тысяч огней по семи рукавам, — была столь же наглядна, как школьная диаграмма!

Он припомнил другие — холодные — реки. Сколько их у него за спиной! Укрепленный фашистами берег Волги в декабре сорок первого под Калинином. Извилистая, в полыньях, разбуженная артобстрелом Угра в апреле сорок второго и трупы товарищей, вмерзшие в лед. Днепр, форсированный в ноябре сорок третьего ниже города Киева. Мутный Одер весной в сорок пятом году, Аурит, где солдаты сидели в залитых водою траншеях. Холодная, серая Эльба... Все они легли на пути у идущих к победе ледяным, обжигающим рубежом.

Ушаков потрянул головой, отгоняя видение неизвестной речушки под Витебском, освещенной огнями сигнальных ракет.

За то время, пока он выплывал из собственных воспоминаний, как из черного небытия, здесь, рядом, поссорились, и женщина плакала.

— Ну, что ты, Юкико! Ведь я пошутил...

Но женщина не отвечала.

Она стояла, прижавшись грудью к нагретому за день бетону, и смотрела на реку, погасшая и печальная.

— Ну, что, в самом деле, сегодня с тобой? Ты шуток не понимаешь! Я тогда уйду... До свидания! До завтра...

— До свидания! До завтра,— машинально ответила женщина.

— Ну, чего ты обиделась? — спросил снова рыжеволосый. — Чего ты молчишь? — Теперь он уже разговаривал с ней бранчливо. Потом повернулся и пошел прямо к мосту. — Саёнара! ¹ — уже отойдя, крикнул он.

Но женщина ничего не ответила.

Тяжелыми шагами человек прошел к мосту, постоял над рекой. Силуэт его четко врезался в бледное полуполночное небо, потом его сбоку оплывило ярким светом проехавшей машины, и горячая, банная мгла поглотила его, может быть, навсегда.

Река шевелилась, щетинилась, горбилась от скопляющихся на излучине, наплывающих сверху огней. Среди этих пестрых, мерцающих скопищ что-то вспыхивало, перебегало, словно кто-то кого-то искал, но не мог найти и, стораю, взывал и молил о пощаде.

«Нет, наверное, войны не кончаются и не продолжаютя,— решил Ушаков.— Они живут в нас... А иначе о чем этой женщине плакать?»

Он не мог уже отойти от бетонного парапета.

Кто их знает, каким заблудшим душам освещают вот эти фонарики путь? Может быть, в самом деле какой-то из этих огней, ну, хотя бы зеленый, был красивым мужчиной. А вот этот, чуть-чуть розоватый,— молоденькой женщиной. А вот это, наверное, души детей. Вот они взялись за руки и, приседая, тихо кружатся на медлительной темной дегтярной воде: раз-два-три, раз-два-три... И вдруг словно спохватываются, вспоминая печальное свое назначение, сокрушенно покачивают головами и с большой неохотой, как бы делая очень нелегкое дело, снова тихо вытягиваются чередой, один за другим.

Освещение на аллеях уже выключалось, и парк Хейва пустел. И женщина, все еще стоявшая рядом, с сухим треском сложила сандаловый веер и хлопнула им по пальцам, как бы что-то отчеркивая от себя, отрезая.

Ушаков наблюдал за ней искоса. Она была очень красива, такая изящная, молодая... Кто такая, откуда? Продавщица из так называемого «депато»? Секре-

¹ До свидания (япон.).

тарша из богатой конторы? Чертежница? Швея? Кимоно ее очень нарядное, дорогое. Но ведь все японки во все времена умели красиво одеваться. Даже самые бедные. Да и кто в такой день не достанет из шкафа свое лучшее платье?

Ушаков закурил, чиркнув спичкой, и женщина вдруг опасливо покосилась в его сторону, видно, только теперь разглядев в темноте постороннего человека. Она прикоснулась рукой к парапету, как к живому, знакомому ей существу, и пошла по дорожке, ступая ногами в ослепительно белых носочках и маленьких дзори. Шла легко и волнуяще мелко.

— Простите, пожалуйста,— вдруг сказал Ушаков.— Гомэн кудасай. Тётто маттэ кудасай...¹ — повторил он уже по-японски, опасаясь, что женщина его плохо поймет или неправильно истолкует его неуклюжее от застенчивости движение.

— Yes?² — удивленно спросила она. На мгновение приостановилась, вскинув глаза.

— Вы, наверное, тоже пускали сегодня фонарики?

Она молча кивнула и взглянула на реку.

— Кто у вас здесь... погиб?

— Мать... — сказала она и замолкла надолго. Потом повторила.— Мать, отец... два брата, сестра...

— Со дэс ка!³ — только и нашелся Ушаков. Он всегда цепенел и терялся при виде женских слез.— Я, наверное, что-то сделал не так, ради бога, простите! — Он опять перешел на английский.

— Нет, нет! Ничего, ничего... Я сама виновата... — И женщина наклонилась, чтобы слезы падали не на драгоценный шелк кимоно, а на землю. Улыбнулась смущенно.— Сейчас все пройдет.

Она успокоилась, вытерла щеки.

— Вас, кажется, зовут Юкико-сан? Я нечаянно слышал...

— Да. А вас?

— Николай Николаевич.

Она удивилась:

— Так вы русский? — Она повторила старательно: — Никорай Никораевич.

Это было забавно, и он усмехнулся.

¹ Простите, пожалуйста. Подождите немного... (япон.)

² Да (англ.).

³ Вот как! (япон.)

— Да, русский, конечно.

— И к нам, в Хиросиму, приехали из Москвы?

— Из Москвы.

Теперь Юкико-сан чуть доверчивее взглянула в глаза Ушакову.

— О... Мне нравится ваша страна! — сказала она. — Да! — Она вдруг задумалась, что-то припоминая. — Вы, наверное, с конференции в защиту Вьетнама? Против атомной бомбы?

— Да, Юкико-сан. Вы просто-таки молодец и все угадали!

— Бывает, и обезьяна падает с дерева, — пошутила она над собственной необыкновенной догадливостью. — Ведь я слушаю радио, смотрю телевизор...

Травянистого цвета, расшитое золотом ее кимоно в полумраке сливалось с листвою цветущих кустарников и деревьев, мимо которых они проходили. Лишь белые таби¹ Юкико мелькали отчетливо, как в стихах о прославленной Садо Якко: «И как беленькие кошки, как играющие дети, ваши маленькие ножки трепетали на паркете...» Его спутница, по-видимому, и не подозревала, как была близка к тому, созданному поэтом экзотическому образу!

Они взошли на мост Хейва и постояли на нем, провозжая глазами уплывающие фонарики. Эти два завораживающих движения — движение воды и движение огня — были связаны очень просто, но как били по сердцу! Ушакову, застывшему у перил, показалось, что и он уплывает куда-то в неизвестность, в тягучую бесконечность субтропической ночи.

Он спросил осторожно:

— А вы, Юкико-сан... Вы ведь тоже были здесь, когда сбросили бомбу?

— Да. Но только я была чуть подальше от эпицентра. Я гостила у бабушки. Но я тоже... горела. — Она показала на плечи и ноги.

— Сумимасэн!²

— Нет, нет... Ничего! Я не делаю, как другие, из этого тайны!

Ушаков понимающе склонил голову.

¹ Таби — японские носки из плотной материи с отдельно обшитым большим пальцем.

² Извините (япон.).

В здешнем атомном госпитале он видел келоиды — следы этих страшных ожогов: малиново-красные и сине-лиловые пятна в уродливо стянутых шрамах-тяжах. Они ясно представились ему и сейчас, одинаково жуткие и на старческом дряблом, и на девичьем молодом, нежном теле, этот дьявольский знак, безобразящее тавро. Все мужчины и женщины, пережившие атомную бомбардировку — их здесь называют *хибакуся*, — прячут атомные увечья, как что-то постыдное, о чем никто никогда не должен узнать. Иначе кому-то не выйти замуж и не жениться, а может быть, не найти и работы...

Ушаков вдруг припомнил свои золотые нашивки, полученные за ранения. Что ж, он тоже теперь их не носит! Потому что еще в сорок пятом один тип покосился на них с ядовитой ухмылкой, и он, Ушаков, почему-то стерпел, а нужно было бы тут же, при людях, набить ему морду. Однако свои орденские колодки и красные и золотые полосы Ушаков носил лишь до тех пор, пока по-студенчески не износил гимнастерку. Потом, заказав себе штатский костюм, на пиджак этих желтых и красных полосок не стал пришивать: ладно, нечем хвалиться, не бог весть какая награда! Вся страна воевала, ранен каждый второй...

— Я вообще ничего не скрываю, — сказала Юкико. — Я член клуба *хибакуся*, я участвую во всех митингах и демонстрациях против атомной бомбы... Я хожу на молитвы в честь павших... Да... Простите, — сказала она. — Мне кажется, я вас видела в монастыре. Вы присутствовали на молитве?

— Да, — сказал Ушаков. — Я там был. Я был на молитве...

3

Он сидел на маленьком складном стульчике, на местах, отведенных для почетных гостей — чуть правее молящихся, — и слушал монотонное, хриплое пение бритоголовых, в желтых рясах монахов. Мелодично позванивали колокольчики. Тревожно и глухо звучал гонг.

Ушакову было жарко и душно на солнцепеке, в толпе иностранцев, очень вежливых, но вполне равнодушных к чужому для них, непонятному богу, и он глядел вверх, под купол вполне современного храма, без еди-

ного украшения, туда, где в белой каменной нише сидел молодой, тоже белый, каменный Будда.

Бог смотрел строго прямо перед собой — не на банки с томатным и апельсиновым соками, не на пачки кофе, арбузы и груды сластей, не на связки серповидных, цвета старого меда бананов и груды зеленых, пряно пахнущих грушами яблок — приношения верующих, — а куда-то поверх всего этого в жаркое небо, как раз в ту самую точку голубой полусферы, откуда совсем так недавно — или очень давно? — и пришла в этот город, лежащий внизу, незнакомая до сих пор человечеству смерть.

Даже сейчас, спустя столько лет, лицо Будды было все еще белым от ужаса, а большие, навывкате, красиво разрезанные глаза смотрели вперед, как в бельмах, незряче.

— Николай Николаевич, взгляните на храм, — сказал ему переводчик, толстяк коротышка Васюта Антонов. — Храм построен на пожертвования индийских единоверцев, как с иголки новенький.

— А жаль! — сказал Ушаков. Ему очень понравился этот образ — помертвевший от ужаса, бледный Будда, глядящий на бомбу — с этой мыслью о Будде теперь уже трудно было расстаться. Но бог, которому он так симпатизировал, оказывается, не видел войны!

Бог не видел возникшего над котловиной, в дельте Оты, сероватого облака, которое видит и сейчас Ушаков, и той бомбы, которая, кажется, все висит, почти четверть века, над городом и рекой, сея смерть, как висела в тот день.

После жаркого, знойного дня вечер тихо ложился на город, весь прозрачный, чуть подкрашенный солнцем снизу в розоватину, в прозелень. Очень тоненько, как комарики, позванивали ритуальные колокольцы, затем слитно, взволнованно зазвучали серебряные голоса хора мальчиков. Над храмом кружились белые голуби, и женщина, сидящая наискосок от дремлющих иностранцев, казалось, погруженная в молитву, иногда вдруг хватала с колен фотоаппарат, очень быстро высматривала подходящие кадры, быстро щелкала, чуть прищурясь, и снова в молитве упоенно проникала к сложенным у подбородка ладоням.

Вот опять зазвучали басы гладко выбритых, сытых монахов.

Двое служек, взобравшись на самый купол храма, пригоршнями стали разбрасывать над молящимися красные, синие и зеленые круглые лепестки из бумаги, похожие на конфетти.

— Отгоняют злых духов,—объяснил Ушакову Антонов.

Над сгорбленными спинами людей, над склоненными их головами уже шелестел первый ветер, несущий прохладу с гор, а монахи все пели, листки колыхались по ветру, и в голове у Ушакова все вертелась одна и та же фраза, он прочел ее там, внизу, в центре города, на доске у памятника погибшим: «Спите спокойно. Это не должно повториться!»

Ушаков поймал несколько разноцветных листков, кружившихся над головою, планируя по ветру, и долго рассматривал их. Да, это не повторится... Но сколько раз за историю человечества повторяется эта фраза, всякий раз на новом, еще более выжженном пепелище? Сколько раз народы давали опять и опять убаюкать себя, поверив, что этот огонь, так сильно их обжегший, действительно был последним!..

Сейчас, проходя спящим городом рядом с Юкико мимо строгих гранитных подъездов многочисленных банков, отелей и богатых контор, он глядел на зеркальные окна и мог поручиться, что за этими плотными шторами, в недрах новеньких сейфов, вызревают солидные капиталы, отсчитанные владельцам рукою еще не отогнанного от города дьявола,—будь он в облике сперва добренького оккупанта, а позднее союзника, наживающегося на бомбежках Хайфона или Ханоя.

Хорошо понимая всю бестактность вопроса, но желая во всем дойти до конца, он спросил:

— Да, Юкико, а кто это был сейчас с вами на реке?

— Амэко¹,—спокойно сказала она, поднимая на него свои узкие, прекрасные молодые глаза.

— Ну, скажите еще, что солдат да еще из Вьетнама! — пошутил Ушаков.

— Да. Солдат. И вы правильно угадали: из Вьетнама,—ответила Юкико совершенно серьезно.

Ушаков даже на миг приостановился.

¹ Американец (япон. жарг.).

— Что он делает здесь? Да еще в такой день!

— Он? На отдыхе... После ранения!

— И теперь между делом любитесь вновь отстроенной Хиросимой, музеем и атомным госпиталем? Фонариками на реке? Хорошенькими хибакуся?

Ушаков удивился спокойствию маленькой женщины. Он-то был возмущен.

Юкико молчала.

— Он плакал сегодня на митинге, — наконец объяснила она. — Он сказал, что он проклял свою Америку за эти две бомбы: в Хиросиме и Нагасаки. Теперь он не хочет возвращаться на Окинаву. — Она пояснила: — Их части базируются на Окинаве. Он поклялся, что больше не будет стрелять ни в северных, ни в южных вьетнамцев!

— Вот как? Это с ними бывает?

Юкико кивнула.

— Да. У нас не единственный случай...

— А вы его чем-то обидели. Он ушел разозленный...

— А что я должна была делать? — вздохнула Юкико. — Что касается женщин, он по-прежнему думает, что каждая почитает за счастье быть обласканной им. А я всего-навсего выполняла поручение своего профсоюза...

Ушаков был смущен.

— Вы храбрая женщина, Юкико-сан!

— Нет, при чем же тут я? Такая работа...

Они вышли на центральные улицы Хиросимы.

Здесь, на главных своих магистралях, город все еще бесновался и грохотал: взад-вперед проносились машины, скрежетали колесами на крутых поворотах трамвай. Еще ярко горели витрины бесчисленных магазинчиков и закусочных, полыхали огни ярких прыгающих и вертящихся в небе реклам.

Они повернули куда-то направо.

В этот душный, томительный, будоражащий вечер жизнь людей еще не заканчивалась тяжелым, почти не дающим отдыха сном, но текла она уже не на улице, а в домах, за раскрытыми окнами и бумажными сёдзи¹. Там, в кубических сотах квартир, еще ссорились, целовались, кто-то шил на машинке, тачая куски дешевого ситца, кто-то ужинал, сидя на корточках за крохотным лакированным столиком, и белые палочки, словно спицы вязальщицы, привычно до механичности, мелькали

¹ Сёдзи — раздвижная стена японского дома.

в руках. Какая-то женщина раздевалась перед окном! Ушаков разглядел ее тонкое, стройное тело, отраженное в глубине чуть подсвеченным зеркалом.

Каждый дом был похож на другой: те же крыши, та-кой же конструкции двери, те же голые стены внутри пустоватых, очень чистеньких комнат, а рядом огни, пестрота бесконечных витрин, привлекающих надписей, ярких вывесок, арок, окон, украшенных флагами и фонариками, изречениями, написанными на материи, букетов, венков и гирлянд, сплетенных из вечнозеленых растений, — торжество бесконечной фантазии, ликующе-го мастерства, устремленного к одной цели: победить, удержаться, не дать сбросить себя со счетов, уязвить конкурента...

— Какой яркий ваш город...

— А Москва — не такая?

— Нет, Москва не такая, — сказал Ушаков. — Темнее. Суровой.

— Да? Я думала, наоборот.

— У нас слишком холодно для такой, как у вас, пестроты. Много снега... — объяснил Ушаков, ощутив вдруг свою чужеродность в этом ватном и влажном, расслабляющем климате. Он припомнил синеющие сугробы под липами на Воробьевском шоссе, метель, вылетающую из-за угла, свежесть южного ветра и бодрость, когда прилетают грачи и так пахнет корою деревьев и пузырчатым мартовским снегом.

«Греет кровь мою легкий мороз...»

А ведь действительно греет! Но, вообще, почему это ценишь только тогда, когда ты находишься от всего этого вдалеке?

— А в Москве много красивых женщин?

— Много.

— А река у вас есть? Такая, как Ота?

— А вы приезжайте к нам в гости, Юкико-сан, я вам все покажу.

— Давно мечтаю об этом. Не знаю, удастся ли...

— Постарайтесь!

— Попробую...

Она с ним говорила серьезно, а он улыбался. Ему вспомнились, как сквозь сон, зима, и далекое детство, и картинка в журнале: грациозная женщина, словно бабочка, сидя на корточках на циновке, разливает по чашкам дымящийся чай...

— Вы женаты? У вас есть семья, дети?

— Никого нет, Юкико... Один, словно перст.

Он не спрашивал, в свою очередь, кто она, где живет, одинока или замужем,— непонятное, недосказанное для него было радостней, интересней, чем обыденная определенность.

— Вот мой дом,— вдруг сказала Юкико.

— Да? Так быстро? Я думал, еще далеко...

Ему жалко было с ней расставаться, с такой мягкой, уютной и женственной, и вовсе не куклой. Потому что Юкико хорошо понимала не только слова, но и взгляд, и, наверное, все, что было за взглядом, что он думал и чувствовал. Потому что она замолкала, когда он замолкал, и смеялась, когда ему было смешно.

Ушакову понравились в ней ее современность и отсутствие робости: он-то с детства привык к спокойному равенству женщины, но здесь, в этой древней стране, молодая, красивая девушка в темном оби и шелковом кимоно, идущая в одиночестве по сегодняшнему отгулявшему, отгрустившему городу, чем-то трогала воображение. Может быть, этой нежностью, этой твердостью облика.

— Как жаль, Юкико-сан, что вы так близко живете,— сказал он шутливо, а внутренне удивился себе, что предчувствовал эту встречу и эту разлуку.

— Да, и я сожалею...— ответила тихо Юкико.— Но поздно. Пора! Очень рано вставать. Я работаю гидом в туристской конторе. Преимущественно с американцами. А они народ очень капризный.

— Понимаю. Хорошо понимаю...— Ушакову хотелось хоть что-нибудь подарить ей на память, какой-нибудь маленький изящный значок, безделушку, которая бы и спустя годы напомнила ей этот вечер. Он пошарил по карманам, но, кроме ключей от московской квартиры, ничего не нашел.

— Вы не будете в нашей гостинице? У вас нет никаких поручений от вашего профсоюза ко мне, например?— спросил он без улыбки.

— Нет.— Она засмеялась.— А что?

— Я хотел бы увидеть вас завтра.

— Я подумаю... Я вам с утра позвоню. Вы, конечно, в «Син-Хиросима»?

— Да.

— Ну что ж, хорошо... До свидания,— сказала она и

вдруг поклонилась с достоинством, грациозно, так низко, как если бы Ушаков был какой-нибудь очень важной особой.— До свидания, Никорай Никораевич...— Буква «л» у нее не получалась никак.— Доброй ночи!

— До свидания, Юкико! Спасибо за вечер...

4

Ушаков неспеша шел уже засыпающей Хиросимой и был так одинок, как если бы весь этот город вымер, и он, чужеземец, оказался единственным его жителем.

Мелочные лавчонки, кафетерии, ресторанчики, аквариумы для любителей ловить рыбу удочкой, помещения для игры в маджан, бесчисленные «пачинко»¹, бани для бедноты, разделенные ситцевой занавеской на две половины, для мужчин и для женщин,— все было закрыто или уже закрывалось, завинчивалось болтами, на двери и окна спускались тяжелые железные шторы, гасились последние фонари, и шаги Ушакова под круглыми сводами крытых улиц-пассажей раздавались во тьме оглушающе звонко, даже хищно, как выстрелы.

Он приглядывался к провалам подъездов и к теням, отброшенным от деревьев, и вдруг замечал в темноте какие-то чуть очерченные фигуры. Полицейского в светлом шлеме, с заложенными за спину руками в перчатках; набеленной, накрашенной женщины — лицо ее было как маска — возле чайного домика, увешанного фонариками и флажками. Пожилого японца, сидящего на корточках возле темной стены — в ожидании счастья. Его добрая, неосмысленная, ощеренная улыбка была как бы отсутствующей: человек, вероятно, витал в облаках неизвестного Ушакову наркотика.

Днем чужие, незнакомые города как открытая книга, и все в них понятно. А ночью тебя все манит и пугает, как будто плывешь по огромной реке: невидимые препятствия, чудовища, выползающие из своих темных нор, подводные камни, и пни, и коряги, волосатые водоросли, цепляющиеся за руки... Кажется, вот-вот мимо твоего лица проскользнет что-то мерзкое, леденящее душу. И вдруг — яркий свет проезжающей мимо машины, подъезд и двое влюбленных. Все так просто, знакомо, совсем как в Москве!

¹ «Пачинко» — заведения с игорными автоматами.

«Да, странный был вечер... И очень хороший», — решил Ушаков. И чувство товарищества и уважения к Юкико — такой независимой маленькой женщине — не покидало его всю дорогу, пока он шел в гостиницу через мост к парку Хейва.

5

В номере Ушаков принял душ и лег на кровать, наслаждаясь прохладой канки соти¹ после вязкой, тугой духоты хиросимских улиц.

На стук двери, на шум падающей воды из соседнего номера примчался Васюта Антонов, в японском халате на голое тело, с косматыми волосами на голой груди. Он и здесь, в охлажденной, искусственной атмосфере отеля, дышал трудно, с усилием, и все вытирался большим желтым платком в темно-синюю клетку.

— Ну, что? Нагулялся? — спросил он завистливо. Сам он просидел этот вечер за бумагами, переводил на японский какие-то документы.

— Нагулялся. Угу...

— Я ждал, ждал... Потом мы с шефом поужинали... Без тебя... Спагетти с томатным соусом.

— Молодцы! Очень рад за вас.

— Завтра здесь завершаем работу — и в поезд. — Васюта любил сообщать всем известные новости. — На остров Кюсю. В Нагасаки.

— Отлично.

— Ты чем-нибудь недоволен?

— Нет. Ничем.

— Я включу телевизор?

— Пожалуйста, если хочешь.

— Слушай, нет ли у тебя чего-нибудь почитать? Развлекательного?

Васюта, «ночной», безалаберный человек, любил уже за полночь поколобродить. После вежливых, но достаточно утомляющих споров на конференции, экскурсий, хождений, визитов и суеты, осмотров, приемов он мог еще до рассвета бродить из номера в номер, разговаривая о пустяках и дымя сигаретой.

¹ Канки соти — установка для кондиционирования воздуха (япон.).

— К сожалению, кроме Библии, ничего.

— А что!.. Это мысль... Прекраснейшая из книг!

Он взял Библию с такой радостью, словно в номере у него самого не лежала в столе совершенно такая же, обязательная, как гостиничный инвентарь, как блистающий никелем, кафелем и фаянсом, похожий на лабораторию, туалет, или как телевизор, — знаменитая книга на двух языках, на английском и на японском, на тончайшей бумаге, с изысканным, ласкающим глаз мягким, жирным шрифтом.

Васюта уселся, развалился в низком кресле, близоуко приблизив к страницам расплывшееся, в толстой щетине лицо.

— Ты только послушай, что тут написано! — вскричал он вдруг радостно, оживленно, оборачиваясь к Ушакову. — Вот комики!

— Да?

Но Антонов уже не откликнулся больше. Он весь погрузился в спокойное чтение, заглядывая то в японский, то в английский тексты, что-то сравнивая, выбирая.

Ушаков переключил телевизор на местную станцию.

Рекламировали часы, потом транзисторы. Потом парень в белой рубашке спел песню: «Сакура, сакура...» И сразу, без перерыва, пошли кадры хиросимской кинохроники.

Он увидел совсем еще раннее утро, но дымное, жаркое, без единого дуновения ветра. Иностранные делегаты выходят из «Син-Хиросима» и группами направляются на гражданскую панихиду к дуге сенотафа. Здесь, на площади Мира, море голов, транспаранты и флаги. И торжественный шаг главы города, направляющегося к микрофону. И весь этот скорбный церемониал возложения венков. И камешки серой обкатанной речной гальки, поскрипывающей под ногами, — обычная, ничем не приметная галька, знаменитая только тем, что положена на дорожках вокруг сенотафа по счету: сколько тысяч убитых, столько и камешков. И так странно ходить и слушать под собственными каблуками их скрипение и шорох...

И минута молчания.

И венки, венки... Стаи белых голубей над парком. А чуть выше их подобными же концентрическими кругами, как птицы, — полицейские вертолеты. Вот закон-

чена официальная часть, потянулась длиннейшая очередь из сотен людей: у каждого в руке букетик цветов и зажженная курительная палочка. Пряный, сладкий дымок чуть струится в расплавленном золоте солнца: жертвам атомной бомбардировки...

На экране все шло в той же самой последовательности, как это уже происходило сегодня: отвесное солнце слепящего полдня, клубы пыли, мельканье знамен и флажков, движение к центру города многих сотен людей, и каждый из них с повязкой на лбу и написанными на этой повязке призывами к единению.

— Гляди, Вася, и ты здесь! — сказал Ушаков.

В самом деле, они шли по экрану среди демонстрантов, Ушаков и Васюта, один — рослый, высокий, другой — низенький, толстый, оба в белых рубашках. А вокруг курчавая вязь иероглифов, гирлянды бумажных цветов, флаги, лозунги на транспарантах.

И над всем этим пыльным, движущимся, суевающимся — снежно-белые пряди волос человека, пережившего атомную бомбардировку.

— Профессор... А это канадец... И Эрик попал на экран!

Перед ними на экране вертел головой темноглазый смеющийся мальчуган, — он приехал на конференцию из Канады с отцом, сторонником мира. Операторы время от времени подолгу держали мальчика в поле зрения, неотступно ведя вслед за ним объективы. А тот грыз большое красивое яблоко и чему-то посмеивался, поблескивая глазами, видно, очень довольный скоплениями машин, ревущих на перекрестках, громким пением демонстрантов и всей этой пыльной, грохочущей кутерьмой.

Толпы шли, занимая всю проезжую часть мостовой, оттесняя ряды полицейских к тротуару.

— Коля, Коля, смотри, что написано! — вдруг воскликнул Антонов, на секунду опять отрываясь от книги. — Понимаешь? Бог решил уничтожить всех жителей двух городов... В наказание за грехи... И вот, значит, некто с тоскою взмолился: «Господи! — значит, он говорит. — А если там есть хоть пятьдесят праведников, неужели ты и их погубишь?» — «Нет, — сказал господь. — Я ради них помилую город...»

Ушаков с детства помнил эту притчу, впервые услышав ее от бабки, читавшей всю жизнь одну только

эту старинную книгу. Круглое, потное лицо Антонова, исполненное восторга от возникших ассоциаций, сейчас почему-то показалось ему похожим на то, бабкино, морщинистое и худое, с птичьим носом и желто-коричневыми кругами вокруг темных глаз.

Пятьдесят праведников для того, чтобы спасти целый город... Это много или мало? Почему пятьдесят, а не сто или двести? Из какого расчета? А если праведник вообще всего только один? Неужели и он — за всю свою праведность — тоже должен погибнуть?

— Пятьдесят, говоришь? — спросил Ушаков. — Помоему, в Хиросиме старик обсчитался. Или, может быть, в таких случаях одного, завалиющего всегда не хватает для полного счастья...

— Кризис жанра, — рассеянно отозвался Васюта. И опять повернулся. — Да, уж если судить по истории, их всегда сорок девять!

6

Утром, чисто выбритый, вымытый, в свежей рубашке, Ушаков ровно в восемь спустился к завтраку в ресторан при отеле. Стаканчик грейпфрутового сока, овсяная каша, кофе, поджаренный тост со сливочным маслом привели его в хорошее настроение. Он ласково улыбнулся хорошенькой переводчице, работавшей с англичанами и взглянувшей на него из-за чьей-то массивной спины смеющимися глазами. Всюду слышалась разноязычная речь; французы, американцы, англичане, югославы, японцы, индийцы, цейлонцы — все кивали друг другу приветливо, дружески. Слышался шорох крахмальных салфеток, звон тарелок, стук вилок, ножей.

— Как спалось?

— Ничего. Хорошо... Домо аригато!¹ — Это как-то уже по привычке. За день тысячу раз, — в шутку, если между собой, — и растроганно, удивленно, благодарно, всерьез, если это с японцами.

— Сейчас будем принимать декларацию...

— Отлично. Тексты розданы?

— Да.

¹ Большое спасибо! (япон.)

После завтрака конференция продолжалась спокойно, как и началась, безо всяких эксцессов. Ораторы поочередно вносили поправки. Несогласные тут же, немедленно возражали. Постепенно опять возникала дискуссия, все шло по шаблону, как и следовало ожидать. Ушаков, сидя в кресле за общим столом делегаций, оглянувшись: бесшумные, словно призраки, работники пресс-бюро разносили от стола к столу только что переведенные на три официальные языка конференции — английский, французский и японский — выступления глав делегаций, и Романов — глава советской делегации — с Васютой, не откладывая, уже изучали перевод, сверяясь по тексту.

«Мир»... «Миру»... «О мире»...

Это слово повторялось здесь так же часто, как вдох или выдох. Мир был нужен народам, как воздух для легких. На развалинах Хиросимы, на застроенных, восстановленных ее улицах слово «мир» — на всех языках — звучало сейчас по-особому твердо.

Ушаков, заслонившись от яркого света рукой, машинально расчерчивая закорючками большой лист бумаги, внимательно слушал ораторов.

Война представлялась ему каким-то гигантским чудовищем, слепым и глухим, омерзительным, скользким. В сорок пятом году его наконец-то загнали под землю — в надежде, что там-то оно задохнется, померет. Но война не погибла без пищи и воздуха, как не гибнут бактерии, возбудители страшных, смертельных болезней даже в космосе; вот она и теперь, спустя столько лет, полна злобной силы и воли, может быть, и сегодня, в этот радостный утренний час, она где-то под полом, под зданием, где идет конференция, пробирает себе в потемках дорогу, пробирается сквозь пески и гранитные скалы, прогрызает их, точит зубами, чтобы выползти на поверхность, как она уже выползала, например, во Вьетнаме. И кто знает, где, когда она прогрызет, просверлит себе еще и еще новый ход и выйдет на волю?! В какой это будет привыкшей к спокойствию, тихой, мирной стране? На Ближнем Востоке? В африканских саваннах? А может, на севере, в бесконечной полярной ночной темноте? Чьи дети погибнут от первого взрыва?

«Слушай, милый! — хотелось сказать Ушакову тому, кто сейчас выступал с хитроумной поправкой, сводя-

щей на нет все достигнутое за три дня напряженной работы.— А ты-то пойдешь за свою поправку на вражеский пулемет? Ты готов ее защищать своей собственной грудью?.. Я так думаю, нет... Но, видишь ли, загребать жар чужими руками — это каждый умеет...»

Он припомнил вчерашних рабочих, шагавших рядом с ним по улицам Хиросимы, потом ночной митинг и сотни людей, громко бьющих в ладоши и мечущих гневные выкрики против войны во Вьетнаме, против атомной бомбы. Смуглые лица, облитые потом, выхваченные из темноты светом ярких прожекторов, были яростны, напряженны, люди хором кричали: «Хейва! Хейва! Хейва! — Мир! Мир! Мир!» Ведь не кто-нибудь, а они, хиросимцы, уже умирали и еще умирают от атомной радиации...

Многие из участников митинга шли сюда, в Хиросиму, из других префектур, из самых глухих, отдаленных районов страны, пешком, маршем мира. Это был их собственный маленький подвиг в защиту Вьетнама — по извилистым горным дорогам, вверх и вниз, из долины в долину, под дождем, под отвесным, сжигающим солнцем, и не день, и не два, иногда без еды и без крова, позабыв о семье и лишившись работы...

Ушаков вчера крепко жал руки этим маленьким, морщинистым людям, обгоревшим на солнце, но весело улыбавшимся. Он завидовал им, их воинственной напряженности, их серьезному, страстному отношению к делу. Помогая совсем не оружием — только словом — далекой, почти неизвестной стране, где горят от напалма деревни, гибнут в грохоте бомб незнакомые люди, эти смуглые до черноты паломники мира терпели немало лишений в своей долгой дороге, а некоторые из них могли и погибнуть, но они все же шли...

Солидарность — суровое, трудное чувство. В нем заложено слишком много надежд, и, наверное, люди не раз еще будут стоять под пулями, осыпаемые насмешками, — не ради корыстных своих интересов, а во имя свободы народа какой-нибудь отдаленной страны.

— Николай Николаевич, — сказал, обращаясь к Ушакову, академик Георгий Иванович Романов, высокий, с кудлатой седой головой человек. — Мы сейчас здесь закончим всю эту торжественную процедуру, а вы вместе с американцами поезжайте на митинг. Они просят выступить...

— Хорошо,— сказал Ушаков. Но взглянул на часы. Потому что как раз на это время— всего лишь минут на пятнадцать позднее— он назначил в гостинице встречу с Юкико, приготовив ей маленький сувенир. Если он сейчас уедет на митинг, значит, больше ее никогда не увидит. Ушаков вдруг представил себе, что подумает Юкико-сан, если он не придет...

— Я готов,— сказал он Романову.— Раз надо, так надо!

— Да, да, пожалуйста! — ответил тот, чуть кивнув головой.

Ушаков стал набрасывать текст выступления.

В ложе прессы уже поднимались со своих мест обвешанные фото- и киноаппаратами газетчики и телерепортеры, приготовившиеся к съемке заключительного момента — подписания декларации и закрытия конференции, когда Николай Николаевич вместе с Антоновым направился к выходу.

Американцы — двое высоких широкоплечих мужчин и красивая загорелая женщина с рассыпанными по плечам волосами — давно уже ждали их в холле внизу.

Отстав от Васюты, Ушаков вдруг пошел не к двери на выход, а к маленькому кафе в глубине стеклянного холла.

— Ты что, потерял, что ль, чего? — окликнул его Васюта.

— Нет, Вася, нашел, а не потерял,— ответил торжествующе Ушаков и расплылся в улыбке. Он увидел Юкико. Она стояла возле стойки бара, в строгом светлом костюме, причесанная по-европейски, с прямой низкой челкой, и пила через соломинку лимонад.

Заметив идущего к ней Ушакова, Юкико покраснела и отставила недопитый запотевший стакан.

— О! Здравствуйте...— сказала она, улыбаясь.— Вы уже уезжаете?

— Нет, я еду на митинг, Юкико-сан, дорогая, а когда вернусь, право, не знаю. Наверное, прямо к отходу автобуса. Получается нехорошо...

— Нет, нет, ничего,— успокоила она Ушакова с терпеливой улыбкой.— Я вас подожду...

— Мне как-то неловко заставлять вас одну здесь сидеть. Я не знаю, как много займет это времени.

— Но к поезду-то вы приедете?

— Да. Конечно.

— Ну, вот, я вас и провожу. Я сегодня свободна...

— Хорошо. Постараюсь вернуться пораньше.

Она была очень красива, эта женщина, а он, Ушаков, сколько помнил себя, был неловок и некрасив. Он подумал: «Конечно... За мною большая страна, она любит Россию... Сам-то я здесь уж совсем ни при чем!» И он крепко пожал ее тонкую, узкую руку.

— Спасибо, Юкико-сан! Мне так много вам нужно сказать... Буду рад, если вы подождете...

Васюта Антонов, тяжело отдуваясь, вернулся за ним с улицы, весь мокрый от пота, вытирая лицо большим белым платком.

— Ты чего здесь так долго? Тебя ждут.

— А где они?

— Уже сели в автобус.

Ушаков еще раз с подножки автобуса оглянулся на двери отеля, помахал Юкико рукой. Почему-то ему захотелось хорошего отношения и к себе, а не только к России. Ну, может быть, не хорошего, это громко сказано, просто лучшего, чем равнодушие...

Еще в школе, подростком, сидя на измятой траве волейбольной площадки, Николай Ушаков подолгу раздумывал: а как догадываются девчата, что он некрасив? Ведь они его не разглядывают, ни вблизи, ни издали. Они попросту не замечают его — и все.

Это было печальным открытием.

Оказалось, что в жизни, кроме рук, ног и мыслящей головы, еще нужно счастье, неустойчивое, неуловимое, не похожее ни на деньги, которые можно всегда заработать, хотя бы тяжелым трудом, ни на орден, добытый подвигом, с риском для жизни, ни на сытость после вкусной еды, ни на хмель, ни на сон. Оно, видимо, и приходит совсем не к тем людям, которые его ждут, упорно, с надеждой, стремясь заслужить, потому что оно не заслуга и не награда, а просто дыхание милой, родные глаза, поцелуй...

Повзрослев, Ушаков бестрепетно принял себя таким, какой он есть.

Он много учился, читал, много думал. Пришли первые радости настоящего мужества: весь ревущий, грохочущий от моторов аэродром, необычное чувство парения, рывки парашюта. Небо тоже было, как счастье, — не заслуга и не награда, но влекущее и большое, и помериться силами с его восходящими и нисхо-

дьящими токами было истинным делом мужчины, испытанием воли. Ушаков уже знал счастье большой, крепкой дружбы, взаимного уважения. Счастье грозного поединка с голубой высотой.

Он не знал только одного: что за всякое счастье, даже самое небольшое, обязательно нужно платить. Эта хрупкая, ненадежная штука всегда выдается в кредит. Сперва вроде бы ни за что. Просто выпало тебе счастье, ну и пользуйся им на здоровье, наслаждайся, дыши! А потом выясняется: будьте добреньки, кровь и слезы, и друг погибает у тебя на глазах, и ползком по-пластунски, и обрывки шинели, и комья глины в большой, рваной ране, последний сухарь, разделенный на четверых, последний костер, последняя ночь...

7

Я люблю опавшие мокрые листья.

Мне они напоминают мой город и самые первые, самые горькие осени в моей жизни. Особенно будят воспоминания листья тополей,— не желтые, как у клена, не малиново-сизые, как у осины, не лиловые, как у бузины, а бурые, толстые, серо-зеленые, крепко схваченные морозом. Они так устилают в нашем городе тротуары, что идешь по ним с влажным шелестом, волоча за собой и разбрасывая ногами огромные вороха. Над тобой нежно реет очень маленький дождик, скорее угадываемый, чем ощутимый. Он словно бы и не ложится на землю, а так и висит неподвижно едва уловимой паутинистой пеленой. А в душе жажда радости, неизведанных ощущений — и щемящее чувство непонятости, одиночества, чему и названия-то не подберешь...

Я бродила у подножия памятника Петру I и смотрела на голые ветви деревьев, на стаи грачей, с громким криком носящихся над рекой и лугами, на холодное небо, как-то низко летящее вдоль горизонта. Что я знала о людях? Совсем ничего. Я даже не знала, чем расплачиваются за доверчивость, за открытость характера. Но так скоро пришло холодное знание! Теперь, пройдя большую половину своей жизни, я уже понимаю, что между людьми всегда есть и будет преграда

рассудка, прозрачная, как стекло, может, даже светлее стекла, — невидимая, незаметная и — глухая.

Мы критичны к другому, отнюдь не к себе. Мы прощаем себе, ничего не прощая другому. Тот, кто хочет шагнуть за этот порог, будет просто смешон для того, кто не хочет его перешагивать.

Нет, наверное, не случайно родились и живут теперь в моей памяти строчки стихов моего знаменитого земляка, отдаваясь и сегодня такой же мучительной болью:

Но кому и как расскажешь ты,
Что зовет тебя, чем сердце полно?..

Наверное, никому. И никак. Пока не услышишь такого же встречного зова.

8

За окном автобуса кружилась окраинная Хиросима. Большие дома-новостройки сменились одноэтажными, потемневшими от времени и дождей постройками старого, древнего типа под серыми черепичными крышами, с бумажными сёдзи. Они долго тянулись по обеим сторонам сменяющихся одна за другой графитово-серых набережных. Город, словно Венеция, лежал на каналах. Нынче он выглядел куда более буднично, чем вчера, без волшебных огней, уплывающих в океан. Горе бережно уложило свои праздничные одежды и сегодня трудилось в обычных белых блузах или белых рубашках, с обязательной, традиционной улыбкой то ли вынужденного и надетого на себя, как личина, то ли ставшего уже плотью и кровью и теперь уже неподдельного неизменного доброжелательства.

Высокий, плечистый, лысеющий американец в почти черных очках-светофильтрах, повернувшись к своей миловидной соседке Мэри Хьюз, — она почему-то хотела, чтобы ее непременно называли Марией, — объяснял, как примерно выглядит с воздуха такой город, как Хиросима.

— Вы летчик? — спросил у него Ушаков.

— Да. Бомбил в сорок пятом Берлин, Дрезден...

— А вы кто по профессии? — спросила американка у Ушакова.

— Сейчас? Или во время войны?

- Во время войны.
- Десантник-парашютист.
- А сейчас?
- Детский врач.

— О! — сказала американка. Как все женщины, она, видимо, очень любила сопоставлять и без того очевидные крайности.

— Я, как мать, хорошо понимаю, — сказала она. — Но все-таки, почему, почему... детский врач?!

— А из чувства противоречия! — объяснил Ушаков, поддаваясь веселому настроению. — Вы разве не знаете, что мы, европейцы, бунтовали против картофеля и шли на казнь во имя курения табака? Так что я...

Мария тихонько смеялась.

Она с нежностью погладила его изуродованную разрывной пулей руку, лежащую на спинке сиденья.

— Наверное, это фатально, — сказала она. — Тот, кто много и хорошо воевал, обязательно становится сторонником мира.

— Простите... — сказал Ушаков, — а ваши солдаты, бомбящие Северный и Южный Вьетнам, они что, еще плохо воюют?!

Мария печально свела свои тонкие брови.

— Война во Вьетнаме — это наша большая беда, — сказала она.

Все в автобусе замолчали.

Замолчал и Николай Николаевич, передернув плечами, как будто от холода. Он сейчас был опять поглощен внезапно нахлынувшим, почти не тускнеющим воспоминанием.

Для десантника-парашютиста, сколько б он ни летал, бой всегда на земле и всегда в незнакомом тебе, самом трудном и самом решающем месте.

...Батальоны лежали на большом снежном поле. Тут и там дымились воронки. Раненые, кто мог поползти, царапая пальцами тонкий клеенчатый наст и распахивая по целине глубокие белые борозды, уже отползали в тылы полка, под укрытия догорающих изб Ненашева. Но и там, на проулках, рвались мины. Они крикали по-утиному на лету, чуть присаживаясь на наст, и гулко взрывались, валясь черно-серо-коричневым облаком набок, на ту сторону, куда с шумом ложился и весь торфянистый выброс земли, перемешанный с мерзлыми комьями снега.

Атака не удалась.

Четвертый раз поднимались в рост батальоны и четвертый раз отползали назад, на исходные, теряя бойцов.

Сейчас, когда в обороне у немцев что-то дрогнуло и все уже было готово прогнуться и лопнуть под натиском этой последней атаки,— и фашисты занервничали, меняя позиции, и уже замолчали у них пулеметы, и первые из бегущих по снежному полю бойцов с винтовками наперевес уже добежали до их первых окопов,— как вдруг из-за леса, как бы нехотя, крадучись и будто бы не торопясь, подобно большим снежным ящерицам, вертлявым и плоским, медленно выползли окрашенные в цвет снега тяжелые танки...

— Впере-е-ед! — еще по инерции продолжая свой бег, закричал Ушаков. Но тут же упал, и пули, прошедшие веером над его головой, разодрали со свистом спрессованный злым февральским морозом обжигающий воздух. «А-а-а-ааа!» — ныло в его ушах. «А-а-а-ааа!» — еще откликались в цепях. Но это были бег и крики уже умирающих и падающих на бегу.

Он лежал, глядя в небо, слепое и жесткое, надвигающееся от горизонта холодной, темнеющей синевой, и слезы, смерзаясь, сцепляли ресницы, царапались в задохнувшемся горле. От воронки, распыленной рядом, тянуло удушающей тротиловой вонью.

«Все. Конец... — думал он. — А я еще жив... Зачем? Для чего?»

Жить ему не хотелось. Он видел там, впереди, на снегу, какие-то серые, безжизненные комки — это были тела бойцов из его батальона, всех, с кем шел от Сенно, где был выброшен с парашютным десантом, с кем прошел по Смоленщине, отступая к Москве, а теперь, наступая, шел все дальше и дальше на запад.

Он хотел ощутить в руке тяжесть согретого за день «ТТ». Там еще оставались два-три патрона. Сейчас ему было достаточно и одного. Он глянул на руку, еще стиснутую в исступлении боя, и с трудом разлепил залитые кровью пальцы: на ладони лежал только черный обломок отливающей синевой рукоятки...

«Три танка! — отвернувшись от спутников и глядя на бегущую мимо окон окраинную Хиросиму, размышлял Ушаков. — Всего три танка держали тогда всю немецкую оборону в районе Ненашева. А мы... тоже... ничем

не могли их уничтожить, подбить. Не хватало снарядов. И два с лишним месяца изо дня в день — февраль, март, апрель — мы брали проклятые эти высоты и лес за Ненашевом, но так и не взяли... Разве все дело в том, что я воевал где-то лучше, а где-то, быть может, хуже других? Да нисколько не лучше! Дело в том, что я помню об этих трех танках. А ведь кое-кто нынче, видя наши ракеты и спутники, всю нашу военную мощь, уже вроде бы и не помнит, позабыл войну и какую ценой добывалась победа! Вот поэтому я — за мир...»

Шофер свернул в маленький пыльный, в ржавой зелени переулок и резко затормозил у ворот двухэтажного деревянного дома, у подъезда которого их уже ждали какие-то старые женщины в кимоно и мужчины в темных костюмах, тут же весело суетились фотографы, репортеры.

Ушаков, стесняясь своей неуклюжести и высокого роста — среди маленьких, тихих, уютных японцев, — прошел многочисленными коридорчиками и лесенками, поднимаясь по чистеньким тоненьким, словно воздушным ступенькам, отделяющим одну комнату от другой, и вошел в большой, но чуть-чуть темноватый переполненный зал.

В простоте, даже бедности этого дома и этих людей, поклонившихся им, вошедшим, при встрече, было что-то щемящее душу, заставляющее снизить голос, отвести глаза в сторону.

Ушаков обернулся к Марии, к Васюте Антонову, оказавшимся у него за спиной: это были теперь ему самые близкие люди. Но Мария спокойно и ласково улыбалась, может быть, просто в силу своей искренней веры в полезность и нравственную высоту своей миссии, а Васюта топтался и скалил широкие крепкие зубы, совсем не смущенный полнейшим своим неумением потесниться на миг, поужать свое тело, приглушить, сделать менее жизнерадостным и раскатистым свой густой, очень сочный, насыщенный голос.

Сели на пол, по-японски, на татами, за низкие столики. Так, наверное, было задумано устроителями, — разговаривать о проблемах движения за мир за едой и питьем. Ушаков тоже сел, хорошо понимая, что выглядит в этой несвойственной ему позе достаточно неуклюже и в меру смешно. Он глядел себе на ноги — без башмаков, в эластичных носках — и слушал приветствен-

ные слова, обращенные к нему, и к Васюте, и к Марии, и к этим двум рослым, разговорчивым американцам.

В зале пахло сухим, потемневшим от времени, вешающим деревом, сандалом дешевеньких вееров и лекарьствами. Какие-то женщины, по всей вероятности здешние активистки, разносили прохладительное питье. Гостям они подали на плетеных тарелочках горячие, влажные, сильно отжатые о-сибори — махровые салфетки, которыми здесь в жару вытирают вспотевшие лицо, шею и руки. Тут и там из углов слепяще сверкали репортерские «блицы». Задуманное по-домашнему, к сожалению, получалось откровенно натянуто и неловко, и это опять, как всегда, вызывало досаду. Николай Николаевич не терпел микрофонов, подсовываемых услужливыми корреспондентами в минуту хорошего, откровенного разговора, когда собеседник, только начавший говорить, вдруг весь тихо сжимается и испуганно замолкает. Сам он, Ушаков, в такие минуты просто злился и терял интерес ко всему окружающему.

Сейчас Николай Николаевич с тоской глядел за окно. Там важно покачивали вершинами пропыленные, усыхающие от зноя деревья, чуть темнело прикрытое плотными серыми облаками непогожее небо. Но, и глядя на серое небо, он думал о тех, кто сидел перед ним, и что-то щемило в душе и тревожило, как если бы он и сам находился там, с ними, по ту сторону столиков.

Это были хибакуса.

Слепые и зрячие, с сожженными и уже не отросшими волосами, с малиново-синими келоидами на лице, с контрактурами на сгибах рук и морщинистой шее... Изуродованные тем памятным взрывом, покалеченные, с притаившейся внутри организма неизбежной, неизлечимой болезнью, они тихо сидели в своих чистеньких ситцевых кимоно, с очень вежливой, странной улыбкой и вежливо слушали, иногда отвечали щебечущими голосами на заданный кем-либо из приезжих вопрос, иногда просто кланялись, молчаливо, как будто немые. Это было само терпение, и само ожидание вечности, и сама безнадежность, и такими нелепыми показались в этот миг Ушакову и «блицы», и столики, и тончайшие сандвичи с пластинками ветчины на белом и пористом, как поролон, совершенно безвкусном, непахнущем хлебе, что он, сильный, здоровый, сидящий от них в двух шагах, вдруг почувствовал себя лишним и ссутулился от

неумения скрыть свои чувства. Было что-то бестактное, нарочитое в пристальном изучении посторонними взглядами этих сизо-малиновых, затекших ожогами лиц, в созерцании этих увечий, в этом важном, торжественно-неприступном сидении друг против друга в то самое время, когда хочется встать и прижаться лицом к груди вон той седенькой, тихой женщины, пусть она незнакома ему. Не родная — чужая...

А если бы это была его мать?!

Отчего за агрессию, за воинственность японских сподвижников Гитлера отвечают вот эти старухи и старики? Эта бомба была не возмездием — преступлением... Просто лютой жестокостью...

Выступала Мария, сжимая свои загорелые руки.

— Я буду теперь всюду рассказывать об увиденном в Хиросиме, — говорила она. — Мы ведь как-то не знали трагических этих подробностей, как не знают их миллионы простых граждан Америки. Да, у нас есть очень много хороших людей, которые полагают, что мы бросили эту бомбу во имя престижа. И что ради престижа мы сейчас не должны уходить из Вьетнама... И есть люди, которые понимают, как ужасна война, но считают себя бессильными что-либо сделать...

— Кое-кто из моих соотечественников, побывавших в разрушенной Хиросиме, — продолжала Мария, — нынче делает вид, что не помнит о бомбе... Постарался забыть о содеянном нами... Эти люди теперь говорят, что война — неизбежное зло, что так было всегда, есть и будет... Да, я знаю: всегда человек, на которого нападают, будет яростно защищаться. Но мы — все — не должны допускать нападений. Это наша обязанность... Я считаю, что мы, выступающие против новой войны, представляем собою серьезную силу...

Ушаков говорил очень коротко и, как сам он решил, очень плоско. Что-то стиснуло ему горло, ну, может, не слезы, но что-то похожее: он смотрел и сочувствовал. Да, Япония воевала с Америкой и Советским Союзом. Враги есть враги. Но эти-то чем виноваты?

Он об этом и говорил. И доставшаяся на его долю овация в зале удивила его: что такого особенного сказал он этим людям?

После некоторого молчания кто-то задал вопрос, обращаясь к американке:

— Что вас больше всего поразило в Хиросиме?

— Ваше мужество и достоинство, с каким вы переносите свои страдания...

— А вас, Ушаков-сан?

— То, что атомный госпиталь и дом, где мы сейчас находимся, построены на пожертвования частных лиц... Что у вас, пострадавших от бомбы, нет пенсий от государства...

Сидящая через столик от Ушакова седовласая, маленькая, словно куколка, с морщинистым желтым лицом, но живая старушка вдруг, вскинув глаза, спросила неожиданно для всех присутствующих:

— Скажите, пожалуйста, а что, русские женщины стареют быстрее, чем мы, или нет? Как, по-вашему, хорошо ли я выгляжу?

В зале многие засмеялись.

Ушаков, ожидавший любого вопроса, кроме этого, чисто женского, сперва растерялся. Он с надеждой взглянул на Васюту.

— Ответь ей, пожалуйста, Васюта. Скажи,— я не знаю уж как бы поточнее это выразить,— что русские женщины, как и японские, стареют по-разному, но, по видимому, от одних и тех же причин: от горя, какое приносит война... От старости... От болезней. А в мирное время — от недобрых невесток... У японцев-то тоже, наверное, есть плохие невестки?

Седовласая женщина улыбнулась так тонко, как будто еще до Васютиного перевода поняла его шутку.

— Вы выглядите отлично, очень молодо,— сказал снова, уже обращаясь непосредственно к ней, Ушаков.— Сколько лет вам?

Старушка ответила. Васюта ему перевел:

— Ровно семьдесят...

— Ну... так вы... молодец! Вы выглядите на шестьдесят!

Она улыбнулась и, сидя, с изяществом поклонилась Васюте и Ушакову, придвинула им по стаканчику сока.

— Почему вы не пьете? Вы не любите мандариновый сок?

— Нет, нет... Ничего. Пожалуйста, не беспокойтесь, большое спасибо...

Ушаков с трудом заставил себя проглотить полстаканчика сока и съесть сандвич. Он с трудом говорил, с трудом отвечал, тяжело поднимая глаза от циновки, расстеленной на полу, и думал о том: а знают ли эти

больные, несчастные, полусожженные люди, что Япония опять создает свою армию, строит флот, что она хоть сегодня готова купить, а может быть, уже и купила у Америки водородную бомбу? Из атомной жертвы да в атомные палачи — как они отнесутся к такому неожиданному повороту?

Но он не спросил, промолчал: им предложено было здесь, в этих стенах, «не касаться политики».

Он не слушал того, что потом говорилось. Потому что заметил у раздвинутых сёдзи миловидную девушку, совершенно слепую.

Она грустно сидела, незряче обратив свое милое, молодое лицо к заходящему солнцу, вдруг прорвавшемуся сквозь пелену облаков и ласкавшему ее нежную кожу. Может быть, она тоже не слушала всего, что здесь, в комнате, говорилось, а думала о своем, непохожем, отделяющем ее от людей, — в том числе и о тех, кто проходит сейчас возле дома, по улице, торопясь на работу, в кино, на свидание или на танцы.

«Вот она-то не спросила, как выглядит!» — с темной горечью в сердце посочувствовал Ушаков и скомкал о-сибори. Он представил себе, что ослеп и не видит земли, людей, солнца и неба, не различает среди автомобильного гула и грохота безопасной дороги, не знает, когда зацветает сирень и как собраны в этом году ее бледно-лиловые крестики, насколько красивы тугие, чуть влажные, ароматные гроздья. Он лишился всего навсегда, как она. Нет, наверное, лучше б было погибнуть!

«Стоп! Врешь, Ушаков! — сознался он вдруг сам себе. — Неправда твоя!.. Погляди на нее. Ведь она-то с собой не покончила! Разве ей было менее больно, чем могло бы быть больно тебе? Или юность ее не имеет цены, а сердце живет по другим законам? Нет, она все же в чем-то права, оставаясь в живых. Только это, наверное, страшнее, чем смерть. Быть всегда одному. Без любви. Без участия. Безобразным пятном, оскорбляющим глаз постороннего человека».

Он с печалью подумал о безнравственности человеческого зрения, о той беспощадности, с какою оно сортирует все виденное живое на нравящееся и ненавнящееся, ласкающее глаз и корбящее его.

Эта девушка — не по своей вине — утратила самое главное: ощущение незаметности в общей толпе, своей

слитности с целым, дающей спасительное уединение в любом людном месте. Ей теперь не хватает величайшей гуманности — невнимания окружающих...

«Нас воспитывали сурово. Быть может, излишне сурово,— думал он, глядя в тихий, замерший зал.— Я боюсь сейчас проявить себя слишком мягким, чувствительным, добрым. А кто знает, что самое нужное в человеке? Неужели жестокость? Почему мы так тщательно оберегаем себя от избытка эмоций, так боимся поплакать, соучаствуя в чужом горьком горе?..»

Он вышел из дома одним из первых, растерянный, потрясенный, и долго закуривал, став как-то боком к своим спутникам, не глядя в лицо им: стыдился расползшихся, нервных губ, которыми не владел.

9

Вернувшись в гостиницу, Ушаков прошел сразу в холл. Ожидавшую его Юкико-сан он нашел за широкой массивной колонной, в мягком кресле, с газетой в руке. Она внимательно изучала отчет о конференции.

— Ну, как съездили? Выступали?

— Да.— Он был очень сдержан. Юкико это заметила.

— Ничего,— сказала она.— Мы привыкли уже ко всему. Не страдайте. Так надо. Каждый, кто приезжает сюда, в Хиросиму, должен это увидеть. Иначе он не будет иметь того представления об атомной бомбе, какое имеем мы, уже пережившие...

— Пожалуй, вы правы...

— Как жарко сегодня!

— Ну! Жарко даже и вам, местным жителям? Вот не думал...

— Август — самый жаркий месяц в Японии. Хорошо, еще облачность. Это вам повезло. А если бы светило отвесное солнце...

— Ничего. В Нагасаки, я слышал, будет сорок градусов.

— Там будут и все пятьдесят!

— Вот это страна! — Ушаков засмеялся и посмотрел в удлинённые черные и чуть опечаленные глаза Юкико с невольным уважением. Ее мягкая смуглая кожа даже в эту жару казалась прохладной, да и вся она, строгая, чистая, в элегантном костюме, причесанная по-ев-

ропейски, с низкой челкой и прямыми блестящими волосами по сторонам безупречного по овалу лица, с каждым часом становилась ему все понятнее и дороже.

Они пили кофе и ели мороженое. На столе, в низкой вазе, покачиваясь от дуновения прохладного канки со-ти, пылали пунцовые гладиолусы, поставленные не так, как в России, на длинных стеблях, а обрезанные одной только гроздью, под нижний цветок. За толстым стеклом окна ветер нес завитки желтой пыли.

Может, это только сон,
Ветер знойной Азии?..

— Да,— сказал вдруг Ушаков.— Совсем позабыл. Я ведь вам приготовил очень страшного зверя...

Он вынул из кармана завернутого в целлофан деревянного мишку, привезенного из поездки по Северу, с Диксона, задиру, лентяя, сластолюбца и хитреца. Положил его на стол. Тот смотрел на Юкико янтарными круглыми изучающими глазами.

Юкико подержала его на ладони и бережно спрятала в сумочку.

— Большое спасибо,— очень тщательно выговаривая слова, без ошибки сказала она по-русски.— Вы видите, я уже учу ваш язык,— добавила она по-английски.

— Молодец! В Москве мы будем с вами говорить только по-русски. Договорились?

Она тихо кивнула.

— Yes, — и тотчас поправились: — Да.

Они обменялись телефонами и адресами. Визитную карточку Юкико-сан с названием ее должности и адреса туристской конторы он вложил в записную книжку: «Госпожа Юкико Ито».

— Ито-сан,— улыбнулся глазами ей Ушаков.— У вас специальность Америка и английский язык. А симпатии вы свои отдаете России. Объясните, пожалуйста... Почему?

— Объяснить, почему меня влечет к вашей стране? — спросила Юкико, склонив голову и вдруг став серьезной.

— Да, пожалуйста, будьте добры...

— Мой отец был ученый, историк,— начала она тихо.— Он любил ваших русских писателей. У нас в доме вообще был культ Чехова, Достоевского, Льва Толстого, отец любил ваш балет, собирал ваши песни. Я у бабуш-

ки до сих пор нахожу его записи, дневники... Я была совсем маленькой, когда он погиб, поэтому плохо его помню. Но бабушка очень много рассказывала о нем, она-то и воспитала меня в его духе... Так я стала читать ваши книги, смотреть ваши фильмы. Как ни странно, но ваше искусство мне ближе любого другого. Я как-то душой понимаю и принимаю вас куда больше, чем французов, американцев... Вашу русскую совестливость. Бесстрашие. Человечность... Вам, может быть, это смешно?

— Нет, совсем не смешно, дорогая, я внимательно слушаю...

— А потом на работе я встретила человека. Он несколько лет прожил в России, в плену... Мы с ним товарищи, хотя он и старик...— Юкико растерянно улыбнулась.— Он о русских всегда хорошо отзывается. Даже странно немного: разгром нашей армии, плен, вокруг только враги, и вот эти враги для него всегда теперь очень хорошие люди...

— Наверное, он и сам неплохой человек? — пошутил Ушаков, отвечая улыбкой Юкико, и вдруг покраснел, устыдившись, что сказал что-то плоское.

— Да. Конечно. Но сколько хороших, умных людей глядит на Советский Союз с враждебностью! Я-то знаю...— сказала она, вынимая из сумочки сигареты и щелкая зажигалкой.— Я теперь очень многих своих друзей проверяю на этом: как они к вам относятся. Мы внешне так несхожи с вами, русские и японцы, у нас совсем другой быт, другие обычаи, но так много общего!

— Нда-а-а,— в задумчивости протянул Ушаков.— Вы меня заставляете видеть вещи совсем по-иному, Ито-сан... Вы вселяете в человека большие надежды...— Он серьезно взглянул на нее.— Я теперь буду часто думать о вас. И верить, как вы: что со временем люди все же привыкнут друг к другу и начнут понимать, для чего мы, такие несхожие и думающие по-разному, живем на земле... Как вы это себе представляете? Когда-нибудь будет такое?

— Да. Конечно. Иначе бы я умерла,— ответила тихо Юкико.

Она опустила повлажневшие вдруг смоляные глаза. Но через минуту их вскинула вновь, уже снова сухие.

— Вам, видимо, надо идти? — спросила она со своей мягкой улыбкой.

— Да. Пора. С сожалением это делаю. Мы с вами о стольком еще не поговорили... Понимаете, я совсем не умею знакомиться вот так, на бегу...

— Вы приедете еще к нам?

— Нет, наверное. Если можно позволить себе такую громкую фразу, я поеду туда, куда мне прикажут. Влюбую точку земного шара сказать «нет» войне: холодной, горячей, невидимой, видимой...

— Я вас понимаю, — сказала Юкико.

Проводив ее до дверей и простившись, Ушаков помахал ей рукой.

Почему-то Юкико сегодня была очень похожа на Катю. Он это отметил с улыбкой в душе, но тут же оборвал себя, запретил себе думать об этом. Радость так же необратима, как время. У него никогда уже не будет больше в жизни любви, а значит, и счастья. Он свое отлюбил — беззаветно и горячо — там, на фронте, под Ельней...

Августовские ночи, бессонные, смутные от бесчисленных движущихся по дорогам машин с притушенными фарами, пахли пылью и зреющей рожью. В небольших, уже тронутых первой желтизной лесах, под кустами ольшаника, в пойме реки, по оврагам, в аппаратах и ямах — тяжелые танки КВ и «тридцатьчетверки», орудия, тягачи, зенитные пушки, укрытые маскировочными сетями, разноцветная путаница проводов, штабные автобусы и всюду пехота, пехота, пехота, солдаты со скатками через плечо, с автоматами, с вещмешками, похожие на зеленых улиток, свернулись и притулились на теплой земле, покуривают в кулак, негромко переговариваются, бормочут...

Он увидел ее на рассвете перед КП — большим блиндажом, крытым бревнами в шесть накатов, на скамейке, сработанной из березы, — невысокую смуглую девушку с пухлым планшетом, в собачьих унтах и кожаном шлеме, чуть сдвинутом на затылок. На груди, перетянутой портупеей, поблескивали ордена. Свои руки в бинтах с кровавыми пятнами она чуть покачивала и все обращивалась на дорогу: кого-то ждала.

— Сбили девку, едва дотянула до нас, — объяснил Ушакову высокий, румяный, с подкрученными, словно стрелки, усами ПНШ-2 Петро Мордванюк. — Сейчас за нею приедут, заберут в медсанбат. Кукурузник-то тоже весь в дырках, на чем только летела...

Ушаков подошел и сел рядом с летчицей на скамейку.

— Ну что, очень больно? — спросил он, полный сочувствия к молодому отважному существу. Но летчица с резкостью обернулась, ответила коротко:

— Ничего... Потерплю! Не всегда ведь поверху пройдешь, иногда и завязнешь...

Ей, наверно, хотелось казаться веселой, отчаянной, но руки болели, она морщила губы.

Ушаков усмехнулся.

Он представил себе раскаленное небо над фронтом: как багрово клубится дымами растянутая слева направо, исчерченная траншеями передовая, вся во встречающих параболах меркнущих трасс. Как гремит она и грохочет, а выше дымов, выше трасс, как невиданные цветы, рассыпающие по ветру соцветия, разрывы зенитных снарядов. И земля надвигается с обжигающей мысль быстротой, когда некогда осознать это кратко: «Все!.. Я убита, погибла... Уже умерла...»

Он раздумчиво закурил, разминая подмокшую сигарету, чиркнул спичкой, отбросил ее, молча глядя на собственный запыленный сапог, на утопанную вокруг блиндажа пересохшую землю.

— А ну, капитан, дай и мне закурить! — вдруг охрипшим голосом попросила примолкшая было летчица.

Ушаков поглядел ей в глаза спокойно и строго.

— Не дам! — сказал он твердо.

— Почему?

— Вам сигарка совсем не идет.

— Скажите, что жалко...

— Ну, и жалко, конечно.

— Пехотинцы — все жадины, скряги! — сказала она и еще улыбнулась, как будто шутила, а глаза были злые, зеленые, должно быть, от боли.

— А я не пехота, — сказал Ушаков.

— А кто?

— Не скажу. Военная тайна! Вам зачем это знать?

— Да хотелось бы хорошенько запомнить, — заметила летчица, — где найти, расплатиться... за ласку, за доброе слово! — Лицо ее уже розовело от обиды, от гнева.

Он опять усмехнулся: видно, сызмала вырастала гордышкой. Наверное, и летела-то на одном самолюбии.

Сказал тем же тоном, в полушутку-полусерьез:

— Все же немцы правы, когда называют вас ведьма-

ми! Я-то думал: хорошие, милые девочки... Ну, летают, ну, ладно, бомбят иногда по своим, так на то и война... А вы вон оно что... Расплатиться! Запомнить! Ведь небось из Воронежа, из Чиглы?

— Да... А что? — Собеседница вдруг растерялась, приоткрыла красиво очерченный рот как-то очень по-детски. — А как вы узнали?

— Так... По вашему разговору... И еще... — И он замолчал, потому что скамейку давно уже окружили, разглядывая с интересом сидящую летчицу, свободные от заданий разведчики, штабники, автоматчики из охраны, связные, посыльные. При них ему не хотелось ей в подробностях объяснять.

— Правда, я из Чиглы! — И летчица даже привстала при этом. — А вы что, земляк мой? Вот здорово!..

— Не-ет, я вам не земляк. Я родился немного подале... Да знаю прекрасно. Чигольские славятся...

— Чем? — Она засмеялась.

Он взглянул ей в глаза и больше уже не отвел взгляда. Лишь какое-то время спустя сказал строго:

— Тем, что ведьмы сплошные. Летают на помеле...

Подошли два врача, подъехала задом легковая машина, вокруг летчицы сгрудились люди, помогая ей сесть. Ушаков не пошел ее провожать. Он поднялся и отошел к дверям блиндажа. Оперся плечом о косяк.

Она обернулась сама, закричала ему, махнув на прощание тяжелой и толстой, в белой марле рукой:

— Хорошо, капитан! — Ее голос опять был задорным и звонким. — Я и это запомнила! Я за все расплачусь!

Разве знал он тогда, Ушаков, что расплачиваться девчонка с планшетом, в собачьих унтах будет жаркими поцелуями? Что судьба их сведет на дорогах Смоленщины, а потом, в проливные дожди, в непроезжую непогодину они встретятся в тихой лесной деревеньке, недалеко от аэродрома, и хозяйка избы, сердобольная и опрятная молодая вдова, будет им приносить по утрам в подоле недозрелые яблоки?

— Чем чигольские славятся? — все пытала Николая Николаевича Катюша Насонова, — так звали ту летчицу. А он лишь смеялся и целовал ее в чуть прикрытые темными веками большие глаза.

— Не скажу.

— Ну, скажи... Я прошу!

— Сварливостью, злобою и неряшеством...

— Неправда, неправда! — Она тоже смеялась, закрывая глаза.

— А раз знаешь сама, зачем спрашиваешь, кокетка?

— Не знаю...

— Своей красотой.

— Правда, да? — Она очень обрадовалась. — А я, честно, не знала! Ты, наверное, шутишь? Какая же я красавица? Просто так...

— Для меня ты красивее всех чигольских красавиц...

За окном их избенки клубились тяжелые, низкие тучи без единого голубого просвета. Вдалеке за леском погромыхивала канонада. Катя грустно вздыхала, бродила по комнате, садилась на подоконник.

— Ты разлюбишь меня, только я улечу...

— Нет, Катюша. Поверь... Ты мне веришь, надеюсь?

— Тебе? Верю, — отвечала она. — Я немцам не верю... Что дадут нам с тобою дожить до победы.

Он ее провожал на холодном, сыром перекрестке дорог. Хлопьями валил мокрый снег. Патрульные на КПП, собрав в кучу снарядные ящики и какие-то доски и щепки, наверное, от разбитых бомбежкой машин, запалили, облив их бензином, и грелись сбоку дороги. Подошла вся залепленная ошметьями грязи полуторка с разбитым осколками ветровым стеклом. Катя встала у борта.

— До свидания! — Шевроны блеснули на летной шинели.

— Ни пуха, серебряные крылышки! — сказал Ушаков. — Летай не волнуясь, спокойно.

— До встречи!

А встречи и не было...

Коротко, ненадежно военное счастье!

Были письма, приветы — с попутной машиной. Были ночи без сна, когда вспоминалась та осенняя непогода и Катины свежие губы, ее молодые глаза. Сладкой тяжестью на плече все лежала ее голова в рассыпанных темных кудрях, нежно пахнущих земляникой, сеном... А потом Катю сбили над вражеской территорией, от нее не осталось, как сказали ему, даже маленькой, вросшей в землю могилы. И сам Ушаков к тому времени был уже на Балканах, и качались под куполом парашюта незнакомые горы, зеленые кроны деревьев, внизу белой пенистой струйкой бурлила река...

С той поры прошла почти целая жизнь. Было всякое — и хорошее и плохое. Были женщины — ни одной из них он не любил так, как Катю, веселую девушку из Чиглы. Сейчас он любил только клинику. И детей. И работу, которую в глубине души считал варварством: избавлять от страданий ценою страданий, но все-таки крепко держал в руке нож хирурга и готов был всякий раз его целовать, как когда-то целовали клинок идущие в бой.

Глаза Ито-сан, молодые, горячие, с узким разрезом, ничего ему, собственно, не сказали. Это он в них увидел какое-то обещание и надежду: жизнь еще повернется сияющей стороной, будет радость, удача, будет счастье совсем неожиданной встречи с неведомой женщиной, понимающей, остающейся рядом до скончания дней. Но какая она, где она, кто она, он не знал и не мог догадаться.

Проводив Ито-сан, Ушаков постоял на пороге, крепко, с силой растер лоб, прогоняя усталость, и решительно побежал по ступенькам вверх, к себе в номер — принять душ перед поездом, переодеться, посмотреть, все ли Вася сложил в чемодан, не забыл ли чего.

10

Когда Ушаков вошел к себе в комнату, он увидел посыпающего на кровати Антонова и разбросанные на полу и по креслам переводы речей и отчеты о конференции, хиросимские газеты, освещавшие ход работы; тут же рядом валялись его вытащенные из шкафа и тумбочек платки, носки и измятые, скомканные рубашки. У окна в распахнутом чемодане сиротливо лежали бритва, мыло и пара ботинок.

— Васюта! Проснись! — затряс Ушаков Антонова за плечо. — Ты чего это дрыхнешь? Через десять минут уходит автобус!

— А? Что?! — Тот проснулся, вскочил, но сразу же, видимо, оценив обстановку, зевнул, потянулся лениво и опять завалился на смятые простыни. — Ничего, — сказал он, прищуриваясь от яркого света. — Без меня не уедут!

— Говорю, вставай быстро! Сейчас уезжать, опоздаешь на поезд.

— А, на поезд!— сказал тот, позевывая на подушках. — Тогда ладно, действительно надо вставать...

И он сел на кровати, потягиваясь и зевая.

Николай Николаевич принял душ и стал быстро укладывать чемодан: аккуратно, без складок, белой стопкой рубашки, темной стопкой носки, всему свое место. Там, в гостинице, по приезде только вынуть и разложить.

В двери номера кто-то коротко постучал.

— Да, войдите!— крикнул Антонов.

Вошел чистый, вымытый, свежевыбритый, бодрый Романов.

— А я сию жду!— сказал он. — Вы еще не готовы? Вы случайно не позабыли, что едете в Нагасаки?

— Помним, помним, Георгий Иванович, сейчас соберемся!— ответил Антонов. — Это вот Николай виноват, где-то долго ходил...

Ушаков покосился на шефа.

Романов прошелся по комнате, понимая усмехнулся.

— Пеняй на соседа, что спит с обеда,— кивнул он иронически и уселся в удобное, низкое кресло и вытянул ноги. — Да, кстати, вы сегодня обедали, дамы и господа?— спросил он, включив телевизор.

— Да. А вы?

— Нет. Я только что с пресс-конференции...

Ушаков, уложивший уже чемодан и готовый к отъезду, сел с ним рядом и закурил, глядя не на белый экран, не на быстро мелькающую рекламу, а куда-то в обитую плотной материей стену и думая о Романове.

Есть люди, поставленные своей должностью над другими и так этой должностью удрученные, что у них уже не остается свободной энергии на улыбку, на шутку, на простые, хорошие, добрые отношения. Их досуг, их внимание поглощаются обыкновенно лишь единственным опасением: а как бы не оступиться, а как бы прочней удержаться на своем высоком месте, не сказать чего лишнего, не унижить себя несолидным знакомством. Для них шутка не сила, а слабость или, что еще хуже, безделье ума.

Романов, по счастью, был не таким.

Ушаков еще задолго до отъезда, в Москве, оценил деловые достоинства шефа, сохранившего в себе юмор и спокойный характер, в том числе и привычку не тре-

бовать, не просить ничего для себя, а безропотно, уважительно ждать; в этом было и что-то крестьянское, и что-то типично интеллигентское.

Сейчас Николай Николаевич покосился на сидящего в кресле Романова. Тот дремал, свесив руки с колен, утомленный работой: как солдат после боя. Лицо его, еще гладкое, без морщин, сразу стало домашним, простым, а веки набухли, налитые тяжестью.

Почему-то припомнилась зима сорок второго — и один человек, чем-то схожий с Георгием Ивановичем, ну, не внешностью, не разговором, конечно, быть может, и не характером, а таким вот спокойным и трезвым отношением к себе.

Это было глухой темной ночью, после боя в Ненашеве, когда раненый и обмерзший Ушаков шел в санчасть по разъезженной и изрытой дороге. Снег лежал на колдобинах серый, крахмалистый от мороза, сухой, нога в нем увязала по щиколотку, а там, в глубине, скользилась на наледях.

На околице возле Осинина, у железной дороги, лежали разбитые грузовики, перевернутые взрывами бомб полковые повозки. Убитых и раненых уже не было, их, наверно, убрали. Только рыжие пятна крови и конской мочи стеклянисто поблескивали в свете изредка выполняющей из-за тучи луны.

Пожары здесь тоже были погашены, дыма, пламени не было, но пахло горелым железом и рожью — застревающий в легких и в памяти запах беды. Ушаков никогда уже больше этот запах не забывал, он, пожалуй, доньше точил ему горло.

Двор в санчасти полка был забит пароконными развальнями, полуторками и трехтонками, санитары укладывали на охапки соломы, настеленной в кузовах, самых слабых, нетранспортабельных раненых, — вероятно, в предвидении отступления, — изможденных и обескровленных, погасших людей в разорванных и прожженных шинелях с распоротыми рукавами, в кое-как прибинтованных валенках. Иные из них были белыми, плоскими, словно мумии, запеленатые бинтами с головы и до пят, без носа, без глаз, одна щель вместо рта.

Николай видел это уже не впервые: как укладывают на повозки людей, как белеет и морщится от страданий лицо и становится известковой маской, как просачивается сквозь бинты и лубок уже несколько коричневатая

кровь, сотни раз видел это, а привыкнуть не мог и всегда наблюдал эту сцену с единственным, одинаковым чувством натянутой через сердце струны, и всегда внутри него в эту минуту что-то грузно ворочалось, напрягалось, налегая на эту струну тяжело, неупруго, так, что, может, нажми еще чуть поплотнее — и разрежется сердце легко и без боли.

Ушаков по дороге к Осинину с наслаждением представлял себе душевное избыточное тепло — печь, в которой смолисто потрескивают дрова, деревенскую лавку, на которую он усядется и попросит чайку и махорки. И он явственно уже видел и кружку, в которой ему этот чай подадут, и кiset, и бумагу — свернуть козью ножку, и как он, Ушаков, будет пить этот чай, потемневший от крепкой, распаренной на печурке заварки, пока не замлеет от жара совсем нерабочая, непривычная к делу рука, та, левая, не попавшая под разрывную.

Но, войдя в темный двор и увидев полуторки и трехтонки с носилками на соломе, а потом разглядев вдоль забора молчаливую очередь жмущихся от мороза людей с неумело наложенными самодельными, расползающимися повязками, иногда и совсем без бинтов, с руками и ногами, лишь замотанными в застиранные полотенца, Ушаков только скорбно вздохнул: ему, видимо, не достояться, а об отдыхе, о чаях да махорке и вовсе нечего думать.

Он прошелся вдоль очереди поглядеть, нет ли, часом, своих, скоротать за беседой время, но не нашел никого. В сенцах было темно, здесь солдаты стояли теснее, прижимаясь друг к другу: кто дремал, кто постанывал, кто-то дергал простуженно носом, надрывисто кашлял. Какой-то боец в черном танковом шлеме сидел на пороге, склонив низко голову.

— Что, браток? — спросил у него Ушаков. — Очень плохо? Иль спишь? — И добавил, трясая за плечо: — Спать нельзя на морозе, смотри, не проснешься!

— Да нет, ничего, — ответил танкист. — Голова только очень болит...

Он был маленький, ладный, в черной кожаной куртке, в ботинках с обмотками.

— Ты ранен? Иль болен?

— Ранен, — как-то совсем неохотно ответил танкист. — Под Ненашевом, нынче, в атаке...

— Знаю. Сам сейчас только оттуда! Ну, и как ты? Куда тебя ранило?

— Сперва в голову,— танкист тронул затылок рукой и поморщился,— потом в ногу.— И он указал вниз, на землю, нога его была вытянута, не сгибалась в колене.— А тут танк загорелся, надо прыгать, взорвется: я прыгнул, так руку сломал...

— Повезло тебе, друг! Вроде полный ассортимент!

— Да. Выходит...— Он поднял курносое, в крупных серых веснушках лицо.— Я вообще думал— все, замерзну, до наших не доберусь... Сперва фрицы по мне одиночными били прилежно, щелк да щелк, а я от воронки к воронке. Потом наши. Наверное, приняли за фашиста. Километра три полз, пока вышел из зоны... Дополз до дороги, чуть-чуть отдышался, гляжу, машина какая-то прет, а крикнуть нет сил. Шепчу: «Помогите!» А они мимо... Конечно, мотор-то гудит и гудит... Так почти до Осинина по-пластунски на брюхе...

— Мда-а, история!— удивился рассказанному Ушаков.— А чего же ты здесь-то, с такими ранениями? Иди прямо, без очереди. Тебе ж срочно на стол...

— Ничего... Обожду. Видишь ты, сколько к ним набежало народу... Говорят, третью ночь так,— помедлив, ответил танкист, поправляя ребристый матерчатый шлем.— Врачи не справляются...

— Ну, нет, так нельзя,— сказал Ушаков и пошел через сени, раздвигая плечом застывшую очередь. Его даже никто не окликнул, никто не заспорил, он дернул набухшую дверь.

Спустя полчаса, оставив танкиста в избе у хирурга, он вышел во двор, к темной очереди, не кончающейся, а, как показалось, еще более растянувшейся за это время, поглядел на нее с неохотой, угрюмо,— сам-то он не воспользовался предложением сделать ему перевязку, хотя бы и на ходу,— и выбрался по растертому снегу на улицу, где у ворот шоферы в замасленных полушубках возились с разбитой машиной. Там отчетливо слышался грохот боя, долетающий от Ненашева. За каймою далеких еловых лесов, бегущих зубцами по самому горизонту, разгорались пожары. То и дело с коротким надтреснутым звуком оттуда неслись и рвались на окраине у Осинина, возле самого переезда, тяжелые мины. В стороне, может быть, чуть правее Ненашева, два-

три раза сверкнули медлительные и отсюда как будто бы даже нестрашные трассы «катюш».

Он глядел на клубящиеся облака над лесами и думал о маленьком ладном танкисте, оставшемся там, в санчасти, в избе.

«Человек измеряет себя не мерою совершенного подвига,—размышлял Ушаков,—а мерою пережитого страха. Вот я столько раз за сегодня падал в снег, и оглядывался, и перебегал, и так страстно, мучительно жаждал выжить, что теперь весь избит и измучен, изжеван войною и, кажется, бог знает что совершил! А этот парняга, израненный, переломанный, чуть не сгоревший, обстрелянный с двух сторон, и обмерзший, и ползший полночи по снегу, все, что за день с ним произошло, считает нормальным. Ему некогда было бояться: он работал... Награди его орденом, он сам первый, наверное, удивится и станет доказывать, что дали ему ни за что...»

Ушаков представил себе свой полк и бойцов, залегших на поле, а возможно, уже окопавшихся в мерзлой земле. Он увидел обрезанные как бы острым ножом по краю воронки, дотлевающие останки грузовиков и бронетранспортеров, и свой вынесенный на высотку КП, прикрытый еловыми лапами,—просто яма, еще без бревенчатого защищающего наката, без печки, без нар, но уже с телефоном — и медленное, монотонное повторение сухим, сильным голосом: «Я — «Сосна», я — «Сосна»... Отвечайте!» И разрывы снарядов.

Тем же самым размеренным, точным жестом, каким только что танкист надвигал на глаза свой ребристый матерчатый шлем, Ушаков поплотнее надвинул ушанку на лоб, закрывая его от ломящего встречного ветра, и пошел, перемешивая сапогами растертый полозьями и машинами серый снег, той же самой дорогой, по которой пришел, но в обратную сторону, то есть к фронту, к освещенному заревом дальнему лесу, на короткие взблески и скрежет ЭРЭС.

11

Как вполне насладиться тобою, земля?

Поезд мчится через леса и болота, мимо пашен под зябь, мимо темных желтеющих пожнивей. Вот деревни: изрытые, грязные колеи, избы, крытые толем, плетни,

огороды. Тут и там под окошком рябина и бузина в красных гроздьях, рябые подсолнухи. За деревней — луга в пышной поздней отаве. На лугах, у реки, стадо пестрых коров. Под деревом спит пастушок.

Мимо, мимо...

Воздух пахнет не этой прохладной, речной ли, колодезной свежестью, а вонючим, каменноугольным дымом, машиной и смазкой, людским потом и пылью...

С самолета земли вообще не видать.

Там, внизу, какие-то грязно-серые кочки в длинных белых потоках. Говорят, что это Саяны, хребты, вечный снег. На плешинах откосов пятнистая прозелень хвойных лесов. В глубоких долинах — извивы могучей, набухшей в разливе реки — сверху маленькой, тоненькой, как бельевая веревка.

Что сейчас там, внизу? Дождь или солнце? В разрывы клубящихся облаков ничего не видать... Как живут там, в разбросанных поселениях, люди? Что их радует, что их печалит?

Где кустится черемуха, где алеют брусничники, кто следит за веселой, пушистой белкой, когда она прыгает с ветки на ветку? Кто слушает гомон птиц, потревоженных гулом мотора от невидимого самолета?

Никогда не узнать, не увидеть, не успеть полюбить этих темных, таежных, извилистых троп, этих тихих проселков в хлебах, этих маленьких деревень на равнинах с их запахами молока и кизячного дыма, с ребятами на гумне, играющими с собачонкой...

Кто придет к ним за счастьем, кто его принесет сюда, в глухомань, в своем сердце, переполненном неизбывной любовью? Неужели не я?..

В вагоне, заполненном участниками конференции, шумно, тесно, темно. Как бывает всегда после трудной, ответственной, сложной работы, люди быстро сдружились и в тесных клетушках купе с тройными рядами полок, обычно задернутых занавесками, а сейчас гостеприимно распахнутыми, уже образовались свои маленькие компании и содружества, шел веселый и громкий, куда громче обычного, разговор. Оживление передавалось от соседа к соседу вместе с фляжкой, наполненной «Особой московской», или «Сантори», темного мас-

лянистого виски, или джина, приобретенного уже здесь, на вокзале. Все стремились перекричать друг друга, на шутку ответить не менее остроумной и радостной шуткой, заманить к себе в купе побольше народу и всех одарить коньячком или редкостной сигаретой.

Высокая полная женщина с круглым лицом сидела на постели Романова, держа двумя пальцами металлический легкий стаканчик, и, весело улыбаясь, пыталась по-русски сказать, что коньяк несколько не хуже, чем виски, но слова ее перебивались громким смехом и шумом стоящих в проходе французов, беседующих с цейлонцами.

Под ногами у взрослых с хитрой мордочкой шнырял Эрик, которому по закону давно уже полагалось бы спать и видеть цветные японские сны: убегаящая за вагонным окном Хиросима в сплетениях синих, зеленых и красных огней и для взрослых была как чудесная, а теперь и как грустная сказка.

— Человек стремится не к лучшему, а к тому, чего не имеет,— вдруг изрек Васюта Антонов и пошел по вагону отведавать всего, что предложат, от виски до пива. Впрочем, он в своих пробах довольствовался глотком.

Ушаков, огорченный столь быстрым отъездом из города, которого он, в сущности, так и не видел, стоял у окна и глядел на рисовые поля, удивляясь их вынужденной ювелирности,— на клочках залитой водою земли, меж смыкающихся окраинами больших городов, у подножий обрывистых гор, расширяющихся книзу крутыми уступами, с террасами чайных плантаций и зарослями бамбука.

Сумерки уже скрадывали очертания шахт, заводов и фабрик, в этот час их можно было угадывать лишь по зареву электричества, повисшего на большой высоте, над землею, там, где раньше, наверное, теплились звезды. Но потом все размазалось скоростью: фонари и рекламы, движение огней, мельканье фар на шоссе вдоль железной дороги,— и было приятно стоять и не думать, лишь впитывать в себя этот гул, эти длинные светлые пятна и летящие вдаль над тобою гудки. Только так познаешь скрытый смысл расставаний и встреч после долгой разлуки: он — в возможности сравнивать.

Подошел раскрасневшийся, улыбающийся до ушей Васюта Антонов.

— Человек человеку...

— Кто?

— Не знаю, но только... не волк!

— Ты прав, друг Васюта... Человек человеку — верблюд. Лишь верблюды с таким равнодушием и презрением встречают в пустыне другого верблюда и глядят на него сверху вниз, хотя тащат на грязном горбу тот же груз и питаются той же верблюжьей колючкой...

— О, да ты пессимист! — удивился Васюта, обнимая Николая Николаевича за плечи и прижимаясь щекою к щеке.

— А что, это плохо?

— По-моему, да.

— А по-моему, нет. Но я пессимист, если хочешь меня так назвать. Пессимист только лишь потому, что гляжу на мир трезво, без пустых обольщений, понимая все трудности и все недостатки нашей борьбы. Я не крашу своих надежд в нежно-розовый цвет... Я вообще ненавижу слова-ярлычки: пессимизм, оптимизм. По-моему, их выдумали узколобые люди, не желающие задумываться над проблемами жизни и плывущие по течению.

— Я чего хочу спросить у тебя... — Васюта вдруг обернулся назад, в глубь вагона, и кому-то кивнул. — Ты не помнишь случайно, сколько именно мирных лет было в истории человечества?

— Ты имеешь в виду данные шведского статистического управления?

— Да. Их.

— Чего это вдруг потянуло на арифметику?

— Нужно! Мы тут поспорили с одним господином!..

— Всего-навсего двести девяносто два года — из пяти тысяч лет...

— Мда-а... Не очень-то густо!

— Тогда, Вася, не было сторонников мира! — пошутил Ушаков. — Видишь, вся беда в том, что история многому учит. А мы, к сожалению, не любим историю, плохо учим ее...

— Пойдем, скажешь ему! — предложил, оживляясь, Васюта. — А то он все спорит, говорит, надо прошлое позабыть, зачеркнуть и начать жизнь сначала...

— Ну, а я-то зачем? Совсем ни к чему. Неудобно... И просто... Нет, я не пойду!

— Вот чудило! Пойдем! Познакомлю! Мы с ним не доспорили, вместе доспорим... Интересный мужик. Жур-

налист. Был в Америке и в Советском Союзе, поездил по свету...

— Ну ладно... Пойдем, а то не отвяжешься! Посмотрю...

Через две-три минуты Антонов откупоривал в купе бутылку армянского коньяка, разливал по стаканчикам и, поблескивая большими, навывкате, изучающими глазами, прислушивался к завязавшемуся разговору.

Японец Иомиури-сан — седоватый, подтянутый, худощавый, в ослепительно белой рубашке, с изящно повязанным галстуком ручного тканья — показался Николаевичу куда моложе своих полных шестидесяти лет. Глаза его за очками были ясными и холодными. Две глубокие складки прорезали его смуглое лицо, словно темные шрамы.

— Объясните, пожалуйста, Иомиури-сан, — спросил Ушаков, — а все-таки почему вы простили Америке эти две бомбы?

Тот, задумавшись, долго молчал, потом поднял изящную седоватую голову.

— Видите ли, мы, конечно, ей не простили... Мы помним... Но кое-кто в нашей стране, в том числе и большие, известные люди считают, что нельзя без конца копить ненависть, злобу. Это может опять привести к катастрофе. Кто-то должен подняться над прошлым!

— Но это ж пошлейшие христианские догмы! — вмешался Антонов. — Если тебя ударят...

— Так что, по-вашему? Снова мстить? — спросил, оживляясь, японец. — Мы им снова Пирл-Харбор. А они нам опять Хиросиму? И опять воспитывать молодежь в готовности стать человеком-торпедой, человеком-снарядом? Но это же снова война! Теперь — термоядерная... Мировая. И еще неизвестно, кто будет сильнее: тот, кто снова захочет обязательно отомстить, пролить кровь врага, или тот, кто, почувствовав себя жертвой, начнет защищаться и будет отстаивать свою честь и свободу, свою независимость.

— Значит, тот, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, уже может не беспокоиться? — спросил Ушаков. В душе он был задет за живое.

— Видите ли, это сложный вопрос, — пустил кольцо дыма в потолок Иомиури-сан. — Америка нас потрясла до самых основ этим взрывом. Люди словно бы пробудились от летаргии. Они многое поняли. И главное в

этом одно: нельзя больше жить так раздробленно, в изоляции от огромного внешнего мира. Нельзя быть разобщенными внутри общества. Нас пленил динамизм. Вы, наверное, видели наши контрасты? Обтекаемые машины на фоне японских вулканов, ветка вишни над мчащимся суперэкспрессом: щучья морда, двести двадцать километров в час, гудки и туннели... «Восток есть Восток, и Запад есть Запад, и им не сойтись никогда...» Так мы с детства запомнили. А в нашей стране все это соединилось... Марсианская инженерия, электроника, точность — и цветение хризантем. Очень многое мы приняли и от той же Америки...

— В том числе и военные базы на Окинаве, откуда стратегические бомбардировщики летают во Вьетнам... И кто-то же наживается на поставках напалма для янки! Кому-то приятно и очень полезно, что атомные подводные лодки приходят в Сасэбо и в Йокосука...

— Вы тоже затягиваете войну во Вьетнаме, — сказал Иомиури. — Поставляете им самолеты... Без участия СССР все давно бы уж кончилось...

Ушаков усмехнулся.

Он сидел на диване с сигаретой в руке и поглядывал на Васюту, нахохлившегося в углу. Разговор выходил за обычные рамки вагонной беседы. Да, знакомая песня! Он помнит ее еще со времен войны с Гитлером.

— Вы знаете, Иомиури-сан, — обратился он снова к японцу. — Вот это же самое говорили и некоторые деятели в Англии и Америке, когда выступали против открытия второго фронта в войне с фашистской Германией. Зачем, мол, затягивать бойню? Вот Гитлер уничтожит Советский Союз — и война кончится, будет мир, благоденствие. А они не подумали, что Гитлер после победы над Советским Союзом уничтожил бы в первую очередь их самих: сперва Англию, потом Соединенные Штаты. Стремление к мировому господству — это... едкая штука! Она кружит головы... В желании победить меры нет. И война никогда не закончится, если мы пойдем на уступки, ибо в каждой уступке — поощрение агрессору, прецедент безнаказанности... А техника позволяет сегодня быть дерзким...

— Да, бомбы...

— Что бомбы? Когда бы только они одни! — Ушаков загасил сигарету, откинулся на сиденье. — Вы, наверное, знаете: через несколько лет американцами на вой-

не уже будет использовано само время... Каким методом это будет сделано, я не знаю, а вот слыхал. Фантастика, да? Но ведь мы и об атомной бомбе когда-то только слыхали, а, в общем-то, не верили, что возможно такое... И всегда только право сильнейшего плюс эффект неожиданности нападения... И уж будьте готовы, Йомиури-сан, цепь насилия и реванша никогда не прервется, если вы захотите сыграть в благородство...

Ушаков налил в стопки всем троем коньяку.

Японец отпил, чуть коснувшись губами. Глаза его были серьезны за широкими линзами модных очков.

— Но мы делаем все, чтобы это не повторилось! — воскликнул он неожиданно горячо. Такой сдержанный, суховатый, он был очень взволнован. — Наши митинги, демонстрации, наши массовые забастовки... Мы привозим в Хиросиму массу людей, мы показываем всему миру наши слезы и кровь, наши раны... Разве этого не достаточно? На сегодняшней конференции... И есть голос общественности, наконец, наша левая пресса...

— И есть страны Варшавского Договора... — сказал Ушаков. — Это более верное средство!

Николай Николаевич помолчал.

— Я работаю в клинике... для детей, — сказал он спустя время с неожиданной горечью, обращаясь к японцу. — А эта работа приучает к серьезности. Когда говоришь ребятишкам, что придет серый волк и всех заберет, если будут шалить, они тут же в тревоге оглядываются на дверь. Но скажи какому-нибудь взрослому дяде или тете, что сейчас водородных и атомных бомб изготовлено столько, что уже не хватает соответствующего им количества жертв, так ведь, черт дери, не поверят! Тоже, мол, нашел, чем пугать, какой серый волк к нам пришел! А на каждого жителя нашей планеты уже нынче приходится не по одной, а по две и по три атомные смерти...

Они чокнулись стопками:

— Ну... за мир во всем мире!

Только к трем часам ночи вагон наконец успокоился и затих. Закончились споры и шутки, хождение от одного переполненного купе к другому, люди стали устра-

иваться на ночлег, пристегивать отгораживающие занавески.

Улегся Иомииури-сан. Улегся Георгий Иванович, весь вечер беседовавший с канадцами и англичанами. Глоток выпитого «Сантори» из рук круглолицей молодой англичанки заставил его не только шутить и рассказывать случаи из своей жизни,— а он много ездил по свету,— но и спеть «Подмосковные вечера».

Улегся и Вася Антонов, взобравшись на самый верхний «этаж», на третью полку. Там он долго ворочался, тяжело отдуваясь и фыркая, роняя сверху то папку с бумагами, то шляпу, то башмаки. Пристегнутая заботливым проводником, его занавеска то и дело натягивалась под тяжелыми вздохами, словно парус: полка узкая, спать укрывшись нельзя, очень жарко, будешь мокрым от пота, а раскрывшись тем более невозможно, здесь прекрасные международные дамы, не дай бог увидят его, полуголого, вот крику-то будет!.. Но как только Васюта дотронулся головой до подушки, так все тотчас же услышали внятный, мягкий таинственный свист, затем громкое рокотание и бульканье его носо-глотки.

Ушаков, устроившись поудобнее на своей нижней полке, тоже узкой и жаркой,— поезд мчался на юг, в живописнейшие субтропики,— взбил повыше подушки и лег на них животом, подбородком уперся в ладони. Отодвинув чуть в сторону плотную шторку, он глядел на летящий вдоль поезда лунный пейзаж за окном, сожалея в душе, что все уже крепко спят и не с кем увиденным поделиться.

Поезд с грохотом, с пулеметным стрекотом торопящихся под уклон тяжелых колес то и дело влетал в бесконечные, словно вечность, глухие туннели, пронзая их черную темноту своим узким, стрелоподобным гремучим телом, и снова, ликуя и радуясь, вылетал на простор. От этих мгновенных влетов и вылетов из туннелей Ушаков на какое-то время глух, как в снижающемся самолете. Но вот опять поезд вырывался в долину и мчался по плоскости залитых лунным светом изумрудных полей, по-школьному разграфленных на клетки и засеянных колоском к колоску, с бороздками для полива, кустящимся рисом, пролетал по гористым уступам с уютными домиками под черепицей, с вишневыми деревцами, стоящими возле окон. И вновь горы, горы и скалы, нависшие над кромкою моря, где ленточка пля-

жа, почти растворяясь, сливается в бухте с лимонно-зеленой дорожкой луны.

Из тьмы выступают серо-черные тени больших криптомерий, обрывы, рыбацкие лодки на рейде, и вдруг разбегающееся до горизонта сверкание разноцветных огней и трубы, трубы, клубящийся дым над градирнями, шахты, угольные отвалы, циклопические прожекторы над подъемными сооружениями, прерывистое, монотонное дыхание механизмов заводов, ворчание поршней и мерное бряканье, заканчивающееся пришлепыванием и шипением молота.

Ушаков, привыкший к раздолью широких полей, с волнением впитывал в себя эту жизнь, размещенную на каких-нибудь сантиметрах: то уютная, хрупкая, в потемневших от времени домиках, в раззолоченных многоуступчатых храмах, окруженных садами из низкорослых деревьев и замшелых камней, со сверкающими водопадами и ручейками, с белолицыми женщинами в драгоценных шелках, то воинственная, с драконами и мечами, с пугающим злым оскалом чудовищ и масок, с заточенным в своем древнем дворце императором, то машинная, наконец, с фантастическими скоростями и феерией дымных лиловых огней, с заводскими кирпичными корпусами и толпами демонстрантов под знаменами и транспарантами, эта жизнь привлекала к себе, хотя и была для чужого, случайного взгляда туманной, неясной: в ней не так-то легко постороннему разобраться. Но он, Ушаков, о простом не хотел бы и думать: зачем утруждаться жеванием жвачки? На бесчисленные вопросы бесчисленны и ответы. И разве не здесь, не в этой стране родились стихи:

За ночь въюнок обвился
Вкруг бабьи моего колодца...
У соседа воды возьму!

Ушаков почему-то тревожно вздохнул.

Может быть, виною тому была размазанная облаками оранжевая луна и орехово-серые домики, лепящиеся по уступам гор, или море, не спящее где-то рядом с железной дорогой, только он вдруг поймал себя на одной странной мысли, что счастье придумано людьми лишь как самое быстрое и доступное всем утешение. А на самом-то деле его не было никогда, нет и не будет, как нет бога на небе, как в реке нет русалок, как нет лешего в глухой чаще леса.

«В самом деле, действительно,—думал он.—Разве может существовать на земле что-то очень расплывчатое, нематериальное, никогда не увиденное в настоящем, а всегда только где-то в прошедшем... и всегда неустойчивое, уходящее, ускользающее, оставляющее после себя лишь одно сожаление, или боль, или чувство утраты? Почему никогда никаким заклинанием, даже фаустовским «Остановись!» его не поймать, не увидеть в лицо? Не имея ни цвета, ни формы, ни вкуса, ни запаха, чем же все-таки оно завлекает и заманивает тебя? Что же это такое? И кто скажет: зачем я верю в него и всегда буду верить?»

Ушаков стиснул голову кулаками.

Он представил себя молодого и тот вечер с Катюшей Насоновой в деревенской избе.

Отгороженная от хозяйской светелки невысокою перегородкой, их маленькая комнатка была полна шорохов, шебуршания, плеска: это шел, а вернее сказать, равномерно, размеренно лился непрерывным потоком хмурый дождь. Как огромная серая кошка, на рассвете он рылся в прогнившей соломе на крыше, прыгал в желтой траве на тропинке, разливался большой черной лужей, питая и шевеля уже пересохшие стебли растений.

— Расскажи о себе,—просил Ушаков, в темноте обнимая Катюшу одной рукой, а другою, свободной, чуть приглаживая ее рыжеватые брови.

— О себе?.. Разве это уж так интересно сейчас? — говорила она. И вдруг вспоминала: — Да, правее Сурганова тоже зенитки. Когда возвращаешься, нужно их обходить... Ты боишься, когда нужно прыгать во тьму с парашютом? Я ужасно боюсь! Мне кажется, прыгну — и прямо в болото, а там жабы, лягушки...

— И еще комары,—добавлял Ушаков.

— Да, еще комары... Я их тоже боюсь!

Ушаков тогда от души посмеялся над страхами Кати, а сам ночью подумал: «Хорошо бы так жить на земле, чтобы страшными были одни только лягушки. Все другое на свете не должно пугать человека, только радовать, приносить ему счастье: небо, воздух, зеленые травы, цветы...»

Он не знал, что всего через несколько лет после победы небо снова будет грозить самолетами, но уже пролетающими на такой высоте, что с земли их не видно

и даже не слышно, что трава, и цветы, и вода из колодца, и рыба, и молоко, и сам воздух огромной планеты будут молча таить в себе смерть, смерть для всех, белый яд радиации,— что такое зенитки Сурганова по сравнению с ним?!

Ушаков, отодвинув тяжелую штору, до рассвета глядел на взлетающие над городами гроздьями реклам, на химические заводы с их башнями и суставчатыми переходами, на газгольдеры, на поля в тихой, утренней дымке, пока поезд не вполз в подземелье туннеля, проходящего под проливом, между островами Хонсю и Кюсю. Потом снова мелькали рыбацьи поселки, заливы в скалистых, изрезанных берегах, и луна все бледнела, бледнела, пока не растаяла, не исчезла совсем...

Но вот поезд вылетел на равнину, на свет, и столб жалящего, сжигающего с утра, слепящего солнца свалился в вагон, расчертил полосами постели Георгия Ивановича, Васюты и Ушакова. Все вокруг загорелось, зажглось миллионами огоньков — стекла ламп, никель поручней, даже пуговицы и стаканы. В его желтоватом пронзительном блеске тают дымные очертания порта, сверкает ячейками рябь на воде, мягко плаваются в золоте серовато-коричневые конические вершины гор, поросшие лесом. Груды маленьких двухэтажных домов под рифлеными крышами, трубы, мачты, подъемные краны, современные здания из стекла и бетона — все горячее, яркое, знойное, незнакомое.

У подножия гор, словно в сомкнутых крепких ладонях, в красно-розовой пене цветов — Нагасаки...

14

Хорошо вечерами стоять у окна и смотреть с высоты на туманную, голубую Москву, на зажженные окна по всему переулку, такие лиловые, синие в сырых мартовских сумерках.

Море крыш, море стен, флюгеров, угловых древних башенок, законченных фронтонов, коньков и похожих на католические распятия телевизионных антенн. Левее за ними, по самому горизонту, — темно-серая, строгая на фоне сурового предвесеннего неба литая громадина университета, летящая в небо, как распластанный

самолет. Правее — кварталы крупноблочных домов и высокие, стройные башни Новодевичьего монастыря, купола и ажурные звонницы: город-чудо, город-фантазия, наша русская сказка, некрополь...

Я еще не привыкла к пейзажу, лежащему за окном, но мне нравятся эти березки, газоны, а дальше за ними старинные тупички, эти улочки, переулки: Олсуфьевские, Оболенские, Языковские, Пуговишниковы, Трубецкие, с забытыми временем особнячками, с кирпичными фабричками, освещенными мертвенным светом ртутных ламп. Здесь так остро и нежно пахнет снегом и темной корою деревьев и так грубы и замкнуты лица у живущих здесь стариков и старух, что хочется плакать...

Я хожу на все выставки, но не вижу картины, которую можно было бы назвать так: «Одиночество старости».

Вижу темные переулки и синие тени подъездов. И стоящих безмолвными группами черных старух, молчаливых, расплывшихся, в полинялых платках. Их широкие лица морщинисты, желты, а костистые плечи печально опущены под тяжестью лет и труда. А растоптанные башмаки исходили взад-вперед от плиты до стола расстояние, равное пути от Земли до Луны...

Эти женщины глядят мне вслед очень хмурым, иногда равнодушным, долгим, выцветшим взглядом.

Их тяжелые грубые в ссадинах руки жили в мире простых, но единственно важных на свете вещей: хлеб, дрова, молоко, пеленки, корыто.

Человечество, улетая к мирам своих звездных снов, должно помнить не что-нибудь — эти руки.

Меня трогает до тумана в глазах совершенный пус-так: когда где-нибудь в магазине или в плотно набитом троллейбусе молодой, полный сил человек пропускает впереди себя не нарядно одетую девушку с модной милой прической, а такую вот грузную, в темном мятом платке, некрасивую, злую старуху, от растерянности позабывшую поблагодарить.

Этот жест его украшает.

Он делает трепетным весь этот миг, наполняет его неожиданным и красивым значением. Потому, что любить людей на словах — это значит одно, а любить их на деле — это нечто другое. Ведь люди-то разные и, ко-

нечно, не ангелы, и легко любить тех, кто достоин любви. Это старая песня. Вы, наверное, помните Гейне: «Но он не был достоин любви, и она не любила его...»?

Как ни странно, но тот, кто любви недостоин, тоже чувствует, понимает: он живой человек. Он вообще Человек, даже если он неуклюж, и рассеян, и жалок или, что еще хуже, бессмысленно груб. Оттого, что он так беспросветно угрюм, так безвкусно одет, может, ты виноват? Или я?.. Или кто-то другой, неизвестный нам третий?..

Я иду по бульжникам темного переулка, мимо теней в подъездах. На старухах распахнутые изношенные пальто. Эти старые женщины смотрят мне вслед равнодушными светлыми исплаканными глазами.

Как сказать им, что я их люблю?

15

Солнце бьет сквозь пластинчатые жалюзи так, что больно глазам. За окнами порт: сотни разных судов, сухогрузов и танкеров, сотни яхт и моторок, катеров и рыбацких увертливых кавасаки, визги, вопли и скрежет машин, поднимающих и перетаскивающих с места на место тяжелые грузы. Словно стаи огромных, неведомых птиц — железные скопища длинноклювых подъемников.

Нагасаки вообще живет куда более шумной и радостной жизнью, чем Хиросима, так, по крайней мере, решил Ушаков, ослепленный и оглушенный морем, солнцем и яркостью южного города.

По улицам мчатся автобусы, переполненные туристами, шагают матросы с английских, американских, французских, канадских и австралийских судов, рыбаки везут с моря свой трепещущий, скользкий товар, в стеклянных многоэтажных «депато» и крытых пассажах снует пестрая, разношерстная публика — и те, кто может купить жемчуг, изделия из черепахи, транзисторы, драгоценный фарфор, и те, кто в часы распродажи толпится возле прилавков, чтобы выкопать из-под груды тряпья что-то нужное, недорогое, а в прочее время лишь любит все эти разложенными и выставленными товарами: цветастыми зонтиками, веерами, нарядными кимоно, чудесными куклами, обезьянками

с золотистой расчесанной шерсткой, игрушками с электронным устройством.

Два бога — Торговли и Моря — парят над лежащим внизу доверчивым городом, разглядывая его с той же самой удобной для прицеливания высоты, с которой 9 августа 1945 года бросил бомбу старательный, аккуратный американский убийца. Выше них — только солнце, «свирепейшее из солнц», как сказал бы Васюта Антонов.

Ушаков поднимался по узеньким каменистым обесцвеченным жарким полднем экзотическим улицам города и думал о том, что здесь, в Нагасаки, наверное, даже самая сильная скорбь теряется и бледнеет, потому что ее вытесняют дела. Суета выжигает, наверно, сердце, как жара эту твердую, каменистую землю.

— А что? Деньги не помнят! — заметил Георгий Иванович, шедший рядом и думавший, видимо, тоже о том же. — Вернее, банкноты. Медный грош еще помнит войну и будет всегда ее помнить. А большие купюры запамятовали, что Америка была им врагом, а потом оккупантом... Теперь она только добрый союзник, богатый сосед, которому можно продать и напалм, и военное снаряжение для войны во Вьетнаме... У Америки здесь, в Нагасаки, военная база. Смешно? Парадокс? А, наверное, нет... Просто деньги не помнят! — повторил он опять свою первую фразу.

На траурной церемонии, возлагая венок, Ушаков с волнением слушал звон колоколов, плывущий над городом; их печальные металлические голоса повторяли медлительно, с горечью: «Помни... Помни!..» Да, он помнил об этом. Миллионы людей, в том числе миллионы советских солдат, сражались за мир, за вот это просторное, чистое небо. Разве можно об этом не помнить?

Весь день Ушаков находился под властью щемяще-печального колокольного звона и был переполнен суровостью собственных воспоминаний, поэтому для него неожиданно странным показался вопрос Васюты Антонова:

— Ты слышал о мадам Баттерфляй?

— Да. А ты это к чему?

— Сейчас мы поедем посмотреть ее дом. Ты, конечно, поедешь?

Ушаков с обреченным, растерянным видом лишь только развел широко руками:

— А что делать? Конечно, поеду.. Домик, где жила Чио-Чио-Сан... Туфли Золушки... Ступа Бабы-Яги. Поэзия, сказка, а сколько долларов за вход?

Но там, на холме, где стоял деревянный, построенный в старом стиле, с раздвижными стенами и окнами дом, пропахший сандалом и запахами цветов, Ушаков отделился от группы, внимательно слушавшей гида, и долго стоял один, глядя на город, лежащий внизу, и на бухту, «красивейшую из бухт», если вспомнить слова все того же Антонова, на мягкие линии отдаленных, дрожащих в нагретом струящемся воздухе гор. Он так и не слышал, действительно ли существовала мадам Баттерфляй на земле, или все это вымысел, только легенда. Но, по счастью, и горы, и море, и бухта, которую бороздили суда с ее бледно-зеленой, то серой, а то изумрудной водой, отливающей серебром, когда ветер рябил ее и гнал против солнца, в самом деле существовали в природе. И вот это-то и утешало, это было естественно и прекрасно.

Город нравился Ушакову, он словно что-то ему обещал, какую-то радость, а может быть, встречу. И он с благодарностью запоминал его солнечный, праздничный облик.

Они оба с Антоновым побродили по саду, то и дело оборачиваясь на дом — умели же в старину строить так, что и ветер и море — все рядом, и все с высоты, и все окрыляет ощущением простора, — и пошли вниз по улице, мощенной камнями, мимо строгих, почти неприступных оград и прячущихся в гуще деревьев домов сеттльмента.

Автобус стоял на самом солнцепеке, но внутри него было прохладно. Они сели, усталые, тяжело отдуваясь, ослабили узлы галстуков.

— Молодцы японцы! Умеют работать, — сказал Ушаков и потрогал сиденье и подлокотники. Все вокруг было сделано элегантно, добротно и сияло почти хирургической чистотой.

— Да, они молодцы, я рад, что ты это заметил...

Провожая глазами японку в светлом шелковом кимоно, с привязанным за спиной ребенком, Ушаков кивнул головой в ее сторону.

— Вот и это мне нравится тоже, — сказал Ушаков. — Все делают на свой лад, не оглядываются ни на кого. Отработал на службе — европейское платье долой, ско-

рей кимоно, нарядное оби и гэта, и низкие столики, и цветы, и чайная церемония...

— Вот не знал за тобою приверженности к старине! — заметил Васюта.

— А я и сам за собою не знал, пока не поездил и не увидел, как люди везде свое отчее берегут... Сюда ехать собрался, пошел поискать сувениры, не банальных матрешек, а что-нибудь подороже, получше, ну, хотя бы хваленые русские полотенца, расшитые петухами. Так все магазины обегал, нигде не нашел. А, кажется, чего проще! Сестру свою умолял, она у меня замечательная мастерица, — пожалуйста, вышей. Так нет, говорит, и холста не найду, и рисунка, и ниток...

С холма по выстланной камнем дороге спускались отставшие иностранные делегаты во главе с гидом, пожилым, сухощавым, морщинистым человеком в защитных очках. Он рассказывал что-то весело, оживленно, а они его очень внимательно слушали. Потом, попрощавшись с ним, все толпой повернулись к киоскам, стоящим рядами по площади вдоль дороги, — покупать веера и раскрашенных кукол, изделия из ракушек, фигурки рыбачек и рыбаков в соломенных шляпах, заколки и гребни из черепахи.

Георгий Иванович пришел с куклой в руках, положил ее рядом с собой на сиденье, отер лоб платком.

— Повезу своей внучке, — сказал он, отдуваясь. — Просила японочку ей привезти...

Ушаков и Антонов только коротко переглянулись.

16

Митинг был назначен в большом спортивном зале, вмещавшем, наверное, тысяч пять человек. Еще издали, из автобуса, можно было увидеть колонны людей, направляющихся к месту сбора под знаменами, с лозунгами, написанными на белой материи, с плакатами, прикрепленными на груди, с перевязями через плечо и на лбу: и мужчины и женщины — все в исписанных иероглифами призывов белых платочках.

Ушаков это с детства любил, он с этим родился, с этим вырос: колонны людей и знамена на Октябрьские праздники или на Первое мая. Он не мыслил себя без веселого единения многих сотен и тысяч людей, без улыбок, без марша и духового оркестра, без воздушных

шаров и сияющих ребятишек на плечах у отцов. Но не знал и не видел полицейских, стоящих цепями, вертолетов, парящих над городом, равнодушных, а то и презрительных лиц пассажиров, проезжающих мимо в роскошных, сверкающих лаком машинах,—это грозное противостояние двух общественных сил, шум и выкрики, рев клаксонов, визжание тормозов...

Иностранные делегаты проходили по залу под грохот несмолкающих аплодисментов. Потом, когда всех их, вошедших, по очереди представляли участникам митинга, называя страну и каждого делегата по имени, Ушаков испытал ни с чем не сравнимое чувство гордости за Советский Союз. Он склонил седоватую голову перед этими вставшими со своих мест незнакомыми, но такими понятными, близкими, дорогими людьми, полный братской любви и того настоящего, верного чувства, что в бою, в наступлении зовут чувством локтя.

Почему-то ему в этот миг припомнились Польша, Венгрия, Чехословакия—все те страны, которые он прошел как солдат со своими десанниками.

В Лодзи снег был слепящим, он только что выпал, и солнце его осветило миллионами искр, а красные флаги на крышах носились, как птицы, по ветру и хлопали красными крыльями.

В Праге танки проехали по цветам. У солдат на пилотках были только невыцветшие пятиугольнички, так как звездочки они раздали на память обнимавшим и целовавшим их веселым пражанам.

Ушаков тогда и не знал, что каждая его пуля, попавшая в цель, каждый бой, будь то в декабре сорок первого года под Москвой или где-нибудь под Будапештом, крепко сложатся не в одну только великую майскую нашу победу, но и в эти громовые аплодисменты на митинге в жарком городе далеко от Москвы. Мир сегодняшний был защищен там, хотя бы и под Ненашевом, впрочем, и под Орлом или где-нибудь под Смоленском.

Он глядел на людей, пожимающих ему крепко руки, на улыбки, на темные лица рабочих. Нет, и здесь, в Нагасаки, смерть от атомной бомбы несколько не отличалась от смерти от атомной бомбы в Хиросиме, и прощения не было: в суете, за делами, ничто не забыто.

Митинг шел уже третий час, а на трибуну поднимались все новые и новые ораторы. В жарком воздухе,

накаленном страстями, уже нечем дышать. Зал скандировал:

— Мир Вьетнаму!

— Американцы, убирайтесь домой!

— Янки, прочь с Окинавы!

— Запретить атомную и водородную бомбы!

И опять, как в Хиросиме, свет нацеленных прожекторов и суровая песня — зал поет ее стоя, — а на лицах людей чувство радости, понимания, без которого не важны ни любовь, ни удача, ни здоровье, ни деньги...

— Вася, здорово! — улучив момент, шепнул Ушаков Васюте Антонову. — Мне это нравится!

— Да, мне тоже, старик...

— Ты знаешь, я себе представлял это как-то иначе...

Они, стоя, громко били в ладоши вместе со всеми.

— Да, — заметил Антонов. — Плохо только одно: тот, кто держит пальцы на кнопке, не ездит на мирные конференции...

— Ничего... Этот шум сквозь стены пройдет. Каждый голос когда-нибудь да отзовется!

Выйдя на улицу после митинга, Ушаков удивился, что здесь все так же пылает огромное жаркое солнце, пешеходы снуют по узеньким тротуарам взад-вперед, подобные муравьям, каждый с маленькой своей ношей, пролетают роскошные автомобили, мчатся с рыжими, красными и зелеными крышами пронеры такси. И вдруг голос знакомый, щебечущий, столь неожиданный и совсем без акцента:

— Николай Николаевич!.. Коннити-ва!¹

— Ито-сан! Вы откуда здесь, в Нагасаки?

— Приезжала на митинг с делегацией от Хиросимы...

Да, действительно, перед ним в белой кофточке, в темной юбке Юкико, улыбающаяся, молодая. Ее черные узкие сияющие глаза были словно омыты, они тоже смеялись.

— Как я рада, что опять увидела вас... Я боялась, что вы после митинга сразу уедете...

В шумной пестрой толпе расходящихся с митинга они плотно притиснуты на мгновение друг к другу.

— Эх, а меня уже ждут. — Ушаков обернулся, ища взглядом товарищей.

¹ Здравствуйте (япон.).

— Меня тоже. Мы тоже сейчас все уедем. Но я очень хотела увидеть вас и вручить вам на память вот это.— Юкико сняла с себя медальон на простой металлической темной цепочке. На одной его стороне был оттиснут совсем крошечный бронзовый вепрь, на другой — тоже маленький — Будда.— Это можно надеть, как брелок, на ключи,— пояснила Юкико.

— Да, спасибо... Большое спасибо! — сказал Ушаков.— Ну, Будду я знаю.— Он держал медальон на ладони.— Нас с ним познакомили в монастыре. А кто этот зверь? Что он означает?

— А это свинья. Она означает, что я родилась — по нашему календарю — в год свиньи, или вепря... А поэтому, по поверью, и характер мой должен быть очень настойчивым, я должна идти в жизни во всем напролом...

— И вы думаете, вы способны на это? — спросил Ушаков, держа ее тонкие пальцы в своей, в крупных шрамах руке.— Я что-то не верю...

— Представьте, я тоже... — сказала она, легко отняв руку, и, открыв свою черную лаковую сумочку, достала платок.— Это только я с вами такая отважная!

— Вы прелесть, Юкико... — сказал Ушаков.— Я запомню все наши чудесные встречи...

— До свидания, мне надо спешить, Николай Николаевич! Саёнара!

— До свидания, Юкико-сан, до встречи! Спасибо за вепря...

Но Юкико Ито уже скрылась в толпе.

Ушаков поспешил на стоянку, к автобусу, но там никого не нашел — ни Антонова, ни Георгия Ивановича, ни других делегатов. Он прошелся по площади, хорошо понимая, что сам виноват, опоздал, и расстроился, огорчился таким происшествием.

— Простите, пожалуйста. Чем могу вам помочь? — В толпе к Ушакову подошел человек средних лет, в строгом темном костюме. Разговаривал он по-английски.— Вам нужно в гостиницу?

— Да. Я чуть задержался и, видимо, опоздал...

— Прошу вас, садитесь...

Они подошли к полицейской машине.

Человек открыл дверцу, сперва пропустил Ушакова, потом сел сам и что-то сказал по-японски шоферу.

Они быстро помчались по улицам города, все еще переполненным расходящимися колоннами, многочисленными автобусами и легковыми, развозившими участников митинга.

— На всем ездил,— сказал Ушаков человеку, сидящему рядом.— На осле. На верблюде. На танке. Когда был ранен однажды во время войны, меня вывозили на упряжке собак. А вот в полицейской машине путешествую в первый раз. Рассказать кому-нибудь, так не поверят!

Его спутник расхохотался, обнажив широкие, желтые зубы.

— Ничего, ничего! — сказал он.— Для вас это не страшно.

Они быстро свернули какими-то переулками, проскочили через трамвайные рельсы почти под носом у трамвая и встали у подъезда отеля.

— Приехали...

— Очень тронут. Большое спасибо! — Ушаков крепко пожал руку своему спутнику.— Очень вам благодарен.

— Не сто-ит, пож-жару-ста,— тот ответил по-русски, но раздельно, с усилием.— До сви-дания, Мб-сква!

— До свидания, Нагасаки! — сказал Ушаков.

Он поднялся на лифте к себе, на пятый этаж, в номер, удивляясь сегодняшней встрече с Юкико и этому странному путешествию в полицейской машине. Оно насмешило его, привело в отличное настроение: смотри-ка ты, полицейский агент — а и тот изучает его родной русский язык, это что-нибудь да значит!

Поздно вечером, когда солнце садилось за горы, Ушаков сидел в одиночестве в стеклянном кубическом ресторане и с большим сожалением думал о том, что уже никогда не вернется в этот жаркий и душный тропический город.

Он глядел на закат, на кварталы домов, на темнеющие в густой синеве лачужки окраин и думал о доверчивой незащитности современного города: например, Нагасаки опять разрастается после той беспощадной, жестокой бомбежки, и опять ему некуда деться от неба, нависающего над ним и таящего в себе след, подобный келоиду,— путь военного самолета.

Подошедший Антонов помешал ему повернуть свою мысль так и эдак и развить ее дальше. Васюта рухнул в кресло, стоящее рядом, и вытер платком мокрый лоб.

— Уф... Устал! — тяжело выдохнул он. — Ты чего это, словно горный орел на вершине, глядишь на других с высоты?

— Так... Георгий Иванович на приеме. Ты — в бегах...

— И чем же ты тут занимаешься?

— Утопизмом.

— И чего утопил?

— Все снаряды, все ракеты, все пушки и бомбы...

— Ну?! И все предрассудки? — заметил Антонов.

— Нет, этого, видимо, не утопить никому.

— Мне сейчас только что объяснили, — Антонов придвинулся к Ушакову, налил себе пива в длинный тонкий бокал, — что не разум сближает или разъединяет людей, не сила рассудка, а сила традиций и предрассудков. Каково, а? Железная логика!

Ушаков не ответил. Он смотрел на темнеющий в сумерках город. Там сейчас разгорался и прыгал искусственный свет, очень яркий и пестрый, но совсем не сравнимый с блистанием заката на розовом, голубом и темно-лиловом торжественном небе.

Среди разгорающихся электрических облачков и скоплений, шевелящихся там, внизу, он заметил и еле горящие, совершенно микроскопические отдельные огоньки, разбросанные по горным отрогам. Это, видимо, были окна хижин портовых рабочих и рыбаков, затерянные по оврагам и влажным низинам, в гуще темных деревьев.

«Интересно, чем живут эти люди? Какими надеждами? — думал он, подперев рукой подбородок и машинально жуя погасшую сигарету. — Неужели одним только древним инстинктом продлить собственный род? И стремлением не погибнуть в войне? А каким будет мир, это их беспокоит, волнует? Ну, а если война? В кого они будут стрелять, с кем пойдут?.. Как сильны их традиции, предрассудки?»

Подошел улыбающийся, покрасневший от быстрой ходьбы Георгий Иванович в ослепительно белой рубашке, наглаженный, по-спортивному бодрый, подтянутый...

— Что, товарищи? — спросил он, садясь рядом в свободное кресло и знаком подзывая официанта. — Вас, я вижу, водою не разольешь...

— А вы попробуйте пивом, — предложил Ушаков.

— Или лучше сакэ... — покосился на шефа Антонов.

— Нет, — сказал Ушаков, — для сакэ слишком жарко...

— Ну, вот, — сказал шеф, — завтра раненько уезжаем. Наша миссия выполнена, мы свое дело сделали.

— Что ж... Отлично!

— Да. Теперь на душе у меня чуть-чуть поспокойней. Хотя в Токио нам еще предстоит поработать.

Это был привычный, не требующий напряжения разговор, обязательный после насыщенного впечатлениями тяжелого дня работы, нечто вроде зарядки аккумуляторов: о деле, о пустяках, о городе, о погоде. И опять о работе...

Ушаков не участвовал в разговоре: он подумал вдруг о Юкико-сан. С ней его разделяет куда большее, чем предрассудки: страны, армии, партии, взгляды, даже возраст, наконец, расстояние... Эта женщина — не игрушка, он не должен о ней больше думать. Пусть проходит своею дорогой. Хорошо, что все кончено. Завтра утром — прощай, Нагасаки! И — в поезд. А надежды, возникшие так неожиданно здесь, на выжженной атомной бомбой земле, пусть останутся только надеждами.

— Тебе пива налить? — спросил Ушакова Антонов.

— Нет, не надо! Спасибо. Просто так посижу, отдохну...

17

Разные бывали осени в моей жизни. Были веселые и печальные, были ничем не приметные, монотонные... Они проходили однообразно, как серые облака над серой равниной, не оставляя ни единого солнечного лучика в моей памяти.

Но был и чудесный, веселый сентябрь, возле жаркого моря, овеянного ветрами, и лодка под парусом, и камни — на Тонком и Толстом мысу, нагретые, словно сковороды, на которых нас солнце поджаривало со всех сторон.

А потом довелось мне попасть на Кубань,—но не в самое лучшее время. Ветер выл над уже побуревшей, пустынной землей, дождь хлестал по крыльцу, обрывал обожженные холодом листья с ползущего по стене винограда.

Я спала на полу, на соломе, накрытой поблекшей, изношенной плащ-палаткой. Рядом с ложем, на крашеной синькой стене, было нечто вроде ковра — полоска обойной бумаги, прибитая сапожными гвоздями. И под каждым гвоздем — в несколько раз сложенные обрывки календаря. Ложась спать поздно вечером и утром, просыпаясь на скудном, холодном рассвете, я невольно читала одни и те же короткие строчки, уходящие прямо под шляпку гвоздя: «Куплю любовь, купл... А где найдете вы тог...»

Это было смешно, непонятно. В самом деле, зачем же любовь покупать, когда она мне отдана человеком так щедро, с размахом, без всякой корысти?

В день отъезда мой взгляд упал снова на гвоздь, прикрывающий тайну, на свернутый под ним вчетверо пожелтевший листок. Что они означают, эти слова?

Мой товарищ сказал:

— Нет, нельзя уезжать, не узнав, что написано дальше. Это будет нас мучить всю жизнь...

Гвоздь был вытасчен, а бумажка расправлена.

Мы на ней прочитали:

Куплю любовь, куплю любовь,— иные говорят...

А где найдете вы того, кто вам продаст любовь?

Продам разлуку! Продаю — иные говорят.

А где найдете вы того, кто бы ее купил?

Любовь, разлука — не товар, чтоб ими торговать,

И если полюбил — навек, расстался — навсегда...

Прошло много лет с той осени, а я все никак не забуду те строчки стихов: я все так же люблю, с той же щедростью, до конца бескорыстно. И мне кажется, нет и не может быть ничего, что могло бы нас разлучить, разделить, отнести, оторвать друг от друга. Мне теперь не страшны ни бураны, ни тучи, несущие дождь, ветер, срывающий листья с деревьев, ни скука, ни пошлость...

Доверие, верность, надежда на счастье, разве их покупает? Они словно воздух...

Если бы можно было и жизнь свою пересмотреть в обратном порядке, от сегодняшних дней до истоков, как пейзаж за окном от Симоносеки до Токио, Ушаков просидел бы без сна и весь день, и всю ночь. Но жизнь уходила, отслаиваясь ежедневно тяжелыми илистыми пластами, и всего пережитого теперь уже и с усилием не перевернуть, не увидеть песчаного дна с веселыми камушками...

Ушаков глядел в окно, на поля и деревни, и обдумывал их по-своему, на собственный лад.

Вот женщина на пороге в светлом пестреньком кимоно. Наверно, ждет мужа. Есть что-то устойчивое, надежное в таких женщинах на пороге, думал он, заслоняясь рукою от солнца. Наш безжалостный век почти истребил это племя — ожидающих женщин. Нынче некогда ждать, да и незачем: безопасность движения поездов и надежность полетов по строгому расписанию обесценили вздохи. Но, скажите, кому не приятно, когда тебя женщина ждет! На столе — ослепительной белизны крахмальная скатерть, два прибора, две рюмки, в вазе — красные гладиолусы, почти точно такие же, как в ресторане в Хиросиме, только с длинным, почти стреловидным серебряным стеблем, цветы безуханные, но зато какой аромат источают кастрюли под плотными крышками! Нет, в старинном священном обряде такой встречи все же есть «раццерно», как сказал бы Васюта Антонов. Только некому ждать... Вот в чем дело! И некому срезать цветы и зажечь под кастрюлей синий венчик горелки...

Как он плакал о Кате в горах, у костра, в одиночестве, иззябший, промокший до нитки! Вспоминал, как она улыбалась, как пела, сидя вечером на подоконнике, свесив ноги в собачьих унтах, как варила картошку. «А что, я старательной буду женой. Я всему научусь... Для тебя мне будет приятно делать любую работу...» А он отвечал: «Хорошо, мой солдатик, но только картошку, чур, всегда буду чистить я. Ты, наверно, по кухне никогда не дневалила?» — «А что, сразу заметно, что белая кость?» — «Да, заметно». — «Ничего, зато я стреляю в полку лучше всех...»

Поезд мчался равнинами, малахитово-золотыми от солнца, дробящегося на воде среди рисовых стебель-

ков. После светлых заливов и бухт, отражающих блеск лучей, темнота и угрюмость туннелей почему-то пугали своей бесконечностью.

Он ходил от окна к окну, по вагону, курил в тамбуре и снова возвращался в купе, молчаливый и замкнутый, слушал, как Васюта Антонов рассказывает анекдоты.

— Звонок в милицию в три часа ночи. Там снимают трубку: «Дежурный слушает». — «Вы знаете, Каин убил Авеля». — «Ничего не трогайте, сейчас приедем»...

— Не смешно, — сказал Ушаков, повернувшись к нему.

— Зато верно.

«Что верно, то верно. На земле много Каинов. Но много и Авелей. Всех не убьют», — размышлял Ушаков.

Поздно вечером, когда половина вагона уснула, Антонов заерзал на полке, сполз с постели, пошел вымыл руки.

— Пойдем, — сказал он Ушакову, — в ресторан. Чайку похлебаем от скуки. А то не уснешь.

— Не хочу. Очень жарко.

— Ну, смотри. А напрасно!

— Да нет, Вася, спасибо.

Вернулся Антонов в вагон через час, и так вкусно вздыхал и облизывал губы, и с таким удовольствием закурил, что лежавший на плоской подушке Ушаков заворочался.

— Чем кормили?

— Бифштексом... — протянул Антонов, блаженствуя, дымя сигаретой.

— А еще?

— Еще пиво-ом...

— Гм...

— Такой, понимаешь, кусина... И «Саппоро», прямо из холодильника!

— Черт возьми... Соблазнительно!

— Говорил же ведь, звал... А ты упирался...

— Ну, так что ж теперь делать?!

— Как что делать? Пойти!

— Одному? Это скучно, а ты уже сыт... Может быть, повторишь?

— Да нет уж, спасибо. Надо вовремя было думать.

Вот, может быть, с шефом? — предложил переводчик. — Как, шеф, пойдете поужинать?

— Нет, я ложусь спать, — ответил Георгий Иванович. Он тоже сегодня, по-видимому, затосковал по детям, по дому. — Съел рису из бенто¹, наверное, достаточно.

— Как хотите... — сказал Ушаков. — Потом пожалеете, вроде меня!

И он, соблазненный видением бифштекса, отправился по качающимся и как бы нарочно увертывающимся из-под ног гремящим вагонам в вагон-ресторан, распахивая и захлопывая на ходу тяжелые двери.

19

В ресторане от быстрого хода поезда все прыгало и качалось. Позвякивали приборы. Поблескивала в графинах вода. За окном проносились огни, вытягиваясь в сплошную серебряную полосу.

Ушаков сел за столик, только что прибранный, и с волнением оглянулся. Он любил уже этот рассеянный разноязычный, но как бы сливающийся в одно целое разговор. Здесь были французы, канадцы, англичане, индийцы, цейлонцы, японцы — из знакомых ему участников конференции, тоже едущих в Токио, — и какие-то молодые, совсем незнакомые пары, две-три группы дельцов, студенты, красивая пожилая японка, седая, в очках. Она женственно улыбалась своему суховатому, с неприятною миной соседу.

Ушаков заказал ужин и уже отпил пива, когда дверь отворилась, и в вагон-ресторан вошли двое — оба рослые, рыжеволосые, молодые, с чуть отвислыми, словно под тяжестью автоматов, плечами. Они были в защитного цвета рубашках с разноцветными планками орденов на широкой груди.

Вошедших увидели все, и все сделали вид, что не заметили их, оживленнее заговорили.

«Ну-ну! — сказал про себя Ушаков, провожая вошедших глазами. — Вот так встреча!»

Он низко склонился над тарелкой, когда эти двое,

¹ Бенто — лубяная коробочка, в которую кладут завтрак, уходя на работу: рис, морскую капусту и т. д. (япон.).

увидев свободный и прибранный столик и сидящего в одиночестве Ушакова, подошли, и один, самый рослый и рыжий, жестом попросил разрешения сесть.

Ушаков неохотно кивнул.

Парни сели, натянутые, осторожные, и быстро переглянулись. Вероятней всего, их смутил желто-черный канадский значок против атомной бомбы на лацкане пиджака Ушакова — дар Эрика «русскому ветерану». Они долго рассматривали его, пытаясь прочесть идущую вкруговую неясную надпись.

— Do you speak English?¹ — спросил один из них, обращаясь к Ушакову и приятельски улыбаясь.

Ушаков отрицательно покачал головой.

Тот смущенно, неловко пожал плечами.

Они быстро заговорили между собой о том, что им выбрать на ужин, окликнули официантку. Та тотчас же принесла два бифштекса и две бутылки прозрачного, светлого «Саппоро».

— Хорошее у них пиво, — сказал один, сидящий напротив, пригубливая бокал и медленно втягивая в себя золотистую ароматную жидкость.

— Да, этого у них не отнять, — ответил другой, сосед Ушакова.

Николай Николаевич отвернулся и глянул в окно. Хорошая, черт возьми, фраза! Наверное, лучшей и не придумаешь, хоть думай всю жизнь. Вся их логика здесь, и личная и государственная, и все понимание мира и весь смысл отношений с другими людьми. Уж чего-чего, а отнимать у других все лучшее они ловко умеют!..

Нет, парень, видать, и сам не понял того, что сказал!

Он глядел на их длинные, с вытянутыми подбородками, мясистые лица, на руки в веснушках, удивляясь тому, что в них так до обидного все понятно и просто. Большерукие и большеногие, аккуратные, чистые, потягивающие не спеша свое светлое пиво, они вовсе не походили на мучителей и убийц. Нет, действительно, ничего в них злодейского не было, просто добрые, благовоспитанные, с детства закормленные витаминами,

¹ Говорите ли вы по-английски? (англ.)

здоровенные парни. А ведь кто-то из них жег деревни напалмом, убивал, убивал... А иначе за что же тогда ордена?

Он сидел рядом с ними плечом к плечу, ел такой же бифштекс, пил такое же пиво, которое принесла ему та же самая официантка, но не мог не смотреть и не думать об их орденах. Да, в общем итоге все в жизни определялось вот этим одним: в кого и зачем этот рыжий стрелял, за что ордена.

Ушаков отпил пива.

Он сейчас вдруг подумал, что девушка-официантка вполне могла быть участницей того митинга в Хиросиме против атомной бомбы и войны во Вьетнаме, а сейчас она вежливо улыбается, подавая двум этим убийцам холодное, свежее «Саппоро», и приветливо кланяется, разменивая их доллары при расплате: «Сэнк ю... Сэнк ю...» По-английски, не по-японски, чтобы поняли сразу всю ее бесконечную благодарность.

Сложен мир.

И запутан.

Самими людьми. Наверное, из желания поскорей разобраться...

Поезд мчался, едва останавливаясь на минуту у длинных, уставленных магазинчиками перронов, мелькали фигуры входящих и выходящих, потом опять слышались грохот и лязг колес и сцеплений, басовитые, долгие, рождающие чувство тревоги гудки перед вылетом из туннелей.

Ушаков закурил сигарету.

Он глянул в окно, чтоб не видеть сидящих с ним рядом, но в черной, почти лакированной, скользкой поверхности стекла опять увидел и себя, и парней в военных рубашках с разноцветными планками от орденов.

Расплатившись за ужин, американцы не спешили уйти. Они тоже торжественно, не спеша закурили, с улыбкой поглядывая на Ушакова: может быть, уже поняли, почему он молчит. Что такое молчание означает отнюдь не согласие с ними, а полнейшее неприятие их самих и всего, что относится к ним.

Но, однако же, несмотря ни на что, им хотелось общения с человеком.

Добродушие и самодовольство распирали им грудь. Они жаждали счастья после сытной еды: улыбки, внимания со стороны Ушакова, и соседа по столу.

Что ж, он, Ушаков, возможно, и заговорил бы с ними, но бомба затмившая небо в Хиросиме и в Нагасаки в сорок пятом году, к сожалению, была предназначена не только для устрашения одних лишь японцев, она обещала ту же самую гибель, те же самые муки и многим другим, в том числе русским людям. Она разделяла...

Он вспомнил Германию в сорок пятом году, ледяную апрельскую мутную Эльбу и веселые, дружелюбные лица союзников.

От Эльбы — к Меконгу, какой длинный путь!

Докурив сигареты, сидящие за столом сотрапезники Ушакова встали разом, как будто бы по команде, и, бросив последний свой сожалеющий дружеский взгляд, пошли по проходу, высокие, добродушные, сытые, готовые тотчас же улыбнуться в ответ любой встречной улыбке и несколько удивленные, что ее не находят.

И тут Николай Николаевич почему-то смальчишничал.

Он кивнул молоденькой официантке и сказал по-английски достаточно громко:

— Принесите, пожалуйста, счет и кофе...

И встретил усмешкой их взгляд, растерянный, изумленный.

Выпив кофе, уже в одиночестве, в опустевшем вагоне, он глядел за окно, чуть покачиваясь в такт движению поезда. Там, за черным зеркальным стеклом, пробегала ночная, не спящая, фантастическая Япония, золотая, зеленая небольшая страна.

Разве он распознал за поездку, какая она? Нет, конечно. Скорее всего, как Юкико Ито: с келоидами на плече под шелковым кимоно.

Да, Юкико-сан непременно с солдатами бы заговорила и попробовала их убедить, а он почему-то не сделал такой попытки.

«Интересно, почему эти двое мне сейчас улыбались? — размышлял Ушаков. — А если бы они знали, что я коммунист?»

Сейчас за окном снег, мороз, а мне вспоминается мой родной город. Небольшие двухэтажные и трехэтажные домики, дворы в зарослях белой сирени, собаки, лошади, большой рыжий петух, распевающий по утрам в соседнем дворе, и я с ведрами иду на Кольцовскую к водоразборной колонке. Ведра очень большие, тяжелые, а руки мои еще тонкие, слабые, но я наливаю до самых краев и быстро иду назад, к дому, и только у ворот останавливаюсь, даю отдых рукам. Вода ледяная, она густо выплескивается мне на ноги, растекается по земле, в теплой серой пыли тугими мохнатыми серыми шариками.

Нет, не часто я езжу на родину.

Но когда приезжаю, я подолгу стою над родной рекой. Тот же памятник Петру I в гуще темных деревьев, те же стаи грачей с криком носятся над домами, над прибрежной полосой запыленного и задымленного речного песка.

Там, где некогда было широкое поле, сейчас красновато поблескивают в свете позднего солнца широкие окна домов. Бурой, желтой, коричнево-серой спиралью поднимается дым от заводов и плывет над домами, над всем этим новым, промышленным Левобережьем, уже явно соперничающим со старым городом, изначальным, седым, привольно раскинувшимся по крутому правому берегу со своими садами, церквями и остатками древних зданий, и всем тем, что когда-то казалось мне самым важным и самым единственным, самым нужным на свете.

Нет, ведь это неправда, что мы живем в наших делах. Дела наши — книги, картины, распаханное поле и дымящие в небо заводы — отторгаются от нас с болью, с муками, навсегда, как только мы их завершаем, и живут своей собственной жизнью, как взрослые дети.

Разве можно связать в одно целое жизнерадостную, с летящей душой Наташу Ростову и хмурого старика, босого, седобородого, с колючим, пронзительным взглядом?

То, что сделано, пусть живет.

Нужно новое делать.

Нужны новые листья на ветках деревьев, и новые

гнезда, и новые песни, да и взгляд, обращенный теперь на себя, тоже чем-то другой.

Я теперь уже знаю, что только лишь теплым дыханием можно истончить эту твердую, разделяющую нас стену — между мной и тобой, между нами и всеми людьми на земле, между странами и континентами, между нашей Землей и Луной, может, даже Вселенной...

Я хотела бы научиться теперь понимать даже птиц и зверей, даже травы, растущие при дороге, даже белую веточку месяца под окном: что мне скажут они о тебе, моя Родина?

Может быть, это так: война всякий раз возникает из жажды наживы финансовых заправил, всех этих королей стали, пушек и мыла, в то же время, возможно, это просто известный предел экономики, когда хочешь не хочешь, а тобою выстреливают твои собственные капиталы.

Но тогда я еще и еще раз склоняюсь перед тобой, моя дорогая Отчизна, потому, что твоя экономика никогда не стреляет. Она строит и кормит, обувает и одевает — и растит хлеб и розы для каждого. Пока есть Советский Союз, пока есть моя армия, есть надежда на мир. Потому что рискнувший начать это первым непременно погибнет, потому что он будет наказан всей мощью, всем гневом, всей верой великой страны...

21

Океан с верхней палубы сер и морщинист, как шкура слона.

Ушаков, сидя в мокром шезлонге с увядшим цветком георгина в руке, улыбался. Цветок ему бросила Юкико-сан в Йокогаме, когда теплоход отвалил уже от причала и тонкие, синие, красные, желтые и зеленые ленточки серпантина, переброшенные с берега на борт, означая последнюю связь провожающих с отплывающими, уже начали обрываться и падать в холодную, бурую, с нефтяными разводами воду. Он поймал цветок на лету и прижал на глазах у Юкико к губам. Что-то дрогнуло в его сердце, когда он увидел ее, молодую, красивую, очень грустную.

Потом Ушаков держал этот цветок то в кармане, а то в рукаве, так неловко было ему, пожилому мужчи-

не, красоваться на людях со столь очевидным свидетельством собственной сентиментальности. Но когда теплоход наконец отвалил и пошел все дальше и дальше от берега, ему стало обидно от встречи, принесшей разлуку, и он осмелел и пошел одиноко слоняться по палубам, в тесных толпах людей, все еще наблюдающих, как тает в тумане далекая линия порта с причалами и кораблями. Теперь Ушаков держал свой цветок на виду, на ветру.

Спустя полчаса георгин завял, скомкался, съезжился.

Дул слабый ветер. Он чуть растрепывал и клонил в одну сторону дымы из труб встречных судов, направляющихся в Йокогаму. Тут и там проплывали осадистые прогулочные и рейсовые катера с людьми, толпящимися под прямоугольником тента, рыбацкие лодочки-кавасаки — под яркими красными, черными или белыми парусами.

Сидя в низком, удобном шезлонге, Николай Николаевич с удивлением ощутил океан как живое, чудовищно-многообразное и огромное существо и в холодном мерцании желтовато-бутылочных его волн то и дело улавливал на себе его пристальный, наблюдающий взгляд, постоянное, почти человеческое внимание.

Нет, он не был пустынен, Великий, или Тихий, хотя бы уже потому, что в пасмурный, чуть дождливый, насыщенный влагою день был наполнен каким-то особенным, радостным светом, излучаемым волнами и облаками. Человек, находящийся между двух плоскостей — океаном и низко натянутым небом, — всеми порами кожи, каждой клеточкой тела мог познать его сдержанную, волевою упругость.

Ушаков с верхней палубы не видел волну: были просто какие-то выпуклости, выпирающие из воды то в одном, то в другом месте, эти выпуклости беспрерывно меняли свои очертания, набегали, спеша, друг на друга короткими складками, недовольные, морщились и снова растягивались и разглаживались, перемещаясь до самого горизонта: куда и зачем? Кто это узнает?..

У него от качания этих выпуклостей, от скольжения этих морщинок, от ветра, от винного запаха пенящихся брызг и от мощного света, излучаемого водой, захватило дыхание.

Вдруг возникло тревожное и веселое чувство, слов-

но кто-то совсем незнакомый вот сейчас подойдет — и опять Ушаков будет счастлив, как в юности.

Две женщины прошли мимо и сели неподалеку. Одна была очень красива и держалась торжественно в своем модном сиренево-розоватом костюме. Другая, постарше, в зеленой гипюровой кофточке, под которой виднелось голубое белье, возбужденно и радостно говорила:

— А я делаю так: поджарю картошечку с салом, с луком. Потом подаю чеснок маринованный, салат из брусники. Ну, конечно, огурчики, капуста с мочеными яблоками. И вот эта телятина под грибами, зажаренная в сметане, — это что-то особенное...

— Еще хорошо бы селедочки с луком...

— И черного хлеба!

Ушаков побоялся обидно для них рассмеяться; он вскочил, зашагал возле борта взад-вперед, раз, другой, снова сел. Видно, женщины возвращались из Японии из длительной командировки, пострадавшие, как в пушкинском анекдоте: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!»

Ему вдруг опять припомнился вечер в Токио перед отъездом. Он бродил по ночному, кипящему толпами городу. Было тихо, туманно от автомобильного чада. Отработанный газ — теперь его во всем мире зовут одинаково: «смог» — повисал над домами рыжевато-коричневой пеленой, за которою не было видно ни звезд, ни луны, а свет фонарей расплывался оранжевым, радужным ореолом.

В этой плотной, вонючей, густой пелене, вдалеке, как какие-то многоцветные вибрионы, как хвостатые вирусы, выживали лишь самые яркие пятна реклам. Вблизи же, малиновые и зеленые, ярко-желтые и голубые, они прыгали и вертелись на уровне крыш, то сбегали к земле, то опять поднимались над городом, зажигаясь и погасая, — все цвета радуги, все виды форм, все виды бега, прыжков, низвержений и водоворотов, город-спрут, город-мрак, город-свет, город — радость и горе.

Он лежал на огромной равнине, пугающий и манящий, ядовитый и полный намеков, как может быть ядовитой только химия или «атомная» поэзия, с которою Ушаков познакомился в ночных клубх японской столицы.

Он вышел на Гинзе у мюзик-холла и направился вдоль сверкающих магазинов с зеркальными стеклами и витринами, огромными, словно сцены театров. Здесь в течение дня ежедневно, с утра и до вечера, из года в год, представлялся один и тот же великий сюжет, та же старая пьеса: подороже продать, подешевле купить, трагедия с участием миллионов актеров, бессмертная тема. Город плыл мимо этих зеркальных витрин, заключенный в них, словно в аквариумы, и таинственный, призрачный ртутный свет фонарей придавал людским лицам выражение чем-то испуганных, но уже и привыкших и вполне равнодушных пестрых комнатных рыб.

Ушаков шел долго, замедляя шаги, он был голоден и устал и свернул наугад в тихий, сумрачный переулок, а потом еще раз, под какие-то низкие своды, пока не плеснуло в лицо затхлой, влажной прохладой подвалов и вонью кунжутного масла и дыма от китайских жаровен.

Он шагнул снова за угол — и вдруг очутился перед маленьким ресторанчиком, а вернее, харчевней, ничем не приметной, видно, только для завсегдатаев, не нуждающихся в приманке: на окне в узкой нише стояла лишь ваза да на двери висела бамбуковая занавеска.

Ушаков отвел в сторону бамбуковую занавеску и вошел в помещение. Здесь, к его удивлению, было тихо, прохладно... и пусто. За прибранной стойкой, под лампочкой конусом, стоял бармен в переднике, пожилой, темнолицый, сложив на груди тяжелые, крепкие руки.

Увидав Ушакова, он почтительно поклонился:

— Добрый вечер, сэр... Что угодно покушать?

— Все равно. На ваш выбор. Но только японское.

— Сейчас сделаем!

Из-за ситцевой занавески, отделяющей зал от подсобного помещения, тотчас выскользнула, как тень, молодая служанка и поставила на столе в плетеной тарелочке неизменное о-сибори. Ушаков вытер потную шею, лицо, руки. После жаркого, душного вечера, шума, грохота и ядовитых паров от бесчисленных автомобилей на Гинзе было очень приятно ощутить тишину, потом собственную чистоту, точно так же, как легкими вдохнуть свежий, остуженный воздух. В здешних маленьких ресторанчиках, зачастую совсем без дверей,

лишь с бамбуковой занавеской, установка для кондиционирования была, пожалуй что, единственной роскошью, но такой удивительной и такой благодатной. Впрочем, роскошь ли это — дышать, он сперва не подумал.

Бармен тут же, за стойкой, стал готовить на узком прилавке какие-то блюда. Он держал длинный нож в руке и, вращая им, словно фокусник, в мгновение ока из простой черной редьки выточил белую розу, всю в изогнутых лепестках, ослепительную и тугую. Затем точно таким же движением, может быть, чуть быстрее, повернул в руке свежий репчатый лук и сложил его горкой на темной узорчатой керамической миске, легчайший и взвешенный, точно пух или белые, фантастически-тонкие, длинные волосы.

Затем были поданы разноцветные пряные травы, какие-то корешки, бобы в красном соусе, нарезанная, как лапша, морская капуста, рис, печеные баклажаны — бармен пек их за стойкой на маленькой переносной жаровне. Все это он разложил по разным тарелочкам и цветным керамическим чашечкам, похожим на узбекские пиалы, а в графинчике, крохотном, как мизинчик, с белой рюмочкой-лепестком подал чуть желтоватое, подогретое в меру сакэ.

Рядом с рюмочкой и тарелкой положил вместо вилок деревянные палочки — хаси.

— Прошу!

— Спасибо...

Это было как таинство, как древний, изысканный ритуал, совершающийся на глазах чужеземца, волхование в испарениях ароматических трав, печеных плодов и разваренных белых рисинок, похожих на маленькие веретенца. Ушаков с наслаждением вдохнул в себя все эти запахи сложнейшего переплетения. Отпив из рюмочки-лепестка и попробовав чуть горчащие, солоноватые корешки, улыбнулся.

Бармен, искоса наблюдавший за ним, весь расплылся в ответной улыбке. Его грубое, в темных складках лицо как-то странно от этой улыбки преобразилось, оно стало красивым.

— Очень вкусно, — сказал Ушаков. — Замечательно!

— Пожалуйста, кушайте на здоровье.

Он пристукнул ножом по прилавку, как бы вслушиваясь в звук истончившейся от работы, но остро отто-

ченной стали, и извлек из широкого кувшина пучеглазую рыбину. Нож блеснул, затем раз, другой — и рыбина была выпотрошена, и очищена, и разрезана на тончайшие, как бумага, пластинки, и уложена на овальное блюдо, плавничок к плавничку, так изящно и аккуратно, что на стол к Ушакову она была подана как бы цельная, и для схожести с той, с живой, только-только очищенной, она время от времени шевелила хвостом. Теперь ее нужно было брать сырую, пластинками и обмакивать эти пластинки то в красный, то в зеленый, то в какой-то еще острый соус и, не мешкая, есть, запивая горячим сакэ.

— Налейте, пожалуйста, и себе, — попросил Ушаков, указав на кувшинчик.

— Домо аригато.

Бармен налил сперва Ушакову, затем — с чувством собственного достоинства — немного себе, поднял рюмку:

— За ваше здоровье!

— За ваше здоровье!

— У вас виски в Америке пьют, а мы пьем сакэ, — сказал бармен с усмешкой спокойного, доброго человека, понимающего все то, что их может разъединить.

— А я не из Америки, я из России, — сказал Ушаков, отложив свои палочки и беря сигарету.

Бармен молча стоял и глядел. Потом выпрямился, чуть откинулся за прилавком.

— Вы сказали, что вы из Москвы? Я вас правильно понял?

— Да, я русский. Приехал сюда из Москвы.

Тот взглянул на сидящего за столом Ушакова и улыбка, суровая, далеко не простая, вновь на мгновение осветила его грубые, словно из камня, черты.

Было что-то уверенное и спокойное в этом сдержанном человеке, столь быстро работавшем и мастерски делавшем свое дело и столь медленно говорившем. Он глядел теперь на сидящего Ушакова с тем же самым достоинством и добротой: он не мог измениться. Он, по-видимому, к каждому посетителю относился с таким же уважением и заботой и не мог теперь сделать чего-либо другого, приготовить какое-то новое блюдо, куда более вкусное, необычное, потому что все подал и

сделал как надо. Но он мог улыбнуться — и он улыбнулся.

Он налил, но теперь от себя, в обе рюмки:

— Я прошу вас... За... Россию! За вашу Москву!

Ушаков поклонился.

Они чокнулись, выпили.

Было поздно, но Токио за бамбуковой занавеской все еще скрежетал, надрывался и бешено грохотал. Мир вокруг был отнюдь не пустыней. И в этом грохочущем, чужеродном, запутанном мире Ушаков был под взглядом стоящего рядом с ним человека, как на острове, в круге света от лампы, в теплоте его глаз.

Они оба молчали. Ушаков, подперев кулаком щеку, курил после вкусной еды, а бармен стоял перед ним в той же, полной достоинства, позе. Оба сдержанно, с застенчивой симпатией улыбались.

«Жизнь мудрее нас всех, вместе взятых, — размышлял Ушаков, наблюдая, как прыгают, догорая, синеватые язычки пламени на жаровне, на углях. — Куда было бы проще разделить весь мир только лишь на друзей, только лишь на врагов...»

Ушаков попросил бармена снова налить ему и себе.

— Я хотел бы выпить за вас. За ваши умелые, добрые руки!

— Домо аригато! Домо аригато! — сказал бармен застенчиво, тихо, чуть-чуть наклоняя свою круглую, стриженную ежиком голову. — За ваше здоровье!

С улицы, отодвинув бамбуковую занавеску, в зал вошла пожилая опрятная женщина с плоским желтым лицом, в темном строгом костюме. Она села у стойки на вертящемся табурете, что-то тихо спросила у бармена по-японски. Тот кивнул, подал ей чашку чая, печенье.

— Это наша хозяйка, владелица ресторана, — объяснил бармен опять по-английски взглянувшему восторженно Ушакову. — Это гость из Москвы, — объяснил он хозяйке.

Она приветливо закивала седеющей, аккуратно причесанной головой.

— Рада, рада... Надеюсь, вам приятно у нас? — спросила она.

— Да. Весьма.

Ушаков похвалил мастерство ее бармена.

— Да, я им дорожу, — ответила женщина просто. Она улыбнулась человеку, стоящему за прилавком, у

стойки, понимающе, доброжелательно.— Вы сами, наверно, заметили,— сказала хозяйка,— какой маленький у меня ресторанчик, а мои посетители всегда довольны...

Теперь они уже втроем сидели в желтоватом, рассеянном круге света от лампы и вели разговор, словно знали друг друга давно, много лет: у кого из них сколько детей, и как они учатся, и как трудно становится жить по сравнению с прошлым годом, и не дай бог война, что же это такое, ведь только и жди, что где-нибудь швырнут бомбу пострашнее хиросимской, и не жалко себя, а жалко детей...

Ушаков видел женщину, уже очень немолодую, но достаточно сильную, крепкую, и видел мужчину, некрасивого, молчаливого, но с чудесной улыбкой, оживляющей иногда все лицо, и ему было грустно, что он должен сейчас будет встать и уйти, насовсем, навсегда, как уходят из жизни.

Что загадывать наперед — он, наверно, сюда уже никогда не вернется. А если вернется и пройдет переулками от кипящей огнями и бешено льющейся Гинзы, то кто будет жив? И кто будет не разорен? И найдет ли он в темноте этот маленький ресторанчик с керамической вазой в окошке? Жизнь идет в таком темпе, что нет и не может остаться надежды на новую встречу, на старые чувства... Все меняется к лучшему, говорят, ведь на то и прогресс!

Ушаков взглянул на часы и поднялся.

— К сожалению, мне пора.

— Да? Так быстро? А может, еще кувшинчик сакэ?

— Нет, спасибо. Завтра я уезжаю... Мне рано вставать. Спасибо за вечер...

Они вышли его проводить: он им кланялся по-японски, а они пожимали ему руку по-русски, потом крепко обнялись поочередно:

— До сви-дани-я, това-рис...— сказала хозяйка. И вдруг так стеснительно улыбнулась.— Я учу вас ясык... Пока говорю осень прохо...

— Что вы, что вы, по-моему, хорошо!

Он был удивлен и растроган всем этим.

И опять они ему что-то желали хорошее, и махали руками, и кланялись в пояс. А он уходил, оборачиваясь, и с волнением разглядывал в темноте две далекие

фигурки у дверей ресторана: «До свидания, то-варис...»

...Ушаков поднялся с шезлонга и встал возле борта, любуясь простором и влажным, рассеянным блеском притихшего после дождя океана: трудно было представить, что они его помнят, эти двое людей, а он-то их помнил: мужчину — как друга и женщину — как сестру...

Мимо него прошли те две дамы, в розовом и зеленом, обсуждавшие телятину под грибами: теперь они увлеченно беседовали о курортах, о пляжах и пляжных костюмах.

— Я люблю загорать,— говорила одна, мечтательно улыбаясь.— Люблю смуглое тело, люблю южное солнце...

— Да, прекрасно,— сказала другая, в гипюровой кофточке.— Но только не обнажайте молочные железы...

22

Лодки с черными парусами в Токийском заливе. Черные хребты островов, словно спины гигантских чудовищ, то шерстистые от могучих лесов, то скалистые, вырезные, как петушиные гребни. Последний маяк на последней, едва различимой в тумане скале.

Вот и кончились эти дни, этот яркий, насыщенный всеми красками, запахами и движением сон. Еще можно, если плотно прикрыть ладонью глаза, удержать в смутной памяти эти смуглые тонкие лица, сохранить теплоту протянутых дружеских рук. Но тысячи километров, разъединяя, пролягут между сердцами такими таежными дебрями, такой океанской неизведанной глубиной, такими ущельями и хребтами, что нет и не может быть настоящей уверенности в том, что сохранишь в себе навсегда эту сложную, бурную музыку настроений и чувств, эту радость сознания, что ты в мире не одинок, что ночная печаль одинаково душит каждого, проходящего ночью по городу; а за встречными взглядами, за мгновенной улыбкой незнакомого тебе человека одинаково многозначное чувство привета.

Тучи, тучи с востока, тяжелые, низкие тучи. Ветер гонит крутую, зеленую, в мыльной пене волну. И уже не увидеть причала в задымленной Йокогаме, с размокшими под дождем обрывками серпантина, с наряд-

ной толпой, не разглядеть стоящей у края на пристани маленькой женщины. Человека, который уже испытал, пережил термоядерную войну.

Где-то там, за тяжелыми низкими тучами, город, вставший из пепла, с белым каменным богом на высокой горе и бетонной дугой сенокатафа, внизу, на скрещении дорожек, усыпанных галькой, положенной строго по счету.

Я не камушек под скрипящими, равнодушными каблуками, я живой человек. Со своими невзгодами и надеждами, со своей странной верой, что всегда существует прямой, честный путь. Он нередко проходит во мраке, над бездной, но поэтому надо найти в себе мужество — и идти и идти, не сбиваясь с дороги.

Хиросима, любовь моя... Ты прошлое или будущее человечества?

1968



ДОННИК

Нет, наверное, еще не пришла пора ворошить пережитое. Да к тому же есть много и других важных тем, неотложных и трудных. Но уже начинают уходить из жизни мои близкие, дорогие мне люди, и каждый такой уход, как черта, как итог, заставляет задуматься: а может быть, еще можно что-то сделать по-новому, осветить тобой пройденный путь каким-то другим, живым, ясным огнем, чтобы «вдруг стало видимо далеко во все концы света»? И тогда поднимется смятый цветок, растоптанный невзначай тобой на дороге, тогда вдруг захочется приласкать побитую тобой в детстве собаку и сказать человеку, суровому, молчаливому, что ты наконец-то его поняла, все простила ему и, больше того, удивилась его чистоте, красоте, его внутренней нравственной силе.

Иногда, как во сне, видишь только степную дорогу и сгорбленного человека, уходящего одиноко по ней. Хочешь крикнуть, догнать, но нет силы, нет голоса, а когда закричишь, — человек уже мертв. Как расскажешь ему, что ты его любишь?

И тогда ты уходишь в огромный, просторный, любимый им мир и смотришь на все удивленно, как будто живыми — его — глазами, и снова, как он, улыбаешься —

ся жизни, городской, деревенской, лесной и степной, всякой травке и всякому птичьему перышку, ибо это — наследство. Это все он вручил тебе в твой день рождения: оцени, полюби, не развей по холодному ветру, не пусти на распыл. Собери все, как он собирал, стебелек к стебельку, пусть привяли они, пожелтели на степном жарком солнце, эти травы и эти цветы, вдохни их сухой аромат: он прибавит тебе здоровья и силы.

* * *

Почему-то из детства мне всегда вспоминается только хорошее.

Хуторок наш, в три дома, стоял, окруженный оврагами, на бугре, на сухом, возвышенном месте, среди длинных, как ленты, протянувшихся по степи разросшихся лесопосадок.

Овраги — у нас называют их «балки» — местами глубокие, с высокими берегами, с бездонными омутами в куге и кувшинках, местами пологие, пересохшие, извилисто тянутся через степь с бесчисленными разветвлениями и мелкими впадинами едва обозначившихся и уже угрожающе расползающихся все новых и новых логов и промоин.

Наш хутор — кордон. Здесь когда-то жил лесник, охраняющий лесополосы. Сейчас здесь научная станция, и мы приехали сюда всей семьей из Гремячего, с Дона. Мой отец — агроном, его дело — бороться с оврагами, с суховеями, изучать жизнь не тронутой человеком, нераспаханной степи и глубинные ее связи с лесом, с ветром, с водой по оврагам, с длинной цепью прудов, сеять хлеб под защитой лесополос.

Мы живем здесь, как в некой особой стране. Вокруг нас на многие километры сплошь безлесные деревеньки да степи, иссыхающие на горячем ветру уже к концу мая, все здесь серого, желтого цвета, а мы — в зелени и в цветах, в гущине трав по пояс, в птичьем гаме, в черемухе и соловьях.

Отца помню высоким, плечистым, красивым — и всегда чем-нибудь недовольным. А мать — доброй, веселой, с какой-нибудь песенкой на устах, но с заплаканными глазами. Сидит вышивает отцу рубашку из сурового полотна цветным шелком — колосья ржи и

васильки по рукавам и воротнику — и поет любимую песню о черной смородине:

Черная смородина,
Беленький цветок,
Я душой осыпался,
Сердцем изнемог...

Что за песня такая, откуда она? Я больше потом никогда ее ни от кого не слыхала.

Зимой, в сумерках, санки, с закутанным в тулупе отцом, исчезали за поворотом дороги, взметнув дымное облачко поземки, и мы с матерью оставались одни. Мать клала набок некрашенный, грубой столярной работы табурет, стелила на него подушку и ковер и усаживала меня перед печкой, смотреть, как будет сейчас затоплять. Она приносила из кухни сухие смолистые щепочки, хворост, обрывки газет, пучки мерзлой соломы, поджигала их снизу, а сверху, когда разгорался огонь, решеткой выкладывала дрова — березовые поленья, насушенные заранее на прирубке. В трубе был огонь, ветер бился о стекла заснеженных окон — у нас этот ветер со снегом назывался «пылюгой», — и мы долго сидели, молчали, смотря на огонь затуманенными глазами. Иногда мать вставала и вглядывалась во тьму сквозь морозные стекла: ей казалось, что где-то поблизости бродят волки. Печь уже прогорала, угли делались сперва красными, потом серо-синими, потом истлевали в искрящийся пепел, и я засыпала, привалясь к боку матери, и больше не видела ничего, кроме снов, сладких снов о конфетах, о книжках с картинками, о красивых игрушках.

К сожалению, эти сны никогда не сбывались.

Сбывалось другое.

Весной, когда начинал таять снег, я одна уходила по глубоким оврагам. Солнце трогало алым пламенем наст, на мостике через вешний поток намерзали сосульки. Я обламывала их и строила из льда и из снега белый город с высокими башнями и колокольнями. Сосульки и были верхушками этих башен. В снежном городе жили белые, снежные люди. У них были красивые белые лошади, и собаки, и вся мебель, и утварь — все было белое, из снега. Город жил, красовался, потом оседал и медленно таял под лучами весеннего яркого солнца, и на склонах оврага, где когда-то стояли высо-

кие: ледяные небоскребы и башни, расцветали цветы, зеленела трава.

Та весна далеко,
Те завяли цветы...

Но ведь что-то осталось во мне, неужели же ничегошеньки не осталось от тех синих углей, от волчьего завывания за окном, от горячей густой темноты на печи, где я засыпала, набегавшись за день, на подушке, пропахшей перегретым пером и сушеной калиной, засыпала тем каменным сном, в котором нет прошлого, нет сожалений, но в котором растут.

Я думаю, что-то осталось.

* * *

В те годы, как я теперь понимаю, отец меня многому научил, если, в сущности, не всему. Только делал он это неназойливо, осторожно, почему-то всегда оставаясь в тени, будто занятый чем-то другим.

Мне, наверное, не было и шести лет, когда он посадил меня верхом на коня и заставил проехаться по двору. Конь был умный, послушный, влюбленный в людей, славный Мальчик.

Я проехала, еле держась за поводья и сползая на холку коню, но не вскрикнув, не завизжав: выразить чувство страха в нашем доме не принято. Да и страх этот был, пожалуй что, ограниченным: я боялась не лошади, а еще не знакомой мне, неустойчивой движущейся высоты, потому что устойчивой высоты я уже не боялась: мы ведь с сестрами лазили по деревьям и сидели на ветках, поднимались по водобойному зубу плотины и бетонным откосам пересохшего водослива, залезали на тоненькие перила моста и шли по ним, узеньким, в четверть доски, над глубокой бетонной ямой. Конечно, мы делали это только тогда, когда нас не видели взрослые.

Сейчас ощущение этой высоты на костлявой хребтине животного было странным — тревожным, но радостным, — я ударила Мальчика пятками по бокам, и он поскакал. Не сумев удержаться, я скатилась в траву через голову Мальчика. В ту же самую секунду он остановился и, лоснящийся, эластичный, с удивлением и упреком повернулся ко мне и тихонько заржал.

— Ну, ну! Ничего, ничего... — сказал мне отец.

И спокойно пошел по делам, по хозяйству, хорошо понимая, что самое важное уже сделано, навсегда. Что теперь я всю жизнь буду помнить счастливую эту минуту, что я стану бродить за Мальчиком неотступно, помогать нашему конюху чистить его, кормить и поить и водить на купание на пруд и в ночное. Он, отец, и еще и еще ненавязчиво поощрит эту страсть: то даст поддержать под уздцы, когда сам будет садиться в седло, то я буду править вожжами, когда мы с отцом поедем на станцию в нашем стареньком тарантасе, то он разрешит всем нам троим, мне и старшим двум сестрам, поехать без взрослых, одним, на первый участок, в библиотеку или в поле за сеном, и это всегда для меня будет праздник.

Зимним утром конюшня еще в темноте. Двойные широкие двери — на светлом ее силуэте — зияют глубоко провалом, оттуда уже вылетает парок, запах теплых животных, навоза, гниющей соломы. Там, внутри, убитый ногами земляной пол, на стене, на крюке, фонарь «летучая мышь», он чуть теплится в этом мраке, в клубящемся зимнем воздухе. За невидимой стенкой дощатого стойла — наш конюх Роман Васильевич; невысокого роста, с круглой стриженной головой, с низким лбом, перерезанным глубокими бороздами морщин, он посвистывает, выгребая лопатой навоз, подстилая солому.

— А, здорово, здорово! — откликается он на мое приветствие. — Как дела?

— Ничего... А твои?

— И мои ничего.

— Ну вот и прекрасно!

Утро полностью наше. Нам никто не мешает. Я стою у бревенчатой, крашенной известью стены и с волнением наблюдаю каждый день одно и то же прекрасное зрелище — прекрасное, по крайней мере, для меня, — как Роман Васильевич берет в руки щетку и начинает чистить лошадей: сперва Мальчика, затем Чалого, затем Пегушу, затем Орлика, затем Серого, затем Галку и хорошенького ее жеребенка, стригунка, вызывающего у меня да и у всех живущих на хуторе какое-то совершенно особое чувство нежности, ласки.

— Но, но... Не кусайся! Ишь чего захотел! — ворчливо отталкивает Роман от себя жеребенка, играющего и хватающего его за чуб и за шапку зубами.

Этот двор мне знаком до последней соломинки, до последнего бревнышка. Говорят, что когда-то здесь жил Докучаев. Низкий, маленький домик, крытый соломой, в одну комнату, с русской печью, с холодными сенями и чуланом, поставленный на окраине леса, давно обветшал. Но его не ломают. Рядом с домом колодец с журавлем и вот эта конюшня, куда я хожу по утрам к лошадям. Летом здесь очень тихо, безветренно и уютно. Вокруг лес — стоит, не шелохнется; в тихих, слепеньких окнах отраженно, как в омуте, зреют синие сушки.

Сейчас лес и сырая солома на крыше, на срезе, каждый листик и каждая веточка на морозном стекле — все бело, все искрится от снега, розовеет в свете первых лучей декабрьского солнца. Мои ноги замерзли, я уже застоялась, как конь, и Роман поспешает: он выводит на улицу Мальчика и гонит его к стеклянной от намерзшего льда водопойной колоде; тот бежит, индеев, в белом ворсе вокруг тонких ноздрей и на челке; повод брошен, мотается у него под ногами, тонкой змейкой прочерчивает по свежему порошистому снегу извилистый след. Вода ледяная, но парит в настывшем за ночь мерзлом воздухе.

Мальчик весело, бойко, с разбегу утыкается мордой в колоду, жадно пьет, морща нос и лиловые, словно сделанные из резины, мясистые губы, звонко хлюпает, даже всхрапывает потихоньку. И вдруг зорко косится огромным, в прямых нежных ресницах застенчивым глазом на Романа, на мою неуклюжую в шубе и шапке фигурку.

— Но-о, пугайся! Уж больно пугливый... — охлаждает его грубовато Роман и при этом любовно похлопывает Мальчика рукавицей по крупе. — Ну-ка, ну-ка, подвинься! — И он поворачивает коня поудобней, чтобы рядом с ним стала Пегуша, а за ней следом Галка с жеребчиком. — Ишь какой эгоист... Растопырился!

И подсвистывает: пей, мол, пей, напивайся на весь день работы.

Я не знаю, что думает Мальчик, глядя вдаль, на дымы, поднимающиеся столбами из труб занесенных снегом домов, на леса, индевеющие на горизонте, на степь, чуть курящуюся серебряными хвостами поземки, но мне радостно видеть его стройную шею, красивую голову, этот крепкий, темнеющий по позвоночнику

круп, словно в этом животном сама радость жизни, словно я нашла себе друга, хорошего друга, которого мне не заменит никто, даже самые лучшие, умные люди. Да и так рассудить: всему есть на земле свое время и место, и я теперь дружбу с людьми, может быть, понимаю значительно глубже и шире, чем если бы понимала ее, не оставив в степи ни Пегуши, ни Галки, ни Мальчика.

* * *

Вместо игрушек отец дарил мне щенят.

Белая мохнатая кавказская овчарка Пальма так и выросла вместе со мной. В тот год, когда я уехала в школу, в Воронеж, она так тосковала, что ее посадили на цепь: боялись, взбесилась.

Домой возвращалась я поздней весной. Вся дамба, ведущая к дому от пруда, обсаженная столетними вязами, казалось, меня торопила, шепча яркой, зеленой листвой: «Скорее, скорее...» Каждый листик сиял, торопился со мною. И сама я спешила, я сидела в телеге, уже свесив ноги, чтобы сразу же спрыгнуть и бежать, обгоняя телегу, к крыльцу дома, но старый приятель Роман все расспрашивал о Воронеже, об отметках, о школе, и я терпеливо ему отвечала.

И вдруг что-то дикое, в лохмах желтого, грязного цвета, в репейниках, с обрывком цепи на ошейнике, с разбегу мне бросилось с силой на грудь. Я спрыгнула на обочину. Пальма тихо визжала, облизывая мои слезы со щек и скуля, кидала когтистые лапы на грудь и на плечи, и подпрыгивала, и виляла хвостом, и по-детски повизгивала, как будто бы упрекая меня: «Ну, зачем же ты так, как могла ты оставить меня здесь одну?»

— Пальма, Пальмочка, милая!.. Ну, хорошая, ну не надо, не надо...

Потом я все лето пробегала с Пальмой по полям, по оврагам и возле пруда, заросшего по берегам ежевикой и кровохлебкой. Мы с ней пробирались на прорванную плотину, где жил старый пасечник, и он кормил нас: Пальму косточкой от обеда, меня хлебом с медом. И я была такой маленькой, такой глупой частичкой великой гармонии бытия, что даже не знала, какой грустно-непостижимой оказывается потом великая эта гар-

мония, когда мы взрослеем и становимся умными и жестокими и навек отрекаемся от беспечного, неосмысленного, но счастливого этого родства с лошадьми, собаками, птицами, с деревьями и травой.

* * *

Как-то в мае мы бродим с отцом по оврагу за машинным сараем. Трава мне до пояса. Здесь цветет земляника, уже выпускает коричневатые хвостики конский щавель, много зонтичных, пряно пахнущих, даже дурманных, названий которых я не знаю.

Я спрашиваю:

— Папа, а это какое растение?

— Болиголов. Оно ядовитое. Принюхайся, разотри его листики. Слышишь, пахнет мышами?

— А вот это?

— Борщевик. Он съедобный.

— А это?

— Горичник болотный.

— А это? А это?

— Гирча тминолистная... Дягиль. Очень полезный. Лекарственный. Медонос. Это вех... Говорят, соком веха был отравлен Сократ.

Я внимательно слушаю, запоминаю, хотя имя Сократа мне еще незнакомо. Мир вокруг меня дышит, звенит и играет всеми красками лета, всем его многоцветьем. Почему-то мне радостно от обилия этих странных названий: гирча, дягиль, вех. И приятно, что рядом со мной человек, понимающий листья и травы, каждый малый цветок. Я гляжу на него с уважением, с робостью, снизу вверх, как на некое божество, но, как всякое божество, недоступное, строгое.

— А вот это?

Мне хочется продолжать бесконечно затеянную игру. Но отец, заложив руки за спину, смотрит в небо на промчавшихся мимо нас и как будто ныряющих в воздухе птичек. Они с щебетом носятся над гнездом, словно плачут, кричат, машут крыльями.

Он долго молчит, наблюдая, уйдя вдруг в себя. И когда его взгляд возвращается снова на землю, ко мне, почему-то я больше уже не расспрашиваю. Я смущаюсь его незнакомого взгляда, этой замкнутости, охватившей его опять, как всегда.

После, в городе, взрослая, сидя в театре или читая нашумевшую пьесу, я думаю: отчего мы не пишем простых диалогов, вот таких, какие могут быть лишь у ребенка с отцом, в раннем детстве,—открывающих мир, называющих все предметы их великими именами?

Кто осмелится, чей великий талант в состоянии передать все значение этой беседы — и вселенскую немому окружающих нас птиц, зверей и растений, если маленьким нам никто не сказал, для чего они служат, чем полезны или, может, наоборот, вредны человеку. В удивительной простоте такой тихой беседы есть какая-то тайна.

Все, что было сказано тогда, все, что я увидела в детстве, в память врезано, словно как в камень. Помню сладкие купыри на Дону, их огромные, как опахала, резные, зеленые листья и такой сочный стебель, слегка красноватый, я их больше не видела никогда, но запомнила на всю жизнь. А ведь мне тогда было всего года три, ну, от силы четыре...

* * *

За оврагами, в лесополосе, сладко стонет кукушка.

Кто-то громко считает монотонные эти «ку-ку».

А мне вспоминается гадкая сцена, которую как-то весной показал в лесу отец. Кукушонок в гнезде малиновки, отвратительно голый, в пеньках будущих перьев, торчащих, словно занозы, в синюшной, в пупырышках, коже, стоя, как клоун, на голове, выбрасывал из гнезда раскоряченными ногами только-только проклюнувшихся и выползших на свет малюсеньких своих меньших братьев. Вернее, не братьев, а законных владельцев гнезда.

Отправив на землю последнего птенчика, кукушонок уверенно, с той же ловкостью клоуна, очень быстро перевернулся и уселся на зад, как хозяин, раскрыл желтый складчатый клюв с ярко-красной подкладкой, похожий на граммофон, что-то хрипло, надменно и коротко каркнул. Птичка-мать положила на дно граммофона букашку. Да что там букашка! Малиновка вся сама могла бы влететь в нее, так была велика эта складчатая, алчная, ярко-красная пасть,—и так крохотна, так мала перед нею была разнесчастная певчая птица.

Но природа, наверное, надоумила малиновку быть осторожной. Уже следующую букашку птичка отдала прожорливому кукушонку не присаживаясь, а на лету, трепыхая при этом короткими крыльями.

И вот вещая птица считает кому-то года. Томным голосом, с придыханием, — как будто хорошо понимая, что сейчас зацветают сирень и боярышник, так волнующе пахнут лесной, родниковой свежестью розоватые и белесые, словно мелкие мотыльки, цветки татарской жимолости, ярко-алые венчики шиповника. Птица, видно, хороший психолог. Она чувствует: человек ей все простит за эту щемящую томность, за грустное, монотонное, золотое «ку-ку», так причудливо соединенное с этим полем в серебряных волнах озимых хлебов, с молодыми березками, с запахом ландышей, с неизменной обманчивой верой в грядущее.

Я жалею птенцов хлопотливой малиновки. Я почти ненавижу нахального кукушонка. Но отец говорит:

— Ничего... Кукушка — полезная птица.

— А малиновка вредная? — почему-то с обидой спрашиваю я.

— Нет, тоже полезная, — отвечает отец. — Но кукушка уничтожает вредителей, волосатых гусениц, которых ни малиновка, ни соловьи не едят.

Я задумываюсь.

Это явная несправедливость.

Злая, гадкая птица — полезна. А нельзя ли в природе все так перестроить, чтобы певчая птаха, хоть та же малиновка, приносящая удовольствие человеку, украшающая эту землю и лес, была и полезной? Полезней кукушки. Ведь она-то уж, во всяком случае, не убивает чужих птенцов для того, чтобы жить на свете самой.

— Подрастешь — все узнаешь. Что полезно, что вредно, — говорит мне отец. Он задумывается на минуту. Потом говорит: — В природе всему есть свое объяснение. Вон из мака и белены добывают и яд и лекарство...

Мы идем с ним тропинкой по краю большого оврага, обсаженного деревьями. Здесь дубы, клены, ясени. Есть и дикие яблони, груши. Зацветает ирга, много желтой акации. Но я не люблю красивой тропинкой во мхах, цветением дрока на взгорках. Я думаю: для чего птичка кормит нахального кукушонка? Почему так безропотно уступает гнездо? Может, эта уступчивость в

ней заложена тоже двойко, как яд в белене? И еще: почему мать-кукушка лишена наслаждения материнством? Кто ее наказал и за что? За проглоченных гусениц? За полезность? Или, может, за сладкий обман выкликания неких таинственных чисел: кому сколько жить?

Отец говорит:

— Вообще-то кукует не кукушка, а кукух. Самец, а не самка. Это он так кричит.

И мы долго стоим с ним, внимательно слушаем деревянные странные возгласы птицы-вещуньи.

Я не верю в приметы: в разбитое зеркало, в чох, в вороний грай. Но с тех пор и, наверное, до конца моих дней буду слушать с надеждой, с волнением механический, монотонный, тоскующий голос кукушки, буду грустно вздыхать, ожидая, сколько раз мне обронят «ку-ку»: доживу ли до новой весны?

* * *

Здесь, в степи, все мне в радость, в игру: узнавание трав и цветов, птиц, зверей и деревьев, и особенных прежде не слышанных слов. Безуханный. Куриная слепота. Непашь. Зябь. Толкуны. Я прислушиваюсь к существующим в здешнем народе речениям, обозначающим явления природы,— сколько в них образности, поэзии! Разве скажешь как-то иначе, а не так, как сказали в деревне: «Поворотило к ненастью». Или: «Пал туман». А сколько чудесного в словах: «первопуток», «пороша», «поземка».

Летом, в светлые очень короткие ночи, мужики говорят: «Заря с зарей встречается». И я долго пыталась поймать этот таинственный час, и поймала и поняла, что это не только слияние вечера с утром, на исходе июня, наша вялая, робкая белая ночь, верно, дальняя родственница той, красивейшей, ленинградской, но это еще и совсем необычное редкое положение зорь на небе, когда северо-запад и северо-восток действительно как бы сближаются, сливаются в одно целое. Солнце связывает их воедино своим огненно-алым узлом.

Вот его красноватый, малиновый диск, как неловкий пловец, вдруг утонет на миг в малиновых и лиловых и розовых и оранжевых шелковистых пеленах, закатится, спрячется,— и тут же, немедля, и вынырнет в том

же месте, взойдет, но уже как бы чем-то омытое, молодое. А небо, прозрачное, с желтизной, с розоватиной, с зеленцой по краям, оно так и не меркнет, оно золотится всю ночь излучающим теплоту мягким, ласковым светом, как медом, оставляя все видимым и различимым и таким же объемным, как днем, без смещения плоских, перетянутых теней.

Жить бы этой одной июньской зарей... Но ведь есть и другие, холодные, в белом инее зори, и густая, пропахшая палыми листьями банная тьма октября, с мелко сеющим, неощутимым дождем. Есть еще и январские звездные, как бы скрипучие от морозов, жестяные, безмолвные ночи. И февральские, вьюжные, змейные... И предмартовские, пуховые от белого-белого легковейного снега, как бы чем-то подсвеченного изнутри — ожиданием счастья, любви и доверия, что ли?

Я жадна. Жадно хочется жить, чтобы видеть все это и слышать, наблюдать, размышлять. Но когда размышляешь — и жадность моя пропадает, уходит куда-то, сведенная одинокою, ни с кем не делимою думой на нет, превращенная из реки в ручеек, из ручья в тонкий звон предвесенней капли под белой сосулькой. От сосульки к снежинке, летающей у виска. И опять — к облакам, беспокойно бегущим над милой, лесной и степной моей глушью, над Родиной...

* * *

Я задумываюсь сейчас: отчего это в обществе пусто-сердого болтуна, красная нам бывает и весело и легко, а вот в обществе умного, но молчаливого человека всем становится как-то не по себе? Может быть, оттого, что он что-то про всех нас такое особое знает, этот странный молчун? И нам стыдно и боязно перед ним? Или это исходят флюиды его неуклюжести, исстачается на окружающих заразная застенчивость?

Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Но мы, дети, под взглядом отца все как будто немели. И сразу же начинали болтать и смеяться, как только он уходил на работу. Он молчал месяцами, ничем не выказывая своего отношения к происходящему в доме. Иногда улыбался чему-то, но не нашему, а своему, в чуть седеющие усы. Иногда хмурил брови. Когда мама спрашивала у него о чем-либо по хозяйству, он

как будто бы возвращался из глубокой задумчивости, переспрашивая, иногда очень грубо:

— Что-о-о?

Но о чем он раздумывал в одиночестве и чему улыбался, кто знает?

Сильный, смелый и ловкий, он играл во все игры, любил рыбную ловлю, особо — охоту. Помню, мама частенько возилась на кухне: потрошила и чистила окуней или щук, ошипывала чирков, по-особому жарила зайца. На лужайке, что перед домом, рядом с волейбольной площадкой, вечерами варили в котле раков: на всех — и кто ловил, и кто только подавал лишь советы с сухого бережка. И я почему-то иначе себя и не вижу, а только босую, сидящую в темноте у костра, и большие, растянутые далеко по траве тени взрослых: отца, моих старших сестер и рабочих. Тут же рядом сидят и собаки, запыхавшиеся от азарта, вывалив наружу языки.

А потом мы играли в горелки, и отец тоже бегал, ловил, догонял...

Летом обычно всю ночь до рассвета за дощатым бараком, на сваленных бревнах, «гуляют» сезонные наши рабочие, парни и девки, там бренчит гитара, звенит женский голос. И всю ночь до рассвета горит на столе отца лампа: он работает, пишет, иногда очень быстро, иногда вдруг задумывается и тогда, подняв голову и прикусив конец школьной ручки, долго-долго глядит за окно, на белеющие в темноте очертания хутора.

Что писал он? О чем думал? Не знаю. И потом, спустя много лет, уже взрослая, я так и не осмелилась его расспросить, над чем он работал в те годы. Свои многолетние труды — фенологические наблюдения, результаты кропотливейших опытов по травосеянию, по рисоводству — он отдал перед смертью товарищам по работе: авось кому-нибудь да пригодится. Но были ли в этих тетрадах какие-либо мысли о жизни, о людях, не знаю.

Мне он нравился больше всего не тогда, когда хмуро писал или что-то подсчитывал на арифмометре в конторе, а тогда, когда делал обыденную работу по дому: колол у сарая дрова, возился на огороде и в цветнике или, что еще лучше, когда просто сидел на крыльце и курил самокрутку. В это время — при той же

своей молчаливости — он казался мне ближе, понятней, родней. И всегда удивляла его любовь — не к нам, его детям, а к щенятам, к котяткам, к птенцу, выпавшему из гнезда, к жеребенку, а впоследствии — к внукам. Нас он так не ласкал, с нами так не возился!

* * *

Помню, в доме вставали всегда с петухами, и отец уходил на работу еще задолго до того, как рабочие собирались возле конторы.

Придя вечером с поля, отец снимал с себя пропыленную, прокаленную солнцем рубашу и кликал меня слить воды ему на руки. Сам вынесет ведро со свежей водой, мыло, кружку и стоит у крыльца, на траве, дожидается. Резкой гранью загара его тело разделено на неравные части: на руках до манжет и на шее до ворота, — так, что кажется, будто слеплен он одновременно из двух разных материалов, из белого и черного, потому что белого на все не хватило.

Отец долго, со вкусом полощется, хлещет воду на шею, на грудь, трет лицо. Я беру опустевшее наполовину ведро и лью сверху уже прямо из ведра, ополаскиваю его, потом подаю расшитое суровое полотенце. Он насухо, докрасна вытирается, надевает чисто выстиранную, наглаженную мамой рубашу.

Есть что-то магическое для меня в этом древнем обряде. Словно вместе с таким умыванием и день делится на две части: на большую, тяжелую, жаркую часть, именуемую работой, и короткую, сладкую, темную — отдыха: за столом и в постели. Но они, эти части, существуют всегда только рядом, всегда связаны воедино каким-то невидимым нам, ребятишкам, непонятным блаженством: исполнение долга — и отдых, как награда за труд. Да, мне кажется, нет другой за работу награды, столь желанной и сладкой, как заслуженный отдых. Все другое — уже приложение, может быть, иногда и ненужное, лишнее людям.

Мы садимся за стол, за простую еду: картошка в мундире, вареная чечевица или пшенная каша, но всегда с молоком, или только что из печи свежий хлеб с простоквашей — молчаливая трапеза, полная смысла. Потому что еда — это тоже награда. Отцу с матерью — за заботу о нас. Нам — за то, что растем.

Молчаливо, исполнено смысла и короткое, властное, ежедневное обучение нас, детей, как расти, для чего. Для того, чтоб трудиться. А прежде всего для того, чтоб любить свою полную света и радости Родину.

* * *

В то время и хутор и степи вокруг мне казались огромными, и все двери — высокими, и все окна — большими. А наши — особенно. В них вплывал летний воздух и пахнул ржаною соломой, конским потом и дегтем. А когда на поля опускалась поздним вечером прохлада, мы садились все на крыльце, на чисто промытых ступеньках, и отец, молчаливо сутулясь, закуривал козью ножку и думал о чем-то своем, о большом, отчего мы не смели запеть, засмеяться, сказать глупую шутку. В такие минуты мы тоже сидели притихшие, молчаливые и от нечего делать начинали приглядываться к подступающей к дому степной темноте, к очертаниям журавля у колодца, к первой мелкой звезде, к белым астрам на клумбе, сидящим, как белые птицы.

На коленях отца мурлыкала кошка. Пес ложился у ног, молчаливый и теплый, чуть пахнувший псиной и пылью. На кухне стучала посудой и пела негромкую песню мать, убираясь после короткого ужина. Желтый свет керосиновой лампы длинно, косо ложился на кустики высохших трав у крыльца, на тропинку и терялся вдали.

Тишина, и покой, и прохлада после жаркого дня обнимали все тело так мягко и ласково, что я чувствовала себя сытым сонным зверьком, засыпающим в сумерках. И вся жизнь в окружающем мире казалась мне доброй, незыблемой, неизменной, и все было понятно, легко и доступно, как не было больше уже никогда.

* * *

Почти полвека мой отец сеял хлеб, месил чернозем порыжевшими от дождей сапогами. А мы, дети его, разбрелись кто куда. Только старшая сестра пошла по стопам отца, агрономша, и ни разу не отклонялась от избранного пути. А мы остальные — пленники города, с годами все более убежденные урбанисты. Мы уже да-

леки от природы. Теперь только по книгам — и то лишь изредка — я встречаю своих старых добрых знакомых из детства. Может, помните, как у Толстого начинается «Хаджи-Мурат»?

«Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы...»

Стоп! Это там, в той далекой степи, так прекрасно устроенной человеком, защищенной посадками, увлажненной каналами и цепью прудов, что ее уже вроде бы и бессмысленно называть теперь Каменной, я увидела и узнала этот скромный цветок. Скабиоза! Ее мало кто знает. Почему-то любителей этого цветка, кроме Льва Николаевича, я вообще не встречала. А он очень красив в высокой траве на суставчатом растопыренном стебле, весь пушистый и круглый, цветущий с весны до глубокой осени, такой робкий, с ласкающим тонким запахом. Как я счастлива, что опять с ним встречаюсь, пусть не в поле, не летом, в траве, а в городе, выюжной зимой, раскрыв старую книгу, но все же как с другом, товарищем детства!

Мне нынче вообще уже кажется, что я больше не встречу чего-либо нового, незнакомого, неизвестного с детства. Потому, что те давние годы были так полныценны, так ярки, так щедро наполнены всем возможным живым, шумным, радостным, красочным многообразием жизни, что теперь я могу только сравнивать это старое, дорогое, знакомое с вновь увиденным и оценивать по особой шкале: лучше это или хуже того, что я уже видела раньше.

Да, были гудящие от бесчисленных птиц и от пчел цветущие лесополосы. И ковыль... И большие, в полнеба, цветные закаты над степью. И разливы рек, ледоходы, когда балки «играют» и вниз по оврагам бежит мутная, ледяная вода, тоже были. И волки, и лисы, и дикие утки водились. И зайцы.

Помню, даже была «воробьиная ночь».

Почему — воробьиная? Я не знаю. Может быть, потому, что всю ночь воробьи да и прочие птицы в страхе мечутся, носятся в воздухе с криками, машут крыльями над деревьями, будто пытаются прикрыть, защитить свои гнезда.

Я запомнила эту ночь на всю жизнь.

Сперва цвел над степью июльский закат, похожий на крылья тропической птицы: сизо-алые, темно-синие и зеленые перья, в центре — ярко-оранжевый, жгучий глазок.

Не успевши растратить свой огненный блеск, свои алые краски, он померк, утонул в надвигавшихся, совершенно беззвучных, темных полчищах облаков.

Тучи шли плотным строем, объемные и весомые; чернота их и тяжесть пугала. Вот дошли до зенита померкшего, в редких всполохах неба — и ветер забился в деревьях, помчался, как будто сорвавшись с цепи, примял темные их вершины почти до земли, рванул листья, кинул их сперва вверх, потом вниз — и понес по равнине. В доме окна и двери захлопали, где-то звякнуло и посыпалось на пол стекло.

Я в те годы была еще маленькая, не видала войны и тогда не смогла бы сыскать соответствующих образов. Но теперь я сравнила бы эту ночь с тяжким боем на окружение. На полное истребление. Гром рычал и ревел с четырех сторон вокруг нашего дома и лесопосадов, словно артподготовка. Тут и там, как огни батарей, передергивались, зажигались и гасли зарницы, что-то гулко рвалось и раскатывалось по крыше, как разрывы снарядов. Жутко, радостно, в самом деле как в смертном бою. Крик испуганных птиц, их тревожно галдящие стаи, пух и перья из гнезд, измятые ветром зеленые листья, клочья сена, песок и истертая в порошок пыль с дороги — все носится перед домом колючим столбом и вдруг падает, рассыпается. А время от времени на горизонте что-то взблескивает, перемигивается, блистает, кто-то молча обменивается огневыми сигналами перед новой атакой, умолкает в таинственной тишине, совсем как у Тютчева:

Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

И вдруг снова грохочет, прокатываясь, над нашими головами, подобно огромной пустой бочке, сухой гром. Тучи низко волочатся над землей, нависая, как глыбы. Они быстро движутся — и ни капли дождя. Жаркий, душный, клубящийся воздух, насыщенный электричеством, не разродился ничем, не принес ни дождемки, ни струйки воды, ни рассеянных мелких капель испаряющейся на лету такой нужной, такой долгожданной теплой влаги.

Гром ревет, устрашая своим клокотанием, и медленно удаляется, как бы вскрикивая гортанно, затихает вдали.

На востоке желтеющей тонкой полоской забрезжил рассвет. «Воробьиная ночь» иссякала, откатывалась, сходила на нет. Почему «воробьиная»? Даже Даль не ответил. У него этим словом называется осеннее равноденствие. А наша-то «воробьиная ночь» — гром и молния без дождя — прокатилась в июле, сухим жарким летом. Лишь однажды, спустя много лет, я нашла у Тургенева это название — «воробьиная ночь» — в том же смысле, что наша, но он только назвал, не дав объяснения, почему «воробьиная», как если бы все вокруг это знали и сами. И мне вдруг подумалось, что наши далекие предки, отходя от нас дальше и дальше в века, тоже демоны глухонемые. Мы, стоящие где-то внизу, на земле, видим блеск, слышим гром их речей, а самого смысла огневых их забот, их великих и всеобъемлющих дум уже вроде бы не улавливаем — и превратно толкуем.

Воробьиная. Почему?.. Непонятно. По силе, по чувству — уж скорее орлиная.

* * *

В это время в семье нашей что-то случилось. Мы, младшие дети, я и маленький брат, ничего в происшедшем, конечно, не понимаем.

Помню серый забор, голый сад, лай трехногой собачки. «Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка». Мы в Воронеже, без отца. Год тягучий, голодный. Я учусь уже в школе, но главная моя школа — дорога по улице, через весь город, сад с персидской сиренью и книги. И вечные жалобы: «Ваша младшая

дочь кидалась камнями». Я кидаюсь камнями в мальчишек! Вот ужас-то! И мальчишки ревут!

Отец — где-то в Азии. Для меня он почти что не существует. Только где-то подспудно живет странное воспоминание о расшитой цветными шелками рубашке, о мягких усах, крепко пахнущих табаком, о каком-то пожаре, — мы, дети, лежим на огромных узлах в кабине отца, клубы дыма влетают в раскрытые двери, и мать поит нас с ложечки сладким, пряным портвейном, разворачивает в золотой папиросной бумаге ароматные апельсины: это значит, что мы чем-то сильно болеем.

Но теперь, без отца, и болеем мы несколько иначе. Да и все у нас в доме идет по-другому. Без портвейна, без апельсинов и частенько без хлеба. И когда появляется длинный, белый костистый старик с бородой — почтальон — и приносит нам деньги или письма из далекого азиатского города, там, в душе, что-то медленно тает, теплеет. Мне в такие минуты всегда вспоминается степь и наш дом — отчий дом, — по-спартански обставленный: стол обеденный, пять табуретов, комод, шкаф, кровать и письменный стол для отца. В углу, возле шкафа, — сундук под ковром, рядом удочки и двустволка. В кухне — русская печь. В сенях — теплый овчинный тулуп на гвозде, для разъездов зимою по степи, болотные сапоги, связка заячьих шкурок, распяленных для просушки. В пять ступенек крыльцо; под крыльцом — старый пес.

Тот, кто думает, что простой сельский быт обязательно соответствует и простым, даже, может быть, упрощенным, грубым чувствам, тот жизни не знает. Здесь, по-моему, все в обратной зависимости. Взгляд на мелочи, на бесчисленных, мельтешащих людей отвлекает, рассеивает внимание. А простая суровая жизнь на безлюдье, с закатом в окне, с черным хлебом и молоком и с широким привольем до самого горизонта, с этим выпуклым, выцветшим от жары и морозов, промытым дождями прозрачайшим небом, как бы все в твоём сердце собирает в единое целое, словно в фокусе, и высвечивает, приближая и увеличивая. Оттого все выходит совсем не грубей, а просто отчетливей, ярче, глубже, мощнее:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку.

В этой жизни особые радости и особое мужество: понимать свою роль в окружающем мире и не требовать для себя ничего свыше самых простых удовольствий рабочего человека, и ценить хлеб и воду, огонь и дрова как единственно важное, необходимое. Нынче это не всякий умеет.

* * *

Говорят, есть белковая несовместимость.

А наверное, существует и психическая несовместимость, или, как говорят математики, «неконгруэнтность» характеров, отношения к жизни. А иначе откуда тогда неприязнь к одному, совершенно незнакомому тебе человеку и чувство симпатии, тяга к другому? И откуда тогда те семейные драмы, невидные миру, участники которых рассудком все вроде бы принимают и даже готовы пойти на уступки, но только от этих уступок никому не легче и не лучше, а все хуже да хуже, пока не дойдет до предела.

Мы, дети, участвуем в этих процессах, как немая огромная сила, давящая и правого и виноватого с одинаковым гнетом. Мы научимся все понимать, когда взрослые отживут, откипят, успокоятся, то есть, в сущности, слишком поздно. До обидного поздно.

Между мной и отцом пролегли необъятные версты и тяжелые, долгие годы разлук, почти целые десятилетия: учение в школе, война и снова учение, но уже в институте, а после работа с разъездами в командировки. Разделяло нас с ним и мое непоколебимое убеждение, что ушедший из дома всегда виноват. Но на мир я гляжу почему-то глазами ушедшего, виноватого, и мир этот прекрасен, огромен. Как странно... И так хочется иногда пробежать по дорожке след в след за отцом и спросить: «А что это такое? А это? А это?..» И услышать ответ, как когда-то, спокойный, исчерпывающий. Но отец где-то в знойной, далекой стране, недоступной воображению, в низком мазаном доме с плоской крышей, за глиняным желтым дувалом. Как живет он там, что он делает, и что думает, и что чувствует, к сожалению, я не знаю.

Детство было полно необъяснимого и прекрасного.

Потом объяснимого стало больше, а прекрасного меньше. Исчезли из нашего старого дома старинные сказки с русалками, лешими и домовыми. Их вытеснили таблица умножения, затем алгебра, геометрия; человек на картинках предстал в разрезе; все тайное стало явным; на смену поэзии пришла проза.

Осталось чудесной загадкой одно — само мое детство. Я нынче раздумываю: где оно затерялось, когда? Отчего я тогда не ценила его и слишком спешила стать взрослой? Мне оно почему-то рисуется очень милым, смешным существом, дорогим мне, родным, но, однако, не понятным мною. Словно я, оробев, постеснялась приблизиться, заглянуть ему прямо в глаза, не сумела сдружиться как следует.

Потом, спустя годы, точно так же я пожалею о себе, уже взрослой: почему не пыталась понять до конца, для чего мои силы, мое ликование, смех, веселье, здоровье? Лишь о старости не пожалею. Но, наверно, и в старости мы так, в сущности, и не постигнем себя до конца, никогда не узнаем, какие возможности в нас таились, на что мы способны.

Мне кажется, на войне человек иногда постигал эту тайну. Он вдруг видел, как в блеске слепящей, в полнеба, ветвящейся молнии, себя самого, свою душу — до дна. И себе удивлялся: а, вот я каков! Вот какие во мне гигантские силы! Как я рад, что я лучше, красивей, отважней, чем мне это когда-то казалось...

Да, поэтому мы и вспоминаем о тех горьких, тягчайших, мучительных днях с таким наслаждением, так любовно лелеем, храним в своей памяти то суровое время. Наше лучшее «я» не для будничных дел, оно как-то меркнет при свете обычных электрических ламп, оно проявляется лишь при свете коптилок и взблесках орудий.

Дом, семья, а ты их почему-то не ценишь. И не знаешь их смысла...

Только на войне я впервые почувствовала, что это такое, когда у тебя есть мать, отец, калитка во двор,

давненько не крашенное крыльцо со щеколдой, дверь в комнату, комната с венецианским окном. Все мило, привычно. В ледяной ли траншее, в жаркий день на пыльной армейской дороге мне они вспоминались все чаще и чаще: я узнала им цену. Вспоминалась зеленая, травянистая улица с блескучими рельсами посредине. По этим рельсам раз или два в неделю с визгом, с грохотом, с лязгом проезжал, пыхтя и кряхтя, закоптелый, в мазуте, воняющий керосином и каменным углем маневровый паровоз. Он тащил на маслозавод одну-две пустые цистерны. Потом, спустя время, возвращался обратно, но уже с полными: запыленные, аспидно-серые их бока маслянисто темнели.

Вспоминались слоноподобные, в серой толстой морщинистой шкуре угрюмые вязы у нас под окном. Солнце в дом из-за них не заглядывало никогда, оно влажно, летучими пятнами золота и изумруда дробилось у нас в комнате на столе и полу, отражаясь короткими брызгами в зеркале, на стене, на раскрытой тетради.

Я всегда представляла себе, как открою скрипучую калитку и пройду по песчаной дорожке во двор. Мать выглянет из окна и всплеснет руками: «О, господи! Кто приехал! Солдатик мой с фронта вернулся...»

Но война... она знала, что делать!

В своей убивающей черной злобе она не хотела оставить воюющим ни здоровья, ни жизни, ни этой вот радости возвращения, желанной, как хлеб или воздух. И, как хлеб или воздух, естественной, необходимой.

Победа пришла, а мне некуда возвращаться.

Мой город сожжен и разрушен. И дом мой сожжен. Нет ни вязов, ни окон, ни скрипучей калитки, только груды кирпичиков от фундамента. И в таких же подобных развалинах — полстраны. Куда ни поедешь, везде начинать жизнь с нуля. И везде ты покамест — солдат. Потому что, кроме как воевать, ничего не умеешь. А сейчас это, вроде бы, больше не нужно. Сейчас нужно другое: восстанавливать, строить, работать. Значит, нужно учиться, а верней, переучиваться, отвыкать от солдатских привычек, бжиться в еще незнакомый тебе мирный быт на других основаниях: без погон, дающих право командовать и обязанность подчиняться, без старшин, худо-бедно, но кормивших и одевавших тебя, без умения слышать летящий снаряд или бомбу.

Вся семья наша где-то в далекой, неведомой Кызыл-Орде, у отца, в его новом для нас, незнакомом и каком-то чужом еще доме. Надо ехать туда...

В Москве на вокзале, у кассы, гудящие толпы демобилизованных. Тут могучие плечи, командирские голоса и погромче моего лейтенантского голоса. Рывнет басом какой-нибудь: «Как стоишь?» И невольно замрешь. Нет, конечно, билета на поезд в такой толчее не достать. На скамьях, среди сумок и вещмешков, разговоры: «Вот пробраться бы на перрон, там, гутарят, сейчас подадут пульмана. Двери будто бы запломбированы, ну дак можно на крыше...»

Что ж, на крыше так на крыше.

После того, что я ездила все четыре года войны, изо дня в день, в любую погоду по неведомым мне до этого, самым гадким, избитым и опасным дорогам в дребезжащих грузовиках, на фурманках, в телегах, на танках, на бензозаправщиках, на ящиках со снарядами или минами, под бомбежкой, иногда на подножке попутной машины, держась только рукой за дверцу кабины, мне и крыша вагона не кажется чем-то особенным. А тем более рядом — товарищи. В этом воинском братстве всегда защитят, накормят, напоят, в беде не оставят, а когда загрустишь, рассмешат грубоватым, беззлобным и метким словом.

И потом, разве можно не ехать?!

С войны-то? К родным?..

Проплутав по путям в темноте, перелезши через высокий забор — мои спутники по-рыцарски подсадили меня, — мы выходим к каким-то закрытым вагонам. Сеет дождь, ветер рвет, развеивает набрякшие полы шинели. Кто-то лезет на буфер, потом, словно кошка, на крышу, тянет руку: «Давай вещмешок!» Мы гремим сапогами по скользкому от дождя железу, прижимаемся к ледяным ржавым листам, командирскими поясами привязываемся к трубе: хоть и холодно на ветру, но, однако же, клонит в сон, как бы не сверзиться.

— Ты куда?

— В Кызыл-Орду. А ты?

— Я в Ташкент.

— Ну, добро. Можно трогать. Поехали...

В самом деле, почти и не ждали, не мучились, паровоз мягко тронул, пронес сквозь тоннели, быстро вынес на ветер, в глухую, тревожную темноту и так ладно,

так споро вдруг начал поддакивать: «Так-так-так! Так-так-так!» Словно в чем-то со мной соглашается, не перечит.

...О том, что земля наша велика, мы узнали не в школе, сидя за партой. Был другой, куда более совершенный и точный масштаб — на картах-трехверстках, под огнем пулеметов.

Запыленные, закопченные долетающим от паровоза вонючим дымком, мы с рассвета не спим, все смотрим вперед, подставляя лицо холодному ветру, и с любовью, с тоской, и с волнением впиваем, вбираем в себя осенний простор опустевших полей, уже убранных, сжатых, всю его широту, всю его необъятность, вдруг увиденные впервые не ценой своей жизни, не на линии брестера, не в скрещении стереотрубы и не в прорези прицела, а так вольно, свободно, как рядом летящие птицы.

Мы еще не умеем постигнуть всей сложности новой жизни и всей красоты мирных дней, в наших душах еще гроыхает война, а в глазах еще прыгает, не истлевая, тот отблеск пожаров, и те отсветы батарей, и те взблески разрывов снарядов, какими наполнены были до отказа бессонные, злые, суровые годы. И что удивляться, что, как будто с разбегу наткнувшись на мирную жизнь, мы все словно немножечко ошалели.

— Эт-то что же, т-товарищи? — заикаясь, говорит мне мой спутник майор, весь в сверкающих орденах. — Все сначала? Опять? Был комбатом, начальником, а теперь снова... школьник?!

Он был как бы унижен своим путешествием «на трубе», на крыше вагона. А мне оно нравилось, это живое, веселое обтекание ветра вокруг скромной моей персоны, я как будто летела на крыльях и все улыбалась.

— Чего ты?

— Так просто. Смешно...

Стук колес... Он навеивал воспоминания о каких-то других, не похожих дорогах. Например, длинный, пыльный состав из зеленых, изъезженных старых вагонов. В таком поезде я ездила с матерью из Каменной степи к началу учебного года в Воронеж. Тогда не было электричества, и кондуктор, казавшийся великаном, в гремучем, каляном от непогоды плаще, вносил в переполненное купе железный фонарь со свечою внутри и вешал его на крюке. Тогда все качалось в вагоне: свет и

тени, фигуры людей, немые поля и леса за окном, освещенные желтой цыганской серью ущербного месяца. Кто-то жадно закуривает в темноте, еще не усевшись, и поглядывает в окно, и гремит по скамейкам брезентовым пыльником. Густо пахнет портянками, самосадом, овчиной, теплым хлебом, дымком,— все какие-то мирные, добрые запахи не придуманной, городской, а живой, полновластной, такой удивительной жизни. И невольная мысль, что живая, родная деревенская жизнь все еще неуклюжа в своей прямоте и жестокости, угловата. И так хочется, наконец, задремать, непременно на мягкой, пышно взбитой подушке, под пушистым, ласкающим легоньким одеялом...

* * *

За Аралом нас с крыши вагона согнали: начались мосты через Сыр-Дарью и, наверно, немало отчаянных, смелых голов, уцелевших в самом пекле войны, послетело на этих мостах, задевая за низко нависшие фермы, если нас чуть не стаскивали с крыш, обугленных, загорелых, с вещмешками, с шинелями, сердитые милиционеры.

Дальше едем в теплушках, на тормозных площадках, прибиваемся к воинским эшелонам, идущим куда-то на юг. Но — куда? Только в августе после узнали: в Маньчжурию. Против японцев...

А дорога все тянется, тянется ниткой в желтой степи. Пахнет пылью, кумысом, верблюдами. Ярko светит, палит незнакомое, южное солнце...

— Наконец — Кызыл-Орда!

* * *

Как меня поразил скромный, низенький дом в Кызыл-Орде! И такая же, как и в Каменной степи, бедноватая обстановка — стол, кровать, табуреты, этажерка для книг, бельевая корзина, накрытая вязаной скатертью.

— Ну? Приехала? — спросил меня строго отец, обнимая, целуя, прижимаясь сухим, загорелым лицом к моей гимнастерке. Он как будто не удивился, что я уцелела в том великом огне, не сгорела, не сгинула.

— Да, приехала...

— Молодец!

Он был так же высок и красив, только волосы чуть поредели и меньше кудрявились да усы опустились; в синей выцветшей куртке, не ученый — рабочий. И руки рабочие.

— Ставь-ка нам поскорее на стол, — мягко бросил он матери, хотя та и сама уже весело суетилась. Сколько лет я не видела их? Мать — четыре года, отца — все пятнадцать. Ведь бывает же! Миллионы людей война разлучила навек, а моих родителей снова накрепко соединила. Когда наш Воронеж фашисты начали бомбить, а я уходила на фронт, отец вызвал мать к себе. И она с моим младшим братишкой поехала...

«Не было бы счастья, да несчастье помогло», — объяснил отец однажды кому-то в порыве откровенности, и я теперь верю, что он мог так сказать, хотя прежде не верила: слишком скуп он на такие оценки.

* * *

Говорят, недолго яблоня цветет, да долго помнится ее кипенно-белый духовитый наряд, бледный шелк лепестков. Сейчас я смотрю в те прошедшие годы, как в быструю реку, — дна не видно, лишь отблески солнца да рябь на воде. Как потом жизнь ни швыряла меня и ни мяла, а что-то осталось в душе от тех солнечных дней.

И не только осталось, а, наверное, до старости будет отзываться в душе то болью, то радостью какой-нибудь кустик пахучей полыни, или тропка во ржи, или теплый закат над озером или лесом. Или та же пропахшая дынями Кзыл-Орда.

Я потом потеряла им счет, километрам. И опять, как на фронте, на чем только не летала, не ездила. В горячке тех лет не часто бывало, что вырвешься из суеты, но уж если вырвешься... Но уж если тебя занесло в тишину, какой благодатью она вдруг омоет и сердце и душу...

Берендеево царство. Или, может, Кащея Бессмертного, где все в целости, все сохранилось, как в старинном, окованном сундуке под замком, — и вот вынуто перед тобой и расстелено драгоценными, пахнущими увяданием и солнечным тленом шелками: лазоревым, серо-

зеленым и синим — река и такое же точно небо над ней; лес по берегу — серый, серебряный, желтый и темно-зеленый; белый, чисто промытый песок; рядом дом, крашен охрой, с нарядными, как игрушка, наличниками; грязно-серый причал — и заветные, в самом деле как будто бы извлеченные из какого-то заповедного небытия, непривычные для современного человека безлюдье, безделье, осеннее сладкое одиночество...

* * *

Лодка режет зеркальную, тихую воду, чуть-чуть приминая ее, как утюг. В омутах глубина почти черного цвета; на песчаной косе, в теплой, сморщенной ветром, ласкающей ряби играют пескаррики. А там, дальше, повисшие над водою тяжелые ветви деревьев, похожие на обросших листвою удавов, ряска, водоросли, куга, остролистая, с тонкой вдавленной риской осока и зеленые, словно покрытые лаком, сердцевидные листья кувшинок. Вот, как счастье, одна, небольшая, качается на плаву, тоже нежится в позднем, чуть греющем солнце. Мы медленно огибаем ее, боясь тронуть веслом или днищем, но все-таки задеваем, она быстро уходит под воду на гибком, как провод, коричнево-зеленоватом стебле и тотчас же выплывает как ни в чем не бывало и снова ложится на вееры листьев, как изящная драгоценность, сияя, маня, вся светясь изнутри, как свеча, желтоватым, чуть призрачным светом.

Ни единого человеческого голоса на округу, ни звука моторов, ничего, кроме шороха водорослей под веслом — этот шорох почти металлический, — да голоса птички в прибрежных кустах, с такой незатейливой песенкой, какую услышишь лишь разве что осенью, после отлетов. Теплота, размагниченность, растворенность полнейшая.

На пойманных пескаррей мы ставим кружки. Они тоже, как лилии, только красного цвета, закачались по плесу и медленно повлеклись кто куда: один в заросли камыша, другой к отмели, где пескаррик был пойман, третий к берегу, под зеленые арки нависших деревьев.

Уплывавшего к отмели пескаря мы вернули, но он тут же упрямо свернул на знакомую или просто влекущую темным рыбьим инстинктом дорогу не менее чем в полтора километра. И мы снова вернули его, и так раза три. Поздно вечером, когда щуки, тяжелые,

скользкие, как толстенные из резины обрубки, уже улетелись на дно лодки, мы отправились снова, в который уж раз, догонять пескаря. Он был весел, крючком не попорчен, не съеден и резво ходил на тонком тугом поводке.

— Что ж, отпустим его на свободу? За такое стремление...

— Отпусти!

Пескарь снят с крючка, брошен в воду. И он тотчас же, ловко и радостно оттолкнувшись два-три раза хвостом от невидимой нам, а ему ощутимой теплой толщи воды, вдруг рванул напрямик в направлении к отмели. Словно беглый солдат из турецкого плена. Вот рассказ-то будет в пескарином семействе!..

Солнце село давно, воздух влажный, холодный. Над рекою, над лесом — почти неподвижный, пахучий от запаха водорослей и пойманной рыбы и дыма; и зеленый, густеющий, теплый — по краям горизонта. Мы смотрим на запад, на небо, где край все еще розовеет, с затаенной надеждой, что все повторится когда-нибудь снова. Как молодость. Ведь она повторяется. Ведь не может не повториться! Ну хотя бы на миг. На мгновение. На секунду...

* * *

Жизнь меняется на глазах. Но меняется не постепенно, не плавно, а рывками, с какими-то завихрениями.

На моей памяти — да, я помню это отлично, хотя и была тогда еще ребенком, — крестьяне в воронежских деревнях пахали сохой, зерно рассевали рукой из лукошка, одеты они были в домотканые портки из сурового полотна, в ярко крашенные паневы, в зипуны и поддевки; на ногах — онучи и лапти. В избах не было радио, электричества, зажигали свечей. И при мне же воронежский паренек Анатолий Филиппченко «съездил» в космос при помощи умной, все умеющей и все ведающей электронной машины...

Но меняется жизнь и в других направлениях.

Вот шоссе рассекает поля и овраги и какие-то совершенно безлесные деревеньки. Пейзаж самый серый. Но он сер не потому, что невзрачен и беден с точки зрения эстетики, хотя это тоже в нем есть. Он сер от бесчисленных стад домашних гусей, пасущихся на лужках, на жнивье, у прудов, у загложших речушек. Впечатление

такое, будто вся земля покрыта серым гусиным пухом. Невольно припоминается есенинское: «Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг?» Здесь, однако, не лебеди. Гуси! И не вместо зимы, вместо осени... Возле беленьких, подновленных или выстроенных недавно домов — стада в тридцать, сорок и пятьдесят гусей. Вид поэтому у лужков, у травы перед домом неряшливый, воздух полон шипения и скрипучего гогота. Сады по холмам вяло никнут под тяжестью яблок, но и листья деревьев в летучем пуху.

Это радостно, это приятно, и невольно желаешь: пусть будет на свете единственной эта серость, с ней-то можно и примириться!

Но уже не миришься, что нет диких гусей на лугах, что нет лебедей, что исчезли, наверное, все до единой степные красавицы дрофы. Я их помню, больших, неуклюжих, почти не взлетающих, а убегающих от человека. В тот год, когда степь распахали, дрофы сразу исчезли. Помню щук, играющих на быстрине по оврагам, тяжело, как-то грузно выплескивающихся из воды на целых полметра. Помню стаи — тогда говорили «станицы» — пролетающих журавлей. А какое великое множество уток оседало у нас на болотах, по балкам и на старом пруду в камышах и осоке! Все лесные посадки, все кустики по степи, вся трава на многие километры вокруг хутора, как какой-то огромный котел, клокотали, кипели от бесчисленных птиц — галдящих, щебечущих, кричающих и чиликающих. Вечерами то сова захохочет, застонет во тьме, то щелкнет, рассыплет хрустальные трели степной соловей.

Да, если бы счастье размножалось простым делением клеток, как просто, как радостно было бы жить! Тогда можно было бы и надеяться, что если сегодня счастья немного, то завтра его обязательно станет побольше, а уж через месяц, а тем более через год и всем будет вдоволь.

Но вот лебеди... Дикие гуси...

* * *

С детства не слышала отлетающих журавлей.

И вот оголенные, в побуревшем от непогоды жнивье равнины, так похожие на родные. Я сижу у самой воды, у холодного, в мелкой волне, заросшего деревьями озера. Плакучие ивы еще ярко-зеленые, а ракиты седые,

как будто в дыму, словно тронуты инеем. И в листве лип и кленов и белых, серебряных тополей уже кое-где да мелькнет желтизна ранней осени.

Тишина, солнцепек, растворение в этом пахнущем вялой травой, рыбьей слизью и палыми листьями удивительном воздухе, в затишке, где безветрие возвращает тебя снова в жаркое лето. И вдруг что-то тревожное, непонятное, трубным голосом с неба, чей-то зов, чуть скрипучий, картавый, тоскливый.

— Журавли! Посмотрите скорей, журавли!

Они вышли, как самолеты, из-за купы деревьев классическим треугольником, держа курс строго на юг, и скрылись за дамбой, обросшей раkitником. Спустя полчаса зов раздался опять и опять. Теперь журавли шли цепочкой на запад; лишь вожак, вырываясь, летел чуть-чуть впереди, как бы с силой вытягивая непослушных ведомых опять в треугольник, всю черную эту ниточку, но так и не вытянув ее.

— Вон еще журавли!— кричат мне товарищи.

Нет, мне кажется, это все те же, уже пролетавшие раз над нами. Просто птицы прощаются с озером, с рощами, с заросшими пыреем и полынью долинками и оврагами, с полями в обломках стеблей кукурузы, с бездомно покинутыми на пашнях стогами соломы. Видно, взрослые журавли учат младших, подростков, находить, возвращаясь весной, это озеро, островки на нем в соснах и елях, этот дом на холме, эти купы деревьев и все видимые с высоты, с любого захода приметные ориентиры — грустный птичий урок навигации.

Может быть, что при этом старшие говорят подлеткам:

— Запомните, это ваша родина! Обязательно возвращайтесь в родные края, даже если не будет нас, взрослых! Пожалуйста, не забудьте дорогу сюда. Здесь мы любим друг друга, здесь рождаются наши дети, здесь мы умираем. Жаркий юг — это только лишь отдых, а жизнь наша здесь...

Я завидую им, улетающим, потому что весной они обязательно снова вернутся сюда. А я?.. Сумею ли я опять побывать здесь, на темной, зеленой реке, на этих прудах и озерах, взглянуть на березовые аллеи, уходящие в степь, на свекольные и ржаные поля? Я летаю теперь выше птиц, а оттуда, с немыслимой для журавля высоты, разве можно заметить мелькнувшую где-то

внизу голубую подкову заливчика, где мы ловим плотвичек и раков, эти серые, словно седые ракиты, эти рыжие, опаленные солнцем дубы?

Я люблю бывать каждый раз в каком-нибудь новом краю, в незнакомом мне месте, видеть горы, моря и красивые города и красивых людей, люблю слушать красивые, полные скрытого смысла, лукавые речи... А здесь что услышишь? Лишь «цоб» да «цобе»! Что увидишь? Вот этих летящих с севера на юг, а затем еще раз, как бы ровным крестом, поперек, с востока на запад, расстающихся и со мной, улетающих журавлей?

Так мало, так мало!

Так мало, что хочется непременно вернуться — и постигнуть: а чего же здесь много? Отчего вот за эту неяркую, небогатую землю бились люди — до крови, до смерти — и с половцами, и с татарами, и с поляками, и со шведами, и с немецкими фашистами? Значит, что-то их привлекало на этой земле, моих предков, поселившихся издревле здесь, возле серой реки.

Я люблю эту землю.

Научите меня, журавли, обязательно возвращаться! Может быть, я пойму непонятное, как и вы, угадаю.

* * *

Мы, живущие в городе, не выходим перед рассветом на улицу, на работу к скотине или в поле на пашню, а ежели и выходим когда, то за яркими фонарями сиренево-розовых и мертвенных сине-зеленых ртутных ламп не видим ни неба, ни звезд, ни той чуть заметной, всегда шевелящейся звездной пыли, которая светится там, в глубине, «во втором эшелоне» огромного августовского или сентябрьского неба.

А в лесной деревеньке ночь тиха, словно омут. Ярким синим кристаллом торжественно светится небо, а на дне его опрокинутой над безмолвной землей полусферы, на покатых краях ее, на вздымающихся к голубому зениту стеклянистых откосах, как живые создания, полные искристой влаги, как творения из текучего, ледяного огня, тут и там в бесконечности неисчислимые звезды.

Я не знаю названий этих странных, неведомых конфигураций, шевелящихся в небе, они так огромны, так чудовищно далеки и так ярки, что трудно представить

себе весь тот путь, по которому свет их доходит до глаз и до сердца,— я-то знаю, от глаза до сердца мгновенно,— а вот мысленно не повторить, не пройти этот путь, не постигнуть его.

Пар стоит над рекой. Лес рисуется весь, как пятно, черной тушью, только ближние ветви деревьев на фоне какой-нибудь крупной звезды прорезаются, словно лиловое с серебром или черное кружево. Сладко пахнет лесною дорогой, чуть глинистой, пыльной. Еще ночь, а уже розовеет, и невидимое отчего-то угадывается, тонким контуром намечает себя. Ну, а звезды...

Воздух резкий, морозистый, пробирает насквозь. Хорошо войти в дом, в теплоту темных комнат и плотно прикрыть за собой дверь. Но в глазах еще долго мохнатые искры, как огнистые сверла, и мельчайшие брызги от них, отпечатанные в зрачке на все долгие предстоящие годы, может быть, навсегда.

* * *

Иногда вдруг до сердца пронзает «знакомость» пейзажа, память чувств, отозвавшихся на истоптанные скотиной бугры, на гусиную травку у берега чахлой речушки.

Отдаленнейшая деревенька в самом центре России. Дом и сад — все уже старовато, с «историей», с глубиной в позабытые нами года. Все могло бы порассказать нам немало легенд, будь порог, или печь, или банька на огороде говорящими.

День холодный, мозжащий, с переменною облачностью: то припустит вдруг дождик, то выглянет солнце, и тогда даже жарко, то мрак, ветер, холод, а так тянет на волю, в заливные луга, в синеющий вдалеке темный лес.

Наш хозяин покладист и тороват, он ведет нас к обрыву над речкой, над лугом, мимо сельского кладбища на бугорке, по траве, сплошь усыпанной ягодой и ромашкой да степными гвоздичками. Густая трава, как зеленые русалочки волосы, влажно путается в ногах, вот по щиколотку, вот по пояс, а цветов, а цветов... Мы бежим уже лугом, широким, покатым, почти как на крыльях: воздух свеж и слегка холодит, пахнет мятой, полынью, золотящейся дикой рябинкой.

А хозяин наш все приговаривает:

— Это что... Это что... Вот до леса дойдем, там увидите...

Слева серым крылом нас опять накрывает дождь: шумный, быстрый и частый, так что сразу же все промокли насквозь, а весело, хочется петь и смеяться. Все нам дарит хозяин: и луг, и цветы, и летящую с неба прохладную влагу.

И вдруг — предзакатное — на какое-то краткое время опять глянуло солнце. И над нами, над лугом, над самыми нашими головами, как в кино, — да, такое, наверно, возможно лишь только в кино, — одна над другой две огромные, яркие радуги, как цветные ворота. Мы кричим все:

— На счастье, на счастье!

И хозяин, нам кланяясь, говорит:

— Ну, пожалуйста, теперь в дом...

И мы входим в село по цветущему лугу сквозь цветные, двойные, дрожащие в небе ворота, где-то прямо под аркой, изогнувшейся круто. И я втайне, хотя и счастливая, суеверно загадываю в самом деле «на счастье». Ведь не каждый же день тебе дарят две радуги!

* * *

В те же дни нам был сделан и еще один царский подарок. Шли мы полем, извечно простым и извечно красивым ржаным русским полем, с васильками во ржи, по тропинке, проложенной поперек борозды: есть такая привычка у русского человека — ходить напрямки, хотя бы и по колдобинам, по разъезженной глине. После вчерашней непогоды тропинка была кое-где влажноватой, кое-где даже мокрой, ослизлой, солнце жарило сверху каким-то особенным жаром, выполняло задание за два дня, и мы сразу же с непривычки запарились, притомились.

Может быть, поэтому, а возможно, и оттого, что действительно лес на холмах, впереди был прекрасен, но только, увидя высокие красные сосны и ели, и мелкий осинничек, и березки, мы как-то невольно ускорили шаг. Вот она, голубая, зеленая и золотая прохлада! Вот он, терпкий, мучительный запах хвои, почему-то всегда напоминающий мне войну и землянки под Витебском, ледяные, с сочащейся под ногами подпочвенной ржавой

водой, с гулом выстрелов и разрывами жестко хлопавших мин.

Нет, тот запах был траурный, безнадежный, а этот — смолистый, бодрящий, живой! Здесь, на взгорках, все сухо, ветер ласково треплет одежду и волосы, освежает, неся в себе ароматы цветов, седых мхов, прошлогодней листвы и чего-то медвяного, но не меда.

Мы избегаем по вырубке на бугор с одинокими соснами, и все разом на миг замираем. Весь бугор, все полянки под соснами красные. От земляники. Здесь нельзя сделать шагу, чтобы не наступить на десятки, на сотни висящих, как алые капельки, ягод. И мы падаем в эти алые росы, в траву, чтобы прямо губами снимать эти ягодки с веточек, пить душистый, земной, сладкий сок. Так вот отчего так сладко дышал жаркий ветер, неся запахи меда!

Мы уже утолили свою первую жажду, мы уже собираем землянику в платочки, в огромные, свернутые, как зеленые раковины, лопушиные листья, а поляна по-прежнему красная, алая, необоримая. Вот и солнце печет все сильнее и сильнее, но нет силы уйти от невиданного еще мной никогда изобилия ягод.

— Ну, вот... Я же вам говорил, — улыбается наш хозяин. Он, видимо, тоже доволен: хотя земляничная эта поляна и для него самого неожиданность, он не думал найти здесь таких ранних ягод, а главное, столь изобильных.

Возвращаемся мы домой тем же полем и той же тропинкой во ржи, утомленные, разморенные солнцем и как будто бы даже подавленные щедротами русской природы: двойной радугой, этим полем с колосьями и васильками, лесными полянами с земляникой. И я думаю о большом человеческом счастье дарить.

Как я рада была бы подарить тебе нежный запах персидской сирени, разросшейся по оврагу в Воронеже, возле дома моей бабушки Аносовой, да нет ни сирени, ни дома в Воронеже, и бабушка умерла. Как я рада была бы тебе подарить блеск степных ковылей, да нет ковыля на распаханых землях, как нет ни тюльпанов в степи, ни пунцовых и алых диких маков, ни ирисов по оврагам... Ты не знаешь, как пахнут воронежские фиалки. Я хотела бы подарить тебе это доброе знание, да ведь и дороги забыты на родину, в зеленые сны моей

юности, где я когда-то ходила по душистым коврам из синих подснежников и лиловых фиалок.

Ты, наверное, не знаешь, как кричит водолюб, как недвижно стоят над прудом одноногие цапли, как красива аллея из старых вязов поздней осенью, когда она — на ветру — вся сквозная и сердитое золото палых листьев металлически шелестит под ногами. Только как подарить тебе это все, чего я и сама не имею?!

* * *

В той же долгой поездке довелось мне заполнять одну шуточную анкету в сорок с лишним вопросов. И там было все: ваш любимый цветок, ваш любимый писатель, ваше любимое домашнее животное и так далее. В общем, целая энциклопедия привязанностей и симпатий моей души, вся ее подноготная от рождения и до нынешних дней.

И, конечно, любимый цветок была ромашка. И, конечно, любимым животным была лошадь. Хотя их, любимых, у меня все же трое: лошадь, собака и кошка. Но лошадь всегда впереди, ей особое, главное место в моей биографии, в моих нежных чувствах.

Еще было спрошено о любимом мной дереве. И я, к удивлению хозяина, выбрала лох. Не березу, не яблоню и не дуб, а вот это не всем, вероятно, известное деревце, серебристое, все дрожащее от малейшего дуновения ветра, в длинных острых колючках. В конце мая — в начале июня желтоватые, блеклые, очень мелкие цветки этого дерева, похожие на золотые, душистые звезды, пахнут медом, каким-то таинственным ароматом, тягучим и горьким, и вся крона, гудящая пчелами, серебрится, как светлое, легкое облако. Там, в зеленом раю моей юности, в Каменной степи, все посадки были обсажены по краям лохом (в Средней Азии это дерево называют джида), и я помню его и цветущим, и голым, и в маленьких серебристых плодах, очень терпких, морщинистых, чуть мучнистых и совсем не мясистых, а кожистых, но достаточно сладких, чтобы мы повисали на дереве, цепляясь одеждой, обдирая все руки об острые, слегка выставленные под листвою шипы.

Лох всегда был со мною. Он рос и в Воронеже, в сквере, на площади Павших борцов. Он рос у отца, на Кубани, в болотистых, ржавых посадках по дороге к

реке, и мы всякий раз, возвращаясь с купания, любовались его пышной, серебряной кроной, вдыхали волшебный его аромат. Я встретила лох даже в Марьине осенью. Он стоял, старый друг, на окраине леса перед ярко-зеленой, цветистой лужайкой и, казалось, меня не узнал, без единого плодика, весь сухой и колючий...

Может быть, за колючесть я его и люблю?

Светлый облик его ни с чем не сравнится. Весь корявый и замкнутый, недоступный, он, наверное, рожден только лишь для степей, с этим узким листом, с этим маленьким, крестиком, желтым цветком, со своим ароматом, чем-то схожий по первому впечатлению с круглым, жестким, корявым, колючим шаром осеннего перекати-поля — почти родственник, брат, только лишь не несется по ветру.

Серебристый ковыль, серебристые листья лоха, серебристые, чуть розоватые веточки гонимых по ветру пушистых шаров под безрадостным, хмурым, насупленным небом...

Пункт пятнадцатый: ваше любимое дерево?

Лох.

* * *

После странствий по свету приятно опять возвратиться в родительский дом! Он, конечно, мне еще незнаком, и дорога к нему пока неизвестна, но в письме все рассказано точно: где нужно сойти с поезда, а где пересестись на автобус, как попасть до заката вечернего солнца к реке, к перевозчику, не опоздать бы, потому что горячее южное солнце не горит до полночи на небе стоячим пожаром, как где-нибудь под Москвой, освещая и землю, и воду, и каждую тропку, а тотчас как будто бы прячется в черную яму, и весь свет, вся земля выключаются сразу; за каких-нибудь десять — пятнадцать минут на поля, на станицы, на реку, на ветлы здесь валится ночь, и всякая жизнь прекращается до утра, закрываются форточки, окна и двери, на тропинках, под окнами, занимают посты кобели — и уже никуда не пройдешь, не проедешь...

Я тряслась не в автобусе, а, как всегда, как привычнее, на попутных, и все эти подробности меня как-то нервно тревожили: ждать-то будут автобус, а он прибывает значительно позже той самой минуты, когда солнце прячется в свою черную яму, значит, ахи и охи, и

где я найду перевозчика, если тоже приеду позднее заката, и как отыскать в темноте паром, он за пять километров от дома, значит, пять километров туда, пять обратно, пешком, вдоль реки по тропинке, в чащобах кустарников да в высокой траве, а там, может быть, жабы да змеи...

Пыль пушистым хвостом отлетает от нашей машины и косо ложится на придорожные травы. Справа, слева равнина, как стол, ни единого холмика, ни оврага, ни кустика. Но вот в вечереющем воздухе блеск воды за грядой тополей, протянувшихся в небо, подобно каким-то зеленым снарядам, узким, хищным и длинным — это карты засеянных рисом полей, паутина каналов, главный ствол с деревянным мостом; мы промчались по ссохшимся доскам моста, словно гром, с перекатом и грохотом, и встали как вкопанные, — шофер с мятым, ржавым ведром поплелся к арыку. А солнце все ниже...

Вот шофер наконец зачерпнул желтой, грязной воды и залил ее в радиатор. Вот он закурил, постоял, потоптался, а солнце все ниже... Вот он сел наконец, хлопнул дверцей, мотор зачихал, весь затрясся и, фыркнув, умолк — норовистая, из железа и проводов, вся пропахшая вонью бензина ученая лошадь не хотела работать.

Поздно ночью, когда люди в поселке уже все крепко спали, я ввалилась в родительский дом, озираясь, — мне здесь кажется все неуютным и странным: и веранда, обвитая виноградом, и крыльцо, и высокая, круглая клумба в розовато-сиреневом облаке маттиолы. Незнакомые звезды, такие огромные, яркие, освещавшие мне дорогу от реки и парома, влажно, ласково зеленеют на небе...

Зажигается электричество, мягкий, розовый абажур наполняет всю комнату искажающим очертания хилым, призрачным светом. Но и он, этот призрачный свет, не скрывает, что отец постарел, что мать, прежде такая веселая, быстрая, легкая, нынче движется медленней, в тихой, ровной усталости, уже ставшей привычной. Но и здесь, как и прежде, тот же быт, те же вещи, простые и грубые: стол и шкаф, неуютная койка, тот же письменный стол, тот же самый барометр, часы и настольная лампа.

Но при взгляде на эти родные мне лица, на стол с клеенкой, на узкую койку я вдруг понимаю, с какой

темной силой, еще молодой и красивый, сказал как-то Блок:

Когда я стал дряхлеть и стынуть,
Поэт, привыкший к сединам,
Мне захотелось отодвинуть
Конец, сужденный старикам...

И что-то сжимает мне горло, какая-то боль. А они, мои самые близкие люди, уже суетятся, готовят на стол, подают, словно нет этой грозной великой проблемы, словно их не коснется движение времени, словно я застрахована от грядущих раскаяний, поздних слез.

Мне их жалко, моих одиноких, седых стариков.

Но ведь вслух-то не скажешь! Отец только хмыкнет, промолчит иронически, мать, та в помощи, в сострадании почему-то усматривает всегда посягательство на ее суверенное право хозяйки, на почти безраздельное полномочие в огороде и дома. Разве что разрешит сходить на реку за водой, да и то с оговорками. Нет, ни словом, ни взглядом нельзя рассказать то, что чувствуешь: мои самые близкие люди ничего не приемлют!

Вот и бродишь аллеями, между темными туями и разросшимся, пышным жасмином, отделяющим полевою дорогу от дома, или в старом розарии, окаймленном широкими древовидными сиренями. Если есть земной рай, не небесный, то, наверно, он здесь, в старых плавнях, на всегда увлажненных, удобренных илом полях, в этом дивном оазисе с виноградниками и бахчами, в яркой зелени абрикосовых и ореховых рощ, омываемых полноводной рекой, бурной, глинистой, часто холодной. Но и в этом раю есть изгнанники — по годам, по болезням...

* * *

Много долгих сияющих лет я ездила в этот тихий, пленительный уголок.

Мне нравится молчаливая дружба наших мужчин: как доверчиво по вечерам они курят на теплом, нагретом на солнце крылечке. Как готовят на утро наживку и снасти. Как поглядывают друг на друга, когда говорят.

Что-то теплое, прежде мне незнакомое возникает в душе у меня, когда вижу фигуру отца в такие часы.

Но так коротко лето, так недолог наш отпуск!

И все хочется бежать, осмотреть, повидать все, что мне так понравилось за лето: и песчаную отмель на бурной, коричнево-рыжей от глины реке, и аллею ту-

товников с упавшими на траву желтоватыми и чернильно-лиловыми сладкими ягодами, еще раз взглянуть на зеленый закат за Солодким, среди низеньких лесополос.

Почему-то мне помнится жаркий, душный и дымный от испарений, как будто тропический вечер.

Над возделанными полями, над сизыми в полутьме виноградниками поднялась, как видение, серебристо-зеленая колдовская луна. Все в ее расточившемся, трепетном свете стало зыбким, неуловимым: и линия горизонта, и контуры старых деревьев в поселке, и далекие лесополосы в той стороне, где недавно померк лиловатый, малиновый и зеленый закат. Лунный свет, словно дым, за клубился над листьями, над цветами, над пылью дороги, потянулся тончайшими нитями, как паутина, в глубину, в темноту созревающих, пахнущих медом садов, заскользил над землей, зашаманил, обещая, томя, наполняя весь мир ожиданием, ощущением предстоящего счастья...

Да, в такой лунный вечер, конечно же, не усидишь на крыльце, перед клумбами, со стариками. Мы с товарищем убегаем, почти улетаем по лунной дороге в поля, словно ангелы, за спиной, наверно, прозрачные белые лунные крылья...

А луна все томительней, зеленей, а влажная тишина все настойчивей, гуще — и вот первая робость замедляет наш шаг и наше движение в темных аллеях. Чу! Что это такое? Мы вздрагиваем. Деревянно, подобно трещотке, кто-то рядом заскрежетал на стволе пожелтевшей гледичии, словно леший, пугнул нас, мы замерли на дороге.

— Да это лягушка древесная!

— А это? — В кустах убегающий шорох. — Змея?!

— Нет, не знаю, сейчас посмотрю...

Мой товарищ рванулся в кусты и вынес какой-то комочек.

— Потрогай!

— Ой, колетса! Ежи-ик!

— Ежик. Славный какой! Побежал, не догонишь...

Я кладу существо, растопырившее иголки, в свою шелковую косынку и несу его в узелке, притаившегося, в подарок отцу: он ведь любит живое.

Мы идем между лоз винограда, золотящихся и зеленых, сквозь ажурные тени.

И вдруг сторож откуда-то из темноты. В эту пору налива и созревания гроздей он ночует здесь, на полях.

Наверно, давненько приметил «воришек» и злорадно подумал: «Задам, гадам, жару!» Сторож быстро, молчком подошел к нам, не спрашивая ничего: кто, откуда, зачем, и ладонями хлоп о мой узелок! И молча же отскочил, затряс руки от боли. Отвернулся, пошел.

Как мы хохотали! Мы падали на дорогу от смеха, нас смех сотрясал, словно судороги, так нелепа была эта безмолвная сцена, так жестоко наказан был злой, недоверчивый человек! Обессилев от смеха, мы шли уже возле тутовников, все еще задыхаясь, вытирая глаза от непрошенных слез. Но, однако же, лунный свет почему-то померк, лунный диск стал почти жестяным, прозаичным. Все настойчивей и нахальней стало грызть комарье. Где-то в поле на наш разговор откликнулся перепел: «Спать пора!» И опять повторил яснее, спокойней: «Спать пора!»

Что ж, пора так пора.

Мы свернули леском и вышли на дамбу, к широкой реке, катившей в молчании свои мутные, торопливые волны, освещенные металлическим лунным светом. Серебристые ветлы дремали, роняя на землю узор, состоящий из света и теней. Где-то ровно постукивал, вероятно, за островами, мотор: шел катер из Ачуева. Где-то громко залаяла собачонка. За рекою спросонок пропел петушок, молодой еще, хриплоголосый. Но в душе что-то глухо застыло, как будто бы мы наткнулись на невидимую черту, на преграду и как будто не люди, не человек, — вот действительно царь природы! — а эта луна была виновата, что вокруг все померкло, стало плоским, обыденным, словно вырезанным из железа. И мне вдруг захотелось очертить вокруг нас двоих некий невидимый круг, хоть вот этим валяющимся на земле красноталовым прутиком, чтобы нас никогда не касалась жесткость слепых прозаизмов, ненавистных мне будней, чтобы лунные крылья, зеленея, лучились и реяли за спиной в лунном призрачном свете совсем как живые, реальные силы — в двести, в триста, в четвереста ангельских сил, уносящих тебя в неизвестность, куда-то вперед, в желанное людям. Но разве такое возможно?!

Мы уходим домой, в ночь, в суровую темноту.

Отец кормит всю живность в округе. Поэтому ночью огромный приبلудный пес громким лаем, размеренным, монотонным, отрабатывает весь съеденный за день хлеб. «Гав! Гав!» И сон обрывается, снова вяжется в узелок и вытягивается в тончайшую нитку только лишь для того, чтобы тут же, немедленно оборваться тем же самым басом, могучим, иерихонским: «Гав! Гав!»

Ах, будь ты неладен!

И всего-то давали похлебку и черные корки, а сколько усердия, чувства долга в собаке! Можно думать, что кто-то потребует от нее обстоятельнейший и подробнейший в письменном виде отчет о проделанной за ночь собачьей работе: «И хотел бы не лаять, да не могу-с. Такова наша служба-с!»

Почему-то мне здесь, в этом тихом поселке, живется легко. Я хожу, к полнейшему неудовольствию мамы, в своем стареньком, «самшитовом» — сама шила — сарафанчике и — о, ужас! — всегда босиком.

С особенным удовольствием отправляюсь за свежей водой, хотя это довольно-таки далеко. Иногда я подолгу стою над колодцем и смотрю, как гремит, убегая, цепь с привязанным к ней оцинкованным ведром. Вот ведро уже шлепнулось о тягучую черную воду и сразу же стало тяжелым, почти неподъемным, а я, навалившись на сруб, все гляжу вниз, в глубину, размышляя: а что там таится в сырой темноте, в этой бездне? Есть там что-нибудь различимое глазом или только один вечный мрак, вечный холод?

Отчего там и мох на сыром, желтом срубе, и щепочки, и песчинки, а мы пьем всегда чистую, свежую воду? Где глубинные эти истоки, несущие на поверхность прозрачную, как бесцветный редчайший кристалл, драгоценную влагу? Я с ним связана, с этим глубинным истоком, какой-то невидимой нитью, каким-то родством, я обязана ему жизнью, но не видела никогда и не знаю, каков он на вид.

Возвращаясь с водой, я в волнении размышляю по какой-то случайной и косвенной ассоциации и о тех незнакомых мне людях, которые положили начало всей

нашей семье,— о житейских истоках. Кто они, эти старые женщины и мужчины? (Почему-то в моем представлении они не были молодыми.) Чем они занимались? Почему я не знаю, откуда они?

Мать мне вечером долго рассказывала, припоминая со всеми подробностями, с расстановкой,— я, конечно, всего не запомнила,— о дедах и прадедах. Их суровые образы поднимались над полем, над лесом так зримо, что я бросилась сразу к бумаге скорей записать. Это были, конечно, стихи, может, даже начало поэмы:

Мой прадед, воронежский прасол,
Могучий корявый старик,
Не тратил он слов понапрасну
И книжек читать не привык.
Умел находить он по звездам
Дорогу в ночной тишине
И вечером, очень поздним,
Домой возвращался к жене...

Мне в тот вечер особенно нравилось слово «прасол»: что-то виделось в нем романтическое. Но мама меня охладила, сказав, что прасолы — это торговцы скотом. Таким прасолом, например, был земляк мой, поэт Алексей Кольцов. Не уверена, но, возможно, поэтому и возникло в моей голове это ложное представление о труде моих предков как о чем-то волнующем, праздничном, необычном.

Да, какие-то мои очень дальние родственники по отцу были прасолы и скупали по селам и хуторам скот, затем гнали гурты на ярмарку в города — в Воронеж, в Елец или в Липецк, в Валуйки. Труд был очень тяжел, жизнь — груба и безрадостна. Прасол — тот же кочевник, он вечно в дороге. Только и разнообразят эту жизнь случайная встреча в степи с чумаками, да ночлег где-нибудь у реки, в чистом поле, под звездами, да далекая песня.

Сгустились тучи, ветер веет,
Трава пустынная шумит;
Как черный полог, ночь висит,
И даль пространная чернеет;
Лишь там, в дали степи обширной,
Как тайный луч звезды призывной,
Зажжен случайною рукой,
Горит огонь во тьме ночной.
Унылый путник, запоздалый,
Один среди глухих степей,
Плетусь к ночлегу; на своей

Клячонке тощей и усталой
Держу я путь к тому огню;
Ему я рад, как счастья дню.

И кто так пристально, средь ночи,
Вперял на деву страстны очи,
Кто, не смыкая зорких глаз,
Кто так стерег условный час,
Как я, с походною торбою,
Трясаясь на кляче чуть живой,
Встречал огонь во тьме ночной?
То наш очаг горит звездой,
То сплет каша степняка
Под песнь родную чумака!..

Так свидетельствует Кольцов о трудностях этой далекой, забытой сегодня профессии.

Помню, в доме у нас, в Воронеже, до войны стоял большой медный сияющий самовар затейливой, удивительной формы: в виде чайника. Полукруглая ручка, носик, все, как надо для чайника, а посередине труба и крышка с конфоркой, внизу — для поддувала — решетка. Так ясно и представляешь себе, как стоит этот самовар в темноте, у костра, на расстеленной белой кошке, искры сыплются из трубы, а вокруг сидят загорелые, бородатые грубые люди в армяках, подпоясанных кушаками, в смазных сапогах. Пахнет дымом, полынью, теплым духом скотины, дегтем, старой овчиной, а в котле каша с салом — сливная, какую варят косари на лугах да вот эти проезжие, полудикие прасолы. Нет, не зря, видать, мама шутила, когда-то говоря, что меня «цыгане из кибитки потеряли». Что-то есть и во мне от далекой, не узнанной мною той жизни, почти кочевой. Через годы и годы протянулись какие-то теплые нити оттуда, может быть, прядка дыма долетела от тех догоревших костров — и вот чем-то волнует, щекочет мне ноздри.

Мне кажется, эта линия моих предков — по отцу — гораздо сильнее, отчетливей сказывается в нашей семье, чем другая, пришедшая вместе с матерью. Те истоки, как я узнала, берут свое начало на Смоленщине; новость, прямо скажем, слегка запоздалая, — ведь в войну я Смоленщину всю исходила вдоль и поперек, и извездила, и исползала, пригибаясь под разрывами мин и снарядов. Знать бы ранее, что в какой-то мере это тоже моя «прародина», может быть, не кляла бы ее заодно с товарищами по армии, не ругала бы за гнилые чащобы, за

кочкарники да болота, да за глинистые дороги, в дождь похожие на трясину. Я ведь тоже шутила вместе со всеми, что «бог создал землю, а черт Смоленскую область». А выходит, родня! Да какая! Ближайшая!

Мои родичи, крепостные крестьяне помещика Корсакова (может быть, той же ветви, что связана с Римским-Корсаковым, кто знает?!), в свое время вышли на волю с фамилией, данной им по владельцу. Потом перебрались в Воронеж. Здесь они породнились с семьей Аносовых, пришедших с Дона, из Павловска, и пошли не крестьяне уже — горожане, мещане, ремесленники. Дед Аносов — тот был часовщик, великий умелец. Помню, все мы переносили по очереди дареные его часики с черным бантиком, которые надевались не на руку, а прикалывались на груди, как великое украшение.

Все погибло во время войны: и бревенчатый дом одной нашей бабки, где мы прожили целых одиннадцать лет, вплоть до 41-го года, и мазанка бабки другой, на Гусиновке, у оврага, в разливах сирени. Теперь нет корней, и летим мы по ветру, словно пух тополиный. Книжки в старых, извитых славянской вязью, золоченых переплетах, старинные сундуки с широкими юбками и цветастыми полушалками, образа в закопченных старинных окладах, горка с древней щербатой посудой — все давно стало пылью, золою и щебнем. А люди, которые нынче живут на нашей усадьбе, в старом нашем дворе, и дом-то поставили по-иному, боком, как будто чего-то боясь, укрываясь от взгляда. Уж не думают ли они, что я вдруг да приеду, отниму этот дом?

Нет, я, все это вспоминая, не хотела бы жить старой жизнью в том старом, бревенчатом доме. Точно так же, как, вспоминая о детстве, не хочешь, не жаждешь ведь впасть в детство: смешно! Дом тот был и тесен и мал, а окна подслеповаты. Но такой старый дом обязательно должен быть в жизни каждого человека: для возможности сравнивать, возвращаясь в него. И еще для того, чтобы знать, кто ты есть. Это самое главное. Без такого истока, без познания своей связи с окружающим миром, без родства с ним в веках нет здорового, доброго продолжения жизни.

Повидавши за жизнь и родную Смоленщину, и родную Донщину, и то плодородное и цветущее, словно рай, иногда же дотла выгорающее от суховея междуречье, чуть всхолмленный водораздел, что лежит между До-

ном и Хопром, и далекие азиатские земли, где мы прожили много лет и где вечерами резко пахнет сухим кизяком, кумысом и вяленой дыней, и те жаркие, пыльные, в белых акациях хутора и станицы Кубани, где отец жил впоследствии, я по-новому понимаю свою милую землю.

Чувство Родины необъятно, огромно, его нельзя сузить до размера тропинки, нельзя упростить до понятия вяза, дуба или клена. В этом чувстве есть все, и не все обязательно доброе: есть и гнев, и презрение, и любовь, и боязнь, и отвага, даже горькое горе. Но недаром же свидетельствует русский народ: «За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое». Так что, если не все в нашей Родине радость, мы и этого не отвергаем; выстраданное, пронесенное через муки и слезы, безусловно, дороже того, что дается легко.

Я невольно задумываюсь над одним очень сложным вопросом: неужели когда-нибудь люди не будут любить свою Родину? То есть русскому человеку будет вдруг безразлично, где жить, все равно: в Смоленске, на острове Пасхи или в шумном Нью-Йорке.

Когда-то была и у меня привычка: проезжая красивейший уголок, где-нибудь мимо рослых лесов Беловежи или в мягких долинах Японии, у ручья, в блеске, в грохоте водопадов, с вершиной горы, поросшей бамбуком, или где-нибудь у таинственных голубоватых озер возле Пльзеня, в зеленых полях возле Вислы и Варты, во фракийских садах, я сама себе задавала вопрос: вот не будет границ, вся земля будет общим большим государством, осталась ли бы я жить навсегда ну хоть здесь? Или здесь? Или здесь? И при этом в сомнении застывала, оглядываясь из окна. Нет, наверное, не осталась бы. Наверное, затосковала бы по своим ржаным и картофельным, занесенным снегами полям.

Теперь мне и думать смешно о тех странных вопросах.

Никогда и нигде я не буду счастливой, как только на Родине.

Пусть глинисты, непроезжи дороги, пусть темны и унылы неприятные деревеньки с порыжевшими от дождей, непричесанными, неприглаженными лесами вдаль, чуть темнеющими на горизонте, как зубцы древних стен. Только здесь, навсегда. Это вызрело не вчера, не сегодня, а за долгие годы — вместе с деревом под

окном, вместе с серой травой и вон с тем обелиском, что стоит на скрещении дорог так задумчиво, с неизбывною грустью.

Видно, правильно говорят: где сосна выросла, там она и красна. А уж что человек, — он не дерево!

* * *

Мама, мама! Ну, вот мы и дожили до черного дня!

Для нас дальше жизнь, неурядицы и болезни, и весенние птицы, и распутица под окном, а он уже мертв. Он закончил свой путь по любимой, родной, непогожей земле.

Вот хотел чашку кофе, вот просил повернуть лицом к стенке, и вот нет ничего — ни надежд, ни желаний, ни даже забвения. Ибо все он оставил запомнить другим, мне, тебе, окружающим людям, которых в течение полувек а кормил самолично посеянным, убранным и обмолоченным хлебом.

Неужели когда-нибудь все забудется нами: и тот хлеб, и тот солнечный, яркий июньский день, когда все зацветало вокруг, все дышало любовью и счастьем?

Умирают всегда одиноко, обособленно от других, а отец и при жизни, наверное, был одиноким. Ведь понятие одиночества не зависит от арифметики, когда $1+1=2$; это высшая математика, где один может быть и один, но плюс многие миллионы людей и, что самое страшное, может быть и один в полном смысле, в космическом, планетарном. И теперь ничего не исправишь, не скажешь: «Это я виновата». Виноватого не сыскать...

* * *

Может быть, оттого, что мы вместе с детством теряем и чувство гармонии с окружающим миром, мы потом, повзрослев, поумнев, потому так и ищем ее, в слабой, жалкой надежде вернуть, иногда до глубоких седин, и все мечемся, ездим, летаем, все разыскиваем по чужим дальним странам, по полям и лесам, непохожим, пожалуй, на те дорогие, но не менее сладким, заманчивым. И когда не отыскиваем ее, ту слиянность, ту связь с окружающей нас природой, то в конечном итоге не очень-то и печалимся. Потому что на смену ребяческой к нам приходит другая гармония — зрелой, жесткой, ответственной

мысли. И умение познавать нечто солнечное, прекрасное и в прибитых дождями, сырых ржавых листьях, и в сырой, развороченной, прилипающей, черной, «грязной» земле, и в какой-нибудь скользкой гадкой лягушке, а не только лишь в романтических соловьях.

Тот, кто думает, что человеку обязательно нужен только теплый клозет и серое, городского типа пятиэтажное здание среди спеющих желтых полей,— счастье мыслится этажами! — тот, по-моему, глубоко ошибается. Иногда человеку дороже удобств его личное право на степную ли, на лесную ли глухомань. Как какому-нибудь журавлю после жаркого южного солнца нужно полное право на заросшее камышами болото. Как отцу моему, старику, всю жизнь были нужны расчерченные на квадраты, затопленные низины и гряды тутовника за окном, на фоне вечернего неба. Другой, лучшей жизни он себе не искал, хотя и бывал в городах и ценил все удобства.

Мы должны обязательно сохранить и для внуков и правнуков это личное право на глухие края, где к тебе возвращается твое доброе детство: молоко по утрам, сладкий сон в тишине — без моторов, без радио. И сияние за окном синих ласковых звезд. Ритмы города и деревни — они перебивчивы, разностильны, и в этой священной их разностильности, в разноточности есть какое-то неоцененное, еще не постигнутое человечеством счастье. Я все думаю: не напрасно ли мы насаждаем наш фабричный закон для полей и лугов? Не спохватимся ли, когда будет уже слишком поздно? Есть явления необратимые, как сама смерть. А поэтому неподсудные экономике. Конечно, не нужно продлевать старость деревни, но как надо продлить ее чистую свежую молодость!

В ней основа здоровья и молодость нации.

* * *

Когда человек жив, здоров и находится рядом, он не кажется нам уж таким дорогим и родным, мы не знаем цены его взглядам, поступкам. Но вот нет человека, и только теперь — такова наша логика! — начинаешь задумываться над сказанным им когда-то. И по-новому смотришь на вещи, которые он любил, — теперь они вместо него говорят, — на животных, которые его окружали,

ну хотя бы на кошку, которую он считал своим другом, дороже собаки.

В шесть утра трехшерстная — серо-белая, с рыжими пятнами — Мурка всегда провожала отца на работу и бежала за ним почти до конца цветника. Там она, потеревшись о его сапоги и мурлыча, завязав много раз хвост кольцом так и эдак, прощалась с ним и долго сидела одна на тропинке, глядела с вниманием вслед, пока тот не скроется с глаз: в контору ей был вход заказан.

Вечером, когда били в рельс, Мурка, радостно задрав хвост трубой, мчалась встретить отца на тропинке. Сядет, вытянув шею, насторожив треугольничком свои пестрые уши, и вдруг кинется под ноги, громко мурлыча с какой-то ликующей вопросительной интонацией, что-то вроде: «Мр-рр, мрр-рр? Ты жив? Ну, ты жив?..» И подпрыгивает при этом, чтобы ткнуться пушистой, пятнистой головой в его мягкую, ласкающую ладонь, что, наверное, означает мольбу: «Ну, погладь, ну, погладь!» И он гладил, спокойно шагая усталой, довольной походкой. Иногда, в свою очередь, и он ее громко спрашивал:

— Ну что, Мурка, что? Что ты, Мурочка?..

В воскресенье, на раннем рассвете, они оба шли на рыбалку: отец шел впереди, неся удочки и ведро, а кошка бежала чуть сзади, подняв хвост трубой и волнуясь, уже предвкушая добычу.

Река у нас мутная, очень быстрая и холодная, потому что в жаркие летние дни в горах тает снег, и сюда, на равнину, выносит еще не согревшиеся, ледяные потоки. Берег крут и обрывист. Кое-где он слегка укреплен земляной дамбой, лесными посадками. У отца здесь, в кустарниках, много излюбленных мест, где можно пригреться на солнце и слушать, как на той стороне, за рекой, гонят стадо, как где-то фырчит недовольный мотор, как щебечут веселые птицы. Мурка рядом сидит, наострив свои желто-серые уши. Окуньки все достанутся ей. Она их ждет терпеливо, совсем как собака, которой приказано быть «у ноги».

Соменок ли, щучка попалась, Мурка даже не глянет.

Домой они возвращаются уже несколько по-иному. Мурка мчится, бежит впереди, а отец идет сзади, чуть прячет усмешку в усы.

За обедом мать цыкнет на Мурку: «А ну, не вертись!» И та обернется с такой обидой, отойдет и с пре-

зрительным видом усядется где-нибудь в стороне, равнодушно закрыв свои желтые очи. Только чуть-чуть подсветит насмешливым огоньком вертикальные щелочки глаз: «Мол, поели уже или нет? И чего это тянут? Как долго!»

Мурка ела лишь то, что положит отец.

Нальет кто-нибудь другой молока, Мурка только понюхает и отойдет, нервно дернув кончиком довольно-таки некрасивого обрубленного дверью хвоста: «Ишь чего захотели! Из ваших-то рук?!» Спать уляжется на отцовской кровати, на собственном, давно уже вылежанном месте, — такая уютная, пыльная вдавлинка на крахмальном сиреневом покрывале, как раз посредине. Так что отец очень долго умащивается на самом краю, все теснится, боится лишний раз повернуться с боку на бок: а вдруг да потревожит толстенную, развалившуюся во весь рост, посапывающую во сне Мурку.

Даже очень больной, умирая, он боялся подвинуться: Мурка вот-вот, со дня на день, ожидала котят.

Я не знаю, как Мурка смотрела на гроб, на чужие, ей незнакомые сапоги, на голый, как будто бы выкошенный цветник, где все было срезано дочи́ста, на венок, на могилу, — я в то время там не была.

Я приехала через год, ранним летом, когда Мурка играла в траве, на лужайке, с котятами. Я окликнула ее: — Мурка!

Она услышала мой голос, видно, очень похожий, что-то дрогнуло в ней, словно что-то пронзило ее, она кинулась молнией прямо в ноги мне, заплелась, но увидела, что не он, и мгновенно отпрянула, свернув гибкое свое тело, как стальную пружину, отпрыгнула, повернулась с дороги и пошла как-то горестно, одиноко, опустив свою серую, пеструю голову.

Сколько я ни звала ее, она больше не подошла.

Поздно вечером Мурка сидела на отцовском табурете за его письменным столом и смотрела в окно, в ту же самую точку на горизонте, за большим орошаемым полем, за виноградником, за грядой тутовника, куда пряталось солнце и куда отец вечерами в задумчивости смотрел, покуривая свернутую из газетной бумаги вонючую самокрутку. Что было в этот момент в звериной ее голове? О чем Мурка думала? Пятнистая ее мордочка в полутьме показалась мне горестной, очень мудрой, старушечьей, в то же время такой отрешенно-жестокой ко

всем остальным в своей верности лишь одному человеку, в почти осязаемой непримиримости к его смерти.

— Мурка, Мурка... — окликнула я ее. — Что ты, Мурочка?

Она даже не обернулась.

* * *

Я сегодня уже забываю отцовские цветники. А ведь именно в них и просвечивала на солнце его замкнутая душа. Вся лужайка под окнами так ликующе, так волшебной пестрела цветами, и у каждого из цветов был свой час, и свое настроение, и свой собственный, непреклонный характер.

Почему-то мне нравился алиссум, некрещеный цветок, у него до сих пор еще нет настоящего русского имени, одна лишь латынь. Но, невзрачный, белесый, посеянный вдоль дорожек и по краям пышных клумб, он один заливает весь цветник и всю округу своим ароматом, и пчелы блаженно урчат, когда роются в мягких, мохнатых его неприметных цветках, доживающих до морозов, уходящих под снег.

Бывает, что в октябре, в ноябре, после первого заморозка, снег обтаеет на клумбах — и вот снова откуда-то долетает, струится чуть грустный, пронзающий душу, глухой аромат. А оглянешься — ничего, кроме втоптаных в землю, похожих на грязные клочья снега белесых цветков. Это алиссум, вечный труженик, настоящий рабочий, угнездившийся и прижившийся на черноземе и живущий под северным небом, равноправный с ночной красавицей и ноготками, с пряно пахнущим табаком, львиным зевом, с душистым горошком.

Последнее письмо отца, написанное сухим, мелким почерком, очень четким, красивым, посвящало меня подробнейшим образом в отцовские планы — в письмах был он куда более красноречивым, чем при встречах, — что посеет и что посадит весной на грядках, какие цветы. Среди прочего он просил меня прислать ему луковку удивившего его некогда черного гладиолуса. Гладиолус был послан. Но взошел и расцвел он, к сожалению, слишком поздно, когда некому было уже поливать его и сидеть на крыльце, любоваться таинственной глубиной его бархатной черноты.

Да, отец был любитель различного рода диких.

Сколько помню себя, столько помню его увлечения: и клумбы под окнами дома, и поля на лимане он сделал как бы некоей лабораторией, где каждый росток был неслыханным, экзотичным и что-то хорошее обещал впереди.

Приедешь, бывало, домой, встанешь утром пораньше и бежишь к цветнику, на поля, за посадки, высматривая на грядках какую-нибудь непривычную для глаза новинку. Чего только за жизнь я не видела в воронежском нашем степняцком, не очень-то жарком краю — и цветущий хлопчатник, и кенаф, и канатник, и роскошные ароматные дыни весом в пуд, и арахис, и бататы, и рис суходольный, неполивной, вызревающий до снегов, Для кого-нибудь, может быть, совсем не экзотика, а обычное дело, а для наших метелей да вьюг — небывалая вещь, удивление людям.

Переехав на юг, на Кубань, постарев, мой отец не забросил своих увлечений. То на клумбе цветет оранжево-черная гайлардия, и я не уверена, что цветок привлекал отца только лишь красотой своего венчика, а не вычурным именем, а то луноцвет с его вялыми, приметными сероватыми листьями. Только спрячется солнце за крыши домов, выходи и смотри, как стремительно набухает зеленый бутон, как он живо, напористо шевелится, расправляет прижатые плотно друг к другу лимонно-зеленые или желтые шелковистые лепестки. За каких-нибудь десять — пятнадцать минут на глазах расцветает прекрасный цветок, воистину лунный, как бы сотканный из сияния лунных лучей, золотистых, серебряных и зеленоватых.

Росла у него и мартиния, или «бизонья трава», — колючие толстые стебли, низко стелющиеся по земле наподобие тыквы, листья серые, копытообразные, плод черный, колючий, похожий на большого жука с двумя загнутыми вовнутрь колючими же рогами.

Посеял отец эту «бизонью траву», как цветок, на взлелеянных клумбах. Оказалось, что мартиния — злейший сорняк, который в Америке, в прериях, разносили бизоны. Рогатые и колючие, словно черти, плоды цеплялись за шерсть на брюхе, за хвосты диких, сильных животных и так расползались по свету, глуша травы и полевые цветы, обеспложивая и высасывая плодородную почву.

Мартиния и у нас расползлась неумоимо по клумбам,

давя лилии и георгины, завиваясь могучими стеблями вокруг канн.

Поздней осенью жгли ботву, вырубали крепчайшие, как телефонные жилы, глубокие корни. Напоминанием о «бизоньей траве» остались лежать на столе у отца лишь два черных рогатых плода, величиною с ладонь — действительно чертово семя!

После смерти отца грустно было ходить среди клумб, в алом облаке из цветущих настурций и маков, среди белых звездастых нарциссов: они жили опять, в другом поколении, и не ведали ни о чем — ни о горьких раздумьях, ни о горьких потерях. Они даже не знали, что будет зима, снег сугробами, прямо до окон, ледяные, суровые, злые ветры с Азовского моря.

Я прошла по тропинке и увидела донник.

Простой, скромный донник. Он обычно растет по степи, вдоль дорог, с желтоватыми, некрасивыми, мелко собранными цветками. На родине у меня, на Дону, мужики собирают эти цветки и сушат, потом добавляют в махорку, «для сладимости», для аромата. После мощной, разлапистой, расползающейся на полсвета «бизоньей травы» этот донник на грядке был таким неуместным, что я усомнилась: он никак не вязался с левкоями и нарциссами.

— Мама, это сорвать? — показала я на разросшийся куст.

— Что ты! Что ты! — поспешно откликнулась та. — Бог с тобой! Сам отец посадил. Все боялся, что я его выколю, приказал мне не трогать... Видишь, как укрепился, разросся!

В старом доме, в Воронеже, такой донник всю зиму висел в пучках в сенях на стенке и пахнул июлем, степным суховеем, малиновым солнцем. Для меня сейчас, укрепившись на грядке, он был как бы братом и напомнил о родине, о цветущих посадках, о Каменной степи... Я вдохнула его аромат и подумала, что не знала отца даже в этом, в обыденной жизни. Что он больше любил? И о чем вспоминал, живя здесь, на Кубани? Отчего от гайлардии, от луноцветы, от «бизоньей травы» он пришел к незаметному, скромному доннику? Как случилось, что это простое растение стало чем-то особенным, дорогим здесь, на юге, особенно перед смертью?

Мой отец — удивительный человек, никогда ничего не расскажет. А я не расспрашивала его ни о чем: может

быть, из стеснения, из боязни затронуть какую-то рану, из надежды, что жизнь еще долгая, где-то там, впереди, еще будет спокойное, тихое время, и мы побеседуем, хорошо понимая друг друга.

Но никто уже не ответит на безмолвный вопрос.

И донник, разросшийся под окном, тоже грустно молчит, растопылив на грядке зеленые ветки.

* * *

К сожалению, человек не бессмертен.

И один утешает себя тем, что уж он-то обязательно повторится в точных копиях — своих детях. Другой — что он после смерти будет жить вечно в раю. Третий хочет оставить по себе хорошую память работой иль подвигом...

Но вот дети выросли наконец, и тут выясняется, что они вовсе не схожи с тобой ни внешне, ни во взглядах на жизнь, ни в привычках. Что ни рая, ни ада давно уже нет, даже мучиться вечно не будешь, не то что блаженствовать. Иногда забываются и великие книги, и съеденный хлеб. Как ни странно и ни печально, забывается даже подвиг, геройство. Уже новые поколения говорят: «Ну, подумаешь, вы воевали! Не век же вам этим гордиться! И много ли надо ума, чтоб подняться и идти на огонь пулемета!»

Остаешься лежать удобрением в твердой, глинистой, мокрой земле. И вот это единственная награда тебе за все муки, за труд, за любовь, за великую радость и нежность, если ты был когда-то веселым и нежным.

Я иду по земле — и мне кажется, я ступаю по чьим-то надеждам, по слезам, по улыбкам миллионов здесь живших когда-то людей, по их радостям и печалям, по несбывшейся чьей-то далекой мечте: вот она, воплотилась в сияющую, как жемчужное облачко, неразвернутую ромашку. А вот этот лиловый, поднявшийся над травой колокольчик звонит по отвергнутой чьей-то любви. А этот цветок — мы его называем кукушкины слезки, — это слезы какой-нибудь ветреной глупенькой женщины, не ласкавшей и не любившей своих кровных детей...

Далеко, под ветрами и бурями, деревенское кладбище, сплошь поросшее жесткой, ржавой травой и пустырником. Там могилу сейчас охраняют большие деревья с

широкими листьями: тополь, вяз, абрикос, а внизу, на могиле, цветы. Оттого-то земля для меня есть великая драгоценность, которую нельзя ни продать никому, ни дружески, просто так, подарить, ни на спор проиграть, ни в бою сдать врагу. Велика и прекрасна она потому, что нам стоила в нашей истории слишком многих прекрасных великих и радостных жизней...

* * *

У кочевников-степняков есть тягучие, длинные песни. Они как бы и рождены этим ровным, бескрайним простором, его широтой, его выцветшим небом, таким неприютным. Вероятно, и я сейчас создаю вот такую же песню — о лохе, о доннике, об отцовской могиле. Степь ее родила — степь дослушает, не осудит.

Жаль одно — что меня не слышит отец.

Когда я впервые стояла над глинистым бугорком, еще не осевшим, в жаркий, солнечный день, мне вдруг почему-то подумалось, что отец меня видит. Что ему сейчас радостно: я пришла, я его не забыла.

Я при этом с опаскою оглянулась вокруг, словно кто-то живой, наблюдающий, в самом деле глядел на меня из травы, из зеленой листвы, из желтеющих сердцевинков садовых ромашек.

Но глинистый бугорок был безмолвен, молчал. Я тоже молчала. И все-таки что-то сказалось меж нами, ибо я уходила оттуда другим человеком. Я не слышала никакого звучащего голоса, но кто скажет, зачем, отчего он во мне отзывался?

Вероятно, и в каждом из нас иногда отзывается такой родственный голос: то спокойней, то глуше, то громче и громче. Может быть, этот голос и есть собственно Родина, та незримая нить нашей мысленной, но, однако же, неподчинимой рассудку, кровной, чувственной и психической связи с тем ли, с этим комком рыжей, высохшей глины, или вязкого чернозема, или серых подзолов, из которых как бы невзначай прорастают и буйно цветут наши русские травы. А иначе зачем изо всех бугорков на земле я пришла поклониться вот именно этому, лишь ему одному? Ведь умершему, как мы учим в учебниках, безразлично, ему все равно. Да и нам, живым, тоже, видимо, безразлично, если это один только прах, одна рыжая глина...

А быть может, не всякому все равно?

Может, миг этой встречи и есть возвышающий душу порыв — из комка рыжей глины к живому дыханию, к мысли?.. Может быть, без такой вот тревожно-мучительной встречи, как с живым, понимающим, наблюдающим каждый твой неосмысленный или жалкий поступок, нет преемственности во владении этим солнечным миром, нет ответственности за него, этот мир, перед тем, кто ушел, перед тем, кто придет?

Мне казалось, что я прикоснулась к чему-то еще не изученному неотзывчивой нашей наукой, но глубоко реальному. Ведь не могут же совершенно бесследно исчезнуть счастье, гордость, любовь, одиночество, горечь давней обиды и суровая тяжесть раздумий, а потом — беспримерное мужество встречи со смертью. Что-то людям да остается, какая-то мысль, отблеск мысли, ее дуновение, так похожее на ласкающее дуновение майского ветра; ведь не зря же мы боремся, спорим, ссоримся, размышляем, не зря возвращаемся из далеких поездок, что-то веет же нам в лицо столь знакомое, дорогое из родных нам полей, неужели одна только пыль, только взвешенная над дорогой, иссохшая глина?

Да, она. Но и что-то еще, пыль веков, промелькнувших над этой равниной, голоса поколений, прошедших по этой земле, их печали, их радости, их надежды, их живая конкретная сущность. Что мы знаем о жизни вообще, когда мы не знаем значения этих жизней, уходящих, ушедших, для оставшихся жить? Может быть, в самом деле от них остается какое-то «я», как в известных стихах:

Но говорит мне тайный голос,
Что не вотще душа моя
Здесь и любила и боролась:
В ней есть свое живое я!
И жизнь — не сон, не сновиденье.
Нет! это пламенный святой,
Мне озаривший на мгновенье
Мир и небесный и земной,
И смерть — не миг уничтоженья
Во мне того живого я,
А новый шаг и восхождение
Все к высшим сферам бытия!

Не знаю, не знаю... Но я почему-то люблю по-особому наши степные курганы, наши долгие полевые дороги: на размытых дождями конических их вершинах, на

коричневых колеях изъезженных черноземных дорог почему-то меня посещают печальные, но такие широкие думы. И ветер в траве заунывно гудит, по-особому, с тонким, пронзительным смыслом. И высокие провода напряженно звенят, как будто несут свои вести не от города к городу, а из толщи забытых, далеких лет в наше сумрачное от тревоги сегодня.

Я не чувствую себя ни одинокой, ни затерянной в этой степи, потому что здесь летом цветет желтый донник, а осенью чуть трепещут по ветру, как узкие птичьи крылья, листья лоха, а зимою летят, заматавая дороги, метели. И в их низком, протяжном, волнующем голосе очень многие дорогие для меня голоса.

1969—1970

РАССКАЗЫ

[1965—1970]





В ДЕКАБРЕ В ТОЙ СТРАНЕ...

Полдень, а в комнате у меня темно от бьющейся в окна метели.

Если пристально взглянуть в декабрьское небо, можно увидеть огромных седых великанов, свившихся в белый крутящийся клубок, борющихся, падающих, убегающих друг от друга. Вот они разошлись и снова сошлись, как будто схлестнулись в дымящемся вихре, белые одежды их разорваны и вьются по ветру.

Я стою у окна и гляжу на летящие космы седых великанов, на белые петушинные гребни их шлемов. Почему-то в такие минуты мне всегда вспоминаются строчки стихов, годами живущих в моей душе, пришедших из юности: «В декабре в той стране... снег до дьявола чист...» Я подолгу раздумываю: где она — «та» страна? За какими полями, лесами, болотами?

Почему в «той» стране уж столь дьявольская чистота? От невинных ли душ ее жителей, от благих их пороков? Или просто там нет ни котельных, ни прачечных, ни дымных заводов, ни машин с выхлопными газами, ни пекарен, ни кухонь? Но тогда — чем живут эти странные, дьявольски чистые люди, населяющие ту сказочную страну?

Я хочу их представить себе, тех людей, и не могу.

Что-то мешает в груди.

Мне хочется глубоко вздохнуть.

И вот от первого, еще легкого вдоха они вдруг появляются — из таинственного небытия, бесплотные, не-уловимые.

Я их узнаю!

Да, да, я их всех, всех знаю...

Вот они выплывают, выходят из мрака, реальные, в то же время какие-то дымные, плоские, как в кино.

И я вдруг понимаю: ее нет на земле, «той» страны, а есть прошедшая наша жизнь, наши смутные воспоминания. Полумифическая, полуреальная область того, что было. Где все происходит почти так же, как и здесь, в наших буднях, но кое в чем и по-своему, очень странно и непонятно.

Например, в «той» стране можно жить сразу всем: и бывшим друзьям, и врагам, и давно уже умершим людям.

Там время не властно над нами. Оно обратимо.

Там люди, которых мы помним, говорят нам все те же слова, которые мы уже однажды слышали от них. Причем это можно слушать все снова и снова, пока не надоест.

Например, «я люблю тебя!» — говорит мне один человек. И я могу заставить его повторять эти слова хоть целую вечность. И при этом их не заездишь, как дрянную пластинку.

«Все кончено. Нам надо расстаться», — говорит он немного спустя, и я выключаю его, как слишком яркую лампочку, и сижу в темноте. От повторения ведь эти слова не станут понятнее!

В «той» стране все идет не по-нашему.

Давно сорванные и увядшие и выброшенные на помойку цветы расцветают опять и благоухают так нежно, что невольно сжимается сердце и хочется плакать. Так нежно не пахнул и лох в придонских степях, а уж он-то умеет благоухать, как никто другой! Это знают даже пражские торговки цветами, иначе они не продавали бы на Вацлавской площади в высокогорлых кувшинах веточки цветущего серебристого лоха!

Да что там цветы! Человек, которого я считала погибшим, позвонил у моих дверей и вошел ко мне в дом, такой сгорбленный и худой, весь сивый от седины, что я его сперва не узнала. А тогда, двадцать пять лет на-

зад, он был стройным и молодым, весь затянутый кожаными ремнями, в гимнастерке и каске.

Я спросила его:

— Как?! Значит, ты жив? А мне сказали, что тебя расстреляли в декабре сорок первого, перед строем...

Он с горечью усмехнулся.

— Нет. Как видишь, я жив.— И добавил, немного помолчав: — Это был мой первый в жизни бой. Шли немецкие танки, пехота. Очень много пехоты. Я стоял у орудия заряжающим. И вдруг представил себе, как меня убивают и как я, мертвый, лежу,— и я побежал. И танки наехали на батарею, раздавили расчет. А потом я стоял перед строем. Перед теми немногими, кто остался в живых... И они уже наводили на меня дула винтовок...

Он надолго замолчал. Сидел, скрестив на коленях руки, сгорбясь.

— Ну... Что же дальше?

— Дальше! Дальше немцы перегруппировались и снова двинулись на наши окопы. И кто-то сказал: «Он еще молодой...» А другой возразил: «А те, убитые, не молодые?» И еще кто-то снова меня пожалел: «Пусть кровью искупит...» Командир посмотрел на меня и командовал строю: «Разойдись!» — и дал мне винтовку...

Я молчу.

Он что-то рассказывает еще, а я сижу и думаю о погибших. О тех, кто не дрогнул под натиском вражеских танков, кто верил в товарищей, стоящих плечом к плечу, кто заслонил своей грудью дорогу фашистам к Москве...

— А потом что ты делал?

— Воевал... До победы.

— А потом?

— Потом жил на Севере...— И он замолчал, вспоминая. Наверное, и у него есть свои нехоженые снега. Мы сидим с ним в одной комнате, за одним столом, под одной общей лампой и остаемся каждый в своей стране, за тысячи верст друг от друга. И вся прожитая им жизнь дышит мне в лицо арктическим льдом.

— Ты работаешь?

— Да.

— Кем?

— Токарем. В паровозном депо.

— Работой доволен?

— Нет. Я ее не люблю. Просто так, ради заработка. Ведь надо же жить!

— У тебя есть жена, дети?

— Я один.

И вдруг горький, черный вопрос сам выпрыгивает из меня, вопреки моей воле:

— Послушай... Для чего же тогда ты... живешь?!

Он спокойно подумал. Ответил спокойно:

— А я и сам не знаю, для чего я живу.— И долго глядит на метель, за окно.— Когда к нам в депо приходят вагонетки с углем, я взбираюсь наверх, в вагонетку, и иду по самому краю, по узкому бортику, и жду, когда паровоз дернет...

Ну, что ж... Это очень логично. Это нужно было предвидеть.

Я знаю твои суровые законы, великая, милая Жизнь!

Тот, кто цепляется за тебя, единственную, драгоценную,— любой ценой,— кто готов совершить самый грязный проступок во имя спасения своей собственной шкуры, тот потом будет ставить тебя ни в грош и считать проклятием и обузой!

В самом деле, например, могла бы я жить без права смотреть людям прямо в глаза?!

Но, однако же, паровозик не дернул...

Он, наверное, тоже кое-что понимает, тот гуманный, северный паровоз из заснеженного северного депо! Он не дернет, пока человек идет по самому краю угольной вагонетки. Потому что есть повидавшие смертный ужас глаза. Есть жестокая память. И есть складки у губ, которых уже не разгладишь ничем. И есть скорбные брови.

И хотя человек расплатился за все, по **всем** существующим ныне законам, он все еще платит и платит... Теперь уже платит сам, сверх назначенной командиром и товарищами меры. Потому что он помнит их, пощадивших его перед строем и ушедших на смерть. Пожалевших его обреченную молодость...

Он все платит и платит... И будет платить потому, что товарищи, пощадившие его перед строем, все остались лежать там, в разбитых окопах под Наро-Фоминском, «в декабре в той стране»...

В «той» стране — на войне.

На пушистых, белых снегах, под Москвой в сорок первом году.



ФОТОГРАФИЯ

Август сорок третьего года на Смоленщине под Спас-Деменском. В жарком выцветшем небе то и дело захлестываются жестяные короткие петли воздушных боев: колющие, искристые следы огненных трасс, свист и грохот, и черные, клубящиеся траектории падающих самолетов.

Внизу, по извилистой пойме реки, по разъезженным торфянистым дорогам, то черная, а то бурая пыль, такими же, как и в небе, растянутыми клубками. Это движутся танки, бронетранспортеры, машины и тягачи, выволакивающие с позиций тяжелые, тупорылые гаубицы.

Бой чуть-чуть отодвинулся от высоток, распахан-ных минами, и скатился левее, за гущу прибрежных деревьев. Но земля еще вся трепещет от взрывов и грохота, лязга гусениц, завыванья моторов. Она вся в чернеющих гнилью и торфом, развороченных ранах: это осыпью падали бомбы вдоль пробитой войсками по лу-гу дороги. Вот и жертвы бомбежки: чей-то труп, нет, не труп, это что-то совсем не похожее на человека. Ни шеи, ни головы, ни рук, ни ног, одно только туловище, аккуратно обрубленное близким разрывом. Чуть по-дальше от этого обескровленного обрубка — совсем еще

юный белобрысый солдатик. Он лежит как-то боком, как будто уснул, обняв вещмешок. Я его обхожу осторожно...

Я иду по высотке. Здесь пахнет тошнотной вонью взрывчатки, ветер гонит какие-то комья бумаг, обрывки газет. Здесь убитых так много, что я их не обхожу, а просто через них переступаю.

В большой темной ямине — пушка-гаубица, вокруг нее копошатся солдаты. Наверное, выезжают на новые огневые.

И вдруг голос знакомый, веселый:

— Ба! Кого вижу! Вот так встреча!

Мой земляк, командир батареи из 4-й гвардейской.

Он в выцветшей дожелта гимнастерке с расстегнутым воротом, без пилотки. Пилотка засунута в карман и торчит оттуда засаленным уголком с вишневого цвета надколотой звездочкой. Русский чуб летает по ветру, обметая глаза с густыми ресницами, чуть загнутыми кончиками вверх. Лицо широкое, загорелое, расплывшееся в улыбке.

— Ты как сюда, в эту кашу?

— Вот ищу, догоняю дивизию... Горячего похлебать.

А ты?

— Я? — Он весело оглянулся. — Меняю позицию... Тоже едем туда. — Он показывает куда-то в сторону Ельни, над которой весь день нынче в небе виснет это грохочущее, гремящее пулеметными очередями, блистающее колесо воздушного боя.

Мы идем с батареем по гребню высоты. Ветер дымен, горяч — и уже пахнет тленом. Мой земляк останавливается над мертвецом, лежащим на глинистом бруствере обвалившегося окопа.

— Смотри, какой парень! Богатырь...

Убитый лежит широко и вольготно, раскинув в стороны руки. Мухи бродят в глазницах. Карманы гимнастерки уже вывернуты наизнанку (кто-то вынул уже документы), и тут же в траве валяются письма, чья-то девичья фотография.

Мой земляк наклоняется, поднимает письмо:

— Из Москвы. От Черновой Наташи.

Он смотрит на фотографию, лежащую на земле, берет ее в руки. Живая, поддразнивающая улыбка, глаза темные, яркие, губы четко очерчены, но, видать, без помады. Легкомысленный завиток отлетел от виска: вся

задор и порыв. На обороте полудетским почерком: «На долгую память...»

— Хм.— Мой друг глядит на фотографию как-то слишком уж пристально. Лицо его вдруг сухо собралось, глаза чуть прищурились. Он медленно отводит взгляд от квадрата глянцевиной бумаги и теперь смотрит куда-то вперед, вдоль осыпи бомб и снарядных воронок.— М-да-а-а... На долгую память!..

Проходит томительное мгновение.

— М-да-а-а,— опять повторяет товарищ, растерянno, удивленно.— Дела!

Мы о чем-то с ним говорим, и он отвечает мне. А сам все поглядывает на конверт, на маленькую фотографию. И вдруг кладет их к себе в карман.

— Напишу. Сегодня же ей напишу, расскажу, как нашел ее фотографию.

С той встречи прошло много лет.

Как сама сказала когда-то в стихах: «Отошла от нас война, зажила сквозная...»

Наверно, давно зарыты траншеи, изрезавшие поля и луга под Спас-Деменском, Ельней, Смоленском. Давно в перегное истлели кости убитых, и старых и молодых. И только случайно пахарь весной наклонится и поднимет осколок железа, весь рваный, зазубренный, в желтой плесени, в ржавчине, и отбросит подальше, чтобы лемех не затупился. Тот самый осколок, каким и меня могло бы убить, а вот — не убило...

Я иду по Арбату, и вдруг опять тот же голос, веселый, знакомый:

— Ба! Кого вижу?! Вот так встреча!..

Мой земляк, батареец.

В бельгийской нейлоновой куртке с синим вязаным воротником, в нейлоновой белой рубашке с модным галстуком, в тупоносых ботинках — располнел, постарел, глаза выцвели, посветлели, русый чуб превратился в плоско лежащие, справа налево, гладко причесанные волосы. Но — весел, здоров. В руках — свертки, покупки.

— Ты разве в Москве живешь? — Он изумлен.

— В Москве... А ты?

— Тоже. С сорок пятого года. Уже старожил...

— Вот не знала!

Да разве узнаешь, кто находится рядом с тобой в этом шумном, огромном, разросшемся городе! Может быть,

что те самые люди, которых я разыскиваю почти четверть века, о которых с благодарностью вспоминаю, — защитившие от пули или бомбы, накормившие, обогревшие в лютый мороз, разделившие со мной радость и горе, — тоже где-нибудь сейчас рядом, живут по соседству и гуляют по тем же самым улицам, по которым хожу и я, — да разве узнаешь?!

Он идет со мной по Арбату, мой старый товарищ, хороший солдат, говорит:

— А я тут живу, в переулке. Рукой подать. Зайдем, познакомлю с Наташей...

— С какой Наташей?

— Жена моя — ты не знаешь? — Чернова Наташа...

И я останавливаюсь, припоминая.

— Так ты ей тогда написал?

— Написал. А потом, через месяц — бац! — ранение, меня в госпиталь, прямо в Лефортово. Написал ей об этом. И она меня, раненого, навестила... Потом выписался из госпиталя, заходил к ней проститься...

Все это он говорит, поддерживая меня под локоток и ловко и незаметно направляя мой путь — поворот, еще один поворот, старинный подъезд с черной дверью — вся в стеклышках, — истертая лестница.

На втором этаже мы звоним.

Открывает нам полная, темноглазая женщина в белой кофточке, в фартучке. В коридоре, а теперь и на лестнице сладко пахнет вареньем.

— Ой, простите, горит! — всплескивает руками хозяйка и весело убегает на кухню. Потом важно, торжественно выплывает навстречу, уже без фартучка, направляя прическу. Мой старый приятель целует ее в чуть тронутый сединой завиток на виске.

— Наташа, а это та самая девушка, с которой мы встретились после боя на той высоте, — говорит он и ласково улыбается нам обоим по очереди, ей и мне, приглашая жену и товарища по войне разделить его радость.

И женщина милым движением, как-то очень по-детски, растерянно поднимает свои темные бровки, стараясь припомнить: о чем это он? Какая высота?

— Ах да!.. Очень, очень приятно... Я так рада,

Она помогает мужу снять куртку, принимает из рук его свертки. Стелит скатерть на стол и ставит варенье, расспрашивая у меня:

— А вы что больше любите, вишню или клубнику? Вы знаете, у нас своя дача, столько ягод, не знаем, куда уже нынче девать... А я вот рябину люблю...

Квартира у них большая, уютная, чуть-чуть старомодная: кружевные гардины, ковер, зеркала, в серванте — хрусталь, фарфоровые безделушки; тихий мир и покой обеспеченной и согласной семьи. И только портрет на стене над столом врывается диссонансом — увеличенная фотография, та самая, на которой Наташа совсем молодая: живая, поддразнивающая улыбка, глаза темные, яркие, губы четко очерчены, хотя и без помады, легкомысленный завиток отлетел от виска...

Свежесваренное рябиновое варенье мне кажется горьким. Наверно, действительно подгорело. Или это тоска начинает точить мое сердце? Я думаю с грустью, недоуменно: как же так? Отчего они счастливы? Может быть, оттого, что их счастье окуплено кровью? Или это не счастье, а привычка к уюту, к покою, и неважно — какую добыто ценой?

Я гляжу на товарища. Он прошел всю войну и был ранен... Кто знает, сложись по-другому судьба, и он тоже лежал бы безжизненный, обескровленный, может быть, неопознанный, никому не известный... Ему это счастье — заслуженная награда. А ей?.. Отчего она даже не вздрогнула, не задумалась, не окаменела при темном воспоминании о том, на высоте? За что ей награда? За умение принимать жизнь такой, какая она есть? За внимание и ласку к другому солдату?

Да, кто знает, за что нас судьба награждает и достойны ли мы, да и нужно ли непременно, обязательно награждать, непременно достойных. Все достойны и ласки и счастья. Разве право на жизнь не дается любому рожденному?

Я хочу их, красивых и радостных, обязательно оправдать.

Мне нравится эта женщина, в пухлых ямочках, в завитках, улыбчивая, темноглазая, заботливая хлопотунья. Мне нравится мой товарищ, настоящий суровый солдат со своим чувством долга и чести.

Я от них уйду, унося золотое тепло их семейного очага, охраняемого добротой и любовью.

Но пока я иду переулками до метро, мне все видится распаханная минами высотка, и трупы на ней, и глинистый бруствер, и солдат, который лежал широко и вольготно, раскинув в стороны руки, в гимнастерке с вывернутыми наизнанку карманами, — словно отдал другим не одну только свою жизнь, но и что-то еще, куда больше, чем жизнь, взамен уже больше не требуя ничего.

И эта картина в глазах навсегда.



В ПЕРЕВЕРНУТОМ ТАНКЕ

От Починка до Монастырщины я еду на танке.

На ходу башня танка развернута пушкой назад, я сижу на ней невольно кокетливо, эдакой амазонкой, то есть боком, одной рукой упираясь в ствол пушки, а другой держась за холодную, всю в заклепках броню.

Ветер режет лицо, сентябрьский, колючий, настывший на раннем, не вовремя, зазимке. Иногда начинается мелкий дождь, но идет он недолго, потом вновь оголяется небо, тучи рваными клочьями уплывают назад, обтекая дорогу по флангам и справа и слева. А на льдистые, голубые проемы, на место ушедших, уже прямо по центру, приходят другие, черно-сизые, серые, все в лохмотьях летящей по воздуху влаги, в свалывшейся шерсти, как стадо баранов. Они тупо, рассеянно роются над равниной, изъезженной сотнями гусениц и колес, истоптанной конницей и пехотой.

Танкисты, курносые, молодые, чем-то схожие, словно братья-погодки, в ребристых матерчатых шлемах, в промасленных куртках хаки со множеством клапанов и карманов, в промокших, как у меня, сапогах, по очереди вылезают из люка пошутить, покурить, расспросить свою пассажирку, не землячка ли,—это здесь на войне очень важно,—поболтать на разные темы. К сожалению, разговаривать не приходится:

танк гремит и грохочет, он в царапинах, в рваных ранах, залепленных швами недавней сварки, еще с лиловой окалиной. И машина и люди, видать, не однажды побывали в самой гуще смертельного боя и вот снова спешат...

— Что, сестренка, замерзла?

— Да нет, ничего...

— Сейчас кулещ варить будем, обогреешься...

Командир — лейтенант с обгоревшим лицом, веселый, застенчивый, русоволосый. Он высок, очень ладен, подтянут и ловок, по броне ходит мягко, как кошка. Когда рядом садится, конфузливо опасается приклониться, поэтому притуляется как-то бочком, сосет козью ножку, покашивая глаза на меня, на истертый планшет, на старые рукавицы.

— Эх, пяхота-а-а,— насмешливо тянет он, расплываясь в щербатой улыбке.— Сто километров пройдет — и еще охота...

— Ну, пяхота, ну что? Что еще хорошего скажете? — Я легко принимаю его смешливый, совсем ни к чему не обязывающий тон.— Без пехоты вам в бою делать нечего. Небось сразу завязнете!..

— Да уж что говорить! Без вас никуда! Слыхал, Митя, чего объясняет? — кричит командир вылезавшему из люка башнеру. Но тот вглядывается в лежащий на западе отдаленный лесок и словно не слышит. Потом проходит по танку вперед, заслоняет ладонью глаза, пожимает плечами.

— Не пойму я, шо це такэ?!

Командир уже тоже заметил там, впереди, у моста через речку, что-то явно неладное. Вероятно, был бой: кучно стоят подбитые немецкие танки, а один опрокинулся башней в воду и лежит, перевернутый, чем-то очень напоминая положенного на спину жука. В этом зрелище одновременно есть что-то и неприятное и смешное.

— Хлопцы, стой! — Командир постучал по броне. Грохот смолк. Танк застыл на обочине. И все трое — командир, механик-водитель и башенный стрелок — спрыгнули на землю, приказав мне остаться на месте: «А мало ли что...»

— Вы тут сторожите, щоб никто ничего не украл! — подмигнул мне водитель, курчавый и смуглый, как турок. И они пошли несколько неестественно

прямо на танки и долго ходили между плоских чудовищ с крестами на ржавых боках, разглядывая то рваные раны на башнях, то гусеницы, а то залезали наверх, на броню, и заглядывали, наклоняясь, в открытые люки...

Потом они стали над речкой, над самым обрывом, и сам командир, оскользаясь, спустился по глинистому отвесному срезу, забрел в воду, — как был, в сапогах и одежде, — добрался до танка, лежащего на спине, и долго простукивал броневые листы, прикладывая к ним обожженное ухо.

Мне холодно и одиноко одной, я не знаю, что там случилось, отчего они ходят так долго, мне хочется кулеца, и теплой, томительной ласки раскаленных углей, и запаха сала и лука. Но попутчиков моих нет и нет. Наконец прибежал механик-водитель, вынул трос из люка, прицепил его сзади к крюку.

— Что случилось там? Что хотите вы делать?

— Да фриц, будь он проклят, почти потонул... Сидит, еле дышит, пищит, как цыплок, в перевернутом танке. Один уже пузыри пустил, другого на месте сразу убили, а этот живой... Лопочет по-своему... Плачет. Вот будем тягать его, вырывать.

— Это долго?

— Да кто ж его знает! Покуда не вытягнем...

Я взглянула на ручные часы.

На безлюдной дороге ни проезжей машины, кроме этого танка, ни обозной подводы, ни просто попутчика в сторону фронта. Придется идти пешком в одиночку, я и так припозднилась, до вечера не успею, а ждать, пока «вытягнут» фрица, нахлебавшегося в смертном страхе осенней холодной воды, мне никак не с руки, наживать нагоняй; как сказал бы мой шеф: «Дурных не родилось!»

— Ну, тогда до свидания! Спасибо... Желаю удачи... Хорошо воевать!

— Счастливенько! До свиданьица! Будьте здоровы!

Танк взревел и пошел к реке задом, разворачивая тяжелыми траками гусениц маслянистую, влажную землю, завязая в разжиженной глине ослизлого берега.

...Поздно вечером я уже приближалась к Лиозно. Привычно гремела, постанывала за лесами бессонная передовая. На западе то и дело взлетали короткие

взблески, что-то грузно, рассеянно перекашивалось с боку на бок, а то как бы с треском разваливались тяжелые, круглые, сытые бревна, потом воздух пронизывали ржавый скрежет, сипение пара,—вероятно, бомбили состав на железной дороге. «Юнкерс» ныл в темноте, то как будто бы удаляясь, то опять приближаясь. Зенитки облаяли вражеский самолет. Эхо выстрелов четверенно слоилось в насыщенном влагою воздухе. А я шла по разъезженной, грязной дороге и все видела этот вражеский танк, перевернутый на спину, и сидящего в нем внутри фрица. Я почти ощущала, как туго натянут крепкий, жилистый трос, как наша советская «тридцатьчетверка» могучим усилием выволакивает на глинистый берег вот это беспомощное насекомое, а недавно несущее смерть чудовище в белых стертых крестах. Я себе представляю, как русские парни варят вкусный кулеш и кормят измокшего и озябшего фрица—может быть, того самого, который стрелял и обжег уши и брови веселого, русоволосого командира.

Я иду и раздумываю: отчего в нашем русском народе так сочувствуют слабому, даже если он враг? Так ему помогают? Отчего забывают, что слабый когда-то был сильным и что, может, со временем он опять станет им, обязательно станет, ну, хотя бы уже потому, что ему помогли, и тогда он уже никогда не забудет, не простит твоей помощи, твоей жалости, твой костер, твой кулеш, твои грязные, мокрые, ознобленные руки...



ПЕСНЯ

Недавно в газете я прочитала про батьку Миная, знаменитого белорусского партизана. Как фашисты взяли заложниками его четверых детей. Всю семью. И как дети писали ему из фашистского плена, чтобы он не сдавался. «Нас убьют и тебя убьют, а если ты не придешь, и убьют только нас, так хоть ты потом за всех отомстишь...» И тут же припомнилось что-то похожее, затрепетало в душе, словно облако, какое-то смутное, темное воспоминание.

Мы стоим в Белоруссии, под Витебском, в маленьком, разбомбленном, изрытом траншеями городке. В избах сплошь солдаты, солдаты, солдаты, по ночам ступить негде, не то чтобы лечь. Только в нашей избенке, где живут армейские журналисты, чуть просторней. Зато за дощатою перегородкой и хозяева и постояльцы — все в одну сбились кучу. Постояльцы — советская власть из города Витебска, они ждут, когда мы возьмем у фашистов город, чтобы войти в него и начать восстанавливать. Это бывшие партизаны. А мы все никак не возьмем этот город — немцы сделали Витебск крепостью, подтащили туда тяжелые пушки на железнодорожных платформах, опоясали оборону колючей проволокой в три-четыре кола, заминировали подходы, все пристреляно, до последнего сантиметра.

В январе — наступление. Тяжкий грохот снарядов, вой «катюш», железное кваканье минометов, надрывное, захлебывающееся «ура-а». И — откатываемся назад, на исходные, оставляя на поле короткие холмики трупов.

В феврале — еще одно наступление, и еще одно, третье. И все с тем же исходом. А советская власть за дощатою перегородкой не спит долгими व्यюжными вечерами, там идет приглушенный угрюмый мужской разговор, я слышу обрывки каких-то споров, и вдруг кто-то застонет, заплачет, скрипя зубами, не слушая слов утешения: скупые и стыдные в своей неуклюжести, неумелые слезы человека, выдавшего смерть, вероятно, не сотни, а тысячу раз — и не плакавшего, а сейчас вдруг заплакавшего от глухой смертной муки...

— Полно, батько, теперь ничему не поможешь... Земля им пухом!..

— Батько, спой лучше нашу... Будь проклята эта война! Спой, а мы подпоем...

И глухой, хрипловатый, до нутра пробирающий голос, — тот ли самый Минай или другой партизан, повторивший его судьбу, — тихо-тихо затянет для нас незнакомую, но такую желанную сердцем песню:

Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды

мерцают.

И песню они привезли из Москвы, и надежду, что Витебск возьмем, а он не берется...

Мне видится поле переднего края, влажный ветер несет запах пороха, гари. Чуть чернеют деревья большого старинного кладбища, на котором могилы разрыты снарядами, распаханы до истлевших костей, примерзших на дне темных, дымных воронок. Вдоль надгробий бегут красные жилки проводов, возле склепа — НП батареи. Пахнет срубленным лапником елей, грунтовой незамерзшей водой, обжитой траншеей, то есть дегтем, махоркой, мочой, пригорелой перловкой.

Стоит высунуть голову из окопа — и короткая очередь из немецкого пулемета чертит снег малиновой и зеленой строчкой, повизгивают на излете шальные, летящие наугад желтоватые пули. Все здесь собрано в одну горсть, в этой грязной траншее: жажда ласки и чистоты, жажда нежности, счастья, и надежда дожить

до победы, и близкая смерть, и собственное одиночество под нависшим, пасмурным небом. И ночь, темная и сырая, как в песне, и действительно, может быть, кто-то ждет тебя и не спит, и это волнует, а там за дощатой перегородкой, трое-четверо хриплых мужских голосов все поют, вороша наши скорбные души:

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались
в степи,
Вот и сейчас надо мною она кру-жит-ся-а-а-а...

В нашем доме темно, я лежу на полатах, накрывшись шинелью. На окраине города лают зенитки: значит, снова летит фашист, сейчас будет бомбить, начиная от станции, по порядку, до огородов.

...Мне видится перекресток дорог, весь в проталинах, в грязных лужах. По дороге идут пехотинцы, то и дело поглядывая направо; метрах в ста от дороги начинают вздыматься и падать столбы снега, промерзлой грязи, клубы дыма. Разрывы все ближе, ближе к дороге, верно, кто-то корректирует огонь. Я на бровке кювета, вся земля закипает вокруг и пенится грязно-белыми взрывами, словно пеной: вот-вот сейчас и меня захлестнет.

«Все. Конец», — мелькает единственная мысль в голове. Мне кажется, артналет продолжается целую вечность: все изрыто вокруг, испоганено, перевернуто, перерублено, снег исчеркан осколками. Резко пахнет тротилом, сырою землей.

Кто-то стонет, ползет, кровеня серый снег на обочине...

А поэтому, знаю, со мной ничего не случится...



ХЛЕБНЫЙ КОЛОС И РОЗЫ

Чужой, пустой, выжженный город.

Местное население убежало от Советской Армии на запад, к союзникам. Наши бойцы и офицеры колонной ушли на проческу лесов, вылавливать «оборотней» — «вервольфов», оставленных фашистами для убийств и диверсий в нашем тылу. В распоряжении части — одни только женщины, да больные в медпункте, да несколько часовых.

Апрельский горячий ветер волнует, гонит из дому на мостовую. Но печально ходить по обрушенной черепице, по осколкам стекла, по завалам из камня: пейзаж марсианский, как будто из «Аэлиты», уэллсовский — «Битва миров». Заходи в любой дом, и везде на разбитом окне накрахмаленная занавеска, на столах чашки кофе, в решетчатой хлебнице куски черствого хлеба. В шкафах платья, пальто. Аккуратно расставлены туфли, калоши. Я смотрю на них, они чем-то знакомы. Ба! Да ведь это же наши, советские: завод «Красный треугольник». Наши венские стулья. Наши книги — Толстой, Достоевский, но уже в аккуратных, с готической вязью, с тиснением золотом переплетах, наша пудра, духи...

Я брожу по безлюдным, разгромленным боем, заброшенным улицам. Город мал, он тянется узкой

лентой вдоль холмистого берега Одера, весь розово-белый от цветущих садов, от лепящейся по оградам махровой сирени, от вьющихся роз. Да, здесь много цветов — в специальных оранжереях, в парниках под стеклом, в бесконечных ухоженных палисадниках: гиацинты, нарциссы, тюльпаны, подснежники.

Я хожу в парниках, как по кладбищу, среди грядок — этих странных, стеклянных могил, — и цветы, как мне кажется, пахнут не свежестью, не весной, а мщением, тленом. Мне все слышатся еще выстрелы самоходок, грохот танковых пушек, лязг тяжелой брони, скрежет гусениц: здесь был бой, и наших убитых мы уже схоронили — без надгробий и без цветов, в простых полных вешней воды, привычных могилах...

Возвращаясь с прогулки от разбитого немцами и повисшего переломленной арочной частью ажурного моста, я вдруг вижу на улицах города каких-то людей. Они идут, сгорбившись, с тачками, боязливо прижимаясь к стенам и оглядываясь: в мятых шляпах, в потертых пальто, старики и старухи, бесцветные женщины в пестрых платочках, в очках, рядом жмутся бледнолицые, неумытые дети.

И все они голодны, я это вижу по их глазам.

Этот взгляд, чуть больной и чуть-чуть виноватый, воровато перебегающий, не стоящий на месте, я знаю уже хорошо. За годы войны на всякое нагляделась.

Ага, значит, там, за Эльбой, вам было несладко? Не очень-то, видимо, вас ласкали союзники, если так вот, с детьми, со старухами, со стариками возвратились к коммунистам!

Они делают вид, что не смотрят в мою сторону, а сами приглядываются исподтишка, краем глаза: военная форма, сапоги, портупея, погоны, на груди орден... Как-то все обойдется при встрече!

— Гутен таг, фрау обер-лейтенант!

— Гутен таг!

Они открывают калитку и входят во двор небольшого квадратного крепкого дома с закрытыми ставнями, поднимают какие-то щепочки на песчаной дорожке, поправляют примятые кустики роз.

Там, за городом, в поле, пересохла земля, — я видела эти пыльные непаханные прямоугольники, спланированные в совершенно невообразимую ровность, с тонкой кромочкой вдоль дороги, — все не так, как у нас,

с широкими полосами свободной земли, а все словно бы по линейке, впритык, в пересчете на сантиметры.

Хлеб им сеять давно бы пора, земля словно порошок, а они, я гляжу, подрезают малину, крыжовник, поливают цветы, подметают дорожки.

Когда наша часть возвратилась с прочески лесов, я рассказываю товарищам о том, что у нас появились соседи.

— И что значит культура! — с увлечением объясняю им я. — Наш мужик сейчас в первую очередь вышел бы в поле сеять хлеб, а они подстригают листочки у роз.

Один мой товарищ, задумчиво посопев, посмотрел, чуть прищурясь, на тот каменный дом и сказал совершенно серьезно, без тени улыбки:

— А что ж!.. Подстригают... листочки у роз... А может быть, мы поэтому их и одолели? Ты как думаешь?! Неужели же не поэтому?



МОЛЧАНИЕ НЕБА

Это было давно, наверное, в другой жизни, когда я была еще маленькой и жила под огромным, мохнатым от зноя, малиновым солнцем в огромной степи.

Мне было совсем немного лет, может, шесть, может, семь,— по-моему, я тогда еще не училась, потому что все дни мои были праздными, и я их проводила одна-одинешенька в чистом поле с заросшей травой колесной дорогой, или в лесопосадке, где слушала птиц, или в серо-зеленых, покатых волнах зацветающей ржи, где играла сама с собою в догонялки и в прятки. Иногда я бродила по склонам степного оврага: там росли медуницы и лиловые ирисы. Там в коричневых норках семействами жили кроты, то и дело вставали столбами желто-серые суслики, а однажды я видела даже енота: он бежал по хребтине разрушенной дамбы и скрылся в траве, с испуганной, злой, ощеренной мордой.

Мне нравилась степь и нравилась праздная, неприютная жизнь. Бесконечное синее небо цвело жарким солнцем. Вся бескрайняя, чуть пологая к югу равнина, поросшая ковылями, гудела от пчел. Тут и там, словно чьи-то яркие, легкие, светлые мысли, поднимались над степью, перелетая с цветка на цветок, веселые бабочки. Иногда они проносились белым облаком над моей головой, а потом опадали веселыми белыми лепестками, как цветущая дикая яблоня, что стоит возле нашего дома.

Бесконечные дни и недели шли неслышною поступью. Я растрачивала их беспечно, рассматривая ручейников и тритонов на дне водоема у высохшего водослива, или, сидя на ветке огромного дерева, разглядывала сквозь листву ускользящий солнечный горизонт. Что я думала в это время? Да, наверное, ничего. Впрочем, все же о чем-то, наверное, думала, потому что вся маленькая душа моя и все тело безраздельно сливались в эти часы с молчанием неба, с молчанием солнца, с гудением, писком и шелестом каких-то смешных, трепыхающихся, ползающих и перелетающих надо мною существ, живущих такой интересной загадочной жизнью. Тонко цвиркали суслики. У прудов переливчато квакали лягушки. Иногда от посадок до меня доносился тоскливый, то сильный, то вдруг замирающий зов кукушки.

Я слушала весь этот мир, хорошо понимая прелесть и смысл этих звуков. Для меня был живым существом и цветок, и ковыль, выгибающий шею с серебряной гривой: он ластился, как кудлатый щенок, к моим исцарапанным грязным рукам, с томной нежностью падал у ног и отпрядывал, будто играя, под порывами ветра.

Пусть не думалось ничего — я была еще слишком мала, — но тогда отчего так настойчиво разрасталось во мне ощущение счастья, и полной свободы, и щемящей тоски, и любви, и печали, из которого и сложилось впоследствии ощущение Родины? Как, а главное — отчего я тогда поняла, что на этой горячей цветущей земле нет того, что зовут одиночеством, а есть связь с бесконечностью, с теплым голосом ветра, с простым, твердым и радостным смыслом окружающей жизни? И как же случилось, что потом я все это позабыла?

Солнце медленно двигалось над моей головой. И какие-то новые, странные мысли зарождались во мне, приносящие счастье, волнующие и, конечно, неосуществимые; но за ними всегда была эта основа: поле с черною бороздой — путь какого-то неизвестного мне прилежного пахаря, хлеб, и звезды над степью, и мычание коров, и дымок из печей на рассвете, и сладость минутного отдыха после трудов, и бессмертие, бесконечность всей этой жизни...

Я видела города с провалами окон обгорелых домов и трубы, дымящие человеческим пеплом. Сладкий

клеверный запах трупов, он запомнится мне теперь навсегда.

Путь лежал все на запад, на запад...

Через реки, поля, перелески, озера, мимо шпилей старинных костелов Литвы, по свекольным полям залитой дождями, измученной Польши, по расчерченному, как по линейке, автострадам Германии в громящий артиллерией и разрывами бомб осажденный Берлин. Он лежал предо мною, поверженный, догорающий, серо-угольный, как головешка, а над грудой пепла и щебня, над развалинами домов — наше алое знамя на рейхстаге...

Я умею теперь сравнивать. Как прекрасны мощенные камнем извилистые переулочки в Праге, где-нибудь возле Вышеграда или в Старом Мясте, эти древние стены, обвитые виноградником, эти бледные, чайные розы Лореты!.. Мне запомнятся — где это было? — деревянные крики павлинов на подстриженной по-английски зеленой лужайке, накрахмаленные чепцы монашек-сестер, что-то скорбное, трепетное в их черных, бесшумных фигурах.

Я запомню суровые камни Родоп, казанлыкские розы, золотистый песок побережий, рыбацкие лодки на рейде: это все почему-то родное до боли, почти как свое. И так схожи с забытыми — материнскими — руки старых крестьянок, их морщинистые, загорелые милые лица. Мне запомнятся молчаливые псы, охраняющие в горах разбредавшееся ленивое стадо, партизанские тропы, отвесные скалы на Шипке... Как с собой унести этот легкий, прозрачный, насыщенный запахом меда и выжженных трав горный воздух, бодрящий, как солнечное вино? Мне так не хватало потом, в дни тяжелых раздумий, этой ласковой свежести, золотой теплоты...

Я запомню бесчисленные города и деревни Европы и Азии, например Нагасаки, в лиловых и малахитовых красках закат, бессонные цепи огней, окаймляющих бухту залива, город шумный, торгующий, трудовой, город с запахом моря на улицах. Ночью прыгают, вертятся, плавают на небоскребах бесконечные всполохи зазывающих, умоляющих и дразнящих реклам: словно тысячи солнц, изливают свой свет на изгибах мощенных булыжником улиц...

А потом поезд вез меня в глухомань, в родные

края, и я медленно узнавала: вот пруд с водомерной рейкой у берега. Здесь когда-то у старого дерева, на цепи, была причалена плоскодонная лодка: мы катались на ней вечерами далеко, до поросших кувшинками и зеленых от ряски заболоченных заводей. Сейчас нет ни лодки, ни дерева, ни кувшинок, а пруд обмелел и засох, и черные трещины от жары и степных суховеев изрезали дно, как гигантская паутина.

Вот дамба, обсаженная столетними вязами, и канал вдоль нее, а левее — лиман, на котором когда-то росли экзотические растения, привезенные издалека романтическим агрономом. Я входила под тень зацветающего канатника или кенафа, как в зеленые джунгли, видя в солнечных пятнах и полосах от теней то подкрадывающегося леопарда, то свирепого тигра. Сейчас здесь на почве белесая соль, поросшие плауном и хвощом торфяные корявые черные кочки...

Вот дом, тот же дом, в нем те же четыре окна и холодные, темные сени. Но я не вошла в него: я боялась себя и своих воспоминаний о давнем, забытом. Я пошла прямо в поле, к оврагу, поросшему медуницей, чтобы снова услышать дыхание трав, писк птенцов в зацветающем вереске и миндале, стрекотание кузнечиков. Но поле... молчало. Оно не признало меня за свою, не ответило на мое виноватое: «Здравствуй!»

Может быть, я действительно перед ним виновата?

Может, ты, земля, ожидала, что я сделаю для тебя что-то очень большое и важное, самое главное, а я просто забыла тебя?

Может быть, я теперь не сумею понять эти черные борозды, эти тихие, сельские тропы — от села до села, этот маленький, одинокий огонь у костра и сидящего возле него одинокого тракториста?

За прошедшие годы разлуки — и суровые и золотые — я отвыкла от радостных, ласковых мыслей, что рождались в таинственной тишине, в темноте, под распахнутым небом. Чем ответить теперь на безмолвный призыв заблудившихся огоньков, чем оплакать родные могилы, поросшие крапивой и пустырником?

Да, я знаю, как я виновата...

На великое, полное смысла молчание полей и лесов и высокого неба чем отвечу теперь?..

К 58

Кожухова О.

Ранний снег. Предисл. В. Севрука. М., «Худож. лит.», 1973.

608 с.

В книгу включены лучшие произведения О. Кожуховой, в том числе ее роман «Ранний снег» — о судьбе трех девушек-фронтовичек, прошедших по нелегким дорогам войны; повесть «Не бросай слов на ветер» о студенческих годах писательницы, повесть «Фонарики, плывущие по реке» — о трагедии Хиросимы и Нагасаки; лирический дневник «Донник» — о чувстве ответственности человека перед родиной, перед будущими поколениями; рассказы о войне.

0732—145

Р 2

К **028(01)—73** **75—73**

СОДЕРЖАНИЕ

В. Сеерук. Живая связь вре- мен	3
Ранний снег (роман) . . .	13

П О В Е С Т И

Не бросай слов на ветер . .	329
Фонарики, плывущие по реке	440
Донник	525

Р А С С К А З Ы (1965—1970)

В декабре в той стране... . .	583
Фотография	587
В перевернутом танке . . .	593
Песня	597
Хлебный колос и розы . .	600
Молчание неба	603

Ольга Кожухова

Р А Н Н И Й С Н Е Г

Редактор Р. Гузаирова

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

Г. Лысенкова

Корректор Н. Усольцева

Сдано в набор 19/IV 1973 г. Подписано
в печать 21/VIII 1973 г. А 04194. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. 19,0 печ.
л. 31,92, усл. печ. л. 33,173+1 вкл.=33,198
уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 219.
Цена 1 р. 51 к.

Издательство «Художественная лите-
ратура». Москва, В-78, Ново-Басман-
ная, 19.

Тульская типография «Союзполиграф-
прома» при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам из-
дательств, полиграфии и книжной тор-
говли. Тула, проспект имени В. И. Ле-
нина, 109.

3
-
-
e
-
-

ОШЕТЛА
НООХУУХОЛБА

ПАТЕНТИЙ
ОШЕТ